А. И.
КУПРИН

6

А Куприн

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

В ШЕСТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА — 1958

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

ТОМ ШЕСТОЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1899—1937

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА—1958

Подготовка текста художественных произведений П. Вячеславова

Подготовка текста статей, очерков, воспоминаний И. Мыльцыной

Примечания — О. Михайлова, И. Мыльцыной, Э. Ротштейна

Оформление художника Н. Шишловского

ГЕРО, ЛЕАНДР И ПАСТУХ

Я думаю, что всем на свете известно старое, трогательное предание о Леандре и Геро. Но далеко не все знают тот вариант, который можно услышать лишь от очень старых анатолийских греков.

Леандр жил по одну сторону Геллеспонта, в греческом городе Абидосе; Геро — по другую, на малоазийском берегу, в городе Сестосе. Леандр был прославленным атлетом, одинаково непобедимым в борьбе, беге, плавании, метании диска и стрельбе из лука; Геро была младшей жрицей в храме Артемиды.

Оба они были так прекрасны телом, лицом и душою, как только могут быть прекрасны невинная девушка в шестнадцать лет и пылкий юноша в девятнадцать.

В один из тех великих дней, когда Абидос устраивал атлетические состязания, Геро и Леандр увиделись на стадионе и с первого взгляда страстно полюбили друг друга: именно так приходит к людям настоящая любовь. В тот же вечер, покинув роскошное пиршество, они, незаметно для любопытных взоров, сошлись в цветущей апельсиновой роще, где сказали друг другу сладкие слова любви и обменялись пер-

выми целомудренными ласками. Но нет в мире такой радости, на дне которой не таилась бы капля печали.

Во время этого нежного свидания с огорчением узнали молодые любовники о том, как трудно, почти невозможно было им стать мужем и женой. Геро, как жрица, не могла оставить храм ранее достижения двадцатипятилетнего возраста, не навлекши на себя бесчестия, а отец Леандра, знатный аристократ и первый богач Абидоса, уже давно и твердо порешил женить своего сына, через год, на единственной дочери еще более богатого коринфского купца, с которым он вел большие торговые дела.

Среди глубоких вздохов, непрерывных поцелуев и соленых слез согласились влюбленные терпеливо ждать той счастливой поры, когда два великие бога — бог любви и бог случая — ниспошлют им радость соединиться навеки, а до этого дня неизменно любить друг друга.

— Но как же мы будем видеться? — уныло спросил Леандр. — Ведь в обоих городах нас знает каждый человек.

— Тогда будем видеться ночью, мой дорогой, — стыдливо предложила Геро.

Леандр покачал головой.

— Разве тебе неизвестно, о душа души моей, что по ночам гавани как Абидоса, так и Сестоса заграждаются цепями и ни одна лодка не пропускается в пролив?

— Так что же? — быстро возразила Геро. — Разве ты не лучший пловец в Абидосе, а следовательно, и во всей Греции и во всем свете?

— Ах, и правда! — вскричал восхищенный атлет. — Это не пришло мне в голову. Я уже переплыл Геллеспонт четыре раза, всегда без особых затруднений.

Они крепко обнялись и условились, что на другой день Леандр переплывет пролив, а Геро около полуночи будет ждать около той старой, полуразрушенной башни, которая, по преданию, построена была древними могучими циклопами.

На другой день, ранней ночью, тайно выскользнула прекрасная Геро из жилых помещений храма, дрожа от любви, от страха и от ночной свежести, пришла к старинной, обомшелой башне и стала терпеливо дожидаться.

Необычайно долго тянулись минуты и часы. Сердце девушки стучало так громко, что, казалось, его биение было слышно даже в Абидосе.

Проходило мимо башни козье стадо, а за ним шел пастух, знакомый всему Сестосу, высокий, жилистый старик, похожий на большого похотливого козла или на крепкого, лукавого сатира, с сединою в вьющихся волосах и в короткой курчавой бороде.

— Эй, девчонка! — сказал он низким голосом. — Твой любовник или очень запоздает, или вовсе не придет, а ты, сидя на холодных камнях, заполучишь жесточайшую боль в костях. Возьми-ка мою шерстяную милоть да сядь на нее и закутайся ею.

— Уйди, уйди, противный! — сердито закричала Геро. — Фу, от тебя даже издали пахнет козлом!

— Козлом? — насмешливо спросил пастух. — А почему ты знаешь, что не богом? Да ты, девчонка, не бойся меня. Я ничего не делаю насильно, я только заманиваю. И притом зелени не терплю, пускай ею наслаждаются мои козы! Ну, вот я и отошел. А чтобы тебе не было так тоскливо дожидаться твоего красавчика, я сыграю тебе хорошенькую песенку.

Пастух сел на камень и стал играть на свирели одну песню за другой, и каждая песня была милее предыдущей, и так нежны, так сладки, так чисты были звуки легкого инструмента, что, заслушавшись, забыла прекрасная Геро свою тоску.

Она даже сказала:

— Послушай, старый козел, сыграй эту песенку еще раз.

Время же бежало и бежало. Стал светлеть воздух. Пастух все играл да играл. Вдруг девушка сказала:

— Эй ты, сатир! И правда, дай-ка мне твое покрывало, я вся дрожу.

Порозовело море от дальней утренней зари, стали ясно видны ближние, а потом дальние предметы.

Опасно было для Геро оставаться дольше вне ограды храма, и она печально пошла домой.

К полудню она получила через верного человека восковую дощечку, на которой Леандр писал о том, что одно дело плыть днем, а другое — ночью. Он плыл всю ночь, потеряв направление и место, руководясь только чутьем и своей любовью, а к утру очутился опять у абидосского берега. Леандр просил Геро, чтобы в последующую ночь она развела бы на вершине башни костер из сухих кустарников и из деревянных обломков, которых много валяется на берегу.

Покорная любви и ее волнениям, опять пришла прелестная Геро к циклопической башне и опять застала там пастуха. Дул сильный восточный ветер. Начиналась буря. Белые шипящие валы набегали на берег и, яростно бухая об него, растекались широко по земле. Шел резкий, злой дождь.

— Пастух, пастух! — взмолилась беспомощная Геро. — Ты, правда, ужасная уродина, но ведь ты добрый и, надеюсь, не откажешь помочь мне зажечь костер на верху башни.

— Сигнал для милого? Не так ли? — смеясь, спросил пастух. — Отчего же? Во всех делах любви я везде и всегда самый усердный помощник.

Геро невольно удивлялась, с какой быстротой и ловкостью работал старый пастух, за ним не угнались бы четверо молодых. По внутренним каменным ступеням он живо натаскал множество деревянных остатков от судов и лодок.

Девушка подавала ему снизу вереск и сучья иссохших прибрежных кустарников.

— Не смей щипать меня! — визжала она порою.

— Прости, я нечаянно, — говорил пастух смиренно.

Когда же они развели большой и яркий огонь на вершине башни и спустились вниз, то сказал козий начальник:

— Вот что, моя девочка, дождь и буря усиливаются с каждой минутой. Сидя здесь, ты так размокнешь, что твой милый найдет вместо тебя мокрую кашу.

Пойдем-ка, я знаю здесь поблизости одну пещеру, сухую и просторную, там и укроемся до нужного часа. А огонь я буду время от времени поддерживать.

— Только ты будешь вести себя смирно, о старый сатир?

— Даю слово.

Пещера была в самом деле удобна, велика и чиста, пол ее был заботливо устлан сухими листьями и вереском.

Геро с удовольствием села на громадную милоть из густой козьей шерсти. Пастух тоже присел на краешек покрывала.

— Вот теперь, — сказал он, — я буду рассказывать тебе, милая девочка, разные сказки. Чтобы нам обоим было не так скучно.

Ах, как он рассказывал! На что уж очень хорошо играл он на свирели, но сказки его были стократно лучше. Говорилось в них о дальних морских путях в необыкновенно волшебные страны, и о героических приключениях, и о жизни самих богов на Олимпе, и все эти сказки были как бы пронизаны, пропитаны веселой, легкой, проказливой любовью, где на бесцеремонный и страстный натиск игриво отвечала едва замаскированная податливость и откровенная жажда наслажденья.

Однажды пастух встал на ноги и выглянул из пещеры.

— Костер горит слабо, — сказал он, — я пойду подкинуть топлива.

— Иди, — сказала девушка вяло. — Только поскорее возвращайся, мне страшно одной.

Пастух управился с огнем и вернулся назад.

— Садись, — приказала Геро, — да поближе. Издали плохо слышно. Ну, рассказывай.

И опять пастух стал изысканно плести сказку за сказкой, и были некоторые из них таковы, что Геро во тьме краснела не только лицом, но даже грудью, спиной и животом. Однако слушала она с величайшей радостью и часто говорила: «Еще, ну, еще одну!» И сама не сознавала того, что ее тонкие пальчики все

время ласково перебирали жесткую курчавую бороду рассказчика.

Через некоторое время пастух, остановившись на половине сказки, сказал:

— Огонь опять уменьшается. Я пойду подброшу дров.

— Не надо! — капризно воскликнула Геро. — Не надо! Я отсюда вижу, что костер пылает. Иди скорее ко мне досказывать сказку, а чтобы было теплее, ложись со мной рядом.

Но в эту минуту послышался слабый дальний призыв:

— Геро!

То был голос Леандра. Пастух проводил Геро до того места, куда прибой выбросил юношу, а сам скрылся в темноте. Но перед тем как исчезнуть во мраке, он шепнул девушке:

— Завтра я опять приду, а днем меня можешь найти у ворот Ахилла, в доме, над которым торчит большая козлиная голова.

Геро с трудом дотащила Леандра до пещеры. Он смертельно устал и был жестоко разбит волнами о прибрежные камни. Падая на ложе, он успел только прошептать ее имя и растянулся без чувств. Геро посидела около него с час, но, убедившись, что его обморок перешел в глубокий здоровый сон, она тихо встала, поцеловала Леандра холодно в лоб и ушла.

Утром обитатели храма хватились: где Геро? Но ее так нигде и не отыскали — она исчезла бесследно. Что же касается Леандра, то когда он проснулся и узнал, что заснул во время любовного свидания, лежа на одной постели с возлюбленной, то пришел в жесточайшее отчаяние. Большего позора, чем тот, который пал на него, — не существовало в древней Элладе. Поэтому Леандр тоже предпочел уйти навсегда из родных мест. Его тоже, как ни искали, нигде не могли найти. Один из жителей Абидоса, пробывший несколько дней в Афинах, рассказывал, что видел в столичном театре знаменитого актера, точь-в-точь похожего на Леандра. Но он был известный лжец, и ему никто не поверил. Народ же сочинил прекрасную легенду.

ОЛЬГА СУР

Эту цирковую историю рассказал мне давным-давно, еще до революции и войны, мой добрый приятель, славный клоун Танти Джеретти. Я передаю ее, как могу и умею; конечно, мне теперь уже не воскресить ни забавной прелести русско-итальянской речи моего покойного друга, ни специальных цирковых технических словечек, ни этого спокойного, неторопливого тона...

Вы, конечно, знали, синьор Алессандро, цирк папаши Сура? Это был очень известный в России цирк. Сначала он долго ездил из города в город, разбивая свое полотняное шапито на базарных площадях, но потом прочно укрепился в Киеве, на Васильковской улице, в постоянном деревянном здании. Тогда еще Крутиков не строил большого каменного цирка, а имел собственный частный манеж, где и показывал знакомым своих прекрасно выезженных лошадей, всех на подбор масти Изабелла, цвета светлого кофе с молоком, а хвосты и гривы серебряные.

Старик Сур знал свое дело отлично, и рука у него была счастливая: оттого-то и цирк у него всегда бывал полон, и артистов он умел ангажировать первоклассных. Достаточно вспомнить Марию Годфруа, Джемса

Кука, Антонио Фосса, обоих Дуровых и прочих. Да и все семейство Сур было очень талантливо. Ольга — грациозная наездница, Марта — высшая школа езды, младший сын Рудольф прекрасно работал «малабриста», то есть жонглировал, стоя на галопирующей лошади, всевозможными предметами, вплоть до горящих ламп. Старший сын Альберт занимался исключительно дрессировкой лошадей. Раньше он неподражаемо работал «жокея»; иные знатоки ставили его рядом с самим Куком. Но случилось несчастье, неловкий каскад с лошади за барьер, и Альберт сломал ногу. Конечно, это беда небольшая: нужно было бы только, чтобы его лечили свои, цирковые, по старым нашим тысячелетним способам. Но мамаша Сур оказалась женщина с предрассудками: она обратилась к какому-то известному городскому врачу, ну и понятно: нога срослась неправильно, Альберт остался на всю жизнь хромым. Но, подумайте, пожалуйста, синьор Алессандро: если великий живописец ослеп, если великий композитор оглох, если великий певец потерял голос, — разве они для самих себя, внутри, не остались великими артистами? Так и Альберт Сур. Пусть он хромал, но он был настоящей душой цирка. Когда на репетициях или на представлениях он, прихрамывая, ходил с шамбарьером в центре манежа, то и артисты и лошади чувствовали, как легко работать, если темп находится в твердой руке Альберта. Он одним быстрым взглядом замечал, что проволока натянута косо, что трапеция подвешена криво. И, кроме того, он так великолепно ставил большие пантомимы, как уже теперь никому не поставить. Впрочем, выходит теперь из моды прекрасное зрелище — пантомима.

У него был ангельский характер. Его все любили в цирке: лошади, артисты, конюхи, ламповщики и все цирковые животные. Он был всегда верным товарищем, добрым помощником, и как часто заступался он за маленьких людей перед папашей Суром, который, надо сказать, был старик скуповатый и прижимистый. Все это я так подробно рассказываю потому, что дальше расскажу о том, как я однажды решил зарезать Альберта перочинным ножом...

Если Альберт считался сердцем цирка, то, по совести, его главной красой и очарованием была младшая сестра Ольга. Старшая — Марта — была, пожалуй, красивее — высокая, стройная, божественно сложенная и первоклассная артистка. Но от работы ее веяло холодом и математикой, а поклонников своих она держала на расстоянии девятнадцати шагов, на длину манежного диаметра: так она была суха, горда, величественна и неразговорчива. Ольга же вся, от волос, цвета лесного ореха, до носочка манежной туфельки, была сама прелесть. Впрочем, вы видели Ольгу, а кто ее видел, тот, наверное, никогда не позабудет ее нежного лица, ее ласкового взгляда, ее веселой невинной улыбки и милой грации всех ее движений. Мы же, цирковые, знали и о ее природной простодушной доброте.

Что же удивительного в том, что в Ольгу были влюблены мы все поголовно, в том числе и я, тогда тринадцатилетний мальчишка, работавший на пяти инструментах в семье музыкальных клоунов Джеретти.

Я хорошо помню это утро. В пустом цирке было полутемно. Свет падал только сверху из стеклянного кумпола. Ольга в простой камлотовой юбочке, в серых чулочках репетировала с Альбертом. Мы, шестеро Джеретти, сидели, дожидаясь своей очереди, в первом ряду паркета.

Ольге все не задавался один номер. Она должна была, стоя на панно, сделать подряд два пируэта, а затем прыжок в обруч. Всего четыре темпа короткого лошадиного галопа: пируэт, пируэт, выдержка, прыжок. Но вот бывают же такие несчастные дни, когда самая пустячная работа не ладится и не ладится. Ольге никак не удавалось найти темп для прыжка, все она собиралась сделать его то немножко раньше, то немножко позже, а ведь скок лошади — это непреложный закон. И вот только она соберет свое тело для прыжка и даже согнет ноги в коленях, как чувствует, что не то, не выходит, и делает рукою знак штальмейстеру: отведи обруч!

И так несколько кругов. Альберт не волнуется и не сердится. Он знает, что оставить номер недоделанным никак нельзя. Это тоже закон цирка: в следующий раз будет втрое труднее сделать. Альберт только звонче щелкает шамбарьерным бичом и настойчивее посылает Ольгу отрывистым: «Allez!» — и еще и еще круг за кругом делает лошадь, а Ольга все больше теряет уверенность и спокойствие... Мне становится ее жалко до слез. Альберт кажется мне мучителем.

И вот один быстрый момент. Я слышу повелительное, толкающее, точно удар, allez! — и одновременно вижу, как тонкий конец шамбарьера обвился вокруг стройной Ольгиной икры и дернулся назад. Ольга громко и коротко закричала. Вот так: а! — и в ту же секунду ловко прыгнула в обруч и опять стала на панно. Вот в этот-то момент я вытащил из кармана мой, только что купленный, ценою бог знает каких свирепых сбережений, перочинный ножик. Но напрасно я старался открыть лезвие, обломав ноготь большого пальца в узкой выемке. Пружина была нова, еще не расходилась и упорно не хотела поддаваться моим усилиям. И, конечно, только эта заминка спасла жизнь милому, доброму Альберту Суру. Пока я возился с ножиком, за это время моя тринадцатилетняя итальянская кровь перестала бурлить и клокотать. Ко мне вернулось сознание. Ведь надо сказать, что вкус, цвет и запах таких тонких блюд, как шамбарьер или рейтпейч, мне уже были знакомы с самых ранних детских дней. Но напрасно в публике и в цирковых романах ходит ошибочное мнение, что у нас будто бы учителя истязают учеников. Ведь для мальчишек нет более соблазнительного занятия, чем прыгать, скакать, кувыркаться, бороться и вообще побеждать закон притяжения. Однако в цирковых номерах бывает порою и жутковато и страшновато. Надо сделать то-то или то-то. Момент нерешимости, колебания... и вдруг тебя ожгло по задушке... Боль моментально заглушает трусость. Остается только приказание и желание ему повиноваться. Номер сделан так легко, точно ты раскусил орех. А учитель гладит всей пятерней твое мокрое лицо и говорит сразу на трех языках:

— Bravo, schön, bambino! [1]

Всю эту науку я, конечно, знал в совершенстве, но поставьте и себя на мое место: обожаемую, недосягаемую богиню — вдруг хлыстом по ноге? Чье юное сердце это вытерпит? Лучше уж хлестни лишний раз меня!

А Ольга между тем делала круг за кругом, пируэт за пируэтом, прыжок за прыжком, все свободнее, легче и веселее, и теперь ее быстрые, точно птичьи, крики: «А!» — звучали радостно. Я был в восторге. Я не утерпел и стал аплодировать. Но Альберт, чуть-чуть скосив на меня глаза, показал мне издали хлыст. На репетициях полагается присутствующим молчание. Хлопать в ладоши — обязанность публики.

Потом Альберт скомандовал:

— Баста!

Большая, белая, в гречке, лошадь первая схватила приказание и перешла в ленивый казенный шаг. Ольга вся в поту села боком на панно, свесив свои волшебные ножки.

Альберт, быстро ковыляя, подошел к ней, взял ее обеими руками за талию и легко, как пушинку, поставил ее на тырсу манежа. А она, смеясь и радуясь, взяла его руку и поцеловала. Это — благодарность ученицы учителю.

Я уже рассказывал, синьор Алессандро, о том, какая замечательная артистка Ольга Сур. Но у меня не хватило бы сил описать, как она была мила, добра и прекрасна. Теперь-то я понимаю, что в нее были влюблены все: и весь состав цирка, и все его посетители, и весь город Киев, — словом, все, все, не исключая и меня, тринадцатилетнего поросенка. Однако влюбленность такого мальчишки ничего в себе дурного не таит. Так любит брат старшую сестру, сын молодую и красивую мать, ученик самого мелкого класса ученика выпускного класса, который уже без-

---

[1] Браво, прекрасно, мальчик! *(франц., нем., итал.)*

боязненно курит и щиплет на верхней губе вырастающий пух первого уса.

Но как же я мог догадаться, что в Ольгу влюблен — и влюблен навеки — м-сье Пьер, незаметный артист из униформы. В цирковом порядке он был почти ничто. Им, например, затыкали конец вечера: оркестр играет галоп в бешеном темпе, а артист вольтижирует. Но вы понимаете сами: последний номер, публика уже встает, надевает шубы и шляпы, торопится выйти до толкотни... Где же ей глядеть на заключительный вольтиж? Мы-то, цирковые, понимали, как отчетлива и смела была работа Пьера, но, извините, публика никогда и ничего не понимает в нашем искусстве.

Также иногда в понедельник, в среду или в пятницу, в так называемые «пустые» дни, выпускали Пьера работать на туго натянутом корабельном канате; старый номер, никого не удивляющий даже в Италии, в этой родине цирка, где цирковую работу любят и понимают. Но мы, цирковые, стоя за униформой, этого номера никогда не пропускали. Десять сальто-мортале на канате с балансиром в руках — это не шутка. Этого, пожалуй, кроме Пьера, никто бы не мог сделать в мире.

Устраивался иногда в цирке, чаще всего в рождественские и масленичные дни, так, для потехи градена, общий конкурс прыганья. Принимали в нем участие почти все артисты, униформы, клоуны и шталмейстеры — все, кто умел крутить в воздухе сальто-мортале. Укреплялась на высоте второго яруса, около входа, гибкая длинная доска в виде трамплина, а на середине манежа постилался большой матрас. Вот мы и прыгали все по очереди, а с каждым туром матрас отодвигался все дальше от трамплина, и с каждым разом выходили из игры один за другим соперники, у которых не хватало мужества или просто мускулов. Так представьте себе: Пьер всегда побеждал и оставался один для последнего прыжка, который он делал чуть не во всю длину манежного диаметра!

Теперь вы видите, что был он артистом первоклассным, а для цирка очень ценным и полезным. Однако

судьба осудила его на полную безвестность. Ведь слава часто приходит не от труда, а от счастливого случая. Прибавлю еще, что Пьер был очень добр, скромен, услужлив и всегда весел. Его в цирке любили, но как-то всегда затирали на третье место.

Повторяю, был я тогда совсем желторотый птенец. Мне и в голову не могло прийти, что этот бесцветный старый Пьер (ему тогда было лет тридцать, но, по моему клопиному масштабу, он казался мне чрезвычайно пожилым), что наш незаметный Пьер смеет любить, да еще кого, саму Ольгу Сур, первую артистку цирка, мировую знаменитость, дочь грозного и всесильного директора, страшнее и богаче которого не было никого на свете. Я только с удивлением замечал его восторженные взгляды, когда он устремлял их на Ольгу во время репетиций и спектаклей.

Но наши, цирковые, давно уже поняли Пьерову болезнь. Случалось, что они добродушно подтрунивали над Пьером. Острили, что после вечера, на котором Пьеру удавалось держать обруч для Ольги, или помочь ей вскочить на панно, или подать ей руку, когда она, убегая по окончании номера с манежа, перепрыгивала через воображаемый барьер, Пьер шел на другой день в костел и там, полный благодарности, распластывался крестом перед статуей мадонны.

Тогда мне Пьер был и смешон и жалок. Теперь-то, в моем очень зрелом возрасте, я понимаю, что Пьер был бесконечно смелым человеком. Однажды утром, во время репетиции, он наскоро перекрестился да взял и пошел к самому Суру в его директорский кабинет: «Господин директор, я имею честь просить у вас руку и сердце вашей младшей дочери, мадемуазель Ольги».

Старый Сур от великого изумления выронил одновременно и перо, которым только что подводил счеты, и длинную вонючую австрийскую сигару, которую только что держал во рту. Он позвал свою старую жену и сказал:

— Послушай, Марихен, нет, ты послушай только, что говорит вот этот молодой человек, м-сье Пьер... Повторите-ка, молодой человек, повторите.

Старый Сур говорил ничтожному Пьеру на *«вы»!* Это был зловещий признак. Никому во всей вселенной он не говорил «вы», за исключением местного пристава. Душа у Пьера дрогнула, но все-таки, прижав руку к середине груди, он сказал негромко:

— Мадам Сур, я сейчас имел честь и счастие просить у господина директора руку и сердце вашей прекрасной...

Мамаша Сур мгновенно вскипела:

— Как он осмелился, этот нищий конюх? Выброси сию же минуту этого негодяя из труппы и из цирка, чтобы им и не пахло больше!

Но старый Сур одним коротким поднятием ладони заставил ее успокоиться:

— Штиль!

Мадам Сур сразу поняла, что директор намерен немного позабавиться, и замолчала.

Старый Сур, не торопясь, достал с пола свою черную сигару и старательно вновь раскурил ее. Утопая в клубах крепкого дыма, начал он пробирать Пьера едкими, злыми словами. Так сытый и опытный кот подолгу играет с мышью, полумертвой от ужаса.

Как это Пьер мог додуматься до идеи жениться на дочери директора одного из первоклассных цирков? Или он не понимает, что расстояние от него до семьи Суров будет побольше, чем от земли до неба? Или, может быть, Пьер замаскированный барон, граф или принц, у которого есть свои замки? Или он переодетый Гагенбек? Или у него в Америке есть свой собственный цирк, вместимостью в двадцать тысяч человек, но только мы все об этом раньше не знали?

А впрочем, не свихнулись ли у Пьера набок мозги при неудачном падении и не надлежит ли ему обратиться к психиатру? Только сумасшедший человек или круглый идиот может забыть до такой степени свое ничтожное место. Кто он? безымянный служитель из униформы, которого обязанность подметать манеж и убирать за лошадьми их кротт. Действительно, вот приходит молодой человек, у которого в одном кармане

дыра, а в другом фальшивый гривенник, и это вся стоимость молодого человека. Он приходит и говорит: господин Сур, я желаю жениться на вашей дочери, потому что я ее люблю, и потому что вы дадите за нею хорошенькое приданое, и потому что я благодаря жене займу в цирке выдающееся положение. Нечего сказать — блестящая афера. Не хватало бы еще того, чтобы старый Сур передал этому бланбеку главное управление цирком!

Так, очень долго, пиявил, язвил и терзал бедного Пьера раздраженный Сур. Наконец он сказал:

— Ну, я понимаю, если бы у тебя было громкое цирковое имя или если бы ты изобрел один из тех замечательных номеров, которые артисту дают сразу и славу и деньги. Но у тебя для этого слишком глупая голова. Поэтому — вон!

И это «вон!» старый Сур выкрикнул таким повелительным громовым голосом, что рядом, в конюшне, лошади, услышав знакомый директорский окрик, испуганно заметались в стойлах и затопотали ногами.

Бедный Пьер с похолодевшим сердцем выскочил из директорского кабинета. Но тут в темноте циркового коридора нежная женская рука легла ласково на его руку.

— Я все слышала, — сказала ему на ухо Ольга. — Не отчаивайтесь, Пьер. Говорят, что любовь делает чудеса. Вот, назло папе, возьмите и выдумайте совсем новый номер, самый блестящий номер, и тогда с вами будут говорить иначе. Прощайте, Пьер.

После этого происшествия Пьер внезапно пропал из цирка. Никому из товарищей он не писал. Начали его понемногу забывать. Все реже и реже вспоминали его имя, но, надо сказать — каждый раз с теплотой.

А через год, в разгаре зимнего сезона, он опять приехал в Киев и предложил старому Суру ангажировать его на новый номер, который назывался довольно странно: «Легче воздуха». Только теперь он не звался бледным именем Пьера; его имя стало Никаноро

Нанни, и оно красовалось на всех заграничных афишах большими буквами и мелкой печатью в альбомах с иностранными газетными вырезками. Отзывы были так восторженны, что хитрый Сур не устоял: подписал контракт с Никаноро Нанни. Да и как же было устоять, когда и в Италии, и в Испании, и в Вене, и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне известнейшие знатоки циркового дела писали, что такие цирковые номера появляются лишь раз в столетие и говорят об усердной, долгой, почти невозможной тренировке.

Мы видели результаты этой дьявольской работы на пробной репетиции. Необычайное зрелище! Сам старый Сур не удержался и сказал:

— Это чудо! Если бы не видел своими глазами — я никому бы не поверил.

А номер был на неопытный взгляд как будто простой. На высоте двух хороших человеческих ростов строилась неширокая площадка для разбега; она оканчивалась на середине манежа американским ясеневым трамплином, а на другой стороне манежа укреплялся обыкновенный бархатный тамбур такой величины, что можно было только поставить ноги, окончив прыжок. И что же делает Никаноро Нанни? Он берет в каждую из рук по двадцатипятифунтовой гире, затем он делает короткий, но быстрый разбег, отталкивается со страшной силой от трамплина и летит прямо на тамбур...

Но во время этого полета, в какой-то необходимый, но неуловимый момент, он бросает обе гири, и тут-то, преодолев закон тяжести, ставши внезапно легче на пятьдесят фунтов, он неожиданно взвивается кверху и потом уж кончает полет, упав на тамбур. И этот-то невообразимый полет, клянусь вам, синьор Алессандро, производил каждый раз на нас, всего навидавшихся в цирке, ощущение какой-то внезапной светлой радости. Такое же чувство я испытал гораздо позже, когда увидал впервые, как полз, полз по земле аэроплан и вдруг отделился от нее и пошел вверх.

Да, мы многого ждали от этого номера, но мы просчитались, забыв о публике. На первом представлении

публика, хоть и не поняла ничего, но немного аплодировала, а уж на пятом — старый Сур прервал ангажемент согласно условиям контракта. Спустя много времени мы узнали, что и за границей бывало то же самое. Знатоки вопили от восторга. Публика оставалась холодна и скучна.

Так же, как и Пьер год назад, так же теперь Никаноро Нанни исчез бесследно и беззвучно из Киева, и больше о нем не было вестей.

А Ольга Сур вышла замуж за грека Лапиади, который был вовсе не королем железа, и не атлетом, и не борцом, а просто греческим арапом, наводившим марафет.

ЧЕТВЕРО НИЩИХ

Легенда

Во всех кабачках и ресторанах Парижа можно спросить на десерт лесные орехи, миндаль, изюм и вяленые фиги. Надо только сказать гарсону: дайте мне «нищих», и вам подадут аккуратную бумажную коробочку, в которую заключены все эти четыре сорта заедок, столь любимых когда-то и у нас, в бывшей богатой торговой тысячеглавой Москве.

Париж, в своей беготне и суетливости, нетерпеливо сокращает слова и фразы: метрополитен — метро, бульвар С.-Мишель — Буль-Миш, бифштекс а ля Шатобриан — шато, кальвадос — кальва. Так и вместо старинного «dessert des quatres mendiants» [1] он бросает кратко «mendiants!». Однако лет девять назад я еще заставал на коробочках, содержащих это простое и вкусное лакомство, полную надпись. Теперь ее больше не увидишь.

Я уже и сам не знаю, услышал ли я где-нибудь, или видел во сне, или нечаянно сам придумал милую легенду о происхождении этого странного названия.

Любимейший из французских королей и героев (кроме мифических) еще не был тогда Генрихом Чет-

---

[1] «Лакомство четырех нищих» (*франц.*).

вертым и могущественным королем Франции, а всего лишь Анри Бурбоном, маленьким властелином маленькой Наварры. Правда, при его рождении знаменитый астролог Нострадамус предсказал ему по звездам великую будущность: славу, сияющую во всех веках, и неиссякаемую народную любовь.

Но во времена, о которых идет речь, молодой гасконский король — этот веселый и добрый скептик — еще и не думал о своей блестящей звезде, или, может быть, по свойственной ему осторожной скрытности, делал вид, что не думает. Он беззаботно бегал не только за прекрасными дамами своего крошечного двора, но и за всеми хорошенькими женщинами Оша, Тарба, Мирадны, По и Ажена, не оставляя своим любезным вниманием также и жен фермеров и дочерей трактирщиков. Ценил он острое слово, сказанное вовремя, и не напрасно его иные шутки и афоризмы стали сокровищами народной памяти. И любил он еще хорошее красное вино за веселой дружеской беседой.

Был он беден, прост с народом, справедлив в своих приговорах и весьма доступен; поэтому искренно преданы ему были и гасконцы, и наваррцы, и беарнцы, находя в нем милые черты доброго, легендарного короля Дагобера.

Большой его страстью и любимым развлечением была охота. В то время множество зверя водилось в нижних и верхних Пиренеях: волки и медведи, рыси, кабаны, горные козлы и зайцы. Знатоком был небогатый король Анри и в соколиной охоте.

Однажды, охотясь в окрестностях По, в густом сосновом лесу, простиравшемся на много десятков лье, король Генрих напал на след прекрасной горной козы и, преследуя ее, отделился понемногу от своей охотничьей свиты на очень большое расстояние. Раздраженные запахом зверя, его собаки так увлеклись погоней, что вскоре не стало слышно даже их лая. Между тем незаметно сгущался вечер, и пала ночь. Тут король понял, что он заблудился. Издали доносились

призывные звуки охотничьих рогов, но — странно — чем дальше он шел на них, тем слабее звучали рога. С досадою вспомнил Генрих о том, как сбивчивы и капризны все громкие звуки в горных лесах и какой предательский насмешник — горное эхо. Но было уже поздно. Предстояло переночевать в лесу. Однако король, как истый гасконец, был решителен и настойчив. Усталость одолевала его, голод терзал его внутренности, мучила жажда; к тому же неловко подвернувшаяся нога испытывала острую боль в ступне при каждом шаге; король все-таки, прихрамывая и спотыкаясь, с трудом пробирался сквозь чащу, в надежде найти дорогу или лесную избушку.

Вдруг его ноздрей коснулся слабый-слабый запах дыма (король вообще отличался изумительным обонянием). Потом мелькнул сквозь чащу малый огонечек. Король Анри пошел прямо на него и вскоре увидел, что на горной полянке разложен небольшой костер и вокруг него сидят четыре черные фигуры. Сиплый голос окликнул:

— Кто идет?

— Добрый человек и хороший христианин, — ответил Анри. — Я заблудился и вывихнул правую ступню. Позвольте посидеть у вас до утра.

— Иди и садись.

Король так и сделал. Странная компания заседала среди леса у огня: одетые в лохмотья, грязные и мрачные люди. Один был безрукий, другой безногий, третий слепой, четвертый кривлялся, одержимый пляскою святого Витта.

— Кто вы такие? — спросил король.

Но слепец с сиплым голосом возразил ему:

— Сначала гость представляется хозяевам, а потом уже спрашивает.

— Верно, — согласился Генрих. — Ты прав. Я ловчий из королевской охоты, что, впрочем, можно заметить по моему костюму. Я случайно отбился от товарищей и, как видите, потерял дорогу...

— Я-то, положим, ничего не вижу, но все равно, будь нашим гостем. Мы рады тебе. Мы все из бродя-

чего цеха свободных нищих, хотя очень жаль, что твой добрый господин, король Анри, — да будет благословенно его славное имя, — издал такой жестокий указ о преследовании нашего сословия. Чем можем мы служить тебе?

— О, кишки святого Григория! — вскричал король. — Я голоден, как собака, и жажду, как верблюд в пустыне. Кроме того, может быть, кто-нибудь перевяжет мне ногу. Вот вам маленький золотой, все, что у меня есть с собой.

— Прекрасно, — сказал слепец, который, по-видимому, был предводителем компании. — Мы предложим тебе на ужин хлеба и козьего сыра. У нас также имеется самое отличное винцо, какого нет, пожалуй, и в королевском погребе, да притом в безграничном количестве. Эй ты, плясун! Сбегай-ка скорее к роднику и нацеди фляжку воды. А ты, охотник, протяни мне больную ногу, я стащу с тебя сапог и забинтую тебе подъем и лодыжку. Это не вывих: ты просто растянул жилу.

Вскоре король вдоволь напился холодной родниковой воды, которая ему, великолепному знатоку в напитках, показалась вкуснее самого драгоценного вина. С необыкновенным аппетитом съел он простой ужин, а туго и ловко перевязанная нога сразу почувствовала облегчение. Он сердечно поблагодарил нищих.

— Подожди, — сказал слепой. — Неужели ты думаешь, что мы, гасконцы, обходимся без десерта. Ну-ка, ты, однорукий!

— Мне лавочница подала мешочек с изюмом.

— Ты, одноногий!

— А я, покамест он заговаривал зубы лавочнице, стянул пригоршни четыре фиг.

— Ты, плясун!

— Я набрал по дороге полную запазуху лесных орехов.

— Ну, а я, — сказал слепой староста, — я присоединяю узелок с миндалем. Это, друзья мои, из моего собственного маленького садика, с моего единственного миндального дерева.

Покончив с ужином, король и четверо нищих легли спать и сладко проспали до ранней зари. Утром нищие указали королю дорогу до ближайшей деревни, где Анри мог найти лошадь или осла, чтобы кратчайшим путем добраться до По.

Прощаясь с ними и благодаря их от души, Генрих сказал:

— Когда придете в По, не забудьте зайти во дворец. Короля вам незачем будет разыскивать, вы спросите только ловчего Анри, ловчего с остренькой бородкой, и вас проведут ко мне. Живу я небогато, но бутылка вина и кусок сыра, а иногда, может быть, и курятины у меня всегда найдется для друзей.

Король благополучно добрался до города По, встретив по дороге свиту, которая в тревоге его разыскивала. О своем ночном приключении он никому не рассказал.

Сколько прошло дней, недель или месяцев с того времени — легенда не говорит. Но однажды остановились у ворот скромного королевского дворца в городе По четыре нищих и стали просить, чтобы их проводили к сьеру Анри, ловчему королевской охоты, к тому самому Анри, у которого остренькая барбишка [1]. Начались пререкания и ссора. Нищие настаивали на своем, привратник кричал на них и все пробовал их вытолкнуть. На шум сбежались дворцовые люди, наконец и сам король выглянул в окно.

— Не трогайте этих людей, — крикнул он, — и ведите их скорее ко мне. Это мои друзья.

— Кто этот монсиньор? — шепотом спросил слепец.

— Неужели не знаете? Король!

Король угостил своих лесных знакомцев сытным обедом и добрым вином. Он сам сидел с ними за столом. А под конец трапезы подан был десерт из четырех блюд: орехов, изюма, миндаля и вяленых фиг. Нищие

---

[1] Бороденка (от *франц.* barbiche).

ушли из дворца обласканные и щедро одаренные монархом (который, надо сказать, был обычно несколько скуповат). А десерт четырех нищих стал модным сначала в Наварре и Гаскони, а потом, когда Анри стал доблестным Генрихом IV, славным королем Франции, он сделался неизбежным в каждом порядочном доме и даже во всех трактирах.

Очень может быть, что именно в память своих четырех друзей король Генрих отменил указ о прежестоком преследовании нищих, но — человек великого практического ума — он все-таки обложил их известным налогом в пользу государства.

ДОМИК

Петербург. По главной аллее Летнего сада идут три человека. Один из них — актер, Илья Уралов, новый любимец взыскательной александринской публики. Все у него преувеличенно большое: и могучее рослое тело, и рыжее крупное лицо с солидной бородавкой, и голос, и имя, и английское широченное пальто балахоном, и мягкая ковбойская шляпа, и даже карманные часы величиною с кухонный будильник. Рядом с ним, едва достигая головой его плеч, мелкими, торопливыми шажками семенит милейший, добродушнейший Яшенька Эпштейн. Весь артистический мир Петербурга знает и любит «нашего Яшу». Писатели, актеры, певцы, художники, музыканты — все они постоянные гости, а порою и временные жильцы в широко открытом Яшином доме.

Празднует Яша одинаково усердно и православные и еврейские праздники. Впрочем, иногда он не празднует ни тех, ни других. Это бывает в несчастливые дни, в *невезеньевы* полосы, когда в купеческом клубе понтеры бьют у него банк за банком, ибо главная специальность Яши — «макао», а то, что он талантливый инженер-химик — это маленькая побочная профессия...

В доме у него всегда просто, светло, весело и как-то радостно. Здесь поют, импровизируют, декламируют.

Здесь рождаются бесшабашные анекдоты, ставятся экспромтом одноактные оперетки и пародии на новые театральные пьесы, рассказываются старинные театральные предания и с любовью воскрешаются забытые старые песни и наивные романсы... Здесь каждый гость хозяин; ему все позволено. Одного только не терпит Яша: это когда кто-нибудь дурно говорит об отсутствующем товарище по профессии.

Но милый лик Яши заставил меня немного уклониться. Сзади Ильи Уралова лениво идет третий компаньон, очень смирный человек, — это ваш покорнейший слуга, пишущий настоящие строки.

Вчера была еврейская пасха, и Яша пригласил нас по этому случаю в еврейскую кухмистерскую, что на углу Невского и Фонтанки, и там угощал нас замечательным обедом, состоявшим из фаршированной щуки (рыба-фиш) и курицы по-еврейски, — обедом, орошенным семидесятиградусной пейсаховой водкой и сладким палестинским вином.

Но не в этих кулинарных прелестях заключался главный смысл обеда, а в том, что Яша познакомил нас с великим еврейским писателем и бесподобным юмористом Шолом-Алейхемом. Этот морщинистый маленький старик с острым и добродушно-лукавым взглядом сквозь роговые очки охотно прочитал нам несколько своих коротеньких рассказов. Он читал на жаргоне, но, обладая самым ничтожным запасом немецкого языка, его легко было понимать, так выразительно выговаривал он каждое слово и так ясны и богаты были его интонации.

А кроме того, все, что читал Шолом-Алейхем, тотчас же невольно, как живая иллюстрация, отражалось на подвижном лице Уралова, который родился и прожил всю молодость в черте и отлично знал жаргон. Ах, это было двойное наслаждение — слушать одного и смотреть на другого. У Яши все лицо сияло от удовольствия...

А на другой день, то есть сегодня, все мы трое званы были к пасхальному русскому столу у пламенного Павлуши Самойлова и оттуда ушли лишь после того, как раздели хозяина и бережно уложили его на

диван. Тогда и мы сами почувствовали потребность в прогулке по свежему воздуху.

Столетние липы Летнего сада еще были голы, но на их тонких ветках уже краснели пупырышки тугих почек. Весенний воздух дрожал и щекотал лицо. Мраморные богини, нимфы и музы только что освободились от своих зимних дощатых покрывал, и мне казалось, что их белым нагим телам хочется потянуться в сладкой весенней истоме. По дорожкам ходили женщины, такие прекрасные, какие бывают только в Петербурге весною...

Яша вдруг воскликнул:

— Укротись, Илья, сделай милость. Ты бежишь, как слон, и я устал тебя догонять.

Мы остановились.

— Вот что я вам хотел, господа, сказать, — продолжал Яша. — В сущности же это — свинство. Ну да, кто же из нас не назначал свиданий на скамейках Летнего сада. И все мы отлично знаем, что в Летний сад водил гулять юного Женю Онегина его гувернер — monsieur L'abbé и что Пушкин называл Летний сад своим огородом. Но признайтесь, друзья мои, были ли вы когда-нибудь в доме Петра Великого?

Мы переглянулись и все трое сознались конфузливо, что нет, не были.

— Так пойдемте.

Посетителей, кроме нас, не было. В сенях нас встретил древний старик в старинном мундире. Ростом он был с Уралова, несмотря на то, что время слегка согнуло его спину. Лицо его было обрито, а толстые и крутые, как у моржа, бело-зеленые усы покрывали всю его верхнюю челюсть. Вид у него был суровый, даже строгий. Он повесил наши пальто на колышки и сунул каждому из нас по номерочку. Говоря с нами, он поминутно делал паузы и, должно быть от астмы, громко отпыхивался; так: паф-паф-паф.

— Пожалуйте за мною, — сказал он и пошел по лестнице.

Яша ликовал. Потирая быстро и крепко свои маленькие ручки, он сказал восторженно:

— Так вот, это, значит, и есть домик Петра Великого? (Справедливость требует сказать, что Яша произнес не «домик», а нежно «домикь», с мягким знаком на конце.)

Старик вдруг остановился и с негодованием обернулся на Яшу.

— Домик? — переспросил он с густым презрением. — Домик? Паф-паф-паф. Не домик, а дворец его императорского величества, государя Петра Алексеевича. Паф-паф.

И он, ехидно передразнивая Яшу, еще раз повторил блеющим голосом:

— До-о-о-о-омик. Паф!

Яша был уничтожен. Тщетно он бормотал извинения. Он-де отлично знает, что домик — это на Петербургской стороне, под стеклом, он только случайно сбился, ошибся, сбился. Старый солдат не удостоил его даже взглядом.

И странно: в эту минуту мне вдруг показалось, что ветхий сторож служил солдатом еще при самом Великом Петре, разделяя с ним военные тяготы под Нарвой, Полтавой и Азовом, и показалось также, что в покоях вдруг запахло крепким табаком, ямайским ромом и острым потом огромного плотника.

Старик вел нас дальше, тяжело ступая по дубовым доскам, натертым, как паркет.

Яша не удержался и во второй комнате.

— Что за прелестный ковер! — сказал он, указывая на стену. — Изумительно!

— Ковер? — снова огрызнулся старик. — Это ковер? Паф-паф. Это не ковер, а гобелен французской королевской мануфактуры. Подарок герцогини Беррийской во время посещения Парижа государем Петром Алексеевичем... Паф-паф-паф. Доооомик.

Тут Яшенька уже совсем замолк. В картинной галерее он попробовал было сказать на ухо Уралову: «Какой великолепный Рембрандт!», и слава богу, что не сказал громко, а то бы задал ему перцу старый воин. Картина оказалась кисти Тинторетто.

Наконец сподвижник Петра привел нас в столовую.

— Обратите внимание, — торжественно заговорил он. — Стол из простого соснового дерева. Деревянные чашки и ложки... Паф-паф... А здесь, извольте поглядеть, малое окошечко прямо в кухню. Император любил, чтобы все ему подавалось самое горячее. Другие, паф-паф, не выдерживали, не терпели, обжигались...

— Да, — продолжал он с глубоким пафосом. — Было время и были люди. Ведь государыня-то, Катерина Алексеевна, сама, собственными ручками, изволила императору обед стряпать... А нынешние!.. разве оне могут? Разве понимают? Паф-паф. Дооомик.

Мы спускаемся в сени. Петровский солдат помогает одеться мне и Уралову. Мы даем ему по полтиннику. Яша дает дрожащей рукой синюю пятирублевку. Но старик не притрагивается к его пальто. Он равнодушно опускает бумажку в карман и произносит:

— Паф-паф. Дооомик.

ДУРНОЙ КАЛАМБУР

Я написал в журналах несколько рассказов из цирковой жизни. Они были многими читателями приняты с милой теплотою. Эту отзывчивость я отнюдь не склонен приписывать достоинствам моих сочинений: писал я попросту о том, что видел и слышал. Причина читательского одобрения совсем другая. Всех нас в ранней юности цирк восхищал, волновал и радовал. Кто из нас избежал его чудесной, здоровой, крепящей магии? Кто из нас забыл этот яркий свет, этот приятный запах конюшни, духов, пудры и лайковых перчаток, этого шелка и атласа блестящих цирковых костюмов, щелканье бича, холеных, рослых, прекрасных лошадей, выпуклые мускулы артистов? Тогда ведь видали мы гораздо зорче и совсем другими глазами, чем теперь. И возвращались мы из цирка домой широкими и упругими шагами, круто выпятив грудь, напрягая все мускулы. Легкие бывали у нас расширены от беззаботного, громкого, доброго хохота, и как ловко мы перепрыгивали через лужи!

Много драгоценных и, по совести скажу, полезных минут давал нам цирк... И теперешние знаки внимания к моим рассказам — это всего лишь благодарность пожилых людей цирку их прежних лет, трогательное воспоминание детства.

Недавно я получил из Болгарии от неизвестного мне человека небольшое, очень порадовавшее меня письмо.

Оно является как бы продолжением, послесловием к моей «Ольге Сур».

Я его привожу почти целиком, с малыми поправками. Надеюсь, читатели не посетуют на меня. Это письмо — правда. Вот оно:

«М. г. и т. д., отбрасывая часть официальную.

Читал и вспомнил себя семнадцатилетним гимназистом Киево-Печерской гимназии, одним из многих влюбленных в Ольгу Сур. Впрочем, это не совсем так. Влюблены мы были в других, в барышень, с которыми мы встречались на гимназических чайных балах или на катке в саду Меринга. А к Ольге Сур мы относились с какой-то особой лаской, теплотой и бережливостью. Иногда мы, что греха таить, возвращаясь с вечеринки, говорили довольно-таки развязно о знакомых дамах и барышнях, но никто никогда не позволял ни себе, ни другим выразиться об Ольге Сур фривольно.

Нас было шестеро знатоков и любителей цирка, шесть приятелей, и в наш кружок входил окончивший с нами гимназический курс сын киевского генерал-губернатора графа П. Игнатьева, в будущем полковник генерального штаба, ныне живущий у вас, в Париже.

Так как семья графа Игнатьева почти никогда в цирке не бывала, то губернаторской ложей пользовалась наша компания.

Помню, раз мы поднесли Ольге Сур букет. Поднесли за кулисами. Милая девочка покраснела не меньше нас, но протянула лодочкой каждому из нас худенькую ручку. В это время мимо нас проходил кто-то из униформы и с большим аппетитом ел апельсин, даже не очистив его, а прямо с кожей. Ольга взглянула на него и вдруг сказала:

— Счастливец! Он ест апельсин!

На другой день каждый из нас принес в цирк по десятку апельсинов.

Тогда апельсины стоили по три копейки за штуку, — и после номера Ольги (джигитовка) все шестьдесят апельсинов *полетели на арену* к ногам очаровательной. В награду две милые ручки послали нам несколько воздушных поцелуев. Много ли надо тогда было семнадцатилетнему гимназисту?

Несколько дней спустя, во время того же номера Ольги, когда с лошади снимали седло и уздечку для вольного галопа, один из клоунов, кто — не помню [1], обратился к публике со следующей репризой:

— А скажите, господин капельклейстер, если бы у Олечки, когда ее папаше уже за шестьдесят лет, да вдруг родился бы братец, — что надо было бы сказать про такой факт?

И так как публика молчала, то клоун объяснил:

— Надо было бы сказать: Сур-рогат.

Очень немногие из публики засмеялись. По-видимому, не все поняли игру слов, но мы заметили, что Ольга круто повернула лошадь к клоуну и слабо вскрикнула.

Лошадь ее опять пошла свободным галопом. Нужно было брать барьеры. Держал один из барьеров несчастный клоун. Когда Ольга взяла предыдущий барьер, то вдруг сбросила наземь свою белую папаху, подняла над головой кавказскую нагайку с серебряной рукояткой и, поравнявшись с клоуном, уже на прыжке, со всего размаха ударила его по лицу. Сквозь его грим сразу стал виден сначала мгновенно белый, а потом багровый рубец.

Клоун выпустил барьер и, закрыв лицо обеими руками, мелкими шагами побежал с манежа. Но тут публика уже поняла смысл дерзкого каламбура и наградила Ольгу бешеными аплодисментами.

Не знаю, известен ли вам этот случай? Если нет, то он будет лишней черточкой в ваших воспоминаниях о цирке и о милой, маленькой Ольге, восхитительнице наших гимназических сердец.

Из нашей киевской шестерки нас в Болгарии оказалось двое: я и мой приятель-инженер. Он живет на границе Греции, я в Софии. Встречаемся лишь раз в год. Вспоминаем милое далекое... Непременно вспомянем Ольгу Сур в черкеске и наши апельсины».

---

[1] Козлов. Отличный дрессировщик, добрый, смелый человек и хороший товарищ. На эту дурацкую выходку он, не поняв каламбура, был подстрекнут Г., тогдашним киевским львом. *(Прим. автора.)*

СОЛОВЕЙ

На днях я рылся в бумажном мусоре, отыскивая какой-то неважный документ, и — вот — нашел эту фотографическую группу, которая лет уже девять как не попадалась мне на глаза, и о ней я забыл окончательно.

Почему-то теперь, глядя на нее, я вздохнул так глубоко, так нежно и так грустно.

Это было еще до великой войны, в первой половине мая. Я жил тогда в северной Италии в маленьком курорте Сальцо-Маджиорэ. Теперь туда, по ценам, нет доступа людям даже очень богатым, а в то время в гостинице «Сперанца» я платил восемь итальянских лир за милую светлую комнату и за все остальное, вплоть до вина, хотя вино пить было невозможно по причине его крепости, горечи и кислоты.

Диковинное это было местечко Сальцо-Маджиорэ. Ехать в него нужно было из Милана на Борго-Сан-Донино, часа три по железной дороге, а оттуда верст шесть на лошадях.

Как только на станции Борго-Сан-Донино вы садились в коляску и трогались, как уже ясно ощущали запах йода, который постепенно делался гуще и крепче.

Это пахнут йодистые источники, которые здесь пропитали всю почву и носят славное наименование: Аква-Мадрэ, Вода-Мать. Потом к этому постоянному запаху так привыкаешь, что совсем не замечаешь его.

«Материнская вода» употреблялась разнообразно: ее пили, из нее делали теплые ванны; в большой зале, насыщенной ее парами, пациенты могли писать, читать, пить кофе или просто лежать на лонгшезах, проходя в то же время курс лечения. Но особенно высокой репутацией пользовались в Сальцо-Маджиорэ йодистые ингаляции: вдыхание йодистой воды, обращенной пульверизаторами в воздушную пыль. Давно уже стало известным, что эти ингаляции творят истинные чудеса при горловых болезнях, при усталости горловых связок и при поражении дыхательных путей. Оттого-то Сальцо-Маджиорэ и был тем лечебным местом, куда на летнее время стекались все хоть мало-мальски известные певцы и певицы. Знаменитости непременно посещали его ежегодно. И у всех этих тенор ди Грация, тенор ди Форца, баритоно ассолюто, бассо-профондо и бассо-нобиле, у всех сопрано лирических, драматических и колоратурных и у всех бархатных контральто был один неписаный, даже неуговоренный завет: все они в течение курортного времени не издавали ни одного звука; они избегали даже говорить громко, ограничиваясь слабым томным полушепотом.

В пансионе «Сперанца» нас жило трое русских. Один из них, с которым я приехал из Петербурга, был синьор Джакомо Чирени, он же клоун Жакомино, артист, который так завидно был любим петербургской детворой, что в игрушечных магазинах называли рождественских плюшевых обезьянок не иначе как Жакоминками. Это дети так научили взрослых: «Мама, купи мне Жакоминку...» И это ли не подлинная, чистопробная слава.

Другого русского мы уже застали в нашем пансионе. Он приехал за несколько дней перед нами. Это был Джиованни Страцула, когда-то солист в итальянской капелле Граменья, тот самый знаменитый Джио-

ванни, чьими неаполитанскими канционетами восхищался весь Санкт-Петербург, несмотря на то, что эти резвые прелестные песенки бывали порою совершенно неприличными. Он точно не имел возраста. Как петербургские старожилы, так и петербургские юнцы видели его всегда одним и тем же плешивым и морщинистым стариком, низеньким, крепким и веселым. И голос его — необыкновенно высокий блестящий тенор — никогда не знал ни порчи, ни следов утомления; друзья в шутку не раз его спрашивали: «Правда ли, Джиованни, что вы пели еще в ватиканской капелле Папы Сикста Пятого?»

И он неизменно отвечал: «Ти все вриошь, бабушка (он величал бабушками одинаково: мужчин и женщин, старых и молодых). Ти вриошь. Я бил два раза жената».

И как же мне не называть этих двух милых итальянцев русскими, если они и до сих пор спрашивают меня в письмах или при встречах:

— Синьор Алессандро, когда же ми вернуль домой, на наша Россия?

Ах, было, было в душе нашей варварской, нашей отсталой, нашей некультурной, нашей старорежимной родины какое-то могучее очарование, которое пленяло и акклиматизировало души коренных иностранцев, чему доказательство — многие сотни известных имен и тысячи неизвестных.

Мы жили в нашей «Надежде» очень дешево, дружно, беззаботно-весело. Они играли азартно в «окопу», пели, бренчали на гитарах. Я учился итальянскому языку, переводя Стеккети и Кардуччи с помощью словаря. Итальянцы в ту пору были чрезвычайно общительны и легки на знакомство, и вскоре нашу столовую все чаще и чаще начали посещать друзья моих русских итальянцев, преимущественно из оперного мира. Промелькнул метеором, по дороге в Америку, необыкновенно толстый, но очаровательный Карузо, два или три раза пообедал с нами добрый ласковый Джиральдони: вот уж к кому было бы удачно применено пушкинское словечко: «из русских распрорусский». А потом как-то особенно прочно и надолго прижилась у нас прекрас-

ная четверка: Ада Сари, Пинтуччио, Тито Руффо и кавалер Нанни — всё первоклассные певцы с громкими именами, такие великолепные и недосягаемые на сцене, в атласных и бархатных костюмах, с латами, коронами, перьями, брильянтами и жемчужными ожерельями; такие простые, наивные, добродушные ребята в обыкновенной будничной жизни.

Меню наших обедов были несложны: все традиционные итальянские блюда — менестра, макарони, равиоли, иногда жесткий кусок мяса, жаренного на деревянном масле, с неизбежным салатом «финоки», лечебно пахнущим ипепекуаной. Мы, «русские», считали себя как бы хозяевами и потому старались по возможности разнообразить стол, покупая кое-когда фрукты, пирожное или бутылку кианти. В этих наших хозяйственных хлопотах ревностно и бескорыстно помогали нам два наших соседа по гостинице, торговавшие оптом: один марсалой, другой вермутом. Мы с Жакомино так и называли их: папа Вермут и папа Марсала. Джиованни, конечно, называл их бабушками. Марсала и вермут подавались всегда на стол в изобилии... Виноторговцы были страстными меломанами.

Никогда мне не забыть одного удивительного дня.

Мы пообедали в нашей обычной табльдотной компании. Обед окончился поздно. После десерта многие разошлись. Остались только семь человек: трое нас русских и четверо итальянских певцов. Настал задумчивый тихий час. Смуглел и зеленел воздух за открытым окном; темнели листья кустов. Мы не заметили, в какой момент вечерняя звезда серебряным светом засияла, задрожала на зеленом небе. Точно она повисла на тончайшей невидимой нити... Сразу нежно и властно полился волшебный аромат каприфолий. Первые летучие светляки зачертили свои золотые быстрые полукруги. Мы молчали, боясь нарушить очарование вечера.

И вдруг в палисаднике, в кустах жасмина, в пяти шагах от нас, сначала осторожно, недоверчиво запел соловей. Конечно, он пел не так, как, например, поют наши курские соловьи, но, несомненно, чувствуя, что

его внимательно слушают тонкие знатоки пения, он старался от всей своей маленькой души. Так он пел минут пять, потом закончил высоким, высоким чистым звуком и замолчал. Настала пауза. Среди тишины раздался голос Джиованни:

— Какой тон?

И сразу все четыре большие певчие птицы всполошились:

— До... до диез... Си... до диез... До...

Ада Сари побежала к пианино и часто застучала по одной клавише.

— Я же говорила вам, что чистое до!

Но — баритон и кавалер — Нанни авторитетно сказал:

— Инструмент не темперирован. Соловей взял четверть тона. Это ни до, ни до диез, а среднее между ними.

Зажглось электричество, и мгновенно погасла сказка. Но, однако, вот что случилось:

Бывает так, что несчастный привычный пьяница, по зароку или по приказу врачей, бросит совсем пить вино и долго, мужественно держит свое слово. Но как-то за обедом неосторожно дали ему сладкий пирожок с сабайоном, в котором была лишь одна капелька рома, и — вот загулял, завертелся подвижник, ударился во все тяжкие, и пошел насмарку его великий, тяжелый подвиг.

Почти то же произошло на моих глазах с великими певцами. Они сразу оскоромились. Никто из них уже не жалел столь бережно своих голосовых связок. Тито Руффо с увлечением рассказал о своих гастролях в Петербурге и Москве. Он изумительно имитировал пение Шаляпина, Тартакова и Леонида Яковлева: их тембры, их манеру давать голос, их своеобразные приемы, их жесты... Поздним вечером мы сидели на веранде лучшего кафе, пили Лакрима-Кристи, болтали и хохотали. Наступала уже ночь, и все черное небо усеялось крупными южными звездами, когда мы (честное слово — и я в том числе) запели прекрасную народную песенку: «О прекрасная садовница». Вот она в приблизительном переводе:

О прекрасная садовница,
Мать всех цветов,
Сделай мне букет
Из всех трех красок:
Зеленой и белой
И красной, конечно.
Да здравствует Италия и Свобода!

E viva Italia e la Liberta! Надо сказать, что эта песенка была в то время революционной и, следовательно, запрещенной.

Двое нарядных карабинеров (они всегда ходят по двое) подошли к нам, и старший сказал:

— Синьора, и вы, синьоры. Вы поете прекрасно, но эту песню петь публично не полагается, а потому, ввиду позднего времени, я прошу вас разойтись по домам, если не хотите, чтобы я переписал ваши имена...

Мы разошлись, но еще долго, по несколько раз прощались, провожали друг друга, и снова прощались, и снова провожали, а за нами упорно и молча ходили нарядные карабинеры. Подняв руку кверху и потрясая ею, кричал прославленный баритон:

— Пишите мне, друзья мои, пишите. Адрес простой: Roma, villa Tito Ruffo [1].

---

[1] Рим, вилла Тито Руффо *(итал.)*.

МЫС ГУРОН

I. «СПЛЮШКА»

Мы живем на скале, которая утопает в море. Если откроешь окно и выглянешь наружу, то море и под тобою и перед тобою. А если смотреть вдаль, то и над тобой. А когда выйдешь за ветхую дверь и подымешься на пять-шесть ступеней, намеченных грубо в каменной породе, то ты уже находишься в лесу, среди кривоствольных приморских сосен, смолистый запах которых просто удушает.

Здесь-то мы и живем на мысе Гурон, в рыбачьей хижине (по-местному — «кабано»), в условиях, не особенно далеких от тех, в которых когда-то проживали Робинзон и Пятница.

Хромой стол, два хромых стула, два утлых топчана, и все это из некрашеного гнилого дерева, керосиновая лампа — вот вся наша обстановка. Готовим пищу на спиртовке (понятно, когда есть что готовить...). Здесь нет ни газа, ни электричества и не только нет уличных фонарей, но и самых улиц и даже дорог. Нет и помина о водопроводе и канализации. Нет никакого подобия лавок, ресторанов или пансионов. Все эти культурные удобства и соблазны имеются лишь в купальном курорте «Лаванду», километрах в семи от нашего дикого уголка, у черта на куличках. А о неудобствах я не смею и говорить из боязни потерять репутацию приличного

человека. Довольно сказать, что сквозь наш высокий пирамидальный потолок, крытый разбитой марсельской черепицей, можно ночью с удовольствием любоваться ночными огромными мохнатыми звездами.

Раз в неделю приезжает к нам из «Лаванду» мясник. Через день после него — зеленщик. О своем прибытии они уведомляют всех обитателей гудками; почтальоны дают о себе знать какими-то пискучими дудками.

Здесь все просто, по-семейному. Никому, уходя из дому, не придет в голову запереть дверь. Коренные жители — помесь провансальцев с итальянцами — добры, простодушны, вежливы, приветливы, легки на услугу, любят весело и громко посмеяться. Слышу я иногда их здоровый, какой-то смугло-румяный хохот и с тихой завистью думаю: «А у меня на родине люди уже отвыкли и улыбаться».

А ведь какой был великий мастер великорусский народ загнуть вовремя и кстати острое слово, пусть порою немного и переперченное, но такое ладное и внезапное, что от хохота садишься наземь.

Просыпаемся мы в четыре часа утра. Да и мудрено не проснуться. Наша скала с пещерой, в этой пещере рыбаки как раз и устроили гараж для своих моторных и парусных лодок. И каждый день ровнехенько в четыре часа пополуночи, со свойственной морякам точностью, они начинают вытягивать эти тяжелые лодки в море. Тут уж не до сна! Стук, треск, кряхтенье, здоровые окрики, лязг железа, бормотание мотора и, наконец, та морская заутреня, которую я по-французски не понимаю, но которую по-русски я раза два-три слышал у балаклавских рыбаков в доброе старое, наивное и прекрасное время.

Но какое утро!

Я не могу сейчас вспомнить, кто это сказал чудесные слова: рано встал — не потерял. Вернее всего, что это изречение принадлежит не кому-то, а народу.

Из темноты медленно выплывают едва видные очертания холмов по этой стороне залива, и много-много времени проходит, пока они не окрасятся нежными розовато-желтыми тонами, похожими на цвет здорового

человеческого тела. Но стоит только на минутку отвернуться и опять поглядеть, то видишь с удивлением, что дальние гористые острова, сигнальная станция и чей-то роскошный парк на соседнем мысе уже радостно загорелись нежнейшим розовым светом, подобным цвету шиповника, а через секунду это освещение делается красно-пламенным. Взошло солнце. Как мило, как сладко для взора и для сердца рисуются дальние лодки и взмах весел и уже на самом горизонте неподвижный, выпуклый, очаровательный парусок, похожий на лепесток мальвы.

Еще прохладно. Воздух чист и прозрачен. Им дышишь и не надышишься. В Париже ты дышишь только до горла. Здесь — до глубины легких и как бы до живота и до ног. Но вот уже начали свой безумный концерт неутомимые цикады.

Да, провансальская цикада — это существо, которое бесспорно страдает эротическим умопомешательством. От раннего света до последнего света, и даже позднее, они бесстыдно кричат о любви. Никому не известно, когда они успевают покушать. Цикада-самец целый день барабанит своими ножками по каким-то звучащим перепонкам на брюшке, призывая громко и нагло самочку. Оттого-то его жизнь так и недолговечна: всего три дня. Как себя ведут в это время самки, я не знаю, да, по правде сказать, и не интересуюсь. Это дело специалистов.

Я не берусь описать неумолчный крик цикад. По-моему, самое лучшее его описание сделал покойный поэт Александр Рославлев. Он говорил, что этот крик похож на тот трещащий звук, который мы слышим, заводя карманные часы. Так вот, вообразите, что триста тысяч опытных, ловких, но нетерпеливых часовщиков заводят наперегонки все часы в своем магазине, но только крик цикад раз в сто громче.

Одна моя знакомая дама сказала мне в Ля Фавьере:

— Однако какие надоедливые эти птицы — цикады!

А когда я поймал и принес ей эту муху, очень похожую на нашу шпанскую муху, она сказала обиженно:

— Ах, я думала, что это такая птичка. И наружность у нее отвратительна, и голос у нее препротивный!

Что поделаешь! Насчет голоса я согласен с дамой. Посудите сами: стоит тропическая жара. И люди и животные обливаются потом. Морской воздух недвижен и не приносит ни атома прохлады. Идешь купаться, но морская вода тепла и густа, как кисель, как льняная припарка. Некуда деваться от жары, а эти гнусные цикады своим непрестанным яростным стрекотанием точно удесятеряют африканскую температуру.

Но я не отчаиваюсь. Я радостно знаю, что придет вечер, похолодеет воздух, облегченно вздохнут земля и виноградники, уйдут с эстрады пиликальщики цикады и зажжет небесный ламповщик звезды, и тогда начнет свою прелестную песенку маленькая, но настоящая птичка, совушка, которую в Крыму так нежно называли «Сплюшка». Однообразно, через промежуток в каждые три секунды, говорит она голосом флейты, или, вернее, высоким голосом фагота: «Сплю... Сплю... Сплю...» И кажется, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, безнадежно жалуется кому-то: «Сплю... сплю... сплю...», а заснуть, бедняжка, никак не может...

Семь часов вечера. Пора спать. Темно. Гнусная привычка читать на сон грядущий давно отменена. Свет керосиновой коптилки неизбежно привлечет тучи москитов. Но мы уже достаточно знаем, что такое укус провансальского комара.

II. ЮЖНАЯ НОЧЬ

Темнеть начинает уже после шести часов. Море и земля обмениваются воздухом. На минуту мнится, что стало прохладнее. Но, увы, — это ошибка: потянул слабый береговой ветер, точно легкий вздох, точно дуновение дамского веера; потянул и упал... Жарок попрежнему прибрежный песок, черепица и камень опаляют руки.

Сидим в коричневой полутьме на нашей лесенке. Какие-то небольшие птицы летают все кругами, кругами и в одном направлении над нашей хижинкой. Местные русские жители уверяют, что это ласточки. Но какие же ласточки? У ласточек хвост раздвоен наподобие фрачных фалд, а эти какие-то куцые, точно бесхвостые. Ласточка в хорошую погоду взлетает выше самой высокой колокольни и ныряет вниз, почти до земли, и в стремительном полете своем радостно взвизгивает от наслаждения, а эти молчат и как-то угрюмо кружат и кружат на высоте нашего утлого жилья. Не летучие ли мыши?

Зажглась скромно и затрепетала, задрожала нежным изумрудом скромная далекая звезда, и за нею чинно взошли на небо другие младшие разноцветные звезды. Мирный, торжественный, сладкий час. Но уже там, направо, золотеет небо выше горизонта. Потом оно краснеет. Это шествует пожиратель кротких прекрасных звезд августовский месяц. Вот он и выкатился весь наружу. Сегодня он находится в полной силе и власти. Лик его безупречно круглый и кроваво-рыжий — бесстыж, как у пьяного палача. Он идет не торопясь, но гигантскими шагами. Скоро он при помощи своих магических чар овладеет всем небом. Робкие, кроткие звездочки теряются, бледнеют от страха и убегают на самый верх неба, где их уже с трудом можно заметить, как острия тончайших серебряных гвоздиков, вбитых во вселенную. Ропот бежит между деревьями, и море глубоко, печально вздыхает, и бесхвостые птички мгновенно скрылись.

Идем в свою будку и раздеваемся без огня, проученные предыдущим опытом. Окно оставляем открытым, иначе умрешь от жары и духоты. А от москитов — все равно — нет никакого спасения, кроме тихой покорности судьбе. Это все вздор, что говорят об антимустикерах, о кисейных, тюлевых и марлевых занавесках, о гвоздичном и лавровом масле и о патентованных мазях в цинковых тюбиках. Для провансальского и ниццкого москита нет ни препятствий, ни заграждений. Он раз в двадцать меньше нашего наивного, глу-

новатого и — главное — неорганизованного рязанского комара. Но зато во сто раз свирепее его и знает боевую тактику.

Еще задолго до того, как человек вернулся в свою ночную комнату, могучий отряд москитов уже забрался в нее и занял позиции, искусно воспользовавшись каждой щелкой, каждой складочкой, каждым выступом, и хранит осторожную тишину.

Вот человек пришел. Он открыл окно. Он взял за два конца широкую простыню и, бурно хлопая ею, выгоняет воображаемых врагов наружу. Потом он окропляет едучими веществами пол, стены, кровать и свое ночное белье. Москиты хранят молчание, крепко вцепившись в стены своих убежищ. Но человеку еще мало этого. Быстро раздевшись, он зажигает зловонную монашку-курилку и только тогда прыгает в постель и поспешно завертывается в простыню, стараясь замкнуть все отверстия и прозоры. Москиты все еще молчат. Тогда человек с глубоким вздохом облегчения говорит сам себе:

— Ну, слава богу. Нынешняя ночь, кажется, пройдет спокойно!

Как легкомысленны эти странные существа — люди, считающие себя царями мироздания, и как мало чему учит их опыт прошлого!..

Проходят еще три-четыре секунды той грозной тишины, которая бывает перед большими сражениями, и вдруг в темноте раздается тонкий-претонкий, но звонкий и вызывающий, нагло оскорбительный звук боевой трубы москитов. Да. Москиты, конечно, разбойники, мошенники и людоеды, но в их тысячелетних навыках нет коварности, этой дочери трусости, а есть первобытное геройство, ищущее открытого боя. Так Святослав, в ожидании смертельной битвы, посылал сказать врагам: «Иду на вы!» Так средневековый пират перед абордажем подымал свой роковой флаг: на черном поле Адамова голова и под нею две скрещенные кости.

По этому грозному сигналу москиты рассыпаются во всех направлениях. Они то летают зигзагами, то толкутся на месте, то кружатся, точно танцуя, и по древнему обычаю осыпают врага жестокой бранью:

— Если ты не трус, то защищайся. Эй! Ты! Гора мяса! — поют они. — Ты так же огромен в сравнении с нами, как в твоих глазах велик Монблан! Но подожди! Сейчас мы будем пировать на твоей туше и вдоволь напьемся твоей горячей, твоей соленой, твоей опьяняющей крови! И ты в ужасе побежишь от нас и погибнешь, если не спасет тебя случай.

Они свирепы и беспощадны, эти маленькие кровопийцы. Они не ведают ни страха, ни утомления. Человек, защищаясь, убивает их десяток за десятком, но на место выбывших раздавленных воинов слетаются новые и новые воздушные эскадроны. Удары их шпаг, омоченных в яде, жгут, как каленое железо. И вот человек — Монблан — совершенно теряет и присутствие духа и свое высокое достоинство. Им овладевает дикая паника. Он неистово щелкает себя по лбу, по щекам, по носу, по шее и по плечам. Весь в поту, он яростно и громко выкрикивает имена всех чертей и дьяволов. Он падает духом и готов расплакаться. Он мечется с боку на бок, и оттого его постель вскоре принимает вид перепутанного непонятного бугра, в котором он сам не умеет разобраться. Он давно уже не может дать себе отчета, где у него правая и где левая сторона, где верх и где низ. Он воистину жалок, этот жалкий Человек, пишущийся с большой буквы, а теперь весь перемазавшийся в своей крови и во внутренностях раздавленных им антропофагов. Он обессилел. Он не может больше защищаться. Он вытягивается на кровати с покорно разбросанными руками. Слезы злобной, но беспомощной обиды текут по его щекам.

Но москитам незнакома жалость. Они не дают пощады ни раненому, ни молящему о помиловании. Они, как пьяные, озверелые солдаты, которым вожди отдали завоеванный город на поток и разграбление; они, как библейские воины, которым отдан страшный приказ: истребить все население враждебного города, «не оставляя в живых даже мочащагося к стене».

Москиты трубят победу. Те из них, которые упились хмельной кровью до того, что разбухли и не могут двинуться с места, кричат товарищам:

— Идите сюда! Человек сдался. Ура! Терзайте, рвите его на части, выпейте из него все его красное вино до последней капли. Пир так пир, ребята!

Обезволенный, бесконечно усталый человек робко думает: «Кто поможет мне? О, если бы чудо!»

И вот совершается чудо. (У судьбы есть все-таки маленькая слабость к человеку.) Месяц, который до сих пор катился между туч и из красного давно уже сделался блестяще-зеркальным, вдруг останавливается против нашего кабано и своим холодным, страшным диском загораживает все окно. В комнате становится светло, как днем. Москиты отступают и прячутся.

Наступает прохлада.

III. ТОРНАДО

Существует морское точное определение направлений ветров по градусам круга, по тридцати двум румбам с долями. Но это для ученых, профессиональных мореходов. А у простых рыбаков повсюду есть ветрам свои особые, старинные вековые названия.

Так, в древней Балаклаве, в этой Гомеровской стране кровожадных Лейстригов, восемь главных ветров называются:

Морской,
Береговой,
Леванти,
Греба-Леванти,
Широкко,
Тремонтана,
Бора
и Острия.

Кроме того, внезапный, бог знает откуда налетевший, короткий воздушный водоворот — это «джигурина», а настоящий, истребительный, страшный циклон, который под небесную бомбардировку, при ослепительной иллюминации молниями сносит дома, опрокидывает груженые вагоны и выдергивает из земли с корнями вековые деревья, называется «тарнада».

Ничего нет странного в том, что некоторые из этих черноморских названий я нашел у рыбаков на южных мысах благословенного Прованса. Северо-восточный ветер так и зовется Бора, южный — Сирокко, Острия — Ост, Тарнада — Торнадо. Черное и Средиземное моря с незапамятных времен были лакомыми приманками для рыскавших по морям авантюристов, завоевателей, пиратов и флибустьеров.

Лукавые финикияне, пронырливые греки, железные римляне и, особенно в последние времена, предприимчивые, неутомимые генуэзцы, — оставили на побережьях этих морей глубокие памятки своей громадной культуры, памятки, и по сии дни неизгладимые... Самые же резкие следы оставили: на суше — римляне, в морях — генуэзцы.

Буря Торнадо подготовляется в небесной лаборатории задолго. Кому во Франции не останутся памятны на всю жизнь те пронзительно знойные дни и удушливые ночи, которые стояли в конце августа и начале сентября 1929 года, когда адское пекло доходило до тридцати пяти градусов в тени и люди падали на улицах, пораженные солнечными стрелами? Вот тогда-то и шла спешным ходом в великом пиротехническом заводе работа над изготовлением Торнадо.

Нам, скромным обитателям робинзоновой хижины, сначала еще переносна была эта адова жарища; как-никак, а с моря все-таки иногда доносились до нас свежие струйки морского дыхания. Но вскоре и нам стало невтерпеж. Море лежало плоско, белесо и было усталое, изморенное, снулое, бездыханное; грязные и толстые облака лежали над ним без движения, точно приклеенные. Сосновая хвоя так сильно и густо пахла, как будто бы весь наш горный лесок был обильно полит скипидаром.

Купанье не освежало. Легкая прохлада чувствовалась лишь при первом погружении в море, но это был самообман: через минуту вода становилась противно теплой и на ощупь липкой. Когда же, выбравшись из моря на пляж, ты садился на раскаленный, ослепи-

тельно белый песок, то на секунду ты испытывал такое ощущение, точно из тебя собираются приготовить филейный бифштекс à la Chataubriand.

И вдобавок эти ненасытные, безумные цикады кричали так яростно и так оглушительно, что за ними нельзя было расслышать ленивый плеск прибоя...

Кто-то когда-то сказал: «Любовь, вино и солнце — прекрасные вещи, если только ими не злоупотреблять». Изречение, по-моему, дельное. Но с завистью должен сказать, что солнце повредить может только нам, людям взрослым; дети же могут употреблять его с пользой и с удовольствием в дозах, гораздо более, чем лошадиных. Здесь, в Ля Фавьере, они целый день копошатся на первобытном, еще не тронутом модой, на своем собственном пляже, от раннего розоватого утра до быстро падающих на землю бархатных сумерек, и даже в те палящие, послеполуденные часы, когда их папы, мамы и педантичные тети, обвязав голову мокрой салфеткой, ищут отрады в воображаемой тени, когда лошадям напяливают на темя чепцы, когда собаки, укрывшись в тени забора или бревна, лежат с умильно сощуренными глазами, с языком, высунутым до земли, и дышат непостижимо быстро; и когда куры зарываются в пыль с разинутыми клювами...

Поистине, этот веселый, чистенький морской бережок — настоящий рай для детворы, и — главное — такой удивительный рай, который никогда не может ни надоесть, ни прискучить. Да ведь надо признаться в том, что и я — человек пожилой, видевший в жизни чрезвычайно много и почти перегруженный впечатлениями, которые вбирал в себя с ненасытной жадностью, — я могу подолгу, часами, глядеть на детскую возню у моря, и всегда это зрелище мне любо. Что за прелесть эти мальчуганы и девочки, еще не перешагнувшие за пять лет. На сгибах ручек и ножек у них еще тело как бы перевязано ниточками; у них еще выпячиваются вперед кругленькие младенческие пузики, и оттого они кажутся коротконожками и немножко похожи на паучков; и очень к ним идет наименование

карапузик. Они еще не тверды на ногах и постоянно шлепаются на задушку. Плачут они по сто раз в день, но не долее минуты, чтобы опять расхохотаться, а полуминутная ссора мгновенно переходит у них в поцелуй. И заметьте: если где есть юмор чистейшей пробы — то, конечно, только у этих младенцев. И смешно, и трогательно, и радостно, и забавно наблюдать их жизнь.

Когда-то, в древности, течение каждой отдельной человеческой жизни разделялось на семилетние ступени, называемые «люстрами»: первый люстр — Младенчество, второй — Детство, третий — Отрочество, четвертый — Юношество, и так далее, но эти дальние люстры не так уж интересны, особенно самые последние... А, кроме того, разве можно применять общую мерку к людям разных рас, племен, климатов и индивидуальностей? Но я знаю один возраст, который всегда и везде прекрасен; прекрасен, во-первых, потому, что он сам не подозревает своей красоты. Это возраст, когда девочка только что перестала играть в куклы, а мальчику еще далеко до первых признаков возмужания. Еще не наступило время, когда они обое вдруг подурнеют, станут рукастые, ногастые, неловкие, рассеянные. (В Сибири подростков таких с любовной шутливостью зовут «щенок о пяти ног».) Теперь они еще находятся в периоде первоначального невинного и радостного цветения. У обоих нет пола. Строение их тела одинаково. Смотрю я на то, как они почти голышом, шоколадные от загара, носятся по упругому песку пляжа, прыгая, как козлята, или барахтаются в воде, и, право, не сумею сказать, кто из них девочка, кто мальчик. Обое худощавы, потому что тянутся в рост, обое нежно-грациозны в движениях, и, слава богу, что сами этого не замечают; обое узки в бедрах и плоски как спереди, так и сзади, тем более что у них обоих стриженые волосы и одинаковые береты.

Ах, как прекрасны их гибкие тела. Наружные очертания их рук, ног, плеч и шей кажутся точно обведенными тончайшим серебряным карандашом, точно освещенными каким-то пушистым сиянием. Этой кра-

соте осталось немного дней, и она уже никогда не вернется.

Вот гляжу я на этих счастливых красавцев, и мне приходит в голову мысль:

«Не были ли глубоко правы и мудры древние греки, эти великие знатоки прекрасного и изящного, когда изображали Аполлона, бога красоты, в виде Эфеба — отрока с телом невинным и нежным, еще неомраченным возмужанием».

И еще о прелести движения:

Как радостны для глаза всякие движения, которые не связаны с выучкой, с подготовкой, со школой, с проверкой в зеркале. Видали ли вы когда-нибудь работу косцов? Видали ли рязанскую бабу, несущую осторожно два ведра на коромысле, или мужика-сеятеля? Или продольных пильщиков? А теперь вообразите классический балет, или чарльстон, или фокстрот. И, должно быть, из всех наших человеческих наслаждений — настоящие те, которые просты и естественны.

Солнце жжет все нестерпимее, все беспощаднее. Но зато и какие же чудеса оно делает. Недалеко от нас на пляже Лаванду поселилась наша хорошая знакомая, молодая девица. Была она в Париже томна, скучна, бледнолица, читала до глубокой ночи французские романы, и руки у нее всегда были холодные. И на божий свет она глядела с кислым презрением, сквозь темные очки.

Разделяло нас пространство километров в восемь, если считать дорогу морем. И вот однажды, часов в девять утра, мы видим, что из Лаванду идет прямо на наше кабано лодка с одним гребцом. Через некоторое время мы убеждаемся, что гребет женщина, а еще минут через пятнадцать узнаем нашу милую мадемуазель Наташу.

Я сбегаю вниз и помогаю высадиться и провожаю к нам наверх, в хижину. И только в комнате, когда она села лицом к свету, я с удивлением и восторгом вижу, какую волшебную перемену произвели в ней море и солнце.

Где эта прежняя вялость, где бледность, худоба, томность и скука? Живое веселое круглое лицо, и сквозь загар здоровый яркий румянец, а по румянцу брызнули золотом и на лоб, и на щеки, и на нос, облупившийся от солнца, восхитительные веснушки; не те желто-бледные анемические веснушки, какие бывают на макаронных лицах англичанок-учительниц, а те русские милые веснушки — знак полноты жизни и чистоты крови, — которые обыкновенную девичью саратовскую лупетку сделают многократно красивее патентованной и премированной европейской красавицы.

Пока я сижу молча и не спускаю с нее глаз, она рассказывает удивительные вещи:

Какой восторг! Она научилась плавать и теперь доплывает до эстакады. Она легко гребет на лодке, но она ездит и на водяном велосипеде. И еще одна гордость: вчера ее взяли рыбаки на рыбную ловлю, и, честное слово, она хоть и промокла вся, но храбро тянула сеть и даже удостоилась рыбачьей похвалы.

— И вообще я убедилась в том, что люди, чем проще, тем они лучше, добрее и занимательнее... Никуда не годятся и всё лгут любовные романы, да и зачем терять время и портить глаза за чтением, если жизнь так хороша и разнообразна!

Но тут мадемуазель Наташà (с ударением на последнем слоге) спохватывается и говорит о главной цели своего визита: не знаем ли мы, какое лучшее средство от веснушек и чем мазать нос, если он шелушится?

Напрасно я убеждаю ее:

— Наташа, милая Наташа, поверьте моей правдивости, моему вкусу и моей испытанной дружбе: никогда вы еще не были и никогда уже не будете столь прекрасною, как вы прекрасны сейчас.

Но она обижается и надувает губы:

— Ну, да. Я так и знала, что у вас ничего не найдется в запасе, кроме злых шуток. Где моя шляпа?

Проходят дни, а солнце неутомимо, с веселой яростью продолжает свое чародейство. Электричество пересытило воздух. У кошек шерсть стоит дыбом.

Нервные люди становятся раздражительны и придирчивы. Странная вещь: недели две тому назад Тулонский военный флот вышел на большие маневры, с учебной стрельбой, дневной и ночною. До сих пор еще и днем и ночью продолжается раскатистая бомбардировка. Неужели это все еще продолжаются маневры?! Я прислушиваюсь пристальней и, наконец, понимаю ясно, что это вовсе не маневры, а просто юг Прованса кругом обложен грозовыми тучами, которые вот-вот готовы разразиться бурей, но почему-то не могут, еще не умеют, не смеют или злобно накопляют свои разрушительные силы. Сколько дней? Может быть, пять — слышал я это угрожающее рокотание неба. Ночью оно было похоже на то, как в зверинце рыкает глухо и грозно запертый в клетку лев. И от этих тяжелых звуков лошади в стойлах перебирают ногами, прядут ушами и потеют в ужасе. И ждешь, ждешь, что он сейчас заревет страшным голосом, ударом лапы разобьет решетку и бешено выпрыгнет на свободу.

Утро встало мутное, без солнца. Тучи были густо, почти черно-синие, и на них какие-то рваные, белые со ржавчиной клочья. Я пошел к нашему другу Оннора купить винограда. Пока он отвешивал мне его, небо потемнело. Семилетняя девочка хозяина, славная, ласковая девочка, со странным и как будто русским сокращенным именем Надежь, взяла мою руку и тихо сказала:

— Мне страшно.

Странно: этот тихий, жалобный голосок пробудил и во мне мистическое предчувствие приближающегося страха.

Пришел старик Оннора с корзиной. Он взглянул на небо и сказал уверенно:

— Пройдет мимо нас, в стороне.

Закапали первые тяжелые и теплые капли. Я заторопился. Когда я проходил мимо соседних дач, Н. Н. Черепнин крикнул мне с балкона:

— Возьмите-ка зонтик!

Но я отказался, сославшись на авторитет Оннора, старого знатока местных погод, и побежал дальше.

Да! Виноградарю все-таки далеко до моряка, и темный инстинкт маленькой Надежь оказался проницательнее мудрого старческого опыта... Едва я затворил за собою дверь нашей хижины, как началось... Нельзя было сказать про этот внезапный дождь, что он полил или что отверзлись хляби небесные. Скорее я сказал бы, что над нами опрокинулась труба верст сорока в диаметре и с бесконечным запасом воды в резервуаре...

Опишу ли я эту бурю? Сумею ли? Нет и нет. Я не найду для нее на человеческом языке ни эпитетов, ни сравнений, ни уподоблений. Да и вообще ураган неописуем. Всего могущественнее живописал его старик Диккенс. Помните, как Давид Копперфильд едет поспешно в Ярмут сквозь страшную бурю, между тем как в Ярмуте в эти минуты происходит еще более страшная человеческая катастрофа?..

Ну и накопило же небо гнева!

Гром и молния падали непрерывно, и порой, казалось, молния не предупреждала гром, а как бы врезалась в его грохот. Хижина наша тряслась. Все те дыры в потолке, сквозь которые мне улыбались прежде по ночам кроткие звезды, обратились в водопроводные краны и стали поливать нашу лачугу из пяти мест сразу. Я растерялся. Вода разлилась по моему рабочему деревянному столу и стала затоплять рукописи, как мои, так и чужие, и я видел, как чернила на них расплывались грязными пятнами.

«Пропадут мои рукописи, — думал я, — это еще полбеды, их можно восстановить по памяти... Но поэты и прозаики, которые дали мне свои шедевры на просмотр и помещение в какой-нибудь журнал! Они заклюют меня до смерти...»

Слава друзьям нашим — женщинам. В минуты катастроф, и крушений, и серьезных опасностей они и находчивее, и практичнее, и деловитее, и умнее нас. Панику обыкновенно начинают мужчины. Под командой друга мы быстро поставили под потолочные

течи все, что у нас нашлось емкого: тазы, кувшины, кастрюли. Но вода чересчур быстро наполняла наши сосуды: каждую минуту нам приходилось выплескивать из них содержимое то в окно, то за дверь. Не могли же мы позволить этому потопу размыть наш шалаш и оставить нас под открытым небом?

И помню я один жуткий момент. Нужно было опорожнить за дверь каменный боль, в котором нам обыкновенно приносили воду из колодца, — тяжелый сосуд времен римского владычества. Долго мы ничего не могли поделать с этой утлой и обыкновенно до преступной слабости послушной дверью, ибо снаружи на нее напирал ураган силою в ужасное количество баллов. Наконец нам соединенными усилиями удалось в подходящую минуту преодолеть ее упорство.

Она поддалась и вдруг распахнулась настежь, бешено хлопнувшись о каменную стену, и мы на мгновение ослепли и потеряли соображение. Казалось, прямо к нам в комнату влетел с ураганом зигзаг огромной молнии невыносимой яркости. И одновременно грянул гром. Он не раскатился и не бухнул. Его удар был мгновенен и сух, как удар кремня о кремень, но мощность его была поразительна. Мне почудилось, это над нами раскололось небо, раскололась наша халупа и на две части раскололась моя голова.

Мы едва оправились от потрясения и ужаса. Да, без всяких церемоний я признаюсь в том, что пережил секунду дикого стихийного ужаса, и мне кажется, что солжет тот человек, который поэтически, в байроновском духе, скажет, что он презрительно улыбнулся молнии, которая в шести шагах от него вонзилась в землю, оставив в ней круглую черную дыру.

Немедленно после этого страшного взрыва буря стала стихать. Она не истощила еще своих дьявольских сил, но ее бушующий центр отходил от нас все дальше и дальше, за острова, на другую сторону залива, к Тулону, где Торнадо разразился вовсю. Впрочем, в газетах этих дней подробно печаталось о том, какое наводнение и какую катастрофу наделал в Тулоне этот иррациональный ветер.

Гроза пронеслась, глухо рыча, точно огрызаясь.

Дождь лил по-прежнему. Мы набрали в кувшин дождевой воды и вскипятили чай. Из Лаванду в этот день никто не приехал: ни поставщики, ни почтальоны. Какая-то жалкая лужица разлилась до размеров Волги и перерезала сообщение. Что за пустяки: у нас был картофель и головка знаменитого провансальского чеснока. А когда мы открывали дверь, то с моря вливался к нам в комнату запах озона, самый прекрасный запах в мире, ибо озон пахнет немного фосфором, и немного снегом, и немного резедою; комбинация же этих запахов очаровательна.

На другой день утром мы с удивлением увидели, что сделал Торнадо с нашим кокетливым, хорошеньким пляжем. Он его совсем исковеркал. Ему мало было нагромоздить огромные горы песка, грязи, водорослей и диких камней. Он врывался в самую глубину моря, проникал до дна и буравил его, выкидывая наверх тяжелую первородную породу. Вся вода перед пляжем стала мутно и густо-желтой.

Милая моя молодежь приходила купаться, останавливалась далеко от берега, печально покачивала головами и уходила домой.

IV. СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Четыре часа свежего розового утра. Я вижу из открытого окна, как выходит на добычу одна из моторных лодок, принадлежащих рыбакам. Слежу ее путь. Вижу, как она остановилась и как через ее накренившийся борт шлепается в море якорь, огромный камень. И тотчас же, медленно подвигаясь, начинают рыбаки «сыпать сети». Поплавок за поплавком ложатся ровно на воду, обозначая тонким четким пунктиром правильную линию. Потом другой камень-якорь и крутой поворот под безукоризненно верным прямым углом, и еще раз, и еще, и вот я вижу удивительную трапецию из черных точек на фаянсово-блестящей синеве моря, трапецию, от изящества которой

придет в восторг самый строгий геометр. И какое меткое выражение «сыпать сети».

Это искусство кажется издали совсем пустячным, однако оно дается годами упорной, постоянной работы. Нет. Вернее сказать: оно наследие тысячелетнего опыта далеких предков.

Почти во всякой вольной работе на чистом воздухе есть своя точность в простом свободном движении, свой ритм, своя красота и своя безусловная грация. Мало кто обращал внимание на то, например, как потомственные огородники и садовники «пикируют» молодые растения, то есть пересаживают из парника в грунт. Надо поглядеть на щегольскую аккуратность их грядок и на математическую стройность, с которой они, без помощи линейки или нити, втыкают осторожно в эти гряды, ряд за рядом, нежные хрупкие ростки.

Видели ли вы, как зимою, в лесу, распиливают на доски продольные пильщики огромные сосновые бревна вершков двенадцати — шестнадцати — двадцати в поперечнике? Бревно положено на высокие козлы. Вверху на бревне стоит старший пильщик, внизу, под бревном на земле, — младший. По этому расчету можно судить, как необыкновенно велика продольная пила. Пилят они ритмически, то сгибаясь, то выпрямляясь, поочередно. Верхний движется вперед, едва заметно, по-медвежьи переступая ногами в мягких лаптях, нижний — пятится задом, причем его голова, лицо, борода и вся одежда сплошь засыпаны желтоватыми древесными опилками. В этой работе все удивительно: и, больше чем цирковая, ловкость старшего, безупречно балансирующего по круглой поверхности, и терпение младшего, и сверхъестественный глазомер обоих, и замечательная точность и гладкость их распилки — куда машине, — и ловкость и непринужденная гибкость их движений.

Работа их весьма тяжела: это правда. Минут через десять после начала они сбрасывают с себя зипуны, потом поддевки, потом жилеты и остаются в одних ситцевых рубахах. Мороз, хотя и небольшой — пятнадцать градусов, — но продольным пильщикам жарко,

они вспотели, и белый пар валит с них, как от почтовых лошадей. И, как лошади, ржут соседние пары, когда кто-нибудь рядом запустит крутое соленое словцо. Они никогда не простуживаются, никогда не знают усталости, вид у них всегда бодрый, крепкий и веселый, походка грузна, но легка, точно у медведя, а каждый мускул и нерв слушаются их воли мгновенно. Их труд свободен — они не знают над собою ни погонщика, ни указчика, ни советчика. Прежде чем приступить к работе, артельный староста — суровый, но милостивый диктатор — долго, зуб за зуб, торгуется с хозяином: по сколько с хлыста (хлыст — каждое прямое дерево) в зависимости от его диаметра и по сколько за каждую доску такой или иной ширины и длины. А уже после рукобития и литок артель вникала в работу с той ярой жадностью, какая была всегда свойственна бережливому скопидому, русскому мужику-собственнику.

В еде себя не урезывали. Харчились за плату у тех же лесников, у которых и ночевали безвозмездно. Тогда бывало жутко и подумать, какое мотовство: на своих чае-сахаре артель платила за обед и ужин, страшно подумать, по полтиннику с едока! В то время, в 1897 году, полтинник за целый рабочий день считался высокой ценой, а в городских трактирах за десять копеек подавали жирные щи с убоиной и хлеба — сколько съешь, ломоть жареной печенки стоил две копейки и копейку на чай. «Шестерка» низко кланялся, подметая грязной салфеткой пол.

Ну и ели же продольные пильщики...

Ели истово, медленно, в молчании (шутки полагались только в конце обеда, за пузатым самоваром). Ели так, что радостно на них было глядеть, несмотря на то, что рассудок опасливо беспокоился за их утробы...

И все-таки я услышал, как однажды днем, в отсутствие артели, Марья, жена лесника Егора, пиявила мужа:

— Ты уж, Егор, там как хочешь, а я в будущий год харчить твоих продольных пильщиков не согласна. Больно емкие. Люты на еду.

Вот вам и начало той свободы, того веселья и той размашистой красоты, с которыми ходят и работают продольные рязанские пильщики: первое — сыты; второе — работают только на себя: больше распилят хлыстов — больше получат; третье — труд их протекает весь день в лесу, где только сосна и снег; и последнее, — но оно же и главное, — честь и репутация артели. Та артель, о которой я говорю, артель Артема Ванюшечкина, славилась не только в Рязани, но и среди крупных московских лесопромышленников. При такой лесной известности как же можно лицом в грязь ударить? Да и зарабатывали они по три целковых в день.

Я прошу у читателей прощения в том, что мой скромный рассказ невольно выпучился далеко в сторону, в милую северную страну, хотя, наверное, в ней уже давно продольные пильщики вывелись из быта в расход. Что поделаешь? Маленькие буржуи! Кулаки!

Конечно, нигде так ярко не проявляется естественная красота человеческого тела и его движений, как в национальных танцах и играх, пока они не обездушены пародией и модой, да еще в деловом обиходе морских людей.

К счастью, притворяться этаким старым, просоленным всеми ветрами мореходом можно только на суше. Тут все проглотят доверчивые люди: и хриплый от команды голос, и походку раскорякой, и вечную короткую трубку с крепчайшим табаком в углу рта, и поминутные плевки за воображаемый борт, и рассказы о свирепых тайфунах в Индийском море или о безумно отчаянном повороте на байдевинд, когда шхуна чуть не налетела на неожиданный коралловый риф. Его слушают развеся уши.

Но стоит такому отважному морскому волку очутиться хотя бы на палубе парохода, идущего только от Одессы до Ялты, как морской волк быстро превращается в мокрую курицу. Это еще не беда, что его начинает тошнить уже в гавани. Настоящие моряки к этой слабости относятся более чем снисходительно.

Ведь известно, что самого великого, величайшего из адмиралов, Нельсона укачивало даже при легком шторме и что в морской битве при Трафальгаре Нельсон до такой степени страдал морской болезнью, что велел привязать себя к мачте и так стоя командовал всем флотом и выиграл бой. Беда в том, что сухопутный моряк подвержен самой трусливой мнительности. Он приходит в ужас, когда судно замедлит или ускорит ход, или когда оно дает своим ревуном сигнал далеко мимо проходящему кораблю, или когда винт, выйдя на волне из воды, вдруг застрекочет сухо. Он заранее выбирает для себя спасательный пояс и шлюпку на случай крушения. Он лезет со своими страхами, опасениями и мрачными предположениями решительно ко всем: к пассажирам, лакеям, горничным, он подымется за советами и утешениями даже к дежурному помощнику капитана в священную рубку, и молодой моряк, быстро спроваживая его вниз, на палубу, ощупывает свой правый задний карман брюк и думает: «Вот за такими надо внимательно следить. Если, спаси бог, случилась бы катастрофа, первые они мастера возбуждать панику».

Но пристальный взгляд пассажира, часто и далеко плававшего, или мгновенный взгляд опытного морехода всегда сумеют отличить настоящего моряка от самозванца. Здесь есть ряд примет более или менее объяснимых. У пожилых, очень многое в жизни испытавших капитанов навсегда остаются в лице и в фигуре знаки воли и власти. Их глаза под тяжелыми веками чуть прищурены: это глаза людей, привыкших подолгу и напряженно вглядываться вдаль. В их легких морщинах на висках и вокруг глаз, а особенно в улыбке чувствуется не то спокойное усталое презрение, не то снисходительная ирония.

Молодые высокомерные офицеры, старые сутулые матросы, бочкообразные боцмана и стройные юнги имеют также свои особые явные и тайные приметы во взглядах и движениях, в постановке головы и в походке. Но уловить их — дело навыка и инстинкта. Интереснее всего следить за моряками во время серьезной и спешной работы в море. Вот где соединяются сила и

ловкость, спокойствие и быстрота, суровая дисциплина с внешней беззаботностью, где краткий приказ влечет мгновенное исполнение и где вся кипящая жизнь переполнена суровой, простой, не сознающей себя красотою.

Подобно тому как на моряках, так общий профессиональный отпечаток лежит и на рыбаках — не скажу всего мира, но по крайней мере всей белой расы. Недаром давным-давно и очень метко сказано: «Рыбак рыбака видит издалека». Конечно, в каждой стране есть своеобразные обычаи и приемы, но есть и много общего: беспечность, простодушие, приметы, суеверия, предрассудки, зоркая наблюдательность, острое чутье к погоде, щедрость к бедным, разгул в кутеже и прочее... Замечательно одно явление: все рыбаки страшные ругатели и богохульники, но все они одинаково почитают святого Николая-чудотворца, и все они убеждены, что их промысел самый святой, ибо Иисус Христос избрал своих первых апостолов из среды рыбарей. С ними могут соперничать лишь плотники, по той причине, что отрок Иисус учился плотничьему мастерству у св. Иосифа, да еще пасечники, потому что восковая свеча горит перед святыми алтарями.

Когда-то, давным-давно, так давно, что теперь мне порою кажется, будто это было, по ядреной русской поговорке, «в те времена, когда люди еще топоров не знали, а пальцем говядину рубили», — полюбилось мне каждую осень, до ранней зимы, болтаться с балаклавскими рыбаками по Черному морю.

Был я тогда еще молод, достаточно силен и вынослив, мог грести без устали и умел, еще по военному навыку, беспрекословно подчиняться приказанию старшего на баркасе. Вскоре балаклавские рыболовы со мною освоились и как бы усыновили меня. Я до сих пор горжусь тем, что иногда, в полосы обильных уловов, когда не хватало рыбачьих рук, ко мне приходили с просьбой войти в артель. Я с удовольствием входил. По окончании ловли мне за это полагался один пай,

а когда я завел трехстенные сети, так называемые «дифаны», то и два пая: один за греблю, другой за снасть. Там паи распределялись строго: атаману два пая, владельцу баркаса один, владельцу снасти — один, рядовым работникам по паю. Сообразно с этим и делили выручку. Я свою долю не брал, а если случался хороший улов, то во славу его вел всю артель в кофейню Юры Капитанаки и угощал ее черным кофеем (две копейки чашка), а в случае же улова превосходного — даже с сахаром (три копейки).

Милые мои греки от удивления перед таким кутежом значительно почмокивали и покачивали головами, и я думаю, они считали меня за человека не совсем нормального. Однако же один из участников южной белой армии передал мне недавно, что при крымской операции довелось ему попасть в Балаклаву и там старый седой рыбак, Коля Констанди, мой бывший строгий учитель и суровый атаман, вспомнил в разговоре мою фамилию. Эта честь меня глубоко тронула.

Мы рыбачили разными способами в юго-западном углу Черного моря, между мысами Херсонес, Фиолент Саленгос, Кристи, Айя, Ласпи и Форес. Мы ловили камбалу, глосов, камсу, морского петуха, скумбрию, кефаль, лобана, барабулю и однажды случайно поймали полуторапудового белужонка на перемет для камбалы. Глубокою зимою не редкость вытащить белугу в десять пудов весом, а значительно реже попадается белуга и до сорока пудов.

Но на эту зимнюю ловлю мне ни разу не приходилось выходить.

Я думаю, теперь понятно, с каким нетерпением и с какими великими надеждами ехал я на юг Прованса в Ля Фавьер, в милую для меня теперь, издали, рыбачью хижину на мысе Гурон. По прежним воспоминаниям мечтал я, что есть у меня какое-то рыбье слово для рыбаков и что совсем не трудно мне будет освоиться с провансальскими рыбаками, ибо души всех рыбаков одинаково несложны и широко открыты.

Увы! Я не учел того, что, кроме рыбачьих жестов и приемов, кроме магнетического взаимного тяготения рыбачьих сердец, существуют еще два разговорных языка, совсем неизбежных для первого знакомства, но и совсем не похожих один на другой: провансальский и русский. Да ведь и надо, пожалуй, с огорчением признать и то, что с годами и с жестокими испытаниями судьбы вянет и потухает в человеке дар того бескорыстного, инстинктивного очарования, которое столь легко и весело сближает людей... Спрашивается: какими же путями мог бы я наладить связь с местными рыбаками? Русские обитатели с ними знакомства не водили; не интересовались. Правда, еще в Париже слыхал я об одном русском молодом человеке, который сумел пленить души ля-фавьерских рыбаков и заключить с ними тесную морскую дружбу. Был он родом из Сибири, и, конечно, его, как почти всех сибиряков, звали Иннокентием. Провансальские рыбаки называли его фамильярно и ласково: Jnnocent. В этом названии есть двойной смысл: если его употреблять с большой буквы — получается почтенное христианское имя, а если с маленькой, то выходит нечто вроде как «простак», или «рубаха парень», или еще — «малый-простыня». И правда: был он всегда добродушен, ровен, ласков со всеми, радостно готов на товарищескую услугу и, кроме того, оказался настоящим соленым моряком, способным на все роды ловли, неутомимым, смелым, находчивым и со счастливою рукою. Рыбаки искренно к нему привязались и возлюбили его. Эти люди сурового и тяжелого промысла, в котором нет ни капли лжи, обладают тонким и дальним чутьем на того двуногого, чье имя «Человек» пишется с большой буквы, и невольно тяготеют к нему.

Но, к своему и моему огорчению, этот милый Иннокентий, или Кена, как звали его дома, вскоре был принужден оставить свои прекрасные морские приключения. Причина этому была очень простая и очень настоятельная. Кому не известно, как широко гуляют рыбаки всех стран и всех морей; гуляют и на радостях после большого улова и от огорчения за неудачу. У Иннокентия же был в гульбе размах особенно широ-

кий, сибирского стихийного размера. Сам он совсем ничего не пил, но без счета поливал шампанским пронзительные «буйабезы», которые по ночам при свете костров варились на безлюдных маленьких островках. Словом, прожился вдребезги милый Иннокентий Алексеевич. Конечно, он мог бы поступить в рыбный кооператив, его приняли бы охотно, но где же свобода? Итак, простившись без вздоха с друзьями рыбаками, он бросил рыбачью увлекательную жизнь и теперь где-то, в департаменте Вар, в никому не ведомом Ля Фугассе, режет, поливает, взрыхляет и опрыскивает виноградники. Конечно, Кена когда-нибудь вернется снова к морю. Кто знал однажды прихоти моря и его чудеса и радости, его гнев и сладкую ласку, тот уже пленник моря навеки. Оно притягивает к себе моряков, как луна влюбленных. Недаром море и месяц близкая родня друг другу.

А я пока что потерял умного проводника и руководителя. Вот и осталось мне только одно сомнительное удовольствие: глядеть из окошка на рыбную ловлю.

Что говорить! Очень хороший народ провансальские рыбаки: красивы, стройны, ласковы, ловки, мужественны. Но гляжу я на них из моего окошка, вспоминаю далекое-далекое прошлое, ревниво сравниваю славных провансальских рыбаков с моими балаклавскими листригонами и, — что поделаешь, — сердце мое тянется к благословенному Крыму, к сине-синему Черному морю.

Пусть я — человек отсталый, но вот не нравятся мне моторные лодки — и конец. Какая прелесть были черноморские парусные баркасы или турецкие, банабакские фелюги! Как изящны были плавные изгибы их линий! Как сладко и весело волновал сердце момент выхода в открытое море! Полощется, и трепещет, и хлопает парус, беспокойно отыскивая ветер. Нашел — и мгновенно со звуком лопнувшей струны весь наполняется ветром и становится во всей своей белизне и

благородной выпуклости похожим на божественную грудь молодой прекрасной женщины.

Баркас накренился набок. Журчит вода под килем. Пена плещет через борт. Дрожит туго натянутый шкот, рвется вперед парус. Баркас живет всем своим телом и нервами. Он одушевлен.

А в моторной лодке нет души. Только воняет бензином и в своем противном стрекотании подражает цикадам. Море же не любит ни свиста, ни праздного шума.

Во мне говорит завистливое чувство, подобное тому, какое испытывает мальчишка, которого не приняли в игру. Замолкаю. В будущем году осенью поеду на мыс Гурон (если доживу) и свяжусь с провансальскими рыбаками. Они милые, добрые и сильные люди.

ФЕРДИНАНД

Новогодний рассказ

В моей чересчур длинной жизни я был участником и свидетелем таких явлений и курьезных приключений, о которых теперь побаиваюсь и рассказывать: до такой степени они кажутся издали неправдоподобными. А ведь русский читатель, изо всех читателей в мире, наиболее чуток на ложь, на вранье или даже простое преувеличение.

Ну, кто мне поверит, например, что летом 1896 года, в южном Полесье, в деревне Казимирке, я видел град величиною приблизительно в кулачок двенадцатилетнего мальчугана? Я очень жалел тогда, что у меня не было под руками фотографического аппарата, чтобы снять эти огромные градины рядом с каким-нибудь простым предметом домашнего обихода: с папиросной или спичечной коробкой, с малой бутылкой из-под казенного вина, с обыкновенным чайным стаканом и так далее... Этот град почти мгновенно выбил все стекла и ставни в старом помещичьем доме и обезлиствил всю плантацию тутовых деревьев. Он убил в поле мальчика-подпаска и несколько десятков ягнят, а крупному скоту причинил множество тяжких ушибов.

Зимою, не помню какого года, но твердо знаю — в день мессинского землетрясения, — мы вышли, я и Арапов, управляющий маленьким имением покойного Ф. Д. Батюшкова, — ранним нехолодным утром потра-

вить зайцев. Мы перешли через холмистое урочище, называвшееся «Попов пуп», и искали зайцев в полях и коречках, принадлежавших тристенским мужикам.

Следы были неясны, а собаки (почти все — дворняжки) — вялы и небрежны. И мы обое шли как-то нехотя. Снег нам казался скучно-желтым.

И вдруг Арапов воскликнул:

— Александр Иванович! Глядите! Глядите же!

Он был холодно-смелый человек. Он участвовал в Цусимском погроме, будучи матросом на транспорте капитана Куроша, перенес крушение, спасся вплавь, пробыл почти год в японском плену, где держал себя с большим достоинством.

Меня удивило, почти испугало выражение ужаса, которое я услышал в его голосе:

— Да глядите же на небо.

А на зимнем скучном небе сияли радуги. Не радуга, а именно радуги. Они шли сводчатым, полукруглым коридором от севера на юг и с каждой секундой становились все ярче и ярче. Собачонки завыли, да и мы не знали, что делать, что говорить... А потом эта семицветная аркада стала постепенно тухнуть... и вскоре пропала.

Лениво и беззвучно повалил снег лохматыми хлопьями...

Еще видел я однажды черную молнию. Это было в окрестностях села Курши, Касимовского уезда.

После нестерпимо знойного и душного дня, после совсем неудачной охоты вечерняя гроза застала меня на большом болоте.

Это была одна из тех, длящихся беспрерывно, от заката до восхода, гроз, которые бывают в так называемые «воробьиные ночи». Рассказывают, что после таких ночей находят на полях и на дорогах множество убитых или ошеломленных воробьев. Верно ли это — я не знаю; никогда не пришлось проверить.

Больше часа я шел до дома. Была уже ночь, но дорогу я легко находил, потому что, ни на секунду не переставая и сливаясь одна с другой, полыхали во все южное небо, точно дышали, точно сжимались и расширялись дальние голубые молнии. И так же непрерывно

рокотал где-то под землею сдержанно глухою угрозою далекий гром. И вдруг совсем близ меня ослепительно разодралось небо черными зигзагами, и, оглушая, трахнул сухой гром. Это странное явление повторилось еще пять или шесть раз, вселяя в меня дикий ужас.

Повторяю: на колыхающейся бледно-голубой завесе дальних молний эти молнии были черные, хотя и ослепляли. Конечно, это был оптический обман, объяснить который я не умею. Старые лесники, живущие в низинах, подтверждали мое наблюдение...

Я спросил бы еще: многие ли видели волка, бегущего на свободе вверх ногами, вниз головой? Я думаю, что не очень многие. Мне это пришлось увидеть всего лишь раз в жизни.

Я тогда обмерял для нескольких волостей Зарайского уезда площади крестьянских лесов. В каждой деревне ко мне прикомандировывали нескольких мужиков. Они таскали за мною цепь, треногу и аппарат, втыкали вешки, куда я им указывал, обрубали мешающие ветки и так далее. Работа моя была самая пустая: обход площади. Ее легко можно было бы делать простой компасной съемкой, и мне даже было стыдно, что за неимением компаса я работал с таким тонким, прекрасным инструментом, как теодолит, да еще изделия самого господина Цейса.

Стояла ясная, холодноватая и в лесах такая ароматная осень.

Выдался однажды прелестный золотой денечек. Я расставлял вешки по одной стороне молодого липового леска, который почему-то назывался «Зиньтабры». Вдруг мои мужики закричали:

— Волк! волк!..

Они показывали пальцами куда-то далеко, далеко и неопределенно, туда, где лежали желтые и синие осенние нивы и изредка торчали кустики. Я с трудом увидал, наконец, крошечное пятнышко, которое медленно двигалось по горизонту. Мне все-таки удалось поймать его в визирную трубку довольно скоро. Удивительное зрелище: матерый, бесшеий, толстохвостый, бурый волчище тряской, собачьей рысью бежит по воздуху вниз головой, ногами вверх... Небо у него под

головою, а земля упирается ему в ноги. До него было версты, пожалуй, три. Но чудесный теодолит приблизил его сажен на сто. Поворачивая винтик визира, я успел показать волка мужикам. Они дивились, смеялись и хлопали себя ладонями по ляжкам.

Я мог бы без конца говорить о моих необыкновенных встречах, приключениях и наблюдениях: о доменных печах и о шахтах почти в версту глубиною, об аэропланах и водолазных скафандрах, о необыкновенном уме животных и об этом загадочном существе, размах которого так велик, что порою падает ниже гиены, а порою взлетает на высоту почти божественную. Но сегодня, перелистывая страницы моей памяти, я в них ничего не нашел новогоднего, кроме одного маленького рассказа. В нем, правда, нет ничего волшебного, необычайного, сверхъестественного или трогательного.

В нем одно достоинство: то, о чем я в нем говорю, действительно произошло под новый 1898 год в городе Киеве.

Я в тот год работал в газете «Жизнь и искусство». Писал повести и рассказы. Моя изящная литература была в сущности для этой газеты, которая медленно, но верно умирала, чем-то вроде камфары или соляного раствора. Гонорара мне давно уже не платили. С полгода назад редактор подал мне светлую мысль:

— Разыщите где-нибудь объявление. Плату за него вы возьмете себе, а мы такую же сумму спишем с нашего долга.

Раза три эта веселая комбинация мне удалась. Потом пошло хуже. Клиенты мои стали предлагать очень низкие цены, да при этом платили не деньгами, а своим товаром, натурой. И вот что случилось: я щеголял в шикарном блестящем цилиндре, между тем как мои ботинки просили каши, или раздавал всем своим знакомым в подарок патентованные зубные щетки или несравненную пудру «Трефль Инкарна» в кокетливых коробочках. Оскорбительнее всего был тот случай,

когда похоронное бюро предложило мне за объявление кредит в своем торговом доме. Кому я мог бы предложить такой сюрприз?

Редакция уже давно была должна мне около сорока рублей (считая по две копейки за строку). Почему я не уходил оттуда? не понимаю! Может быть, из рыцарского чувства, может быть, просто по упрямству, а пожалуй, от лени.

На встречу Нового года я был заранее приглашен знакомым нотариусом с Подола. Я часто бывал у него, запросто, по вечерам. Учил его детей Юру, Илюшу и Сашу фехтованию на рапирах, а также охотно дрессировал их превосходного белого пуделя Мухтара. (Я никогда потом в жизни не встречал другой собаки, которая бы с такой жадностью ловила уроки.) Нотариус, бывший правовед, угощал меня плохенькой марсалой и читал мне вслух французские стихи, которых я совсем не понимал.

Но как пойдешь под Новый год в большой, ярко освещенный дом, где мужчины во фраках, где женщины прекрасны и блестящи, где тебе поневоле кажется, что самое пристальное внимание всего общества обращено исключительно на протертые и заплатанные места твоего жалкого туалета, где сидишь за столом, спрятав поглубже руки и ноги.

Я написал вежливый отказ; сам снес конверт на Подол и просунул его в дверь нотариальной конторы.

Весь день я ходил, посвистывал и утешался отрицательной философией:

— Новый год. Что за предрассудок? Чему радоваться? Чего ждать? Все равно каждый человек с момента рождения уже приговорен к смертной казни. Почему же все люди не сходят с ума при мысли об этой обреченности? Не одно ли и то же ждать рокового момента восемьдесят лет или два дня? В бесконечности времени и оба срока одинаково ничтожны.

Однако на всякий случай я все-таки пошел на разведки в редакцию. Бывают же чудеса на свете. Хоть бы призанять у кого-нибудь двугривенный.

В редакции никого не было. В конторе светился огонь. Я постучал.

В конторе за зеленым столом сидела младшая дочка редактора, лет пять назад просто Тиночка, у которой я тогда в играх служил лошадью, иногда беговой, иногда скаковой, а теперь — милая пятнадцатилетняя толстушка Валентина Митрофановна.

— Ах, денег бы мне, прелестнейшая из барышень. Новый год идет.

— Я бы рада была, но, право же, в кассе ни копейки.

— Тиночка, поищите в ящике хорошенько. Может быть, какая-нибудь мелочь на мое счастье найдется?

Она вспыхнула до слез.

— Неужели вы мне не верите?

И выдвинула ящик.

— Смотрите сами.

Я посмотрел и увидел — о чудо! — целый десяток загородных семикопеечных марок!

— О, добрая Тина. Марки — это деньги. Поделитесь ими со мной.

— Вы смеетесь надо мною. Это нечестно.

— Милая, очаровательная Тина, я серьезен, как Дон-Кихот перед битвой. За каждую из этих марок я получу в любой мелочной лавке по шесть копеек. Дайте, сколько вам не жаль.

— Вы человек без совести! — сказала Тина с горьким упреком. — А еще я вас считала за друга. Берите все.

Я от души пожелал ей гору счастия в будущем году и побежал в ближайшую лавчонку.

Вечером я пообедал, как Лукулл, в «Злой яме». Так назывался подземный трактирчик на углу Крещатика и Фундуклеевской улицы. В этом кабачке, сидя за столом и задрав голову кверху, посетители могли при старании видеть лишь узенький кусочек высокого тротуара и бегущие по нему сапоги, башмаки и туфельки. Здесь даже и летними днями горели лампы. Посетителей в этот день было очень мало, да и те скоро разошлись. Остались только я да еще какой-то

неизвестный мне человек с видом печального какаду, сидевший рядом со мною.

Часам к одиннадцати толстый хозяин кабачка присел за наш стол и даже пригласил сесть своего жирного мопса — почесть, которую он оказывал только самым любимым посетителям. Подсела также его буфетчица — огромная немка Лиза, которую все мы звали «Пферд» [1], на что она совсем не обижалась. Хозяин, Нагурный, потчевал нас пуншем. Он познакомил меня с унылым соседом. Он был хозяином маленького паноптикума, помещавшегося в этом же доме, в первом этаже. Тоскливо тянулось время, а когда оно подошло к полуночи и часы зашипели, я достал блокнот и написал на нем, по старому обычаю: «Господи, благослови венец лета благости твоея на 1899 год».

Нужно было бы еще сюда приписать какое-нибудь заветное желание, но я не нашел ни одного. Оттого, вероятно, и весь этот год у меня был такой прескверный.

Выходили мы вместе с какаду. Когда мы вылезли из подвала, он сказал мне:

— Пойдем на мой паноптикум. Я буду вас угощал с венгерским вином. — Бог его знает, какой он был нации.

Я согласился. Мы поднялись на несколько ступеней. Он открыл дверь ключом и засветил огарок свечи.

— Идите за мной. Я сейчас зажгу лампу.

Я следом за ним вошел в очень большую темную залу. Скудный свет огарка метался и прыгал по стенам, и какие-то призраки теней дрожали, качались и падали между полом и потолком. Мне стало томительно скучно. «Зачем я сюда полез, в самом деле?»

Зажглась лампа-молния, и я увидел себя в обыкновенном музее восковых фигур. Лежала мертвая, невздыхающая Клеопатра, и тонкая змейка неподвижно уткнула тонкую голову в ее красный сосок. Недвижимо окаменела в беге огромная волосатая горилла, держа на плече точно окаменевшую полуголую женщину. Со всех стен мертво таращились на нас из-под стеклянных колпаков знаменитые люди, убийцы, импе-

---

[1] Лошадь (от *нем.* Pferd).

раторы, политики, все сплющенные, скошенные набок от жары и небрежной перевозки. Какие-то банки с уродами на столах. Мне стало неприятно, почти жутко, пожалуй, я лучше чувствовал бы себя в морге. В морге все ясно: «Вот лежат бесчувственные предметы, бывшие раньше людьми». А тут как будто бы заснули странные мертвые существа, которых каждый день пробуждают к мертвой механической жизни. А вдруг они видят сны?

Хозяин пришел с двумя стаканами и поставил на стекло витрины.

— Прозит! Хох! Нейяр! [1] — воскликнул он громко, и какие-то шелестящие голоса в ответ ему зашуршали по залу. Я чокнулся с ним. Вино было в самом деле превосходное. Но больше одного глотка я не мог сделать. А вдруг оно из древнего саркофага?

— А теперь, — сказал хозяин, — пойдемте. Я буду вам показать самый замечательный... О, это гвоздь моего музея, это его центр, это настоящий хозяин паноптикума. Это сам Фердинанд.

Ведя меня, он продолжал говорить:

— Он мудр. Он знает все: и прошлое и будущее. Он работал еще с моим дедушка в музее знаменитого Барнум. Сколько ему лет? Вы скажете сто, двести. А я скажу, что, может быть, и две и четыре тысячи. О! Это Фердинанд!

Он присел на корточки перед большим ящиком, окутанным байковыми одеялами, и стал бережно развертывать материю. Я заглянул в ящик. Сначала мне показался там какой-то масленый, матовый, темный блеск, потом зашевелилось что-то живое. Наконец из ящика вытянулась узкая плоская длинная голова.

— Змея! — воскликнул я с отвращением.

— Змея! — передразнил меня хозяин. — Есть много людей, но король только один. Есть много змей, но выше их всех — боа констриктор. Это Фердинанд. И больше не надо никаких слов! О мой сынока, о мейн гросс-папа, мон пети и жоли! [2]

---

[1] Ваше здоровье! Ура! С новым годом! *(нем.)*

[2] О мой дедушка, мой маленький и красивый *(нем.* и *франц.)*.

— Молодой человек, — продолжал он, — вы видите на этом стуле клетку с кроликом. Это новогодний подарок моему сокровищу, моему красавцу Фердинанду. Сейчас я буду его кормить. Вы увидите самое трогательное в мире зрелище.

Вид огорченного какаду совсем сошел с лица моего собеседника, глаза его были полны нежной ласки. Мне большого труда стоило отказаться от его любезности. «А что, — опасливо думал я, — вдруг ему придет в голову угостить своего божественного удава ради праздника лакомым блюдом из молодого человека двадцати восьми лет?» Вот уж где следы преступления будут надежно спрятаны навеки.

Но зачем дурно думать о людях. Этот сумасшедший хозяин самым учтивым образом проводил меня не только до дверей, но даже и до улицы.

На прощанье он крепко пожал и потряс мою руку.

— Заходите, мой друг, на мой паноптикум хоть каждый день. Вход для вас всегда будет без платы. И если приведете с собой вашу красивую возлюбленную, то и ей тоже одна контрамарка.

Мы простились. Но, — силы небесные, — с какой радостью я глядел на ночное небо, и на свежий снег, и на уличные огни. И с каким наслаждением вдыхал прекрасный, сладкий, чуть морозный воздух.

ПОТЕРЯННОЕ СЕРДЦЕ

Из Гатчинской авиационной школы вышло очень много превосходных летчиков, отличных инструкторов и отважных бойцов за родину.

И вместе с тем вряд ли можно было найти на всем пространстве неизмеримой Российской империи аэродром, менее приспособленный для целей авиации и более богатый несчастными случаями и человеческими жертвами. Причины этих печальных явлений толковались различно. Молодежь летчицкая склонна была валить вину на ту небольшую рощицу, которая росла испокон десятилетий посредине учебного поля и нередко мешала свободному движению аппарата, только что набирающего высоту и скорость, отчего и происходили роковые падения. Гатчинский аэродром простирался как раз между Павловским старым дворцом и Балтийским вокзалом. Из западных окон дворца роща была очень хорошо видна. Рассказывали, что этот кусочек пейзажа издавна любила покойная государыня Мария Феодоровна, и потому будто бы дворцовый комендант препятствовал снесению досадительной рощи, несмотря на то, что государыня уже более десяти лет не посещала Гатчины.

Конечно, молодежь могла немного ошибаться. Ведь известно, что всех начинающих велосипедистов, летчиков, конькобежцев и прочих спортсменов всегда

неудержимо тянет к препятствиям, которые очень легко возможно было бы обойти.

Опытные, дальновидные начальники школы судили иначе: они принимали во внимание топографическое положение Гатчины с окружающими ее болотами и лесами, с близостью Финского залива и Дудергофской горы и, исходя из этих данных, объясняли капризность, переменчивость и внезапность местных ветров. В виде примера они приводили спортивный перелет из Петербурга в Москву штатских авиаторов: Уточкина, Лерхе, Кузьминского, Васильева и еще каких-то трех. Все они сели самым жестоким образом на ничтожных Валдайских возвышенностях, поломав вдребезги свои аппараты. Продолжать полет мог только Васильев, и то лишь потому, что Уточкин, сам с разбитым коленом, отдал ему великодушно все запасные части, помог их приладить и лично запустил мотор...

Трагическое, возвышенное и гордое впечатление производил тот угол на гатчинском кладбище, где беспокойные, отважные летчики находили свой глубокий вечный сон. Заместо памятников над ними водружались пропеллеры. Издали это кладбище авиаторов походило на высокий беспорядочно воткнутый частокол, но, подходя к могиле ближе, каждый испытывал волнующее высокое чувство. Казалось, что вот с необычайной высоты упала прекрасная мощная птица и, разбившись о землю, вся вошла в нее. И только одно стройное крыло подымается высоко и прямо к далекому небу и еще вздрагивает от силы прерванного полета.

Жуток и величествен был обычай похоронных проводов убившегося товарища. На всем пути в церковь и потом на кладбище его сопровождала, кружась высоко над ним, летучая эскадра изо всех наличных летчиков школы, и рев аэропланов заглушал идущее к небу последнее скорбное моление: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас».

Суров был и, пожалуй, даже немного жесток другой неписаный добровольный товарищеский обычай. Если летчику, по несчастному случаю или по неловкой ошибке, случалось угробить аэроплан, то на это крушение большого внимания никто не обращал. Если оно происходило далеко от аэродрома, то летчик телефонировал в школу, а если близко, то его падение бывало видно с поля. Очень быстро приезжали авиационные солдаты и на телегах увозили остатки катастрофы. Но если угробливался или опасно искалечивался сам летчик, то его везли в госпиталь. И в тот же час, хотя бы его труп лежал еще тут же, у всех на виду на авиационном поле, все летчики, находящиеся на службе, выдвигали из ангаров или брали с поля готовые аппараты и устремлялись ввысь. Опытные летуны пробовали выполнить задачу, заданную на сегодня несчастному собрату, другие старались повысить собственные рекорды. Тщетно было бы искать происхождения такого вызова судьбе в параграфах военно-авиационного устава. Это был неписаный закон, священный обычай, словесный «адат» мусульман, выработанный инстинктом, необходимостью и опытом. Летчик всегда должен оставаться спокойным, даже тогда, когда его лицо обледенит близкое дыхание смерти. «Вот убился твой товарищ, однокашник и друг. Его прекрасное молодое тело, вмещавшее столько божественных возможностей, еще хранит человеческую теплоту, но глаза уже не видят, уши не слышат, мысль погасла и душа отлетела бог весть куда. Крепись, летчик! Слезы прольешь вечером. Дыши ровно. Не давай сердцу биться. Потеряешь сердце — потеряешь жизнь, честь и славу. Руки на рукоятках. Ноги на педалях. Взревел мотор, сотрясая громадный аппарат. Вперед и выше! Прощай, товарищ! Бьет в лицо ветер, уходит глубоко из-под ног темная земля. Выше! Выше, летчик!»

В то время, незадолго до войны и в первые годы войны, чрезвычайно, даже чрезмерно многие молодые люди жадно стремились попасть в военную авиацию. Поводов было много: красивая форма, хорошее жалованье, исключительное положение, отблеск героизма, ласковые взгляды женщин, служба, казавшаяся издали

необременительной и очень веселой и легкой. Реже других попадали в авиационные школы люди настоящего призвания, прирожденные люди-птицы, восторженно мечтающие о терпких и сладких радостях летания в воздухе, те люди, о которых Пушкин говорил:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог.

Но надо сказать, что эти разверзатели пространств, эти летуны милостью божиею удивительно редко встречаются в природе, и к тому же они совсем лишены великих даров назойливости, попрошайничества и втирательства через протекции.

Но и протекции все равно не помогали. Новичков принимали в авиационную школу, протискивая их через густое сито. Будущий летчик должен был обладать: совершенным и несокрушимым здоровьем; большой емкостью легких; способностью быстро ориентироваться как на земле, так и в воздухе; верным умением находить и держать равновесие; острым зрением, без намека на дальтонизм; безукоризненным слухом, физической силой и, наконец, сердцем, работающим при всяких положениях с холодной, неизменной точностью астрономического хронометра.

Про храбрость, смелость, отвагу, дерзость, неустрашимость и про прочие сверхчеловеческие душевные качества летчика, — в этом летающем мире никогда или почти никогда не говорилось. Да и зачем? Разве эти, столь редкие ныне, качества не входили сами по себе в долг и обиход военного авиатора?.. Хвалили Нестерова, впервые сделавшего мертвую петлю. Хвалили Козакова, снизившего восемнадцать вражеских аэропланов. Хвалили, но не удивлялись: удивление так близко к ротозейству!

Немудрено, что при столь строгом испытании и при такой суровой дисциплине наибольшая часть неспособных, ненужных, никуда не годящихся кандидатов в летчики отваливалась вскоре сама собою, как шлак или мусор. Оставался безукоризненный, надежный от-

бор. Но даже среди этих избранных, при первых опытах полета, находились еще неудачники, люди смелые, ловкие, влюбленные в авиацию, но — увы! — лишенные какого-то из великих даров приближения к небу. Те уходили молча, с горестью в душе, и старые летчики провожали их с грубоватым и дружеским сожалением, хотя иных из них приходилось провожать только до кладбища.

Овладевал, между прочим, не только молодыми, но и опытными, закаленными знаменитыми летчиками особый трудно объяснимый и неизлечимый, внезапный недуг, который назывался «потерею сердца» и о котором ни один из авиаторов не позволил бы себе отозваться насмешливо или легкомысленно.

Здесь под понятием сердца не надо предполагать мощный мускул на левой стороне человеческой груди, который самоотверженно и послушно многие годы нагнетает кровь во все закоулки нашего тела. Нет! Здесь подразумевается символ психологический, моральный. Потерять сердце — это для летчика значит потерять божественную свободу разгуливать в небесном пространстве по своей воле на хрупком аппарате, пронизывать облака, спокойно встречать дождь, снег, ураган и молнии, ничуть не теряясь оттого, что ты совершенно не знаешь: летишь ли ты во тьме, на юг или на запад, вверх или вниз.

Одно из поразительнейших явлений — эта потеря сердца. Ее знают акробаты, всадники и лошади, борцы, боксеры, бреттеры и великие артисты. Эта странная болезнь постигает свою жертву без всяких последовательных предупреждений. Она является внезапно, и причин ее не сыщешь.

Вот так же неожиданно потерял сердце на Гатчинском аэродроме славный авиатор и отличный инструктор Феденька Юрков (ударение на о), о котором в наивной гатчинской авиационной звериаде пелось:

Кто хоть пьян, но в бой готов?
Это Феденька Юрков...
Химия, химия,
Сугубая химия... и т. д.

Поступил он в авиацию не очень рано, лет двадцати семи-восьми, из кавалерии. Надо сказать, что кавалеристам легче, чем простым смертным, давалась несложная, но все-таки требующая присутствия духа наука управления авионом, ибо работа над лошадью поводьями и шенкелями имеет много общего с маневрами летчиков.

Служил он раньше хотя и не в гвардейском, а в армейском полку, но полк от времен седой старины был покрыт исторической славой.

Замечателен он был еще тем, что в нем, как и в двух других кавалерийских полках, всему составу господ офицеров и всем вахмистрам полагалось быть холостыми, и на это крутое правило никогда не было ни исключений, ни поблажек.

Что-то было в милом Феденьке Юркове от легендарных героев кавалеристов 1812 года — от Милорадовича, от Бурцева, ёры, забияки, от Дениса Давыдова, от Сеславина: хриплый командный голос с приятной сипловатостью, походка немного раскорякою, внешняя грубость и внутренняя правдивая доброта и, наконец, блестящая лихость в боевых делах. Вся русская военная авиация знала и с улыбкой вспоминала о его забавном и опасном приключении в начале войны на Западном фронте. Ему была поручена воздушная разведка. Штабу наверняка было известно, что немцы находятся где-то довольно близко, верстах в тридцати — сорока, но в каком направлении — никто не ведал.

Юрков быстро поднялся в воздух, имея позади себя наблюдателя с бомбой, знавшего прекрасно немецкий язык, бывшего ученика петербургской Петершуле, славного и сильного малого и из «русских распрорусского».

Погода в верхних слоях была моросливая, с густым тяжелым туманом. Пилот вскоре потерял намеченный путь, перестал ориентироваться и решил приземлиться, чтобы опознаться в местности. Судьба и начавшийся ветерок руководили им. Он спустился как раз на широкую и теперь безлюдную площадь города Гумбинена, как раз напротив опрятного кабачка, тонувшего во

вьющейся зелени. Город, несмотря на рев спускавшегося авиона, продолжал безмолвствовать, как в сказке о спящей царевне. Вероятно, звуки мотора были здесь обычным явлением. Из кабачка пахло кофеем и жареной колбасой. У Юркова сразу созрел план действий:

— Надо узнать, какой это город, и вытянуть, какие удастся, сведения. Итак, слушайте, Шульц: я — лейтенант кайзерской авиации, вы — мой унтер-офицер. Я ранен в горло и потому говорю совсем невнятно. Я буду хрипеть и сопеть. Так мне легче будет маскировать мое незнание немецкого языка, а берлинский жаргон я умею ловко передразнивать. Немецкие деньги у вас. Дайте сюда и идемте фриштыкать [1]. Если возникнут недоразумения по поводу нашей формы, говорите, что наша секретная задача этого требует для заманивания в мешок этих руссише швейне [2], и вообще ругайте нас без всякого милосердия. Когда подкрепитесь, идите к аппарату. Ну, форвертс! [3]

В опрятной столовой они выпили кофе с молоком, съели вкусный сытный завтрак из яичницы с ветчиной, жареных толстых сосисок и доброго сыра, запивали же его они дрянным шнапсом и отличным бархатным черным пивом.

Шульц без конца болтал на настоящем чистейшем немецком языке и ловко успел выведать, что город называется Гумбиненом, что отряды кайзера пробыли в нем четыре дня, а потом ушли куда-то на восток и теперь их не видно и не слышно уже трое суток, а в городе остались лишь раненые и инвалидная команда. Юрков произносил картаво, хрипло и густо, из самой глубины горла, односложные слова «Моэн», «маальцейт», «проозит», «колоссаль», «пирамидаль» [4], а огромного, толстого, раздутого пивом хозяина звал,

---

[1] Завтракать (от *нем.* Früstick).
[2] Русских свиней *(нем.)*.
[3] Вперед *(нем.)*.
[4] От слов: Gut'Morgen — доброе утро; Mahlzeit — приятного аппетита; Prosit — ваше здоровье; Kolossal — колоссально; Piramidal — превосходно *(нем.)*.

хлопая его дружески по жирной спине: «Май либа фаата»[1].

Если Ницше называл прусский берлинский язык плохой и бездарной пародией на немецкий, то юрковская пародия выходила замечательно.

Две милые женщины прислуживали за столом: полная — чтобы не сказать толстая — хозяйка, цветущая пышной, обильной красотою сорокалетней упитанной немки, и ее дочь, свеженькая «бакфиш»[2], с невинными голубыми глазами, розовым лицом, золотыми волосами и губами красными, как спелая вишня.

«Эх, пожить бы нам здесь всласть дня два, три, — мечтательно подумал Феденька. — Я бы поволочился за фрау, а фрейлен предоставил бы Шульцу. Конечно, ничего дурного! Просто — буколическая идиллия под каштанами немецкого тихого городка...»

Но в эту минуту скорым ходом вернулся от аэроплана Шульц. Он чуть-чуть кивнул головой в знак того, что все обстоит благополучно, но легкое движение его ресниц красноречиво указало на дверь.

— Извините. Одна минута, — сказал по-немецки голосом чревовещателя Юрков и вышел.

— В чем дело?

— Проезжал в шарабане немец и остановился, чтобы сказать другому немцу, что по дороге он видел с холма большой немецкий отряд, идущий в колонне на Гумбинен. Что прикажете делать, господин ротмистр?

— Сниматься с якоря. Идем попрощаемся с милыми хозяевами. — Он расплатился за завтрак с такой щедростью, на какую никогда бы не отважился ни один немецкий эрцгерцог, и притом расплатился не жалкими бумажками, а настоящими серебряными гульденами. Пораженная сказочной платой, хозяйка навязала почти насильно авиаторам корзиночку с провизией, и растроганный Юрков влепил ей в самые губы сердечный поцелуй. Хозяин охотно вызвался отыскать двух сильных людей, чтобы пустить в ход пропеллер

---

[1] «Мой дорогой отец» (*нем.*).

[2] «Девочка-подросток» (от *нем.* Bakfisch).

аппарата. Через десять минут мощный «Маран-Парасоль», отодравшись от земли, уже летел легко к разъяснившемуся небу, а немецкие друзья махали вслед ему шляпами и платками.

Вскоре с большой высоты они увидали сплошную гусеницу немецкой колонны, казавшейся почти неподвижной.

— Господин ротмистр, — прокричал в слуховую трубку Шульц, указывая на гнездо, в котором лежала бомба. — А не пустить ли в них этой мамашей?

На что Юрков, никогда не терявший спокойствия, ответил серьезно:

— Нет, мой молодой друг! Наше точное задание — разведка. Часто — увы! — из-за сурового долга приходится отказывать себе в маленьких невинных удовольствиях!..

Вечером, в офицерском собрании, за ужином, в который входили и гумбиненские толстые сосиски, Феденька Юрков рассказал эту историю при громком хохоте всех летчиков. Ему не чужд был соленый грубоватый юмор.

—

Юрков поступил в авиацию за год до войны. На войне он с успехом летал сначала на таких старых первобытных аппаратах, каких давным-давно и помину не было во всех воюющих армиях. Немцы говорили: «Самые храбрые летчики — это русские. Немецкий летчик счел бы безумием сесть на один из их аппаратов». Юркова точно чудом спасали от смерти его отвага, хладнокровие и находчивость.

За это время он успел все-таки сбить шесть вражеских аэропланов. В 1916 году он получил две пулевых раны и был из госпиталя командирован в Гатчинскую школу в качестве инструктора. Вернее, это был замаскированный отдых.

Как товарищ, Юрков, несмотря на некоторую шершавость характера, отличался добротою, готовностью к услуге, всегдашней правдивостью и был любимейшим компаньоном. Как инструктор, он был строг и крайне требователен. Он как будто бы совсем позабыл

о том постепенном преодолении трудностей, о той постоянной гимнастике духа и воли, которые неизбежны при обучении искусству авиации. Большинство учеников сбегало от него к другим, более мягким, инструкторам, но зато из молодежи, обтерпевшейся в его жестких руках, выходили немногие, но первоклассные летчики.

В Гатчине Феденька Юрков выбрал своим жильем гостиницу Веревкина, на вывесках которого золотом по черному было написано: на одной «Vieux Verevkine» [1], а на другой «Распивочно и раскурочно» — старый наивный след пятидесятых годов.

Гатчина, городишко тихий, необщительный, летом весь в густой зелени, зимой весь в непроходимом снегу. Там семьи редко знакомятся друг с другом. Нет в нем никаких собраний, увеселений и развлечений, кроме гаденького кинематографа.

Никогда ни одного человека нельзя было встретить: ни в Приоратском парке, ни в дворцовом, ни в зверинце. Замечательный дворец Павла I не привлекал ничьего внимания, пустовали даже улицы.

Вот именно в передней плохонького синема, после сеанса, Феденька Юрков и увидел Катеньку Вахтер.

Дожидаясь, пока ее матушка разыскивала свои галоши, а потом кутала шею и голову вязаным платком, Катенька стояла перед зеркалом, кокетничала со своею новой шляпой и вполголоса говорила подруге о своих впечатлениях, склоняя личико то на один, то на другой бок.

— Ах, Макс Линдер! До чего он хорош! Это что-то сверхъестественное, не объяснимое никакими человеческими словами! Какое выразительное лицо. Какие прелестные жесты!

Тут она повернула головку направо, и глаза ее столкнулись в зеркале с глазами Юркова. Она глядела прямо на летчика, но глядела машинально: она его не

---

[1] «Старый Веревкин» *(франц.)*.

видела и продолжала говорить с преувеличенной страстностью, упираясь зрачками в его зрачки.

— Он безумно, безумно мне нравится! Я еще никогда не видала в жизни такого прекрасного мужчину! Вот человек, которому без колебаний можно отдать и жизнь, и душу, и все, все, все. О, я совсем очарована им!

В это мгновение восторженный образ Юркова влился в сознание барышни Вахтер. Она покраснела и поспешила спрятаться за широкую спину маменьки. Но про себя она сказала по адресу офицера, жадно пялившего на нее восхищенные глаза: «Какой дерзкий нахал!»

Юрков отлично заметил ее гордый, небрежный и презрительный взгляд. Но... все равно... Теперь ему уже не было спасенья. Стрела амура успела пронзить в этот момент его мужественное сердце, и он сразу же заболел первой любовью: любовью нежной, жестокой, непреодолимой и неизлечимой.

В доме Вахтеров иногда бывали гатчинские летчики. Один из них, поручик Коновалов, ввел Юркова в этот дом, и с тех пор Феденька зачастил туда с визитами. Он приносил цветы и конфеты, участвовал в пикниках и шарадах, держал для мамаши на распяленных пальцах мотки шерсти, водил папашу, акцизного надзирателя и старого мухобоя, в офицерское собрание, где хоть и не без труда, но удавалось иногда выпросить стакан спирта у заведующего хозяйством школы, капитана Озеровского. Недаром в исторической звериаде пелось:

А чтоб достать порою спирт,
Нам с Озеровским нужен флирт,
Химия, химия,
Сугубая химия.

Скрепя сердце играл Юрков в маленькие семейные игры и танцевал под мамашину музыку самые неуклюжие вальсы, венгерки и падеспани. Всем было известно, что он без ума влюбился в Катеньку. Товарищи летчики удивлялись. Что он нашел в этой тоненькой семнадцатилетней девчонке? Она была мала ростом,

с бледным лицом в пупырышках; к тому же была у нее неисправимая, дурная привычка беспрестанно двигать кожу на лбу, так что морщины подымались вверх до корней волос, что придавало лицу Катеньки глупое и всегда удивленное выражение. Не пленила ли Феденьку ее трепетная юность?

Бывший офицер славного холостого кавалерийского полка никогда не знал чистой, свежей любви. Он, подобно своим товарищам драгунам, всегда в любовных делах занимался дальним каперством, чтобы не сказать пиратством, и вообще легкими амурами. Теперь он любил с уважением, с обожанием, с вечной иссушающей мечтой о тихих радостях законного брака. Это стремление к семейному раю порою глубоко изумляло его самого, и он иногда размышлял вслух:

— Гм... Попался, который кусался!..

Пробовал он порою закидывать косолапые намеки на предложение руки и сердца. Но куда девалось его прежнее развязное и бесцеремонное красноречие. Слова тяжело вязли во рту, а часто их и вовсе не хватало. Его жениховских подходов как будто никто не понимал...

К тому же всем давно было известно, что Катенька влюблена в Жоржа Востокова, двадцатипятилетнего летчика, который, несмотря на свою молодость, считался первым во всей русской авиации по искусству фигурного пилотажа. Кроме того, румяный Жоржик премило пел нежные романсы, аккомпанируя себе на мандолине и на рояле. Но он не обращал никакого внимания на Катюшины взоры, вздохи и на томные приглашения прокатиться на лодке по Приоратскому пруду. Вскоре он и совсем перестал бывать у Вахтеров.

Убедившись, наконец, в своей полной и бесповоротной неудаче, Юрков заскучал, захандрил, изнемог, и более двух недель он под разными предлогами не выходил из гостиницы «Vieux Verevkin'а» и вернулся на службу лишь после многозначительной бумаги начальника школы. Пришел он на аэродром весь какой-то мягкий, опущенный, с исхудалым и потемневшим лицом и сказал товарищам пилотам:

— Я хворал и потому совсем раскис. Но теперь мне гораздо лучше. Попробую сегодня подняться на четыре тысячи. Это меня взбодрит и встряхнет.

Ему вывели из гаража его чуткий, послушный «Моран-Парасоль». Все видели, как ловко, круто и быстро он поднялся до высоты в тысячу метров, но на этой высоте с ним стало делаться что-то странное. Он не шел выше, вилял, несколько раз пробовал подняться и опять спускался. Все думали, что у него случилось что-нибудь с аппаратом. Потом он стал снижаться планирующим спуском. Но аэроплан точно шатался в его руках. И на землю он сел неуверенно, едва не сломав шасси... Товарищи подбежали к нему. Он стоял возле машины с мрачным и печальным лицом.

— Что с тобою, Феденька? — спросил кто-то.

— Ничего... — ответил он отрывисто. — Ничего... Я потерял сердце, как ни бился — не могу и не могу подняться выше тысячи метров, — и знаете ли? никогда не смогу.

Покачиваясь, он пошел через авиационное поле. Никто его не провожал, но все долго и молча глядели ему вслед.

Немного придя в себя, Юрков на другой день, и на третий, и на следующий пробовал одолеть тысячную высоту, но это ему не давалось. Сердце было потеряно навеки.

НОЧЬ В ЛЕСУ

Середина апреля. По ночам еще стоят холода; болотцы и лужи в лесах затягиваются к утру тонким, хрупким льдом, но дни солнечны и теплы. Клейкие почки на березах насытились весенними соками, и в воздухе чувствуется их радостный смолистый аромат.

Теперь — последние дни глухариной охоты. Как только распустятся первые нежные березовые листочки, то начнут свое страстное токование краснобровые тетерева, глухари и замолкнут и забьются до осени в непроходимые чащи.

Мне уже надоело ночевать каждый день в старой смолокурне, глубоко врытой в землю. Там удушливо пахнет смоляной гарью; бревенчатые стены на вершок поросли висячей черной липкой сажей; каждый раз вылезаешь из смолокурни весь черный, как черт, чернее трубочиста; очень трудно потом отмыть руки и лицо.

Кроме того, постоянное сообщество лесника Николая становится мне все более тяжелым и неприятным. Он без нужды болтлив, криклив, подобострастен, противно жаден до денег и суетлив. Но охотник он превосходный: знает все повадки, привычки и ложбища как птицы, так и зверя; неутомим на охоте, обладает почти собачьим чутьем и опознается в лесу, как в собственной избе.

Объездчик Алексеев однажды проговорился мне, что лесник Николай в сущности не охотник-любитель, а жадный дичепромышленник и шкурятник, что он-де бьет дичь для продажи, направляя ее пудами, при помощи кумовьев, свояков и дружков, через Тулу в Рязань и Москву. Кроме того, ставит на птиц и на зверей запрещенные капканы и разбрасывает отравы.

Все эти слухи о Николаевой изворотливости мало меня интересовали и беспокоили. Под самодержавным распоряжением моего зятя, у которого я тогда гостил, находились четыреста пятьдесят тысяч десятин Куршинского казенного лесничества, да еще ему поручено было наблюдение над Касимовскими соседними лесами братьев Хлудовых, где числилось более ста тысяч десятин; пространство, как видите, равное пяти-шести германским княжествам или любому лимитрофу. Этот лесничий (не только по образованию, но и по призванию) любит лес серьезной, деятельной любовью. Для борьбы с лесными истребительными пожарами он построил в каждом из кордонов высокие наблюдательные каланчи и никогда не устает экзаменовать лесников в знании противопожарных инструкций. Он ревностно преследует лесные самовольные порубки и никогда их не прощает. Еще строже он следит за тем, чтобы в его лесничестве никто не смел разводить костров, особенно летом.

Он никогда не берет взяток. Когда наступает время продавать на сруб старые лесные делянки, то первые очереди он предоставляет соседям-крестьянам, а лесопромышленникам идут остатки или дорогие строевые деревья за высокие цены. Крестьяне это знают и ценят: оттого-то в его лесах почти никогда не шалят и его заповедных питомников никто не трогает.

Ему, конечно, известно, что почти все его лесники охотятся без его позволения. Но он глядит на это сквозь пальцы.

— У меня, — говорит он, — такая уйма дичи, что на всех хватит без малейшей убыли.

Я тоже держусь взглядов моего патрона. Но поведение Николая на охоте меня порою возмущает до гнева. Вот уже почти три года, как мы с ним охотимся,

и сколько раз я ловил его на плутовстве, к которому, однако, никак нельзя придраться. То он заведет меня в лысое пустое место, куда от сотворения мира не залетал ни один глухарь, ни тетерев. А то, бывало, услышу я издали знакомые мне волнующие звуки глухариной песни и бегу под нее быстрыми короткими прыжками, стараясь делать это совершенно беззвучно. Вот, вот... уже близок глухарь. Я различаю теперь и второе колено его токования, похожее на мощное, глухое шипение; уже подымаю голову кверху, стараясь разглядеть среди веток густой сосны фигуру самого глухаря... И вдруг... треск валежника под ногами... Шлепанье кожаных бахил... Глухарь мгновенно замолкает. Из темного кустарника выдирается голова Николая. Громко хлопая огромными крыльями, глухарь улетает прочь, и теперь его больше не увидишь. О, черт!

Николай спрашивает шепотом:

— Никак спугнули?

Конечно, глухарь был спугнут, но не мной, а лесником, но по какой-то глупой деликатности я молчу и только гляжу на него с яростной злобой. «Ведь этак ты не в первый раз делаешь, подлец».

И правда: одного глухаря он еще мне иногда давал ухлопать, но стоило мне начать разыскивать глазами второго, как Николай уже мчался ко мне с криками:

— Сан Ваныч! Ау, ау, Сан Ваныч!

А подойдя, говорил:

— А я-то вас кричу, кричу. Испугался даже. Тут место-то с закальцем. Стоит попасть ногой, так наверх никак не выкарабкаешься. Засосет.

Под конец я его просто возненавидел за его вертлявую заботливость и только сегодня решился сказать с надлежащей вескостью:

— Нечего нам с тобой, Николай, дурака валять друг перед другом... Нынче в ночь я пойду один, а ты сейчас же отправляйся домой, к себе на кордон. И сию же минуту!

Он жалобно забубнил:

— Да я, помилуйте, Сан Ваныч. Да как же я вас оставлю одного? Здесь же болота разные, быстрые речушки, вы по ним и не пройдете, особенно ночью.

И господин лесницын меня в прах обратит, если, не дай бог, с вами что-нибудь случится. Я же ведь только о вас самих забочусь. Я...

Но тут я ужасно заорал на него. Мне был стеснителен и труден лишь первый шаг, потом все пошло легче. Очень поспешно Николай оделся и вылез из смолокурни. Я долго слушал его удаляющиеся шаги, пока не убедился, что он действительно идет по направлению к Куршинской дороге. Наконец шаги стихли.

Остался только шум в обоих ушах да странное, неуютное чувство внезапного одиночества. Я поглядел на часы: было около восьми. Мне вдруг стало жалко, что я прогнал Николая: прежде в этот час мы ложились спать в смолокурне, а к полуночи шли на ток. Ведь могло случиться, что я был неправ, приписывая леснику коварные замыслы. Но я преодолел свою чувствительность, вскинул ружье за плечо и, не торопясь, пошел в глубь леса узенькой недавно вновь протоптанной тропинкой.

Солнце заходило. Его закат был яркий и ясный, но спокойный, и ветер спадал: почти верный признак того, что завтра утром погода будет сухая и безветренная. Самая благоприятная для глухариных токов. А кроме того, какие-то птички, казавшиеся совсем малюсенькими, шныряли с необыкновенной быстротой в высоте смуглевшего неба: тоже одна из примет тихого утра.

Было уже трудно видать лесную дорожку, но я доверился инстинктивной памяти ног, которая так остра и послушна в тишине и в полутьме.

Так дошел я до узенькой, всего в сажень шириною, но необычайно быстрой речонки, называвшейся Пра. Ее звонкий лепет доносился до меня еще издалека. Через нее с незапамятных времен была мужиками перекинута «лава», первобытный неуклюжий мост из больших древесных сучьев, перевязанных березовыми лыками. Странно — никогда мне не удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. Так и нынче: как ни старался я держать равновесие, а пришлось все-таки угодить мимо и зачерпнуть холодной воды в кожаные, большие, выше колена бахилы. Пришлось на другом бережку сесть, разуться и вытрясти

воду из тяжелой обуви. На ходу ноги опять согрелись, приятно и ладно обтянутые высыхающей упругой кожей.

Дальше путь пошел легкий. Я уже по опыту знал, что мне теперь, кренделяя между мощными стволами и густым цепким кустарником, надо неуклонно держаться востока. Тут мне помогали и лиловое с золотом догорание запада, и мой полуигрушечный компас, мгновенно озаряемый светом папиросы.

Я на ходу перетягиваю поудобнее за плечами мой походный ранец и вдруг невольно улыбаюсь; в глубоком вечереющем лесном безмолвии набежала смешная мысль. Я вспомнил прелестную поэму нового норвежского писателя Кнута Гамсуна под заглавием «Пан». Ах! Какими страстными словами, какими волшебными образами живописал ее герой, очаровательный лейтенант Глан, лес и его великое безмолвие...

Но какой же это был лес, если через него кратчайшим путем ходят ежедневно девушки из деревни в городок с кувшинами молока? И какое же в нем великое одиночество, если он весь засорен окурками, замасленными бумагами, пустыми коробками из-под консервов, апельсинными корками и стеклом разбитых бутылок — всеми этими грязными следами, говорящими о постоянной и тесной близости человека?

«Вот хорошо было бы, — думаю я, — перенести этого норвежского любителя природы сюда, в сплошную полосу кондовых, частью еще не обмеренных лесов, раскинувшихся на многие сотни тысяч квадратных верст, на пространство, равное среднему европейскому государству, заселенное медведями, волками, лосями, лисами, барсуками, зайцами, рысями, белками, горностаями, куницами и тысячами мелких неведомых зверушек; и весь этот четвероногий мир находится в вассальном подданстве у местного лешего, которого не однажды видели куршинские мужики, прозываемые соседями «куршей головастой» или «литвой некрещеной», а бабы — те видят его очень часто, когда летом ходят по ягоды».

Но уже падает, падает мгла на землю. Если теперь выйти из освещенного жилья на волю, то сразу попа-

дешь в черную тьму. Но мой глаз уже обвык, и я еще ясно вижу нужную мне, знакомую верею. Вереей в этом крае называется большой холм, который высоко и широко торчит над болотом. Почти всегда на нем свободно растут две или три мощные столетние сосны, упирающиеся далекими вершинами в небо, с четырехохватными стволами в землю. Еще ясно различаю, как на самом кряжистом дереве, покрытом древнею, грубою, обомшелой корою, протянулся и точно дрожит бог весть откуда падающий густо-золотой луч, и дерево в этом месте кажется отлитым из красной меди.

Но прелестный лучик на глазах слабеет, затихает, меркнет... Вот уже и нет его совсем. Надо и мне улечься спать.

Я ложусь на ровном и мягком месте под холмом; так всегда удобнее лежать на открытом воздухе. Но уснуть мне долго не удается. Шумно бьется кровь в ушах, и ложе мое все кажется неудобным. Но мне давно уже знаком этот искус: чем больше ты будешь менять позы, переворачиваться с боку на бок и возиться с ямками, бугорками и сучками —тем вернее будет бежать от тебя дрема.

Я пробую лежать неподвижно, стараясь не замечать под собою ухабов и возвышений. «Это мне только кажется, — успокаиваю я себя. — Это мое избалованное воображение. Стоит потерпеть немного, и все пройдет».

Вылез тонкий, ясный, только что очищенный серп полумесяца на высокое небо, и только теперь стало заметно, как темна и черна весенняя ночь. Бежит, бежит молодой нарядный блестящий месяц, плывет, как быстрый корабль, волоча за собою на невидимом буксире маленькую отважную звездочку — лодку. Порой они оба: и бригантина и малая шлюпочка — раз за разом ныряют в белые, распущенные, косматые облака и мгновенно озаряют их оранжевым сиянием, точно зажгли там рыжие брандеры.

Не знаю, сколько проходит времени в этом восторженном наблюдении за небесными корсарами. Время меня больше не интересует, как, пожалуй, и все на свете. Я даже не сознаю того приятного ощущения, что

меня уже больше нигде не жмет, не теснит, не давит. Кровь перестала гудеть в ушах, но зато удивительно уточнилось и стало чудесно внимательным чувство слуха.

Далеко, верстах в двадцати, тридцати, в лесном озерце низко и сипло мычит выпь, классная наставница: «Спите, дети, спа-оть, спа-оть». Небольшая птица, чуть побольше коростеля, а голос у нее, как у соборного протодиакона или у породистого недовольного быка, начальника стоголового стада. Но она вскоре умолкает. Маленькие птички прощаются дружка с дружкой в густом кустарнике: «чики», «спокойной ночи». Спите чутко: «чи-чи-чи». Дергач в болоте протяжно скрипит в последний раз. Блеет барашком бекас, летящий на ночлег. Всемирная тишина! Только малюсенький, недавно вылупившийся из яйца птенчик соловьенчик слабо пискнул два раза: это он бредит сквозь сон. Что за ночь! Вспоминается мне вдруг давнишняя, точно воскресшая детская песенка:

В добрый час, в добрый час,
Спите: бог не спит за вас...

Я даже чувствую в голосе ее простой, наивный, точно молитвенный напев.

Как странно и как торжественно-сладостно ощущать, что сейчас во всем огромном лесу происходит великое и торжественное таинство, которое старые садоводы и лесники так мудро называют первым весенним движением соков.

Влажная благодатная земля представляется мне всемирной, могучей матерью, щедро предлагающей свои бесчисленные сосцы всему живущему, растущему, дышащему и славящему создателя. Углубившись в темные недра ее, тонкие, как ниточки, нежные отпрыски корней неустанно сосут, жадно впивают чудотворные соки. Слепые и бесчувственные, обладающие лишь божественным инстинктом, они никогда не ошибаются. Вот этот сок нужен липе, тот — ландышу, тот — сосне, а тот — папоротнику или дикой малине.

О, ночные часы! как в них много возобновляющейся силы, творческой работы, неведомой жизни и вечной

тайны. Ночью мальчики летают по воздуху, падают с кровати и растут. Ночью ходят по вершинам лунатики, влекомые лунным притяжением. Ночью тревожатся и стонут девушки-подростки, а беременные женщины ощущают первые потуги.

...Я сейчас думал. Но во сне это было или в ночной яви? Взглядываю на небо. Там большие перемены. Полумесяц снизился, стал вдвое больше. Он точно разбух и покраснел. Маленькая лодочка отцепилась от него и пропала навсегда... Да, это верно. Я заснул на несколько минут и совсем этого не заметил. Ночь стала еще тише, еще глубже и гуще. Едва-едва слышный звук раздается около меня, у моих ног. Точно кто-то сказал шепотом: «Пак». Нет, вернее: такой кроткий звук бывает порой, когда дитя в задумчивости разомкнет уста. Я догадываюсь о его причине и слабо с умилением улыбаюсь. Это какая-то почка вся набрякла соками, раздалась вширь, и от нее с тихим шумом отклеился первый лепесток. Какое счастье! Я живу теперь в самом центре, в самом святилище простых домашних интимных чудес природы, как в любимом знакомом доме.

Отчего нет больше сказок в наш суровый практический век? Какое, например, превосходное и какое бессчетное у меня королевство! Здесь живут дикие пчелы, осы и шмели, еще не решающиеся вылететь из зимних, глубоких дупел, забитых от холодов соломой и мхом. Здесь повсюду, в каждой щели и трещинке, в извилинке коры спят мертвым, но временным сном личинки и коконы разноцветных бабочек, изящных стрекоз, всевозможных жуков, свирепых комаров, пауков-строителей и всяких трудолюбивых червячков: пильщиков, резчиков, сверльщиков, стругальщиков — и все они нужны для каких-то господних работ. Большими буграми высятся огромные жилища муравьев, битком набитые сильным, работящим, свирепым и умным народом...

Ну-ка, я попробую сделать подсчет: сколько у меня, в моем королевстве, приходится в среднем подданных на каждую кубическую сажень?

Я считаю. Голова моя тяжела и качается. Веки чешутся. Ах, как ночью в лесу, перед зарею, фантастически мешаются фантазии с правдой и сон с действительностью.

Может быть, я снова задремал, но вдруг сразу нахожу себя проснувшимся и немного испугавшимся. Мне показалось, что кто-то сначала слегка дохнул на мою щеку, а потом ткнулся в нее чем-то холодным и мягким. Я вздрагиваю, хватаюсь за щеку. На ней еще осталась чуть прохладная влажность. Одновременно с этим я, не слыша, чувствую чей-то мелкий и торопливый скок. Ах, боже мой! Да ведь это какой-то лесной зверюшка пришел и обнюхал меня. «Что, мол, здесь в моем лесу за большая живая говядина валяется?» Я подымаю голову кверху. Теперь уже видно небо. Оно ровного скучно-стального цвета. Я себя чувствую так же разморенным и усталым, как после долгой езды в вагоне третьего класса. Кто-то ворошится высоко надо мною, в гуще сосны... Присматриваюсь настойчиво и напряженно. Да, это — глухарь, хотя от меня он и кажется величиною не более лесного голубя. Когда он успел сесть, что я его раньше не услышал. «Не бойся, милый глухаришко, — говорю я про себя, — я тебя сегодня не обижу, не буду стрелять. Ведь мы с тобою нынче вместе спали под одной и той же сосной...»

Вдалеке медленно загнусавила жолна, и одновременно я услышал ритмический хруст хвороста. Неужели опять этот проклятый злодей Николай?

СИСТЕМА

Познакомились мы друг с другом в прелестном княжестве Монако в 1912 году. Я в то лето без всякого труда, свободно и весело выиграл в казино Монте-Карло (в Карлушкиной Горке, как называет И. С. Шмелев) несколько десятков тысяч франков. Я бы, пожалуй, продолжал и дальше играть, но это не вышло. Последний, взятый мною куш был так велик, что я решил сделать в игре перерыв, чтобы отдохнуть и подкрепиться в буфете, так как утром забыл позавтракать, а теперь уже шел одиннадцатый час вечера. Путь мой шел через большой гранитный вестибюль. Там у колонны сидел скромно мой друг. Я высыпал ему на юбку весь выигрыш: сто и тысячефранковые билеты, множество золотой мелочи и большое количество золотых стофранковиков, тяжелых, желтых и красивых, как только что выпеченные сдобные хлебцы.

Она спокойно сказала:

— Тебе везет. Может быть, ты еще поиграешь?

Вот тут-то я и взвился. Надо сказать, что в далекие от этого времени годы я прослужил около одиннадцати месяцев актером в бродячей драматической труппе, и пародии на бурные страсти, на возвышенные чувства мне даются очень легко.

— Ка-ак! — вскричал я полузадушенным блеющим голосом, закатывая глаза и устремляя перст в потолок. — Это ты! Человек, любимый и уважаемый мною больше всего на свете! Ты! Кого я чту, как высокий образ доброты, милости, ума и порядочности. Ты! Моя радость, гордость, утешение и подпора! И ты своими чистыми, непорочными устами посылаешь меня... Но куда-а-а? Посылаешь в эту ужасную гнусную клоаку, где ненасытимая жадность стирает с человеческих лиц образ и подобие божие! В этот кипящий дьяволами смрадный ад! Ибо нет на всем свете влечения более грязного, страсти более свирепой, порока более заразительного, чем азартная игра! О, ужас! Ужас!

Так я декламировал вполголоса, дико вращая глазами. Никаких этих трагических чувств во мне совсем не было. Просто: минутная победа над судьбою веселила мое сердце и заставляла меня паясничать по-мальчишески. Было также маленькое, совсем невинное, проказливое удовольствие кольнуть хоть раз в жизни, хоть шутя, прекрасного, безукоризненного человека. Но я взглянул и сразу осекся, не договорив монолога. В давно знакомых мне милых и умных глазах растаяла улыбка, и они глядели с тревогой, с вопросом, с укором, с затаенной виноватостью.

Этого я не мог вынести. Поспешно попросил прощения в дурацкой буффонаде, сказал другу, что она — ангел, а я свинтус, и тут же торжественно порешил, что играть больше в Монте-Карло не стану. Ведь, черт возьми! Уехать с лазурных берегов после сладкого выигрыша и чувствовать себя потом на всю жизнь гордым победителем и человеком с железной волей — это не так уже часто встречается. Расспросите-ка по этому поводу всех ваших знакомых, когда-либо посещавших Ниццу, Ментону, Канны, княжество Монако и Рокебрюн. Всякий вам наскажет с три короба случаев колоссальных, умопомрачительных, феерических выигрышей. А в результате?

— Увы. Полный крах. Пришлось у добрых знакомых взять взаймы на обратный проезд. Телеграфным переводам из России уже не доверяли. Все равно:

получим — и опять поскачем в Монте-Карло, в это сосущее болото.

Другие земляки, проигравшись в лоск, обращаются к администрации казино за помощью для отъезда домой. Отказ бывает очень редко. Один из служащих в казино, человек исключительной зоркости и безошибочной памяти, так сказать — глаз учреждения, всевидящий и всезнающий, незаметно для просителя, окидывает его острым взглядом и мгновенно аттестует его: проиграл приблизительно столько-то; ни в скандалах, ни в присвоении чужих ставок не замечен. И этого совершенно достаточно для получения суммы, необходимой на покупку билета второго класса и еще на кой-какие нужды, вроде папирос, завтрака и чаевых носильщикам. Когда этот бывший клиент спустя пять или даже десять лет вновь явится в бюро Монте-Карло за получением билета для входа в казино, то первое, что ему предлагают, — это уплатить давнишний поездной должок. Впрочем, о таких невинных сделочках посетители казино почему-то не особенно много рассказывают; предпочитают молчать. Так же безмолвствуют они и о прежних поражениях. «Ничего, пусть были в прошлом неудачи. А вот теперь-то мы взбутетеним эту самую рулетку! Умней стали и систему выработали».

Я всегда считал себя человеком не особенно крепкой воли и потому искренне обрадовался, когда убедился в том, что добровольное отрешение от рулетки дается мне легко и даже весело. Вместо утомительных ежедневных поездок из Ниццы в Монте-Карло, по два раза туда и обратно, вместо многочасовых сидений на стуле, в густых запахах табака, нездоровых дыханий и крепких, терпких отвратительных духов, передо мною вдруг открылись великолепные просторы времени, пространства и чистого воздуха. Жизнь была обеспечена надолго вперед. Не нужно было работать насилуя себя, по заказу, без любви и увлечения, ради еды и пристанища на завтрашний день.

Прекратилось постыдное клянченье авансов, которые приходят всегда в урезанном размере и приходят с такой мучительной проклятой медлительностью.

Только теперь я заметил, что в нашем дворе душисто цветут лимоны и апельсины, что море благоухает лучше всех ароматов в мире и что недалеко от меня оно нежно сливается с голубым небом, образуя хрустальный купол.

Работа стала для меня не тяжкой обузой, для исполнения которой я ежедневно должен бывал тащить самого себя за волосы к письменному столу, но лучшими, счастливейшими часами дня. Я вошел в ту ладную, гладкую полосу послушного творчества, когда мысль без затруднения переходит в слова, а слова свободно ложатся четкими строками на бумагу без единой заминки, без единой поправки; когда пишешь, не уставая, весь день, даже за обедом, даже среди разговора с двумя-тремя лицами; когда аппетит, как у каменщика, сон глубок и так отрадно хочется делать добро, услугу, помощь каждому ближнему.

Я снова узнал прелесть и сладость заслуженного отдыха: прогулки в горы, рыбную ловлю, катанье на килевой лодке, под туго натянутым латинским парусом, коротенькие поездки по Провансу; в древний Арль, знаменитый на весь мир необыкновенной красотою своих женщин и славящийся среди едоков высокими качествами своих колбас с чесноком; в Ним и Фрежюс, где до наших времен простирают друг к дружке полуразрушенные арки развалины старинных, гигантских римских цирков; в Тулон, где старые моряки еще вспоминают с дружелюбной улыбкой бывший русский флот и торжественные встречи с ним; в уютный Тараскон, недавно стыдившийся своего земляка Тартарена, а теперь уже гордящийся им перед любопытными путешественниками; в Авиньон, где нет ничего замечательного, кроме форелей, отличных булочек и дворца, когда-то резиденции плененных пап.

И все-таки наиболее занятным и интересным для меня оказалось княжество Монакское, до сих пор

заслоненное, скрытое от моих глаз беспрестанной игрой в рулетку. Ну, что за прелесть, например, монакская армия. Две зеленые бронзовые пушки XVII столетия, шесть нарядных красавцев солдат, двенадцать офицеров еще более красивых, роскошно убранных золотом, серебром и всеми разноцветными перьями, какие только есть на петухах, попугаях, павлинах и райских птицах. Когда это войско делает смену караула, то глаза слезятся и слепнут.

Очень интересен и дворец с фамильными портретами высокого рода Гримальди. Какие упитанные чернокудрые лица, какие короткие шеи и мощные затылки, разбухшие от усиленного питания овечьим жиром, крепкими буйабезами, эскарго по бородосски и горячим густым южным вином! Конечно, это только легенда, что первые Гримальди были пиратами. Пиратами — конечно, нет, но почтенными флибустьерами и уважаемыми корсарами — наверно; уж такой у них на портретах суровый, коричневый загар, такие хмурые, зоркие глаза, такие сжатые, решительные губы и такие волевые подбородки.

Современный, последний Гримальди не в них. Он скромный, но уже весьма известный ученый, изучающий флору и фауну океанских глубин. Его океанографический музей, помещающийся тут же, во дворце его энергичных пра-пращуров, представляет собой богатую и редкую коллекцию растений, живых рыб, моллюсков, раков, медуз, слизняков, осьминогов, скатов и еще каких-то морских гадов, на которых жутко и омерзительно смотреть даже сквозь толстые непроницаемые стекла. И тут же огромное собрание всяких предметов научно-морского обихода, модели и рисунки кораблей, разного вида лодки, паруса, карты, бунты канатов, лаги, кошки, траллы, драги, термометры, барометры и всякие морские вещи и принадлежности, порою совсем не знакомые глазу.

Но что я позорно и непростительно прозевал за дурацкой игрой в рулетку, так это прекрасный театр Монте-Карло с его великолепными

симфоническими концертами, с роскошной оперой, с поразительным балетом. Да! Заправилы казино не жалели-таки средств для привлечения будущих жертв.

Мы приезжали из Ниццы в Монте-Карло небольшой компанией друзей и спутников. Пока мои знакомцы страстно играли в залах на крупные тяжелые пятифранковики (называвшиеся «пляками»), я с жадным наслаждением наверстывал пропущенные мною, по легкомыслию, самые высокие земные радости. Играть меня вовсе не тянуло. Я как будто бы навсегда вышел из заколдованного круга рулетки...

Вот именно за «Евгением Онегиным» (во время вальса) я и познакомился с тем человеком, о котором упомянул в самом начале моего рассказа. Это был сосед мой по креслам, величественный, красивый старик с серебряными волосами на голове, с холеной седой бородой, одетый в светлый костюм с белоснежным воротником. Он уронил афишку. Я, памятуя древний завет: «Перед лицем седого восстань и почти лице старчо», быстро поднял бумажку и вручил ему с полупоклоном. Он улыбнулся мне ласково и умно. Он мне очень понравился. В конце акта он меня спросил:

— Ведь это, кажется, Модест Чайковский написал либретто к «Онегину»?

— Да, Модест, его брат.

— Я и сам так думал, — сказал он, — но боялся, что ошибаюсь. Странно, Пушкин весь для музыки, и Чайковский отлично с ней справился. Но я бы не подумал, что либретто может быть таким порядочным...

После спектакля он сказал:

— Ночь так хороша и тепла, не хотите ли немного со мной прогуляться?

Я представился ему. Он назвал свою фамилию: Абэг, ударение на э оборотном, а имя же его было Ювеналий Алексеевич.

Мы ходили неторопливо по парку, над морем, плескавшимся глубоко внизу. Монте-Карло действительно одно из самых очаровательных местечек на земном шаре. По-моему, оно даже слишком, даже чересчур красиво; оно напоминает собою женщину

совершенной, божественной красоты, которая к тому же очень искусно и без нужды раскрасилась, отчего и вся ее торжествующая прелесть стала притворно сладкой, неправдоподобной, утомительной и надоедливой. Многие писатели пробовали словами описать эту знаменитую лазурную конфету. Но тщетно. Цветная олеографическая открытка скажет больше и вернее.

После прогулки мы посидели немного на террасе большого отеля. Я спросил себе белого вина со льдом. Он потребовал маленький стаканчик вермута.

— Пить вермут в самом небольшом количестве, — сказал он, — научил меня покойный Анатолий Федорович Кони, прекраснейший из людей, мой друг, учитель и покровитель. Он утверждал, что это итальянское вино в размере наперстка не чинит никакого зла, а между тем действует благоприятно на почки.

Моя ниццкая компания показалась в дверях казино. Я простился с господином Абэг. Он с любезной настоятельностью взял с меня слово непременно побывать у него в Кондамине, в двух шагах от Монте-Карло. У него там свой небольшой домик, хорошая кухарка и много редких книг, которые, если надо, будут в моем распоряжении.

Мы расстались очень дружественно расположенными.

С этого дня и началась наша дружба, которая с каждым свиданием становилась теснее, глубже и крепче. Собственный домик Абэга в Кондамине был преуютным, премилым гнездышком: спальня, кабинет, гостиная, столовая, ванна, кухня — только и всего. Блестящая чистота, обилие света и воздуха радовали глаз. Наружный легкий балкон висел высоко над то синим, то голубым морем. Комнаты соединялись турецкими из камыша, стекляшек и камешков сквозными занавесами. Кухня, под надзором здоровенной красивой эльзаски, была великолепна. Абэг любил и умел хорошо поесть.

Иногда он приезжал ко мне на завтрак в Ниццу. Я и моя семья занимали комнаты в «Отель слав»[1] на

---

[1] «Славянском отеле» *(франц.)*.

бульваре Променад де-з-англе[1]. Но так уж много было в нашей гостинице маргариновых русских баронесс, скучных, натянутых, претенциозных и глупо важных, что завтракать я предпочитал за углом, на улице св. Филиппа, в кабачке «Рандеву де шофер»[2], где патроном был папа Маликорнэ и где завтрак, включая сыр, вино, салат и хлеб, стоил два франка. Кормили здесь странно, но вкусно: южные огромные виноградные улитки, соус бордолез, макароны по-итальянски с пармезаном, итальянская минестра, изредка мозги с черным маслом и другие такие же необременительные блюда.

Ювеналию Алексеевичу эти завтраки чрезвычайно нравились. «Так едали древние римляне среднего достатка», — говорил он одобрительно. Понемногу я узнал от него все течение его жизни до нашего знакомства. Семья его была старая дворянская и небедная. Большей частью Абэги служили в русском военном флоте. Ювеналий же Абэг учился в училище правоведения и кончил курс с малой золотой медалью. Его пленяла судебная карьера. Он уже прошел стаж судебного следователя, был товарищем прокурора в Петербургской судебной палате и вдруг — несчастье: зловещий процесс в легких. Пришлось оставить Петербург, этот всесильный город, где куются великие карьеры, и ехать на жаркий целебный юг в Ниццу. Петербургские знакомые, чтобы не сидел он без дела, устроили ему место атташе при ниццком консульстве... И вот уже четырнадцать лет как он не покидает Ривьеры, окончательно в ней обжившись.

Что так прочно и ладно связало нас, затрудняюсь сказать. Разница в годах у нас была лет на десять. Он живо и остро интересовался тем неясным ему и далеким от него разнобродом душ, умов и убеждений, который пошел по России, начиная с Петербурга в начале девятисотого года, а особенно после войны России с японцами. Он не уставал меня расспрашивать о спорах социал-демократов с народни-

---

[1] Прогулка англичан *(франц.)*.
[2] «Свидание шоферов» *(франц.)*.

ками, о покушениях на министров и губернаторов, о журналах и газетах, о новых течениях в литературе, о новых молодых писателях и об их начинающих учениках, о декадентах и футуристах, о новых кружках, союзах и верованиях, о студентах и курсистках, о том, какая судьба предстоит родине в ближайшем будущем. Меня же в нем очаровывало совсем другое.

Он проходил зону спокойной, здоровой, беззлобной мудрой старости, и он владел своим словом, как опытный, многознающий председатель окружного суда, выдвигая на первый план существенное и порою бросая такую характерную, незабываемую мелочь, которая сразу освещала весь рассказ. Какими круглыми, насыщенными образами выходили у него знаменитые адвокаты, прокуроры, судьи, сенаторы и профессора. События же всегда имели у него завлекательное начало, вескую, существенную середину и всеобнимающий конец. От своих дальних предков, англичан, унаследовал он драгоценнейший дар: тончайшее чувство юмора и умение пользоваться им кстати. Представляете себе, какое наслаждение было слушать его рассказы!

Только об игре, насколько помню, мы почему-то, кажется, не говорили... Ах, нет, впрочем, был один случай. Он однажды спросил меня: бывал ли я в казино. Я ответил, что да, бывал. И тут же рассказал ему о моем большом выигрыше и о том, как смешно и внезапно бросил игру, забастовав навсегда.

— И ни-ни?

— Ни-ни. Беседа с вами куда для меня ценнее и приятнее игорных впечатлений.

Так мы и отошли от этой темы об игре. Но о нравах, обычаях и приемах мастеров рулетки он мне рассказывал много интересного.

— Все, что вы видите в Монте-Карло, — все служит наживкою на богатых, глупых и жадных остолопов. Опера, балет, концерты, великолепная природа, чудеснейший воздух, чертовски красивые женщины, пряная еда, тонкое вино... все, все. Слыхали ли вы легенду о черном траурном покрывале, которым

покрывается игорный стол, который обанкротился и лопнул от чьей-нибудь слишком счастливой игры? Да. Это — правда. Какой-нибудь из столов порою облекают трауром. Но вовсе не от горести, а для ловкой и хитрой рекламы. Ведь рассказ о черном столе ходит по всему миру, и служителям рулетки надо только его время от времени подтапливать. А ротозеи и балбесы всегда будут думать: ведь вот, срывают же люди банки в Монте-Карло. Не понимаю, почему бы и мне не попробовать.

То же и о самоубийствах. Конечно, они, к сожалению, случаются. Не так часто, как об этом пишут романисты, но все-таки и нередко. Но для казино эти ужасные случаи опять-таки кровавая, но верная реклама. Помните, изумительные, сверхчеловеческие строки Пушкина:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Невыразимы наслажденья...
Бессмертья, может быть, залог?

Не отсюда ли охота на тигров и медведей, катанье с отвесных гор в Швейцарии, страсть к воздушным полетам, к дуэлям, к рискованным приключениям. Да, весть об одном самоубийстве в Монте-Карло привлечет в казино два десятка искателей сильных впечатлений. У рулетки нет никакой жалости. Она — машина. Льющиеся в нее миллионы, как известно, ничем не пахнут. И еще есть у казино другие рекламы, свидетельствующие о ее мягкосердечии. Это билеты на обратный проезд проигравшимся, иногда даже с прибавкою корзины, где несчастливец найдет жареную курицу и бутылку вина. К такому же порядку змеиной сентиментальности надо отнести и эту лицемерную щедрость казино к клиентам, оставившим ему миллионы и обедневшим до нищеты. Им пожизненно выдаются в день двадцать франков, с которыми он что хочет, то и делает. На такую сумму кое-как можно прожить один день. Ему даже вход в казино не воспрещается, но когда он выиграет, то ему ничего не дают, а когда проиграет, то двадцатифранковик ему

мгновенно возвращается обратно. Но ведь здесь и дьявольский расчет: ведь очень много шансов за то, что у человека, проигравшего миллионы, могут отыскаться богатые родственники, раскаявшиеся должники или неожиданные наследователи. Такие примеры бывали, и вновь разбогатевшие нищие со стремительной жадностью бросались к игорному столу, не успев даже обзавестись приличной одеждой. Лихая это вещь и пакостная — рулетка.

Прошло с этого разговора так, должно быть, около месяца, когда мы снова вернулись к рулетке. Не помню теперь, какими путями наш разговор подошел к тем системам игры, на которых сходят с ума окончательно обалдевшие неудачные игроки (девять десятых всего населения Лазурных берегов) и которые продаются утлыми, потрепанными джентльменами на каждом шагу. Я спросил прямо и коротко:

— Скажите, дорогой Ювеналий Алексеевич, ваше откровенное мнение об этих системах.

— Чушь, — ответил он односложно.

— Но скажите, разве уж совсем невозможно, немыслимо предугадать падение шарика в ячейку, хотя бы при помощи высшей математики, ну, там теорий вероятностей, законов больших чисел или чего там еще.

— Положительно и абсолютно невозможно. Я в свое время очень внимательно приглядывался к рулетке, стараясь подсмотреть ее тайны. Нет, здесь всюду нелепый случай. Ну, хорошо. Я заметил, например, везет непременно новичку, играющему в первый раз в жизни. Но почему? Я не знаю. Может быть, есть у каждого человека свой ангел-хранитель. Он и говорит человеку: хорошо. Хочешь выиграть? На тебе на первый раз, на еще и еще. А уж больше, батюшка, — баста. Поиграл и за щеку. Везет чаще женщинам, нежели мужчинам. Вероятно, у них сильнее темные инстинкты неведомого. Везет молодым, здоровым людям среднего роста. Везет случайно пьяным, а кто нарочно перед игрой напьется, как бы

для храбрости, — тому ни за что. И, однако, ни один из моих примеров никуда не годится и ничего не стоит. Все равно, как бы если я сказал, что удачливы в игре владельцы серых полосатых кошек, косые и плешивые, заики и владельцы марки святого Маврикия, — все здесь не стоит и гроша ломаного. Вот, например, скачки. Сколько там у игрока перед стартом есть реальных, рациональных точек опоры. Посчитайте: происхождение, конюшня, тренер, жокей, вес, погода, предшествующие скачки. Вот они твердые основания для игрока, а в рулетке все иррационально: и выбор игроком номера, и вращение диска, и прыганье шарика по ячейкам, прежде чем лечь в одну из них. Тут все нелепо, все гадательно, все зависит от каприза случая. Правильны и осязуемы лишь два положения: одно — это то, что у казино всегда больше денег, чем у игрока, и другое, что при выходе зеро все ставки водопадом низвергаются во чрево казино. И все тут.

Но я осмелел и позволил себе спросить:

— Ну, а что, если этому сумбурному вращению диска и пьяному скаканию на нем шарика игрок противоставит холодную волю, суровую осторожность, железное терпение? Ведь лечат же сумасшедших спокойным и умным разговором? Ведь укрощают же стихийный бунт черни спокойной силой и даже волевым окриком?

Абэг смолк и вдруг уперся в мои глаза странным, тяжелым взглядом. Мне показалось, что он хочет нечто сказать и не решается. И еще мне показалось, что он будто бы нашел в моей душе какую-то новую черту, для него нежданную, удивительную и как бы неприятную.

Он сказал:

— Ну, оставим этот метафизический вздор. Теперь уже поздно. Но я покорно прошу вас приехать ко мне завтра поутру. Вместе позавтракаем. А потом я скажу вам два-три кое-каких слова.

Мы распростились.

На другой день, так часам к десяти утра, я приехал к нему в Кондамин. По дороге у меня из ума и

воображения не выходил его диковинный вчерашний взгляд. Какое-то важное, большое дело стояло за ним, так мне чудилось.

Но встретились мы так же просто и сердечно, как и всегда. Следов вчерашнего загадочного взгляда совсем не было в его красивом важном лице. Завтрак был превосходный: матлот из налимов и превосходно, чисто по-сибирски, сделанные толстой эльзаской пельмени. Заметил я одну странность. Вино перед нами поставили не в кувшинчиках, как раньше, а в небольших бокалах. И еще: прежде Абэг всегда закармливал меня до убою, а теперь ни разу не попросил повторить блюдо. От завтрака я встал совсем легким.

Когда убрали со стола, он повел меня на резной балкончик над морем, придвинул мне кресло, угостил сигарой, сам закурил и стал говорить:

— У меня к вам, молодой и милый друг мой, большая и, признаюсь, довольно-таки дерзкая просьба. Не можете ли вы подарить мне пять-шесть таких утр, как сегодня.

— О, с удовольствием, — радостно ответил я. — Все мои старания, хлопоты, услуги и все мое время принадлежит вам. Располагайте мною, как вам будет угодно.

— Очень вам благодарен. Видите ли: у меня есть шесть тысяч франков, совершенно свободных.

Он вынул из бокового кармана аккуратно сложенную и обвитую гуттаперчевой ниткой пачку кредитных французских билетов.

— Но мне хочется (пусть это будет мой каприз), мне хочется из них сделать двадцать четыре тысячи. А это наращение удобнее всего и вернее произвести на игорном столе в казино Монте-Карло. Вот я и прошу вас потрудиться заместо меня. Я уже не так молод и воля моя не так крепка, как раньше...

— Как? Играть? Мне? — удивился я.

— Вот именно поиграть немножко.

— А ну как я проиграю? Деньги немалые.

— Не проиграете. По концу нашего вчерашнего разговора знаю, что вы выиграете. Да и, кроме того,

ведь вы будете только выполнять мои точные указания. Ну, идет ли, мой дружок?

— Хорошо. Я слуга ваш, если указания...

— Ну, так слушайте: сегодня вы возьмете из нашей кассы всего пять процентов, то есть триста франков. Вы непременно или учетверите их, либо проиграете до конца. Спаси вас судьба помогать мне своими деньгами. Тогда все дело расстроится и чудесный опыт пропадет впустую. Обещаете мне?

— Клянусь.

— Все дело в способе ведения игры. Начинайте с минимальных ставок, хоть с пятифранковых пляк и и с простейших комбинаций: чет-нечет, черное-красное, пас-манк... потом колонки и дюжины. Наблюдайте за собою! Как только вы заметите у себя наклон к выигрышу — сейчас же повышайте ставку вдвое. Снова выигрыш — снова повышение, но теперь уже вчетверо. Так ловите полосу участия в арифметической прогрессии. Не бойтесь, если вам захочется пропустить одну, две игры или повторить только что выигравший удар. Делайте, что хотите. Только не думайте над этим. Будьте спокойны и легки внутри себя.

Но вот пришел неизбежный момент неудачи. Вашу ставку сгребла лопатка крупье. Не обращайте внимания на это. Начинайте отступление. Но не убегайте сразу. Уменьшайте ставки в такой же прогрессии, как и в недавнем наступлении, пока не испарится весь ваш выигрыш и ваша первоначальная ставка. Тогда, без передышки, начинайте новую атаку, в таком же гармоническом порядке расширения и сужения, но только не переменяйте темпа игры. Ведь костяной шарик бездушен, глуп и дурашлив, а у вас есть мысль, воля и система... Да, государь мой, — вдруг гордо повысил тон Абэг, — единственная система, которая существует от начала веков во всем, в торговле, войне, любви и игре. Теперь остаются мелочи. Когда вы почувствуете, что ваш денежный запас учетверился, то есть из триста франков образовалась тысяча двести с малым хвостиком, — кончайте игру. Не пересчитывайте во время игры денег;

это всегда нервирует, утомляет и рассеивает внимание. Но если вы наверняка знаете, что сверх задачи у вас имеется излишек в пять, десять франков, ставьте их куда попало, хоть целиком на один номер, где эта мелочь или исчезнет, или увеличится в тридцать семь раз. А затем немедленно домой, и — отдых. Играть же вы будете по два раза в сутки: после легкого завтрака и перед солидным обедом. Надеюсь, что теперь вы уже хорошо вникли в мою несложную теорию?

— Да. Она мне и понятна, и нравится, и внушает доверие.

— И отлично. Будьте любезны, начинайте сейчас же. Вот вам деньги, и вот хорошая гаванская сигара. Если вы ее закурите перед вашей первой ставкой, то вам еще не удастся ее докурить, как ваша игра окончится. А главное, не бойтесь проиграться в прах. Через шесть часов мы начнем новую игру. Итак, не теряйте времени. Буду ждать вас.

Я пошел в казино. Игроков в зале было еще немного, что было мне с руки: я не люблю толпу, а особенно разгоряченную какими-либо страстями. Заняв место в узком конце стола, рядом с крупье, я тотчас же начал игру с десяти франков. Через четыре благоприятных тура я уже ставил сто франков на дюжину. Бог, или, вернее, черт рулетки (всем известно, что родоначальник рулетки Блан продал душу дьяволу за секрет рулетки), явно мне способствовал в этот полдень. Сигара еще моя дымилась, не обжигая губ, когда я понял, что очередная задача моя выполнена. Я посчитал деньги. Оказалось пять франков сверх нормы. Я их поставил на номер тридцать два и взял что-то около двухсот франков и ушел из казино. Очевидно, мне везло в этот первый сеанс. Всего только два раза я проигрывал, но тотчас же спокойно и умело выправлял неудачу. Перед обедом я играл второй раз, взявши с собой пятьсот франков, и через полтора часа принес в Кондамин полторы тысячи. Ювеналий Алексеевич серьезно хвалил меня за то, что не отступался от канона. Через три дня шесть тысяч учетверились, и я освободился от

добровольной службы. Да, кстати, и пора уже было мне думать об отъезде в Петербург. Прошло еще несколько суток, и я приехал к Абэгу попрощаться. Тут мы в последний раз вновь поговорили о рулетке.

— Нет горше слов, чем слова прощальные, — сказал Ювеналий Алексеевич. — Я полюбил вас. Смотрите: ведь я никому, ни одному человеку не передавал моей игорной тайны, а вас просил поиграть за меня лишь потому, что хотел, чтобы вы усвоили себе мою систему не из рассказа, а на настоящем деле, чтобы вы ощупали ее, так сказать, перстами... А теперь она — мой дорожный подарок вам. Когда настанет тяжелая година, вспомните старого Абэга и его изобретение и идите смело поправлять ваши дела рулеткой. Моя система никогда не сорвется.

Тут я задал ему один вопрос, который давно уже чесался у меня на языке, но я стеснялся его предложить.

— Но почему же вы сами не играете, дорогой Ювеналий Алексеевич?

— Почему? История не особенно приятная. Я никому ее не передавал. Но вам расскажу, хотя бы для предупреждения, на всякий случай.

Видите ли, в первые годы моей жизни в Ницце я довольно-таки часто поигрывал. Но я выиграл, как новичок, а потом и пошло дьявольское невезение. Проигрался дотла.

Казенных денег проиграл десять тысяч. Едва смог пополнить растрату; весь в долги для этого влез. Но к этому времени умер в Петербурге мой любимый дядя, адмирал Абэг, и оставил мне завещание в семьдесят тысяч рублей. Кое-как расплатился с долгами. Денег осталось не так уже много. Жила тогда на Ривьере почтенная старушка, моя большая приятельница, княгиня Вадбольская, урожденная чистокровная цыганка, но умница и по повадкам истинная русская княгиня-аристократка. Вот она-то, не то по симпатии, не то из сожаления, и навела меня на эту систему. Только взяла с меня строгий зарок: никогда правилам этой системы не изменять и за ротшильдовскими

миллиардами не гоняться. И я своему обещанию всегда твердо повиновался. Каждый год я посвящал игре один месяц и учетверял основную сумму. Я большую вел игру. Доходил до миллиона. Бо́льшую часть откладывал в банк, другую на построение вот этой кельи под елью, на остальное скромно существовал. Но раз пришла мне в голову дурацкая и жадная мысль, нарушив клятву, данную княгине, довести выигрыш до миллиона. Так, блажь нашла. Ведь я тогда был комфортабельно уже обеспечен на весь остаток жизни. Пошел в казино. Занял привычное место. Начинаю играть. Ничего, все идет хорошо. Но вот поставил я на трансверсаль две тысячи франков. Крупье кричит:

— Rien ne va plus [1].

Шарик стал, выкликают номер одиннадцать — я выиграл. Крупье лопаточкой придвигает двенадцать тысяч. Я протягиваю руку. Но туда же тянется и другая рука, красивая, выхоленная, в драгоценных кольцах. Смотрю — высокий, прекрасно одетый молодой человек, изысканный и томный, настоящий птиметр [2]. Я говорю строго: «Мсье!» Он не менее строго тоже: «Мсье!» Я опять угрожающе: «Мсье — это моя ставка», и он повторяет с угрозой: «Нет, мсье, эта ставка моя».

Начинается ссора. Ни он, ни я не уступаем. Скандал растягивается. Публика ропщет на замедление. Появляются все высшие власти казино:

— Господа, это какое-то недоразумение. Игра должна продолжаться. Пожалуйте, господа, в бюро. Там все это разъяснится.

В конторе, конечно, никакого разъяснения не происходит.

— Господа, вы оба должны покинуть немедленно казино. Мы допросили очевидцев. Оставьте нам ваши адреса. Завтра вы получите точные извещения. О, какая неприятность.

---

[1] Больше не идет *(франц.)*.

[2] Щеголь (от *франц.* petit maitre).

Но извещение не приходит ни завтра, ни послезавтра. На третий день захожу в канцелярию казино.

— Ну, как же мое дело со ставкой?

— Подождите, мсье, дело еще не расследовано. Потрудитесь подождать несколько дней, а пока, просим, воздержитесь от посещения казино.

Словом, обида и воровство канули в вечность.

На другой год опять приезжаю в Монте-Карло. Как и всегда, сначала прихожу в канцелярию, показываю свой входной билет.

— Простите, мсье, мы не можем разрешить вам входа в игорные комнаты. За вами числится какое-то порочащее вас деяние или происшествие... Ах, нет, мсье, у нас нет времени входить с вами в длинные и бесполезные разговоры...

Вот и вся моя грубая, жестокая история. Дело же объясняется просто. Прозорливые инспекторы игры давно уже поняли мою непобедимую систему и решили избавиться от меня. Отсюда и наемный прекрасный молодой человек и комедия расследования. И вот почему с тех пор моя нога не переступает порога казино уже пятнадцать лет. Если будете играть — не забывайте моего случая...

Мы распрощались и больше никогда не увиделись. Жив ли он — не знаю. Но я к его системе так и не успел прибегнуть вторично. Не довелось с той поры побывать на Лазурных берегах.

ГЕММА

Зачем полковник Лосев таскал с собою, среди всякого домашнего хлама, натисканного в дряхлый кожаный чемодан, эту совсем не нужную, бесполезную вещицу — он, пожалуй, и сам не мог бы ответить. Долгий и тяжелый путь его вовсе уже не был удобен, чтобы возиться с пустячными игрушками: дорога из Петербурга на юг России в добровольческую армию, дьявольская гражданская война, отступление, Новороссийск, Константинополь, Болгария, Сербия и, наконец, Франция... Вся жизнь заключалась в лихорадочном складывании и раскладывании походных вещей, которые с каждым этапом убывали в количестве. Но — странно — дешевенькая сердоликовая печатка никогда не терялась. При разборке и сборке вещей она как-то сама лезла на глаза, и ее механически швыряли на дно чемодана: «Все равно, места совсем не занимает, а вес пустяковый». Так, после многих странствий и приключений, добралась русская печатка инталье, аляповатая на вид, до славного и доброго города Парижа, до столицы мира, успокоилась прочно на мраморном сером надкаминнике, в шестом этаже гостиницы «Старая Гаскония», на самом краю города-гиганта. И уже успела вся покрыться пылью.

Полковник Лосев из блестящего когда-то академика и флигель-адъютанта сделался отличным город-

ским шофером. За работой был всегда трезвым, с пассажирами приветливым, владел свободно и изысканно французским языком, а главное, был весьма осторожен в езде и никогда не соглашался мчаться дуром, как бы яростно этого не требовали нервные дамочки и нетерпеливые господа. Оттого-то и клиентура у него была постоянная и солидная, за которой он жил, не испытывая особенно резкой нужды.

Правда, бывали иногда черные полосы общей безработицы или забастовок, когда поневоле приходилось туже затягивать живот.

Как-то, в один из таких мрачных дней, взглянул случайно полковник Лосев на свою сердоликовую перчатку и подумал:

«Я за нее заплатил в Гдове, у старьевщика, когда-то пять рублей. Почему бы теперь не попытаться загнать ее в какую-нибудь лавочку случайных старинных вещей? Франков так за шесть, за пять, а то и за четыре или три? На кой мне черт, наконец, эта дурацкая птица и эта мордатая кошка?»

Сказано где-то давно уже, чуть ли не в Экклезиасте: «Брюхо пустое — ноги резвые». Вставши рано утром, полковник Лосев успел к вечеру обегать все магазины редких старинных вещей на улице Фобур-Сант-Онорэ[1] и великое множество парижских лавок «Антикитэ»[2]. Но успеха он не имел ни малейшего. Кое-где сердолик брали в руки, равнодушно разглядывали на свет и холодно говорили: «Такими предметами не интересуемся». В другом месте, сонливо взглянув, бросали сердолик на прилавок: «Не берем». А в третьем, ничего не сказавши, коротко и отрицательно качали головой, и так — без конца.

Но вот однажды как-то пришлось полковнику Лосеву присутствовать на вечере в пользу нуждающихся русских увечных воинов, где входная плата была очень умеренная, а программа весьма богатая. И там он случайно за буфетом познакомился и с удовольствием разговорился с почтенным стариком, господином

---

[1] Предместье святого Онорэ *(франц.)*.
[2] «Старина» *(франц.)*.

Конопатовым. Конопатов был московский кондовый человек, когда-то упорный и ревностный старообрядец и принадлежал раньше к богатейшей семье, торговавшей на Балчуге искони веков железным ломом.

Этот старозаветный человек совсем поразил и очаровал своими своеобразными знаниями удивленного полковника. Он умно и очень интересно говорил об архитектуре древних русских храмов XI и XII столетий, о старых славных изографах и иконописцах православия, унесших с собою в вечность тайны своих способов, приемов и чудесных нетленных красок; о древних ризах, панагиях, плащаницах, паникадилах, светильниках и о прочей строгой лепоте церковных приборов в давно ушедшие времена. Потом разговор или, вернее, импровизированная лекция как-то сама соскользнула на Урал и Екатеринбург, где и до сих пор еще живут замечательные резчики по камню, специалисты по малахиту и яшме, большие искусники ловко обделывать второстепенные цветные камешки в печатки, вставочки и другие игрушки...

Вот на этом-то месте полковник Лосев, до сих пор слушавший старообрядца, раскрыв рот и развесив уши, решился вполголоса сказать о своем сердолике.

К его удивлению, Конопатов заинтересовался:

На сардониксе?

— На сердолике.

— Ну, да это все равно. Но сардоникс — и звучит знаменательнее и отдает библиею. А, кстати, скажите внешние приметы вашей вещички.

При этом Конопатов сжал в ладони рыжие волосы своей бороды и тотчас же распустил их.

— Первое, — начал полковник Лосев, — первое: на самом верху, в левом углу, сидит, раскрыв клюв, маленькая, хорошенькая, серенькая птичка. А внизу, справа, сидит на полу презлющий котяга с большущими злыми глазами и глазеет на птичку. А по диагонали между ними протянута надпись: «Птичка поет, а кот не глядит».

— И это все? — спросил с иронической усмешкой старообрядец и еще раз заутюжил и разутюжил рыжую бородку.

— Да, как будто бы все...

— Ах, господин полковник, господин полковник. Память-то у вас должна бы быть повострее. Ну, хотите, я вам сейчас кое-что напомню.

— Пожалуйста, прошу вас, буду очень благодарен.

— Хорошо. Да неужели вы и взаправду не заметили, что в слове птичка перекладина на литере п так угнута вниз, что уже получается не п, а широко расставленное м. Отчего и выходит не птичка, а как бы скорее мтичка.

— Ах, боже мой. Да ведь это верно. Как же я зазевался-то?

— И еще я вам кое-что укажу. Мтичка-то ваша, конечно, серенькая, а все-таки на правом нижнем перышке у нее есть тонюсенькая розовая полосочка. Так, чуть-чуточная.

— Ну, уж этого, признаюсь, я никогда не примечал, — развел руками Лосев. — Но вы-то, вы-то откуда все это знаете, ваше степенство? Ума не могу приложить. Чудеса какие-то!

Конопатов еще раз сжал и распустил бороду.

— У меня, видите ли, ваше высокоблагородие, — глазок-смотрок. Тем все мы купцы и живы. А вот позвольте-ка мне на этих днях, так завтра, послезавтра, к вам наведаться на квартиру. Очень бы желал поглядеть на вашу мтичку.

— Пожалуйста, пожалуйста, — заспешил полковник Лосев. — Сделайте честь и милость. Позвольте, я сейчас на картоне вам мой адрес напишу. Я человек холостой и свободный, от пяти вечера до восьми всегда дома. Очень буду рад вас увидеть!

Через три дня почтенный старообрядец Конопатов постучался вечером в дверь крошечной гостиничной комнаты полковника Лосева.

— Вот я и пришел вас навестить, — сказал он, снимая пальто. — Ну, уж надо правду сказать: к вам взбираться — все равно, что Балканы переваливать.

Полковник засуетился было.

— Сейчас я чай вскипячу. А может, красненького винишка бутылку разыграем? У меня есть недурное божелэ...

Но Конопатов от угощения решительно отказался:

— Благодарю от души, но отложим этот кутеж на другой раз. Теперь у меня времени — всего пять минут, и то в обрез, в обрез. Я пришел, чтобы посмотреть на ваш резной сардоникс. Покажите, сделайте милость. А это не он ли у вас на камине? Позвольте полюбоваться?

Лосев предупредительно вытер тряпкою пыль с сердолика и передал его старообрядцу. И он сам залюбовался тем, с какою бережной уверенностью и свободной ловкостью его гость рассматривает печатку, деликатно переворачивая ее с боку на бок и щуря глаза. И — странно: с каждым движением осторожных пальцев Конопатова сердолик становился изящнее и красивее и приобретал все новую, свежую, наивную прелесть.

«Вот точно так же, — подумал Лосев, — внезапно хорошеют в руках знатоков и специалистов предметы их глубокого ведения: вина, костюмы, лошади, драгоценные камни, книги, женщины и холодное оружие».

— Да, — сказал протяжно Конопатов, поднимая глаза на полковника, — эта вещичка, поистине можно сказать, не деревянная, а прекрасная художественная резьба по ониксу, по самому твердейшему, после алмаза, камню, который свободно режет стекло. И, посмотрите, что за чудесная, тонкая работа, какая тонкость и сколько терпения! Это — настоящая гемма инталье, и ее смело можно поставить рядом с прекрасными образцами древней Греции, древнего Рима и эпохи Возрождения! «Инталье» — вот как назывались у знатоков такого рода шедевры. Вы, вероятно, не хуже меня знаете кое-что об этом великом искусстве, о резьбе по твердому камню?..

— Простите, Евмений Силыч, — почтительно, но без ложного стыда сказал полковник, — простите мне мое полнейшее неведение в этой области, но я — весь внимание. Говорите, пожалуйста.

— Хорошо. Этому искусству уже много тысяч лет, и началось оно чуть ли не с того древнего времени, когда человек с четверенек стал на две ноги. С самого каменного периода. Вековые пирамиды и старинные саркофаги заключают в себе сначала искусно вырезанных скарабеев, мистических жуков. Потом художество идет выше. В сокровенных заклятых усыпальницах фараонов ученые люди, нарушая загробную волю мертвецов, выкапывают из-под праха веков изумительные каменные доски, на которых артисты тех времен вырезали охоты, пиры и войны величайших владык, придавая событиям непонятную нам теперь красоту и условную верность. Затем — древняя Греция, воистину золотой век человечества, какой-то божественный радостный расцвет красоты и искусств: зодчества, ваяния, живописи, танца, любви и жизни. Вот когда искусство резьбы по камню достигло своего кульминационного пункта. Знали ли вы как следует государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге? Там была одна древнегреческая гемма, барельеф, вырезанный из сардоникса. Лучший художник того времени, по имени Александр, провел целых двадцать лет в работе над этим чудесным произведением искусства. Вот что такое геммы, сударь!

Но золотой век канул в бесконечность, увлекая с собой много тайн и недоговоренных слов. Владычество над миром перешло к жестоковыйному Риму. Рим жил широко и жадно; жестоко и сурово даже в свои изнеженные времена. Бани, акведуки, термы, триумфальные арки, победные колонны — вот было его завоевательное творчество. Однако в резном по камню искусстве Рим оставил кое-где свои могущественные следы. Какие удивительные портреты, какие выразительные профили, дышащие силой и властью! И, кажется, первыми изобрели римляне небольшие сердоликовые печатки с изображением родового герба, которыми они припечатывали свои восковые послания. И вот последний этап: эпоха Возрождения. Искусства снова расцветают, как сад после мокрой осени и снежной зимы, весною. Из-под

земли люди выкапывают забытые в ней еще с дохристианских времен самые дивные, самые прекрасные творения из мрамора, радостно воспевающие не мрачный аскетизм, не подавление всех страстей, не вражду и отвращение к плодоносной и плодородной земле, ради далекого и холодного неба, но буйную прелесть жизни, но огненную сладость и силу любви, ослепительную красоту нагого человеческого тела и обилие всех блаженств, так щедро рассыпанных по чудесной земле...

И тогда же, точно по могучему призывному сигналу, появляется на свет великое множество гениальных художников, которые с божественной щедростью, с языческой радостью принимаются одаривать мир такими великолепными произведениями искусства, что и до нашего времени, через много столетий, они остаются несравненными и неподражаемыми; и даже секреты их творения не остались в поучение слабонервному потомству.

Вот тогда-то, в роскошную эпоху Возрождения, вместе с живописью, архитектурой, ваянием и другими искусствами, возродилось и искусство резьбы по камню, требующее ума, зоркости глаза, фантазии, терпения, а еще больше вдохновения. Тогда вошло в моду носить на указательном пальце правой руки оправленные в серебро или золото резные геммы, изображающие гербы, девизы, криптограммы, а порою даже профильные портреты знатных особ. Иногда богатые господа и госпожи сами приносили к резчику приобретенные ими редкие, еще не тронутые сардониксы и заказывали сделать из них то-то и то-то, по их личному вкусу и разумению. Но художники в ту пору были люди гордые и самоуверенные. Рассказывают об одном старинном живописце, что когда в мастерскую к нему зашел король Филипп Второй, император Испании и многих других стран, и стал, глядя на работу маэстро, давать ему советы и указания, то художник вдруг остановился и, опустив кисть книзу, сказал:

— Мне кажется, ваше королевское величество, что если бы вы присутствовали при сотворении мира

господом богом нашим, то, наверное, не преминули бы сделать ему несколько полезных замечаний?

И король — ничего — промолчал. Так и творцы гемм... Они необыкновенно высоко ценили свое резное искусство и держали его на недоступной высоте. И надо сказать, что тогдашние князья церкви, как и князья мира, всячески любили, отличали, награждали и баловали их, не говоря уже о том, что часто прощали им великие прегрешения против всех десяти заповедей господних.

Сохранился в преданиях один чрезвычайно характерный рассказ о Бенвенуто Челлини, величайшем резчике по всем металлам, минералам и камням и в то же время величайшем на свете проказнике, и о святейшем папе, не могу теперь вспомнить — Клименте, Павле, Сиксте или о каком-нибудь другом?

Случилось так, что, находясь на службе у строжайшего и властнейшего из пап, Бенвенуто Челлини уехал из Рима, не спросясь, без разрешения, и оставив все порученные ему работы недоконченными. Неизвестно было, по каким из прелестных итальянских городам носили его страсть к приключениям, любовь к жизни, ненасытно жадный темперамент и дьявольская вспыльчивость, но до Ватикана уже успели добежать темные глухие слухи о каком-то обиженном аббате, о похищенной у родителей девушке, о пропоротом шпагой боке завистливого и наглого конкурента. Но вот Челлини вернулся в Рим, с великим трудом добился разрешения предстать перед грозные очи папы. Со смущенной душою, но с обычным гордым видом вошел он в малый, интимный покой ватиканского дворца, где сидел святейший отец, окруженный ограниченным числом любимых кардиналов. Святейший отец уже давно накопил много гнева против Челлини в сердце своем. Поэтому он сразу накинулся на художника с укорами и бранью.

— Мессир Челлини, — сказал он, — вы уже давно своим мерзким поведением, неучтивостью и небрежностью перетянули ту слабую нить терпения, на которой висело наше благорасположение к вам, застав-

лявшее нас скрепя сердце прощать вам многие ваши гнусные преступления и ваш позорный образ жизни. В этой руке, — продолжал он, потрясая сжатым кулаком, — нередко лежали: ваша грязная честь и ваша жалкая жизнь. Но ныне — видите — я разжимаю пальцы и предоставляю вам падать в бездонную пропасть. Но прежде — и я на этом настаиваю — вы должны мне дать ясный и правдивый отчет в том, куда вы девали данные нами вам золото, серебро и драгоценные камни, предназначавшиеся для исполнения наших заказов. И, наконец, под страхом тяжелой кары за ложь, расскажите нам, какие причины заставили вас оставить Рим и что вы делали в своем долгом отсутствии?

Разгневанный папа умолк, но тут на свое горе льстиво сладким голосом вмешался приближенный кардинал князя церкви Строццо дель Пабло.

— Святейший отец наш, — сказал он, — как больно и как горько нам, вашим покорным рабам и верным служителям, созерцать неудовольствие и скорбь, омрачающие светлейшее чело великого Понтифекса, владыки всего христианского мира! И кто же явился причиною этого справедливого гнева? Презренный человек, низкого происхождения, мелкий ремесленник, именующий себя художником! О! эти художники! вечные посетители кабаков, друзья развратных девок, шумные буяны, кропатели злых эпиграмм, подонки общества, язычники, а не христиане.

Но в этот момент Челлини, успевший оправиться от страха, в который его повергла папская немилость, вдруг оставил свое место и большими шагами направился прямо к креслу великого первосвященника. В руках у него был прекрасной работы кипарисовый ларец, украшенный по краям и по углам изумительными серебряными узорами. Не доходя трех шагов до подножия кресла-трона, он остановился, стал на колени и протянул ларец к ногам папы.

— Слова его эминенции, синьора кардинала, — сказал Челлини ясным и приятным голосом, — были подобны мухам на стекле: мухи жужжат, они бьются о непроницаемую поверхность, они могут загрязнить

стекло, но сделать ему они ничего не могут. Одна только воля святейшего отца моего может наказать меня или наградить. Здесь, в этом ларце, заключены и мое обвинение и мое оправдание. Судья же мне только его блаженное святейшество, князь церкви, папа Римский.

Тогда папа сделал знак двум отрокам, стоявшим в белых парчовых одеждах по бокам его трона, и они приняли из рук Челлини ларец, открыли его крышку и так, в раскрытом виде, поднесли его к очам первосвященника. Наступила тишина в зале. Папа долго рассматривал содержимое ящичка, и все присутствующие видели, как постепенно прояснялось лицо папы и как, наконец, оно озарилось светом божественной радости. Зоркий же глаз Челлини успел увидеть в глазах высочайшего владыки теплый блеск удержанной слезы.

— Посмотрите, — сказал папа, обращаясь к кардиналам. — Посмотрите на это совершеннейшее творение. Вот перед вами тайная вечеря господня, изображение которой с неподражаемым искусством вырезано из многоцветного сардоникса. О! поглядите, какое дивное распределение цветов, пятен и прожилок. Господь наш Иисус Христос в белом хитоне, агнец чистый и непорочный, пришедший заклаться за грешное человечество. На груди же у него возлежит апостол Иоанн, кроткий и нежный — весь стремление к небесам. Оттого и одежда у него голубая. А дальше апостол Петр. Он стремителен, он страстен, он горяч. Он отрубает ухо рабу Малху, он же до третьих петухов трижды отрекается от спасителя, и он же, снедаемый вечным раскаянием, требует, чтобы его распяли головой к месту, где были на Голгофе ноги спасителя, он же тот камень, на коем основал господь церковь свою, которую не одолеют силы вражие до скончания света. Вот почему Петр — в красной одежде. Красный цвет — символ власти и душевного горения. А вот и Иуда. Он в темно-коричневом одеянии. Какой мрак! Ибо не будет прощения ни ему, ни диаволу.

Но вот что восхищает и умиляет до слез наше сознание: миллионы, может быть, лет лежал этот камень в земле на дорогах, в пыли, в небрежении. И вот поднял его однажды художник, поглядел на него и сказал: этот дикий, необработанный камень создан богом для возвеличения священной памяти о сыне его. И тогда взял он незатейливый резец свой и после медленной терпеливой работы создал свыше предначертанную ему последнюю трапезу господню...

И затем папа громко произнес:

— Приблизься к нам, возлюбленный сын наш Бенвенуто. Да будет благословенно имя твое и пути твои. Ошибки твои я тебе прощаю властию, данной мне богом. И счетов между нами больше нет. Пусть твой гений по-прежнему служит восхвалению милости и радости господней.

И дал папа позволение Бенвенуто Челлини поцеловать свою святую руку, и все видели, как папа любовно положил руку на голову художника. А потом папа встал со своего сиденья и произнес страшные слова, обращенные к придирчивому кардиналу Строцци дель Пабло:

— Ты не мягкий, всепрощающий церковнослужитель. Ты — верблюжий кал, ты — погонщик мулов, ты — скопец... Не хочу я видеть мерзкого лица твоего. Уйди от меня надолго, пока не получишь извещения. Творение же прекрасного мастера Бенвенуто Челлини сегодня же будет отнесено в собор святого апостола Петра и поставлено в алтаре главного притвора.

— Вот видите ли, — продолжал старовер Конопатов,— видите ли, каким великим обаянием обладали художники времен Возрождения и каким беспримерным уважением пользовались они у людей силы и власти. И поэтому немудрено, что они с горделивым презрением, с обидной насмешкой встречали советы профанов и грубо отвергали домогания темных, сомнительных богачей. Да и зачем им было отдавать свои шедевры в грязные, невежественные руки пле-

беев, когда папы, императоры, короли и герцоги Европы за великое счастье считали приобретать их геммы и первые знатные красавицы Старого Света лучшим украшением для своих стройных шей и блистательных плеч признавали камеи, вышедшие из-под резца одного из итальянских высоких мастеров!..

Ну, а теперь о вашей гемме, о вашем коте со мтичкой. Да, я повторяю опять: это — настоящая гемма. Конечно, не расцвета эпохи Возрождения, а, скорее, ее конца, но вещица все-таки стоящая внимания. Посмотрите, как тонко, умно и расчетливо мастер использовал все цветовые эффекты. Розовая жилочка в сердолике, вот вам и готово перышко малиновки. Полуоткрытый клюв — экстаз. Кот серый и притом самый лукавый, откормленный, глаз-то у него не то янтарного, не то хризолитового цвета, желтый, но ободок-то у глаза почти черный, ибо хищный котяга, беспощадный. Пустячное — скажете — инталье, а сколько в нем находчивости, старанья и любви! Мастер — безусловно итальянец, ну а надпись-то позднее придумал и сделал наш брат, новгородский гусеед, из Новгорода Великого. Надпись преехидная и презанимательная. Настоящее русское густое остроумие. А где вам ее приобрести случилось?

— В Гдове, у захудалого старьевщика. За гроши мне досталось.

— Так, так, так-с. Крадишка, значит.

— Вероятно.

— Да чего же вероятнее. Я, когда мне шел тридцать третий годок, — время-то сколько утекло, — собственными глазами эту мтичку видел и хорошо запомнил. А видел я ее в Пскове, младшем брате Новгорода, в музее Поганкинских палат. Тогда же мне старый-престарый сторож рассказывал, что эта геммочка слывет как бы амулетом: кто ее носит с собою — тот может не бояться внезапной и пагубной любви к особе другого пола. Волшебная, видите ли, вещица.

Тут, кстати, Лосев поведал староверу о недавних своих попытках продать кота с мтичкой, но Конопатов даже руками замахал.

— Бросьте и думать об этом. Такое чудесное изделие нельзя псу под хвост бросать. Луврский музей тоже ее у вас не купит, уж больно густо-русский юмор. Нет, раз попала гемма вам в руки, держите ее у себя крепко.

Полковник пожал руку Конопатову.

— И правда, — сказал он. — После вашего чудесного рассказа мне жалко стало думать о продаже. Пусть уж у меня живет и от роковой скоропостижной любви меня охраняет.

УДОД

Над университетским ботаническим садом прошумел мгновенный, крупный, теплый, весенний дождь. Червонное зарево заката сквозь гущу ветвей бросало на свежие газоны пурпурные, фиолетовые и лимонные пятна, которые двигались, качались и трепетали. Цветущие паникадила розовых каштанов разливали свой прекрасный, почти человеческий, но греховный запах, от которого у женщин раздуваются и вздрагивают ноздри.

Профессор Сапожников встряхнул и сложил свой зонтик.

«Уйдет ли, наконец, мой навязчивый незнакомец? — подумал он с досадой. — Или уж мне самому придется оставить привычное насиженное местечко? А жаль!»

Но незнакомец не помышлял об уходе. Короткий обильный дождь был для него, казалось, всего лишь точкой с запятой. Поставив ее, он продолжал свой монолог нудным, тонким, плачевным голосом и все в том же вычурном, патетическом стиле:

— Чудеса-то какие творятся на небе, на земле и в воздухе! Прежде, бывало, созерцаешь их, и сердце замирает от блаженной радости и от сугубой благодарности. Но ныне душа обомлела, заскорузла от ударов судьбы и уже недоступна стала высоким чувствам,

Да ведь и то сказать... Разве человеку, которого завтра поведут на виселицу или на хирургическую тяжелую операцию, — разве ему придет в голову любоваться красотами утренней зари, милым пением пташек, ароматами цветов? Ведь все его мысли совокуплены в ожидании завтрашнего ужаса...

Ну вот, итак, прошу простить меня великодушно в том, что я продолжаю мою печальную и злосчастную эпопею. Знаю я сам, отлично знаю, о покровитель угнетенных, что кому же интересны чужие вопли и стенания, когда нет на свете ни одного человека, довольного своей земной участью. Есть в русской мудрости, у русских мужиков такая умная, хотя и не очень эстетическая поговорка: «Каждому своя сопля солона», извините за грубоватое слово. Но ведь также надо войти и в положение одинокого человека, вся душа которого так переполнена обидами и неудачами и так изнывает от принудительного вечного молчания, что уж дольше терпеть ему стало не в мочь, и одно только средство от грядущего безумия — это исповедаться вслух перед умным и добрым человеком... Так не разрешите ли?

— Что ж, — согласился профессор лениво, — говорите, пожалуй. У меня еще четверть часа свободны.

— Покорнейше вас благодарю, о целитель драгоценных камней! И тем более ценю вашу милость, что нет у меня ни малейшего намерения разжалобить вас для цели гнусного попрошайничества. Нет, не карман мой пуст, а душа моя переполнена до отказа. А на хлеб и на ночлег денег у меня хотя и в обрез, но все-таки достаточно.

Ну вот, значит, женился я на этой девушке, на Паве. Имя-то ее настоящее было Полина, или попросту Павлина, а в уменьшительном виде Пава. Да и шло ей очень это коротенькое в четыре буквы имечко, по ее плавной походке и по ее гордой манере, хотя всего-то она была — белошвейка.

В первое-то время, пока молодоженами мы жили, нужда как-то еще не очень тяготила нас. Казалась почти незаметной и легко переносимой.

Я служил регистратором в правлении юго-западных железных дорог; она бегала в свою мастерскую, неподалеку от нашей квартиры, состоявшей всего из комнаты и кухни, в полуподвале. Так себе жили, ничего себе... Я по крайней мере эти первые месяцы и до сих пор вспоминаю, как самые райские. В общем, выручали мы оба в месяц: я — тридцать два рубля с дробью, она — около двадцати, иногда чуточку больше, иногда — чуточку меньше, а все-таки — жили.

А потом пошла привычка, окончилось сладкое брачное удивление, охладились вулканические темпераменты. К тому же завелись некоторые знакомства; расширились потребности. В театр стали ходить, в цирк, в оперу, на симфонические вечера. К тому же Пава, страсть до чего похорошевшая после замужества, стала уже чересчур далеко, не по средствам нашим, франтить, финтить и кокетничать. То ей надо шляпку модную, то горжетку новую, то корсет шелковый, то ботинки лакированные. Но держала себя строго и целомудренно, а это для меня и было постоянным молчаливым, но ядовитым и непереносимым укором. Взял за себя я красивую бабу — значит, навалил на себя неудобоносимую ношу. Изворачивался я и туда и сюда, как угорь, вытащенный из воды, чтобы увеличить наш бюджет... Куда там. Чем больше человек старается, вертится, упрашивает — тем меньше судьба его слушается. Подходить к удаче надобно весело и небрежно, так: ручки в брючки, да еще посвистывать при этом, как будто ты не гнешься под тяжким грузом, а, так себе, вышел прогуляться после изысканного завтрака. Я же всегда был робким человеком и кисляем...

Но, подумайте-ка, и мне, наконец, стала судьба улыбаться; надоел я ей, должно быть, хуже горькой редьки своими жалобами, укорами и канюченьем. Получил я однажды приватную работу, весьма срочную, важную и большую. Сделал ее, можно сказать, на двенадцать баллов с плюсом и получил за эту работу весьма крупное вознаграждение: целых сорок пять рублей. Грандиозную получку эту надо было,

по уговору, спрыснуть легкой выпивкой, купно с товарищем, который рекомендовал меня работодателю. Так и сделали: на пять рублей выпили водки, закусили таранью и вареными раками и закончили наш кутеж парой хамовнического пива.

Тут-то приятель мой и пристал ко мне, как собачий репейник: «Пойдем да пойдем в проходку. Чтобы от нас, когда домой придем, не пахло винищем. Пойдем, говорит, до лошадиных бегов. Там, говорит, из-за забора отлично-хорошо можно глядеть, как лошади между собой соревнуются в красоте и резвости бега». Ну, что же? Надо было дружку удовольствие сделать, хотя я в лошадиных рысистых бегах тогда вовсе ничего не понимал и занятием этим не интересовался. Пошли. Пришли. Оказывается, щелки-то в заборах, через которые бесплатно можно было любоваться, теперь все белыми свежими дранками заложены и наверх невозможно взобраться, потому что гвозди понатыканы. Остриями вверх.

Но приятель опять пристал:

— Ах, милый дружище, разорись еще на два целковых, пойдем на неблагородную трибуну. Купи, ради праздничка, парочку билетов.

Ну, что тут поделаешь? Деньги — два рубля, уж не такая огромная сумма, а услужливый приятель Жуков в самом деле сделал важное одолжение... Кстати, и самому любопытно стало на бега посмотреть. Хотя один раз в жизни. Взяли мы в будочке билеты и пошли на место, а по дороге, проходя через буфет, еще у стойки по крупной рюмке зубровки тяпнули. Сидим мы на своих местах, просто на деревянных длинных скамейках, и смотрим на бега. Ничего. Хорошо. Можно даже сказать, весьма красивое зрелище. Лошади красивые, и, если мимо трибуны нашей, так прямо вихрем летят, ажно дух захватывает. Наездники горячатся, гикают на рысаков, публика орет... Но тут подошел антракт. Пошли мы в буфет и снова зубровки долбанули. Жуков и говорит:

— А пойдем-ка, я тебе покажу те кассы, где на лошадей ставят пари.

Ну я, конечно, согласился, потому что у меня уже в голове шумело. Показал он мне. Какая-то длинная загородка, а в ней всё четырехугольные дырочки, вроде окошечек, и на каждой сверху надписи: ординарный, двойной, тройной. Жуков мне всю эту механику объяснил. Мне ничего, как будто бы даже понравилось. Занятная игрушка. Дернули опять у буфета, на этот раз уже коньяку мартелевского. После этого я и взъерепенился.

— Пойдем, — говорю, — к тотализатору. Я сейчас хочу ставку поставить.

Он говорит:

— Дай и мне взаймы два рубля. Я тоже поставлю и тебе за это самую верную лошадь посоветую.

Я ему отвечаю:

— Вот тебе два рубля и помни, что от меня больше ни копейки не получишь.

— Да дай же, я хоть тебе лошадь укажу.

— Не надо, сам выберу. Покажи-ка мне на программке, какие лошади в следующем заезде побегут.

— Коли так, ладно, — говорит он и отчеркнул ногтем несколько лошадей. Я взглянул. Метнулось мне в глаза название Удод, и я сказал:

— Вот на этого Удода я и поставлю. И никаких.

Тот взопил:

— Да не придет никогда Удод в такой компании. Он и ихних хвостов не увидит.

— Ан нет, — говорю, — придет, да еще на первом месте будет. На него и поставлю в ординаре.

— Эй, Кузьма, перестань ершиться. Не делай глупостей... Ну, хочется тебе деньги на ветер бросить, поставь на Удода рублевку в тройнике и баста.

Но тут уж я уперся. Обругал Жукова за то, что лезет моими деньгами распоряжаться, пошел к тому окошечку, на котором была надпись «Ординар», сунул в нее остатние тридцать рублей и говорю:

— На Удода!

Артельщик козлобородый на меня глаза выпялил:

— На Удода?

— Именно на него, на Удода.

— А сколько же ставите?

— Да ведь сами видите сколько. Тридцать целковых.

Тот даже головой мотнул.

— Ваше дело. Извольте принять квитанцию.

— Чувствительно вас благодарю.

И пошел прочь от него. Оно, по правде сказать, пьяноват я малость был, однако все-таки успел заметить, что пропасть всякого бегового народишка собралось со всех сторон на меня поглядеть, подивиться, и только я вокруг и слышал: «Вот этот самый, на Удода. Вон-вон, налево, на Удода». Пальцами показывали. А какой-то рыжий мальчишка, так он, сукин сын, прямо мне в лицо продекламировал стишок: «Вот эта урода ставит на Удода». Хотел я было его за виски оттаскать, да на круге зазвонили, что сейчас будут лошадей выводить.

Пошли мы с Жуковым опять на трибуну и сели на прежние места. Жуков уж больше не пиявит меня, оставил в покое. Только изредка вздохнет да головой укоризненно покачает. Наконец выехал и Удод, запряженный в американку. Казалось, что его наезднику было самому стыдно за свою лошадь, — так он неуверенно и робко оглядывался на публику, наполнявшую трибуны. Казалось, что даже десятилетний мальчуган нашел бы этого рысака особой, совершенно случайно попавшей на ипподром.

Когда на старте пускали лошадей, то Удод артачился и кобенился свыше всякой меры. Из-за него пришлось пять раз возвращать всех лошадей назад, обратно к стартовой линии. Но когда удалось, наконец, пустить рысаков сравнительно ровно, то Удод сразу же оказался позади всех лошадей на десять корпусов, увеличивая это расстояние с каждой саженью. И бежал он не тем ровным, размашистым ходом, который составляет прелесть беговой лошади, а какой-то неуклюжей, нелепой собачьей рысью. По всем вероятиям, он был сильно запущен и года два не тренирован. Когда, обогнувши крутой поворот, он проходил вдоль неблагородной трибуны, сотни насмешек и ругательств посыпались на него и на его

растерявшегося наездника со стороны бесцеремонной, буйной на язык, серой толпы.

— Кляча! Водовозка! Шкапа! Похоронная процессия! Ты что, Чижов? В чухонские вейки поступил? Вали прямо на живодерку! Татарам на махан этого одра!

Однако же странное и даже невероятное явление происходило в этот день и в этот заезд на беговом кругу. Отличные первоклассные, много раз призовые рысаки, все, как сговорившись, не ладились и не шли. Не могли идти, не хотели. Что ни шаг, то сбой или проскачка. Кто скажет, какая тому была причина? Разнервничались ли чересчур рысаки еще с начала заезда на долго неудававшемся старте? Погода ли была такая, очень тяжелая? Сговорились ли подлецы наездники в конюшнях? Или просто здесь играл роль сумасшедший случай, нелепо выпадающий раз в сто лет? Один рысак хорошего доброго характера испугался летящей программки и понес, и остановить его едва смогли уже на третьем кругу; другая лошадь упала, у третьей размоталась сбруя, четвертая захромала. Словом, первым пришел к призовому столбу почти шагом этот чертов Удод. Другие или сами сошли с круга, или их дисклассифицировали за сбои и проскачки.

Тут унылый, тонкоголосый человек остановился, громко высморкался и сказал:

— Ну, как вы думаете, милостивый государь мой (простите, ни имени вашего, ни отчества, ни звания не имею чести знать), как вы думаете, какую сумму выдал мне тотализатор за все мои шесть билетов, приняв еще во внимание то обстоятельство, что я был единым и единственным человеком на всем ипподроме, который играл на Удода? Хоть приблизительно прошу сказать.

Профессор зевнул в темноте и ответил принужденнно:

— Я в этом деле мало чего понимаю. Ну, скажем, рублей сто? Двести?

— Ах, нет. Подымай выше. Получил я ровно девять тысяч и девятьсот рублей. Вот вам и сто — двести.

— Да-а. Это сумма! — ленивым баском протянул профессор. — Особенно для человека небогатого. И я надеюсь, что вы, конечно, все эти деньги, упавшие к вам как бы с неба, употребили умно и расчетливо на самые необходимые хозяйственные нужды?

Совсем уже теперь невидимый в темноте человек завозился на скамейке, засопел и завздыхал.

— Эх, ваше превосходительство, если бы так. А ведь я оказался жалкой росомахой, последним болваном, настоящим преступником, которого надо было бы выдрать публично, на городской площади, при всем честном народе!

Получивши деньги, отправился я немедля с бегов домой. По случаю выигрыша не хотел идти пешком, сел в трамвай. А кредитные бумажки старательно уложил в задний боковой карман штанов и пуговочку тщательно застегнул. Сижу в трамвае, а сам, нет-нет, возьму и рукой карман пощупаю. Хрустят? Хрустят! И, помню, все мне с почину рыжего хулигана лезли в голову рифмы на слово Удод: Удод, урод, идиот, скот, приход, расход, приплод, компот... На последней станции, перед самой нашей квартирой, сошел я с трамвая. Еле выкарабкался, такая была неимоверная теснота... Стал на тротуар, ощупывая себя сзади. Хрустит ли? Ан нет, чувствую одно мягкое сукно, обольстительного хруста уже не слышу. Очевидно, в толкотне проклятые воришки успели подрезать мой карман и вытащить из него кредитные знаки.

Как мокрая, побитая собака, явился я к жене и рассказал ей всю мою трагическую историю. Пава слушала молча и потом не сказала ни слова. Только лицо ее потемнело и под сжатыми челюстями заходили бугорки. Я начал было говорить о том, что надо известить полицию, найти нумер трамвая, дать объявление в газетах. Но она резко встала, швырнула мне в лицо чулок, который только что штопала, причем очень больно стукнула меня по виску штопальным грибом, и с презрением, с желчью и с гневом вскрикнула:

— Сам ты Удод, никуда не годный! И больше ты, расслабленный дурак, меня никогда не увидишь.

Собрала всю свою женскую хурду-мурду, завязала в платок и молча ушла.

Так я и не знал очень долго, что с нею и где она. Всеведующий Жуков уверял меня, что будто бы она сошлась с цирковым борцом, по фамилии Максим Слонов, а весом восьми с половиною пудов. И что уехали они обое в Астрахань. Не знаю, правда это или не правда. Жуков соврать тоже не дорого возьмет. А вот сегодня получил я от Павы письмо из города Баку. Пишет, что живет хорошо, чего и мне от души желает. И при том покорнейше просит, чтобы я согласился на развод по причине якобы моего полнейшего полового бессилия. И вот я теперь хожу и думаю, согласиться или нет? Ведь не сам ли я виноват, что бедняком на бедной женился. Да и эта печальная история с Удодом... Как вы думаете, ваше сиятельство?

Но профессор ничего не думал, кроме того, что незнакомец окончательно ему надоел.

— Не берусь судить, — сказал он, — дело не мое, и я в этих самых разводах ничего не смыслю. Позвольте вам пожелать спокойной ночи.

Он встал и пошел, быстро поглощаемый ночным сумраком.

ЮНКЕРА

роман

ЧАСТЬ I

Глава I

ОТЕЦ МИХАИЛ

Самый конец августа; число, должно быть, тридцатое или тридцать первое. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд.

Срок и час явки в корпус — строго определенные. Да и как опоздать? «Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчики, а юнкера славного Третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем!»

Александров остановил извозчика у Красных казарм, напротив здания четвертого кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь

веяли на него неописуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью.

Вот налево от входа в железные ворота — каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облупленное, построенное пятьдесят лет назад в николаевском солдатском стиле.

Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса.

Отец Михаил! Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния... Да. Вот как это было:

Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной вьющейся лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть: «Кто свистел?» — и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан!» Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер, и — без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо:

— Господин капитан, это не я.

Яблукинский закричал:

— Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю. В карцер немедленно. А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался. Вы позор роты (семиклассникам начальники говорили «вы») и всего корпуса!

Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу «Шнапс», а чаще «Пробка», всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему? потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова, с резко выраженными татарскими чертами, или потому, что

мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается...

Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ.

Издалека донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет:

«Очи всех на тя, господи, уповают, и ты даеши им пищу во благовремение, отверзаюши щедрую руку твою...» И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту.

После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но, наоборот, все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им.

«Ну да, может быть, сто, а может быть, и двести раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плиту в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я...

Несмотря на то, что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват — ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский, «эта пробка», со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы

назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому — конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста!»

Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой.

«Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Яблукинскому? Раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения? Нет! я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуются латынь и греческий язык. Итак: я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту».

Во рту у него пересохло и гортань горела.

— Круглов! — позвал он сторожа. — Отвори. Хочу в сортир.

Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей.

— Куда, куда, куда? — беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать?

Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату; она же была и учительской. Там сидели двое: дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников, слабых по тригонометрии и по приложению алгебры, штатский учитель Отте, маленький, веселый человек, с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.

— Что это такое? Что за безобразие? — закричал Михин. — Сейчас же вернитесь в карцер!

— Я не пойду, — сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны.

— В карцер! Немедленно в карцер! — взвизгнул Михин. — Сссию секунду!

— Не пойду и все тут.

— Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?

Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко:

— Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь! ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною. И все тут!

В эту минуту Отте наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь. Она была полуоткрыта, и десятки стриженых голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу.

Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал:

— Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам, заниматься!

И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова:

— А вы сию же минуту марш в карцер!

— А я вам сказал, что не пойду, и не пойду, — ответил кадет, наклоняя голову, как бычок.

— Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам...

— Попробуйте, — сказал Александров, раздувая ноздри.

Но тут Отте, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса:

— Господин поручик, позвольте мне сказать два-три слова этому взволнованному юноше.

— Ах да, пожалуйста! хоть тридцать, хоть двести слов. Черт возьми, что за безобразие! И как раз на моем дежурстве!

Отте начал очень спокойно:

— Милый юноша, сколько вам лет?

— А вам не все ли равно? — дерзко огрызнулся Александров. — Ну, семнадцать...

— Конечно, мне все равно, — продолжал учитель. — Но я вам должен сказать, что в возрасте семнадцати лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак. Векселя, им подписанные, ни во что не считаются. И даже в солдаты он не годится: требуется восемнадцатилетний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников, или опекунов, или какого-нибудь общественного учреждения.

— Ну так что ж? — упрямо перебил его Александров.

— Да только и всего, — равнодушно ответил Отте. — Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус.

— Моя мама. Но...

— И никакого «но», — возразил учитель. — Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откро-

венно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет — как говорят мудрые французы.

— Ах, да что с ним церемониться? — нетерпеливо воскликнул Михин. — Дядька! Иди сюда!

Умные и участливые слова Отте уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и, невольно, театрально:

— Зовите хоть тысячу ваших дядек, я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того...

Но тут широкая ладонь Отте мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой.

— Тише, мальчишка! — крикнул ласково и повелительно Отте. — Помолчи немножко. Господин поручик, — обратился он к Михину, — это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период.

— Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич, — от души сказал Александров. — Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры — управляющий гостиницы Фальц-Фейна, что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать.

Он низко поклонился Отте и сказал:

— Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ. Ей-богу, я не убегу.

— Ах, боже мой! — вскричал Михин, ударив себя по лбу. — У меня голова трещит от этих безобразий! Ну, пускай не запирают. Мне все равно.

Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отте:

— Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?

— Да, могу, могу, — тебя не запрут. Иди с богом, — замахал на него руками Отте. — Иди скорее, бесстыдник. Ну и характер же!

Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Четуха (настоящее его имя было Пиотух). Сдавши кадета Круглову, он сказал:

— Велено не запирать на ключ. — И, помолчав немного, прибавал: — Ну и чертенок же!

Александров принял это за комплимент.

Потянулись секунды, минуты и часы, бесконечные часы. Александрову принесли чай — сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову.

Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции.

А, кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же был еще жив и свеж в памяти бунт соседнего четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков, по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачастил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело, жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец — строевая рота на приветствие директора: «Здравствуйте, кадеты», начала упорно отвечать вместо «здравия желаем, ваше превосходительство» — «здравия желаем, кулебяки с рисом». Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно.

В четвертом же корпусе благодаря неумелому нажиму начальства это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты все лампы и стекла, штыками расковыряли двери и рамы, растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчики были выгнаны из корпуса на волю божию. И правда: с народом и с мальчиками перекручивать нельзя...

Уже смеркалось, когда пришел тот же Четуха.

— Барчук, — сказал он (действительно, он так и сказал — барчук), — ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви, на паперти.

На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей; за матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры, Сони. Александров прилгнул, назвав его управляющим гостиницы Фальц-Фейна. Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была — шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Нат, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья, по какому-то инстинкту брезгливости, сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые, привычные словечки: «так сказать», «дело в том, что», «принципиально» и еще «с точки зрения».

Подойдя к Александрову, он так и начал:

— Дело в том, что...

Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал:

— Благодарю вас, Иван Александрович.

— Дело в том, что... — повторил Мажанов. — С принципиальной точки зрения...

Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому, сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомерок.

— Иван Александрович, — сказала она, — вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей.

— Дело в том, что... — сказал Мажанов и, слава богу, ушел.

— Алеша, мой Алешенька, — говорила мать, — когда же придет конец твоим глупым выходкам? Ну, убежал ты из Разумовского училища, осрамил меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор как тебе стало четыре года, я покоя от тебя не знаю. В Зоологический сад лазил без билета, через пруд. Мокрого и грязного тебя ко мне привели за уши. Архиерею не хотел руку поцеловать, сказал, что воняет. А как еще ты князя Кудашева обидел. Смотрел, смотрел на него и брякнул: «Ты князь?» — «Я князь». — «Ты, должно быть, из Наровчата?» — «Да, откуда ты, свиненок, узнал?» — «Да просто: у тебя руки грязные». Легко ли мне было это перетерпеть. А кто извозчику под колеса попал? А кто...

Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга (Алеша был последышем). Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии.

— Ты все знаешь, мама?

— Все.

— Ну, а как же этот дурак?..

— Алеша!

— Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости?

— Алеша, мы не одни... Ведь капитан Яблукинский твой начальник!

— Да. А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство — исправник, — то его сна-

чала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему сторублевку?

— Алеша, Алеша!

— Да, я Алеша... — И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона божьего и священник корпусной церкви, маленький, седенький, трогательно похожий на святого Николая-угодника.

Александров вздрогнул.

— Дети мои, — сказал мягко отец Михаил, — вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь. Ты помолчи, ерш ершович, а вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на пять минут, а потом вы выкушаете у меня чая. И я вас провожу...

Тяжеловато было Александрову оставаться с батюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова.

— Твоя мамаша — прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну, что же? Ты был прав, а он неправ. Но твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом, смотри — как огорчена мамаша! Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере диплом. А ей сладко. Сынок вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милый Алеша, очень многообразна, и еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это — слово «мама». И когда солдат, раненный насмерть, умирает, то последнее его слово — мама. Ты все понял, что я тебе сказал?

— Да, батюшка, я все понял, — сказал с охотной покорностью Александров. — Только я у него извинения не буду просить.

Священник мягко рассмеялся.

— Да и не надо, дурачок. Совсем не надо.

И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу, и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном, и его разрешительные слова: «Аз иерей недостойный, разрешаю...» и так далее. Вспомнил еще (как бывший певчий) первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Критского:

«Откуда начну плакати жития моих окаянных деяний? Кое положу начало, спасе, нынешнему рыданию».

И хор и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали:

«Помилуй мя, боже, помилуй мя».

— А теперь, — сказал священник, — стань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И мой совет — иди в карцер. Там тебя ждут котлеты. Прощай, ерш ершович. А я поведу твою маму чай пить.

И неслыханная в корпусной истории вещь: Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.

Глава II

ПРОЩАНИЕ

Проходя желтыми воротами, Александров подумал: «А не зайти ли к батюшке Михаилу за благословением. Новая жизнь начинается, взрослая, серьезная и суровая. Кто же поддержал ласковой рукой бестолкового кадета, когда он, обезумев, катился в пропасть, как не этот маленький, похожий на Николая-угодника священник, такой трогательно-усталый на великопостных повечериях, такой терпеливый, когда ему предлагали на уроках ядовитые вопросы: «Батюшка, как же это? Ведь бог всеведущ

и всемогущ. Он за тысячу, за миллион лет знал, что Адам и Ева согрешат, и, стало быть, они не могли не согрешить. Отчего же он не мог уберечь их от этого поступка, если он всесилен? И тогда какой же смысл в их изгнании и в несчастиях всего человечества?»

На это отец Михаил четко, сухо и пространно принимается говорить о свободной воле и, наконец, видя, что схоластика плохо доходит до молодых умов, делал кроткое заключение:

— А вы поусерднее молитесь богу и не мудрствуйте лукаво.

На сердце Александрова сделалось тепло и мягко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой.

Стоя перед казармой, он несколько минут колебался: идти? не идти? Но какая-то дикая застенчивость, боязнь показаться навязчивым — преодолели, и Александров пошел дальше. Эти чувства нежной благодарности и уютной доброты, связанные с личностью отца Михаила, никогда не забудутся сердцем Александрова. Через четырнадцать лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность, как художник-портретист, он во дни тяжелой душевной тревоги приедет, сам не зная зачем, из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно потянет его в Лефортово, в облупленную желтую николаевскую казарму, к отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. Навстречу ему подымется отец Михаил в коричневой ряске, совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый, видимо немного обеспокоенный появлением у него штатского, то есть человека из совсем другого, давно забытого, непривычного, невоенного мира.

— Чем могу служить? — спросит он вежливо и суховато, щуря, по старой, милой, давно знакомой Александрову привычке, подслеповатые глаза.

Александров назовет свое имя и год выпуска, но священник только покачает головою с жалостным видом.

— Не помню. Простите, никак не могу вспомнить. Ведь сколько лет, сколько, сколько сотен имен... Трудно все помнить...

Тогда Александров, волнуясь и торопясь и чувствуя с невольной досадой, что его слова гораздо грубее и невыразительнее его душевных ощущений, рассказал о своем бунте, об увещевании на темной паперти, об огорчении матери и о том, как была смягчена, стерта злобная воля мальчугана. Отец Михаил тихо слушал, слегка кивая, точно в такт рассказу, и почти неслышно приговаривал:

— Так, так, так. Так, так.

Когда же Александров окончил, батюшка спросил:

— А чем же вы теперь, господин, изволите заниматься?

— Я художник, живописец. Главным образом пишу портреты маслом. Может быть, слышали когда-нибудь: художник Александров?

— Признаться, не довелось слышать, не довелось. Мы ведь в корпусе, как в монастыре. Ну, что же? Живопись — дело благое, если бог сподобил талантом. Вон святой апостол Лука. Чудесно писал иконы божией матери. Прекрасное дело.

Потом, точно снова встревожась, он спросил:

— А что же вам, господин, от меня требуется?

— Да ничего, батюшка, — ответил, слегка опечалясь, Александров. — Ничего особенного. Потянуло меня, батюшка, к вам, по памяти прежних лет. Очень тоскую я теперь. Прошу, благословите меня, старого ученика вашего. Восемь лет у вас исповедовался.

Священник ласково улыбнулся, съежил лицо, ставшее необыкновенно милым.

— Значит, в каком-то классе зазимовали?

— В шестом. И пять лет пел на клиросе. Благословите, отец Михаил.

— Бог благословит. Во имя отца и сына и святого духа...

Александров поцеловал сухонькую маленькую косточку, и душа его умякла.

— До свидания, батюшка. Простите, что побеспокоил.

— Ничего, дорогой мой, ничего... И меня простите, что не узнаю вас. Дело мое старое. Шестьдесят пятый год идет... Много времени утекло...

Идет юный Александров по знакомым, старинным местам мимо первого корпуса, над большим красным зданием которого высится огромный навес. Тронная зала, построенная Лефортом в честь Петра, в которой по ночам бродили призраки; мимо старинных потешных укреплений с высокими валами и глубокими рвами. Там крутой спуск к пруду: зимой из него делали славную ледяную гору. Вот первый плац — он огорожен от дороги густой изгородью желтой акации, цветы которой очень вкусно было есть весною, и ели их целыми шапками. Впрочем, охотно ели всякую растительную гадость, инстинктивно заменяя ею недостаток овощной пищи. Ели молочай, благородный щавель, и какие-то просвирки, дудки дикого тмина, и, в особенности, похожие на редьку корни свербиги, или свергибуса, или, вернее, сурепицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтрака ломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку.

Вот второй плац, отделенный рядом старых, высоченных, бальзамических тополей. Как удивительно благоухали в пору экзаменов их липкие блестящие листья и клейкие темные почки! На втором плацу играли в лапту, в городки, в зуек, в чехарду и особенно в запрещенную игру — в «кучки», — которая очень часто кончалась переломами и вывихами рук и ног. На этой же площадке пели весенними вечерами свои собственные песни, передававшиеся из поколения в поколение и часто не совсем цензурные. Отсюда же переругивались, состязаясь в мастерстве брани, с соседями, через забор, учениками фельдшерской школы, которых звали клистирными трубками и рвотным порошком.

За калиткой — третий плац, строевой, необыкновенной величины. Он тянется от корпуса до Аннен-

гофской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Анненгофскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студеной воде узенькой речушки Синички и выскочить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами. У калитки, весною, всегда останавливается разносчик Егорка с тирольскими пирожками (пять копеек пара), похожими видом на куски черного хлеба, очень тяжелыми и сытными. Здесь же, у калитки, на утренней прогулке, семиклассники дожидались проезда ежедневного дилижанса, в котором, вдоль, слева и справа, сидели премиленькие девочки разных возрастов и в разных костюмах. Это — местные лефортовские ученицы ездили в город, в гимназию госпожи Перепелкиной, отчего и их самих коротко и ласково называли «перепелками». Немножко кокетничать с ними — это была неотъемлемая и строго охраняемая привилегия седьмого класса. Когда дилижанс равнялся с калиткой, то в него летели скромные дары: крошечные букетики лютиков, вероники, иван-да-марьи, желтых одуванчиков, желтой акации, а иногда даже фиалок, набранных в соседнем ботаническом саду с опасностью быть пойманным и оставленным без третьего блюда. Бросались иногда и стишки в бумажке, сложенной петушком:

Лишь только Феб осветит елки,
Как уж проснулись перепелки,
Спешат, прекрасные, спешат.
На нас красотки не глядят.
А мы, отвергнутые, млеем,
Дрожим и даже пламенеем...

Быстрым зорким взором обегает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Все, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшенном и очень четком виде, как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот было все это. Было долго-долго, а теперь отошло навсегда, отпало. Отпало, но не отболело, не

отмерло. Значительная часть души остается здесь, так же как она остается навсегда в памяти.

Как много прошло времени в этих стенах и на этих зеленых площадках: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как долго считать, а ведь это — годы. Что же жизнь? Очень ли она длинна, или очень коротка?

Всевечный вопрос. Настанет минута, когда бессонною ночью Александров начнет считать до пятидесяти четырех и, не досчитав, лениво остановится на сорока. «Зачем думать о пустяках?»

Глава III

ЮЛИЯ

По «черному» крыльцу входит Александров в полутемную прихожую, где всегда раздевались приезжавшие учителя. Встречает его древний, седой в прозелень, весь какой-то обомшелый будничный швейцар по кличке «Сова».

— Здравия желаю, господин юнкер, — сипит он астматическим махорочным голосом.

Александров еще в кадетской форме; ему еще довольно далеко до настоящего юнкера, но так лестно звучит это гордое звание, что рука невольно тянется в карман за последним, единственным гривенником.

— Пожалуйте в лазаретную приемную, — говорит Сова. — Там приказано собраться всем отпускным.

Александров идет в лазарет по длинным, столь давно знакомым рекреационным залам; их полы только что натерты и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров. Никакие внешние впечатления не действуют на Александрова с такой силой и так тесно не соединяются в его памяти с местами и событиями, как запахи. С нынешнего дня и до конца жизни память о корпусе и запах мастики останутся для него неразрывными.

Уже восьмой раз в своей жизни испытывает Александров заранее то волнение, которое всегда овладевало им при новой встрече с близкими одноклассниками после полутора месяцев летнего отпуска. Как сладко рассказывать и как интересно слушать о бесконечно разнообразных летних впечатлениях! Тут все ново и увлекательно. Один целое лето ловил щук на жерлицу, на блесну и на огонь, острогою. Другому подарили лошадь, и он верхом травил зайцев с борзыми. У третьего в имении его родителей археологи разрыли древний могильник и нашли там много костей, древней утвари, орудия и золотых украшений, которые от времени и пребывания в земле покрылись зеленою ярью. Четвертый был свидетелем большого лесного пожара и того, как убивали бешеную собаку. Следующий говорил гордо о том, как ему шурин Стася, Великий Охотник, подарил настоящую двустволку; правда — шомпольную, но знаменитого завода «Гастин-Ренетт». Таких редких ружей осталось во всем мире всего только, может быть, пять или шесть. Счастливый обладатель этого сокровища не расставался с ним ни на минуту и даже, ложась спать, укладывал его с собою в постель. А какие были купанья! Особенно на утренней заре, когда розовая вода так холодна и так до дрожи сильно и радостно пахнет. Какие злые, щипучие были черные в зелень раки! А березовая роща с грибами, черникой, брусникой и гонобобом! А сосновый лес, где рыжики, и ароматная дикая малина, и белки, и ежевика, и сами ежи, колючие недотроги! А кроткие домашние животные и зверюшки!

Эти разговоры велись обыкновенно вечером, в полутемной спальной, на чьей-нибудь койке. Они на много-много дней скрашивали монотонное однообразие жизни в казенном закрытом училище, и была в них чудесная и чистая прелесть, вновь переживать летние впечатления, которые *тогда* протекали совсем не замечаемые, совсем не ценимые, а теперь как будто по волшебству встают в памяти в таком радостном, блаженном сиянии, что сердце нежно сжимается от тихого томления и впервые крадется смутно в го-

лову печальная мысль: «Неужели все в жизни проходит и никогда не возвращается?»

Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пестрых и благоуханных; вернее — их набрался целый чемодан, до того туго, туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть, если Александров не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом... Милая потребность юношеских душ!

И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых нёбес, зеленых рощ и садов — всегда на первом плане, всегда на главном месте *она;* непостижимая, недосягаемая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная — Юлия.

Но Юлия, это — только человеческое имя. Мало ли Юлий на свете. Вот даже есть в обиходе такой легонький стишок:

Хожу ли я, брожу ли я,
Все Юлия да Юлия.

Правда, Александров, немножко балующий стишками, пробовал иногда расцветить, углубить это двухстрочие:

В июне и в июле я
Влюблен в тебя, о Юлия!

На зов твой не бегу ли я
Быстрее пули, Юлия?

И описать смогу ли я
Красы твои, о Юлия!

И так далее, и так далее...

Но чего стоят вялые и беспомощные стишки? И настоящее имя ее совсем не Юлия, а скорее Геба, Гера, Юнона, Церера или другое величественное имя из древней мифологии.

Она высока ростом: на полголовы выше Александрова. Она полна, движения ее неторопливы и горды. Лицо ее кажется Александрову античным. Влажные большие темные глаза и темнота нижних век заставляют Александрова применять к ней мысленно гомеровский эпитет: «волоокая».

На дачном танцевальном кругу, в Химках, под Москвою, он был ее постоянным кавалером в вальсе, польке, мазурке и кадрили, уделяя, впрочем, немного благосклонного внимания и ее младшим сестрам, Ольге и Любе. Александров отлично знал о своей некрасивости и никогда в этом смысле не позволял себе ни заблуждений, ни мечтаний; но еще с большей уверенностью он не только знал, но и чувствовал, что танцует он хорошо: ловко, красиво и весело.

Ах! Однажды его великая летняя любовь в Химках была омрачена и пронзена зловещим подозрением: с горем и со стыдом он вдруг подумал, что Юленька смотрит на него только как на мальчика, как на желторотого кадетика, еще даже не юнкера, что кокетничает она с ним только от дачного «нечего делать» и что если она в нем что-нибудь и ценит, то только свое удобство танцевать с постоянным партнером, неутомимым, ловким и находчивым; с чем-то вроде механического манекена.

Со жгучей злобой, не потерявшей свежести даже и теперь, вспоминает Александров этот тяжелый момент.

В семье трех сестер Синельниковых, на даче, собиралось ежедневно множество безусой молодежи, лет так от семнадцати и до двадцати: кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники-студенты, ученики консерватории и школы живописи и ваяния и другие. Пели, танцевали под пианино, играли в petits jeux [1] и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Оленьку, то в Любочку. И всегда там хохотали.

Приходил постоянно на эти невинные забавы некто господин Покорни. Сверстникам Александрова он казался стариком, хотя вряд ли ему было больше тридцати пяти лет: таков уж условный масштаб юности. Надо сказать, что в этой молодой и веселой компании господин Покорни был не только не нужен, но, пожалуй, даже и тяжел. Он был длинен, как

[1] Салонные игры *(франц.)*.

жираф; гораздо выше Юленьки, и когда танцевал, то беспрестанно бил свою даму острыми коленками. Он не умел смеяться и часто грыз в молчании ногти. Если в «почте» его спрашивали: «А ваша корреспонденция?» — он отвечал: «Да я не знаю, что написать». Вообще он наводил уныние. Про него знали только то, что у него в Москве большой магазин фотографических принадлежностей. И был он вместе с бесцветным лицом, с фигурой и костюмом весь в продольных и вертикальных морщинах.

В троицын день на Химкинском кругу был назначен пышный бал — gala. Военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов. После третьей кадрили заиграли ритурнель к вальсу. Александров разыскал Юленьку. Она сидела на скамейке одна и перебирала складки своего веера. Александров подбежал и низко поклонился, приглашая ее на танец. Она уже привстала, но откуда-то вдруг просунулся долговязый Покорни, изогнувшись над Александровым, протянул руку Юленьке. И она — о, ужас! — отвернулась от юноши и положила руку на плечо жирафа.

— Позвольте, — сдержанно, но гневно воскликнул Александров. — Послушайте!

Но Юленька и Покорни уже вертелись, — благодаря косолапому кавалеру не в такт.

У Александрова так горько стало во рту от злобы, точно он проглотил без воды целую ложку хинина.

Чтобы не быть узнанным, он сошел с танцевального круга и пробрался вдоль низенького забора, за которым стояли бесплатные созерцатели роскошного бала, стараясь стать против того места, где раньше сидела Юленька. Вскоре вальс окончился. Они прошли на прежнее место. Юленька села. Покорни стоял, согнувшись над нею, как длинный крючок. Он что-то бубнил однообразным и недовольным голосом, как будто бы он шел не из горла, а из живота.

«Точно чревовещатель, — подумал Александров.— Должно быть, у всех подлецов такие противные голоса».

Юленька молчала, нервно распуская и сжимая свой веер. Потом она очень громко сказала:

— Сто раз я вам говорила — нет. И значит — нет. Проводите меня к maman. Нужно всегда думать о том, что делаешь.

Александров густо покраснел в темноте.

— Боже мой, неужели я подслушиваю!

Еще долго не выходил он из своей засады. Остаток бала тянулся, казалось, бесконечно. Ночь холодела и сырела. Духовая музыка надоела; турецкий барабан стучал по голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее. Висячие гирлянды из дубовых и липовых веток опустили беспомощно свои листья, и от них шел нежный, горьковатый аромат увядания. Александрову очень хотелось пить, и у него пересохло в горле.

Наконец-то Синельниковы собрались уходить. Их провожали: Покорни и маленький Панков, юный ученик консерватории, милый, белокурый, веселый мальчуган, который сочинял презабавную музыку к стихам Козьмы Пруткова и к другим юмористическим вещицам. Александров пошел осторожно за ними, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы не слышать их голосов.

Он слышал, как все они вошли в знакомую, канареечного цвета дачу, которая как-то особенно, по-домашнему, приютилась между двух тополей. Ночь была темная, беззвездная и росистая. Туман увлажнял лицо.

Вскоре мужчины вышли и у крыльца разошлись в разные стороны. Погас огонек лампы в дачном окне: ночь стала еще чернее.

Александров ничего не видел, но он слышал редкие шаги Покорни и шел за ними. Сердце у него билось-билось, но не от страха, а от опасения, что у него выйдет неудачно, может быть даже смешно.

Не доходя до лаун-теннисной площадки, он мгновенно решился. Слегка откашлялся и крикнул:

— Господин Покорни!

Голос у него из-за тумана прозвучал глухо и плоско. Он крикнул громче:

— Господин Покорни!

Шаги Покорни стихли. Послышался из темноты точно придушенный голос:

— Кто такой? Что нужно?

Александров сделал несколько шагов к нему и крикнул:

— Подождите меня. Мне нужно сказать вам несколько слов.

— Какие такие слова? Да еще ночью?

Александров и сам не знал, какие слова он скажет, но шел вперед. В это время ущербленный и точно заспанный месяц продрался и выкатился сквозь тяжелые громоздкие облака, осветив их сугробы грязно-белым и густо-фиолетовым светом. В десяти шагах перед собою Александров смутно увидел в тумане неестественно длинную и худую фигуру Покорни, который, вместо того чтобы дожидаться, пятился назад и говорил преувеличенно громко и торопливо:

— Кто вы такой? Что вам от меня надо, черт возьми?

Голос у него вздрагивал, и это сразу ободрило юношу. Давид снова сделал два шага к Голиафу.

— Я — Александров. Алексей Николаевич Александров. Вы меня знаете.

Тот ответил с принужденной грубостью:

— Никого я не знаю и знать не хочу всякую дрянь.

Но Александров продолжал наступать на пятившегося врага.

— Не знаете, так сейчас узнаете. Сегодня на кругу вы позволили себе нанести мне тяжелое оскорбление... в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинение, или...

— Что или? — как-то по-заячьи жалобно закричал Покорни.

— Или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках!

Вызов вышел эффектно. Какого рода оружие имел в виду кадет, — а через неделю юнкер Александров, — так и осталось его тайной, но боевая фраза произвела поразительное действие.

— Мальчишка! щенок! — завизжал Покорни. — Молоко на губах не обсохло! За уши тебя драть, сопляка! Розгой тебя!

Всю эту ругань он выпалил с необычайной быстротой, не более чем в две секунды. Александров вдруг

почувствовал, что по спине у него забегали холодные щекотливые мурашки и как-то весело потеплело темя его головы от опьяняющего предчувствия драки.

— Казенная шкура! — гавкнул Покорни напоследок.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: сжав кулаки до боли, видя красные круги перед глазами, напрягая все мускулы крепкого почти восемнадцатилетнего тела, Александров уже ринулся с криком: «Подлец», на своего врага, но вдруг остановился, как от мгновенного удара.

Покорни, удивительно быстро повернувшись, кинулся изо всех сил в бегство. Некто, там наверху заведующий небесными световыми эффектами, пустил вдруг вовсю лунный прожектор, и глазам Александрова внезапно предстало изумительнейшее зрелище. Давным-давно, еще будучи мальчиком, он видал в иллюстрациях к Жюль Верну страуса, мчащегося в легкой упряжке, и жирафа, который обгоняет курьерский поезд. Вот именно таким размашистым аллюром удирал с поля чести ничтожный Покорни. Александров кинулся было его догонять, но вскоре убедился в том, что это не в силах человеческих. «Не швырнуть ли камнем в его спину? — Нет. Это будет низко». Так и бежал он потихоньку за Покорни, пока тот не остановился у своей дачи и не открыл входную дверь.

— Трус, хам и трижды подлец! — крикнул ему вслед Александров.

— А ты сволочь! — ответил Покорни, и дверь громко хлопнула.

Четыре дня не появлялся Александров у Синельниковых, а ведь раньше бывал у них по два, по три раза в день, забегая домой только на минуточку, пообедать и поужинать. Сладкие терзания томили его душу: горячая любовь, конечно, такая, какую не испытывал еще ни один человек с сотворения мира; зеленая ревность, тоска в разлуке с обожаемой, давняя обида на предпочтение... По ночам же он простаивал часами под двумя тополями, глядя в окно возлюбленной.

На пятый день добрый друг, музыкант Панков, влюбленный — все это знали — в младшую из Синельниковых, в лукавоглазую Любу, пришел к нему и в качестве строго доверенного лица принес запечатанную записочку от Юлии.

«Милый Алеша (это впервые, что она назвала его уменьшительным именем). Зачем вы, ненавидя своего врага, делаете несчастными ваших искренних друзей. Приходите к нам по-прежнему. *Его теперь нет* и, надеюсь, больше никогда не будет. А мне без вас так ску-у-чно.

Ваша *Ю.*
Ц.»

Минут десять размышлял Александров о том, что могла бы означать эта буква Ц., поставленная в самом конце письма так отдельно и таинственно. Наконец он решился обратиться за помощью в разгадке к верному белокурому Панкову, явившемуся сегодня вестником такой великой радости.

Панков поглядел на букву, потом прямо в глаза Александрову и сказал спокойно:

— Ц. — это значит — целую, вот и все.

В тот же день влюбленный молодой человек открыл, что таинственная буква Ц. познается не только зрением и слухом, но и осязанием. Достоверность этого открытия он проверил впоследствии раз сто, а может быть, и больше, но об этом он не расскажет даже самому лучшему, самому вернейшему другу.

Глава IV

БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

В лазаретной приемной уже собрались выпускные кадеты. Александров пришел последним. Его невольно и как-то печально поразило: какая малая кучка сверстников собралась в голубой просторной комнате,— пятнадцать — двадцать человек, не больше, а на последних экзаменах их было тридцать шесть. Только спустя

несколько минут он сообразил, что иные, не выдержавши выпускных испытаний, остались в старшем классе на второй год; другие были забракованы, признанные по состоянию здоровья негодными к несению военной службы; следующие пошли: кто побогаче — в Николаевское кавалерийское училище; кто имел родню в Петербурге — в пехотные петербургские училища; первые ученики, сильные по математике, избрали привилегированные карьеры инженеров или артиллеристов; здесь необходимы были и протекция и строгий дополнительный экзамен.

Почему-то жалко стало Александрову, что вот расстроилось, расклеилось, расшаталось крепкое дружеское гнездо. Смутно начинал он понимать, что лишь до семнадцати, восемнадцати лет мила, светла и бескорыстна юношеская дружба, а там охладеет тепло общего тесного гнезда, и каждый брат уже идет в свою сторону, покорный собственным влечениям и велению судьбы.

Пришел доктор Криштафович и с ним корпусный фельдшер Семен Изотыч Макаров. Фельдшера кадеты прозвали «Семен Затыч», или иначе «клистирная трубка». Его не любили за его непреклонность. Нередко случалось, что кадет, которому до истомы надоела ежедневная зубрежка, разрешал сам себе день отдыха в лазарете. Для этого на утреннем медицинском обходе он заявлял, что его почему-то бросает то в жар, то в холод, а голова у него и болит и кружится, и он сам не знает, почему это с ним делается. Его отсылали вниз, в лазарет. Всем были известны способы, как довести температуру тела до желанных предельных 37,6 градусов. Но злодейский фельдшер Макаров, ставивший градусник, знал все кадетские фокусы и уловки, и никакое фальшивое обращение с градусником не укрывалось от его зорких глаз. Но дальше бывало еще хуже. Все, признанные больными, все равно, какая бы болезнь у них не оказалась — неизбежно перед ванной должны были принять по стаканчику касторового масла. Этим делом заведовал сам Макаров, и ни просьбы, ни посулы, ни лесть, ни упреки, ни даже бунт не могли повлиять на его твердокаменное

сердце. Зеленого стекла толстостенный стакан, на дне чуть-чуть воды, а выше, до краев, желтоватое густое ужасное масло. Кусок черного хлеба густо посыпан крупною солью. Это — роковая закуска. Последний вздох, страшное усилие над собою. Нос зажат, глаза зажмурены.

— Э, нет. До конца, до конца! — кричит проклятый Макаров... Гнусное воспоминание...

Но бывали редкие случаи, когда Изотычу прощалось его холодное коварство. Это бывало тогда, когда удавалось его затащить в гимнастический зал.

Он делал на турнике, на трапеции и на параллельных брусьях такие упражнения, которых никогда не могли сделать самые лучшие корпусные гимнасты. Он и сам-то похож был на циркача очень малым ростом, чересчур широкими плечами и короткими кривыми ногами.

Сейчас же вслед за доктором пришел дежурный воспитатель, никем не любимый и не уважаемый Михин.

— Здравствуйте, господа, — поздоровался он с кадетами.

И все они, даже не сговорившись заранее, вместо того чтобы крикнуть обычное: «Здравия желаем, господин поручик», ответили равнодушно: «Здравствуйте».

Михин густо покраснел.

— Раздевайтесь на физический осмотр, — приказал он дрожащим от смущения и обиды голосом и стал кусать губы.

Кадеты быстро разделись донага и босиком подходили по очереди к доктору. То, что было в этом телесном осмотре особенно интимного, исполнял фельдшер. Доктор Криштафович только наблюдал и делал отметки на списке против фамилий. Такой подробный осмотр производился обыкновенно в корпусе по четыре раза в год, и всегда он бывал для Александрова чем-то вроде беспечной и невинной забавы, тем более что при нем всегда бывало испытание силы на разных силомерах — нечто вроде соперничества или состязания. Но почему теперь такими грубыми и такими отвратительными казались ему прикосновения фельдшера к тайнам его тела?

И еще другое: один за другим проходили мимо него нагишом давным-давно знакомые и привычные товарищи. С ними вместе сто раз мылся он в корпусной бане и купался в Москве-реке во время летних Коломенских лагерей. Боролись, плавали наперегонки, хвастались друг перед другом величиной и упругостью мускулов, но самое тело было только незаметной оболочкой, одинаковой у всех и ничуть не интересною.

И вот теперь Александров с недоумением заметил, чего он раньше не видел или на что почему-то не обращал внимания. Странными показались ему тела товарищей без одежды. Почти у всех из-под мышек росли и торчали наружу пучки черных и рыжих волос. У иных груди и ноги были покрыты мягкой шерстью. Это было внезапно и диковинно. И тут только заметил он, что прежние золотистые усики на верхней губе Бутынского обратились в рыжие, большие, толстые фельдфебельские усы, закрученные вверх. «Что с нами со всеми случилось?» — думал Александров и не понимал.

Но особенно смущали его от природы необычайно тонкое обоняние запахи этих сильных, полумужских обнаженных тел. Они пахнули по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то увядающим нарциссом...

— Удивительно, неужели мы все разные, — сказал себе Александров, — и разные у нас характеры, и в разные стороны потекут наши уже чужие жизни, и разная ждет нас судьба? Да и правда: уж не взрослые ли мы стали?

Осмотр кончился. Кадеты оделись и поехали в училище на Знаменку. Но каким способом и каким путем они ехали — это навсегда выпало из памяти Александрова. В бесконечную длину растянулся для него сложный, пестрый, чрезмерно богатый лицами, событиями и впечатлениями день вступления в училище.

Утром в Химках прощание с сестрой Зиной, у которой он гостил в летние каникулы. Здесь же, по соседству, визит семье Синельниковых. С большим трудом удалось ему улучить минуту, чтобы остаться наедине с богоподобной Юленькой, но когда он потянулся к ней за знакомым, сладостным, кружащим голову поцелуем,

она мягко отстранила его загорелой рукой и сказала:

— Забудем летние глупости, милый Алеша. Прошел сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите к нам потанцевать. А теперь прощайте. Желаю вам счастья и успехов.

И он ушел, молча, обиженный, несчастный, едва сдерживая горькие слезы...

Потом путь по железной дороге до Николаевского вокзала; оттуда на конке в Кудрино, к маме; затем вместе с матерью к Иверской божьей матери; после чуть ли не на край города в Лефортово, в кадетский корпус. Прощание, переодевание и, наконец, опять огромный путь на Арбат, на Знаменку, в белое здание Александровского училища.

В теле усталость, в голове путаница. В целые годы растянулся этот тягучий день, и все нет ему конца.

Никогда потом в своей жизни не мог припомнить Александров момента вступления в училище. Все впечатления этого дня походили у него в памяти на впечатления человека, проснувшегося после сильнейшего опьянения: какие-то смутные картины, пустячные мелочи и между ними черные провалы. Так и не мог он восстановить в памяти, где выпускных кадет переодевали в юнкерское белье, одежду и обувь, где их ставили под ранжир и распределяли по ротам.

Ярче всего сохранилась у него такая минута: он стоит в длинном широком белом коридоре; на нем легкая свободная куртка, застегнутая сбоку на крючки, а на плечах белые погоны с красным вензелем А. II, Александр Второй. По коридору взад и вперед снуют молодые люди. Здесь и старые юнкера-второкурсники, которых сразу видно по выправке, и только прибывшие выпускные кадеты других корпусов, как московских, так и провинциальных, в разноцветных погонах. Тут впервые понимает Александров, как тяжело одиночество, в чужой незнакомой толпе.

Он стоит у широкого окна, равнодушно прислушиваясь к гулу этого большого улья, рассеянно, без интереса, со скукою глядя на пестрое суетливое движение. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими

погонами — он худощав и смугло румян, черные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александрова:

— Какого э... корпуса?

— Второго московского, господин капитан.

— Э... На что же вы себе такие волосья отпустили? Думаете, красиво?

И он кричит громко:

— Андриевич!

— Я! — раздается отклик с другого конца коридора, и к офицеру быстро подбегает и ловко вытягивается перед ним тот самый Андриевич, который шел вместе с Александровым до шестого класса, очень дружил с ним и даже издавал с ним вместе кадетскую газету.

Офицер спрашивает:

— Вашего корпуса?

— Так точно, господин капитан.

— Э... Так возьмите этого отца протодиакона и тащите его к цирюльнику стричься, ишь какую гривицу отрастил.

— Слушаю, господин капитан.

Весело, лукаво улыбаясь, он непринужденно берет Александрова за рукав и говорит:

— Идем, идем, фараон.

Потом он сам наблюдает, как в умывалке цирюльник стрижет наголо бывшего дружка-приятеля, и слегка добродушно подтрунивает.

— Почему же я фараон? — спрашивает Александров.

Тот отвечает:

— Потому же, почему я обер-офицер. Разница между первым и вторым курсом.

— А кто же этот капитан?

— Это командир нашей четвертой роты, капитан Фофанов, а по-нашему «Дрозд». Строгая птица, но жить с нею все-таки можно. Я тебя давно знаю. Ты у него досыта насидишься в карцере.

По окончании стрижки он доставляет его ротному командиру. Тот смотрит на новичка сверху вниз, склоняя голову то на левый, то на правый бок.

— Э... Ничего. Так хоть немножко на юнкера похож. Вы его подтягивайте, Андриевич.

Глава V

ФАРАОН

С трудом, очень медленно и невесело осваивается Александров с укладом новой училищной жизни, и это чувство стеснительной неловкости долгое время разделяют с ним все первокурсники, именуемые на юнкерском языке «фараонами», в отличие от юнкеров старшего курса, которые, хотя и преждевременно, но гордо зовут себя «господами обер-офицерами».

В кличке «фараон», правда, звучит нечто пренебрежительное, но она не обижает уже благодаря одной своей нелепости. В Александровском училище нет даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется «цуканьем» и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унизительном обращении старшего курса с младшим: дурацкий обычай, собезьяненный когда-то, давным-давно, у немецких и дерптских студентов, с их буршами и фуксами, и обратившийся на русской черноземной почве в тупое, злобное, бесцельное издевательство.

За несколько лет до Александрова «цукание» собиралось было прочно привиться и в Москве, в белом доме на Знаменке, когда туда по какой-то темной причине был переведен из Николаевского кавалерийского училища светлейший князь Дагестанский, привезший с собою из Петербурга, вместе с распущенной развинченностью, а также с модным томным грассированием, и глупую моду «цукать» младших товарищей. Может быть, его громкий титул, может быть, его богатство и личное обаяние, а вероятнее всего, стадная подражательность, так свойственная юношеству, были причинами того, что обычаем «цукания» заразилась сначала первая рота — рота его величества, — в которую попал князь, а потом постепенно эту дурную игру переняли и другие три роты.

Однако это вредное самоуправство оказалось недолговечным. Преобладающим большинством в училище были коренные москвичи, вышедшие из четырех кадетских корпусов. Москва же в те далекие времена

оставалась воистину «порфироносною вдовою», которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порою казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством, с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург, с его сухостью, узостью и европейской мелочностью, не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала. «В Питере — все выскочки. Самым старым родам не более трехсот лет, а ордена и высокие титулы там даются за низкопоклонство и угодливость». А Москва? «Что за тузы в Москве живут и умирают! Какие славные вековые боярские столбовые роды обитают в ней на Пречистенке, на Поварской, на Новинском бульваре и на Никитских...» И самый воздух в первопрестольной был совсем иной, чем петербургский: куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее. Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прививались в Москве и скоро отмирали. Таким же путем прекратилось в Александровском училище и пресловутое немецкое «цуканье». Не место ему было в свободолюбивой Москве. Угнетенные навязанной мелкой тиранией господ обер-офицеров, юнкера, однако, не жаловались ни высшему начальству, ни своим родителям: и то и другое было бы изменой внутреннему духу и укладу училища. Переворот произошел как-то случайно, сам собою, в один из тех июльских горячих дней, когда подходила к самому концу тяжелая, изнурительная лагерная служба.

Юнкера старшего курса уже успели разобрать, по присланному из Петербурга списку, двести офицерских вакансий в двухстах различных полках. По субботам они ходили в город к военным портным примерить в последний раз мундир, сюртук или пальто и ежедневно, с часа на час, лихорадочно ждали заветной телеграммы, в которой сам государь император поздравит их с производством в офицеры.

В этот день после нудного батальонного учения юнкера отдыхали и мылись перед обедом. По какой-то странной блажи второкурсник третьей роты Павленко подошел к фараону этой же роты Голубеву и сделал вид, что собирается щелкнуть его по носу. Голубев поднял руку, чтобы предотвратить щелчок. Но Павленко закричал: «Это что такое, фараон? Смирно! Руки по швам!» Он еще раз приблизил сложенные два пальца к лицу Голубева. Но тут произошло нечто вовсе неожиданное. Скромный, всегда тихий и вежливый Голубев воскликнул:

— Довольно вы надо мною издевались! — и с этим криком, быстро открыв складной ножик, вонзил его в наружную сторону протянутой кисти. Павленко опешил. Рана оказалась пустячная, но кровь потекла обильно. Кстати, Голубев первый сделал Павленко перевязку из своего чистого полотенца.

Эта неприятная история быстро разнеслась по всему лагерю. Ни старшие, ни младшие юнкера не знали, как отнестись к кровавому событию. Некоторые из выпускных, очень немногие, и самые ярые «цукатели» предлагали довести до сведения начальства о дерзком поступке Голубева: пусть его подвергнут усиленному аресту или отправят нижним чином в полк. Но половина господ обер-офицеров и все фараоны стояли за него. Мигом по всем четырем баракам второкурсников помчались летучие гонцы: «После обеда всему второму курсу собраться в столовую!»

Собралось человек до шестидесяти. Уклонились лентяи, равнодушные, эгоисты, боязливые, туповатые, мнительные, неисправимые сони, выгадывавшие каждую лишнюю минутку, чтобы поваляться в постели, а также будущие карьеристы и педанты, знавшие из устава внутренней службы о том, что всякие собрания и сборища строго воспрещаются.

Говорили все сразу, но договорились очень скоро.

«Нам колбасники, немецкие студенты, не пример и гвардейская кавалерия не указ. Пусть кавалерийские юнкера и гвардейские «корнеты» ездят верхом на своих зверях и будят их среди ночи дурацкими вопросами.

Мы имеем высокую честь служить в славном Александровском училище, первом военном училище в мире, и мы не хотим марать его прекрасную репутацию ни шутовским балаганом, ни идиотской травлей младших товарищей. Поэтому решим твердо и дадим друг другу торжественное слово, что с самого начала учебного года мы не только окончательно прекращаем это свинское цуканье, достойное развлечений в тюрьме и на каторге, но всячески его запрещаем и не допустим его никогда. Да его уже и нет, оно прошло, и мы забыли о нем. Не правда ли, друзья? и все. И точка.

Пусть, в память старины, фараоны так и остаются фараонами. Не нами это прозванье придумано, а нашими прославленными предками, из которых многие легли на поле брани за веру, царя и отечество. Пусть же свободный от цукания фараон все-таки помнит о том, какая лежит огромная дистанция между ним и господином обер-офицером. Пусть всегда знает и помнит свое место, пусть не лезет к старшим с фамильярностью, ни с амикошонством, ни с дружбой, ни даже с простым праздным разговором. Спросит его о чем-нибудь обер-офицер — он должен ответить громко, внятно, бодро и при этом всегда правду. И конец. И дальше — никакой болтовни, никакой шутки, никакого лишнего вопроса. Иначе фараон зазнается и распустится. А его, для его же пользы, надо держать в строгом, сухом и почтительном отдалении.

Да и зачем ему соваться в высшее, обер-офицерское общество? В роте пятьдесят таких фараонов, как и он, пусть они все дружатся и развлекаются. Мирятся и ссорятся, танцуют и поют промеж себя; пусть хоть представления дают и на головах ходят, только не мешали бы вечерним занятиям.

Но две вещи фараонам безусловно запрещены: во-первых, травить курсовых офицеров, ротного командира и командира батальона; а во-вторых, петь юнкерскую традиционную «расстанную песню»: «Наливай, брат, наливай». И то и другое — привилегии господ обер-офицеров; фараонам же заниматься этим — и рано и не имеет смысла. Пусть потерпят годик, пока сами не станут обер-офицерами... Кто же это в са-

мом деле прощается с хозяевами, едва переступив порог, и кто хулит хозяйские пироги, еще их не отведав?»

Так, или почти так, выразили свое умное решение нынешние фараоны, а через день, через два уже господа обер-офицеры; стоит только прийти волшебной телеграмме, после которой старший курс мгновенно разлетится, от мощного дуновения судьбы, по всем концам необъятной России. А через месяц прибудут в училище и новые фараоны.

И еще одно мудрое словесное постановление было утверждено на этом необыкновенном заседании в просторном столовом бараке...

«Но надо же позаботиться и о жалких фараонах. Все мы были робкими новичками в училище и знаем, как тяжелы первые дни и как неуверенны первые шаги в суровой дисциплине. Это все равно что учиться кататься на коньках или ходить на ходулях. И потому пускай каждый второкурсник внимательно следит за тем фараоном своей роты, с которым он всего год назад ел одну и ту же корпусную кашу. Остереги его вовремя, но вовремя и подтяни крепко. От веков в великой русской армии новобранцу был первым учителем, и помощником, и заступником его дядька-земляк».

Всю вескость последнего правила пришлось вскоре Александрову испытать на практике, и урок был не из нежных. Вставали юнкера всегда в семь часов утра; чистили сапоги и платье, оправляли койки и с полотенцем, мылом и зубной щеткой шли в общую круглую умывалку, под медные краны. Сегодняшнее сентябрьское утро было сумрачное, моросил серый дождик; желто-зеленый туман висел за окнами. Тяжесть была во всем теле, и не хотелось покидать кровати.

К Александрову подошел дежурный по роте, второкурсник Балиев, очень любезный и тихий армянин с оливковым лицом, испещренным веснушками.

— Вставайте же, Александров, — сказал он спокойно. — Вставайте.

— Да я сейчас, сейчас. Дайте полежать несколько минуток. Что вам стоит?

— А я вам говорю: вставайте немедленно! — возвысил голос Балиев.

— Ах, боже мой! Что же вам жалко, что ли?

И вдруг он услышал через всю спальню резкий и гневный голос:

— Александров, молчать! Вставайте сию секунду!

В этом голосе было столько повелительного, что бедный фараон мгновенно вскочил на ноги, стряхнул с глаз сонную истому и сразу увидел, что кричал старший юнкер Тучабский. Это для Александрова было и дико и непонятно. Ведь это тот самый Тучабский, с которым они жили в тесной дружбе целых шесть корпусных лет, пока Александров не застрял на второй год в шестом классе. Раньше же у них было все общее: пополам покупали халву и нугу, вместе собирали коллекции растений, бабочек и перьев. Изобрели собственную, никому не понятную азбуку и таинственный разговорный язык. Вместе же они одно время увлекались пиротехникой: делали из серы, селитры, бертолетовой соли, толченого сахара и угля бенгальские огни, вертуны и шутихи и зажигали их вечером в ватерклозете. Также читали друг другу по очереди книги, принесенные с воли... «Да ведь это он, Тучабский, прежний, милый друг Тучабский!.. Откуда же у него взялся этот страшный голос, который точно столкнул Александрова с постели на пол». И горько и обидно стало фараону. «Что же меня ждет дальше?»

А после обеда, когда наступило время двухчасового отдыха, Тучабский подошел к Александрову, сидевшему на койке, положил ему свою огромную руку на голову и сурово-ласково сказал:

— Ты не сердись на меня. Я тебе же добра желаю. И прошу перестать быть ершом. Здесь тебе не корпус, а военное училище с воинской службой. Да подожди, все обомнется, все утрясется... Так-то, дорогой мой.

И ушел.

Глава VI

ТАНТАЛОВЫ МУКИ

Каждую среду на полдня и каждую субботу до вечера воскресенья юнкера ходили в отпуск. Злосчастные фараоны с завистью и с нетерпением следили за тем, как тщательно обряжались обер-офицеры перед выходом из стен училища в город; как заботливо стягивали они в талию новые прекрасные мундиры с золотыми галунами, с красным вензелем на белом поле. Мундиры, туго опоясанные широким кушаком, на котором перекрещивались две гренадерские пылающие гранаты. На левом боку кушака прикреплялся штык в кожаном футляре. Прежде — помнил Александров по своим ранним кадетским годам — оружием юнкера был не узенький, как селедка, штык, а тяжелый, широкий гренадерский тесак с медной витою рукоятью — настоящее боевое оружие, которым при желании свободно можно было бы оглушить быка. Александров уже знал, что совсем не его славные предки, «старинные александровцы», вызвали своим поведением такую прискорбную замену оружия. Виноваты были юнкера военного окружного училища, что в Красных казармах, те самые, которые после стажа в полку держат при своем училище экзамен на армейского подпрапорщика и которые набираются с бора по сосенке. Это они одной зимней ночью на масленице завязали огромный скандал в области распревеселых непотребных домов на Драчевке и в Соболевом переулке, а когда дело дошло до драки, то пустили в ход тесаки, в чем им добросовестно помогли строевые гренадеры Московского округа. Около этого дурацкого события поднялся большой и, как всегда, преувеличенный шум, притушить который начальство не успело вовремя, и результатом был строгий общий разнос из Петербурга с приказом заменить во всем Московском гарнизоне тяжкие обоюдоострые тесаки невинными штыками...

Этот выходной костюм довершался летом — бескозыркой с красным околышем и кокардой, зимою — каракулевой низкой шапкой с золотым (медным)

начищенным орлом. И тот и другой головной убор бывал лихо и вызывающе сдвинут на правый бок. Широкие черные штаны, по моде, заимствованной у императорских стрелков, надевались с широким напуском и низко заправлялись в *собственные* шикарные сапоги, французского или русского лака, стоившие не дешево. Постоянный училищный поставщик Ефремов брал за них с колодками от пятнадцати до восемнадцати рублей. Совсем, окончательно бедные юнкера принуждены были ходить в отпуск в казенных сапогах, слегка и вовсе уж не так дурно благоухавших дегтем. Зато белые замшевые перчатки были и обязательны и недороги: мыть их можно было хоть сто раз, и они ничуть не изнашивались. Да в училище никому бы не могло прийти в голову смеяться или глумиться над юнкером, родственники которого были людьми несостоятельными, часто многосемейными и живущими в глухой провинции на жалкую полковничью или майорскую пенсию. Случаи подобного издевательства были совсем неизвестны в домашней истории Александровского училища, питомцы которого, по каким-то загадочным влияниям, жили и возрастали на основах рыцарской военной демократии, гордого патриотизма и сурового, но благородного, заботливого и внимательного товарищества.

С особенной пристальностью следили, разинув рты, несчастные фараоны за тем, как обер-офицеры, прежде чем получить увольнительный билет, шли к курсовому офицеру или к самому Дрозду на осмотр.

— Почему косит борт? Зачем кокарда не посредине? Грудь морщит. Подтянуть! Кругом! Расправить складку на спине!

Но вот ровным, щегольским, учебным шагом подходит, громыхая казенными сапожищами, ловкий «господин обер-офицер». Раз, два. Вместе с приставлением правой ноги рука в белой перчатке вздергивается к виску. Прием сделан безупречно. Дрозд осматривает молодцеватого юнкера с ног до головы, как лошадиный знаток породистого жеребца.

— Хорошо, юнкер. И одет безупречно. За версту видно бравого александровца. Видно сову по полету, добра молодца по соплям.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— Ступайте с богом. — Двухприемный, крепкий поворот налево, и юнкер освобожден.

Новичкам еще много остается дней до облачения в парадную форму и до этого требовательного осмотра. Но они и сами с горечью понимают, что такая красивая, ловкая и легкая отчетливость во всех воинских движениях не дается простым подражанием, а приобретается долгой практикой, которая, наконец, становится бессознательным инстинктом.

До безумия, до чесотки хочется в отпуск, но нечего об этом счастии и думать. Не успел еще фараон дозреть до отпуска. Медленно ползут дни и недели скучного томления. Роздых и умягчение фараонским душам бывает только по четвергам. Каждый четверг за обедом играет в полуподвальной громадной каменной юнкерской столовой училищный оркестр. Этот оркестр и его изумительный дирижер, старый Крейнбринг, которого помнят древнейшие поколения александровцев, составляют вместе одну из почтенных московских достопримечательностей.

Всем юнкерам, так же как и многим коренным москвичам, давно известно, что в этом оркестре отбывают призыв лучшие ученики московской консерватории, по классам духовых инструментов, от начала службы до перехода в великолепный Большой московский театр. Юнкера — великие мастера проникнуть в разные крупные и малые дела и делишки — знают, что на флейте играет в их оркестре известный Дышман, на корнет-а-пистоне — прославленный Зеленчук, на гобое — Смирнов, на кларнете — Михайловский, на валторне — Чародей-Дудкин, на огромных медных басах — наемные, сверхсрочно служащие музыканты гренадерских московских полков, бывшие ученики старого требовательного Крейнбринга, и так далее. Барабанщик же Александровского оркестра — несменяемый великий артист Индурский, из кантонистов, однолетка с Крейнбрингом, — маленький, стройный старичок с черными усами и с седыми баками по пояс. Он первейший из всех барабанщиков Московского военного округа, а может быть, всего мира. Говорят, что однажды состоялось

в московском манеже торжественное состязание специалистов по маленькому барабану, и Индурский блистательно вышел из него первым. Всем известно, что Индурский никому не хочет сообщить тайну своей несравненной дроби и унесет ее с собой в могилу. Что поделаешь? Во всяком военном училище есть такого рода безвредный, немножко смешной со стороны, невинный и наивный шовинизм.

Садясь за четверговый обед, юнкера находят на столах музыкальную программу, писанную круглым военно-писарским «рондо» и оттиснутую гектографом. В нее обыкновенно входили новые штраусовские вальсы, оперные увертюры и попурри, легкие пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона и Вагнера. Оркестр Крейнбринга был так на славу выдрессирован, что исполнял самые деликатные подробности, самое сладкое пиано с тонким совершенством хорошего струнного оркестра.

Нередко юнкера аплодировали, но старый, немного горбатый Крейнбринг не обращал никакого внимания на эти знаки поощрения. Иногда юнкера просили сыграть одну из своих любимых вещиц, например, «Мельницу», «Марш Буланже», «Турецкий патруль», увертюру из «Руслана» или особенно «Почту в лесу». Последняя пьеска игралась с фокусом, чрезвычайно занимательным. Великий мастер корнет-а-пистона Зеленчук перед началом номера, незаметно для юнкеров, уходил из столовой и прятался в конце длинного-предлинного коридора. Вся прелесть состояла в том, что, как только кончалась оркестровая интродукция, Зеленчук вплетал в нее тихий, немного печальный отзыв, шедший как будто в самом деле из далекой глубины леса. И таким образом оркестр довольно долго перекликался с заблудшимся почтальоном, все время приближаясь друг к другу, пока не встречались в общем хоре.

Но упросить Крейнбринга бывало не легко. Этот старый немец отличался козлиным упрямством. С высоты своей славы — пусть только московской, но несомненной — он, как и почти все музыкальные маэстро, презирал большую, невежественную толпу и был совсем не чувствителен к комплиментам. Москвичи говорили про него, что он уважает только двух человек на свете:

дирижера Большого театра, строптивого и властного Авранека, а затем председателя немецкого клуба, фон Титцнера, который в честь компатриота и сочлена выписывал колбасу из Франкфурта и черное пиво из Мюнхена.

Но одну вещь, весьма ценимую юнкерами, он не только часто ставил в четверговые программы, но иногда даже соглашался повторять ее. Это была увертюра к недоконченной опере Литольфа «Робеспьер». Кто знает, почему он давал ей такое предпочтение: из ненависти ли к великой французской революции, из почтения ли к личности Робеспьера или его просто волновала музыка Литольфа?

В этой героической увертюре в самом финале есть страшный эффект, производимый резким и грозным ударом литавров: это тот момент, когда тяжелый стальной нож падает на склоненную шею «Неподкупного».

Между юнкерами по поводу этой увертюры ходило давнее предание, передававшееся из поколения в поколение. Рассказывали, что будто бы первым литаврщиком, исполнявшим роковой удар гильотины, был никому не известный скромный маленький музыкант, личный друг Крейнбринга еще с детских лет.

Говорили дальше, что этот музыкант пришел однажды в оркестр в каком-то особенно серьезном, почти торжественном настроении. На расспросы товарищей он отвечал нехотя и равнодушно, но сказал одному из них, якобы самому Крейнбрингу: «Сегодня вы услышите такой удар гильотины, которого не забудете никогда в жизни». И правда. Случилось нечто невероятно жуткое. Безвестный музыкант выждал точно определенную секунду и ударил в литавры с необычайной силой. Но тут же он упал на пол, пораженный разрывом сердца. Уверяли еще старые юнкера молодых, что будто бы Крейнбринг научил барабанщика Индурского этому необыкновенному удару в память своего преждевременно скончавшегося друга... Так же, как и сам в память его играл увертюру. Что здесь было правдой и что выдумкой, никто не удосужился проверить; спросить же сердитого, важного и молчаливого

Крейнбринга никто бы не отважился, да он, кажется, знал по-русски одни музыкальные слова, но все равно: юному сердцу нельзя жить без романтики.

Конечно, прекрасен был училищный оркестр, гордость александровцев, и ждали юнкера четвергового концерта с жадным нетерпением; но для бедных желторотых фараонов один час вокального наслаждения далеко не искупал многих часов беспрестанной прозаической строжайшей муштры и неловкой связанности и беспомощности в чужом, еще не обжитом доме, в котором невольно натыкаешься на все углы и косяки.

Первое, чему неизбежно учили каждого юнкера, была заповедь:

— Сначала забудьте все то, чему вас учили в кадетском корпусе. Теперь вы не мальчики, и каждый из вас в случае надобности может быть мгновенно призван в состав действующей армии и, следовательно, отправлен на поле сражения. Значит, каждого указания и приказания старших слушаться и подчиняться ему беспрекословно.

И правда, очень многому, почти всему, приходилось переучиваться наново.

— Чтобы плечи и грудь были поставлены правильно, — учил Дрозд, — вдохни и набери воздуха столько, сколько можешь. Сначала затаи воздух, чтобы запомнить положение груди и плеч, и когда выпустишь воздух, оставь их в том же самом порядке, как они находились с воздухом. Так вы и должны держаться в строю.

Всегда ходи и держись, даже вне строя, так, как подобает воину. Не шаркайте подметками, не везите, не волочите ног по полу. Шаг легкий, быстрый, крупный и веселый. Идете вдвоем, непременно в ногу. Даже когда идешь один, в уборную, и то иди, как будто идешь в ногу. Никогда не горбиться. Для этого научись держать высоко голову, однако не выставляя вперед подбородок, и наоборот, втягивая его в себя... Александров! Сейчас вы промаршируете вперед и назад. Попробуйте идти сгорбившись, а голову как можно выше. Ну! Шагом марш! Раз-два, раз-два! Стой! Ну, что, юнкер Александров? Ловко ли сутулиться, а голову держать высоко?

— Никак нет, ваше высокоблагородие (так величали юнкера офицеров в строю и по службе). Даже скорее трудно.

— Ну вот, теперь поняли? А жаль, что вы сами себя в это время не видели. Зрелище было довольно-таки гнусное... Итак, друзья мои, никогда не забывайте, что на вас вся Москва смотрит. Гляди, как орел, ходи женихом. Вы же, юнкера второго курса, следите зорко за этими желторотыми. Не скупитесь на замечания и выговоры. Им это будет только на пользу. Ибо, — и тут он повысил голос до окрика, — ибо, как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая попадья, или ползет, как вошь по мокрому месту, или смотрит на землю, как разочарованная свинья, или свесит голову набок, подобно этакому увядающему цветку, — буду греть беспощадно: лишние дневальства, без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей.

Да, это были дни воистину учетверенного нагревания. Грел свой дядька-однокурсник, грел свой взводный портупей-юнкер, грел курсовой офицер и, наконец, главный разогреватель, красноречивый Дрозд, лапидарные поучения которого как-то особенно ядовито подчеркивались его легким и характерным заиканием.

Учили строевому маршу с ружьем, обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах, но учили также и легкой уверенной красивой городской походке. Учили простой стойке, с ружьем и без ружья. Учили или, вернее, переучивали ружейные приемы.

Сравнительно с легкими драгунскими берданками, которые употреблялись в корпусе, двенадцати с половиною фунтовые пехотные винтовки были с непривычки тяжеловаты. Поднять за штык на вытянутой руке такую винтовку мог среди первокурсников один Жданов.

Но больше всего было натаскивания и возни с тонким искусством отдания чести. Учились одновременно и во всех длинных коридорах и в бальном (сборном) зале, где стояли портреты выше человеческого роста императора Николая I и Александра II и были врезаны

в мраморные доски золотыми буквами имена и фамилии юнкеров, окончивших училище с полными двенадцатью баллами по всем предметам.

Здесь практически проверялась память: кому и как надо отдавать честь. Всем господам обер- и штаб-офицерам чужой части надлежит простое прикладывание руки к головному убору. Всем генералам русской армии, начальнику училища, командиру батальона и своему ротному командиру честь отдается, становясь во фронт.

— Смотри, Александров, — приказывает Тучабский. — Сейчас ты пойдешь ко мне навстречу. Я — командир батальона. Шагом марш, раз-два, раз-два... Не отчетливо сделал полуоборот на левой ноге. Повторим. Еще раз. Шагом марш... Ну, а теперь опоздал. Надо начинать за четыре шага, а ты весь налез на батальонного. Повторить... раз-два. Эко, какой ты непонятливый фараон! Рука приставляется к борту бескозырки одновременно с приставлением ноги. Это надо отчетливо делать, а у тебя размазня выходит. Отставить! Повторим еще раз.

Конечно, эти ежедневные упражнения казались бы бесконечно противными и вызывали бы преждевременную горечь в душах юношей, если бы их репетиторы не были так незаметно терпеливы и так сурово участливы.

Случалось, они резко одергивали своих птенцов и порою, чтобы расцветить монотонность однообразной работы, расцвечивали науку острым, крупным солдатским словечком, сбереженным от времен далеких училищных предков. Но злоба, придирчивость, оскорбление, издевательство или благоволение к любимчикам совершенно отсутствовали в их обращении с младшими. Училищное начальство — и Дрозд в особенности — понимало большое значение такого строгого и мягкого, семейного, дружеского военного воспитания и не препятствовало ему. Оно по справедливости гордилось ладным табуном своих породистых однолеток и двухлеток жеребчиков — горячих, смелых до дерзости, но чудесно послушных в умных руках, умело соединяющих ласку со строгостью.

Прежний начальник училища, ушедший из него три года назад, генерал Самохвалов, или, по-юнкерски, Епишка, довел пристрастие к своим молодым питомцам до степени, пожалуй, немного чрезмерной. Училищная неписаная история сохранила многие предания об этом взбалмошном, почти неправдоподобном, почти сказочном генерале.

Ему ничего не стоило, например, нарушить однажды порядок торжественного парада, который принимал сам командующий Московским военным округом. Несмотря на распоряжение приказа, отводившего место батальону Александровского училища непосредственно позади гренадерского корпуса, он приказал ввести и поставить свой батальон впереди гренадер. А на замечание командующего парадом он ответил с великолепной самоуверенностью:

— Московские гренадеры — украшение русской армии, но согласитесь, ваше превосходительство, с тем, что юнкера Александровского училища — это московская гвардия.

И он настоял на своем. Неизвестно, как сошла ему с рук эта самодурская выходка. Впрочем, вся Москва любила свое училище, а Епишка, говорят, был в милости у государя Александра III.

Рассказывали о таком случае: какой-то пехотный подпоручик, да еще не московского гарнизона, да еще, говорят, не особенно трезвый, придрался на улице к юнкеру-второкурснику якобы за неправильное отдание чести и заставил его несколько раз повторить этот прием. Собралась глазастая московская толпа. Юнкер от стыда, от оскорбления и бешенства сделал чрезвычайно тяжелый дисциплинарный проступок. Заметив проезжавшего легкой рысью лихача на серой лошади, он вскочил в пролетку и крикнул: «Валяй вовсю!» Примчавшись в училище, потрясенный только что случившейся с ним бедою, он прибежал к Самохвалову и рассказал ему подробно все свершившееся с ним. Епишка кричал на него благим матом с полчаса, а потом закатал его в карцер, всей полнотой своей грузной начальнической власти, под усиленный арест. Когда же прибыл в училище обиженный пехотный подпоручик со

своею жалобой, Самохвалов приказал выстроить все училище.

— Юнкер моего училища, — сказал он, — не мог бы совершить такого проступка. Впрочем, сделайте милость, вот вам все мои юнкера. Ищите виновного.

Конечно, подпоручик, растерявшийся под обстрелом четырехсот пар насмешливых и недружелюбных взглядов, не нашел своего обидчика, а юнкер благополучно избег отдачи в солдаты почти накануне производства.

Много других подобных поблажек делал Епишка своим возлюбленным юнкерам. Нередко прибегал к нему юнкер с отчаянной просьбой: по всем отраслям военной науки у него баллы душевного спокойствия, но преподаватель фортификации только и знает, что лепит ему шестерки и даже пятерки... Невзлюбил сироту! И вот в среднем никак не выйдет девяти, и прощай теперь первый разряд, прощай старшинство в чине...

Тогда Епишка неизменно гнал юнкера в карцер, оставлял на две недели без отпуска и назначал на три внеочередных дежурства. А потом вызывал к себе учителя, полковника инженерных войск, и ласково, убедительно, мягко говорил ему:

— Ах, полковник! Я ведь давно позабыл высокое искусство фортификации. Помню как сквозь сон: Вобана, Тотлебена, ну там какие-то барбеты, траверсы, капониры... а вы ведь в этом деле восходящая звезда первой величины. Но согласитесь же, полковник: разве мой юнкер может знать фортификацию меньше, чем на девять, тем более такой отличный юнкер? Краса и гордость училища. Уверяю вас, он будет самым достойным офицером. Но куда же ему в инженеры? Тут необходим талант и такая светлая голова, как у вас. Ну, согласитесь же с тем, что скрепя сердце все-таки можно моему юнкеру натянуть на девятку?

И полковник соглашался.

— Бог с ним, с этим сумбурным Епишкой... Уж лучше с ним не связываться.

Но странно: юнкерам был забавен Самохвалов своей закидливостью и своим фейерверочным темпера-

ментом; ценили его преданность училищу и его гордость своими александровцами. Но в глубине души не любили и не уважали его одну несправедливую черту. Ублажая и распуская юнкеров, он с беспощадной, бурбонской жестокой грубостью обращался с подчиненными ему офицерами. Необыкновенно тяжелы были его взыскания, налагаемые на офицеров, но еще труднее им было переносить, в присутствии юнкеров, его замечания и выговоры, переходящие порой в бесстыдные ругательства, оскорблявшие и их и его честь.

Впрочем, на этой почве его ждало тяжелейшее возмездие. Первым вышел из терпения штабс-капитан Кавалиев, грузин, герой турецкой кампании 1877—1878 годов, георгиевский кавалер, тяжело раненный при взятии Плевны, офицер, глубоко почитаемый юнкерами. После одной из безобразных выходок Самохвалова Квалиев пришел к нему на квартиру и потребовал от него объяснений (говорят, что от лица всех офицеров). В результате этого свидания было то, что Самохвалов оставил училище и был переведен командиром бригады на крайний юг России. Про Квалиева говорили мало и темно. Были вести, что он покончил впоследствии жизнь самоубийством.

Глава VII

ПОД ЗНАМЯ!

На земле, а может быть, почем знать, и в целом мироздании, существует один-единственный непреложный закон:

«Все на свете должно рано или поздно окончиться, и никто и ничто не избежит этого веления».

Через месяц окончилась казавшаяся бесконечной усиленная тренировка фараонов на ловкость, быстроту, красоту и точность военных приемов. Наступил момент, когда строгие глаза учителей нашли прежних необработанных новичков достаточно спелыми для высокого звания юнкера Третьего военного Александровского

училища. Вскоре пронеслась между фараонами летучая волнующая весть: «В эту субботу будем присягать!»

Давно пригнанные парадные мундиры спешно, в последний раз, примерялись в цейхгаузах. За тяжелое время непрестанной гоньбы молодежь как будто выросла и осунулась, но уже сама невольно чувствует, что к ней начинает прививаться та военная прямизна и подтянутость, по которой так нетрудно узнать настоящего солдата даже в вольном платье.

Наступает суббота. В этот день учебные и иные занятия длятся только три часа, только до завтрака. Придя от завтрака в ротные помещения, юнкера находят разостланную служителями по постелям первосрочную, еще пахнущую портняжной мастерской одежду.

— Й-э, ж-живо одеваться! — командует Дрозд. — Й-э, чтобы ни морщинки, ни складочки!

Фельдфебель Рукин строит роту в две шеренги.

— С богом, — командует Дрозд.

Все четыре роты, четыреста человек, неторопливо выливаются на большой внутренний учебный плац и выстраиваются в двухвзводных колоннах: на правом фланге юнкера старшего курса с винтовками; на левом — первокурсники без оружия. Перед строем священники: православный — за аналоем, в золотой ризе; католический — в черной сутане, с четырехугольной шапочкой на голове; лютеранский — в длинном, ниже колен, сюртуке, из воротника которого выступает большой белоснежный галстук; магометанский мулла — в бело-зеленой чалме. У ворот, ведущих в манеж и конюшню, расположился училищный оркестр. Ротные командиры и курсовые офицеры при своих ротах. Посередине и впереди батальонный командир Артабалевский, по юнкерскому прозвищу Берди-Паша, узкоглазый, низко стриженный татарин; его скуластое, плотное лицо, его широкая спина и выпуклая грудь кажутся вылитыми из какого-то упругого огнеупорного материала.

Заметив издали начальника училища, выходящего из своей квартиры, он командует: «Смирно, глаза направо!» Начальник училища, генерал Анчутин, приближается к строю. Он необыкновенно высок, на целую голову выше правофлангового юнкера первой роты, и

веско внушителен, пожалуй даже величественен. Юнкера его зовут «Статуей Командора». И правда, он похож на Каменного гостя, когда изредка, не более пяти-шести раз в год, он проходит медленно и тяжело по училищному квадратному коридору, прямой, как башня, похожий на Николая I, именно на портрет этого императора, что висит в сборном зале: с таким же высоким куполообразным лбом, с таким же суровым и властным выражением лица. С юнкерами он никогда не здоровается вслух. Да у него и нет вовсе голоса, а какое-то слабое сипение.

Под Рущуком, командуя Ростовским гренадерским полком, он был ранен пулей в горло навылет и с тех пор дышит через серебряную трубку. За военные подвиги в Турецкую войну он был пожалован пожизненным ношением мундира Ростовского полка и почетным местом начальника Александровского училища. При его молчаливо-торжественном обходе юнкера поочередно делают ему глубокие придворные поклоны, которым их на уроках танцев беспрестанно учит балетмейстер Большого театра, Петр Алексеевич Ермолов. И в ответ на эти поклоны, строго выдержанные в три темпа, Анчутин только опускает и подымает веки... Впрочем, однажды Александрову довелось услышать хоть и очень краткую, но цельную речь ростовского генерала, которую он не забыл в течение всей своей жизни.

Напрягая все силы испорченных горловых связок, замогильным, шипящим голосом приветствует Анчутин батальон:

— Здравствуйте, юнкера!

Задним совсем не слышен его голос; они следят за движением губ; эта уловка была уже много раз заранее репетирована.

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

Анчутин слегка, едва заметно, кивает головой священникам и делает глазами знак командиру батальона.

Полковник Артабалевский выходит перед серединой батальона. Азиатское лицо его напрягается.

— Под знамя! — командует он резким металлическим голосом и на секунду делает запятую. — Слушааай (небольшая пауза)... На краaa (опять пауза)... — И вдруг, коротко и четко, как удар конского бича — ...ул!

Фараонам нельзя поворачивать голов, но глаза их круто скошены направо, на полубатальон второкурсников. Раз! Два! Три! Три быстрых и ловких дружных приема, звучащих, как три легких всплеска. Двести штыков уперлись прямо в небо; сверкнув серебряными остриями, замерли в совершенной неподвижности, и в тот же момент великолепный училищный оркестр грянул торжественный, восхищающий души, радостный марш.

Знамя показалось высоко над штыками, на фоне густо-синего октябрьского неба. Золотой орел на вершине древка точно плыл в воздухе, слегка подымаясь и опускаясь в такт шагам невидимого знаменщика.

Знамя остановилось у аналоя. Раздалась команда: «На молитву! Шапки долой!» — И затем послышался негромкий тягучий голос батальонного священника, отца Иванцова-Платонова:

— Сложите два перста... вот таким вот образом, и подымите их вверх. Теперь повторяйте за мною слова торжественной военной присяги.

Юнкера зашевелились и сейчас же опять замерли с пальцами, устремленными в небо.

— Обещаюсь и клянусь, — произнес нараспев священник.

Точно ветер пробежал по рядам: «Обещаюсь, обещаюсь, клянусь, клянусь, клянусь...»

— Всемогущим богом, перед святым его евангелием.

И опять по строю пронесся густой, тихий ропот:

— Перед богом, перед богом...

— В том, что хощу и должен...

Формула присяги, составленная еще Петром Великим, была длинна, точна и строга. От иных ее слов становилось жутко.

«Обещаюсь и клянусь всемогущим богом, перед святым его евангелием, в том, что хощу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссий-

скому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащия права и преимущества, узаконенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять.

Его императорского величества государства и земель его врагов, телом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным над мною начальникам во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать; от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату) надлежит. В чем да поможет мне господь бог всемогущий. В заключение сей клятвы целую слова и крест спасителя моего. Аминь».

Но еще страшнее были те выдержки из регламента, которые вслед за присягою стал вычитывать батальонный адъютант, поручик Лачинов, с волосами светлыми и курчавыми, как у барашка. Тут перечислялись всевозможные виды поступков и преступлений против военной дисциплины, против знамени и присяги. И после каждой строки тяжело падали вниз свинцовые слова:

— Смертная казнь... Смертная казнь!

Впечатлительный Александров успел уже раз десять вообразить себя приговоренным к смерти, и волосы

у него на голове порою холодели и делались жесткими, как у ежа. Зато очень утешили и взбодрили его дух отрывки из статута ордена св. Георгия-победоносца, возглашенные тем же Лачиновым. Слушая их ушами и героическим сердцем, Александров брал в воображении редуты, заклепывал пушки, отнимал вражеские знамена, брал в плен генералов...

Затем юнкера целовали поочередно крест и евангелие и возвращались на свои места.

— На-кройсь! — скомандовал Берди-Паша. — Под знамя, слушай, на кра-ул!

Знамя было унесено. Церемония присяги кончилась. Юнкера строем разошлись по ротным помещениям.

Стоя перед двумя шеренгами первокурсников, Дрозд говорит, слегка покачиваясь взад и вперед на носках:

— Ну-э-вот. Вы теперь настоящие юнкера. Поздравляю вас.

— Рады стараться, ваше высокоблагородие!

— Но все-таки вы-э-не забывайте, что настоящее ваше звание — солдаты. Солдат есть имя высокое и знаменитое. Первейший генерал, последний рядовой — то есть солдат. И потому помните, что за особо важный против дисциплины поступок каждый из вас может быть прямо из училища отправлен вовсе не домой к папе, маме, дяде и тете, а рядовым в пехотный полк... Надеюсь, в моей роте этого никогда не случится, как, впрочем, и во всем училище почти никогда не случалось... Но помните: за лень, невнимание, разнузданность, расхлябанность и особенно за ложь буду гнать и греть без всякой пощады. И за унылый вид — тоже. А теперь, кто хочет, могут идти в отпуск. Явиться завтра дежурному офицеру не позднее восьми часов вечера. За каждую минуту опоздания — одно лишнее дневальство. На улице держать себя молодцами и кавалерами. Отныне вы — под знаменем! Разойтись.

Как странно, как легко и как чудесно ново чувствовал себя Александров, очутившись на Знаменской улице, на людной и все-таки очень широкой Арбатской площади и, наконец, на Поварской с ее двухэтажными

прекрасными аристократическими особняками! Натренированные ноги, делая большие и уверенные шаги, точно не касались тротуара. Веселило чувство красивого, ловко пригнанного, туго обтянутого мундира. Свежие тесные белые перчатки радовали руки и зрение. «Кому первому придется отдать честь?»— задумал Александров, и тотчас же из узкого переулка навстречу ему вышел артиллерийский поручик. Александров тотчас же быстро приложил руку к бескозырке. Но артиллерист, мило улыбнувшись, принял честь и сказал:

— Опустите руку, господин юнкер. Ну, что? Я ошибаюсь или нет? Вы сегодня принимали присягу? Правда?

— Так точно, господин поручик. Как вы могли узнать?

— Ах, очень просто. По выражению лица. Я как увидел вас, так и сделал себе такое же лицо, и сразу подумал: вот такое выражение было у меня после присяги. И даже в том же милом Александровском училище. Ну, желаю вам всего хорошего. С богом!

Они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. «Какой, однако, душка этот маленький артиллерист», — с умилением подумал Александров.

Потом он сделал подряд две грубые ошибки. Стал — и даже очень красиво стал — во фронт двум генералам: но один оказался отставным, а другой интендантским. Первый раза три или четыре торопливо ответил юнкеру отданием чести, а второй сказал ему густым приветливым басом: «Очень рад, молодой человек, очень, очень рад вас увидеть и с вами познакомиться».

Прошел месяц. Александровское училище давало в декабре свой ежегодный блестящий бал, попасть на который считалось во всей Москве большим почетом. Александров послал Синельниковым три билета (больше не выдавалось). В вечер бала он сильно

волновался. У юнкеров было взаимное соревнование: чьи дамы будут красивее и лучше одеты.

Огромный сборный зал, свободно вмещавший четыреста юнкеров, был обращен в цветник, в тропический сад. Ротные курилки и умывалки обратились в изящные дамские уборные, знаменитый оркестр Крейнбринга уже настраивал под сурдинку инструменты.

Уже в двадцатый раз Александров перевешивался через массивные дубовые перила, заглядывая вниз в прихожую, застланную красным сукном, отыскивая своих дам, чтобы успеть помочь им раздеться. И вот наконец-то они. Пулею слетает Александров вниз. Но их только двое — Оля и Люба в сопровождении Петра Ивановича Боброва, какого-то молодого юриста, который живет у Синельниковых под видом дяди и почти никогда не показывается гостям. Он во фраке.

На обеих девочках вязаные пышные капоры: на Оле голубой, на Любе розовый. Эти капоры новинка. Их только в нынешнем году начали носить в Москве, и они так же очаровательно идут к юным женским лицам, разрумяненным морозом, как шли когда-то шляпки глубокой кибиточкой, завязанные широкими лентами. Пахнет от девочек вкусно — арбузом, морозом, духами иланг-иланг, и мехом шубок, и свежим дыханием. Они поправляются перед огромным зеркалом и идут за Александровым наверх.

— А что же Юлия Николаевна? — спрашивает юнкер.

— Она очень жалеет, что не может быть у вас на балу. Она сегодня очень занята. Она поздравляет вас с праздником и велела передать вам вот этот сверток. Там подарок вам на память. Возьмите.

Александров провожает дам в обширный зал. Оркестр нежно, вкрадчиво, заманчиво играет штраусовский вальс. Дамы Александрова производят сразу блистательное впечатление.

Юнкера, как пчелы, облепляют их.

У Александрова остается свободная минутка, чтобы побежать в свою роту, к своему шкафчику. Там он развертывает белую бумагу, в которую заворочена небольшая картонка. А в картонке на ватной по-

стельке лежит фарфоровая голубоглазая куколка. Он ищет письмо. Нет, одна кукла. Больше ничего.

Он возвращается в зал. Ольга свободна. Он приглашает ее на вальс. Гибко, положив нагую руку на его плечо и слегка грациозно склонив голову, она отдается волшебному ритму вальса, легко кружась в нем. Глаза их на мгновенье встречаются. В глазах ее томное упоение.

— Теперь я скажу вам о вашей Юлии, — шепчет она горячим и ароматным дыханием. — У нас сегодня помолвка. Юлия выходит замуж за Покорни.

И сам Александров удивляется своему спокойствию, с которым он встречает эту черную весть. Он таким же горячим шепотком говорит:

— Дай ей бог счастья. Но мне это все равно. Я давно уже и до смерти люблю вас, Оля.

И она отвечает, поправляя свои разбежавшиеся кудряшки:

— Ах! Если бы я могла этому верить!

И задорно смеется.

Глава VIII

ТОРЖЕСТВО

Прошло около двух месяцев со вступления Александрова в белые стены училища. Хотя он еще долгое время, как юнкер младшего класса, будет носить общее прозвище «фараон» (старший курс — это господа обер-офицеры), но из него уже вырабатывается настоящий юнкер-александровец. Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть, и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва, — Москва, которая так пристрастно и ревниво любит все свое, в пику чиновному и холодному Петербургу: своих лихачей, протодиаконов, певцов, актеров, кулачных бойцов, купцов, профессоров, певчих, поваров, архиереев и, конечно, своих

стройных, молодых, всегда прекрасно одетых, вежливых юнкеров со Знаменки, с их чудесным, несравненным оркестром.

Живется юнкерам весело и свободно. Учиться совсем не так трудно. Профессора — самые лучшие, какие только есть в Москве. Искусство строевой службы доведено до блестящего совершенства, но оно не утомляет: оно граничит со спортивным соревнованием. Правда, его однообразие чуть-чуть прискучивает, но домашние парады с музыкой в огромном манеже на Моховой вносят и сюда некоторое разнообразие. А кроме того, строевое старание поддерживается далекой, сладкой, сказочной мечтою о царском смотре или царском параде. Каждому юнкеру втайне кажется несправедливостью судьбы, что государь живет не в Москве, а в Питере. Но об этом не говорят.

В октябре 1888 года по Москве разнесся слух о крушении царского поезда около станции Борки. Говорили смутно о злостном покушении. Москва волновалась. Потом из газет стало известно, что катастрофа чудом обошлась без жертв. Повсюду служились молебны, и на всех углах ругали вслух инженеров с подрядчиками. Наконец пришли вести, что Москва ждет в гости царя и царскую семью: они приедут поклониться древним русским святыням.

Все эти слухи и вести проникают в училище. Юнкера сами не знают, чему верить и чему не верить. Как-то нелепо странна, как-то уродливо неправдоподобна мысль, что государю, вершинной, единственной точке той великой пирамиды, которая зовется Россией, может угрожать опасность и даже самая смерть от случайного крушения поезда. Значит, выходит, что и все существование такой необъятно большой, такой неизмеримо могучей России может зависеть от одного развинтившегося дорожного болта.

Утром, после переклички, фельдфебель Рукин читает приказ: «По велению государя императора встречающие его части Московского гарнизона должны быть выведены без оружия. По распоряжению коменданта

г. Москвы войска выстроятся шпалерами в две шеренги от Курского вокзала до Кремля. Александровское военное училище займет свое место в Кремле от Золотой решетки до Красного крыльца. По распоряжению начальника училища батальон выйдет из помещения в 11 час.».

Ровно в полдень в центре Кремля, вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого толстым красным сукном, выстраиваются четыре роты юнкеров Третьего военного Александровского училища. Четыреста юношей в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Юнкер четвертой роты Алексей Александров стоит в первой шеренге. Царь пройдет мимо него в трех-четырех шагах, ясно видимый, почти осязаемый. Воображению Александрова «царь» рисуется золотым, в готической короне, «государь» — ярко-синим с серебром, «император» — черным с золотом, а на голове шлем с белым султаном.

Ждут долго. Вывели за два часа, по необычайному случаю. Еще в училище свои портупей-юнкера и ротные офицеры осматривали каждого с заботливостью матери, отправляющей шестнадцатилетнюю дочь на первый бал. Теперь в Кремле нет-нет подойдет курсовой офицер, одернет складку шинели, поправит поясную медную бляху с изображением пылающей гранаты, надвинет еще круче на правый глаз круглую барашковую шапку с начищенным двуглавым орлом. Государь, конечно, все заметит своим сверхчеловеческим взором: и недотянутый конец башлыка, и неровно надетую шапку, и вздувшуюся складку. Заметит, но никому не скажет, только огорчится на александровцев. Сияет над Кремлем голубое холодное небо. Золото солнца расплескалось на соборных куполах, высоко кружатся голуби. Осенний запах.

Ожидание не томит. Все радостно и легко возбуждены. Давно знакомые молодые лица кажутся совсем новыми; такими они стали свежими, ясными и значительными, разрумянившись и похорошев в крепком осеннем воздухе.

В голове как шампанское. Скользит смутно одна опасливая мысль: так необыкновенно, так нетерпеливо

волнуют эти счастливые минуты, что, кажется, вдруг перегоришь в ожидании, вдруг не хватит чего-то у тебя для самого главного, самого большого.

И вот какое-то внезапное беспокойство, какая-то быстрая тревога пробегает по расстроенным рядам. Юнкера сами выпрямляются и подтягиваются без команды. Ухо слышит, что откуда-то справа далеко-далеко раздается и нарастает особый, до сих пор неразличимый шум, подобный гулу леса под ветром или прибою невидимого моря.

Командуют «смирно». Выравнивают. Опять «смирно». Потом на минутку «вольно». Опять «смирно». Позволяют размять ноги, не передвигая ступней. Так без конца. Так бывает всегда на парадах. Но на этот раз из юнкеров никто не обижается.

Какими словами мог бы передать юнкер Александров это медленно наплывающее чудо, которое должно вскоре разрешиться бурным восторгом, это страстное напряжение души, растущее вместе с приближающимся ревом толпы и звоном колоколов. Вся Москва кричит и звонит от радости. Вся огромная, многолюдная, крепкая старая царева Москва. Звонит и Благовещенский, и Успенский соборы, и Спас за решеткой, и, кажется, загремел сам Царь-Колокол и загрохотала сама Царь-Пушка!

А когда в этот ликующий звуковой ураган вплетают свои веселые медные звуки полковые оркестры, то кажется, что слух уже пресыщен, — что он не вместит больше.

Но вот заиграл на правом фланге и их знаменитый училищный оркестр, первый в Москве. В ту же минуту в растворенных настежь сквозных золотых воротах, высясь над толпою, показывается царь. Он в светлом офицерском пальто, на голове круглая низкая барашковая шапка. Он величествен. Он заслоняет собою все окружающее. Он весь до такой степени исполнен нечеловеческой мощи, что Александров чувствует, как гнется под его шагами массивный дуб помоста.

Царь все ближе к Александрову. Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему

телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Видит его глаза, прямо и ласково устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой поток, льется из его глаз.

Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой, собралась и получила непоколебимое, единственное, железное утверждение. И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига.

Около государя идет наследник. Александров знает, что наследник на целый год старше его, но рядом с отцом цесаревич кажется худеньким стройным мальчиком. Это сопоставление великолепного тяжкого мужского могущества с отроческой гибкой слабостью на мгновение пронизывает сердце юнкера теплой, чуть-чуть жалостливой нежностью.

Теперь он не упускает из вида спины государя, но острый взгляд в то же время щелкает своим верным фотографическим аппаратом. Вот царица. Она вовсе маленькая, но какая изящная. Она быстро кланяется головой в обе стороны, ее темные глаза влажны, но на губах легкая милая улыбка.

Видит он еще двух великих княжен. Одна постарше, другая почти девочка. Обе в чем-то светлом. У обеих из-под шляпок падают до бровей обрезанные прямой челочкой волосы. Младшая смеется, блестит глазами и зажимает уши: оглушительно кричат юнкера славного Александровского училища.

Но вот и проходит волшебное сновидение. Как чересчур быстро! У всех юнкеров бурное напряжение

сменяется тихой счастливой усталостью. Души и тела приятно распускаются. Идут домой под звуки резвого, бодрого марша. Кто-то говорит в рядах:

— Государь все время на меня глядел, когда проходил мимо. Я думаю, целых полминуты.

Другой отзывается:

— А на меня, пожалуй, целую минуту.

Александров же думает про себя: «Говорите, что хотите, а на меня царь глядел не отрываясь целых две с половиной минуты. И маленькая княжна взглянула смеясь. Какая она прелесть!»

Во дворе училища командир батальона, полковник Артабалевский, он же Берди-Паша, задерживает на самое короткое время юнкеров в строю.

— Конечно, великое счастье узреть его императорское величество государя императора, всероссийского монарха. Однако никак нельзя высовывать вперед головы и разрознивать этим равнение... Государь пожаловал нам два дня отдыха. Ура его императорскому величеству!

Глава IX

СВОЙ ДОМ

Проходят дни, проходят недели... Юнкер четвертой роты, первого курса Третьего военного Александровского училища Александров понемногу, незаметно для самого себя, втягивается в повседневную казарменную жизнь, с ее точным размеренным укладом, с ее внутренними законами, традициями и обычаями, с привычными, давнишними шутками, песнями и проказами. Недавняя торжественная присяга как бы стерла с молодых фараонов последние следы ребяческого, полуштатского кадетства, а парад в Кремле у Красного крыльца объединил всех юнкеров в духе самоуверенности, военной гордости, радостной жертвенности, и уже для него училище делалось «своим домом», и с каждым днем он находил в нем новые, маленькие прелести. Разрешалось курить в свободное время между занятиями. Для этого в каждой роте полагалась отдельная курилка: призна-

ние юнкерской взрослости. После обеда можно было посылать служителя за пирожными в соседнюю булочную Савостьянова. Из отпуска нужно было приходить секунда в секунду, в восемь с половиной часов, но стоило заявить о том, что пойдешь в театр, — отпуск продолжается до полуночи. По большим праздникам юнкеров, оставшихся в училище, часто возили в цирк, в театр и на балы. Отношения с начальством утверждались на правдивости и широком взаимном доверии. Любимчиков не было, да их и не потерпели бы. Случались офицеры слишком строгие, придирчивые трынчики, слишком скорые на большие взыскания. Их терпели как божью кару и травили в ядовитых песнях. Но никогда ни один начальник не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут щетинилось все училище.

Помещение училища (бывшего дворца богатого вельможи) было, пожалуй, тесновато для четырехсот юнкеров в возрасте от восемнадцати до двадцати лет и для всех их потребностей. В середине полутораэтажного здания училища находился большой, крепко утрамбованный четырехугольный учебный плац. Со всех сторон на него выходили высокие крылья четырех ротных помещений. Впоследствии Александрова часто удивляла и даже порою казалась невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между третьей и четвертой ротами вмещался обширный сборный зал, легко принимавший в себя весь наличный состав училища, между первой и второй ротами — восемь аудиторий, где читались лекции, и четыре больших комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще: домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический и фехтовальный залы.

В нижнем полуэтаже жил офицерский состав: холостые с денщиками, женатые с семьями и прислугой, четверо ротных командиров, инспектор классов, батальонный командир, начальник училища, батальонный адъютант, священник с причтом, доктор с фельдшерами. Была, конечно, и многолюдная канцелярия. Но никто не знал, где она находится. Также неизвестно было

юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь: все эти прачки, полотеры, музыканты, ламповщики, служители, портные, дворники, швейцары, истопники и повара. Вследствие такого обилия людей всюду чувствовалась некоторая сжатость. Учить лекции и делать чертежи приходилось в спальне, сидя боком на кровати и опираясь локтями на ясеневый шкафчик, где лежала обувь и туалетные принадлежности. По ночам тяжеловато было дышать, и приходилось открывать форточки на улицу. Но — пустяки! Все переносила весело крепкая молодежь, и лазарет всегда пустовал, разве изредка — ушиб или вытяжение жилы на гимнастике, или, еще реже, такая болезнь, о которой почему-то не принято говорить.

Как всегда во всех тесных общежитиях, так и у юнкеров не переводился — большей частью невинный, но порою и жестокий — обычай давать летучие прозвища начальству и соседям. К этой языкатой травле очень скоро и приучился Александров.

Первая рота, которая нарочно подбиралась из молодежи высокого роста и выдающейся стройности, носила официальное название роты его императорского величества и в отличие от других имела серебряный вензель на мундирных погонах. Упрощенный ее титул был: жеребцы его величества.

Ею командовал капитан Алкалаев-Калагеоргий, но юнкера как будто и знать не хотели этого старого боевого громкого имени. Для них он был только Хухрик, а немного презрительнее — Хухра.

Никто изо всех юнкеров училища не сумел бы объяснить, что означает это загадочное слово — Хухрик: маленького ехидного зверька, или мех, или какое-то колючее растение, или злотворный настой, или особую болезнь вроде чирия. Однако с этим прозвищем была связана маленькая легенда. Однажды батальон Александровского училища на пробном маневре совершал очень длинный и тяжелый переход. Юнкера со скатанными шинелями и с ранцами с полной выкладкой, шанцевым инструментом и частями разборных палаток чуть не падали от зноя, усталости и жажды. Запотелые их лица, густо покрытые черноземной мягкой пылью,

были черны, как у негров, и так же, как у негров, блестели на них покрасневшие глаза и сверкали белые крепкие зубы.

Наконец-то долгожданный привал. «Стой. Составь ружья. Оправиться!» — раздается в голове колонны команда и передается из роты в роту. Богатая подмосковная деревня. Зелень садов и огородов, освежающая близость воды. Крестьянские бабы и девушки высыпают на улицу и смеются. Охотно таскают воду из холодного колодца, дают юнкерам вволю напиться; льют и плескают воду им на руки, обмыть горячие лица и грязные физиономии. Притащили яблок, слив, огурцов, сладкого гороха, суют в руки и карманы. Веселый смех, непринужденные шутки и прикосновения. Всегдашняя извечная сказочная симпатия к солдату и жалость к трудности его подневольной службы.

— И как это вы, бедные солдатики, страдаете? Жарища-то, смотри, кака адова, а вы в своей кислой шерсти, и ружья у вас каки тяжеленные. Нам не вподъем. На-ко, на-ко, солдатик, возьми еще яблочко, полегче станет.

Конечно, эта ласка и «жаль» относилась большей частью к юнкерам первой роты, которые оказывались и ростом поприметнее и наружностью покраше. Но командир ее Алкалаев почему-то вознегодовал и вскипел. Неизвестно, что нашел он предосудительного в свободном ласковом обращении веселых юнкеров и развязных крестьянок на открытом воздухе, под пылающим небом: нарушением ли какого-нибудь параграфа военного устава, или порчу моральных устоев? Но он защетинился и забубнил.

— Сейчас же по местам, юнкера. К винтовкам. Стоять вольно-а, рядов не разравнивать!

— Таратов, чему вы смеетесь? Лишнее дневальство! Фельдфебель, запишите!

Потом он накинулся было на ошалевших крестьянок.

— Чего вы тут столпились? Чего не видали? Это вам не балаган. Идите по своим делам, а в чужие дела нечего вам соваться. Ну, живо, кыш-кыш-кыш!

Но тут сразу взъерепенилась крепкая, красивая, румяная сквозь веснушки, языкатая бабенка:

— А тебе что нужно? Ты нам что за генерал? Тоже кышкает на нас, как на кур! Ишь ты, хухрик несчастный! — И пошла, и пошла... до тех пор, пока Алкалаев не обратился в позорное бегство. Но все-таки метче и ловче словечка, чем хухрик, она в своем обширном словаре не нашла. Может быть, она вдохновенно родила его тут же на месте столкновения?

«И в самом деле, — думал иногда Александров, глядя на случайно проходившего Калагеоргия. — Почему этому человеку, худому и длинному, со впадинами на щеках и на висках, с пергаментным цветом кожи и с навсегда унылым видом, не пристало бы так клейко никакое другое прозвище? Или это свойство народного языка, мгновенно изобретать такие ладные словечки?»

Курсовыми офицерами в первой роте служили Добронравов и Рославлев, поручики. Первый почему-то казался Александрову похожим на Добролюбова, которого он когда-то пробовал читать (как писателя запрещенного), но от скуки не дотянул и до четверти книги. Рославлев же был увековечен в прощальной юнкерской песне, являвшейся плодом коллективного юнкерского творчества, таким четверостишием:

Прощай, Володька, черт с тобою,
Развратник, пьяница, игрок.
Недаром дан самой судьбою
Тебе хронический порок.

Этот Володька был велик ростом и дороден. Портили его массивную фигуру ноги, расходившиеся в коленях наружу, иксом. Рассказывали про него, что однажды он, на пьяное пари, остановил ечкинскую тройку на ходу, голыми руками. Он был добр и не придирчив, но симпатиями у юнкеров не пользовался. Из ложного молодчества и чтобы подольститься к молодежи, он часто употреблял грязные, похабные выражения, а этого юнкера в частном обиходе не терпели, допуская непечатные слова в прощальную песню, называвшуюся также звериадой. Надо сказать, что это заглавие было плагиатом. Оно какими-то неведомыми путями дока-

тилось в белый дом на Знаменке из Николаевского кавалерийского училища, где существовало со времен лермонтовского юнкерства.

Московская звериада вдохновлялась музою хромой и неизобретательной, домашняя же ее поэзия была суковатая...

Володька Рославлев прервал свою начальственно-педагогическую деятельность перед Японской войною, поступив в московскую полицию.

Вторую роту звали зверями. В нее как будто специально поступали юноши крепко и широко сложенные, также рыжие и с некоторою корявостью. Большинство носило усики, усы и даже усищи. Была и молодежь с короткими бородами (времена были Александра Третьего).

Отличалась она серьезностью, малой способностью к шутке и какой-то (казалось Александрову) нелюдимостью. Но зато ее юнкера были отличные фронтовики, на парадах и батальонных учениях держали шаг твердый и тяжелый, от которого сотрясалась земля. Командовал ею капитан Клоченко, ничем не замечательный, аккуратный службист, большой, морковно-рыжий и молчаливый. Звериада ничего не могла про него выдумать острого, кроме следующей грубой и мутной строфы:

Прощай, Клоченко, рыжий пес,
С своею рожею ехидной.
Умом до нас ты не дорос,
Хотя мужчина очень видный.

Почему здесь состязание в умах — непонятно. А ехидности в наружности Клоченки никакой не наблюдалось. Простое, широкое, голубоглазое (как часто у рыжих) лицо примерного армейского штаб-офицера, с привычной служебной скукой и со спокойной холодной готовностью к исполнению приказаний.

Курсовым офицером служил капитан Страдовский, по-юнкерски — Страделло, прибывший в училище из императорских стрелков. Был он всегда добр и ласково-весел, но говорил немного. Напуск на шароварах доходил у него до сапожных носков.

Был он мал ростом, но во всем Московском военном округе не находилось ни одного офицера, который мог бы состязаться со Страдовским в стрельбе из винтовки. К тому же он рубился на эспадронах, как сам пан Володыевский из романа «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича, и даже его малорослость не мешала ему побеждать противников.

Уже одного из этих богатых даров достаточно было бы, чтобы приобрести молчаливую любовь всего училища.

Третья рота была знаменная. При ней числилось батальонное знамя. На смотрах, парадах, встречах, крещенском водосвятии и в других торжественных случаях оно находилось при третьей роте. Обыкновенно же оно хранилось на квартире начальника училища.

Знаменная рота всегда на виду, и на нее во время торжеств устремляются зоркие глаза высшего начальства. Потому-то она и составлялась (особенно передняя шеренга) из юношей с наиболее красивыми и привлекательными лицами. Красивейший же из этих избранных красавцев, и непременно портупей-юнкер, имел высочайшую честь носить знамя и называться знаменщиком. В том году, когда Александров поступил в училище, знаменщиком был Кениг, его однокорпусник, старше его на год.

В домашнем будничном обиходе третья рота называлась «мазочки» или «девочки». Ею уже давно командовал капитан Ходнев, неизвестно когда, кем и почему прозванный Варварой, — смуглый, черноволосый, осанистый офицер, никогда не смеявшийся, даже не улыбнувшийся ни разу; машина из стали, заведенная однажды на всю жизнь, человек без чувств, с одним только долгом. Говорил он четким, приятного тембра баритоном и заметно в нос. Ни разу никто не видел его сердитым, и ни разу он не повысил голоса. Передавал ли он, по обязанности, похвалу юнкеру, или наказывал его — все равно, тон Варвары звучал одинаково точно и бесстрастно. Его не то чтобы боялись, но никому и в голову не приходило ослушаться его одного стального, магнетического взора. Таких вот людей умел живопи-

сать краткими резкими штрихами покойный Виктор Гюго. И юнкера в своей звериаде, по невольному чутью, сдержали обычную словоохотливость.

Прощай, Варвара-командир,
Учитель правил и сноровок,
Теперь надели мы мундир,
Не надо нам твоих муштровок.

Из курсовых офицеров третьей роты поручик Темирязев, красивый, стройный светский человек, был любимцем роты и всего училища и лучше всех юнкеров фехтовал на рапирах. Впрочем, и с самим волшебником эскрима, великим Пуарэ, он нередко кончал бой с равными количествами очков.

Но другой курсовой представлял собою какое-то печальное, смешное, вздорное и случайное недоразумение. Он был поразительно мал ростом, гораздо меньше самого левофлангового юнкера четвертой роты, и притом коротконог. В довершение он был толст, и шея у него сливалась с подбородком. Благодаря тесному мундиру лицо его имело багрово-красный цвет. Фамилия его была хорошая и очень известная в Москве — Дубышкин. Но вот он и остался навеки Пупом, и даже в звериаде о нем не было упомянуто ни слова. С него достаточно было одного прозвища — Пуп.

Пуп не был злым, а скорее мелким по существу. Но был он необычайно, непомерно для своего ничтожного роста вспыльчив и честолюбив. Говоря с начальством или сердясь на юнкеров, он совсем становился похожим на индюка: так же он надувался, краснел до лилового цвета, шипел и, теряя волю над словом, болботал путаную ерунду. В те дни, когда Александров учился на первом курсе, у всех старых юнкеров пошла повальная мода пускать Пупу ракету. Кто-нибудь выдумывал смешную глупость, например: «Когда я был маленьким, я спал в папашиной галоше», или: «Ваше превосходительство, юнкер Пистолетов носом застрелился», или еще: «Решительно все равно: что призма и что клизма — это все из одной мифологии» и т. д. Этот вздор автор громко выкрикивал, подражая индюшечьему голосу Дубышкина, и тотчас же принимался со всей

силой легких выдувать сплошной шипящий звук. Полагалось, что это взлетела ракета, а чтобы ее лёт казался еще правдоподобнее, пиротехник тряс перед губами ладонью, заставляя звук вибрировать. Наконец, достигнув предельной высоты, ракета громко взрывалась: «Пуп!»

Надо сказать, что этот злой фейерверк пускался всегда с таким расчетом, чтобы Пуп его услышал. Он слышал, злился, портил себе кровь и характер, и в сущности нельзя было понять, за что взрослые балбесы травят несчастного смешного человека.

Четвертая рота, в которой имел честь служить и учиться Александров, звалась... то есть она называлась... ее прозвание, за малый рост, было грубо по смыслу и оскорбительно для слуха. Ни разу Александров не назвал его никому постороннему, ни даже сестрам и матери. Четвертую роту звали... «блохи». Кличка несправедливая: в самом малорослом юнкере было все-таки не меньше двух аршин с четырьмя вершками.

Но существует во всей живущей, никогда не умирающей мировой природе какой-то удивительный и непостижимый закон, по которому заживают самые глубокие раны, срастаются грубо разрубленные члены, проходят тяжкие инфекционные болезни и, что еще поразительнее, — сами организмы в течение многих лет вырабатывают средства и орудия для борьбы со злейшими своими врагами.

Не по этому ли благодетельному инстинктивному закону четвертая рота Александровского училища с незапамятных времен упорно стремилась перегнать прочие роты во всем, что касалось ловкости, силы, изящества, быстроты, смелости и неутомимости. Ее юнкера всегда бывали первыми в плавании, в верховой езде, в прыганье через препятствия, в беге на большие дистанции, в фехтовании на рапирах и эспадронах, в рискованных упражнениях на кольцах и турниках и в подтягивании всего тела вверх на одной руке. И надо еще сказать, что все они были страстными поклонниками циркового искусства и нередко почти всей ротой встречались в субботу вечером наградене цирка Саломонского, что на Цветном бульваре. Их тянули к себе, восхищали и приводили в энтузиазм те необычайные ак-

робатические трюки, которые на их глазах являлись чудесным преодолением как земной тяжести, так и инертности человеческого тела.

Ближайшее ротное начальство относилось к этому увлечению высшей гимнастикой не с особенным восторгом. Дрозд всегда опасался того, что от злоупотребления ею бывают неизбежные ушибы, поломы, вывихи и растяжения жил. Курсовой офицер Николай Васильевич Новоселов, прозванный за свое исключительное знание всевозможных военных указов, наказов и правил «Уставчиком», ворчал недовольным голосом, созерцая какую-нибудь «чертову мельницу»: «И зачем? И для чего? В наставлении об обучении гимнастике ясно указаны все необходимые упражнения. А военное училище вам не балаган, и привилегированные юнкера — вовсе не клоуны».

Второй курсовой офицер Белов только покачивал укоризненно головой, но ничего не говорил. Впрочем, он всегда был молчалив. Он вывез с Русско-турецкой войны свою жену, болгарку — даму неописуемой, изумительной красоты. Юнкера ее видели очень редко, раза два-три в год, не более, но все поголовно и молча преклонялись перед нею. Оттого и личность ее супруга считалась неприкосновенной, окруженная чарами всеобщего табу.

К толстому безмолвному Белову не прилипло ни одно прозвище, а на красавицу, по общему неписаному и несказанному закону, положено было долго не засматриваться, когда она проходила через плац или по Знаменке. Также запрещалось и говорить о ней.

Рыцарские обычаи.

Глава X

ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ

Конечно, самый главный, самый волнующий визит новоиспеченного юнкера Александрова предназначался в семью Синельниковых, которые давно уже переехали с летней дачи в Москву, на Гороховую улицу, близ

Земляного вала, в двух шагах от крашенного в фисташковый цвет Константиновского межевого института. Давно влюбленное сердце юноши горело и нетерпеливо рвалось к ней, к волоокой богине, к несравненной, единственной, прекрасной Юленьке. Показаться перед нею не жалким мальчиком-кадетом, в неуклюже пригнанном пальто, а стройным, ловким юнкером славного Александровского училища, взрослым молодым человеком, только что присягнувшим под батальонным знаменем на верность вере, царю и отечеству,— вот была его сладкая, тревожная и боязливая мечта, овладевавшая им каждую ночь перед падением в сон, в те краткие мгновенья, когда так рельефно встает и видится недавнее прошлое...

Белые замшевые тугие перчатки на руках; барашковая шапка с золотым орлом лихо надвинута на правую бровь; лакированные блестящие сапоги; холодное оружие на левом боку; отлично сшитый мундир, ладно, крепко и весело облегающий весь корпус; белые погоны с красным витым вензелем А II; золотые широкие галуны; а главное — инстинктивное сознание своей восемнадцатилетней счастливой ловкости и легкости и той самоуверенной жизнерадостности, перед которой послушно развертывается весь мир, — разве все эти победоносные данные не тронут, не смягчат сердце суровой и холодной красавицы?.. И все-таки он с невольной ребяческой робостью отдалял и отдалял день и час свидания с нею.

Он до сих пор не мог ни понять, ни забыть спокойных деловых слов Юленьки в момент расставания, там, в Химках, в канареечном уголку между шкафом и пианино, где они так часто и так подолгу целовались и откуда выходили потом с красными пятнами на лицах, с блестящими глазами, с порывистым дыханием, с кружащейся головой и с растрепанными волосами.

Прощаясь, она отвела его руку и сказала голосом наставницы:

— Забудем эти глупые шалости летнего сезона. Теперь мы обое стали большими и серьезными.

И, протягивая ему руку, она сказала:

— Останемся же добрыми друзьями.

Но почему же этот жестокий, оскорбительный удар был так непредвиденно внезапен? Еще три дня назад, вечером, они сидели в густой пахучей березовой роще, и она сказала тихо:

— Тебе так неудобно. Положи голову мне на колени.

Ах, никогда в жизни он не позабудет, как его щека ощутила шершавое прикосновение тонкого и теплого молдаванского полотна и под ним мраморную гладкость крепкого женского бедра. Он стал целовать сквозь материю эту мощную и нежную ногу, а Юлия, точно в испуге, горячо и быстро шептала:

— Нет... Так не надо... Так нельзя.

И в это время гладила ему волосы и прижимала его *губы* к своему телу.

А разве может когда-нибудь изгладиться из памяти Александрова, как иногда, во время бешено крутящегося вальса, Юлия, томно закрывши глаза, вся приникала вплотную к нему, и он чувствовал через влажную рубашку живое, упругое прикосновение ее крепкой девической груди и легкое щекотание ее маленького твердого соска... О, волшебная власть воспоминаний! А теперь Юлия говорит, точно старая дева, точно классная учительница: «Ах, будемте друзьями». В знойный день человек изнывает от жары и жажды. Губы, рот и гортань у него засохли. А ему вдруг вместо воды дают совет: положи камешек в рот, это обманывает жажду.

Но почему же это отчуждение и этот спокойный холод? Это благоразумие из прописи? Может быть, он надоел ей? Может быть, она влюбилась в другого? Может быть, и в самом деле Александров был для нее только дразнящей летней игрушкой, тем, что теперь начинает называться странным чужим словом — флирт? И, вероятно, никогда бы она не согласилась выйти замуж за пехотного офицера, у которого, кроме жалованья — сорок три рубля в месяц, — нет больше решительно никаких доходов. Правда, она прогнала от себя долговязого, быстроногого Покорни, но мало ли еще в Москве богатых женихов, и вот, в ожидании одного из них, она решила сразу прекратить полуневинную, полудетскую забаву.

Но может быть и то, что мать трех сестер Синельниковых, Анна Романовна, очень полная, очень высокая и до сих пор еще очень красивая дама, узнала как-нибудь об этих воровских поцелуйчиках и задала Юленьке хорошую нахлобучку? Недаром же она в последние химкинские дни была как будто суха с Александровым: или это только теперь ему кажется?

Конечно, всего скорее могла донести матери младшая дочка, четырнадцатилетняя лупоглазая Любочка, большая егоза и ябедница, шантажистка и вымогательница. Зоркие ее глаза видели сквозь стены, а с ней, как с «маленькой», мало стеснялись. Когда старшие сестры не брали ее с собой на прогулку, когда ей необходимо было выпросить у них ленточку, она, устав клянчить, всегда прибегала к самому ядовитому приему: многозначительно кивала головой, загадочно чмокала языком и говорила протяжно:

— Хо-ро-шо же. А я маме скажу.

— Что ты скажешь, дура? Никто тебе не поверит. Мы сами скажем, что ты с гимназистом Чулковым целовалась в курятнике.

— И никто вам не поверит, потому что я маленькая, а мне все поверят, потому что устами младенцев сама истина глаголет... Что, взяли?

В конце концов она добивалась своего: получала пятачок и ленту и, скучая, тащилась за сестрами по пыльной дороге.

Вот эта-то стрекоза и могла наболтать о том, что было, и о том, чего не было. Но какой стыд, какой позор для Александрова! Воспользоваться дружбой и гостеприимством милой, хорошей семьи, уважаемой всей Москвой, и внести в нее потаенный разврат... Нет, уж теперь к Синельниковым нельзя и глаз показать и даже квартиру их на Гороховой надо обегать большим крюком, подобно неудачливому вору.

И как же удивлен, потрясен и обрадован был юнкер Александров, когда в конце октября он получил от самой Анны Романовны письмецо такого крошечного размера, который заставил невольно вспомнить о ее рыхлом тучном теле.

«Дорогой Алексей Николаевич (не решаюсь назвать Алешей юнкера Александровского училища, где, кстати, имел счастие учиться покойный муж). Что вы забыли ваших старых друзей? Приходите в любую субботу, и лучше всего в ближнюю. Мы живем по-прежнему на Гороховой. Девочки мои по вас соскучились. Можете привести с собой двух, трех товарищей; чем больше, тем лучше. Потанцуете, попоете, поиграете в разные игры... Ждем. Ваша А. С.

P. S. К 7-ми — 7-ми с пол. час...»

Не без труда удалось Александрову получить согласие у двух товарищей: каждый юнкер дорожил семейным субботним обедом и домашним вечером. Согласились только: его отделенный начальник, второкурсник Андриевич, сын мирового судьи на Арбате, в семье которого Александров бывал не раз, и новый друг его Венсан, полуфранцуз, но по внешности и особенно по горбатому храброму носу — настоящий бордосец; он прибыл в училище из третьего кадетского корпуса и стоял в четвертой роте правофланговым. Ходил он в отпуск к мачехе, которую терпеть не мог.

В субботу юнкера сошлись на Покровке, у той церкви с короною на куполе, где венчалась императрица Елизавета с Разумовским. Оттуда до Гороховой было рукой подать.

Александров начал неловко чувствовать себя, чем-то вроде антрепренера или хлопотливого дальнего родственника. Но потом эта мнительность стерлась, отошла сама собою. Была какая-то особенная магнетическая прелесть и неизъяснимая атмосфера общей влюбленности в этом маленьком деревянном уютном домике. И все женщины в нем были красивы; даже часто менявшиеся и всегда веселые горничные.

Подавали на стол, к чаю, красное крымское вино, тартинки с маслом и сыром, сладкие сухари. Играл на пианино все тот же маленький, рыжеватый, веселый Панков из консерватории, давно сохнувший по младшей дочке Любе, а когда его не было, то заводили механический музыкальный ящик «Монопан» и плясали под него. В то время не было ни одного дома в Москве,

где бы не танцевали при всяком удобном случае, до полной усталости.

Дом Синельниковых стал часто посещаться юнкерами. Один приводил и представлял своего приятеля, который в свою очередь тащил третьего. К барышням приходили гимназические подруги и какие-то дальние московские кузины, все хорошенькие, страстные танцорки, шумные, задорные пересмешницы, бойкие на язык, с блестящими глазами, хохотушки. Эти субботние непринужденные вечера пользовались большим успехом.

Так, часто в промежутках между танцами играли в petits jeux, в фанты, в свои соседи, в почту, в жмурки, в «барыня прислала», в «здравствуйте, король» и в прочие.

Величественная Анна Романовна почти всегда присутствовала в зале, сидя в большом вольтеровском кресле и грея ноги в густой шерсти умного и кроткого сенбернара Вольфа. Точно с высоты трона, она следила за молодежью с благосклонной поощрительной улыбкой. Ее старшая дочь Юлия была поразительно на нее похожа: и красивым лицом, и большим ростом, и даже будущей склонностью к полноте. Конечно, Александров все еще продолжал уверять себя в том, что он до сих пор влюблен безнадежно в жестокую и что молодое сердце его разбито навсегда.

Но ему уже не удавалось порой обуздывать свою острую и смешливую наблюдательность. Глядя иногда поочередно на свою богиню и на ее мать и сравнивая их, он думал про себя: «А ведь очаровательная Юленька все толстеет и толстеет. К двадцати годам ее уже разнесет, совсем как Анну Романовну. Воображаю, каково будет положение ее мужа, если он захочет ласково обнять ее за талию и привлечь к себе на грудь. А руки-то за спиной никак не могут сойтись. Положение!»

Правда, Александров тут же ловил себя с раскаянием на дурных и грубых мыслях. Но он уже давно знал, какие злые, нелепые, уродливые, бесстыдные, позорные мысли и образы теснятся порою в уме человека против его воли.

Но от прошлого он никак не мог отвязаться. Ведь любила же его Юленька... И вдруг в один миг все рухнуло, все пошло прахом, бедный юнкер остался в одиночестве среди просторной и пустой дороги, протягивая руку, как нищий, за подаянием.

Временами он все-таки дерзал привлечь к себе внимание Юленьки настоятельной услужливостью, горячим пожатием руки в танцах, молящим влюбленным взглядом, но она с обидным спокойствием точно не замечала его; равнодушно отходила от него прочь, прерывала его робкие слова громким разговором с кем-нибудь совсем посторонним.

Однажды, когда играли в почту, он послал ей в Ялту краткую записочку:

«Неужели вы забыли, как я обнимал ваши ноги и целовал ваши колени там, далеко в прекрасной березовой роще?» Она развернула бумажку, вскользь поглядела на нее и, разорвав на множество самых маленьких кусочков, кинула, не глядя, в камин. Но со следующей почтой он получил письмецо из города Ялты в свой город Кинешму. Быстрым мелким четким почерком в нем были написаны две строки:

«А вы забыли ту березовую кашу, которой вас в детстве потчевали за глупость и дерзость?»

Тут с окончательной ясностью понял несчастный юнкер, что его скороспешному любовному роману пришел печальный конец. Он даже не обиделся на прозрачный намек на розги. Поймав случайный взгляд Юленьки, он издали серьезно и покорно склонил голову в знак послушания. А когда гости стали расходиться, он в передней улучил минутку, чтобы подойти к Юленьке и тихо сказать ей:

— Вы правы. Я сам вижу, что надоел вам своим приставанием. Это было бестактно. Лучше уже маленькая дружба, чем большая, но лопнувшая любовь.

— Ну вот и умница, — сказала она и крепко пожала своей прекрасной большой, всегда прохладной рукой руку Александрова.

— И я вам буду настоящим верным другом.

В следующую субботу он пришел к Синельниковым совсем выздоровевшим от первой любви. Он думал:

«А не влюбиться ли мне в Оленьку или в Любочку? Только в какую из двух?»

И в тот же вечер этот господин Сердечкин начал строить куры поочередно обеим барышням, еще не решивши, к чьим ногам положит он свое объемистое сердце. Но эти маленькие девушки, почти девочки, уже умели с чисто женским инстинктом невинно кокетничать и разбираться в любовной вязи. На все пылкие подходы юнкера они отвечали:

— Нет уж, пожалуйста! Все эти ваши комплименты, и рыцарства, и ухаживанья, все это, пожалуйста, обращайте к Юленьке, а не к нам. Слишком много чести!

Глава XI

СВАДЬБА

Приходит день, когда Александров и трое его училищных товарищей получают печатные бристольские карточки с приглашением пожаловать на бракосочетание Юлии Николаевны Синельниковой с господином Покорни, которое последует такого-то числа и во столько-то часов в церкви Константиновского межевого института. Свадьба как раз приходилась на отпускной день, на среду. Юнкера с удовольствием поехали.

Большая Межевая церковь была почти полна. У Синельниковых, по их покойному мужу и отцу, полковнику генерального штаба, занимавшему при генерал-губернаторе Владимире Долгоруком очень важный пост, оказалось в Москве обширное и блестящее знакомство. Обряд венчания происходил очень торжественно: с певчими из капеллы Сахарова, со знаменитым протодиаконом Успенского собора Юстовым и с полным ослепительным освещением, с нарядной публикой.

Под громкое радостное пение хора «Гряди, гряди, голубица от Ливана» Юлия, в белом шелковом платье, с огромным шлейфом, который поддерживали два мальчика, покрытая длинной сквозной фатою, не спе-

ша, величественно прошла к амвону. Ее сопровождал гул восхищения. Своим шафером она выбрала представительного, высокого Венсана, и Александров сам не знал: обижаться ли ему на это предпочтение, или, наоборот, благодарить невесту за ту деликатность, с которой она избавила его от лишних мучений ревности. Только почему же Венсан еще накануне не уведомил о чести, которой удостоился? Надо будет сказать ему, что это — свинство.

Громадный протодиакон с необыкновенно пышными завитыми рыжими волосами трубил нечеловечески густым, могучим и страшным голосом: «Жена же да убоится му-у-ужа...» — и от этих потрясающих звуков дрожали и звенели хрустальные призмочки люстр и чесалась переносица, точно перед чиханьем. Молодых водили в венцах вокруг аналоя с пением «Исаия ликуй: се дева име во чреве»; давали им испить вино из одной чаши, заставили поцеловаться и обменяться кольцами. Много раз священник и протодиакон упомянули о чреве, рождении и обильном многоплодии. Служба шла в быстром, оживленном, веселом темпе.

Александров стоял за колонкой, прислонясь к стене и скрестив руки на груди по-наполеоновски. Он сам себе рисовался пожилым, много пережившим человеком, перенесшим тяжелую трагедию великой любви и ужасной измены. Опустив голову и нахмурив брови, он думал о себе в третьем лице: «Печать невыразимых страданий лежала на бледном челе несчастного юнкера с разбитым сердцем»...

Когда венчание окончилось и приглашенные потянулись поздравить молодых, несчастный юнкер столкнулся с Оленькой и спросил ее:

— А что, Ольга Николаевна, хотели бы вы быть на месте Юленьки?

Она заиграла лукавыми, темными глазами.

— Ну уж, благодарю вас. Покорни вовсе не герой моего романа.

— Ах, я не то хотел сказать, — поправился Александров. — Но венчание было так великолепно, что любая барышня позавидовала бы Юленьке.

— Только не я, — и она гордо вздернула кверху розовый короткий носик. — В шестнадцать лет порядочные девушки не думают о замужестве. Да и, кроме того, я, если хотите знать, принципиальная противница брака. Зачем стеснять свою свободу? Я предпочитаю пойти на высшие женские курсы и сделаться ученой женщиной.

Но ее влажные коричневые глаза, с томно-синеватыми веками, улыбались так задорно, а губы сжались в такой очаровательный красный морщинистый бутон, что Александров, наклонившись к ее уху, сказал шепотом:

— И все это — неправда. И никогда вы не пойдете коптиться на курсах. Вы созданы богом для кокетства и для любви, на погибель всем нам, вашим поклонникам.

Пользуясь теснотою, он отыскал ее мизинец и крепко пожал его двумя пальцами. Она, блеснув на него глазами, убрала свою руку и шепнула ему: кш! — как на курицу.

Александров поздравил новобрачных, стоявших в левом приделе. Рука Юленьки была холодна и тяжела, а глаза казались усталыми.

Но она крепко пожала его руку и слегка, точно жалобно, улыбнулась.

Покорни весь сиял; сиял от напомаженного пробора до лакированных ботинок; сиял новым фраком, ослепительно белым широким пластроном, золотом запонок, цепочек и колец, шелковым блеском нового шапокляка. Но на взгляд Александрова он, со своею долговязостью, худобой и неуклюжестью, был еще непригляднее, чем раньше, летом, в простом дачном пиджачке. Он крепко ухватил руку юнкера и начал ее качать, как насос.

— Спасибо, мерси, благодарю! — говорил он, захлебываясь от счастья. — Будем снова добрыми старыми приятелями. Наш дом будет всегда открыт для вас.

А Анна Романовна, разрядившаяся ради свадьбы, как царица Савская, и похорошевшая, казавшаяся

теперь старшей сестрой Юленьки, пригласила любезно:

— Прямо из церкви зайдите к нам, закусить чем бог послал и выпить за новобрачных. И товарищей позовите. Мы звать всех не в состоянии: очень уж тесное у нас помещение; но для вас, милых моих александровцев, всегда есть место. Да и потанцуете немножко. Ну, как вы находите мою Юленьку? Право, ведь недурна?

Александров вздохнул шумно и уныло.

— Вы спрашиваете — не дурна ли? А я хотел бы узнать, кто и где видел подобную совершенную красоту?

— О, какой рыцарский комплимент! Мсье Александров, вы опасный молодой мужчина... Но, к сожалению, из одних комплиментов в наше время шубу не сошьешь. Я, признаюсь, очень рада тому, что моя Юленька вышла замуж за достойного человека и сделала прекрасную партию, которая вполне обеспечивает ее будущее. Но, однако, идите к вашим товарищам. Видите, они вас ждут.

Александров покрутил головою:

— А ведь про шубу-то она, наверное, на мой счет прошлась?

Квартиру Синельниковых нельзя было узнать — такой она показалась большой, вместительной, нарядной после каких-то неведомых хозяйственных перемен и перестановок. Анна Романовна несомненно обладала хорошим глазомером. У нее казалось многолюдно, но тесноты и давки не было.

В зале стояли покоем столы с отличными холодными закусками. Стульев почти не было. Закусывали стоя, à la four-chette. Два наемных лакея разносили на серебряных подносах высокие тонкогорлые бокалы с шампанским. Александров пил это вино всего только во второй раз в своей жизни. Оно было вкусное, сладкое, шипело во рту и приятно щекотало горло. После третьего бокала у него повеселело в голове, потеплело в груди и глаза стали все видеть, точно сквозь лег-

кую струящуюся завесу. С трудом разобрал он на высокой толстостенной бутылочке золотые литеры: «Veuve Clicquot» [1].

Потом лакеи с необыкновенной быстротой и ловкостью разняли столовый «покой» и унесли куда-то столы. В зале стало совсем просторно. На окна спустились темно-малиновые занавесы. Зажглись лампы в стеклянных матовых колпаках. Наемный тапер, вдохновенно-взлохмаченный брюнет, заиграл вальс.

Александров выпил еще один бокал шампанского и вдруг почувствовал, что больше нельзя. «Генуг, ассе, баста, довольно», — сказал он ласково засмеявшемуся лакею.

Нет, он вовсе не был пьян, но весь был как бы наполнен, напоен удивительно легким воздухом. Движения его в танцах были точны, мягки и беззвучны (вообще он несколько потерял способность слуха и оттого говорил громче обыкновенного). Но им, незаметно для самого себя, овладело очарование той атмосферы всеобщей легкой влюбленности, которая всегда широко разливается на свадебных праздниках. Здесь есть такое чувство, что вот, на время, приоткрылась запечатанная дверь; запрещенное стало на глазах участников не только дозволенным, но и благословенным. Суровая тайна стала открытой, веселой, прелестной радостью. Нежный гашиш сладко одурманивал молодые души.

Александров не отходил от Оленьки, упрямо и ревниво ловя минуты, когда она освобождалась от очередного танцора. Он без ума был влюблен в нее и сам удивлялся, почему не замечал раньше, как глубоко и велико это чувство.

— Оленька, — сказал он. — Мне надо поговорить с вами по очень, по чрезвычайно нужному делу. Пойдемте вон в ту маленькую гостиную. На одну минутку.

— А разве нельзя сказать здесь? И что это за уединение вдвоем?

— Да ведь мы все равно будем у всех на глазах. Пожалуйста, Олечка!

---

[1] «Вдова Клико» *(франц.)*.

— Во-первых, я вам вовсе не Олечка, а Ольга Николаевна. Ну, пойдемте, если уж вам так хочется. Только, наверно, это пустяки какие-нибудь, — сказала она, садясь на маленький диванчик и обмахиваясь веером. — Ну, какое же у вас ко мне дело?

— Оленька, — сказал Александров дрожащим голосом, — может быть, вы помните те четыре слова, которые я сказал вам на балу в нашем училище.

— Какие четыре слова? Я что-то не помню.

— Позвольте напомнить... Мы тогда танцевали вальс, и я сказал: «Я люблю вас, Оля».

— Какая дерзость!

— А помните, что вы мне ответили?

— Тоже не помню. Вероятно, я вам ответила, что вы нехороший, испорченный мальчишка.

— Нет, не то. Вы мне ответили: «Ах, если бы я могла вам верить».

— Да, конечно, вам верить нельзя. Вы влюбляетесь каждый день. Вы ветрены и легкомысленны, как мотылек... И это-то и есть все то важное, что вы мне хотели передать?

— Нет, далеко не все. Я опять повторяю эти четыре заветные слова. А в доказательство того, что я вовсе не порхающий папильон[1], я скажу вам такую вещь, о которой не знают ни моя мать, ни мои сестры и никто из моих товарищей, словом, никто, никто во всем свете.

Ольга зажмурилась и затрясла своими темными блестящими кудряшками.

— А это не будет страшно?

— Ничуть, — серьезно ответил Александров. — Но уговор, Ольга Николаевна: раз я лишь одной вам открываю величайшую тайну, то покорно прошу вас, вы уж, пожалуйста, никому об этом не болтайте.

— Никому, никому! Но она, надеюсь, приличная, ваша тайна?

— Абсолютно. Я скажу даже, что она возвышенная...

— Ах, говорите, говорите скорей. Я вся трясусь от любопытства и нетерпения.

---

[1] Мотылек (от *франц.* papillon).

Ее правый глаз был освещен сбоку и сверху, и в нем, между зрачком и райком, горел и точно переливался светло-золотой живой блик. Александров засмотрелся на эту прелестную игру глаза и замолчал.

— Ну, что же? Я жду, — ласково сказала Ольга.

Александров очнулся.

— Ну, вот... на днях, очень скоро... через неделю, через две... может быть, через месяц... появится на свет... будет напечатана в одном журнале... появится на свет моя сюита... мой рассказ. Я не знаю, как назвать... Прошу вас, Оля, пожелайте мне успеха. От этого рассказа, или, как сказать?.. эскиза, так многое зависит в будущем.

— Ах, от души, от всей души желаю вам удачи... — пылко отозвалась Ольга и погладила его руку. — Но только что же это такое? Сделаетесь вы известным автором и загордитесь. Будете вы уже не нашим милым, славным, добрым Алешей или просто юнкером Александровым, а станете называться «господин писатель», а мы станем глядеть на вас снизу вверх, раскрыв рты.

— Ах, Оля, Оля, не смейтесь и не шутите над этим. Да. Скажу вам откровенно, что я ищу славы, знаменитости... Но не для себя, а для нас обоих: и для вас и для меня. Я говорю серьезно. И, чтобы доказать вам всю мою любовь и все уважение, я посвящаю этот первый мой труд вам, вам, Оля!

Она широко открыла глаза.

— Как? И это посвящение будет напечатано?

— Да. Непременно. Так и будет напечатано в самом начале: «Посвящается Ольге Николаевне Синельниковой», внизу мое имя и фамилия...

Ольга всплеснула руками.

— Неужели в самом деле так и будет? Ах, как это удивительно! Но только нет. Не надо полной фамилии. Нас ведь вся Москва знает. Бог знает, что наплетут, Москва ведь такая сплетница. Вы уж лучше как-нибудь под инициалами. Чтобы знали об этом только двое: вы и я. Хорошо?

— Хорошо. Я повинуюсь. А когда я стану большим, настоящим писателем, Оленька, когда я буду получать большие гонорары, тогда...

Она быстро встала.

— Тогда и поговорим. А теперь пойдемте в зал. На нас уже смотрят.

— Дайте хоть ручку поцеловать!

— Потом. Идите первым. Я только поправлю волосы.

Была пора юнкерам идти в училище. Гости тоже разъезжались. Ольга и Люба провожали их до передней, которая была освещена слабо. Когда Александров успел надеть и одернуть шинель, он услыхал у самого уха тихий шепот: «До свидания, господин писатель», и горящие сухие губы быстро коснулись его щеки, точно клюнули.

Домой юнкера нарочно пошли пешком, чтобы выветрить из себя пары шампанского. Путь был не близкий: Земляной вал, Покровка, Маросейка, Ильинка, Красная площадь, Спасские ворота, Кремль, Башня Кутафья, Знаменка... Юнкера успели прийти в себя, и каждый, держа руку под козырек, браво прорапортовал дежурному офицеру, поручику Рославлеву, поучилищному — Володьке: «Ваше благородие, является из отпуска юнкер четвертой роты такой-то».

Володька прищурил глаза, повел огромным носом и спросил коротко:

— Клико деми-сек? [1]

— Так точно, ваше благородие. На свадьбе были в семье полковника Синельникова.

— Ага! Ступайте.

Этот Володька и сам был большущим кутилой.

Глава XII

ГОСПОДИН ПИСАТЕЛЬ

Это была очень давнишняя мечта Александрова — сделаться поэтом или романистом. Еще в пансионе Разумовской школы он не без труда написал одно замечательное стихотворение:

---

[1] Полусухое? *(франц.)*

Скорее, о птички, летите
Вы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет весна уж у нас.

В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
Деревья распустят листочки,
И будет прелестнейший вид.

Ему было тогда семь лет... Успех этих стихов льстил его самолюбию. Когда у матери случались гости, она всегда уговаривала сына: «Алеша, Алеша, прочитай нам «Скорее, о птички». И по окончании декламации гости со вздохом говорили: «Замечательно! удивительно! А ведь, кто знает, может быть, из него будущий Пушкин выйдет».

Но, перейдя в корпус, Александров стал стыдиться этих стишков. Русская поэзия показала ему иные совершенные образцы. Он не только перестал читать вслух своих несчастных птичек, но упросил и мать никогда не упоминать о них.

В пятом классе его потянуло на прозу. Причиною этому был, конечно, неотразимый Фенимор Купер.

К тому же кадета Александрова соблазняла та легкость, с которой он писал всегда на полные двенадцать баллов классные сочинения, нередко читавшиеся вслух, для примера прочим ученикам.

Пять учебных тетрадок, по обе стороны страниц, прилежным печатным почерком были мелко исписаны романом Александрова «Черная Пантера» (из быта североамериканских дикарей племени Ваякса и об войне с бледнолицыми).

Там описывались удивительнейшие подвиги великого вождя по имени «Черная Пантера» и его героическая смерть. Бледнолицые дьяволы, теснимые краснокожими, перешли на небольшой необитаемый остров среди озера Мичиган. Они были со всех сторон обложены индейцами, но взять их не удавалось. Их карабины были в исправности, а громадный запас пороха и пуль грозил тем, что осада продлится на очень большое время, вплоть до прихода главной армии. Пи-

таться же они могли свободно: рыбой из озера и пролетавшей многочисленной птицей.

Но лишь один вождь, страшный «Черная Пантера» знал секрет этого острова. Он весь был насыпан искусственно и держался на стволе тысячелетнего могучего баобаба. И вот отважный воин, никого не посвящая в свой замысел, каждую ночь подплывает осторожно к острову, ныряет под воду и рыбьей пилою подпиливает баобабовый устой. Наутро он незаметно возвращается в лагерь. Перед последнею ночью он дает приказ своему племени:

— Завтра утром, когда тень от острова коснется мыса Чиу-Киу, садитесь в пироги и спешно плывите на бледнолицых. Грозный бог войны, великий Кóокама, сам предаст белых дьяволов в ваши руки. Меня же не дожидайтесь. Я приду в разгар битвы.

И ушел.

Утром воины беспрекословно исполнили приказание вождя. И когда они, несмотря на адский ружейный огонь, подплыли почти к самому острову, то из воды послышался страшный треск, весь остров покосился набок и стал тонуть. Напрасно европейцы молили о пощаде. Все они погибли под ударами томагауков или нашли смерть в озере. К вечеру же вода выбросила труп «Черной Пантеры». У него под водою не хватило дыхания, и он, перепилив корень, утонул. И с тех пор старые жрецы поют в назидание юношам, и так далее и так далее.

Были в романе и другие лица. Старый трапер, гроза индейцев, и гордая дочь его Эрминия, в которую был безумно влюблен вождь «Черная Пантера», а также старый жрец племени Ваякса и его дочь Зумелла, покорно и самоотверженно влюбленная в «Черную Пантеру».

Роман писался любовно, но тяжело и долго. Куда легче давались Александрову его милые акварельные картинки и ловкие карикатуры карандашом на товарищей, учителей и воспитателей. Но на этот путь судьба толкнет его гораздо позднее...

Во что бы то ни стало следовало этот роман напечатать. В нем было, на типографский счет, листа

два, не менее. Но куда сунуться со своим детищем — Александров об этом не имел никакого представления. Помог ему престарелый монах, который продавал свечки и образки около часовни Сергия преподобного, что была у Ильинских ворот. Мать давным-давно подарила Александрову копилку со старой малоинтересной коллекцией монет, которую когда-то начал собирать ее покойный муж. Александров всегда нуждался в свободном пятачке. Мало ли что можно на него купить: два пирожка с вареньем, кусок халвы, стакан малинового кваса, десять слив, целое яблоко, словом, без конца...

И вот, по какому-то наитию, однажды и обратился Александров к этому тихонькому, закапанному воском монашку с предложением купить кое-какие монетки. В коллекции не было ни мелких золотых, ни крупных серебряных денег. Однако монашек, порывшись в медной мелочи, взял три-четыре штуки, заплатил двугривенный и велел зайти когда-нибудь в другой раз. С того времени они и подружились.

Сам Александров не помнил, почему он отважился обратиться к монашку за советом:

— Кому бы мне отдать вот это мое сочинение, чтобы напечатали?

— А очень просто, — сказал монах. — Выйдете из ворот на Ильинку, и тут же налево книжный ларек Изымяшева. К нему и обратитесь.

У ларька, прислонясь к нему спиной, грыз подсолнушки тощий развязный мальчуган.

— Что прикажете, купец? Сонники? письмовники? гадательные книжки? романы самые животрепещущие? Францыль, Венециан? Гуак или Непреоборимая ревность? Турецкий генерал Марцимирис? Прекрасная магометанка, умирающая на могиле своего мужа?

— Мне не то, — робко прервал его Александров. — Мне бы узнать, кому отдать мой собственный роман, чтобы его напечатали.

Мальчик быстро ковырнул пальцем в носу.

— А вот, с-час, с-час. Я хозяина поклычу. Родион

Тихоныч! а Родион Тихоныч! Пожалуйте в лавочку. Тут пришли.

Вошел большой рыжий купец, весь еще дымящийся от сбитня, который он пил на улице.

— Чаво? — спросил он грубо.

Лицо у него было враждебное.

Александров сказал:

— Вот тут у меня небольшой написан роман из жизни...

— Покажь. — Он взял тетрадки и взвесил их на руке, потом перелистал несколько страниц и ответил: — Товар не по нас. Под Фенимора-с. Купера-с. Полтора рубля хотите-с?

— Я не знаю, — робко пробормотал Александров.

— Боле не могу. — Он почесал спину о болясину. — Настоящая цена-с.

— Ну, хорошо, — согласился кадет. — Пусть полтора.

— Так-с. Оставьте-с. Приходите через недельку. Посмотреть необходимо. Извольте получить ваши рупь с полтиной.

Александров пришел через неделю, потом через другую, третью, десятую. Сначала ему отказывали в ответе под разными предлогами, а потом враждебно сказали:

— Какая такая рукопись. Ничего мы о ней не слыхали и романа вашего никакого не читали. Напрасно людей беспокоите, которые занятые.

Так и погиб навеки замечательный роман «Черная Пантера» в пыльных печатных складах купца Изымяшева на Ильинке.

Застенчивый Александров с той поры, идя в отпуск, избегал проходить Ильинской улицей, чтобы не встретиться случайно глазами с глазами книжного купца и не сгореть от стыда. Он предпочитал вдвое более длинный путь: через Мясницкую, Кузнецкий мост и Тверскую.

Но было в душе его непоколебимое татарское упрямство. Неудача с прозой горько оскорбила его, вместо прозы он занялся поэзией. В седьмом классе корпуса, по воскресеньям, давалась на руки кадетам

хрестоматия Гербеля — книга необыкновенно больших размеров и редкой толщины. Она не была руководящей книгой, а предлагалась просто для легкого и занятного чтения в свободное от зубрежки время. В ней было все что угодно и всего понемножку: отрывки из русских классиков, переводы из Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона, Гейне и даже шутки, пародии и эпиграммы семидесятых годов.

Большинство этого обильного и мусорно собранного материала прошло мимо наивной души Александрова, но Генрих Гейне, с его нежной, страстной, благоуханной лирикой, с его живым юмором, с этой сверкающей слезкой в щите, — Гейне пленил, очаровал, заворожил впечатлительное жадное сердце шестнадцатилетнего юноши.

В немецком учебнике Керковиуса, по которому учились кадеты, было собрано достаточное количество образцов немецкой литературы, и между ними находилось десятка с два коротеньких стихотворений Гейне.

Александров, довольно легко начинавший осваиваться с трудностями немецкого языка, с увлечением стал переводить их на русский язык. Он тогда еще не знал, что для перевода с иностранного языка мало знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо еще уметь проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или других слов.

Но он уже сам начинал чувствовать, что переводы его лишены легкой игривой свободной резвости подлинника, что стихи у него выходят дубовыми, грузными, тяжело произносимыми и что напряженный смысл их далеко не исчерпывает благоуханного и волнующего смысла гейневского стиха.

Охотнее всего делал Александров свои переводы в те скучные дни, когда, по распоряжению начальства, он сидел под арестом в карцере, запертый на ключ. Тишина, безделье и скука как нельзя лучше поощряли к этому занятию. А когда его отпускали на свободу, то, урвав первый свободный часочек, он поспешно бежал к старому, верному другу Сашаке

Гурьеву, к своему всегдашнему, терпеливому и снисходительному слухачу.

Обое выбирали уютный, укромный уголочек, вдали от обычной возни и суматохи, и там Александров с восторгом, с дрожащими руками, нараспев читал вслух последние произведения своей музы.

— Очень хорошо, Алехан, по совести могу сказать, что прекрасно, — говорил Гурьев, восторженно тряся головою. — Ты с каждым днем совершенствуешься. Пиши, брат, пиши, это твое настоящее и великое призвание.

Похвалы Сашаки Гурьева были чрезвычайно лестны и сладки, но Александров давно уже начал догадываться, что полагаться на них и ненадежно, и глупо, и опасно. Гурьев парень превосходный, но что он, по совести говоря, понимает в высоком и необычайно трудном искусстве поэзии?

И тогда он решился на суровый, героический, последний опыт. «Я переведу, — сказал он сам себе, — одно из значительных стихотворений Гейне, не заглядывая в хрестоматию Гербеля, а потом сличу оба перевода. Тогда я узнаю, следует ли мне писать стихи, или не следует». Он выискал в Керковиусе известное гейневское стихотворение, вернее, маленькую поэму — «Лорелея», трудился он над ее переводом усердно и добросовестно, по множеству раз прибегая к толстому немецко-русскому словарю, чтобы найти побольше синонимов. С ритмом он легко справился, взяв за образец лермонтовское «По синим волнам океана», но в самом начале тщательной работы он уже стал предчувствовать, что Гейне ему не дается и, вероятно, не дастся. Уже первая строфа казалась ему деревянной (хотя в этом ему не хотелось окончательно сознаться перед самим собой):

Не знаю, что сталось со мною,
Сегодня мой дух так смущен,
И нет мне ни сна, ни покою
От песни минувших времен.

— Почему, например, «покою», когда следует сказать «покоя». Требование рифмы? А где же требование законов русского языка?

После многих черновиков, переделок и перемарок Александров остановился на последней, окончательной форме. «Правда: это еще не совершенство, но сделать лучше и вернее я больше не в силах».

Только тогда он раскрыл Гербеля и нашел в нем «Лорелею». Воистину ослепительно прекрасным, совершенным, несравнимым, или, точнее, сравнимым только с текстом самого Гейне, показался ему перевод Михайлова.

«Да, — подумал он, — так я ни за что не переведу. А если и переведу, то только после многих, многих лет изучения всех тонкостей немецкого языка и кристального вдумывания в слова великого автора. Куда мне!..»

Но он хотел до конца исчерпать всю горечь своей неудачи. Как-то, после урока немецкого языка, он догнал уходившего из класса учителя Мея, сытого, доброго, обрусевшего немца, и сунул ему в руки отлично переписанную «Лорелею».

— Здесь немного, всего тридцать две строки. Будьте добры, перечитайте мой перевод и скажите без всякой церемонии ваше мнение.

Мей охотно принял рукопись и сказал, что на днях даст ответ. Через несколько дней, опять выходя из класса, Мей сделал Александрову едва заметный сигнал следовать за собой и, идя с ним рядом до учительской комнаты, торопливо сказал:

— За ваш прекрасный и любовный труд я при первом случае поставлю вам двенадцать! Должен вам признаться, что хотя я владею одинаково безукоризненно обоими языками, но так перевести «Лорелею», как вы, я бы все-таки не сумел бы. Тут надо иметь в сердце кровь поэта. У вас в переводе есть несколько слабых и неверно понятых мест, я все их осторожненько подчеркнул карандашиком, пометки мои легко можно снять резинкой. Ну, желаю вам счастья и удачи, молодой поэт. Стихи ваши очень хороши.

Усталым, сиплым голосом поблагодарил Александров учителя. На сердце его лежал камень.

«Нет, уж что тут, — мысленно махнул он на себя рукою. — Верно сказано: «не суйся со свинячьим рылом в калашный ряд».

— Кончено на веки вечные мое писательство! баста!

Александров перестал сочинять (что, впрочем, очень благотворно отозвалось на его последних в корпусе выпускных экзаменах), но мысли его и фантазии еще долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где все было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славой, это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово — «писатель», или еще выразительнее — «господин писатель».

Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет — это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создает каких хочет людей и какие вздумает приключения, и все это остается жить на веки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем тысячи настоящих, взаправдашних людей и событий, и живет годами, столетиями, тысячелетиями, к восторгу, радости и поучению бесчисленных человеческих поколений.

Вот оно, госпожа Бичерстоу с «Хижиной дяди Тома», Дюма с «Тремя мушкетерами», Жюль Верн с «Капитаном Немо» и с «Детьми капитана Гранта», Тургенев с Базаровым, Рудиным, Пигасовым... и — да всех и не перечислишь.

У всех у них какое-то могучее подобие с господом богом: из хаоса — из бумаги и чернил — родят они целые миры и, создавши, говорят: это добро зело.

Истинные господа на земле эти таинственные писатели. Если бы повидать хоть одного из них когда-нибудь. Может быть, он подведет меня поближе к тайне своего творчества, и я пойму его...

Мечтая таким образом, Александров и предполагать не смел, что покорный случай готовит ему в скорости личное знакомство с настоящим и даже известным Господином Писателем.

Глава XIII

СЛАВА

На вакации, перед поступлением в Александровское училище, Алексей Александров, живший все лето в Химках, поехал погостить на неделю к старшей своей сестре Соне, поселившейся для деревенского отдыха в подмосковном большом селе Краскове, в котором сладкогласные мужики зимою промышляли воровством, а в теплые месяцы сдавали москвичам свои избы, порою о двух и даже о трех этажах. Сонин дом Александров знал еще с прошлого года и потому, спрыгнув на ходу с вагонной площадки, быстро и уверенно дошел до него. Но у окна он с некоторым изумлением остановился. Соня играла на пианино, и он сразу узнал столь любимую им вторую рапсодию Листа. В этом не было, конечно, ничего необыкновенного; поразил Александрова незнакомый и, по правде сказать, диковинный Сонин гость. Он был длинен, худ и с таким несчетным количеством веснушек на лице, что издали гость казался крашеным в темно-желтую краску или страдающим желтухою. Одет он был фантастически: в долгую, до земли, и преувеличенно-широкую размахайку цвета летучей мыши. Высоко и буйно задирая вверх клокастую голову, он носился взад и вперед по комнате. Левая рука его держала угол размахайки и заставляла ее развеваться в воздухе, как театральный плащ Демона. А в правой руке у незнакомца был столовый нож, которым он неистово дирижировал в такт Сониной музыке.

Эта картина была так странна и сверхъестественна, что Александров точно припаялся к оконному стеклу и не мог сдвинуться с места. А тут Соня добралась до этого дьявольского цыганского престо-престиссимо, от которого ноги молодых людей начинают сами собой плясать, ноги стариков выделывают поневоле, хоть и с трудом, хоть и совсем не похоже, лихие па старинных огненных танцев и кости мертвецов шевелятся в могилах. С желтолицым человеком произошла точно мгновенная судорога. Он швырнул на пол свой

мышастый разлетай, издал дикий вопль и вдруг с такой неожиданной силой и ловкостью запустил ножом в стену, что острие вонзилось в нее и закачалось.

Послышался испуганный крик Сони. Александров почувствовал, что теперь ему, как мужчине, необходимо принять участие в этом странном происшествии. Он затряс ручку дверного звонка. Соня отворила дверь, и испуг ее прошел. Она уже смеялась.

— Здравствуй, здравствуй, милый Алешенька,— говорила она, целуясь с братом.— Иди скорее к нам в столовую. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Позвольте вам представить, Диодор Иванович, моего брата. Он только что окончил кадетский корпус и через месяц станет юнкером Александровского военного училища. А это, Алеша, наш знаменитый русский поэт Диодор Иванович Миртов. Его прелестные стихи часто появляются во всех прогрессивных журналах и газетах. Такое наслаждение читать их!

Желтолицый поэт картавил, хотя и не без приятности.

— Мигтов,— говорил он, пожимая руку Алеши,— Диодог Мигтов. Очень гад, весьма гад. Чгезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых.

Соня вспомнила недавнюю трагикомическую сцену.

— Ах, как Диодор Иванович меня сейчас напугал,— сказала она добродушно и весело.

Александров осторожно промолчал о том, что он видел сквозь окно. Немного конфузясь, Миртов стал выдергивать из шелевки крепко завязший в ней нож и бурчал, точно извиняясь:

— Чегтовская эта музыка венгегская. Электгизигует негвного человека. Слышу эту втогую гапсодию Листа, и во мне закипает кговь моих дгевних пгедков, каких-нибудь скифов или казагов. Уж вы меня пгостите, догогая Софья Николаевна. Стихийная у меня натуга и дугацкая.

Александров внимательно рассматривал лицо знаменитого поэта, похожее на кукушечье яйцо и тесной

раскраской и формой. Поэт понравился юноше: из него, сквозь давно наигранную позу, лучилась какая-то добрая простота. А театральный жест со столовым ножом Александров нашел восхитительным: так могут делать только люди с яркими страстями, не боящиеся того, что о них скажут и подумают обыкновенные людишки.

В ту пору дерзость, оригинальность и экспансивность были его героической утехой. Недаром он тогда проходил через волшебное обаяние Дюма-отца. Зато стихов Миртова, которых он с неизменной любезностью прочитал много, Александров совсем не понял и добросовестно отнес это к своей малой поэтической восприимчивости.

Соня, всегда немножко бестактная, не упустила случая сделать неловкость. В то время, когда Миртов, передыхая между двумя стихотворениями, пил пиво, Соня вдруг сказала:

— А вы знаете, Диодор Иванович, наш Алеша ведь тоже немножко поэт, премиленькие стишки пишет. Я хоть и сестра, но с удовольствием их читаю. Попросите-ка его что-нибудь продекламировать вслух.

Александров от стыда и от злости на сестру стал сразу мучительно пунцовым, думая про себя: «О бог мой! До какой степени эти женщины умеют быть бестактными».

Миртов каким-то придавленным голосом, с искривленною улыбкой сказал:

— А что же, молодой воин. Прочитайте, прочитайте. Мы, старики, всем сердцем радуемся каждому юному пришельцу. Почитайте, пожалуйста.

Александров чутким ухом услышал и понял, что никакие стихи, кроме собственных, Миртова совсем не интересуют, а тем более детские, наивные, жалкие и неумелые. Он изо всех сил набросился на сестру:

— Как тебе не совестно, Соня? И какие же это стихи. Ни смысла, ни музыки. Обыкновенные вирши бездельника-мальчишки: розы — грозы, ушел — пришел, время — бремя, любовь — кровь, камень — пламень. А дальше и нет ничего. Вы уж, пожалуйста, Диодор Иванович, не слушайтесь ее, она в стихах по-

нимает, как свинья в апельсинах. Да и я — тоже. Нет, прочитайте нам еще что-нибудь ваше.

Таким образом и подружились пятидесятилетний, уже заметно тронутый сединою, известный поэт Миртов с беззаботным мальчуганом Александровым.

Миртов был соседом Сони, тоже снимал дачку в Краскове. Всю неделю, пока Александров гостил у сестры, они почти не расставались. Ходили вместе в лесок за грибами, земляникой и брусникой и два раза в день купались в холодной и быстрой речонке.

У Миртова был огромный трехлетний пес сенбернарской чистой породы, по кличке Друг. Собака была у писателя, как говорится, не в руках: слишком тяжел, стар и неуклюж был матерый писатель, чтобы целый день заниматься собакой: мыть ее, чесать, купать, вовремя кормить, развлекать и дрессировать и следить за ее здоровьем. Зато Друг охотно пошел к Александрову, как веселый сверстник и компаньон по проказам. Началась их приязнь так: Друг по какому-то давнишнему капризу ни за что не хотел лазить в речную воду, а теми обливаниями на суше, какими его угощал хозяин, он всегда оставался недоволен — фыркал, рычал, вырывался из рук, убегал домой и даже при всей своей ангельской кротости иногда угрожал укусом.

Александров справился с ним одним разом. Уж не такая большая тяжесть для семнадцатилетнего юноши три пуда. Он взял Друга обеими руками под живот, поднял и вместе с Другом вошел в воду по грудь. Сенбернар точно этого только и дожидался. Почувствовав и уверившись, что жидкая вода отлично держит его косматое тело, он очень быстро освоился с плаванием и полюбил его.

Вскоре он и Алексей стали задавать в речке настоящие морские бои и правильные гонки. С этого почина собака доверчиво и с удовольствием влегла в тренировку. Увлеченный этим милым занятием и охотной понятливостью ученика, Александров вместо недели пробыл в Краскове две с половиной.

Миртов благодарно полюбил эти купанья и прогулки втроем. Он был очень одинокий человек. В доме

у него никого не было, кроме собаки и старой-престарой кухарки, которая ничего не слышала, не понимала и не умела, кроме как бегать за пивом.

Иногда он говорил Александрову: «Знаете что, Алеша? — поэзия есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов, и даже очень известных, а по проверке временем осталось их на всем белом свете не более двух десятков, конечно не считая меня. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить прозу. У вас глаз меткий, ноздри, как у песика, наблюдательность большая, и, кроме того, самое простое и самое ценное достоинство: вы любите жизнь. Напишите когда-нибудь свеженький рассказ и принесите мне на Плющиху, где я всегда зимую. Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю, а там — что богу будет угодно. После маленького рассказика, с воробьиный нос, напишите повестушку, а там глядь и романище о восьми частях, как пишет современный король и бог русской изящной литературы Лев Толстой. Да, кстати, рекомендую вам этого всемогущего льва читать пореже, а то потеряете и собственную индивидуальность и вкус к своей работе. Это только в древние библейские времена смертный Иаков осмелился бороться с богом и отделался сравнительно дешево — сломанной ногой. Теперь чудес не бывает.

А когда пришел Александрову срок уезжать из Краскова, то Миртов с сенбернаром проводили его на полустанок, и вслед уходящему поезду Миртов кричал, размахивая платком:

— Смотрите не забывайте меня и Друга, приезжайте. Адрес — Плющиха, дом Грязнова. Я живу вверху на голубятне. Ближе к богу.

В Москве, уже ставши юнкером, Александров нередко встречался с Диодором Ивановичем: то раза три у него на квартире, то у сестры Сони в гостинице Фальц-Фейна, то на улицах, где чаще всего встречаются москвичи. И всегда на прощанье не забывал Миртов дружески сказать:

— А что же рассказец-то? Жду, жду. Не медлите, дорогой Алеша. Время течет. Течет.

Вот именно об этом желтолицем и так мило сумбурном поэте думал Александров, когда так торжественно обещал Оленьке Синельниковой, на свадьбе ее сестры, написать замечательное сочинение, которое будет напечатано и печатно посвящено ей, новой царице его исстрадавшейся души.

Обещание было принято и, как мистической печатью, было припечатано быстрым, сухим и горячим поцелуем. Теперь оставалось только написать рассказ, а там уж Миртов непременно сунет его в журнал какой-нибудь.

И с этого времени, даже, можно сказать, со следующего дня, Александров яростно предался самому тяжелому, самому взыскательному из творчеств: творчеству слова. Конечно, напрасным оказался мудрый совет Диодора Ивановича: писать о том, что ты лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал, нанизывая эти впечатления на любую, хотя бы скудную нить происшествия. Нет, он отрицал тонкие, изысканные подробности, которые придавали бы рассказу естественность движения. Он не умел придать своим персонажам различные оттенки в голосах, привычках, склонностях и недостатках. Черное у него было густо-черным, как самая черная ночь. Белое — бело, как крылья архангела или как цветок лилии, красное — красно, как огонь. Оттенков или переливов он знать не хотел и нужды в них не чувствовал. Ревность для него была, по давнишнему Шекспиру, «чудовищем с зелеными глазами», любовь — упоительной и пламенной, верность — так непременно до гробовой доски.

На таких-то пружинах и подпорках он и соорудил свою сюиту (он не знал значения этого иностранного слова), сюиту «Последний дебют». В ней говорилось о тех вещах и чувствах, которых восемнадцатилетний юноша никогда не видел и не знал: театральный мир и трагическая любовь к самоубийствам. Скелет рассказа был такой:

Утром, в дневной полутьме, на сцене большого провинциального театра идет репетиция. Анемподи-

стов, антрепренер, он же директор и режиссер, предлагает второй актрисе — Струниной пройти роль Вари.

— Но ведь это моя коронная роль, — с ужасом восклицает первая актриса Торова-Монская, любовница Анемподистова.

— Ах, не волнуйтесь, дорогуля, — говорит директор, — труппа у нас совсем небольшая. Надо иногда, во внезапных случаях, заменять один другого.

— Ты ее любишь? Ты ее любишь? — горячо шепчет ему на ухо актриса Торова-Монская.

— Оставь, милая. Ты знаешь, что во всем мире я люблю тебя одну.

Дальше действие рассказа переносится за кулисы, в уборную. Решено, что Варю будет играть Струнина. Публика любит новые впечатления. Торова-Монская может отдохнуть немножко.

Но Монская сказала гордо:

— Я здесь, и я останусь. Струнина может играть завтра или когда ей будет угодно. Но я играю нынче в последний раз. Слышите ли вы, храм анемподийский! Сегодня я играю в самый последний раз.

И с этими словами вышла на сцену.

О боже, как приняла ее публика, увидев ее бледное, страдальческое лицо и огромные серые глаза! С каждым актом игра ее производила все более грандиозное впечатление на публику, переполнявшую театр. И вот подошла последняя сцена, сцена, в которой Варя отравляется.

Артистка подошла к рампе и потрясающим голосом сказала:

— Если любовь — то великое счатье. Если обман — то смерть. — И с этими словами поднесла к губам пузырек и вдруг упала в страшных конвульсиях.

«Доктора! доктора! О, какой ужас! — закричала публика. — Скорее доктора!» Но доктор уже был ненужен. Великая артистка умерла...

С блаженным чувством оконченного большого труда сделал юнкер красивую подпись: *Алехан Андров.* И украсил ее замысловатым росчерком.

Сто раз перечитал Александров свое произведение и по крайней мере десять раз переписал его самым

лучшим своим почерком. Нет сомнений — сюита была очень хороша. Она трогала, умиляла и восхищала автора. Но было в его восторгах какое-то непонятное и невидимое пятно, какая-то постыдная неловкость очень давнего происхождения, какая-то неуловимая болячка, которую Александров не мог определить.

Тем не менее в одно из ближайших воскресений он пошел на Плющиху и с колотящимся сердцем взобрался на голубятню, на чердачный этаж старого деревянного московского дома. Надевши на нос большие очки, скрепленные на сломанной пережабинке куском сургуча, Миртов охотно и внимательно прочитал произведение своего молодого приятеля. Читал он вслух и, по старой привычке, немного нараспев, что придавало сюите важный, глубокий и красиво-печальный характер.

Юнкер и громадный сенбернар слушали его чтение с нескрываемым умилением. Друг даже вздыхал.

Наконец Диодор Иванович кончил, положил очки и рукопись на письменный стол и с затуманенными глазами сказал:

— Пгекгасно, мой догогой. Я вам говогю: пгекгасно. Зоилы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотгы, поггешности или еще что-нибудь, но на то они и зоилы. А ведь красивую девушку осьмнадцати лет не могут испортить ни родинка, ни рябинка, ни царапинка. Анисья Харитоновна, — закричал он, — принесите-ка нам бутылку пива, вспрыснуть новорожденного! Ну, мой добрый и славный друг, поздравляю вас с посвящением в рыцари пера. Пишите много, хорошо и на пользу, на радость человечеству!

Они чокнулись пивом и расцеловались.

Немного погодя и уже собираясь уходить, Александров спросил: можно ли ему будет написать впереди сюиты маленький эпиграф. Не сочтут ли это за ломание?

— О, совсем нет, эпиграф прелестная вещь. Что же вы хотите написать.

— Да всего две строчки из Гейне.

— Хороший поэт, чудесный. Какие же?

Александров прочитал дрожащим от волнения

голосом: «Я, раненный насмерть, играл, гладиатора бой представляя».

— Пгекгасно, великолепно, веская цитата, — одобрил Миртов.

Тут юнкер, осмелев, решился спросить и насчет посвящения.

— А что же?.. Катайте. Ей? Конечно, ей?

Юноша покраснел от головы до пяток.

— Да, одной моей хорошей знакомой, в память уважения, дружбы и... Но следующий мой рассказ непременно будет посвящен вам, дорогой Диодор Иванович, вам, мой добрый и высокоталантливый учитель!

Миртов засмеялся, показав беззубый рот, потом обнял юнкера и повел его к двери.

— Не забывайте меня. Заходите всегда, когда свободны. А я на этих днях постараюсь устроить вашу рукопись в «Московский ручей», в «Вечерние досуги», в «Русский цветник» (хотя он чуточку слишком консервативен) или еще в какое-нибудь издание. А о результате я вас уведомлю открыткой. Ну, прощайте. Вперед без страха и сомненья!

Но страх и сомнения терзали бедного Александрова немилосердно. Время растягивалось подобно резине. Дни ожидания тянулись, как месяцы, недели — как годы. Никому он не сказал о своей первой дерзновенной литературной попытке, даже вернейшему другу Венсану; бродил как безумный по залам и коридорам, ужасаясь длительности времени.

И вот, наконец, открытое письмо от Диодора Ивановича. Пришло оно во вторник: «Взяли «Вечерние досуги». В это воскресение, самое большее — в следующее, появится в газетных киосках. Увы, я заболел инфлюэнцой, не встаю с постели. Отыщите сами. Ваш Д. Миртов».

В первое воскресение Александров обегал десятка два киосков, спрашивая последние номера «Вечерних досугов», надеясь на чудо и не доверяя собственным глазам. К его огорчению, все «Досуги» были одина-

ковы, и ни в одном из них не было его замечательной сюиты «Последний дебют».

В следующее воскресение он не имел возможности предпринять снова свои лихорадочные поиски, потому что в наказание за единицу по фортификации был лишен этим проклятым Дроздом отпуска.

Что делать? Пришлось открыть свою непроницаемую тайну милому товарищу Венсану, и тот с обычной любезной готовностью взялся найти и купить очередной номер «Досугов».

Весь день терзался Александров нестерпимой мукой праздного ожидания. Около восьми часов вечера стали приходить из отпуска юнкера, подымаясь снизу по широкой лестнице. Перекинувшись телом через мраморные перила, Александров еще издали узнал Венсана и затрепетал от холодной дрожи восторга, когда прочитал в его широкой сияющей улыбке знамение победы.

Держать в руках свое первое признанное сочинение, вышедшее на прекрасной глянцевитой бумаге, видеть свои слова напечатанными черным, вечным, несмываемым шрифтом, ощущать могучий запах типографской краски... что может сравниться с этим удивительным впечатлением, кроме (конечно, в слабой степени) тех неописуемых блаженных чувств, которые испытывает после страшных болей впервые родившая молодая мать, когда со слабою прелестною улыбкой показывает мужу их младенца-первенца.

Во всяком случае, наплыв радости был так бурен, что Александров не мог стоять на ногах. Его тело требовало движения. Он стал перепрыгивать без разбега через одну за другой кровати, стоявшие ровным, стройным рядом, туда и обратно и еще один раз. Только тогда он уселся на своей койке и принялся за чтение с бьющимся сердцем. Он прочитал сюиту два раза, сначала с летучей беглостью, потом более внимательно — и так и так произведение было восхитительно. Он дал его прочитать Венсану, а сам глядел через его плечо, поминутно отнимая у него листки, чтобы прочитать вслух наиболее сильные места. Потом завладел «Вечерними досугами» весь первый

курс четвертой роты, потом пришли сверстники-фараоны других рот, потом заинтересовались и господа обер-офицеры всех рот.

Слава юнкера, ставшего писателем, молниями бежала по всем залам, коридорам, помещениям и закоулкам училища. Спрос на номер «Вечерних досугов» был колоссальный.

К Александрову шла со своим шумом настоящая слава, которая отозвалась усталостью и головной болью.

Ночь он провел тяжело и нудно. Сначала долго не мог заснуть, потом ежеминутно просыпался. На тусклом зимнем рассвете встал очень рано с тяжестью во всем теле и с неприятным вкусом во рту.

Глава XIV

ПОЗОР

Рота умылась, вычистилась, оделась и выстроилась в коридоре, чтобы идти строем на утренний чай.

К перекличке, как и всегда, явился Дрозд и стал на левом фланге. Перекличка сошла благополучно. Юнкера оказались налицо. Никаких событий в течение ночи не произошло. Дрозд перешел на середину роты.

— Юнкер Александров, — вызвал он спокойным голосом.

— Я, — отозвался звучно Александров и ловко сделал два шага вперед.

— До моего сведения дошло, что вы не только написали, но также и отдали в журнальную печать какое-то там сочинение и читали его вчера вечером некоторым юнкерам нашего училища. Правда ли это?

— Так точно, господин капитан.

— Потрудитесь сейчас же принести мне это произведение вашего искусства.

Александров побежал к своему уборному шкафчику. Дорогой он думал сердито:

«Как же мог Дрозд узнать о моей сюите?.. Откуда? Ни один юнкер, — все равно будь он фараон или обер-офицер, портупей или даже фельдфебель, — никогда не позволит себе донести начальству о личной, частной жизни юнкера, если только его дело не грозило уроном чести и достоинства училища. Эко какое запутанное положение»...

В голову не могла ему прийти простая мысль о том, что самому Дрозду или одному из других офицеров училища, или каким-нибудь внеучилищным их знакомым мог попасться под руку воскресный экземпляр «Вечерних досугов».

— Пожалуйте, господин капитан, — сказал Александров, подавая листки.

Дрозд сухо приказал:

— Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток с исполнением служебных обязанностей. А журналишко ваш я разорву на мелкие части и брошу в нужник... — И крикнул: — Фельдфебель, ведите роту.

И вот Александров в одиночном карцере. На лекции и на специальные военные занятия его выпускает на час, на два сторож, прикомандированный к училищу ефрейтор Перновского гренадерского полка. Он же приносит узнику завтрак, обед и чай с булкой.

У юнкеров было много своих домашних неписаных старинных обычаев, так сказать, «адатов». По одному из них юнкеру, находящемуся под арестом и выпускаемому в роту для служебных занятий, советовалось не говорить со свободными товарищами и вообще не вступать с ними ни в какие неделовые отношения, дабы не дать ротному командиру и курсовым офицерам возможности заподозрить, что юнкера могут делать что-нибудь тайком, исподтишка, прячась. Ведь травили же они свое начальство, совсем в открытую, ядовитыми и даже часто нецензурными прозвищами. А в этом законе собственного изделия была несомненно тень некоторого рыцарства.

Однако Александров все-таки не удержался от нарушения юнкерского обычая. За уроком гимнастики, работая на параллельных брусьях, он успел шепнуть Венсану:

— Голубчик Венсан, достаньте мне какую-нибудь книжку из ротной библиотеки и передайте через сторожа... Ужасная тоска.

— Постараюсь, — сказал Венсан и быстро отошел прочь.

И правда: бедный Александров изнывал от скуки, безделья и унижения. Вчера еще триумфатор, гордость училища, молодой, блестяще начинающий писатель — он нынче только наказанный, жалкий фараон, уныло снующий взад и вперед на пространстве в шесть квадратных аршин. Иногда, ложась на деревянные нары и глядя в высокий потолок, Александров пробовал восстановить в памяти слово за словом весь текст своей прекрасной сюиты «Последний дебют». И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение: «А в сущности ведь, пожалуй, такое заглавие: «Последний дебют», может показаться неточным и даже нелепым. Дебют — ведь это начало, как и в шахматах, это — первое, пробное выступление артистки, а у меня актриса Торова-Монская (фу, и фамилия-то какая-то надуманная и неестественная), у меня она, по рассказу, имеет и большой опыт и известное имя. Первый дебют — это и понятно и приемлемо и для читателей. Название же «Последний дебют» вызывает невольное недоумение. Можно подумать, что моя все-таки уже не очень молодая героиня только и знала в своей актерской жизни, что дебютировала и дебютировала и всегда неудачно, пока не додебютировалась до самоубийства...»

И вот опять стало в подсознание Александрова прокрадываться то темное пятно, та неведомая болячка, та давно знакомая досадная неловкость, которые он испытывал порою, перечитывая в двадцатый раз свою рукопись. И чем более он теперь вчитывался мысленно, по памяти, в «Последний дебют», тем более он находил в нем корявых тусклых мест, натяжек, ученического напряжения, невыразительных фраз, тяжелых оборотов.

«Нет, это мне только так кажется, — пробовал он себя утешить и оправдаться перед собою. — Уж очень много было в последние дни томления, ожидания и

неприятностей, и я скис. Но ведь в редакциях не пропускают вещей неудовлетворительных и плохо написанных. Вот принесет Венсан какую-нибудь чужую книжку, и я отдохну, забуду сюиту, отвлекусь, и опять все снова будет хорошо, и ясно, и мило... Перемена вкусов...»

В шесть часов вечера в свободное послеобеденное время сторож, перновский ефрейтор, постучался в решетчатую дверь карцера.

— Вам, господин юнкер, книжку какуюсь принесли. Извольте преполучить.

Эта книга, сильно потрепанная, была вовсе незнакома Александрову.

«Казаки. Повесть. Сочинение графа Толстого», — прочитал он на обложке.

«Должно быть, не очень уж интересно, что-то из истории... но для кутузки и такое кушанье подойдет».

— Скажи господину юнкеру, что очень благодарю.

Начал он читать эту повесть в шесть с небольшим вечера, читал всю ночь, не отрываясь, а кончил уже тогда, когда утренний ленивый белый свет проник сквозь решетчатую дверь карцера.

— Что же это такое, — шептал он, изнеможенный, потрясенный и очарованный, ероша и крутя отчаянно волосы на голове. — Господи, что же это за великое чудо? Ну я понимаю: талант, гений, вдохновение свыше... это Шекспир, Гете, Байрон, Гомер, Пушкин, Сервантес, Данте, небожители, витавшие в облаках, питавшиеся амброзиею и нектаром, говорившие с богами, и так далее и тому подобное... То есть я не понимаю, но с благоговением признаю и преклоняюсь. Но, господи боже мой, как же это так. Простой, обыкновенный человек, даже еще и с титулом графа, человек, у которого две руки, две ноги, два глаза, два уха и один нос, человек, который, как и все мы, ест, пьет, дышит, сморкается и спит... и вдруг он самыми простыми словами, без малейшего труда и напряжения, без всяких следов выдумки взял и спокойно рассказал о том, что видел, и у него выросла несравненная, недосягаемая, прелестная и совершенно простая повесть.

И Александров, подобно Оленину, увидевшему впервые на станции горы, начал с блаженным ненасытным голосом в душе перечислять:

«Ну Оленин — это барин, это интеллигент, что о нем говорить. А дядя Ерошка! А Лукашка! А Марьянка! А станичный сотник, изъяснявшийся так манерно. А застреленный абрек! А его брат, приехавший в челноке выкупать труп. А Ванюшка, молодой лакеишка с его глупыми французскими словечками. А ночные бабочки, вьющиеся вокруг фонаря. «Дурочка, куда ты летишь. Ведь я тебя жалею...»

И тут вдруг оборвался молитвенный восторг Александрова: «А я-то, я. Как я мог осмелиться взяться за перо, ничего в жизни не зная, не видя, не слыша и не умея. Чего стоит эта распроклятая из пальца высосанная сюита. Разве в ней есть хоть малюсенькая черточка жизненной правды. И вся она по бедности, бледности и неумелости похожа... похожа... похожа...»

В этот момент его память внезапно как бы осветилась, и сразу ясной стала бередившая его недавно тревога, причиняемая какой-то необъяснимой болячкой, нудным и неловким пятном.

«Да, — сказал он с горьким мужеством, — твой «Последний дебют», о несчастный, похож не на что иное, как на те глупые стихи, которые ты написал в семилетнем возрасте:

Скорее, о птички, летите
Вы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет уж лето у нас.

В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
Деревья распустят листочки,
И будет прелестнейший вид.

И, ударив изо всех сил ладонью по дубовому столу, он сказал громко:

— К черту! Конец баловству!

Дрозд продержал Александрова вместо трех суток только двое. На третий день утром он пришел в карцер и сам выпустил арестованного.

— Вы знаете, юнкер Александров, — спросил он, — за что вы были арестованы?

— Так точно, господин капитан. За то, что я написал самое глупое и пошлое сочинение, которое когда-либо появлялось на свет божий.

— Ну нет, — возразил Дрозд мягко, — унижение паче гордости. Очень может быть, что ваш труд имеет свои несомненные достоинства. Но вина ваша заключается в том, что вы небрежно изучали военные уставы и особенно устав внутренней службы. Там ясно сказано: «Если кто из военнослужащих напишет какую-либо рукопись и захочет отдать ее для напечатания, то должен об этом сообщить и рукопись представить своему непосредственному начальнику». Вы, например, — вашему фельдфебелю. Он сообщает о вашем намерении и вручает вашу рукопись мне. Я — командиру батальона, последний — начальнику училища. Таким образом его превосходительство является вашим последним судьей и разрешителем. В случае разрешения для печати оригинал ваш идет в обратном порядке вниз, вплоть до фельдфебеля, который и сообщает вам о разрешении или воспрещении. Понятно?

— Так точно, господин капитан.

— Ну, теперь идите в роту и, кстати, возьмите с собою ваш журнальчик. Нельзя сказать, чтобы очень уж плохо было написано. Мне моя тетушка первая указала на этот номер «Досугов», который случайно купила. Псевдоним ваш оказался чрезвычайно прозрачным, а кроме того, третьего дня вечером я проходил по роте и отлично слышал галдеж о вашем литературном успехе. А теперь, юнкер, — он скомандовал, как на учении: — На место. Бегом ма-а-арш.

Александров больше уже не перечитывал своего так быстро облинявшего творения и не упивался запахом типографии. Верный обещанию, он в тот же день послал Оленьке по почте номер «Вечерних досугов», не предчувствуя нового грядущего огорчения.

Было очень редким примером рассеянности и невнимания то обстоятельство, что, перечитавши бесконечно много раз свой «Последний дебют», он совсем небрежно отнесся к посвящению, пробегая его вскользь. А между тем в посвящение вкралась роковая ошибка.

Посвящается Ю. Н. Син...никовой.

Но сильна, о могучая, вечная власть первой любви! О, незабываемая сладость милого имени! Рука бывшей, но еще не умершей любви двигала пером юноши, и он в инициалах, точно лунатик, бессознательно поставил вместо буквы «О» букву «Ю». Так и было оттиснуто в типографии.

Через два дня Александров получил зловещий, ядовитый ответ:

«Я получила журнал с Вашим сочинением. Говоря по правде, Вы свободно могли бы не утруждать себя этой присылкой. Судя по начальной букве «Ю», посвящение сделано не мне, а какой-то другой особе, которой имя начинается на букву «Ю».

Так же странной мне показалась и подпись под произведением. Очевидно, господин Алехан Андров — знатный сын востока — и есть автор этого замечательного создания, прочитать которое у меня не было ни свободного времени и ни малейшего желания.

По некоторым причинам я вряд ли смогу когда-нибудь увидеться с Вами, и потому прощайте.

О. Синельникова».

Через недели две-три, в тот час, когда юнкера уже вернулись от обеда и были временно свободны от занятий, дежурный обер-офицер четвертой роты закричал во весь голос:

— Юнкер Александров. В приемную, на свидание.

Александров побежал к нему:

— Не знаете ли кто?

— Не знаю. Какой-то шпак.

Шпаками назывались в училище все без исключения штатские люди, отношение к которым с незапа-

мятных времен было презрительное и пренебрежительное. Была в ходу у юнкеров одна старинная песенка, в которую входил такой куплет:

Терпеть я штатских не могу
И называю их шпаками,
И даже бабушка моя
Их бьет по морде башмаками.

Зато военных я люблю,
Они такие, право, хваты,
Что даже бабушка моя
Пошла охотно бы в солдаты.

Александров быстро, хотя и без большого удовольствия, сбежал вниз. Там его дожидался не просто шпак, а шпак, если так можно выразиться, в квадрате и даже в кубе, и потому ужасно компрометантный. Был он, как всегда, в своей широченной разлетайке и с таким же рябым, как кукушечье яйцо, лицом, словом, это был знаменитый поэт Диодор Иванович Миртов, который в свою очередь чувствовал большое замешательство, попавши в насквозь военную сферу.

— Я только на минутку, Алеша. Пришел поздравить вас с рождением первенца и передать вам гонорар, десять рублей. И уж вы меня простите, сейчас же бегу домой. Сижу я здесь, и все мне кажется: а вдруг вы все сейчас начнете стрелять. Адье, Алеша, и не забывайте мой дом на голубятне.

И он так быстро исчез, точно провалился сквозь театральный люк.

Свежая совесть подсказала было юнкеру бежать, вернуть поэта назад и отдать ему деньги, взятые за ничего не стоящую сюиту, но разыграть такую неуклюжую сцену в присутствии дежурного офицера (ведь Миртов несомненно будет противоречить) показалось ему зазорным и постыдным.

Десять рублей — это была огромная, сказочная сумма. Таких больших денег Александров никогда еще не держал в своих руках, и он с ними распорядился чрезвычайно быстро: за шесть рублей он купил маме шевровые ботинки, о которых она, отказывавшая себе во всем, частенько мечтала как о невозможном

чуде. Он взял для нее самый маленький дамский размер, и то потом старушке пришлось самой сходить в магазин переменить купленные ботинки на недомерок. Ноги ее были чрезвычайно малы.

На два рубля Александров и Венсан два раза угощались савостьяновскими пирожными, посылая за ними служащего. На остальные же два они в воскресенье пошли в Татерсал и около часа ездили верхом, что считалось утонченнейшим наслаждением.

ЧАСТЬ II

Глава XV

ГОСПОДИН ОБЕР-ОФИЦЕР

Правильно и мудро сказал когда-то знаменитый писатель Диодор Иванович Миртов (с которым Александров после своего литературного провала перестал видеться из-за горького и мучительного стыда):

— Время течет, течет. Ничто его не остановит и ничто не повернет обратно. Аминь.

Средина и конец 1888 года были фатальны для мечтательного юноши, глубоко принимавшего к сердцу все радости и неудачи. Черных дней выпадало на его долю гораздо больше, чем светлых: тоскливое, нудное пребывание в скучном положении молодого, начинающего фараона, суровая, утомительная строевая муштровка, грубые окрики, сажание под арест, назначение на лишние дневальства — все это делало военную службу тяжелой и непривлекательной. А тут еще постоянные нелады с точной наукой, которая называется военной фортификацией. Преподает ее полковник инженерных войск Колосов, человек лютой строгости, холодный и безжалостный. Он знаменит во всей Москве как строитель солидного памятника русским воинам, живот свой положившим в русско-турецкую войну 1877—78 годов. Но эта слава не мешает ему губить и топить беспомощных юнкеров, как слепых щенят. Его система преподавания была проста,

кратка и требовательна до ужаса. Войдя в аудиторию и не здороваясь, он непременно должен был найти уже готовыми все приспособления для лекции: вычищенную до блеска классную доску, чистую, слегка влажную губку и несколько мелков, тщательно отточенных в виде лопаточек и обернутых в белые ровные бумажки. Он ничему не учил. Он брал мелок, подходил с ним к доске и странным, повелительным, беглым голосом произносил:

— Амбразура, или полевой окоп, или люнет, барбет, траверс и так далее. — Затем он начинал молча и быстро чертить на доске профиль и фас укрепления в проекции на плоскость, приписывая с боков необычайно тонкие, четкие цифры, обозначавшие футы и дюймы. Когда же чертеж бывал закончен, полковник отходил от него так, чтобы его работа была видна всей аудитории, и воистину работа эта отличалась такой прямизной, чистотой и красотой, какие доступны только при употреблении хороших чертежных приборов.

Лекция оканчивалась тем, что Колосов, вооружившись длинным тонким карандашом, показывал все отдельные части чертежа и называл их размеры: скат три фута четыре дюйма. Подъем четыре фута. Берма, заложение, эскарп, контр-эскарп и так далее. Юнкера обязаны были карандашами в особых тетрадках перечерчивать изумительные чертежи Колосова. Он редко проверял их. Но случалось, внезапно пройдя вдоль ряда парт, он останавливался, показывал пальцем на чью-нибудь тетрадку и своим голосом без тембра спрашивал:

— Паук? Корзинка с земляникой? Хамелеон? — И, сделав малую паузу: — Единица!

Он был очень самостоятелен и почти никогда не дожидался звонка на перемену. Просто доставал надушенный платок из тонкого полотна, отряхивал свою грудь и руки от еле заметных пылинок мела, встряхивал платком и, не сказав ни слова, уходил, когда ему хотелось.

Александров никак не мог удовлетворить этого строгого, бесчувственного, всегда молчаливого идола.

Чертить он умел отлично, и линия у него выходила щеголевато ровной, но основных начал фортификации он не мог преодолеть. Его воображению никак не удавалось видеть предметы, построенные из земли и камня, в проекции на плоскость, то есть не имеющими ни материи, ни веса. Если бы ему показали люнет, барбет или амбразуру, сделанными из глины или папье-маше, он наверное понял бы мгновенно ошибку своего геометрического неведения. Но об этом, увы, никто не хотел позаботиться. Почти в каждую репетицию Колосов молча ставил ему неудовлетворительные баллы, а Дрозд лишал его отпуска, этой отрады, услады и моральной поддержки.

Но еще больше терзали бедного фараона Александрова личные, интимные горести и разочарования: позорная измена Юлии Синельниковой, холодная и насмешливая отставка, полученная от Ольги Синельниковой, и, наконец, этот ужасный разгром литературной великой карьеры, разгром, признанный им самим с горьким отчаянием...

И Александров загрустил...

Но время течет, течет и в своем бесконечном течении потихоньку сглаживает все острые углы, подтачивает скалы, рассасывает мели, изменяет пейзажи и фарватеры.

Теперь Александров — фараон только по прозвищу. Гимнастика и фехтование развернули его грудь вширь. Вся трудность воинских упражнений и военного строя отошла бесследно. Ружье не тяжелит, шаг выработался большой и крепкий, а главное, появилось в душе гордое и ответственное сознание: я — юнкер славного Александровского училища, и трепещите все, все недруги. Даже с неодолимой фортификацией начались очень милые отношения. Однажды вечером, подготовляясь к завтрашней репетиции по проклятой фортификации, Александров громко и злобно чертыхнулся:

— Нет, когда же я, черт побери, освоюсь с этой фортификационной путаницей, да будут прокляты и полковник Колосов и его учитель Цезарь Кюи.

Сосед его по койке, скромный, тихий, благовоспитанный Прибиль, отличный пианист, сказал сочувственно:

— Послушайте-ка, друг Александров, не сердитесь на то, что я ввязываюсь не в свое дело. Я уже давно замечаю, что у вас постоянные недоразумения и огорчения с фортификацией. Мне кажется, что я могу вам немножко помочь, если вы, конечно, позволите. Все дело в сущем пустяке, который можно в одну минуту удалить. Вот, например, мой портсигар (Прибиль вынул из кармана простенький, изящный портсигар из карельской березы). Предположим, что он вам очень понравился и вам хочется заказать мастеру совершенно точно такой же по качеству и по размерам. Что вы для этого делаете? Вы приходите к мастеру и говорите: «Любезный мастер, сделайте мне хороший портсигар из карельской березы, шести дюймов в длину, четырех в ширину и двух в толщину». Не так ли? Для того чтобы заказ лучше удержался в его памяти, вы можете взять листик бумаги, карандаш и разграфленную линейку и начертить все размеры, надписав: длина, ширина, толщина. Ведь не придет же вам в голову написать этот портсигар для мастера на полотне масляными красками или пастелью, хотя вы и отличный художник? Вы смотрите на фортификационные чертежи, как на стереометрию, а они только планиметрии. Я видел, как вы тщетно корпели и возились над амбразурами. Очевидно, у вас из памяти не выходили старинные, громадные амбразуры времен д'Артаньяна и Вобановских укреплений. А теперешняя амбразура — это просто мелкая канавка, которую вы сами выкопали, чтобы не видно было вашего ружья. Положительно, вы делаете слишком много чести фортификации, и это вам идет во вред.

Он замолчал. Александров некоторое время сидел с полуоткрытым ртом. Наконец, со стуком закрыв его, он сказал:

— Прибиль, сделайте мне милость, назовите меня идиотом.

— Что вы, что вы, Александров. Бог с вами.

— Нет уж, пожалуйста, назовите.

И так они пререкались до тех пор, пока стоявший рядом Жданов не произнес:

— Хотя и не верю своим собственным словам, но вы идиот, мистер Александров.

— Спасибо, Жданов. Ведь это просто невероятно, в каком я до сих пор был нелепом заблуждении. Теперь мне сразу точно катаракт с обоих глаз сняли. Все заново увидел благодаря волшебнику Прибилю (имя же его будет для меня всегда священно и чтимо).

На другой же день, во время очередой репетиции, Александров дал своим сокурсникам небольшое представление.

— Александров! — вызвал его своим бесцветным голосом полковник, у которого и глаза и перо, казалось, уже готовились поставить привычную единицу, — потрудитесь начертить двойной траверс и указать все его размеры.

Александров подошел к доске (и все сразу узнали походку Колосова), вынул из кармана тщательно очиненный по колосовской манере мелок, завернутый аккуратно в чистую белую бумагу и (все даже вздрогнули) совершенно колосовским, стеклянным голосом громко объявил:

— Двойной траверс.

Он чертил замечательно скоро и уверенно. Линии у него выходили тоньше, чем у Колосова, и менее выпуклы, но так же красивы. Окончив чертеж и подписав все цифры, Александров со спокойной отчетливостью назвал все линии и все размеры, не произнеся ни одного лишнего слова, не сделав ни одного ненужного движения, спрятал мелок в карман и по-строевому вытянулся, глядя в холодные глаза полковника.

Колосов помолчал. Впервые юнкера увидели на его каменном лице что-то похожее на удивление.

— Почему же раньше, — спросил он, — почему раньше ваши чертежи были похожи на какие-то пейзажи и вы постоянно путались в названиях и цифрах? Что такое с вами сделалось?

— Я просто решил следовать до мельчайших подробностей вашим урокам, господин полковник.

— А может быть, вам надоели постоянные единицы?

— Отчасти, господин полковник.

— Гмм. Теперь вы меня поставили в очень неудобное положение. Поставить вам двенадцать я не могу, ибо это знак абсолютного совершенства, какого в мире не существует. Одиннадцать — это самый высший балл, на который знаю фортификацию только я. Поэтому не обижайтесь, что на этот раз я поставлю вам только десять. Можете сесть.

Это была большая победа, окрылившая Александрова. После нее он сделался лучшим фортификатором во всем училище и всегда говорил, что фортификация — простейшая из военных наук.

Текло время. Любовные раны зажили, огорчения рассеялись, самолюбие успокоилось, бывшие любовные восторги оказались наивной детской игрой, и вскоре Александровым овладела настоящая большая любовь, память о которой осталась надолго, на всю его жизнь...

Выветрилось понемножку и позорное сознание о злой неудаче в литературе. Верный инстинкт подсказал Александрову доброе противоядие: он опять вернулся к рисованию и живописи. Во все отпускные дни (а их теперь стало гораздо больше после победы над Колосовым) он ходил в Третьяковскую галерею, Строгановскую школу, в Училище живописи и ваяния или брал уроки у Петра Ивановича Шмелькова[1]. Множество картонов и блокнотов истратил он, делая портретные изображения карандашом, углем и акварелью со своих товарищей, начальников и учителей. Эта работа спорилась послушно и приятно. Новый клин окончательно вышиб клин старый.

Между прочим, подходило понемногу время первого для фараонов лагерного сбора. Кончились экзамены. Старший курс перестал учиться верховой езде

---

[1] Шмельков — талантливый рисовальщик. Он забыт современными русскими художниками. См. о нем монографию, написанную французскими писателями Denis Roches. *(Прим. автора.)*

в училищном манеже. Господа обер-офицеры стали мягче и доступнее в обращении с фараонами. Потом курсовые офицеры начали подготовлять младшие курсы к настоящей боевой стрельбе полными боевыми патронами. В правом крыле училищного плаца находился свой собственный тир для стрельбы, узкий, но довольно длинный, шагов в сорок, наглухо огороженный от Пречистенского бульвара.

Туда каждый день с утра до вечера водили молодых юнкеров поочередно, по четыре, на стрельбу, следили за тем, чтобы юнкер при выстреле не зажмуривался, не вздрагивал при отдаче, глядел бы точно на мушку сквозь прорезь прицела и нажимал бы спуск не рывком, но плавным движением.

В другом конце тира ставились картонные мишени с концентрическими черными окружностями, попадать надо было в центральный сплошной кружок. Благодаря малости помещения выстрелы были страшно оглушительны, от этого юнкера подолгу ходили со звоном в голове и ушах и едва слышали лекции и даже командные слова.

Но еще труднее с непривычки была чересчур сильная отдача ложа в плечо при выстреле. Она была так быстра и тяжела, что, ударяясь в тринадцатифунтовую берданку, чуть не валит начинающего стрелка с ног. Оттого-то у всех фараонов теперь правое плечо и правая ключица в синяках и по ночам ноют.

Но и домашнее обучение стрельбе окончено. «Умей чистить и протирать винтовку, чтобы она и снаружи и снутри у тебя блестела, как зеркало». Наступает утро, когда весь батальон, со знаменем, строгим строем, в белых каламянковых рубахах, под восхитительную музыку своего оркестра, покидает плац училища и через всю Москву молодецки марширует на Ходынское поле в старые-престарые лагери.

Воспоминание о них остается слабым и незначительным для Александрова. Каждый день стрельба и стрельба, каждый день глазомерные и компасные съемки, каждый день батальонные учения и рассыпной строй. Идут постоянные дожди, когда юнкера сидят

по баракам и в тысячный раз перезубривают уставы и «словесность».

Но самое главное то, что унижает фараонов до нуля, — это громадная роль и всеподавляющее значение, которые теперь легли на господ обер-офицеров.

На днях выборы вакансий, производство, подпоручичьи эполеты, высокое звание настоящего обер-офицера. Фараоны где-то вдали, внизу, в безвестности и забвении. И они чрезвычайно были обрадованы, когда дня за три до производства старшего курса в первый офицерский чин их распустили в отпуск до конца августа.

Александров провел остаток лета вместе с мамой у своего шурина, мужа сестры Зины, в его чернореченском лесничестве, находящемся под Коломной. Там он много охотился, ловил рыбу и шлялся по лесам за ягодами и грибами.

Осталось одно неприятное и стыдное воспоминание о жене лесника Егора, Марье, красивой, здоровой бабенке, которая ему вскоре опротивела до смерти.

Вернулся он в училище настоящим обер-офицером, выросший чуть не на голову, с хриплыми басовыми нотами в голосе, загорелый, отрастивший настоящие усы в один миллиметр длиною.

О, как ему знакомы, близки и жалки были беспомощные неуклюжести новичков, их растерянность, их неумение найти тон. Он никогда не забывал своих первых жутких впечатлений в училище, когда был, точно чудом, перенесен из игрушечной жизни в суровую и строгую настоящую жизнь.

Он был хорошим обер-офицером, всегда готовым на помощь и на защиту фараону. Но старых адатов он не касался. Он чувствовал, что в них есть и надобность и скрепляющая сила.

Он был пламенным поклонником темпа.

— Темп, — говорил он фараонам, — есть великое шестое чувство. Темп придает уверенность движениям, ловкость телу и ясность мысли. Весь мир построен на темпе. Поэтому, о! фараоны, ходите в темп,

делайте приемы в темп, а главное, танцуйте в темп и умейте пользоваться темпом при фехтовании и в гимнастических упражнениях.

Он и сам не подозревал того, что очень любившие его фараоны между собою называли его «обер-офицер Темп».

Ротный командир Дрозд, не стесняясь, говорил иногда, что он очень жалеет, почему Александров не дотянул на экзаменах до общего среднего балла, который дал бы ему возможность стать портупей-юнкером, командиром взвода.

Но, увы! Полковник Колосов не мог простить ему воистину волшебного просияния в фортификации и к круглым десяткам упрямо присоединял прошлые единицы, тройки и пятерки, поставленные еще на репетициях, чем и понизил значительно шансы Александрова. Увы! Этот слишком земной человек не веровал в чудеса и не ценил их. Но это не огорчало Александрова. Он наслаждался спокойной военной жизнью, ладностью во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного мускулистого молодого тела.

Глава XVI

ДРОЗД

В четвертой роте числится сто юнкеров, но на рождественские каникулы три четверти из них разъехалось из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам: кто в Тифлис, кто в Полтаву, Полоцк, Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения. Им хорошо: сплошь две недели отдыха, веселия, приключений, охоты, поездок ряжеными; никакой заботы и памяти об училище. Они вернутся в него лишь десятого января, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие, с большим запасом домашних варений, солений, сухих яблоков, малороссийского сала, чурчхелы, бадриджанов и прочей снеди.

А вот коренным москвичам — туго. Изволь являться трижды в неделю в училище, да еще ровно к семи часам утра, и только для того, чтобы на приветствие Дрозда (командира четвертой роты, капитана Фофанова) проорать: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». А зачем? Мы, здешние, также никуда не убежим, как и иногородние.

Приблизительно так бурчит про себя господин обер-офицер Александров, идя торопливыми большими шагами по Поварской к Арбату. Вчера была елка и танцевали у Андриевичей. Домой он вернулся только к пяти часам утра, а подняли его насилу-насилу в семь без двадцати. Ах, как бы не опоздать! Вдруг залепит Дрозд трое суток без отпуска. Вот тебе и рождество...

Глаза у Александрова еще не совсем проснулись после краткого сна, в них чувствуется резь и усталость. Но запах снега так вкусен, мороз так весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему телу... Через две минуты Александров спрашивает самого себя с удивлением: «Где же моя усталость, недовольство и кислота?» Их нет, исчезли. Тело не имеет больше веса. Эта невесомость — одно из блаженнейших ощущений на свете, но оно негативно, оно так же незаметно и так же не вызывает благодарности судьбе, как тридцать два зуба, емкие легкие, железный желудок; поймет его Александров только тогда, когда утеряет его навсегда; так, лет через двадцать.

Снег тонко скрипит под его лакированными сапожками. Снег скрипит под ногами у всех пешеходов. Он визжит под полозьями саней, оставляющих за собою в нем блестящие, скользкие полосы, а на заворотах он крепко хрустит, смятый полозьями. Изо всех труб высоко над домами стоят, неподвижно устремясь в зеленое небо и там слегка курчавясь, белые прямые столбы дыма. Вот налево Савостьянов, булочная, а наискосок Арбатской площади — белое длинное здание Александровского училища на Знаменке, с золотым малым куполом над крышей, знак домашней церкви. Слава богу, минута в минуту. Не опоздал.

Портупей-юнкер Золотов — круглый сирота; ему некуда ехать на праздники, он заменяет фельдфебеля четвертой роты. Он выстраивает двадцать шесть явившихся юнкеров в учебной галерее в одну шеренгу и делает им перекличку. Все в порядке. И тотчас же он командует: «Смирно. Глаза налево». Появляется с левого фланга Дрозд и здоровается с юнкерами.

Мальчишеские прозвища удивительно метки. Капитан Фофанов вислоплеч и длинконос. Его худощавое лицо смугло и румяно. Черные волосы на голове разделены косым четким пробором; легкой красиво-неуклюжей переваличкой и боковым наклоном головы, при внимательном и быстром взгляде, он действительно напоминает птицу, и именно черного дрозда. Он очень требователен и суров в делах службы и строевого учения. «Без отпуска», карцер, дежурства и дневальства вне очереди так и сыпятся из него в несчастливые для юнкеров дни. И все это с величайшей вежливостью: «Юнкер Александров, будьте любезны отправиться на двое суток под арест, с исполнением служебных обязанностей». Но вне условий, требующих крутой дисциплины, он фамильярный друг, защитник и всегдашняя выручка. Эти его милые черты хорошо знакомы всем проказливым юнкерам четвертой роты и особенно Александрову, самому неистовому баловнику. Но зато Дрозд ненавидит малейший оттенок лжи и требует от провинившегося юнкера мгновенного и точного признания.

Однажды юнкер Александров был оставлен без отпуска за единицу по фортификации. Скитаясь без дела по опустевшим залам и коридорам, он совсем ошалел от скуки и злости и, сам не зная зачем, раскалил в камине уборной докрасна кочергу и тщательно выжег на красной фанере огромными буквами слово «Дрозд».

В понедельник утром, после утренней переклички, еще не распуская роты, выдержав паузу, капитан спросил, по обыкновению протягивая перед некоторыми словами длинный ять (он был чуть-чуть заикой):

— Э-какой это болван э-начертил в нужнике э-какую-то похабщину?

Александров в ту же секунду громко крикнул из строя:

— Я, господин капитан!

Командир совсем по-птичьи окинул юнкера боковым взглядом и произнес с презрительным равнодушием:

— Э-так я и знал. — И скомандовал роте: — Разойдитесь!

Вечером, перед чаем, когда все зубрили, сидя на своих койках, уроки к завтрему, юнкер Александров увидел Дрозда, проходившего по галерее, и подбежал к нему. Юнкер весь день томился, подавленный великодушием начальника.

— Господин капитан, позвольте мне попросить у вас прощения.

— Э-дурачок, — протянул Дрозд. — Э-пустяки. Ступай заниматься, э-чертежник ты этакий!

И слегка толкнул его ладонью в спину. Но в голосе Дрозда и его прикосновении юнкер почувствовал теплоту.

Так воспитывал Дрозд своих девятнадцатилетних птенцов в проворном повиновении, в безусловной правдивости, на широкой развязке взаимного доверия.

Дрозд, заложив руки за спину, медленно, неуклюже идет вдоль фронта, зорко оглядывая каждое лицо, каждую пуговицу, каждый пояс, каждый сапог. Рядом с Александровым стоит крепко сбитый широкоплечий чернявый Жданов. Он нехорошо бледен, и белки его глаз слюняво желтоваты.

— Э-нездоров? — спрашивает Дрозд.

— Никак нет, господин капитан. Здоров.

Дрозд поводит туда-сюда острым подозрительным носом.

— Э-какую гадость вчера пил? — спрашивает он брезгливо.

Юнкер жмется, но тотчас отвечает.

— В гостях давали ананасный ликер, господин капитан.

— Ффу, какая мерзость! — морщится Дрозд. — Э-это не ликер, а дерьмо. И зачем тебе пробовать э-ликеры. Ну, выпей стакан красного вина и э-до-

вольно с тебя. А лучше и э-совсем не пей. Пьют от скуки паршивые неудачники, а перед тобою э-целый мир впереди. Будь весел и пьян э-без вина.

Подходит к концу докучный осмотр. У юнкеров чешутся руки и горят пятки от нетерпения. Праздничных дней так мало, и бегут они с такой дьявольской быстротой, убегают и никогда не вернутся назад!

Но Дрозд выходит на середину фронта, достает из отворота рукава какую-то бумажку и не спеша ее разворачивает. «Да, поскорее ты, Дроздище!» — мысленно понукает его Александров.

Дрозд начинает читать, мучительно растягивая свои яти:

— По распоряжению начальника училища, сегодня наряжены на бал, имеющий быть в Екатерининском женском институте, двадцать четыре юнкера, по шести от каждой роты. От четвертой роты поедут юнкера:

Он делает небольшим молчанием двоеточие, совсем маленькое, всего в полторы секунды, но в этот короткий промежуток сотни тревожных мыслей пробегают в голове Александрова.

Сегодня его день так полно и счастливо занят, что даже совсем не остается места для семейных радостей. К десяти часам он должен ждать в Зоологическом саду Наташу Манухину. Они будут кататься с великолепных ледяных гор. Какое острое наслаждение нестись стремительно вниз на маленьких салазках по отвесной сверкающей дороге, подвернув левую ногу под себя, а правой, как рулем, давая прямое направление волшебному лету. Правда, Наташа придет не одна, а в сопровождении скучной англичанки, похожей на птицу марабу. Но, к счастью, гувернантка не любит кататься с гор и, кажется, считает это одним из русских варварств. Она будет торчать на вышке, кутая в широкое обезьянье боа свой красный британский нос. А Наташа назло ей будет требовать еще и еще, и в последний раз еще и в самый-самый последний. Лицо Александрова слегка щекочет Наташина котиковая шубка, и как сладко пахнет эта шубка мехом и тонкими неизъяснимыми

духами, и сама Наташа, наверно, гордится своим кавалером: «Как ловок и смел этот милый Александров и, кажется, немного влюблен в меня». Ах, Наташа, совсем не немного, наоборот: до безумия.

В час завтрак у Шпаковских, а после завтрака веселая репетиция водевиля «Не спросясь броду, не суйся в воду», где Александров играет Макарку, а также и в живых картинах. Должно быть, и потанцуют немного. В этом большом, уютном, безалаберном доме две девочки, три барышни и всегда множество их подруг всяких возрастов. Там с утра до вечера поют, танцуют, устраивают игры, едят, влюбляются и звонко смеются. Александрову часто кажется, что он влюблен в младшую из барышень, в белокурую розовую Нину. Впрочем, все любви Александрова так многочисленны и скоропалительны, что сестра в шутку зовет его — господин Сердечкин.

Потом обед у Калмыковых, и тоже танцы. А затем — самое главное — вечером знаменитая елка в Благородном собрании, на которую съезжается вся молодая Москва: дети, подростки, барышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек: Машеньку Полубояринову, Сонечку Аничкову и Зою Скрипицыну. Бал, на котором танцуют, после того как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей. И, если говорить по правде, уже не в Машеньку ли влюбился, по-настоящему и мгновенно, несчастный юнкер в тот вечер, когда она играла Шопена, а он стоял, прислонившись к пианино, и то видел, то не видел ее нежное лицо, такое странное и такое изменчивое в темноте.

«Только не меня. Дорогой, золотой Дрозд, только, пожалуйста, не меня», — мысленно умоляет Александров.

— Э-Рихтер, — произносит капитан, — Жжданов, Бутынский, Карганов, Прибиль...

«Пронеси, пронеси, пронеси!» — умоляет судьбу Александров, изо всех сил стискивая зубы и кулаки. И вот падает холодно и непреклонно:

— И э-Александров. Кто хочет завтракать или обедать в училище, заявите немедленно дежурному для сообщения на кухню. Ровно к восьми вечера все должны быть в училище совершенно готовыми. За опоздание — до конца каникул без отпуска. Рекомендую позаботиться о внешности. Помните, что александровцы — московская гвардия и должны отличаться не только блеском души, но и благородством сапог. Тьфу, наоборот. Затем вы свободны, господа юнкера. Перед отправкой я сам осмотрю вас. Разойдитесь.

На лестнице Александров догоняет Дрозда. Последняя, отчаянная попытка.

— Господин капитан!

Дрозд останавливается на ступеньке, в птичий недоверчивый полуоборот к юнкеру.

— Э-что еще?

— Господин капитан, позвольте вам сказать, что я катался на коньках, и у меня подвернулась нога. Прямо ступить нельзя, такая боль.

— Э-врешь. Пойди в лазарет и принеси свидетельство.

Душа Александрова катится вниз, как с ледяной горы в Зоологическом.

— Господин капитан, — говорит он смущенно. — Положим, я могу себя осилить. Но у меня другие, важные причины.

— Ну?

— Нет перчаток.

Дрозд хмурится.

— Э-покажи руки.

Юнкер поворачивает обе руки ладонями вверх. Дрозд делает то же самое и сверяет руки свои и его.

— Ерунда. У нас одинаковый размер. Семь или семь с половиной, э-небольшая разница. Вечером я тебе пришлю мои, спросишь у фельдфебеля. Ступай. Ну, что же ты стоишь?

— Господин капитан, — робко говорит юнкер, вновь тронутый великодушием этого чудака. — Положим, перчатки у меня есть, только очень грязные, но я их могу вымыть. Но я должен вам сказать правду

(сейчас Александров подпустит маленькую лесть). Я знаю, что вы все можете простить.

Дрозд перебивает его, угрожающе вздернув подбородок вверх.

— Э-далеко не все.

— Простить очень многое, если вам говорят правду.

Дрозд с сомнением косится на юнкера.

— Э-попутай, попутай у меня еще!

— И вот я вам должен признаться откровенно, что...

— Э-девчонки, должно быть?

— Точно так, господин капитан. Барышни. Приехали только на две недели в Москву из Пензы. Мои родственницы. Обещался быть в Благородном собрании на елке. Дал честное слово. Ужасно обидно будет обмануть их и подвести.

Но Дрозд упрямо трясет головою.

— Э-все равно, поедешь. А женскую душу я знаю лучше тебя. Опоздал, не пришел, — пускай сердится; в следующий раз будет ждать еще нетерпеливее. И кроме того, я тебе скажу (тут его голос смягчается), что бал Благородного собрания, это — толкучка, рынок, открытый вход, открытый для всех: купеческие дочки из Замоскворечья, немки, цирюльники, чиновники и другие шпаки всякие. А в Екатерининский институт на бал можно попасть лишь по строгому выбору, по именному, личному приглашению. В Екатерининском, э-дружок мой, учатся девицы лишь из самых древних, самых настоящих, дворянских фамилий. Истинная, столбовая русская аристократия не в Петербурге, голубчик, а в Москве, у нас. Не пропускай случая. Летом выйдешь в офицеры. Придется тебе надолго, если не навсегда, законопатиться в каком-нибудь Проскурове или Кинешме, и никогда ты в жизни не увидишь подобной прелести и красоты. Ну, разве воинская доблесть вытянет тебя вверх или чудом попадешь в Академию, тогда — может быть... Но вернее всего, что навсегда нынешний бал останется для тебя, как прекрасный и э-неповторимый сон. И я тебе твердо говорю, что в пятницу ты сам же поблагодаришь меня. Э-иди, иди, юнкер.

Он ласково концами пальцев потрепал Александрова по плечу и поспешно стал спускаться по лестнице.

«Что же, — подумал Александров. — Видно, так и быть. Хорошо еще, что не на весь день оставил в училище. Все-таки кое-куда поспею. А Машеньке Полубояриновой пошлю записку с посыльным. Да вот еще: пораньше вымыть замшевые перчатки... Ну и Дрозд! Все-таки с ним можно жить. На все смотры, парады, встречи и церемонии, когда назначают юнкеров по выбору, он неизменно посылает и Александрова. О, тут большая ревность! Все училище помнит, по старому преданию, о том, как застрелился в курилке юнкер Кувшинников, будучи не включенным в те двенадцать рядов со знаменем, которые были наряжены в почетный караул для встречи государя. Здесь дело чести! Да и правда, юнкер Александров не особенно красив, — признается сам себе Александров, — скажем, даже совсем некрасив. Но он лучше многих прыгает через деревянную кобылу и вертится на турнике, он отличный строевик, в танцах у него ритм и послушность всех мускулов, а лучше его фехтуют на рапирах только два человека во всем училище: юнкер роты его величества Чхеидзе и курсовой офицер третьей роты поручик Темирязев... А красота? Что такое мужская красота?»

Восемь без пяти. Готовы все юнкера, наряженные на бал. («Что за глупое слово, — думает Александров, — «наряженные». Точно нас нарядили в испанские костюмы».) Перчатки вымыты, высушены у камина; их пальцы распялены деревянными расправилками. Все шестеро, в ожидании лошадей, сидят тесно на ближних к выходу койках. Тут же примостился и Дрозд. Он дает последние наставления:

— Следите за своим ножом и вилкой и опрятностью на тарелке, если позовут вас ужинать. Рыбу — только вилкой; можете помогать хлебной корочкой. Птицу в руки не брать. Ешь небольшими кусками, чтобы не быть с полным ртом, когда соседка обратится к тебе с разговором. Девчонкам глупостей не врать, всякие чувства побоку и э-к черту-с. Началь-

нице и генералам кланяться придворным поклоном, как учил танцмейстер. Если начальница протянет руку, приложись, но, склонившись, не чмокай. За старшего Рихтер. Вот и все. Завидую вам.

— Поехали бы с нами, господин капитан, — говорит Александров.

— Э-куда мне. Стар.

Довод печальный, но для юнкеров убедительный. Дрозду тридцать шесть лет. Действительно, в эгоистичном измерении юнкеров, это — глубокая старость. Александров, например, твердо решил дожить только до тридцати лет, а потом застрелиться. Стоит ли продолжать жить древним старцем, хладеющей развалиной?

— Вы еще совсем молоды, господин капитан, — говорит с лицемерным сочувствием цветущий армянин Карганов.

Дрозд машет рукой.

— Где уж!.. куда уж!..

Уедут юнкера туда, где свет, музыка, цветы, прелестные девушки, духи, танцы, легкий смех, а Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру, где, кроме денщика, ждут его только два живых существа, две черные дворняжки, без признаков какой бы то ни было породы: э-Мальчик и э-Цыган. Говорят, что Дрозд выпивает по ночам в одиночку.

Служитель быстро взбегает по лестнице и навытяжку останавливается перед Дроздом:

— Лошади поданы, ваше высокоблагородие.

— Ну, с богом, — говорит Дрозд, вставая. — Верю, что поддержите блеск и славу родного училища. После танцев сразу на мороз не выходите. Остыньте сначала. Рихтер, ты за этим присмотришь.

— Слушаю, господин капитан.

А служитель, коренной, всезнающий москвич, возбужденно шепчет сбоку юнкерам:

— Четыре тройки от Ечкина. Ечкинские тройки. Серые в яблоках. Не лошади, а львы. Ямщик грозится: «Господ юнкерей так прокачу, что всю жизнь помнить будут». Вы уж там, господа, сколотитесь ему на чаишко. Сам Фотоген Павлыч на козлах.

Глава XVII

ФОТОГЕН ПАВЛЫЧ

— С богом. Одевайтесь, — приказал Дрозд. — Э-смотрите, носов не отморозьте. Семнадцать градусов на дворе.

Юнкера волнуются и торопятся. Шинели надеваются и застегиваются на бегу. Башлыки переброшены через плечо или зажаты под мышкой. Шапки надеты кое-как. Все успеется на улице.

Здесь — вольное, безобидное состязание с юнкерами других рот. Надо во что бы то ни стало первыми выскочить на улицу и завладеть передовой, головной тройкой. Весело ехать впереди других!

Но вот едва успели шестеро юнкеров завернуть к началу широкой лестницы, спускающейся в прихожую, как увидели, что наперерез им, из бокового коридора, уже мчатся их соседи, юнкера второй роты, по училищному обиходу — «Звери», или, иначе, «Извозчики», прозванные так потому, что в эту роту искони подбираются с начала службы юноши коренастого сложения, с явными признаками усов и бороды. А сзади уже подбежали и яростно напирают третья рота — «Мазочки» и первая — «Жеребцы». На лестнице образовался кипучий затор.

— Четвертая, не выдавай! — кричит голосистый Жданов где-то впереди.

Александров пробуравливается сквозь плотные, сбившиеся тела и вдруг, как пробка из бутылки, вылетает на простор. Он видит, что впереди мелким, но быстрым шагом катится вниз коротконогий Жданов. За ним, как будто не торопясь, но явно приближаясь к нему, сигает зараз через три ступеньки длинный, ногастый «Зверь», у которого медный орел барашковой шапки отъехал впопыхах на затылок. Все трое в таком порядке сближаются на равные расстояния.

В эти доли секунды Александров каким-то инстинктивным, летучим глазомером оценивает положение: на предпоследней или последней ступени

«Зверь» перегонит Жданова. «Ах, если только хоть чуть-чуть нагнать этого долговязого, хоть коснуться рукой и сбить в сторону! Жданов тогда выскочит». Вопрос не в личной победе, а в поддержании чести четвертой роты.

И судьба ему помогает: правда, со внезапной грубостью. Кто-то сзади и с такою силою толкает Александрова, что его ноги сразу потеряли опору, а тело по инерции беспомощно понеслось вперед и вниз. Момент — и Александров неизбежно должен был удариться теменем о каменные плиты ступени, но с бессознательным чувством самосохранения он ухватился рукой за первый предмет, какой ему попался впереди, и это была пола вражеской шинели.

Оба юнкера упали и покатились вниз. Над ними, наступая на них, промчались бегущие ноги.

— Черт вас возьми! — заворчал «Зверь». — Это прием неправильный. Я ушиб себе коленку.

В эту минуту Александров почувствовал, что и он сам ссадил себе локоть. Подымаясь, он сказал шутливо, но с сочувствием:

— На войне все приемы правильны. Позвольте, я помогу вам встать. Меня пихнули сзади, и, уверяю вас, что без вашей невольной помощи я разбился бы в лепешку, а так только локтем стукнулся.

— Ну, да уж ладно, — засмеялся «Зверь», еще морщась от боли. — До свадьбы у нас обоих заживет. Пойдемте-ка.

В передовых санях, стоя, высился Жданов и орал во весь голос:

— Четвертая рота! Господа обер-офицеры! Сюда! — Теперь уже никто из чужой роты не позволил бы себе залезть в эту тройку. Таково было неписаное право первой заявки.

Какими огромными, неправдоподобными, сказочными показались Александрову в отчетливой синеве лунной ночи рослые серые кони с их фырканьем и храпом: необычайно широкие, громоздкие, просторные сани с ковровой тугой обивкой и тяжелые высокие дуги у коренников, расписанные по белому неведомыми цветами.

Белый пар шел из лошадиных ноздрей и от лошадиных спин, и сквозь него знакомый газовый фонарь на той стороне Знаменки расплывался в мутный радужный круг.

Ямщик перегибается с козел, чтобы отстегнуть волчью полость. Усы у него белые от инея, на голове большая шапка с павлиньими перьями. Глаза смеются.

— Садитесь, садитесь, господа юнкеря. В дороге утрясетесь, всем слободно будет.

— Тебя ведь Фотоген Палычем зовут? — спрашивает Бутынский.

— Совершенно верно, — отвечает ямщик, обминаясь на козлах. Голос у него приятный, уверенный и немного смешливый. — А вы откуда знаете?

Находчивый Карганов, не задумываясь, отвечает:

— Кто же не знает знаменитого Фотоген Палыча?

Другие юнкера быстро подхватывают:

— Тебя вся Москва знает. Первый троечник в Москве. Не в Москве, а во всей России. Это нам уж так повезло, в твои сани попасть.

Невинная лесть! Однако она доходит до крутого ямщичьего сердца.

— Буде, буде... наговорили.

Он тихо, но густо смеется: немного похоже на то, как довольно регочет жеребец, когда к нему в стойло входит конюх с мерой овса.

— Пошли, что ли? — кричит сзади ямщик нараспев.

Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз поерзал задом на сидении и, слегка повернув голову, протянул внушительным баском:

— Тро-огай...

Заскрипели, завизжали, заплакали полозья, отдираясь от настывшего снега, заговорили нестройно, вразброд колокольцы под дугами. Легкой рысцой, точно шутя, точно еще балуясь, завернула тройка на Арбатскую площадь, сдержанно пересекла ее и красиво выехала на серебряный Никитский бульвар.

Никогда не забыть потом Александрову этой прелестной волшебной поездки! Ему досталось место ли-

цом к лошадям, крайнее справа. Он мог свободно видеть косматую голову широкобокого коренника и всю целиком правую пристяжную, изогнувшую кренделем, низко к земле, свою длинную гибкую шею, и даже ее кровавый темный глаз с тупой, злой белизной белка. С удовольствием он чувствовал, как в лицо ему летят снежные брызги из-под лошадиных копыт. Но в душе его все-таки мелькала, как, может быть, и у других юнкеров, досадная мысль: где же, наконец, эта пресловутая, безумная скачка, от которой захватывает дух и трепыхает сердце? Или она только для пьяных московских купцов? А еще грозился лихо прокатить «юнкерей»!

Но эта дурная мысль так же быстро исчезла, как и пришла. В езде Фотогена есть магическая непонятная красота.

Пробежал назад Тверской бульвар, с его нарядными освещенными особняками. Темный Пушкин на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову. Напротив широкая белая масса Страстного монастыря, а перед ней тесная биржа лихачей и парных «голубков». Кто-то из юнкеров закурил. Александров с трудом достал свой кожаный портсигар и долго возился со спичками, упрямо гасшими на быстром движении. Когда же ему удалось разжечь папиросу и он поглядел перед собою, то он уже не мог узнать ни улиц, ни самой Москвы. Ехали какими-то незнакомыми чужими местами.

Какой великий мастер своего дела Фотоген Палыч! Вот он едет узкой улицей. Неизъяснимыми движениями вожжей он сдвигает, сжимает, съеживает тройку и только изредка негромко покрикивает на встречные сани:

— Берегись. Поб-берегись, извозчик!

Но только поворотит на улицу посвободнее, как сразу распутит, развернет лошадей во всю ее ширину, так что загнувшиеся пристяжные чуть не лезут на тротуары. «Эй, с бочками! держи права!» И опять соберет тесно свою послушную тройку.

«Точно закрывает и раскрывает веер, — думает Александров, — так это красиво!»

А сидящий с ним рядом смуглый Прибиль, талантливый пианист, бодает его головой в плечо и, захлебываясь, говорит непонятные слова:

— Крещендо и диминуендо... Он — как Рубинштейн!

Временами неведомая улица так тесна и так запружена санями и повозками, что тройка идет шагом, иногда даже приостанавливается. Тогда задние лошади вплотную надвигаются мордами на задок, и Александров чувствует за собою совсем близкое, теплое, влажное дыхание и крепкий приятный запах лошади.

А потом опять широкая безымянная улица, и легкий лет саней, и ладный ритм лошадиных копыт: та-та-та-та — мерно выстукивает коренник, тра-та, тра-та, тра-та — скачут пристяжные. И все так необычайно в таинственном нездешнем городе. Вот под полотняным навесом, ярко освещенный висячим фонарем, стоит чернобородый, черноглазый, румяный, белозубый торговец около яблочного ларя. В прекрасные призмы уложены желтые, красные, белые, пунцовые, серые яблоки. Издали чувствуется в них аромат и ясно воображается на зубах их сладкая кислинка (если бы закусить кусочек поглубже). Вот выбежала из ворот, без шубки, в сером платочке на голове, в крахмальном передничке, быстроногая горничная: хотела перебежать через дорогу, испугалась тройки, повернулась к ней, ахнула и вдруг оказалась вся в свету: краснощекая, веселая, с блестящими синими глазами, сияющими озорной улыбкой. «Поберегитесь, красавица! Задавлю!» — воркующим голосом окликает ее Фотоген и, полуобернувшись назад, говорит:

— Ладные у нас бабочки на Москве живут. — И сейчас же окрикивает замешкавшегося возчика: — Заснул, гужеед!

И вот юнкера едут по очень широкой улице. Александрову почему-то вспоминается давнишняя родная Пенза. Направо и налево деревянные дома об одном, реже о двух окошках. Кое-где в окнах слабые цветные огоньки, что горят перед иконами. Лают собаки.

Фотоген идет все тише и тише, отпрукивая тонким учтивым голоском лошадей.

Наконец останавливается у трактира. Там, сквозь запотевшие стекла, чувствуется яркое освещение, мелькают быстрые большие тени, больше ничего не видно. Слышны звуки гармонии и глухой, тяжелый топот.

Вторая тройка проезжает мимо. С нее слышится окрик:

— Чего стал, дядя Фотоген?

— Супонь, — сердито отвечает Фотоген.

А уж с третьей тройки доносится деловой бас:

— Знаем мы твою супонь...

Фотоген не спеша слезает с облучка, поддерживая, как шлейф, длинные полы армяка, и величественно передает вожжи Александрову.

— Подержи, барин. Мне тут нужно по одному делу.

Александров польщен и сразу становится важным. Но только — как груба и тяжела эта огромная путаница вожжей.

Юнкера ропщут:

— Да что же это, Фотоген Палыч? Мы так последние приедем. Срам какой!

— Не тревожьтесь, юнкаря, — спокойно говорит ямщик. — С Фотоген Павлычем едете!

Он распахивает дверь и исчезает в облаках угарного пара, табачного дыма, крика и звона, которые стремительно вылетают из трактира и мгновенно уносятся вверх.

— Вот тебе и Фотоген! — уныло говорит Жданов.

Но ямщик не заставляет долго себя ждать. Через две минуты дверь кабака распахивается и в белых облаках, упруго взвивающихся вверх, показывается Фотоген Павлыч, почтительно провожаемый хромоногим половым в белой рубахе и в белых штанах.

— Счастливого вам пути, Фотоген Павлович, — учтиво говорит половой.

Фотоген берет вожжи из рук Александрова.

— Спасибо тебе, барин, — говорит он, влезая на козлы и что-то дожевывая. — А вы, господа юнкаря, не

сомневайтесь. Только упреждаю: держитесь крепко, чтобы вы не рассыпались, как картофель.

Он весел. На морозе необыкновенно вкусно пахнет от него винцом...

— Ведь какой расчет, — говорит он, разбирая вожжи и усаживаясь половче, — они, видите, поехали прямой дорогой, только ухабистой, где коням настоящего хода нет. А у меня путь легкий, укатный. Мне лишние четь-версты — наплевать.

И вдруг дико вскрикивает:

— Ей вы, крылатыя-я!

«Господи, — думает Александров, — почему и мне не побыть ямщиком. Ну, хоть не на всю жизнь, а так, года на два, на три. Изумительная жизнь!»

Дальше впечатления Александрова были восхитительны, но сумбурны, беспорядочны и туго припоминаемые. Остались у него в памяти: резкий ветер, стегавший лицо и пресекавший дыхание, стук снежных комьев о передок, медвежья перевалка коренника со вздыбленной, свирепой гривой и такая же, будто в такт ему, перевалка Фотогена на козлах. Как во сне, припоминал он потом, что ехали они не то лесом, не то парком. По обеим сторонам широкой дороги стояли густые, белые от снега деревья, которые то склонялись вершинами, когда тройка подъезжала к ним, то откидывались назад, когда она их промелькнула.

Помнилось ему еще, как на одном крутом повороте сани так накренились на правый бок, точно ехали на одном полозе, а потом так тяжко ухнули на оба полоза, перевалившись на другой бок, что все юнкера одновременно подскочили и крякнули. Не забыл Александров и того, как он в одну из секунд бешеной скачки взглянул на небо и увидел чистую, синевато-серебряную луну и подумал с сочувствием: «Как ей, должно быть, холодно и как скучно бродить там в высоте, точно она старая больная вдова; и такая одинокая».

На последнем повороте Фотоген нагнал своих. Впереди его была только вторая тройка. Он закричал, сам весь возбужденный веселым лётом:

— Право держи, любезный!

— У, черт, дьявол, леший, — отозвался без злобы, скорее с восхищением, обгоняемый ямщик. — Куда прешь!

Но уже показался дом-дворец с огромными ярко сияющими окнами. Фотоген въехал сдержанной рысью в широкие старинные ворота и остановился у подъезда. В ту минуту, когда Рихтер передавал ему юнкерскую складчину, он спросил:

— Лихо ли, юнкеря?

Они и слов не находили, чтобы выразить свое удовольствие. Правда, они уже искренне успели забыть о тех минутах, когда каждый из них невольно подумывал: «Потише бы немножко».

— Назад опять со мной поедете, — говорил Фотоген, отъезжая. — Только крикните меня по имени: Фотоген Павлыч.

Глава XVIII

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ЗАЛ

Ечкинские нарядные тройки одна за другою подкатывали к старинному строгому подъезду, ярко освещенному, огороженному полосатым тиковым шатром и устланному ковровой дорожкой. Над мокрыми серыми лошадьми клубился густой белый пахучий пар. Юнкера с трудом вылезали из громоздких саней. От мороза и от долгого сидения в неудобных положениях их ноги затекли, одеревенели и казались непослушными: трудно стало их передвигать.

Наружные массивные дубовые двери были распахнуты настежь. За ними, сквозь вторые стеклянные двери, сияли огни просторного высокого вестибюля, где на первом плане красовалась величественная фигура саженного швейцара, бывшего перновского гренадерского фельдфебеля, знаменитого Порфирия.

Его ливрея до полу и пышная перелина — обе из пламенно-алого тяжелого сукна — были обшиты по бортам золотыми галунами, застегнуты на золотые пуговицы и затканы рядами черных двуглавых орлов.

Огромная треуголка с кокардою и белым плюмажем покрывала его голову в пудреном парике с белою косичкою. В руке швейцар держал на отлете тяжелую булаву с большим золоченым шаром, который высился над его головою. Его великолепный костюм, его рост и выправка, его черные, густые, толстые усы, закрученные вверх тугими кренделями, придавали его фигуре вид такой недоступной и суровой гордости, какой позавидовали бы многие министры...

Он широко распахнул половину стеклянной двери и торжественно стукнул древком булавы о каменный пол. Но при виде знакомой формы юнкеров его служебно серьезное лицо распустилось в самую добродушную улыбку.

По училищным преданиям, в неписаном списке юнкерских любимцев, среди таких лиц, как профессор Ключевский, доктор богословия Иванцов-Платонов, лектор и прекрасный чтец русских классиков Шереметевский, капельмейстер Крейнбринг, знаменитые фехтовальщики Пуарэ и Тарасов, знаменитый гимнаст и конькобежец Постников, танцмейстер Ермолов, баритон Хохлов, великая актриса Ермолова и немногие другие штатские лица, — был внесен также и швейцар Екатерининского института Порфирий. С незапамятных времен по праздникам и особо торжественным дням танцевали александровцы в институте, и в каждое воскресенье приходили многие из них с конфетами на официальный, церемонный прием к своим сестрам или кузинам, чтобы поболтать с ними полчаса под недреманным надзором педантичных и всевидящих классных дам. Кто знает, может быть, теперешнего швейцара звали вовсе не Порфирием, а просто Иваном или Трофимом, но так как екатерининские швейцары продолжали сотни лет носить одну и ту же ливрею, а юнкера старших поколений последовательно передавали младшим древнее, привычное имя Порфирия Первого, то и сделалось имя собственное Порфирий не именем, а как бы званием, чином или титулом, который покорно наследовали новые поколения екатерининских швейцаров.

Нынешний Порфирий был всегда приветлив, весел, учтив, расторопен и готов на услугу. С удовольствием любил он вспомнить о том, что в лагерях, на Ходынке, его Перновский полк стоял неподалеку от батальона Александровских юнкеров, и о том, как во время зори с церемонией взвивалась ракета и оркестры всех частей играли одновременно «Коль славен», а потом весь гарнизон пел «Отче наш».

Был, правда, у Порфирия один маленький недостаток: никак его нельзя было уговорить передать институтке хотя бы самую крошечную записочку, хотя бы даже и родной сестре. «Простите. Присяга-с, — говорил он с сожалением. — Хотя, извольте, я, пожалуй, и передам, но предварительно должен вручить ее на просмотр дежурной классной даме. Ну, как угодно. Все другое, что хотите: в лепешку для господ юнкеров расшибусь... а этого нельзя: закон».

Тем не менее у юнкеров издавна держалась привычка давать Порфирию хорошие чаевые.

— А! Господа юнкера! Дорогие гости! Милости просим! Пожалуйте, — веселым голосом приветствовал он их, заботливо прислоняя в угол свою великолепную булаву. — Без вас и бал открыть нельзя. Прошу, прошу...

Он был так мило любезен и так искренне рад, что со стороны, слыша его солидный голос, кто-нибудь мог подумать, что говорит не кто иной, как радушный, хлебосольный хозяин этого дома-дворца, построенного самим Растрелли в екатерининские времена.

— Шинели ваши и головные уборы, господа юнкера, я поберегу в особом уголку. Вот здесь ваши вешалки. Номерков не надо, — говорил Порфирий, помогая раздеваться. — Должно быть, озябли в дороге. Ишь как от вас морозом так крепко пахнет. Точно астраханский арбуз взрезали. Щетка не нужна ли, почиститься? И, покорно прошу, господа, если понадобится курить или для туалета, извольте спуститься вниз в мою каморку. Одеколон найдется для освежения, фабрики Брокара. Милости прошу.

Юнкера толпились между двумя громадными, во всю стену, зеркалами, расположенными прямо одно

против другого. Они обдергивали друг другу складки мундиров сзади, приводили карманными щетками в порядок свои проборы или вздыбливали вверх прически бобриком; одни, послюнив пальцы, подкручивали молодые, едва обрисовавшиеся усики, другие пощипывали еще несуществующие. «Счастливец Бутынский! у него рыжие усы, большие, как у двадцатипятилетнего поручика».

Во взаимно отражающих зеркалах, в их бесконечно отражающих коридорах, казалось, шевелился и двигался целый полк юнкеров.

Высокий фатоватый юнкер первой роты, красавец Бауман, громко говорил:

— Господа, не забудьте: когда войдем в залу, то директрисе и почетным гостям придворный поклон, как учил танцмейстер. Но после поклона постарайтесь отступить назад или отойти боком, отнюдь не показывая спины.

Нетерпеливый, бойкий на слово Карганов ответил ему задорно:

— Спасибо, добрый наставник. Кстати, будьте любезны сообщить нам, можно ли во время придворного поклона сморкаться или чесать поясницу?

— И не остроумно и пош-шло, — презрительно отозвался Бауман.

Сверху послышались нежные звуки струнного оркестра, заигравшего веселый марш. Юнкера сразу заволновались. «Господа, пора, пойдем, начинается. Пойдемте».

Они пошли тесной кучкой по лестнице, внизу которой уже стоял исполинский швейцар, успевший вооружиться своей страшной булавою и вновь надеть на свое лицо выражение горделивой строгости. Молодецки отчетливо, как и полагается перновскому гренадеру, он отдал юнкерам честь по-ефрейторски, в два приема.

Надо сказать, что с этим ежегодным выражением юнкерам своего почета перновец кривил против устава: юнкера по службе числились всего рядовыми, а Порфирий был фельдфебелем.

Мраморная прекрасная лестница была необычайно широка и приятно полога. Ее сквозные резные перила, ее свободные пролеты, чистота и воздушность ее каменных линий создавали впечатление прелестной легкости и грации. Ноги юнкеров, успевшие отойти, с удовольствием ощущали легкую, податливую упругость толстых красных ковров, а щеки, уши и глаза у них еще горели после мороза. Пахло слегка каким-то ароматическим курением: не монашкою и не этими желтыми, глянцевитыми квадратными бумажками, а чем-то совсем незнакомым и удивительно радостным.

Вверху, на просторной площадке, их дожидались две дежурные воспитанницы, почти взрослые девушки.

Обе они были одеты одинаково в легкие парадные платья темно-вишневого цвета, снизу доходившие до щиколотки. Бальное большое декольте оставляло открытыми спереди шею и верхнюю часть груди, а сзади весь затылок и начало спины, позволяя видеть чистую линию нежных полудетских плеч. Руки, выступавшие из коротеньких матово-белых рукавчиков, были совсем обнажены. И никаких украшений — ни сережек, ни колец, ни брошек, ни браслетов, ни кружев. Только лайковые перчатки до пол-локтя да скромный веер подчеркивали юную, блистательную красоту.

Девицы одновременно сделали юнкерам легкие реверансы, и одна из них сказала:

— Позвольте вас проводить, messieurs, в актовый зал. Следуйте, пожалуйста, за нами.

Это было только милое внимание гостеприимства. Певучие звуки скрипок и виолончелей отлично указывали дорогу без всякой помощи.

По обеим сторонам широкого коридора были двери с матовыми стеклами и сбоку овальные дощечки с золотой надписью, означавшей класс и отделение.

У Александрова сестра воспитывалась в Николаевском институте, и по высоким номерам классов он сразу догадался, что здесь учатся совсем еще девчонки. У кадет было наоборот.

Но вот и зала. Прекрасные проводницы с новым реверансом исчезают. Юнкера теперь представлены собственной распорядительности, и, надо сказать, некоторыми из них внезапно овладевает робость.

Зала очаровывает Александрова размерами, но еще больше красотой и пропорциональностью линий. Нижние окна, затянутые красными штофными портьерами, прямоугольны и поразительно высоки, верхние гораздо меньше и имеют форму полулуния. Очень просто, но как изящно. Должно быть, здесь строго продуманы все размеры, расстояния и кривизны. «Как многого я не знаю», — думает Александров.

Вдоль стен по обеим сторонам залы идут мраморные колонны, увенчанные завитыми капителями. Первая пара колонн служит прекрасным основанием для площадки с перилами. Это хоры, где теперь расположился известнейший в Москве бальный оркестр Рябова: черные фраки, белые пластроны, огромные пушистые шевелюры. Дружно ходят вверх и вниз смычки. Оттуда бегут, смеясь, звуки резвого, возбуждающего марша.

Большая бронзовая люстра спускается с потолка, сотни ее хрустальных призмочек слегка дрожат и волшебно переливаются, брызжа синими, зелеными, голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми — колдовскими лучами. На каждой колонне горят в пятилапых подсвечниках белые толстые свечи: их огонь дает всей зале теплый розово-желтоватый оттенок. И все это — люстра, колонны, пятилапые бра и освещенные хоры — отражается световыми, масляно-волнующимися полосами в паркете медового цвета, гладком, скользком и блестящем, как лед превосходного катка.

Между колоннами и стеной, с той и другой стороны, оставлены довольно широкие проходы, пол которых возвышается над паркетом на две ступени. Здесь расставлены стулья. Сидя в этих галереях, очень удобно отдыхать и любоваться танцами, не мешая танцующим. Здесь, в правой галерее, при входе, стеснились юнкера. Кроме них, есть и другие кавалеры, но немного: десять — двенадцать катковских ли-

цеистов с необыкновенно высокими, до ушей, красными воротниками, трое студентов в шикарных тесных темно-зеленых длиннополых сюртуках на белой подкладке, с двумя рядами золотых пуговиц. Какие-то штатские, бледные, тонкие мальчуганы во фраках и один заезжий из Петербурга, «блестящий» белобрысый, пресыщенный жизнью паж, сразу ревниво возненавиденный всеми юнкерами.

Глава XIX

СТРЕЛА

На другом конце залы, под хорами, в бархатных красных золоченых креслах сидели почетные гости, а посредине их сама директриса, величественная седовласая дама в шелковом серо-жемчужном платье. Гости были пожилые и очень важные, в золотом шитье, с красными и голубыми лентами через плечо, с орденами, с золотыми лампасами на белых панталонах. Рядом с начальницей стоял, слегка опираясь на спинку ее кресла, совсем маленький, старенький лысый гусарский генерал в черном мундире с серебряными шнурами, в красно-коричневых рейтузах, туго обтягивавших его подгибающиеся тощие ножки. Его Александров знал: это был почетный опекун московских институтов, граф Олсуфьев. Наклонясь слегка к директрисе, он что-то говорил ей с большим оживлением, а она слегка улыбалась и с веселым укором покачивала головою.

— Ах ты, старый проказник, — дружелюбно сказал Жданов, тоже глядевший на графа.

Позади и по бокам этой начальственной подковы группами и поодиночке, в зале и по галерее, все в одинаковых темно-красных платьях, все одинаково декольтированные, все издали похожие друг на дружку и все загадочно прекрасные, стояли воспитанницы.

Не прошло и полминуты, как зоркие глаза Александрова успели схватить все эти впечатления и закрепить их в памяти. Уже юнкера первой роты с

Бауманом впереди спустились со ступенек и шли по блестящему паркету длинной залы, невольно подчиняясь темпу увлекательного марша.

— Посмотрите, господа! — воскликнул Карганов, показывая на Баумана. — Посмотрите на этого великосветского человека. Во-первых, он идет слишком медленными шагами. Спрашивается, когда же он дойдет?

— Правда, — подтвердил Жданов. — И остальные, как индюки, топчутся на месте.

— Во-вторых, от важности он закинул голову к небу, точно рассматривает потолок. Он выпятил грудь, а зад совсем отставил. Величественно, но противно.

Подвижной Жданов вдруг спохватился.

— Господа, здесь не строй и не ученье, а бал. Пойдемте, не станем дожидаться очереди. Айда!

Только спустившись в залу, Александров понял, почему Бауман делал такие маленькие шажки: безукоризненный и отлично натертый паркет был скользок, как лучший зеркальный каток. Ноги на нем стремились разъехаться врозь, как при первых попытках кататься на коньках; поневоле при каждом шаге приходилось бояться потерять равновесие, и потому страшно было решиться поднять ногу.

«А что, если попробовать скользить?» — подумал Александров. Вышло гораздо лучше, а когда он попробовал держать ступни не прямо, а с носками, развороченными наружу, по-танцевальному, то нашлась и опора для каждого шага. И все стало просто и приятно. Поэтому, перегоняя товарищей, он очутился непосредственно за юнкерами первой роты и остановился на несколько секунд, не желая с ними смешиваться. И все-таки было жутко и мешкотно двигаться и стоять, чувствуя на себе глаза множества наблюдательных и, конечно, хорошеньких девушек.

Юнкера первой роты кланялись и отходили. Александров видел, как на их низкие и — почему не сказать правду? — довольно грамотные поклоны медленно, с важной и светлой улыбкой склоняла свою властную матово-белую голову директриса.

Отошел, пятясь спиной, последний юнкер первой роты. Александров — один. «Господи, помоги!» Но внезапно в памяти его всплывает круглая ловкая фигура училищного танцмейстера Петра Алексеевича Ермолова, вместе с его изящным поклоном и словесным уроком: «Руки свободно, без малейшего напряжения, опущены вниз и слегка, совсем чуточку, округлены. Ноги в третьей позиции. Одновременно, помните: одновременно — в этом тайна поклона и его красота — одновременно и медленно — сгибается спина и склоняется голова. Так же вместе и так же плавно, только чуть-чуть быстрее, вы выпрямляетесь и подымаете голову, а затем отступаете или делаете шаг вбок, судя по обстоятельствам».

Счастье Александрова, что он очень недурной имитатор. Он заставляет себя вообразить, что это вовсе не он, а милый, круглый, старый Ермолов скользит спокойными, уверенными, легкими шагами. Вот Петр Алексеевич в пяти шагах от начальницы остановил левую ногу, правой прочертил по паркету легкий полукруг и, поставив ноги точно в третью позицию, делает полный почтения и достоинства поклон.

Выпрямляясь, Александров с удовольствием почувствовал, что у него «вытанцевалось». Медленно, с чудесным выражением доброты и величия директриса слегка опустила и подняла свою серебряную голову, озарив юнкера прелестной улыбкой. «А ведь она красавица, хотя и седые волосы. А какой живой цвет лица, какие глаза, какой царственный взгляд. Сама Екатерина Великая!»

Стоявший за ее креслом маленький, старенький граф Олсуфьев тоже ответил на поклон юнкера коротеньким веселым кивком, точно по-товарищески подмигнул о чем-то ему. Слегка шевельнули подбородками расшитые золотом старички. Александров был счастлив.

После поклона ему удалось ловкими маневрами обойти свиту, окружавшую начальницу. Он уже почувствовал себя в свободном пространстве и заторопился было к ближнему концу спасительной галереи,

но вдруг остановился на разбеге: весь промежуток между двумя первыми колоннами и нижняя ступенька были тесно заняты темно-вишневыми платьицами, голыми худенькими ручками и милыми, светло улыбавшимися лицами.

— Вы хотите пройти, господин юнкер? — услышал он над собою голос необыкновенной звучности и красоты, подобный альту в самом лучшем ангельском хоре на небе.

Он поднял глаза, и вдруг с ним произошло изумительное чудо. Точно случайно, как будто блеснула близкая молния, и в мгновенном ослепительном свете ярко обрисовалось из всех лиц одно, только одно прекрасное лицо. Четкость его была сверхъестественна. Показалось Александрову, что он знал эту чудесную девушку давным-давно, может быть, тысячу лет назад, и теперь сразу вновь узнал ее всю и навсегда, и хотя бы прошли еще миллионы лет, он никогда не позабудет этой грациозной, воздушной фигуры со слегка склоненной головой, этого неповторяющегося, единственно «своего» лица с нежным и умным лбом под темными каштаново-рыжими волосами, заплетенными в корону, этих больших внимательных серых глаз, у которых раек был в тончайшем мраморном узоре, и вокруг синих зрачков играли крошечные золотые кристаллики, и этой чуть заметной ласковой улыбки на необыкновенных губах, такой совершенной формы, какую Александров видел только в корпусе, в рисовальном классе, когда, по указанию старого Шмелькова, он срисовывал с гипсового бюста одну из Венер.

Тот же магический голос, совсем не останавливаясь, продолжал:

— Дайте, пожалуйста, дорогу господину юнкеру.

Александров поднялся по ступенькам, кланяясь в обе стороны, краснея, бормоча слова извинения и благодарности. Одна из воспитанниц пододвинула ему венский стул.

— Может быть, присядете?

Он низко признательно поклонился, но остался стоять, держась за спинку стула.

Если бы мог когда-нибудь юнкер Александров представить себе, какие водопады чувств, ураганы желаний и лавины образов проносятся иногда в голове человека за одну малюсенькую долю секунды, он проникся бы священным трепетом перед емкостью, гибкостью и быстротой человеческого ума. Но это самое волшебство с ним сейчас и происходило.

«Неужели я полюбил? — спросил он у самого себя и внимательно, даже со страхом, как бы прислушался к внутреннему самому себе, к своим: телу, крови и разуму, и решил твердо. — Да, я полюбил, и это уже навсегда».

Какой-то подпольный ядовитый голос в нем же самом сказал с холодной насмешкой: «Любви мгновенной, любви с первого взгляда — не бывает нигде, даже в романах».

«Но что же мне делать? Я, вероятно, урод», — подумал с покорной грустью Александров и вздохнул.

«Да и какая любовь в твои годы? — продолжал ехидный голос. — Сколько сот раз вы уже влюблялись, господин Сердечкин? О, Дон-Жуан! О, злостный и коварный изменник!»

Послушная память тотчас же вызвала к жизни все увлечения и «предметы» Александрова. Все эти бывшие дамы его сердца пронеслись перед ним с такой быстротой, как будто они выглядывали из окон летящего на всех парах курьерского поезда, а он стоял на платформе Петровско-Разумовского полустанка, как иногда прошлым летом по вечерам.

...Наташа Манухина в котиковой шубке, с родинкой под глазом, розовая Нина Шпаковская с большими густыми белыми ресницами, похожими на крылья бабочки-капустницы, Машенька Полубояринова за пианино, в задумчивой полутьме, быстроглазая, быстроногая болтунья Зоя Синицына и Сонечка Владимирова, в которую он столько же раз влюблялся, сколько и разлюблял ее; и трое пышных высоких, со сладкими глазами сестер Синельниковых, с которыми, слава богу, все кончено; хоть и трагично, но навсегда. И другие, и другие, и другие... сотни

других... Дольше других задержалась в его глазах маленькая, чуть косенькая — это очень шло к ней — Геня, Генриетта Хржановская. Шесть лет было Александрову, когда он в нее влюбился. Он храбро защищал ее от мальчишек, сам надевал ей на ноги ботинки, когда она уходила с нянькой от Александровых, и однажды подарил ей восковую желтую канарейку в жестяной, сквозной, кружками, клетке.

Но унеслись эти образы, растаяли, и ничего от них не осталось. Только чуть-чуть стало жалко маленькую Геню, как, впрочем, и всегда при воспоминании о ней.

«О нет. Все это была не любовь, так, забава, игра, пустяки, вроде — и то правда — игры в фанты или почту. Смешное передразнивание взрослых по прочитанным романам. Мимо! Мимо! Прощайте, детские шалости и дурачества!»

Но теперь он любит. Любит! — какое громадное, гордое, страшное, сладостное слово. Вот вся вселенная, как бесконечно большой глобус, и от него отрезан крошечный сегмент, ну, с дом величиной. Этот жалкий отрезок и есть прежняя жизнь Александрова, неинтересная и тупая. Но теперь начинается новая жизнь в бесконечности времени и пространства, вся наполненная славой, блеском, властью, подвигами, и все это вместе с моей горячей любовью я кладу к твоим ногам, о возлюбленная, о царица души моей.

Мечтая так, он глядел на каштановые волосы, косы которых были заплетены в корону. Повинуясь этому взгляду, она повернула голову назад. Какой божественно прекрасной показалась Александрову при этом повороте чудесная линия, идущая от уха вдоль длинной гибкой шеи и плавно переходящая в плечо. «В мире есть точные законы красоты!» — с восторгом подумал Александров.

Улыбнувшись, она отвернулась. А юнкер прошептал:

— Твой навек.

Но уже кончили гости представляться хозяйке. Директриса сказала что-то графу Олсуфьеву, нагнувшемуся к ней.

Он кивнул головой, выпрямился и сделал рукой призывающий жест.

Точно из-под земли вырос тонкий, длинный офицер с аксельбантами. Склонившись с преувеличенной почтительностью, он выслушал приказание, потом выпрямился, отошел на несколько шагов в глубину залы и знаком приказал музыкантам замолчать.

Рябов, доведя колено до конца, прекратил марш.

— Полонез! — закричал адъютант веселым высоким голосом.

— Кавалеры, приглашайте ваших дам!

Глава XX

ПОЛОНЕЗ

— Полонез, господа, приглашайте ваших дам, — высоким тенором восклицал длинный гибкий адъютант, быстро скользя по паркету и нежно позванивая шпорами. — Полонез! Дамы и господа, потрудитесь становиться парами.

Александров спустился по ступеням и стал между колоннами. Теперь его красавица с каштаново-золотистой короной волос стояла выше его и, слегка опустив голову и ресницы, глядела на него с легкой улыбкой, точно ожидая его приглашения.

— Позвольте просить вас на полонез, — сказал юнкер с поклоном.

Ее улыбка стала еще милее.

— Благодарю, с удовольствием.

Она сверху вниз протянула ему маленькую ручку, туго обтянутую тонкой лайковой перчаткой, и сошла на паркет зала со свободной грацией. «Точно принцесса крови», — подумал Александров, только недавно прочитавший «Королеву Марго». Под руку они подошли к строющемуся полонезу и заняли очередь. За ними поспешно устанавливались другие пары.

— Я видела, как вы делали реверанс нашей славной maman, — сказала девушка. — У вас вышло

очень изящно. Я сама знаю, как это трудно, когда ты одна, а на тебя со всех сторон смотрят.

— А в особенности насмешливые глаза хорошеньких барышень, — подхватил Александров.

— Признайтесь, вы сильно волновались?

— Скажу вам по секрету — ужасно! Руки, ноги точно связаны, и одна только мысль: не убежать ли, пока не поздно. Но я перехитрил самого себя, я вообразил, что я — это не я, а наш танцмейстер Петр Алексеевич Ермолов. И тогда стало вдруг удобно.

Она весело засмеялась.

— И у нас тоже Ермолов. Он, кажется, везде. Но как я вас хорошо понимаю. Я тоже умею так передразнивать. Я иногда пригляжусь внимательно к чьей-нибудь походке: подруги, или классной дамы, или учителя, и постараюсь пройтись совсем-совсем точно они. И тогда мне вдруг кажется, что я как будто стала не собой, а этим человеком. Точно я за него и вижу, и слышу, и думаю, и чувствую. И характер его для меня весь открыт... Но посмотрите, посмотрите вперед. — Она слегка пожала пальчиками его согнутую руку. — Видите, кто в первой паре?

В головной паре стояли, ожидая начала танца, директриса и граф Олсуфьев в темно-зеленом мундире (теперь на близком расстоянии Александров лучше различил цвета) и малиновых рейтузах. Стоя, начальница была еще выше, полнее и величественнее. Ее кавалер не достигал ей головой до плеча. Его худенькая фигура с заметно согбенной спиной, с осевшими тонкими ножками казалась еще более жалкой рядом с его чересчур представительной парой, похожей на столичный монумент.

— Боюсь, смешной у них выйдет полонез, — сказал с непритворным сожалением Александров.

— Ну вот, уж непременно и смешной, — заступилась его прекрасная дама. — Это ведь всегда так трогательно видеть, когда старики открывают бал. Гораздо смешнее видеть молодых людей, плохо танцующих.

Высокий адъютант закинул назад голову, поднял руку вверх к музыкантам и нараспев прокричал:

— Прошу! По-ло-нез!

Дама юнкера Александрова немного отодвинулась от него; протянула ему на уровне своего плеча красиво изогнутую, обнаженную и еще полудетскую руку. Он с легким склонением головы принял ее, едва касаясь пальцами кончиков ее тоненьких пальцев.

Сверху, с хор, раздались вдруг громкие, торжественные и весело-гордые звуки польского вальса. Жестковатый холодок побежал по волосам и по спине Александрова.

— Это — Глинка, — сказал шепотом Александров.

— Да, — ответила она также тихо. — Из «Жизни за царя». Превосходно, я обожаю эту оперу.

Александров, не перестававший глядеть вперед, туда, где полукругом загибала вереница полонеза, вдруг пришел в волнение и едва-едва не обмолвился, по дурной школьной привычке, черным словом.

— Ч... — но он быстро сдержался на разлете. — Нет, вы полюбуйтесь, полюбуйтесь только, граф-то ваш и начальница. Охотно беру свои слова обратно.

И в самом деле, стоило полюбоваться этой парой. Выждав четыре первых такта, они начали полонез с тонкой ритмичностью, с большим достоинством и с милой старинной грацией. Совсем ничего не было в них ни смешного, ни причудливого. Директриса несла свое большое полное тело с необыкновенной легкостью, с пленительно-изящной простотой, точно коронованная особа, ласковая хозяйка пышного дворца, окруженная юными, прелестными фрейлинами. Все ее движения были уверенны и женственны: наклоняла ли она голову к своему кавалеру, или делала направо и налево, светло улыбаясь, тихие приветливые поклоны.

И граф Олсуфьев вовсе уже не был стар и хил. Бодрая героическая музыка выправила его спину и сделала гибкими и послушными его ноги. Да! теперь он был лихой гусар прежних золотых, легендарных времен, гусар-дуэлист и кутила, дважды разжалованный в солдаты за дела чести, коренной гусар, приятель Бурцева или Дениса Давыдова.

Недели прошли в тяжелом походе и в дьявольских

атаках, и вот вдруг бал в Вильно, по случаю приезда государя. Только что слезши с коня, едва успев переодеться и надушиться, он уже готов танцевать всю ночь напролет, хотя весь и разбит долгой верховой ездой. Как великолепны взоры, которые Олсуфьев бросает на свою очаровательную даму!.. Тут и гусарская неотразимая победоносность, и рыцарское преклонение перед женщиной, для которой он готов на любую глупость, вплоть до смерти, и игривое лукавство, и каскады преувеличенных комплиментов, и жестокая гибель всем его соперникам, и легкомысленное обещание любви до гробовой доски или по крайней мере на сутки.

— Как они оба хороши, — говорит восхищенно Александров, — не правда ли, это какое-то чудо?

— Ну, что же, я очень рада, что вы сначала ошиблись.

В это время музыка как раз возвращается к первым тактам полонеза. Александров знает твердо слова, которые здесь поет хор, которые и он сам когда-то пел. Слегка наклонившись к красавице, он, — правда, не поет, — но выговаривает речитативом:

Вчера был бой,
Сегодня бал,
Быть может, завтра снова в бой.

Вот оно, беззаботное веселье между двумя смертями.

— Нам начинать, — говорит его дама. Они выжидают, когда предыдущая пара не отойдет на несколько шагов и тогда одновременно начинают этот волшебный старинный танец, чувствуя теперь, что каждый шаг, каждое движение, каждый поворот головы, каждая мысль связана у них одними и теми же невидимыми нитями.

— Ах, как я счастлив, что попал к вам сегодня, — говорит Александров, не переставая строго следить за ритмом полонеза. — Как я рад. И подумать только, что из-за пустяка, по маленькой случайности, я мог бы этой радости лишиться и никогда ее не узнать.

— Может быть, вам это только так кажется? Какая случайность?

— Я вам скажу откровенно. Сегодня я поехал на бал не по своей воле, а по распоряжению начальства.

— Ах, бедный, как я вас жалею!

— Ну да, по наряду. Я стал отговариваться. Я выдумывал всякие предлоги, чтобы не поехать, но ничего не помогло.

— Ах, несчастный, несчастный.

— Потому что я еще третьего дня обещал знакомым барышням, что поеду с ними на елку в Благородное собрание.

— Воображаю, как они теперь на вас сердятся. Вы низко упали в их глазах. Такие измены никогда не прощаются. И воображаю, как вы должны скучать с нами, невольными виновницами вашей ужасной погибели.

— О нет, нет, нет! Я благословляю судьбу и настойчивость моего ротного командира. Никогда в жизни я не был и не буду до такой степени наверху блаженства, как сию минуту, как сейчас, когда я иду в полонезе рука об руку с вами, слышу эту прелестную музыку и чувствую...

— Нет, нет, — смеясь, перебивает его она. — Только, пожалуйста, не о чувствах. Это запрещено.

— О чувствах, приходящих мгновенно и сразу... овладева...

— Тем более, тем более. Танцуйте старательнее и не болтайте пустяков.

Она обмахивается веером. Она — девочка — кокетничает с юнкером совсем как взрослая записная львица. Серьезные, почти строгие, гримаски она переплетает улыбками, и каждая из них по-разному выразительна. Ее верхняя губа вырезана в чудесной форме туго натянутого лука, и там, где этот рисунок кончается с обеих сторон у щек, там чуть заметные ямочки.

«Точно природа закончила изящный, неповторимый чертеж и поставила точки в знак того, что труд ее — совершенство».

Так думает Александров, но полонез уже кончается. Александров доводит под руку свою даму до указанного ею места и низко ей кланяется.

— Могу ли я просить вас на вальс.

— Хорошо.

— И на первую кадриль.

— По-вашему, это не слишком много?

— И еще на третью.

— Нет, это невозможно.

Но она благодарит улыбкой.

Глава XXI

ВАЛЬС

Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством раздаются первые звуки штраусовского вальса. Какой колдун этот Рябов. Он делает со своим оркестром такие чудеса, что невольно кажется, будто все шестнадцать музыкантов — члены его собственного тела, как, например, пальцы, глаза или уши.

Еще находясь под впечатлением пышного полонеза, Александров приглашает свою даму церемонным, изысканным поклоном. Она встает. Легко и доверчиво ее левая рука ложится, чуть прикасаясь, на его плечо, а он обнимает ее тонкую, послушную талию.

— В три темпа или в два? — спрашивает Александров.

— Если хотите, то в три, а уж потом в два.

В этот момент она, сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом. Это почти бессознательное движение полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывал, когда его чувств касается что-нибудь истинно прекрасное: вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резеды, ландыша и фиалки, музыка Шопена, созерцание скром-

ной, как бы несознающей самое себя, женской красоты, ощущение в своей руке детской, копошащейся и такой хрупкой ручонки.

В этой странной грусти нет даже и намека на мысль о неизбежной смерти всего живущего. Такого порядка мысли еще далеки от юнкера. Они придут гораздо позже, вместе с внезапным ужасающим открытием того, что ведь и я, я сам, я, милый, добрый Александров, непременно должен буду когда-нибудь умереть, подчиняясь общему закону.

О, какая гадкая и несправедливая жестокость! Такой зловещий страх он испытывал однажды ночью во время случайной бессонницы, и этот страх его уже никогда больше не покидает. Нет. Эта грустная мгновенная тревога — другого свойства. Ее объяснить ни себе, ни другому Александров никогда не сумел бы. Она скорее всего похожа на сожаление, что этот, вот этот самый момент уйдет назад и уже ни за что его не вернешь, не догонишь. Жизнь безмерна, богата. Будет другое, может быть, очень похожее, может, почти такое же, но эта секунда уплыла навсегда...

Должно быть, Александров инстинктивно так влюблен в земную заманчивую красоту, что готов боготворить каждый ее осколочек, каждую пылинку. Сам этого не понимая, он похож на скупого и жадного миллионера, который никому не позволяет прикоснуться к своему золоту, ибо к чужой руке могут пристать микроскопические частички обожаемого металла.

Александров не только очень любил танцевать, но он также и умел танцевать; об этом, во-первых, он знал сам, во-вторых, ему говорили товарищи, мнения которых всегда столь же резки, сколь и правдивы; наконец и сам Петр Алексеевич Ермолов на ежесубботних уроках нередко, хотя и сдержанно, одобрял его: «Недурно, господин юнкер, так, господин юнкер». В каждый отпуск по четвергам и с субботы до воскресенья (если только за единицу по фортификации Дрозд не оставлял его в училище) он плясал до изне-

можения, до упаду в знакомых домах, на вечеринках или просто так, без всякого повода, как тогда неистово танцевала вся Москва. Но и оставаясь у себя дома, он всегда имел пару в лице старшей сестры Зины, такой же страстной танцорки, причем музыку он изображал голосом. Сестра танцевала прекрасно, но всегда оставалась недовольна.

— Ты очень ловкий кавалер, Алеша, — говорила она, — но, понимаешь, ты все-таки брат, а не мужчина. С тобою я, как в институте, шерочка с машерочкой. Или точно играешь на немом пианино.

Он ей отвечал не менее любезно:

— А я тебя обнимаю точно куклу из папье-маше. Мне кажется, ты хоть и танцуешь превосходно, но сама неодушевленная.

Однако никогда еще в жизни не случалось Александрову танцевать с такой ловкостью и с таким наслаждением, как теперь. Он почти не чувствовал ни веса, ни тела своей дамы. Их движения дошли до той полной согласованности и так слились с музыкой, что казалось, будто у них — одна воля, одно дыхание, одно биение сердца. Их быстрые ноги касались скользкого паркета лишь самыми кончиками «цыпочек». И оттого было в их танце чувство стремления ввысь, чудесное ощущение воздушного полета во вращательном движении, блаженная легкость, почти невесомость.

Подымались и опускались, вздрагивая, огни множества свечей. Веял легкий теплый ветер от раздувавшихся одежд, из-под которых показывались на секунду стройные ноги в белых чулках и в крошечных черных туфельках или быстро мелькали белые кружева нижних юбок. Слегка нежно звенели шпоры и пестрыми, разноцветными, глянцевитыми реющими красками отражали бал в сияющем полу. А сверху лился из рук веселых волшебников, как ритмическое очарование, упоительный вальс. Казалось, что кто-то там, на хорах, в ослепительном свете огней жонглировал бесчисленным множеством брильянтов и расстилал широкие полосы голубого бархата, на который сыпались сверху золотые блестки.

И какие-то сладко опьяняющие голоса пели о том, что этому томному танцу — танцу-полету — не будет конца.

Не глядя, видел, нет, скорее, чувствовал, Александров, как часто и упруго дышит грудь его дамы в том месте, над вырезом декольте, где легла на розовом теле нежная тень ложбинки. Заметил он тоже, что, танцуя, она медленно поворачивает шею то налево, то направо, слегка склоняя голову к плечу. Это ей придавало несколько утомленный вид, но было очень изящно. Не устала ли она?

И точно отвечая на его безмолвный вопрос, — это было так естественно и понятно в этот необыкновенный вечер, — она сказала:

— Это я нарочно так делаю. Чтобы не кружилась голова.

Случалось так, что иногда ее прическа почти касалась его лица; иногда же он видел ее стройный затылок с тонкими, вьющимися волосами, в которых, точно в паутине, ходили спиралеобразно сияющие золотые лучи. Ему показалось, что ее шея пахнет цветом бузины, тем прелестным ее запахом, который так мил не вблизи, а издали.

— Какие у вас славные духи, — сказал Александров. Она чуть-чуть обернула к нему смеющееся, раскрасневшееся от танца лицо.

— О нет. Никто из нас не душится, у нас даже нет душистых мыл.

— Не позволяют?

— Совсем не потому. Просто у нас не принято. Считается очень дурным тоном. Наша maman как-то сказала: «Чем крепче барышня надушена, тем она хуже пахнет».

Но странная власть ароматов! От нее Александров никогда не мог избавиться. Вот и теперь: его дама говорила так близко от него, что он чувствовал ее дыхание на своих губах. И это дыхание... Да... Положительно оно пахло так, как будто бы девушка только что жевала лепестки розы. Но по этому поводу он ничего не решился сказать и сам почувствовал, что хорошо сделал. Он только сказал:

— Я не могу выразить словом, как мне приятно танцевать с вами. Так и хочется, чтобы во веки веков не прекращался этот бал.

— Благодарю вас. С вами тоже очень удобно танцевать. Но вечность! Не слишком ли это много. Пожалуй, устанем. А потом надоест... соскучимся...

Но тут случилось маленькое приключение. Уже давно сквозь вихрь и мелькание вальса успел Александров приметить одного катковского лицеиста. Этот высокий и худой, несколько сутуловатый малый, вальсировал какими-то резкими рывками, а левую руку, вместе с рукой своей дамы, он держал прямо вытянутою вперед, точно длинное дышло. Все это вместе было не так смешно, как некрасиво. Теперь он неуклюже вертелся вблизи Александрова и его дамы, подходя все ближе и ближе, уже совсем готовый наехать на них. Желая выйти из его орбиты, Александров стал осторожно обходить его слева, выпустив руку своей дамы и слегка приподняв левую руку во избежание толчка. Но в эту секунду лицеист, совершенно не умевший лавировать, ринулся на них со своим двуконным дышлом. Александров успел отвести удар и предупредить столкновение, но при этом, не теряя равновесия, сильно пошатнулся. Невольно лицо его уткнулось в плечо девушки, и он губами, носом и подбородком почувствовал прикосновение к нежному, горячему, чуть-чуть влажному плечу, пахнувшему так странно цветущей бузиной. Нет, он вовсе не поцеловал ее. Это неправда. Или нечаянно поцеловал? Во весь этот вечер и много дней спустя, а пожалуй, во всю свою жизнь он спрашивал себя по чести и совести: да или нет? Но так никогда и не разрешил этого вопроса.

Он только извинился и увидел, как быстро побежала красная краска по щекам, по шее, по спине и даже по груди прекрасной девушки.

— Я, кажется, немного устала, — сказала она. — Мне хочется отдохнуть. Проводите меня.

Он довел ее до галереи между колоннами, усадил на стул, а сам стал сбоку, немного позади. Увидев

его смущенное, несчастное лицо, она пожалела его и предложила ему сесть рядом.

Они разговорились понемногу. Она сказала ему свое имя — Зинаида Белышева.

— Только мне оно не очень нравится. Отдельно Ида — это еще ничего, это что-то греческое, но Зинаида — как-то громоздко. Пирамида, кариатида, Атлантида...

— Очень красиво — Зина, — подсказал юнкер.

— Да, для мамы и папы, — схитрила она. — Но вы, может быть, не знаете, что есть мужское имя Зина?

— Признаться, не слыхал.

— Да, да. Я уж не помню у кого это, у Тургенева или у Толстого есть какой-то мужик Зина. И кажется, не очень-то порядочный.

— А Зиночка?

— Это ничего еще. Так меня зовут родные. А младший брат — просто — Зинка-резинка.

— Я вас буду мысленно называть Зиночкой, — сболтнул юнкер.

— Не смейте. Я вам это не позволяю, — сказала она, непринужденно смеясь.

— Но кто же может знать и контролировать мысли? — возразил Александров, слегка наклоняясь к ней.

Она воскликнула с увлечением:

— Вы сами. Мало быть честным перед другими, надо быть честным перед самим собою. Ну вот, например: лежит на тарелке пирожное. Оно — чужое, но вам его захотелось съесть, и вы съели. Допустим, что никто в мире не узнал и никогда не узнает об этом. Так что же? Правы вы перед самим собою? Или нет?

Юнкер поклонился головою.

— Сдаюсь. Мудрость глаголет вашими устами. Позвольте спросить: вы, должно быть, много читали?

И тут девочка рассказала ему кое-что о себе. Она дочь профессора, который читает лекции в университете, но, кроме того, дает в Екатерининском институте уроки естественной истории и имеет в нем казенную квартиру. Поэтому ее положение в институте

особое. Живет она дома, а в институте только учится. Оттого она гораздо свободнее во времени, в чтении и в развлечениях, чем ее подруги...

— А теперь пойдемте еще потанцуем, — сказала она, вставая. — Только не в два па. Я теперь пригляделась и нахожу, что это только вертушка и притом очень некрасивая, и, пожалуйста, подальше от этого лицеиста. Он так неуклюж.

И она опять слегка покраснела.

Глава XXII

ССОРА

Они танцуют третью кадриль. Их визави Жданов с прехорошенькой воспитанницей. Эта маленькая девушка, по виду почти девочка, кажется Александрову похожей на ожившую новую фарфоровую куклу. У нее пушистые волосы цвета кокосовых волокон, голубые глаза, блестящие, как эмаль; круглые румянцы на щеках, точно искусственно наведенные, и крошечный алый ротик — вишенька. Обо всех ее прелестях нельзя иначе говорить и думать, как в уменьшительном виде. Она постоянно улыбается, сверкая беленькими остренькими зубками. Она веселится от всей души: вертится, оглядывается, трясет головою и светлыми кудряшками, ее ручки и ножки в беспрестанном нетерпеливом движении.

— Не правда ли, как мила? — вполголоса спрашивает Зиночка.

Александров наклоняется к ней.

— Просто прелесть, — говорит он. — Она, наверно, получила бы первый приз на выставке.

Зиночка смотрит на него с легким недоверием.

— На какой выставке? Я вас не поняла.

— На кукольном базаре. Знаете, это меня всегда удивляло: как только люди хотят сказать высшую похвалу красивой барышне, они непременно скажут: ну, точь-в-точь куколка. Я не поклонник такой красоты.

Зиночка сердится и как будто непритворно:

— Я не предполагала, что вы такой злой. Нина Забелло — это моя лучшая подруга, и у нас все ее любят. Она самая умная, самая добрая, самая веселая. А вы — Зоил.

«Зоил... вот так название. Кажется, откуда-то из хрестоматии? — Александрову давно знакомо это слово, но точный смысл его пропал. — Зола и ил... Что-то не особенно лестное. Не философ ли какой-нибудь греческий, со скверною репутацией женоненавистника?» Юнкер чувствует себя неловко.

— Тогда прошу простить, — смиренно говорит он. — Как приятно иметь такого верного друга, как вы. Я пошутил и, признаюсь, неловко. Теперь я вижу, что мадемуазель Забелло очаровательна.

Зиночка опускает длинные темные ресницы, прикрывая чуть заметную лукавую улыбку глаз.

— Вы правы, — говорит она с кротким вздохом. — Я бы очень хотела быть такой, как она.

Юнкер чувствует, что теперь наступил самый подходящий момент для комплимента, но он потерялся. Сказать бы: «О нет, вы гораздо красивее!» Выходит коротко и как-то плоско. «Ваша красота ни с чем и ни с кем не сравнима». Нехорошо, похоже на математику. «Вы прелестнее всех на свете». Это, конечно, будет правда, но как-то пахнет штабным писарем. Да уж теперь и поздно. Удобная секунда промелькнула и не вернется. Ах, как досадно. Какой я тюлень!

Но оркестр играет вторую ритурнель. Мотив ее давно знаком юнкеру. Это кадриль — попурри из русских песен. Он знает наивные и смешные слова:

Нет, нет, нет,
Она меня не любит.
Нет, нет, нет,
Она меня погубит.

Замешательство Александрова все растет. С незапамятных лет установилось неизбежное правило: во время кадрили и особенно в промежутках между фигурами кавалеру полагается во что бы то ни стало занимать свою даму быстрой, непрерывной, неиссяка-

ющей болтовней на всевозможные темы. Но Александров с удивлением и с тоскою замечает, что все его кадрильные слова приклеились у него где-то в глубине гортани и никак не отклеиваются. Он уже во второй раз спросил Зиночку: «Нравится ли вам сегодняшний бал?» — и, спросив, покраснел от стыда, поперхнулся и совсем некстати перескочил на другой вопрос: «Любите ли вы кататься на коньках?» Зиночка вовсе не помогала ему, отвечая (нарочно сухо, как показалось юнкеру): да и нет.

Ах, как мучительно завидовал он в эти тяжелые минуты беззаботному и неутомимому, точно заводному, Жданову. Разговор у него бежал, как водопад, сверкал, как фейерверк, не останавливаясь ни на миг. Пошлет же судьба человеку такой замечательный талант! Проделывая без увлечения, по давнишней привычке, разные шассе, круазе, шен и балянсе, Александров все время ловил поневоле случайные отрывки из той чепухи, которую уверенной, громкой скороговоркой нес Жданов: о фатализме, о звездах, ду́хах и духа̀х, о Царь-Пушке, о цыганке-гадалке, о липком пластыре, о канарейках, об антоновских яблоках, о лунатиках, о Наполеоне, о значении цветов и красок, о пострижении в монахи, об ангорских кошках, о переселении душ и так далее без начала, без конца и без всякой связи. Его дама, маленькая Ниночка Забелло, радостно хохотала, закидывая назад свою светло-серебристую кукольную головку и жмуря глаза. Александров окончательно падает духом. Ни одно легкое слово не идет на язык. Оркестр как нарочно поддразнивает его в пятой фигуре:

Нет, нет, нет
Она меня не любит... —

и бедный юнкер с каждой минутой чувствует себя все более тяжелым, неуклюжим, некрасивым и робким. Классная дама, в темно-синем платье, со множеством перламутровых пуговиц на груди и с рыбьим холодным лицом, давно уже глядит на него издали тупым, ненавидящим взором мутных глаз. «Вот тоже: приехал на бал, а не умеет ни танцевать, ни занимать

свою даму. А еще из славного Александровского училища. Постыдились бы, молодой человек!»

Ужасно много времени длится эта злополучная кадриль. Наконец она кончена.

— Гран-рон! [1] — кричит адъютант, весело раскатываясь на рр...

Зиночка Белышева от гран-рон отказывается.

— Я не люблю этой тесноты и толкотни, — говорит она.

Но Александрову и без лишних слов совершенно ясно, что вовсе не этот путаный, затейливый танец, а именно его, юнкера Александрова, не любит Зиночка.

Зиночка садится на стуле в галерее, за колоннами. Юнкер только что собирается со страхом и надеждой в душе присесть возле нее, как она тотчас же подымается.

— Простите. Меня зовет подруга.

И быстро мелькая черными туфельками и белыми чулочками, свободно и грациозно лавируя между танцующими, она торопливо перебегает на другую сторону зала.

«Все кончено», — говорит густым трагическим басом кто-то внутри Александрова.

Однако Зиночка побежала совсем не к подруге. Александров следил за нею. Она остановилась перед синей дамой с рыбьим лицом, выслушала, наклонив прелестную каштановую головку, несколько сказанных дамою слов и чинно села рядом с нею. «При чем же здесь подруга? — подумал огорченный юнкер. — Просто ей хочется отделаться от меня...»

Но нет. Вот она бросила на юнкера через всю залу быстрый, вовсе, казалось, не враждебный взгляд и тотчас же, точно испугавшись, отвела его и еще строже выпрямилась на стуле, чуть-чуть осторожно косясь на синюю классную даму. «Неужели это все — только коварная игра?»

Мрачный, ероша свою прическу бобриком, нервно пощипывая чуть пробивающийся пушок на верхней губе, дожидается Александров конца затянувшегося

---

[1] Большой круг! (от *франц.* grand rond)

гран-рон и, наконец, дождался. Распорядитель объявляет польку-мазурку. «Еще попытка! Самая последняя, а там будь что будет. Ах, жаль, что нельзя, бросив бал, уехать прямо домой, на Пресню. Необходимо явиться в училище и там ночевать. А все этот упрямый Дрозд».

Под резвые, скачущие, лихие звуки польки-мазурки Александров поспешно пробирается к тому месту, где сидит Зиночка. Он уже близко от нее. Всего десять, пятнадцать шагов. Но откуда ни возьмись появляется перед нею, спиной к Александрову, усталый, пресыщенный паж. С какой небрежностью он наклонился, как снисходительно, нехотя, обнял ее грациозную тонкую талию. И он совсем нарочно не хочет делать па танца. Он лишь равнодушно и даже отчасти брезгливо шагает в такт. «Ого! Осмелился ли бы он так, спустя рукава, танцевать во дворце или в знатном петербургском доме? Для него здесь только Москва, жалкая провинция, а он, блестящий паж ее величества или высочества, будет потом с презрительной улыбкой говорить о московских смешных кузинах. Да. Охотно повстречался бы я с этим белобрысым, прилизанным фазаном где-нибудь с глазу на глаз, без посторонних свидетелей!» — думает Александров, изо всей силы напрягая мускулы крепкого тела.

Паж сделал круг и посадил Зиночку на ее место, чуть-чуть мотнув головой. Александров торопливо подбежал и старательно поклонился:

— Можно просить вас?

— Ах! Только не теперь... Я ужасно устала.

Александров медленно отступает к галерее. Там темнее и пусто. Оборачивается, и что же он видит? Тот самый катковский лицеист, который танцевал вальс, высунув вперед руку, подобно дышлу, стоит, согнувшись в полупоклоне, перед Зиночкой, а та встает и кладет ему на плечо свою руку, медленно склоняя в то же время прекрасную головку на стройной гибкой шее.

Больше Александров не хочет и не может смотреть. Теперь он уверенно знает, что им совершена какая-то грубая, непростимая ошибка, какая-то неле-

пая и смешная неловкость, которую загладить уже нет ни времени, ни возможности... Пойти объясниться? Просить прощения? Нет, это значило бы громоздить глупость на глупость... Ни раздражения, ни упрека нет у него в душе против Зиночки. Распускалось, расцветало какое-то легкое, чудесное, сверкающее счастье и вдруг померкло, исчезло. Весь мир теперь для юнкера вдруг окрасился желтым тоном, тусклым и скучным, точно он надел желтые очки.

Звуки резвой музыки кажутся унылыми. Печально колеблются огни оплывших огарков в люстрах и шандалах, лица, которые он видит, — все стали некрасивы, несимметричны и бледны.

Тоска!

Он вышел из зала и спустился по лестнице в швейцарскую. Великолепный пурпурно-золотой Порфирий принял его как радушный хозяин.

— Во вторую дверцу-с и направо, — показал он рукой. — Не нужно? Тогда не угодно ли будет вам, господин юнкер, освежиться холодной водицей? Одеколон есть, брокаровский. Ах, вам покурить, господин юнкер? Замаялись, танцевавши?

— Нет... так как-то...

Хотелось было юнкеру сказать: «Мне бы стакан водки!» Читал он много русских романов, и в них очень часто отвергнутый герой нарезывался с горя водкою до потери сознания. Но большое усатое лицо швейцара было так просто, так весело и добродушно, что он почувствовал стыд за свою случайную дурацкую мысль.

Но Порфирий, точно каким-то волшебным чутьем угадав и эту мысль и настроение юнкера, вдруг сказал:

— А что я позволю себе предложить вам, господин юнкер? Я от роду человек не питущий, и вся наша фамилия люди трезвые. Но есть у меня вишневая наливочка, знатная. Спирту в ней нет ни капельки, сахар да сок вишневый, да я бы вам и не осмелился... а только очень уже сладко и от нервов может помогать. Жена моя всегда ее употребляет рюмочку, если в расстройстве. Я сейчас, мигом.

— Да не надо, Порфирий. Спасибо тебе. Не стоит.

— Я сейчас...

Он скрылся в своей швейцарской норке, позвонил слегка посудой и вышел с рюмкой на подносе. Это была старинная граненая рюмка красного богемского, или, как говорят в Москве, «бемскаго» хрусталя, с гравированными гранями. Густая темная жидкость колыхалась в ней, отсвечивая зеленым блеском.

— Кушайте на доброе здоровье, батюшка, — ласково промолвил Порфирий. — Так-то вот оно и хорошо будет. Не повторите ли?

— Нет, что ты, Порфирий. Превосходная наливка, — говорил юнкер, вытирая губы платком. — Очень тебе благодарен.

— Э, нет, нет, этого уж, пожалуйста, не надо, — заторопился Порфирий, заметив, что юнкер опускает руку в карман за деньгами. — Это я за честь считаю угостить александровского юнкера, а не так, чтобы с корыстью.

Наливка — и правда — была совсем не приправлена спиртом, но от сахара и ягод в ней, должно быть, произошло свое винное брожение. У юнкера слегка, но приятно захватило дыхание и защипало гланды.

И не так наливка, как милое, сердечное, совсем московское обращение Порфирия и его славное, доброе лицо сделало то, что желтый скучный газ, только что облекавший все мироздание, начал понемногу свертываться, таять, исчезать. И, должно быть, огорчение Александрова было не из тех, от которых люди запивают, сходят с ума или стреляются. Об этом минутном горе Александров вспомнит когда-нибудь с нежной признательностью, обвеянной поэзией. До зловещих часов настоящего, лютого, проклятого отчаяния лежат впереди еще многие добрые годы.

Проходя верхним рекреационным коридором, Александров заметил, что одна из дверей, с матовым стеклом и номером класса, полуоткрыта и за нею слышится какая-то веселая возня, шепот, легкие, звонкие восклицания, восторженный писк, радостный смех. Оркестр в большом зале играет в это время польку.

Внимательное, розовое, плутовское, детское личико выглядывает зорко из двери в коридор.

— Вам можно, — говорит девочка лет двенадцати — тринадцати в зеленом платьице. — Только, чур, никому не говорите.

Александров открывает дверь.

Здесь в небольшом пространстве классной комнаты, из которой вынесены парты, усердно танцуют дружка с дружкой под звуки «взрослой» музыки десятка два самых младших воспитанниц, в зеленых юбочках, совсем еще детей, «малявок», как их свысока называют старшие. Но у них настоящее буйное, легкокрылое веселье, которого, пожалуй, нет и в чинном двухсветном зале. И так милы все они, полудетски наивно длинноруки, длинноноги и трогательно неуклюжи!.. Александров с улыбкой вспоминает словцо своего веселого дяди Кости об этом возрасте: «Щенок о пяти ног».

Александров оживляется. Отличная, проказливая мысль приходит ему в голову. Он подходит к первой от входа девочке, у которой волосы, туго перетянутые снизу ленточкой, торчат вверх, точно хохол у какой-то редкостной птицы, делает ей глубочайший церемонный поклон и просит витиевато:

— Мадемуазель, не угодно ли будет вам сделать мне величайшую честь и отменное удовольствие протанцевать со мною, вашим покорным слугою, один тур польки?

Девочка робко, неловко, вся покраснев, кладет ему худенькую, тоненькую прелестную ручонку не на плечо, до которого ей не достать, а на рукав. Остальные от неожиданности и изумления перестали танцевать и, точно самим себе не веря, молча смотрят на юнкера, широко раскрыв глаза и рты.

Протанцевав со своею дамой, он с такой же утонченной вычурностью приглашает другую, потом третью, четвертую, пятую, всех подряд. Ну, что за прелесть эти крошечные девчонки! Александров ясно слышит, что у каждой из них волосы пахнут одной и той же помадой «Резеда», должно быть, купленной самой отчаянной контрабандой. Да и сам этот

сказочный детский балок под сурдинку не был ли браконьерством?

И как аккуратно, как ревностно они делают танцевальные па своими маленькими ножками, высоко поднятыми на цыпочки. От старательности, точно на строгом экзамене, они прикусывают нижнюю губку, подпирают изнутри щеку языком и даже высовывают язычок между зубами.

Когда же Александров подходит к очередной даме, то другие тесно его облепляют:

— Пожалуйста, и со мною тоже.

— И со мной, и со мной, и со мной.

— Милый юнкер, а когда же со мной?

И, наконец, тоненький комариный голосок, в котором дрожит обида:

— Да-а! Со всеми танцуют, а со мной не танцуют.

Александров справедлив. Он сам понимает. Какая редкая радость и какая гордость для девчонок танцевать с настоящим взрослым кавалером, да притом еще с юнкером Александровского училища, самого блестящего и любимого в Москве. Он ни одну не оставит без тура польки.

Но он не успевает. На двух воспитанниц не хватает польки, потому что оркестр перестает играть. Увидев две миленькие, готовые заплакать мордочки, с уже вытянутыми в трубочку губами, Александров быстро находится:

— Медам. Это ничего не значит. Мы сами себе музыка.

И, подхватив очередную девочку, уже почти пустившую слезу, он бурно начинает польку, громко подыгрывая голосом: «Тра, ля, ля, ля — тра, ля, ля».

Остальные с увлечением следуют за ним, отбивая такт ладошками, и в общем получается замечательный оркестр.

Дотанцевав, он откланивается и хочет уйти. Но маленькие, цепкие лапочки хватают его за мундир.

— Не уходите, юнкер, душка, милочка, не уходите от нас.

Он обещает забежать к ним во время следующего танца и с трудом освобождается.

Только что входит Александров в большой зал, подымаясь по ступенькам галереи, как распорядитель торжественно объявляет:

— Последний танец! Вальс!

Через всю залу, по диагонали, Александров сразу находит глазами Зиночку. Она сидит на том же месте, где и раньше, и быстрыми движениями веера обмахивает лицо. Она тревожно и пристально обегает взором всю залу, очевидно, кого-то разыскивая в ней. Но вот ее глаза встречаются с глазами Александрова, и он видит, как радость заливает ее лицо. Нет. Она не улыбается, но юнкеру показалось, что весь воздух вокруг нее посветлел и заблестел смехом. Точно сияние окружило ее красивую голову. Ее глаза звали его.

Он видел, подходя к ней, как она от нетерпения встала и резким движением сложила веер, а когда он был в двух шагах от нее и только собирался поклониться, она уже приподымала машинально, сама этого не замечая, левую руку, чтобы опустить ее на его плечо.

— Что же вы совсем убежали от меня? Как вам не стыдно? — сказала она, и эти простые, ничего не значащие слова вдруг теплым бархатом задрожали в груди Александрова.

— Я... я... собственно... — начал было он.

Но она перебила его:

— Да, вы, вы, вы. Не нужно ни о чем говорить. Теперь будем только танцевать вальс. Раз-два-три, — подсчитывала она под темп музыки, и они закружились опять в блаженном воздушном полете.

И тут Зиночка, щекоча невольно его висок своими тонкими волосами, дыша на него порою своим чистым, свежим дыханием, в двух словах развеяла причину их странной молчаливой ссоры издали.

На балах начальство строго следило, чтобы воспитанницы не танцевали с одним и тем же кавалером несколько раз подряд. Это уж было бы похоже на предпочтение, на какое-то избранничество, наконец просто на кидающееся в глаза взаимное ухаживание. Синяя дама с рыбьей головой сделала Зиночке

замечание, что она слишком много уделяет внимания юнкеру Александрову, что это слишком кидается в глаза и, наконец, становится совсем неприличным.

— Во время третьей кадрили она так и пронизывала меня глазищами, и теперь вы понимаете, что я чувствовала себя как связанная.

— Она и на меня так же глядела, — сказал Александров. — Мне даже пришло в голову, что если бы между мной и ею был стеклянный экран, то ее взгляд сделал бы в стекле круглую дырочку, как делает пуля. Ах, зачем же вы мне сразу не сказали?

— У нас уж такая этика. Мы можем наших классных дам всячески изводить, но жаловаться посторонним — это не принято. Но теперь мне все равно. J'ai jété le bonnet par dessus les moulins[1]. Завтра она пожалуется папе.

— А папа?

— Папа будет от души смеяться. Ах, папочка мой такая прелесть, такой душенька. Но довольно об этом. Вы больше не дуетесь, и я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?

Глава XXIII

ПИСЬМО ЛЮБОВНОЕ

Кончились зимние каникулы. Тяжеловато после двух недель почти безграничной свободы втягиваться снова в суровую воинскую дисциплину, в лекции и репетиции, в строевую муштру, в раннее вставание по утрам, в ночные бессонные дежурства, в скучную повторяемость дней, дел и мыслей.

Есть у юнкеров в распорядке дня лишь два послеобеденных часа (от четырех до шести) полного отдыха, когда можно петь, болтать, читать посторонние книги и даже прилечь на кровати, расстегнув верхний крючок куртки. От шести до восьми снова зубрежка или черчение под надзором курсовых офицеров.

---

[1] Я пустилась во все тяжкие *(франц.)*.

Александров подсел на кровать к Жданову; так они каждый день ходят друг к другу в гости. Крикнули ротного служителя и послали его в булочную Савостьянова, что наискось от училища через Арбатскую площадь, за пирожными — пара пятачок. Жданов, как более солидный и крепкий, заказал себе два яблочных и два тирольских; более легковесный Александров — две трубочки с кремом и два миндальных. Поедая пирожные, как-то говорится слаще, занятнее. Самая любимая, никогда не иссякающая тема их разговора, это, конечно, — прошлый недавний бал в Екатерининском институте, со множеством милых маленьких воспоминаний. Вспоминают они, как все девицы, окружив тесным прекрасным роем графа Олсуфьева, упрашивали его не уезжать так скоро, пробыть еще полчасика на балу, и как он, мелко топчась на своих согнутых подагрой ногах, точно приплясывая, говорил:

— Не могу, мои красавицы. Сказано в премудростях царя Соломона: время строить и время разрушать, время старому гусару Олсуфьеву танцевать на балу и время ехать домой спатиньки.

— Прелесть граф Олсуфьев? А? — говорит Александров.

— Правда. Молодчина, — соглашается Жданов. — И какой шикарный был ужин, какая осетрина, какой ростбиф!

Но Александрову ближе и милее другие воспоминания. Как ласково и просто сказала княгиня-директриса: «Mesdames, просите ваших кавалеров к ужину». Вот это так настоящая аристократка! Хочется юнкеру сказать и еще кое о чем, более нежном, более интимном; ведь на то и дружба, чтобы поверять друг другу сердечные секреты. Переход из зала в столовую шел по довольно узкому коридору. Было тесно, подвигались с трудом. Плечи Зиночки и Александрова часто соприкасались. Кисть ее руки легко лежала на рукаве Александрова. И вот вдруг на бесконечно краткое время Зиночка сжала руку юнкера и прильнула к нему упругим сквозь одежду телом. Конечно, это вышло случайно, от толкотни, но, кто знает, может быть,

здесь была и крошечная, микроскопическая доля умысла? Нет, Жданову он об этом не скажет ни слова. Пусть их связывает восьмилетняя корпусная дружба (оба оставались на второй год, хотя и в разных классах), но Жданов весь какой-то земной, деревянный, грубоватый, много ест, много пьет, терпеть не может описаний природы, смеется над стихами, любит рассказывать похабные анекдоты. Родом он донской казак из Тульской губернии. Он не поймет.

Возвращаются они памятью и к последней минуте, к отъезду из института. Когда спускались юнкера по широкой, растреллиевской лестнице в прихожую, все воспитанницы облепили верхние перила, свешивая вниз русые, золотые, каштановые, рыжие, соломенные, черные головки.

— Благодарим вас! Спасибо, милые юнкера, — кричали они уходящим, — не забывайте нас! приезжайте опять к нам на бал! До свиданья! До свиданья!

И тут Александров вдруг ясно вспомнил, как, низко перегнувшись через перила, Зиночка махала прозрачным кружевным платком, как ее смеющиеся глаза встретились с его глазами и как он ясно расслышал снизу ее громкое:

— Пишите! пишите!

С этого момента, по мере того как уходит в глубь прошлого волшебный бал, но все ближе, нежнее и прекраснее рисуется в воображении очаровательный образ Зиночки и все тревожнее становятся ночи Александрова, — им все настойчивее овладевает мысль написать Зиночке Белышевой письмо. Конечно, оно будет написано вежливо и почтительно, без всякого, самого малейшего намека на любовное чувство, но уже одно то будет бесконечно радостно, если она прочитает его, прикоснется к нему своими невинными пальцами. Александров пишет письмо за письмом на самой лучшей бумаге, самым лучшим старательным почерком и затем аккуратно складывает их в шестьдесят четвертую долю. Само собой разумеется, что

письмо пойдет не по почте, а каким-нибудь обходным таинственным путем.

В первое же воскресенье он к двум часам отправляется в Екатерининский институт. Великолепный огромный швейцар Порфирий тотчас же с видимым удовольствием узнает его.

— Добро пожаловать, господин юнкер! Как изволите поживать? Как драгоценное здоровьице? Чем служу вам?

Александров осторожно закидывает удочку:

— Прошлый раз, Порфирий, угощал ты меня вишневой наливкой. Изумительная была наливка, но только в долгу — как хочешь — оставаться я не люблю. Вот...

Он протягивает швейцару зеленую трехрублевую бумажку, еще теплую, почти горячую от нервно тискавшей ее руки.

Левое веко у Порфирия чуть-чуть играет, готовое лукаво подмигнуть.

— Ды вы бы попросту, господин юнкер. Сказали бы, в чем дело-то? А денежки извольте спрятать.

Запинаясь, отворачивая лицо, Александров говорит малосвязно:

— Тут это... вот... моя двоюродная сестра... Это... барышня Белышева... Зинаида... Письмо от родственников...

— С удовольствием, с великим моим удовольствием-с, господин юнкер. Передам без малейшего замедления. Только кому раньше представить: классной даме или самому господину профессору? Как я состою по присяге...

«Черт! Не вышло!» — говорит про себя Александров и уходит посрамленный. Он сам чувствует, как у него от стыда колюче покраснело все тело.

Но уже, как маньяк, он не может отвязаться от своей безумной затеи. Учитель танцев, милейший Петр Алексеевич Ермолов? Но тотчас же в памяти встает величавая важная фигура, обширный белый вырез черного фрака, круглые плавные движения, розовое,

полное, бритое лицо в седых гладко причесанных волосах. Нет, с тремя рублями к нему и обратиться страшно. Говорят, что раньше юнкера пробовали, и всегда безуспешно.

Но с Ермоловым повсюду на уроки ездит скрипач, худой маленький человечек, с таким ничего не значащим лицом, что его, наверно, не помнит и собственная жена. Уждав время, когда, окончив урок, Петр Алексеевич идет уже по коридору, к выходу на лестницу, а скрипач еще закутывает черным платком свою дешевую скрипку, Александров подходит к нему, показывает трехрублевку и торопливо лепечет:

— Понимаете ли?.. Здесь ничего нет дурного или предосудительного... Тут только одно семейное дело о наследстве. Необходимо уведомить, чтобы не попало в чужие руки... Сделайте великое одолжение.

Но скрипач отмахивается обеими руками вместе с закутанной в черное скрипкой.

— Да упаси меня бог! Да что вы это придумали, господин юнкер? Да ведь меня Петр Алексеевич мигом за это прогонят. А у меня семья, сам-семь с женою и престарелой родительницей. А дойдет до господина генерал-губернатора, так он меня в три счета выселит навсегда из Москвы. Не-ет, сударь, старая история. Имею честь кланяться. До свиданья-с! — и бежит торопливо следом за своим патроном.

Но громадная сила — напряженная воля, а сильнее ее на свете только лишь случай. Как-то вечером, в часы отдыха, юнкера сбились кучкой, человек в десять, между двумя соседними постелями. Левис-оф-Менар рассказывал наизусть содержание какого-то переводного французского романа не то Габорио, не то Понсон дю Террайля. Вяло, без особого внимания подошел туда Александров и стал лениво прислушиваться.

— Тогда-то, — продолжал медленно Левис, — кровожадные преступники и придумали коварный способ для своей переписки. Они писали друг другу самые обыкновенные записки о самых невинных семей-

ных делах, так, что никому не пришло бы никогда в голову придраться к их содержанию. Но на чистом листке они передавали свои хищнические планы при помощи пера, обмокнутого в лимонный сок. Некоторую покоробленность бумаги они сглаживали горячим утюгом, и получателю стоило подержать этот белый лист около огня, как немедленно и явственно выступали на нем желтые буквы...

Слова Левиса сразу, точно молния, озарили Александрова.

«Вот что мне нужно! А там, суди меня бог и военная коллегия!»

В ближайшую субботу он идет в отпуск к замужней сестре Соне, живущей за Москвой-рекой, в Мамонтовском подворье. В пустой аптекарский пузырек выжимает он сок от целого лимона и новым пером номер 86 пишет довольно скромное послание, за которым, однако, кажется юнкеру, нельзя не прочитать пламенной и преданной любви:

«Знаю, что делаю дурно, решаясь писать Вам без позволения, но у меня нет иного средства выразить глубокую мою благодарность судьбе за то, что она дала мне невыразимое счастье познакомиться с Вами на прекрасном балу Екатерининского института. Я не могу, я не сумею, я не осмелюсь говорить Вам о том божественном впечатлении, которое Вы на меня произвели, и даже на попытки сделать это я смотрю, как на кощунство. Но позвольте смиренно просить Вас, чтобы с того радостного вечера и до конца моих дней Вы считали меня самым покорным слугой Вашим, готовым для Вас сделать все, что только возможно человеку, для которого единственная мечта — хоть случайно, хоть на мгновение снова увидеть Ваше никогда не забываемое лицо. Алексей Александров, юнкер 4-й роты 3-го Александровского военного училища на Знаменке».

Когда буквы просохли, он осторожно разглаживает листик Сониным утюгом. Но этого еще мало. Надо теперь обыкновенными чернилами, на переднем листе написать такие слова, которые, во-первых, были бы совсем невинными и неинтересными для

чужих контрольных глаз, а во-вторых, дали бы Зиночке понять о том, что надо подогреть вторую страницу.

Очень быстро приходит в голову Александрову (немножко поэту) мысль о системе акростиха. Но удается ему написать такое сложное письмо только после многих часов упорного труда, изорвав сначала в мелкие клочки чуть ли не десть почтовой бумаги. Вот это письмо, в котором начальные буквы каждой строки Александров выделял чуть заметным нажимом пера.

«Дорогая Зизи,

*П*омнишь ли ты, как твоя старая тетя
*О*ля тебя так называла? Прошло два го-
*д*а, что от тебя нет никаких пис-
*е*м. Я думаю, что ты теперь вы-
*р*осла совсем большая. Дай тебе бо-
*ж*е всего лучшего, светлого,
и, главное, здоровья. С первой поч-
*т*ой шлю тебе перчатки из козь-
*е*й шерсти и платок оре-
*н*бургский. Какая радость нам,
*а*нгел мой, если летом приедешь в
*О*зерище. Уж так я буду обере-
*г*ать тебя, что пушинки не дам сесть.
*Н*яня тебе шлет пренизкие поклоны.
*Е*е зимой все ревматизмы мучили.
Миша в реальном училище,
Учится хорошо. Увлекается
Акростихами. Целую тебя
Крепко. Вашим пишу отдельно.

Твоя любящая
Тетя Оля».

На конверт прилепляется не городская, а (какая тонкая хитрость!) загородная марка. С бьющимся сердцем опускает его Александров в почтовый ящик. «Корабли сожжены», — пышно, но робко думает он.

На другой день ранним утром, в воскресенье, профессор Дмитрий Петрович Белышев пьет чай вместе со своей любимицей Зиночкой. Домашние еще не вставали. Эти воскресные утренние чаи вдвоем составляют маленькую веселую радость для обоих: и для знаменитого профессора и для семнадцатилетней девушки. Он сам приготовляет чай с некоторой серьезной торжественностью. Сначала в сухой горячий чайник он всыпает малую пригоршеньку чая, обливает его слегка крутым кипятком и сейчас же сливает воду в чашку.

— Это для того, — говорит он серьезно, — что необходимо сначала очистить зелье, ибо собирали его и приготовляли язычники-китайцы, и от их рук чай поганый. В этом по крайней мере уверено все Замоскворечье. — Затем он опять наливает кипяток, но совсем немного, закутывает чайник толстой суконной покрышкой в виде петуха, для того чтобы настоялся лучше, и спустя несколько минут наливает его уже дополна. Эта церемония всегда смешит Зиночку.

Затем Дмитрий Петрович своими большими добрыми руками, которыми он с помощью скальпеля разделяет тончайшие волокна растений, режет пополам дужку филипповского калача и намазывает его маслом. Отец и дочка просто влюблены друг в друга.

В дверь стучат.

— Войдите!

Входит Порфирий в утренней тужурке.

— Почта-с.

Профессор не спеша разбирает корреспонденцию.

— А это тебе, Зиночка, — говорит он и осторожно перебрасывает письмо через стол.

Зина вскрывает конверт и долго старается понять хоть что-нибудь в этом письме. Шутка? Мистификация? Или, может быть, кто-нибудь перепутал письма и конверты?

— Папочка! Я ничего не понимаю, — говорит она и протягивает письмо отцу.

Профессор несколько минут изучает письмо, и чем дальше, тем больше расплывается на его умном лице веселая улыбка.

— Тетя Оля? — восклицает он. — Да как же ты ее не помнишь? Вспомни, пожалуйста. Такая высокая, стройная. У нее еще были заметные усики. И танцевать она очень любила. Возьми, возьми, почитай повнимательней.

Через неделю, после молитвы и переклички командир четвертой роты Фофанов, он же Дрозд, проходит вдоль строя, передавая юнкерам письма, полученные на их имя. Передает он также довольно увесистый твердый конверт Александрову. На конверте написано: со вложением фотографической карточки.

— Э-э, не покажешь мне?

— Так точно, господин капитан.

Юнкер торопливо разрывает оболочку. Это прелестное личико Зиночки и под ним краткая надпись: «Зинаида Белышева».

— Э-э... Очень хороша, — говорит Дрозд. — Ну, что? Теперь жалеешь, что поехал на бал?

— Никак нет...

Глава XXIV

ДРУЖКИ

Кончился студеный январь, прошел густоснежный февраль, наворотивший круглые белые сугробы на все московские крыши. Медленно тянется март, и уже висят по утрам на карнизах, на желобах и на железных картузах зданий остроконечные сосульки, сверкающие на солнце, как стразы горного хрусталя, радужными огоньками.

По улицам «ледяные» мужики развозят с Москвы-реки по домам, на санях, правильно вырубленные плиты льда полуаршинной толщины. Еще холодно, но откуда-то издалека-издалека в воздухе порою попахивает масленицей.

У юнкеров старшего курса шла отчаянная зубрежка. Пройдут всего два месяца, и после храмового праздника училища, после дня святых великомуче-

ников Георгия и царицы Александры, их же память празднуется двадцать третьего апреля, начнутся тяжелые страшные экзамены, которые решат будущую судьбу каждого «обер-офицера». В конце лета, перед производством в первый офицерский чин, будут посланы в училище списки двухсот с лишком вакансий, имеющихся в различных полках, и право последовательного выбора будет зависеть от величины среднего балла по всем предметам, пройденным в течение всех двух курсов. Конечно, лучшим ученикам — фельдфебелям и портупей-юнкерам — предстоят выборы самых шикарных, видных и удобных полков. Во-первых, лейб-гвардия в Петербурге. Но там дорого служить, нужна хорошая поддержка из дома, на подпоручичье жалованье — сорок три рубля двадцать семь с половиной копейки в месяц — совсем невозможно прожить. Потом — суконная гвардия в царстве Польском. Очень хорошая форма, но тоже немного дороговато. Затем — артиллерия. Дальше следуют стоянки в столицах или больших губернских городах, преимущественно в гренадерских частях. Дальше лестница выборов быстро сбегала вниз, спускаясь до каких-то ни разу не упоминавшихся на уроках географии городишек и гарнизонных баталионов, заброшенных в глубины провинции.

Александров учился всегда с серединными успехами. Недалекое производство представлялось его воображению каким-то диковинным белым чудом, не имеющим ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Одной его заботой было окончить с круглым девятью, что давало права первого разряда и старшинство в чине. О последнем преимуществе Александров ровно ничего не понимал, и воспользоваться им ему ни разу в военной жизни так и не пришлось.

Однако всеобщая зубрежка захватила и его. Но все-таки работал он без особенного старания, рассеянно и небрежно. И причиной этой нерадивой работы была, сама того не зная, милая, прекрасная, прелестная Зиночка Белышева. Вот уже около трех месяцев, почти четверть года, прошло с того дня, когда она прислала ему свой портрет, и больше от нее — ни

звука, ни послушания, как говорила когда-то нянька Дарья Фоминишна. А написать ей вторично шифрованное письмо он боялся и стыдился.

Много, много раз, таясь от товарищей и особенно от соседей по кровати, становился Александров на колени у своего деревянного шкафчика, осторожно доставал из него дорогую фотографию, освобождал ее от тонкого футляра и папиросной бумаги и, оставаясь в такой неудобной позе, подолгу любовался волшебно милым лицом. Нет, она не красавица, подобная тем блестящим, роскошным женщинам, изображения которых Александров видел на олеографиях Маковского в приложениях к «Ниве» и на картинках в киосках Аванцо и Дациаро на Кузнецком мосту. Но почему каждый раз, когда Александров подолгу глядел на ее портрет, то дыхание его становилось томным, сохли губы и голова слегка кружилась сладко-сладко? Какая тайна обаяния скрывалась в этих тихих глазах под длинными, чуть выгнутыми вверх ресницами, в едва заметном игривом наклоне головы, в губах, так мило сложившихся не то для улыбки, не то для поцелуя?

Рассматривая напряженно фотографию, Александров все ближе и ближе подносил ее к глазам, и по мере этого все увеличивалось изображение, становясь как бы более выпуклым и точно оживая, точно теплея.

Когда же, наконец, его губы и нос почти прикасались к Зининому лицу, выросшему теперь до натуральной величины, то, испытывая сладостный туман во всем теле, Александров жадно хотел поцеловать Зинины губы и не решался, усилием воли не позволял себе.

— Так нельзя делать, — уговаривал он самого себя. — Это — стыдно, это тайное воровство и злой самообман. Так мужчине не надлежит поступать. Ведь она же не может тебе ответить!

И со вздохом усталости прятал карточку в шкаф.

Об этих своих странных мучениях он никому не признавался. Только раз — Венсану. И тот сказал, махнув рукой:

— Брось! Ерунда. Просто в тебе младая кровь волнуется. «Смиряй ее молитвой и постом». Пойдем-ка, дружище, в гимнастический зал, пофехтуем на рапирах на два пирожных. Ты мне дашь пять ударов вперед из двадцати... Пойдем-ка.

Дружба Александрова с Венсаном с каждым днем становилась крепче. Хотя они вышли из разных корпусов и Венсан был старше на год.

Вероятно, выгибы и угибы их характеров были так расположены, что в союзе приходились друг к другу ладно, не болтаясь и не нажимая.

На лекциях они всегда сидели рядом и помогали один другому. Александров чертил для Венсана профили пушек и укреплений. Венсан же, хорошо знавший иностранные языки, вставал и отвечал за Александрова, когда немец или француз вызывали его фамилию.

Если лекция бывала непомерно скучна, то друзья развлекались чтением, игрой в крестики, сочинением вздорных стихов. Но любимой их игрой была игра в мечту об усах.

В Венсане не напрасно половина крови была французская: он старательно носил в боковом кармане маленькую щеточку и крошечное зеркальце.

Пусть учитель русской словесности, семинар Декапольский, монотонно бубнил о том, что противоречие идеала автора с действительностью было причиною и поводом всех написанных русскими писателями стихов, романов, повестей, сатир и комедий... Это противоречие надоело всем хуже горькой редьки.

Декапольского никто не слушал.

Венсан вынимал свое зеркальце, внимательно рассматривал, щурясь и вертя голову справа налево, свои юные, едва начавшие пробиваться усы.

— Ну, что? — спрашивал он серьезно. — Как будто опять подросли немного?

— Да, немного побольше стали. А ну-ка, дай-ка теперь мне поглядеть. Ты ведь счастливец. Ты брюнет, и они у тебя черные, а у меня — светло-каштановые, у меня не так они выделяются. Ну, а все-таки как? виднее, чем прежде?

— Несомненно. Даже издали видно. Очаровательные усы со временем будут. Позволь, я еще раз на себя погляжу, еще раз...

Потом, не доверяя зеркальному отражению, они прибегали к графическому методу. Остро очиненным карандашом, на глаз или при помощи медной чертежной линейки с транспортиром, они старательно вымеряли длину усов друг друга и вычерчивали ее на бумаге. Чтобы было повиднее, Александров обводил свою карандашную линию чернилами. За такими занятиями мирно и незаметно протекала лекция, и молодым людям никакого не было дела до идеала автора.

Эти двое юнкеров охотно приглашали друг друга на вечера, любительские спектакли и маленькие балы, какие всю зиму устраивались в их знакомых семействах. Тогда вся Москва плясала круглый год и каждый день. Александров представил Венсана семьям — Синельниковых, Скрипицыных и Владимировых; Венсан водил своего друга все в один и тот же дом, к Шелкевичам. Глава этого семейства, еврей Шелкевич, считался в Москве в числе трех наиболее богатых банкиров. Его ежемесячные домашние балы славились по всему городу: лучший струнный оркестр, самые красивые женщины Москвы, ужины с фазанами, устрицами, выписанной стерлядью и лучшими марками шампанского, роскошные цветы от Ноева, свежие ананасы и прелестные безделушки для котильонов, которые охотно сохранялись на память даже людьми солидными и уже давно не танцующими.

Венсан был влюблен в младшую дочку, в Марию Самуиловну, странное семнадцатилетнее существо, капризное, своевольное, затейливое и обольстительное. Она свободно владела пятью языками и каждую неделю меняла свои уменьшительные имена: Маня, Машенька, Мура, Муся, Маруся, Мэри и Мари. Она была гибка и быстра в движениях, как ящерица, часто страдала головной болью. Понимала многое в литературе, музыке, театре, живописи и зодчестве и во время заграничных путешествий перезнакомилась со множеством настоящих мэтров.

И лицо у нее было удивительное, совсем, ни на иоту не похожее на все прочие женские лица. Взгляд ее светло-серых глаз был всегда как будто бы слегка затуманен тончайшей голубоватой дымкой. Рот был большой, алчный и красный, но необычайно красивого рисунка, а руки несравненного изящества. И странное выражение было в этом удивительном живом лице: надменность, насмешка и нежная ласка. Она часто танцевала с Александровым и говорила ему нередко, что лучше, ритмичнее и упоительнее его никто не танцует вальса. А его неизменно приводила в смущение ее свободная манера прижиматься к кавалеру всем стройным тонким телом и маленькими, точно гуттаперчевыми грудями. «А вдруг ее родители заметят? и рассердятся? Куда тогда мне от стыда деваться?»

Он избегал с нею разговаривать, боясь ее остро-цепкого, безжалостного языка и не находя никаких тем для разговора.

Впрочем, и она оставляла его в покое, довольствуясь им, как отличным танцором. И, пожалуй, Александров не без проницательности думал иногда, что она считает его за дурачка. Он не обижался. Он отлично знал, что дома, в общении с товарищами и в болтовне с хорошо знакомыми барышнями у него являются и находчивость, и ловкая поворотливость слова, и легкий незатейливый юмор.

Но что мог поделать бедный Александров со своей проклятой застенчивостью, которую он никак не мог преодолеть, находясь в большом и малознакомом обществе?

Он не завидовал Венсану. Он только удивлялся его уверенности и спокойствию, его натуральной способности быстро схватывать узел разговора, продолжать его и снова завязывать, никогда не позволяя ему иссякнуть. А его шутливое состязание с Марией Самуиловной в остротах и шпильках казалось ему блестящим поединком двух первоклассных мастеров фехтования. Уезжал он от Шелкевичей всегда усталым и с тяжелой головой.

В училище весь день у юнкеров был сплошь туго загроможден учением и воинскими обязанностями. Свободными для души и для тела оставались лишь два часа в сутки: от обеда до вечерних занятий, в течение которых юнкер мог передвигаться, куда хочет, и делать, что хочет во внутренних пределах большого белого дома на Знаменской.

В эти предвечерние часы любо бывало юнкерам петь хором, декламировать, ставить самодельные краткие пьесы, показывать фокусы, слушать рассказы о былом и о прочитанном. В эти часы удобно и уютно было дружкам разговаривать о вещах сердечных, требующих деликатного секрета, особенно о первой любви, которая эпидемически расцветала во всех молодых и здоровых сердцах, переполняя их, искала выхода хоть в словах.

Венсан и Александров каждый вечер ходили в гости друг к другу; сегодня у одного на кровати, завтра — у другого. О чем же им было говорить с тихим волнением, как не о своих неугомонных любвях, которыми оба были сладко заражены: о Зиночке и о Машеньке, об их словах, об их улыбках, об их кокетстве.

И тут сказывалась разность двух душ, двух темпераментов, двух кровей. Александров любил с такою же наивной простотой и радостью, с какою растут травы и распускаются почки. Он не думал и даже не умел еще думать о том, в какие формы выльется в будущем его любовь. Он только, вспоминая о Зиночке, чувствовал порою горячую резь в глазах и потребность заплакать от радостного умиления.

Венсан был влюблен страстнее и определеннее, со всей сознательностью молодого человека, вступившего в полосу половой зрелости. Но он не скрывал ни от себя, ни от Александрова своих практических дальних планов.

— Машенька — прелесть и чудо, — говорил он, — но она еще и умна и образованна. Такая жена всегда будет хорошей вывеской для мужа. А кроме того (зачем же мне притворяться и ломаться перед тобою), — кроме того, она богата и за ней будет хоро-

шее приданое. У нас уже условлено: в день производства я прошу ее руки. Выйду я в Перновский гренадерский полк, на сослужение с братом. Все-таки Москва... Когда мне исполнится двадцать три года, я женюсь на ней, а затем непременно, во что бы то ни стало, поступаю в Академию генерального штаба. Вот уже моя карьера и на виду. Эх, дружище: плохая вещь любовь в шалаше, с собственной стиркой белья и личным кормлением младенцев из рожка.

— Ты циник, — говорил Александров.

Венсан смеялся.

— Совсем нет. Я только соединяю любовь с рассудком. Но ты этого никогда не поймешь. Ты — писатель, и твое одно удовольствие — это парить в облаках...

Глава XXV

RENDEZ-VOUS [1]

Утренняя перекличка — самый важный и серьезный момент в дневной жизни роты. После оклика всех юнкеров поочередно фельдфебель читает приказы по полку. Он же назначает на сутки одного дежурного из старшего курса и двух дневальных из младшего, которые чередуются через каждые четыре часа, он же объявляет о взысканиях, налагаемых начальством.

Наконец, по окончании переклички, выдавались юнкерам полученные на их имя письма. Последнее обыкновенно делал сам Дрозд, и не без некоторой значительности. По уставу он мог бы всякую корреспонденцию юнкеров предварительно просматривать, но он их передавал в нетронутом виде. Он, вероятно, инстинктом понял великую аксиому власти: «Взаимное доверие сильнее связывает начальника с подчиненным, чем подозрение и репрессии». К тому же он понимал, что письмо с воли в закрытое заведение всегда дает радость и тепло, а тронутое чужими руками как-то вянет и охладевает.

---

[1] Свидание *(франц.)*.

В конце февраля Александров получил из рук Дрозда такое трогательно малюсенькое письмо, что его марка, казалось, покрывала весь конверт.

— Гм, — сказал Дрозд, — какая воробьиная переписка!

В строю решительно немыслимо заниматься чем-нибудь иным, как строем: это первейший военный завет. Маленькое письмецо жгло карман Александрова до тех пор, пока в столовой, за чашкой чая с калачом, он его не распечатал. Оно было больше чем лаконично, и от него чуть-чуть пахло теми, прелестными прежними рождественскими духами!..

«На второй день масленицы, в два часа пополудни, приходите на каток Чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша З. Б.»

Ваша! О, господи! Ваша! Это словечко точно горячей водою облило юнкера и на минуту сладко закружило его голову.

В этот день первой лекцией для юнкеров старшего курса четвертой роты была лекция по богословию. Читал ее доктор наук богословских, отец Иванцов-Платонов, настоятель церкви Александровского училища, знаменитый по всей Европе знаток истории церкви.

Будучи на первом курсе, Александров с жадным вниманием слушал его поразительные лекции о римских папах эпохи Возрождения и о Саванаролле. Но теперь он читал о разрыве церквей, об исхождении святого духа, о причастии под одним или под двумя видами, о непогрешимости пап и о соборах. Эта тема была суха, схоластична, трудно понимаема.

Александров и вместе с ним другие усердные слушатели отца Иванцова-Платонова очень скоро отошли от него и перестали им интересоваться. Старый мудрый протоиерей не обратил никакого внимания на это охлаждение. Он в этом отношении был похож на одного древнего философа, который сказал как-то: «Я не говорю для толпы. Я говорю для немногих. Мне достаточно даже одного слушателя. Если же и одного нет — я говорю для самого себя».

У Иванцова-Платонова было много занятий в Троице-Сергиевской духовной академии, в разных богословских обществах, и, кроме того, ему едва хватало времени для издания и корректур его многих и замечательных книг. Он отлично знал, что в училище богословие считается предметом почти необязательным, экзамена по нему не полагалось. И он со спокойным равнодушием ставил всем юнкерам по двенадцати баллов. Так же ему было все равно, чем занимаются юнкера на его лекциях. Он даже не глядел на них, произнося свои веские мудрые ученые слова... А юнкера в это время подзубривали военные науки для близкой репетиции, чертили профили и фасы, заданные профессорами артиллерии и фортификации, упражнялись в топографическом искусстве, читали книжки Дюма-отца или попросту срисовывали лысую, почти голую мощную голову прославленного пастыря. Требовалась только условная минимальная тишина, ибо Иванцов-Платонов готовился к ближайшей лекции в более серьезном месте.

Александров, как и всегда, сел рядом с Венсаном и протянул ему полученное письмецо. Венсан неторопливо с серьезным видом рассмотрел и отдал назад.

— Ну что же, Александров, ты — счастливец, — сказал он с дружеской улыбкой. (У них уже давно вошло в обычай говорить друг другу «вы» по делам училищным и «ты» — по делам дружбы, тонких чувств и любви.)

— Вчера, только вчера ты не осмеливался прикоснуться губами к ее фотографическому портрету, а, смотри, сегодня она тебе назначила рандеву на катке, где ты поцелуешь не кусок картона, а, может быть, живую теплую душистую перчатку на маленькой ручке. Ох, уж вы мне, скрипучие пессимисты!

— А погляди, погляди, — волновался Александров, — погляди, как она, мое божество, подписалась. «Ваша». Это значит — моя, моя, моя, моя. Моя.

Суровый реалист Венсан не согласился.

— Ваша — это не значит — твоя. Ваша или ваш — это только условное и не очень почтительное сокращение обычного окончания письма. Занятые люди

нередко, вместо того чтобы написать: «теперь, милостивый государь мой, разрешите мне великую честь покорнейше просить Вас увериться в совершенной преданности, глубоком почтении и неизменной готовности к услугам Вашим покорнейшего слуги Вашего...» Вместо всей этой белиберды канцелярской умный и деловитый человек просто пишет: «Ваш X.», и все тут.

Александров сделал кислое лицо.

— Ну вот, ты всегда такой практик. Все ты через серые очки видишь. А ты обратил внимание на подругу?

— Как же, обратил. Это, наверное, будет дуэнья, барышня постарше и понекрасивее, строгого характера, и потому я заранее отказываюсь от удовольствия сопровождать тебя на чистопрудный каток и занимать на морозе апатичную, неразговорчивую дурнушку.

— Ах, Венсан!

— Нет, голубчик, — смягчился дружок. — У меня на второй день масленой недели тоже — приглашение и — тоже на каток, но только на Патриаршем пруду, от Машеньки Шелкевич, от моей прекрасной еврейки.

— Эх, пропало мое дело, — уныло сказал Александров и причмокнул языком.

— Почему пропало? Я хоть и реалист и практический человек, но зато верный и умный друг. Посмотри-ка на письмо Машеньки: она будет ждать меня к четырем часам вечера, и тоже с подругой, но та превеселая, и ты от нее будешь в восторге. Итак, ровно в два часа мы оба уже на Чистых прудах, а в четыре без четверти берем порядочного извозчика и катим на Патриаршие. Идет?

— Ах, дорогой мой, как ты хорошо распорядился! А у меня уж было печенки заболели. Ты добр и великодушен, бледнолицый брат мой.

— То-то.

В субботу юнкеров отпустили в отпуск на всю неделю масленицы. Семь дней перерыва и отдыха посреди самого тяжелого и напряженного зубрения, семь дней полной и веселой свободы в стихийно разгулявшейся Москве, которая перед строгим великим постом вновь

возвращается к незапамятным языческим временам и вновь впадает в широкое идолопоклонство на яростной тризне по уходящей зиме, в восторженном плясе в честь весны, подходящей большими шагами.

Вчера еще Москва ела жаворонков: булки, выпеченные в виде аляповатых птичек, с крылышками, с острыми носиками, с изюминками-глазами. Жаворонок — символ выси, неба, тепла. А сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы — тысячелетний блин, внук Дажбога. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце, блин полит растопленным маслом, — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей.

О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной.

А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий доппель-кюммель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка и... всех не перечислишь.

А сколько блинов съедается за масленую неделю в Москве — этого никто никогда не мог пересчитать, ибо цифры тут астрономические. Счет приходилось бы начинать пудами, переходить на берковцы, потом на тонны и вслед затем уже на грузовые шестимачтовые корабли.

Ели во славу, по-язычески, не ведая отказу. Древние старожилы говорили с прискорбием:

— Эх! Не тот, не тот ныне народ пошел. Жидковаты стали люди, не емкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым — кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На тридцать втором блине, не сходя с места, богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в мое молодое время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, а запивал непременно лимонной настойкой с рижским бальзамом.

Но Александров блинного объедения не понимает и к блинам особой страсти не чувствует. Съел парочку у мамы, парочку у сестры Сони и стал усиленно готовиться ко вторичной встрече. Его стальные коньки, лежавшие без употребления более года в чулане, оказывается, кое-где успели заржаветь и в чем-то перепачкались; пришлось над ними порядочно повозиться, смазывая их керосином, обтирая теплым деревянным маслом и, наконец, полируя наждаком особенно неподатливые ржавчинки.

Когда же коньки были приведены в полный порядок, Александров вспомнил о том, что он уже давно, уже более года не занимался благородным спортом бегания на коньках. Надо было немедленно заняться необходимой тренировкой. Правда, девушки в конькобежном искусстве всегда стоят гораздо ниже молодых людей, однако Александрову приходилось дважды в своей жизни видеть совершенно обратные примеры, оба на большом катке Зоологического сада. Один раз это была датчанка, другой — суровая норвежская девица. В быстроте и выносливости их не мог победить ни один из московских профессионалов-мужчин. Но в фигурном заезде выше их по очкам оказывался каждый раз преподаватель гимнастики в Александровском училище — Постников, знаменитый московский спортсмен.

«Ну, конечно, Зиночка Белышева не датчанка, не норвежка, но, судя по тому, как она ходит, и как танцует, и как она чутка к ритму и гибка и ловка в движениях, можно предположить, что она, пожалуй, очень искусна в работе на коньках. А вдруг я окажусь не только слегка слабее ее, а гораздо ниже. Нет! Этого

унижения я не могу допустить, да и она меня начнет немного презирать. Иду сейчас же упражняться».

Самый близкий каток от Кудрина был как раз на Патриарших прудах, но за вход на его заботливо содержимое ледяное поле и за музыку полагалось со своими коньками десять копеек... И отсюда-то и начались лютые горести и моральные муки для бедного вновь влюбленного юнкера в звании обер-офицера, Алексея Александрова.

Смета его предполагаемых расходов была колоссально велика, даже считая в обрез: суббота, воскресенье, понедельник — три дня, каждый день по два упражнения на Патриарших, итого шесть раз — шестьдесят копеек. Вход на Чистые пруды — гривенник, итого семьдесят копеек. Угостить чем-нибудь Зиночку. Довезти ее домой на извозчике. Заплатить за нее услужнице.

А у Александрова не было ни единой копейки. О свинская, о подлая бедность! Неужели придется отказаться? не прийти? сказать через Венсана, что заболел мгновенно дифтеритом или сломал ногу?

Прости-прощай навсегда, светлый, милый, нежный облик Зиночки, ласковой волшебницы, такой прелестной душеньки, с которой не сравняются никакие знаменитые красавицы. Прощай, любовь моя! И все это из-за жалких копеек!

Он мог бы обратиться к матери и попросить ее, но он давно знал, как она непоколебима в своих убеждениях, внушенных ей чужим злобным и глупым авторитетом.

Была у мамы такая давняя необычайно почитаемая старшая подруга, Мария Ефимовна Слепцова — самая важная, самая либеральная и самая неоспоримо умная особа в Вышнем Волочке. Она в год раза четыре приезжала в Москву по делам, навещала маму и всегда-то всех учила, делала замечания, прорицала, предостерегала и тому подобное.

Мать, в силу многолетнего, еще с девичества ненарушимого преклонения, внимала ей, как гласу ангельскому с небес, и, сама очень свободолюбивая по натуре, считала ее индюшечью болтовню непререкаемым кладезем мудрости и опыта.

Однажды, перед вечером, когда Александров, в то время кадет четвертого класса, надел казенное пальто, собираясь идти из отпуска в корпус, мать дала ему пять копеек на конку до Земляного вала, Марья Ефимовна зашипела и, принявшись теребить на обширной своей груди старинные кружева, заговорила с тяжелой самоуверенностью:

— Я тебя не понимаю, Люба, — разве это педагогично давать детям или, скажем, юношам деньги на руки? К чему они ему? (Александров-то знал — к чему: на пару тирольских пирожных у корпусного разносчика Егорки). Он, слава богу, обут, одет и учится в хорошем, теплом и хорошо освещенном помещении. Куда же ему девать деньги? На конку? Но для мальчика его возраста пройти пешком от Кудрина до Лефортова одно только удовольствие! А мы не раз видали,и слышали, и читали, к каким плачевным, роковым результатам приводит молодежь раннее знакомство с деньгами и с тем, что можно получить за деньги.

— Вы правы, Марья Ефимовна, вы совершенно правы, — говорила покорно Алешина мать. — Я приму ваши золотые слова к самому сердцу. Как вы добры и мудры!

Вышневолоцкая пифия совсем рассиропилась и продолжала томным голосом:

— В особенности я об этом говорю потому, что знаю, Любочка, твое совсем не богатое положение. Но я надеюсь, что ты позволишь мне на основании нашей старой дружбы подарить твоему милому мальчику вот этот рубль, который ты будешь расходовать на его маленькие невинные забавы.

Александров быстро надел фуражку и пошел к двери.

— Алеша, поблагодари! Алеша, простись с Марьей Ефимовной! — тревожно кричала мать.

— Не стоит, — ответил дрожащим голосом кадет и хлопнул дверью.

Александров молчал, предаваясь унылым думам. Мать тоже молча вышивала гарусом по канве, и часто слышался роговой тихий стук ее спиц.

«Нет, у мамы стыдно и бесполезно просить. Ведь она для себя никогда не жила. Все для нас. Выезжать надо было сестрам — продала две родовые деревнюшки Зубово и Щербатовку с землей. Приданое понадобилось — отдала пополам бабушкино наследство. Пошли дети у сестер — она и бабкой и нянькой, — сама из рожка кормила. И всегда она нас в детстве вывозила летом на дачу из пыльной пламенной Москвы и там бывала нам и кухаркой и горничной. А мне, балбесу, лентяю и грубияну, не могшему одолеть первых начал алгебры, разве не нанимала она репетиторов, или, как она сама называла, «погонялок».

Ах! К ней никак невозможно и, стало быть, — пропал счастливый второй день масленицы. Жестокая моя жизнь!»

Но есть в мире удивительное явление: мать с ее ребенком еще задолго до родов соединены пуповиной. При родах эту пуповину перерезают и куда-то выбрасывают. Но духовная пуповина всегда остается живой между матерью и сыном, соединяя их мыслями и чувствами до смерти и даже после нее.

— Ты что же, Алеша, надулся, как мышь на крупу? — сказала тихонько мать. — Иди-ка ко мне. Иди, иди скорее! Ну, положи мне голову на плечо, вот так.

— Да я, мамочка... так...

— Ну говори, рассказывай. Я уж давно чувствую, что ты какой-то весь смутный и о чем-то не переставая думаешь. Скажи, мой светик, скажи откровенно, от матери ведь ничто не скроется. Чувствую, гложет тебя какая-то забота, дай бог, чтобы не очень большая. Говори, Алешенька, говори — вдвоем-то мы лучше разберем.

Милый, с колыбели родной голос, нежные, давно привычные слова растопили угрюмость юнкера. Мать гладила его волосы, а он рассказывал все по порядку: блестящий рождественский бал в Екатерининском институте, куда его почти насильно отправил Дрозд. Танцы. Знакомство с Зиночкой Белышевой. Летучая ссора, наивное примирение. Первая любовь, настоящая, пылкая и на веки вечные (прежние дачные любвишки не в счет. Так — баловство, обезьянство, подра-

жание прочитанным романам). Рассказал также Александров о том, как написал обожаемой девушке шифрованное письмо, лимонными чернилами с акростихом выдуманной тетки, и как Зиночка прислала ему очаровательный фотографический портрет, и как он терзался, томясь долгой разлукой и невозможностью свидания.

— Ведь ты же, мама, понимаешь меня? Ты же была в свое время влюблена, прежде чем выйти замуж?

— Нет, нет, Алешенька, мой милый, — тихо засмеялась мать. — В мое время таких влюблений у нас не бывало. Пришли ко мне твои дедушка и бабушка и сказали: «Любушка, к тебе сватается председатель мирового съезда Николай Федорович Александров; человек он добрый, образованный и даже играет на скрипке. Фамилия его хорошая, дворянская. Место почтенное. Ну, как ты скажешь? Пойдешь? Не пойдешь?» — «Как вы, папенька, маменька, скажете». Так я и вышла замуж неполных шестнадцати лет; даже после венчания все куклы свои в мужнин дом перевезла. А ты говоришь влюбление.

— Ах, мамочка, то было — тогда, а теперь — теперь совсем другое.

— Да, ладно, хорошо. Верю тебе, что нынче иное. А ты дальше говори.

— А дальше то, что Зиночка прислала мне в училище вот это коротенькое письмецо, и я теперь не знаю, что делать...

Мать, не торопясь, надела на нос большие в металлической оправе очки и внимательно прочитала записочку. А потом вздела очки на лоб и сказала:

— Быстрая барышня, деловитая и живая. Она из каких же Белышевых? Не профессора ли Дмитрия Петровича дочка?

— Да, мамочка. Она самая — Зинаида Дмитриевна.

— Ну, что же? Не мое право его укорять, что он дочку на такой широкой развязке держит... Однако он человек весьма достойный и по всей Москве завоевал себе почет и уважение. Впрочем — это не мое дело. Ты лучше прямо мне скажи, что тебе так до смерти нужно? Денег, наверное? Так?

— Так, мамочка. Только мне очень, очень стыдно у тебя просить.

— Ну, стыд не велик. Я еще твоя должница. В прошлом году ты мне шевровые башмаки подарил. Но к чему мне шевро? Я не модница. Стара стала. Я пошла в этот магазин, где ты покупал, и там хорошие прюнелевые ботинки присмотрела и разницу себе взяла. Ну, что же, пяти целковых тебе довольно? Хватит?

Александров прильнул губами к ее морщинистой шее и, горячо целуя ее, растроганно забормотал:

— Этого довольно, совсем довольно. Ах, какая ты у меня восторгательная, мамочка. Какая ты золотая, брильянтовая! Ты подумай только, мама, что бы теперь сказала Мария Ефимовна Слепцова, если бы увидела твою непомерную расточительность!

Мать улыбнулась той милой, славной, стародавней улыбкой, которую так знал и любил Алексей и в которой так наивно скользило беззлобное лукавство.

— Ах, Алешенька! Здесь нас только двое. Никто чужой не услышит. Не в укор и не в осуждение, скажу тебе, что моя Марья Ефимовна при всех своих прекрасных чертах — порядочная-таки дурища, дай ей бог всякого счастья и здоровия. Она еще и в Пензе этим качеством отличалась. Но, однако, при всей своей глупой гордости и при вечном всезнайстве она чрезвычайно добра и всегда готова оказать помощь. Но и тебе, мой Алеша, я должна сказать: научись ты, ради бога, обуздывать свой неуемный татарский нрав. Много ты несчастий через него в жизни перетерпишь. Кровь у тебя уж чересчур вспыльчивая.

Глава XXVI

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

В ту же субботу, ранним вечером, успел Александров сбегать с коньками на небольшой, но уютный и близкий от дома каток Патриарших прудов. Там нынче не было музыки, но зато беговое ледяное поле, находившееся под присмотром ревностных членов конькобеж-

ного клуба, отличалось замечательной чистотой и зеркальной гладкостью. Над деревянной кабинкой, где спортсмены надевали на ноги коньки, пили лимонад и отогревались в морозные дни, — висел печатный плакат: «Просят гг. посетителей катка без надобности не царапать лед вензелями и не делать резких остановок, бороздящих паркет».

Александров сначала опасался, что почти шестимесячная отвычка от «патинажа» даст себя знать тяжестью, неловкостью и неумелостью движений. Но когда он быстрым полубегом-полускоком обогнул четыре раза гладкую поверхность катка и поплыл большими круглыми, перемежающимися размахами, то сразу радостно почувствовал, что ноги его по-прежнему работают ловко, послушно и весело и отлично помнят конькобежный темп.

Какой-то пожилой, толстый спортсмен, с крошечной круглой шапочкой на голове, воскликнул, сбегая на коньках с деревянной лестницы:

— Браво, господин юнкер! Браво, браво, молодцом.

Александров с широкой улыбкой приложил правую руку к своей барашковой орленой шапке и подумал не без гордости: «Это еще пустяки. А вот ты лучше погляди на меня в следующий вторник, на Чистых прудах, где я буду без шинели, без этого нелепого штыка, в одном парадном мундире, рука об руку с ней, с Зиночкой Белышевой, самой прекрасной и грациозной барышней в мире...»

Так он проминал и упражнял свое тело до глубоких сумерек. Когда уже стало ничего не видно вокруг, тогда, приятно усталый и блаженно расслабленный, он с трудом дошел до дома.

Но на другой день, с самого раннего утра, стали давать знать себя последствия неумеренной тренировки, затеянной через большой промежуток пустого времени. Он проснулся с таким чувством, будто его руки, ноги, спина и все тело избиты до синяков. Каждый мускул болел и ныл и не позволял до себя дотрагиваться. Чтобы встать с постели, Александрову пришлось держаться за стул и кряхтеть совсем по-старчески. Он подумал, что

заболел, катаясь вчера на коньках, и, чтобы не тревожить мать, попросил принести ему утренний чай в постель, чего раньше никогда не делал, считая еду в лежачем положении ужасным свинством.

Но мать сама принесла ему чай и калач с маслом. Она сразу увидела, как ее сын мается от ломоты и через силу, с трудом передвигает свои члены, и участливо спросила:

— Что, Алешенька? Никак перекатался вчера?

— Да, немножко, мамочка. Но сам не понимаю, почему меня всего так и тянет, так и разбирает, точно у меня лихорадка. Не хватало еще такой глупости, чтобы захворать на масленой неделе.

Мать поцеловала его в лоб (так она всегда измеряла температуру у своих детей) и сказала:

— Слава богу, никакой болезни нет. А твое недомогание — вещь простая и легко объяснимая: просто маленькое растяжение мускулов. Бывает оно у всех людей, которые занимаются напряженной физической работой, а потом ее оставляют на долгое время и снова начинают. Эти боли знакомы очень многим: всадникам, гребцам, грузчикам и особенно циркачам. Цирковые люди называют ее корруптурой или даже колупотурой.

— А как же от нее лечатся? — спросил Александров, вспомнив о недалеком вторнике.

— Да просто никак, Алешенька. Здесь ни массажи, ни втирания, ни внутренние средства не помогают. Поможет только время. А самое лучшее, что я тебе посоветую, Алеша, это — иди сейчас же на каток и начни снова упражняться по-вчерашнему.

— Батюшки, да у меня все тело, сверху донизу, точно расползается на части. Мне даже шевелиться больно.

— А все-таки возьми да и пошевелись. Клин клином надо вышибать. Это старая народная мудрость. Ногам больно — встань на ноги да пойди. И пойди прямо на каток. Преодолей сам себя и перетерпи всякую боль. А там — как рукой снимет. Ты уж верь мне. Я сколько раз это лечение употребляла. Дядюшка твой, а мой брат, совсем не почтенный Аркадий Алексеевич,

был самый отчаянный татарин и самый страстный лошадник во всей Пензенской и Тамбовской губерниях. О боже, сколько он надурил в течение своей жизни. Так, например, он уверял всех, а в особенности меня, тогда девчонку лет тринадцати, что во мне зарыт великий талант дикой, неподражаемой и несравненной наездницы, который надо только развить и отшлифовать, и — тогда мне будут свободны все дороги по лошадиной части: в цирк так в цирк, на роль грандиозной наездницы Эльфриды. А то на скачки: женщина — жокей, первая в мире и никем не победимая. Если захочу — в Аравию, тамошних первоклассных лошадей объезжать, или поступлю к английской королеве, шефом ее личной конюшни... Всегда врал князь Аркадий, как непутевый, однако, по правде сказать, был у меня какой-то прирожденный, потомственный дар к лошадям. Я их всегда любила, и они меня любили и слушались. Так что же ты думаешь, этот братец мой Аркаша, сорвиголова, для моего обучения придумал. (Тогда уже он, с такими же любезными братцами — татарскими князьями, — успел наш прекрасный пра-прадедовский конный завод разорить дотла своими кутежами всякими и фокусами.) Поедет он, бывало, далеко в киргизские степи и пригонит оттуда большой косяк тамошних лошадей — неуков. А лошади эти были замечательные, и любители их очень ценили. Отличались они, при сравнительно небольшом росте, необыкновенно широкой грудью, четырьмя продушинами в ноздрях и таким долгим духом в скачке, какого у других пород не существует. И свободно ходили иноходью. Но, кроме всех подобных качеств, эти косматые киргизы, как на подбор, были злы, упрямы и непослушны до крайности. Они постоянно и между собой грызлись, и с чужими лошадьми, и человека всегда норовили искусать или копытом ударить. И когда злились, то визжали и скрежетали зубами, как, прости господи, озверелые черти. Вот их-то и объезжал возлюбленный мой братец Аркаша, а потом продавал помещикам-любителям. На них он и начал развивать мой замечательный лошадиный дар. Сначала сажал меня верхом, по-мужски, без седла, на потнике. Посадит, даст мне хлыст в руку, да

как огреет степняка арапником. Да еще мне кричит вдогонку: ты его пори, пори все время. Уж и что же со мной эти киргизы выделывали. Теперь и вспомнить страшно. Вся я ходила в синяках, в рубцах, во шрамах, в шишках. А все-таки старшим не жаловалась. Моя мама, а твоя бабушка, Елизавета Григорьевна, была святой человек, и никто ее не боялся и не слушался, а огорчать ее жалобой было как-то стыдно. А уж признаться по правде, должна сказать, что эти Аркашины лошадиные зверства были для меня приятнее всякой книжки и слаще всех конфет. Случалось иногда со мною, как вот и с тобою нынче, что полгода, год не приходилось мне верхом на лошадь сесть, а потом сразу наезжусь до отвала, и пойдут у меня эти прострелы да ломоты, что еле хожу и все стенаю от боли. Тут непременно является Аркадий со своей ветеринарной помощью:

«Эй, непревосходимая всадница. Люмбагой изволите страдать. Пожалуйте на конюшню. Да не шагом, когда вам берейтор приказывает, а полегалопом. Ну-с!» — и сам арапником щелкает оглушительно. Поневоле побежишь. Он даже сам на седло посадит и коня сзади воодушевит посылом, и марш, марш в широкое поле. Конечно, больно сначала всем суставам. А вернешься домой — и, глядишь, все твои недуги как рукой сняло, без всяких бобковых мазей и перуванских бальзамов. Вот я и тебе, Алешенька, советую, прибегни ты к этому стародавнему героическому средству.

Александров послушался мудрого материнского совета и пошел на Патриаршие пруды, охая, морщась и потирая ноющие места. Прикреплять коньки к каблукам ему казалось невероятно трудным, но еще труднее, неловче и больнее давались ему разгоны по льду. Так он долго с наморщенным лицом и со срывающимся кряхтением тщетно пытался восстановить давно знакомые ему круги и повороты, и потом он сам не мог понять, как это наступил момент, когда он сам себя спросил: «Позвольте, а где же моя боль? Куда девалась моя досадливая боль?» Медвежье пензенское средство оказалось превосходным.

В этот день (в воскресенье) Александров еще избегал утруждать себя сложными номерами, боясь возвращения боли. Но в понедельник он почти целый день не сходил с Патриаршего катка, чувствуя с юношеской радостью, что к нему снова вернулись гибкость, упругость и сила мускулов.

Во вторник Венсан и Александров встретились, как между ними было уговорено, у церкви Большого вознесения, что на стыке обеих Никитских улиц — Большой и Малой. По истинно дружеской деликатности они оба поспешили и пришли на место свидания минутами двадцатью раньше условленного срока.

— Давайте, — сказал Венсан, — пойдем, благо времени у нас много, по Большой Никитской, а там мимо Иверской по Красной площади, по Ильинке и затем по Маросейке прямо на Чистые пруды. Крюк совсем малый, а мы полюбуемся, как Москва веселится.

Они пошли рядышком, по привычке в ногу, держась подтянуто, как на ученье, и с механичной красивой точностью отдавая честь господам офицерам.

Белые барашки доверчиво и неподвижно лежали на тонком голубом небе. Мороз был умеренный и не щипал за щеки, и откуда-то, очень издалека, доносился по воздуху томный и волнующий запах близкой весны и первого таяния.

Москва была вся откровенно пьяная и весело добродушная. Попадались уже в толпе густо-сизые и пламенно-багровые носы, заплетающиеся ноги и слышались меткие острые московские словечки, тут же вычеканенные и тут же, для сохранности, посыпанные крепкой солью.

— Не мешайте Москве, — сказал глубокомысленно Венсан, — творить свое искусство слова.

Красная площадь вся была переполнена, и по ней приходилось пробираться с трудом. Гроздья бесчисленных воздушных шаров, цветов красной и белой смородины висели высоко в воздухе и точно порывались ввысь. Стаи здешних прирученных голубей беспорядочно кружились над толпою, и часто отдельные, растерявшиеся голуби чертили крылами по головам

людей. Истоптанный снег и плитки халвы казались одного цвета. Белые лоханки с мочеными яблоками, пересыпанными красной клюквой, стояли длинными рядами, и московский студент, купив холодное яблоко, демонстративно ел его, громко чавкая от молодечества и от озноба во рту. Есть моченые яблоки на масленой — это старый обряд московских студентов. И везде блины, блины, блины. Блины ходячие, блины стоячие, блины в обжорном ряду, блины с конопляным маслицем, и везде горячий сбитень, сбитень, сбитень, паром подымающийся в воздухе. Живые американские чертики в узких, длинных сткляночках. Солдатики оловянные в берестяных коробочках, солдатики деревянные раздвижные, работы балбешников из Троице-Сергиевой лавры, их же медведи с мужиками, и множество всяких живых предсказателей будущего, которые вытаскивают билетики из пачки на счастье: чижи, клесты, овсянки, снегири, скворцы.

— Идем, пора, — говорит Венсан.

— Сию минуту, голубчик, — отвечает Александров, — я только свое счастье вытащу.

Он подходит к ларьку, за которым в клетке беспрестанно прыгает и кувыркается белка.

— Сколько?

— Две копеечки-с.

— Давай.

Белка вынимает ему предсказательный билетик, и он спешит присоединиться к товарищу. Они идут поспешным шагом. По дороге Александров развертывает свой билетик и читает его: «Ту особу, о коей давно мечтает сердце ваше, вы скоро улицезреете и с восторгом убедитесь, что чувства ваши совпадают и что лишь злостные препоны мешали вашему свиданию. Месяц ваш Януарий, созвездие же Козерог. Успех в торговых предприятиях и благолепие в браке».

— Можно поглядеть? — спрашивает Венсан.

— Нет, все это пустяки, — отвечает Александров, скомкивая бумажку и пряча ее в карман. Предсказание кажется ему удивительно прозорливым.

Юнкера приходят на Чистые пруды почти в два часа, всего без трех, четырех минут.

— Не беспокойся,— говорит Венсан волнующемуся Александрову. — Четверть часа — это минимум их опоздания, а максимум — они вовсе не приходят. Пойдем ко входу с Мясницкой, тут прямо путь от Екатерининского бульвара.

Александров согласен. Но в эту секунду молчавший до сих пор военный оркестр Невского полка вдруг начинает играть бодрый, прелестный, зажигающий марш Шуберта. Зеленые большие ворота широко раскрываются, и в их свободном просвете вдруг появляются и тотчас же останавливаются две стройные девичьи фигуры.

— Странно, — говорит Венсан с одобрительной улыбкой, — не то оркестр их ждал, не то они дожидались оркестра.

А Александров, сразу узнавший Зиночку, подумал с чувством гордости: «Она точно вышла из звуков музыки, как некогда гомеровская богиня из морской пены», и тут же сообразил, что это пышное сравнение не для ушей прелестной девушки.

Юнкера быстро пошли навстречу приехавшим дамам. Подруга Зиночки Белышевой оказалась стройной, высокой, — как раз ростом с Венсана, — барышней. Таких ярко-рыжих, медно-красных волос, как у нее, Александров еще никогда не видывал, как не видывал и такой ослепительно белой кожи, усеянной веснушками.

А между тем эта девушка была поразительно красива, и ее высоко поднятая голова придавала ей вид гордый и самостоятельный.

— Это моя милая подруга Дэлли, — сказала Зина. — Она ирландка и ровно ничего не понимает по-русски, но по-французски она говорит отлично.

В эту минуту Александров представил Зиночке своего товарища:

— Венсан, мой лучший друг.

Она светло улыбнулась и сказала:

— Надеюсь, и мне вы будете хорошим другом.

Венсан свободно и недурно владел французским языком и потому был очень удобным кавалером для рыжей мисс Дэлли. Впрочем, и по виду они представ-

ляли такую крупную, ладно подобранную пару, что на них охотно заглядывалась публика катка.

— Ведите меня в ту будку, где можно надеть коньки, — сказала Зиночка, нежно опуская левую руку на обшлаг серой шинели Александрова. — Боже, в какую жесткую шерсть вас одевают. Это верблюжья шерсть?

Теперь Александров мог свободно наглядеться на свою возлюбленную. Она очень изменилась за время, протекшее от декабря до марта, но в чем состояла перемена, трудно было угадать. Как будто бы в ней отошел, выветрился прежний легкий налет невинного и беспечного детства. Как будто про нее уже можно было сказать: «Да. Она бесспорно красива. Но в ней есть нечто более ценное, более редкое и упоительное, чем красота. Она мила. Мила тем необъяснимым, сладостным притяжением, о котором простонародье так чутко говорит: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». И не есть ли эта загадочная, всепобеждающая «Милость», видимая глазами, только слабый отголосок, только невинный залог расцветающих прелестей ума, души и тела?»

Александров привел Зиночку в деревянный барак, где публика вешала свои пальто на крючки, где продавались бутерброды, чай и ланинские шипучие воды и где давали коньки напрокат.

У Зиночки и Александрова были коньки собственные. Александров опустился на одно колено и сказал:

— Будьте, Зинаида Дмитриевна, пожалуйста, со мною совсем без церемонии. Поставьте вашу ногу на мое колено. Я в один миг надену вам коньки и закреплю их крепко-накрепко.

— Отчего же? — улыбнулась дружески Зиночка. — Я вам буду очень благодарна.

Она проворно сняла свою легкую шубку из шеншеля и повесила ее на крючок. Потом сбросила калоши и поставила ножку на согнутое колено Александрова.

— Вот вам мои коньки. Возьмите. А я немного помогу вам. — Она ловко склонилась и слегка приподняла суконную юбочку. Перед глазами юнкера на мгновение показалась изящная ножка с высоким подъемом. Это вдруг умилило Александрова чуть не до слез: «Господи, какая она прелесть и душенька. И как я

люблю ее. Пусть вся ее жизнь будет радостна и светла».

— Вам ловко? Вам не больно? Вам удобно? — спрашивает он с нежной заботливостью. Но Зиночка чувствует себя превосходно. Коньки сегодня точно веселят ноги, и какой день чудесный выдался. Она сходит по ступенькам на лед, громыхая сталью по дереву и с очаровательной неуклюжестью поддерживая равновесие. На льду она делает широкий, красивый круг и, остановившись у лестницы, возбужденно кричит Александрову:

— Сходите скорее на лед. Побежим вместе, да живо, живо.

Александров сбрасывает с себя шинель и шумно сбегает вниз. Они берутся за руки и плывут по длинному катку, одновременно набирая инерцию короткими и сильными толчками. Александров с восторгом чувствует в ней отличную конькобежицу.

— Снимите перчатки, — предлагает она, — теперь не холодно, а без перчаток удобнее и приятнее.

«Ах, в миллион раз приятнее!» — восторженно думает Александров, осторожно и крепко держа в своей грубой ладони ее доверчивую, ласковую, нежную ручку. Они переплетают свои руки наискось и так летят, близко, близко касаясь друг друга, и, как тогда, в вальсе, Александров слышит порою чистый аромат ее дыхания. Потом они садятся на скамейку отдохнуть.

— Помните наш вальс в институте? — спрашивает Зиночка.

— Как же, — отвечает юнкер, — до конца моих дней не забуду. — И спрашивает в свою очередь: — А помните, как нас чуть не опрокинул этот долговязый катковский лицеист?

Он ловит в ее многоцветных зрачках какие-то задорные искры и молчит. Она же отвечает с едва-едва сдерживаемым смехом, но и с легкой краской стыда:

— Представьте, не помню. Вероятно, забыла. Помню только, что танцевать с вами было так приятно, так удобно и так ловко, как ни с кем.

Этот случай с лицеистом повлек за собою новые воспоминания из их коротенького прошлого, освещенного

сиянием люстр, насыщенного звуками прекрасного бального оркестра, обвеянного тихим ароматом первой, наивной влюбленности.

— А вы помните, как мы поссорились? — спрашивает Зиночка.

— И как мило помирились, — отвечает Александров. — Боже, как я был тогда глуп и мнителен. Как бесился, ревновал, завидовал и ненавидел. Вы одним взглядом издалека внесли в мою несчастную душу сладостный мир. И подумать только, что всю эту бурю страстей вызвала противная, замаринованная классная дама, похожая на какую-то снулую рыбу — не то на севрюгу, не то на белугу...

Зиночка осторожно положила пальцы на его горячую руку.

— Оставьте, оставьте, не надо. Нехорошо так говорить. Что может быть хуже заочного, безответственного глумления. Нащекина умная, добрая и достойная особа. Не виновата же она в том, что ей приходится строго исполнять все параграфы нашего институтского, полумонастырского устава. И мне тем более хочется заступиться за нее, что над ней так жестоко смеется... — она замолкает на минуту, точно в нерешимости, и вдруг говорит, — смеется мой рыцарь без страха и упрека.

Александров потрясен. Он еще не перерос того юношеского козлиного возраста, когда умный совет и благожелательное замечание так легко принимается за оскорбление и вызывает бурный протест. Но кроткая и милая нотация из уст, так прекрасно вырезанных в форме натянутого лука, заливает все его существо теплом, благодарностью и преданной любовью. Он встает со скамейки, снимает барашковую шапку и в низком поклоне опускает ее до ледяной поверхности.

— Прошу простить мне мою дурацкую выходку, — говорит он с неподдельным раскаянием, — так же примите мои глубокие извинения перед madame Нащекиной.

— Наденьте скорее шапку, — говорит Зиночка. — Вы простудитесь. Ах! Наденьте же, наденьте.

И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь

ни на мгновение. Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческом есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствий. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные; им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое истинное блаженство для скромных влюбленных.

«Любишь?» — спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки их чуть-чуть розовеют.

«Люблю, люблю, — отвечают глаза Александрова, сияющие выступившей на них прозрачной влагой. — А ты меня любишь?» — «Люблю». — «Любишь». — «Люблю». — «Любишь». — «Люблю». — «Любишь». — «Люблю»...

Самого скромного, самого застенчивого признания не смогли бы произнести их уста, но эти волнующие, безмолвные возгласы: «Любишь. — Люблю», — они посылают друг другу тысячу раз в секунду, и нет у них ни стыда, ни совести, ни приличия, ни осторожности, ни пресыщения. Зиночка первая стряхивает с себя магическое сладостное влияние флюидов. «Люблю, но ведь мы на катке», — благоразумно говорят ее глаза, а вслух она приглашает Александрова:

— Пойдемте еще покатаемся. Попробуем теперь голландскими шагами. Или как надо говорить — гигантскими?

Они опять берутся за руки, но теперь по требованию фигурного номера держатся на большом расстоянии, идут параллелью. Они одновременно вычерчивают правыми ногами огромный полукруг, склоняясь всем телом на правую сторону, и, окончив его, тотчас же переходят на другой большой полукруг, делая его левыми ногами и наклоняясь круто влево. Чем шире круг и чем ниже наклоны, тем красивее и чище считается фигура. Но голландские шаги не очень легкое упражнение. Чтобы

вычертить особенно правильный и особенно широкий круг, надо сделать толчок по льду с наивозможнейшей силой, и эти старания скоро утомляют. Опять Зиночка сидит с Александровым, и опять их глаза поют чудесную многовековую песню: «Любишь — люблю. — Любишь — люблю...» — простую, но самую великую в мире песню.

Но к ним, на сильном разбеге, подлетают мисс Дэлли с Венсаном.

— Ну, я вам скажу, и барышня, — говорит восхищенно Венсан. — Ах, какая артистка на коньках. Я в сравнении с ней в полотерные мальчики не гожусь. Неужели все ирландские красавицы такие искусницы?.. Кстати, не хотите ли вы поглядеть образцы высшего фигурного патинажа? Сейчас только что приехал на каток знаменитый конькобежец Постников. Он, между прочим, заведует гимнастическими упражнениями в нашем Александровском училище. Пойдемте, пока не навалила публика. Потом не протолпишься.

Они пошли к судейской площадке. На ней стоял в белой фуфайке и белом берете давно знакомый юнкерам Постников, стройный и казавшийся худощавым, бритый по-английски, еще молодой человек, любимец всей спортивной Москвы, впрочем, не только спортивной. Вся Москва от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми: знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодиаконами, которые заставляли страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, а женщин падать в обмороки, знаменитых клоунов, братьев Дуровых, антрепренера оперетки и скандалиста Лентовского, репортера и силача Гиляровского (дядю Гиляя), московского генерал-губернатора, князя Долгорукова, чьей вотчиной и удельным княжеством почти считала себя самостоятельная первопрестольная столица, Сергея Шмелева, устроителя народных гуляний, ледяных гор и фейерверков, и так без конца, удивительных пловцов, голубиных любителей, сверхъестественных обжор, прославленных юродивых и прорицателей будущего, чудодейственных, всегда пьяных подпольных адвокатов, свои несравненные театры и цирки и только

под конец спортсменов. И все это в пику чиновному Петербургу: «У вас в Питере так-то, а у нас, в Москве, в сто раз хлеще. Куда вам, сопливым».

Постников издали узнал юнкеров и, снявши с головы берет, высоко помахал им:

— Здравствуйте, господа юнкера александровцы.

Юнкера ответили со смехом:

— Здравия желаем, господин учитель.

И тогда Постников, очевидно, давно знавший вес и силу публичной рекламы, громко сказал кому-то, стоявшему с ним рядом на площадке:

— Самые лучшие мои ученики. Прекрасные гимнасты Александровского военного училища.

В толпе, теперь уже довольно большой, послышались густые, прерывистые звуки, точно холеные лошади зареготали на принесенный овес. Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в белом доме на Знаменке, с его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром Крейнбринга и с превосходным строевым порядком на больших парадах и маневрах.

— Нет, это вам не жидкий, золотушный Петербург, а московские богатыри, кровь с молоком.

Венсан и мисс Дэлли успели пробраться в первые ряды зрителей. Зиночка с Александровым очутились (вероятно, случайно) на другом конце, где впереди их был высокий забор, а позади чьи-то спины. Впереди громко зааплодировали. Александров обернулся к своей даме, и она в ту же минуту посмотрела на него, и опять их глаза слились, утонули в сладостном разговоре: «Любишь — люблю, люблю». «Всегда будешь любить?» — «Всегда, всегда». И вот Александров решается сказать не излучающимися флюидами, а грубыми, неподатливыми словами то, что давно уже собиралось и кипело у него в голове. Ему стало страшно. Подбородок задрожал.

— Зинаида Дмитриевна, — начал он глухим голосом. — Я хочу сказать вам нечто очень важное, такое, что переменяет судьбы людей. Позволите ли вы мне говорить?

Лицо ее побледнело, но глаза сказали: «Говори. Люблю».

— Я вас слушаю, Алексей Николаевич.

— Я — вот что... Я... Я давно уже полюбил вас... полюбил с первого взгляда там... там, еще на вашем балу. И больше... больше любить никого не стану и не могу. Прошу, не сердитесь на меня, дайте мне... дайте высказаться. Я в этом году, через три, три с половиною месяца, стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящая вакансия, и я не стыжусь признаться, что наша семья очень бедна и помощи мне никакой не может давать. Я так же отлично знаю тяжелое положение молодых офицеров. Подпоручик получает в месяц сорок три рубля с копейками. Поручик — а это уже три года службы — сорок пять рублей. На такое жалование едва-едва может прожить один человек, а заводить семью совсем бессмысленно, хотя бы и был реверс. Но я думаю о другом. Рая в шалаше я не понимаю, не хочу и даже, пожалуй, презираю его, как эгоистическую глупость. Но я, как только приеду в полк, тотчас же начну подготовляться к экзамену в Академию генерального штаба. На это уйдет ровно два года, которые я и без того должен был бы прослужить за обучение в Александровском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я ни на капельку не сомневаюсь, ибо путеводной звездою будете вы мне, Зиночка.

Он смутился нечаянно сказанным уменьшительным словом и замолк было.

— Продолжайте, Алеша, — тихо сказала Зиночка, и от ее ласки буйно забилось сердце юнкера.

— Я сейчас кончу. Итак, через два года с небольшим — я слушатель Академии. Уже в первое полугодие выяснится передо мною, перед моими профессорами и моими сверстниками, чего я стою и насколько значителен мой удельный вес, на столько ли, чтобы я осмелился вплести в свою жизнь — жизнь другого человека, бесконечно мною обожаемого. Если окажется мое начало счастливым — я блаженнее царя и богаче миллиардера. Путь мой обеспечен — впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение в обществе и необходимый комфорт в жизни. И вот тогда, Зиночка, позволите ли вы мне прийти к Дмитрию Петровичу, к вашему глубокочтимому папе, и просить у него, как

величайшей награды, вашу руку и ваше сердце, позволите ли?

— Да, — еле слышно пролепетала Зиночка.

Александров поцеловал ее руку и продолжал:

— Я по материнской линии происхожу от татарских князей. Вы знаете, что по-татарски значит «калым»? Это — выкуп, даваемый за девушку. Но я знаю и больше. В губерниях Симбирской, Калужской и отчасти в Рязанской есть такой же обычай у русских крестьян. Он просто называется выкупом и идет семье невесты. Но он незначителен, он берется только в силу старого обряда. Главное в том — оправдал ли себя парень перед женитьбой. То есть имеется ли у него свой дом, своя корова, своя лошадь, свои бараны и своя птица и, кроме того, почет в артели, если он на отхожих промыслах. Вот так и я хочу себя оправдать перед вами и перед папой. Не могу ни видеть, ни слышать о жалких тлях, гоняющихся за приданым. Это — не мужчины. Конечно, до того времени, пока я не совью свою собственную лачугу, вы абсолютно свободный человек. Делайте и поступайте всячески, как хотите. Ни на паутинку не связываю я вашей свободы. Подумайте только: вам дожидаться меня придется около трех лет. Может быть, и с лишним. Ужасно длинный срок. Чересчур большое испытание. Могу ли я и смею ли я ставить здесь какие-либо условия или брать какие-либо обещания? Я скажу только одно: истинная любовь, она, как золото, никогда не ржавеет и не окисляется... Она... — и тут он замолк. Маленькая, нежная ручка Зиночки вдруг обвилась вокруг его шеи, и губы ее коснулись его губ теплым, быстрым поцелуем.

— Я подожду, я подожду, — шептала еле слышно Зиночка. — Я подожду. — Горячие слезы закапали на подбородок Александрова, и он с умиленным удивлением впервые узнал, что слезы возлюбленной женщины имеют соленый вкус.

— О чем вы плачете, Зина?

— От счастья, Алеша.

Но к ним уже подходили, пробираясь сквозь толпу, Венсан с огненно-рыжей ирландкой, мисс Дэлли.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава XXVII

ТОПОГРАФИЯ

Июнь переваливает за вторую половину. Лагерная жизнь начинает становиться тяжелой для юнкеров. Стоят неподвижные, удручающе жаркие дни. По ночам непрестанные зарницы молчаливыми голубыми молниями бегают по черным небесам над Ходынским полем. Нет покоя ни днем, ни ночью от тоскливой истомы. Души и тела жаждут грозы с проливным дождем.

Последние лагерные работы идут к концу. Младший курс еще занят глазомерными съемками. Труд не тяжелый: приблизительный, свободный и даже веселый. Это совсем не то, что топографические точные съемки с кипрегелем-дальномером, над которыми каждый день корпят и потеют юнкера старшего курса, готовые на днях чудесным образом превратиться в настоящих взаправдашних господ офицеров.

— Это тебе не фунт изюма съесть, а инструментальная съемка, — озверело говорит, направляя визирную трубку на веху, загоревший, черный, как цыган, уставший Жданов, работающий в одной партии с Александровым, — и это тоже тебе не мутовку облизать. Так-то, друзья мои.

Жутко приходится и Александрову. Для него вопрсс о балле, который он получит за топографию, есть вопрос того: выйдет он из училища по первому или по второму разряду. А это — великая разница. Во-первых: при будущем разборе вакансий, чем выше общий средний балл у юнкера, тем разнообразнее и богаче предстоит ему выбор места службы. А во-вторых, — старшинство в чине. Каждый подпоручик, явившийся в свой полк со свидетельством первого разряда, становится в списках выше всех других подпоручиков, произведенных в этом году. И высокий чин поручика будет следовать ему в первую очередь, года через три или четыре. Это ли не поводы великой важности и глубочайшей серьезности?

Но вся задача — в том суровом условии, что для первого разряда надо во что бы то ни стало иметь в среднем счете по всем предметам никак не менее круглых девяти баллов; жестокий и суровый минимум!

Вот тут-то у Александрова и гнездится досадная, проклятая нехватка. Все у него ладно, во всех научных дисциплинах хорошие отметки: по тактике, военной администрации, артиллерии, химии, военной истории, высшей математике, теоретической топографии, по военному правоведению, по французскому и немецкому языкам, по знанию военных уставов и по гимнастике. Но горе с одним лишь предметом: с военной фортификацией. По ней всего-навсего шесть баллов, последняя удовлетворительная отметка. Ох, уж этот полковник, военный инженер Колосов, холодный человек, ни разу не улыбнувшийся на лекциях, ни разу не сказавший ни одного простого человеческого слова, молчаливый тиран, лепивший безмолвно, с каменным лицом, губительные двойки, единицы и даже уничтожающие нули! Из-за его чертовской шестерки средний балл у Александрова чуть-чуть не дотягивает до девяти, не хватает всего каких-то трех девятых. Мозговатый в арифметике товарищ Бутынский вычислил точно:

— Если ты, Александров, умудришься получить за топографическую съемку десять баллов, то первый разряд будет у тебя как в кармане. Ну-ка, напрягись, молодой обер-офицер.

Съемки происходят вокруг огромного села Всехсвятского, на его крестьянских полях, выгонах, дорогах, оврагах и рощицах. Каждое утро, часов в пять, старшие юнкера наспех пьют чай с булкой; захвативши завтрак в полевые сумки, идут партиями на места своих работ, которые будут длиться часов до семи вечера, до той поры, когда уставшие глаза начинают уже не так четко различать издали показательные приметы. Тогда время возвращаться в лагери, чтобы до обеда успеть вымыться или выкупаться. Внизу, за лагерной линией, в крутом овраге, выстроена для юнкеров просторная и глубокая купальня, всегда доверху полная

живой, бегучей ключевой водой, в которой температура никогда не подымалась выше восьми градусов. А над купальней возвышалось кирпичное здание бани, топившейся дважды в неделю. Бывало для иных юнкеров острым и жгучим наслаждением напариться в бане на полке до отказа, до красного каления, до полного изнеможения и потом лететь со всех ног из бани, чтобы с разбегу бухнуться в студеную воду купальни, сделавши сальто-мортале или нырнувши вертикально, головой вниз. Сначала являлось впечатление ожога, перерыва дыхания и мгновенного ужаса, вместе с замиранием сердца. Но вскоре тело обвыкало в холоде, и когда купальщики возвращались бегом в баню, то их охватывало чувство невыразимой легкости, почти невесомости во всем их существе, было такое ощущение, точно каждый мускул, каждая пора насквозь проникнута блаженной радостью, сладкой и бодрой.

Уже вечерело, когда горнист трубил сигнал к обеду:

У папеньки, у маменьки
Просил солдат говядинки.
Дай, дай, дай.

Проголодавшиеся юнкера ели обильно и всегда вкусно. В больших тяжелых оловянных ендовах служители разносили ядреный хлебный квас, который шибал в нос. После обеда полчаса свободного отдыха. Играл знаменитый училищный оркестр. Юнкера пили свой собственный чай и покупали сладости у какого-то приблудившегося к Александровскому училищу маркитанта, который открыл в лагере лавочку и даже охотно давал в кредит до производства. Кормили конфетами (это была очередная мода) хорошенького белокурого мальчика-барабанщика, внука знаменитого барабанщика Индурского. А затем по сигналу все четыре роты выстраивались в две шеренги вдоль линейки, и начиналась перекличка.

— Такой-то! — вызывал фельдфебель.

— Я! — коротко отвечал спрошенный.

— Такой-то!

— Я!

«Как это мило и как это странно придумано господом богом, — размышлял часто во время переклички мечтательный юнкер Александров, — что ни у одного человека в мире нет тембра голоса, похожего на другой. Неужели и все на свете так же разнообразно и бесконечно неповторимо? Отчего природа не хочет знать ни прямых линий, ни геометрических фигур, ни абсолютно схожих экземпляров? Что это? Бесконечность ли творчества, или урок человечеству?»

Но с особенным напряжением дожидался Александров того момента, когда в перекличке наступит очередь любимца Дрозда, портупей-юнкера Попова, обладателя чудесного низкого баритона, которым любовалось все училище.

— Портупей-юнкер Попов, — монотонно и сухо выкликает фельдфебель.

«Вот сейчас, сейчас», — бьется сердце Александрова.

— Я!

О, как этот звук безупречно полон и красиво кругл! Он нежно густ и ароматен, как сотовый мед. Его чистая и гибкая красота похожа на средний тон виолончели, взятый влюбленным смычком. Он — как дорогое старое красное вино.

И, как всегда, Александров переводит глаза вверх на темное синее небо. А там, в мировой глубине, повисла и, тихо переливаясь, дрожит теплая серебряная звездочка, от взора на которую становится радостно и щекотно в груди. Совершенно дикая мысль осеняет голову Александрова: «А что, если этот очаровательный звук и эта звездочка, похожая на непроливающуюся девичью слезу, и далекий, далекий отсюда только что повеявший, ласковый и скромный запах резеды, и все простые радости мира суть только видоизменения одной и той же божественной и бессмертной силы?»

— На молитву! Шапки долой! — командуют фельдфебеля. Четыреста молодых глоток поют «Отче наш». Какая большая и сдержанная сила в их голосах. Какое здоровье и вера в себя и в судьбу. Вспоминается Александрову тот бледный, изношенный студент, который девятого сентября, во время студенческого бунта, так

злобно кричал из-за железной ограды университета на проходивших мимо юнкеров:

— Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы, пушечное мясо! Душители свободы! Позор вам! Позор!

«Нет, не прав был этот студентишко, — думает сейчас Александров, допевая последние слова молитвы господней. — Он или глуп, или раздражен обидой, или болен, или несчастен, или просто науськан чьей-то злобной и лживой волей. А вот настанет война, и я с готовностью пойду защищать от неприятеля: и этого студента, и его жену с малыми детьми, и престарелых его папочку с мамочкой. Умереть за отечество. Какие великие, простые и трогательные слова! А смерть? Что же такое смерть, как не одно из превращений этой бесконечно непонимаемой нами силы, которая вся состоит из радости. И умереть ведь тоже будет такой радостью, как сладко без снов заснуть после трудового дня».

После молитвы юнкера расходятся. Вечер темнеет. На небо выкатился блестящий, как осколок зеркала, серп молодого месяца. Выкатился и потащил на невидимом буксире звездочку. В бараках первого (младшего) курса еще слышатся разговоры, смех, согласное пение. Но господа офицеры (старший курс) истомились за день. Руки и ноги у них точно изломаны. Александров с трудом снимает левый сапог, но правый, полуснятый, так и остается на ноге, когда усталый юнкер сразу погружается в глубокий сон без сновидений, в это подобие неизбежной и все-таки радостной смерти.

На следующий день опять вставание в пять часов утра и длинный путь до места съемки. В каждой партии пять человек, выбранных по соображениям курсового офицера, ведущего курс уже без малого два года. Курсовой четвертой роты поручик Новоселов Николай Васильевич, он же, по юнкерскому прозвищу, «Уставчик», назначил в своих партиях лишь самых надежных юнкеров за старших, а дальнейшие роли в съемках предоставил распределить самим юнкерам. Таким образом, к великому удовольствию Александрова, на него выпала добровольная обязанность таскать на место съемки и обратно довольно тяжелый кипрегель-

дальномер с треногою и стальную круглую рулетку для промеров на ровных плоскостях.

К своим обязанностям он относился с похвальным усердием и даже часто бывал полезен партии отличной зоркостью своих глаз, наблюдательностью, находчивостью и легкостью на ходу. Не очень сложную работу с кипрегелем он совершенно ясно понял в первый же день съемки. Но что упорно ему не давалось, так это вычерчивание на бумаге штрихами всех подъемов и спусков местности, всех ее оврагов и горбушек. Чем ровнее шла земля, тем тоньше и тем дальше друг от друга должны были наноситься изображающие ее штрихи. И наоборот: как только она начинала показывать уклон, штрихи теснились ближе, и карандаш вычерчивал их гуще. Здесь все дело было не в искусстве и не в таланте, а только в терпении, внимании и аккуратности. На картон старшего в партии юнкера, носившего фамилию Патер, худенького, опрятного, сухого юноши, просто любо было бы поглядеть даже человеку, ничего не понимающему в топографии. Стоило только немного прищурить глаза, и весь рельеф местности выступал с такой выпуклостью, точно он был вылеплен из гипса.

Не только этого чуда, но и отдаленного его подобия никак не мог сделать Александров. Он совсем недурно рисовал карандашом и углем, свободно писал акварелью и немножко маслом, ловко делал портреты и карикатуры, умел мило набросать пейзаж и натюрморт. Но проклятое «штрихоблудие» (как называли юнкера это занятие) окончательно не давалось ему. Просить помощи у одного из товарищей, искушенных в штрихоблудии, не позволяла своеобразная этика, установленная в училище еще с давних годов, со времен генерала Шванебаха, когда училище переживало свой золотой век. Правда, оставалась у него далекая, почти фантастическая тень надежды. В прошлом году, помнилось ему смутно, господа офицеры, уже близкие к выпуску и потому как-то по-товарищески подобревшие к старым фараонам, упоминали хорошими словами о строгом и придирчивом Уставчике. Говорили, что кое-когда Уставчик в случаях, подобных случаю Александрова,

тайком перештриховывал поданный ему картон с плохой съемкой. «Был он, — говорили обер-офицеры, — искусным штрихоблудом и, вопреки своей крикливости, добрейшим человеком».

«Да. Хорошо было моим предшественникам, — уныло размышлял Александров, кусая ногти. — Все они небось были трынчики, строевики, послушные ловкачи, знавшие все военные уставы назубок, не хуже чем «Отче наш». Но за мною — о господи! — за мною-то столько грехов и прорех! И сколько раз этот самый Николай Васильевич Новоселов сажал меня под арест, наряжал на лишнее дневальство и наказывал без отпуска?

И какой неугомонный черт дергал меня на возражения курсовому офицеру? Ведь известно же всему миру еще с библейских времен, что всякое начальство именно возражений не терпит, не любит, не понимает и не переносит». Правда, порою от возражения никак нельзя удержаться. Ну вот, например, экзамен по гимнастике. Прыжки с трамплина. Препятствие всего с пол-аршина высоты. Но изволь его брать согласно уставу, где написано о приуготовительных к прыжку упражнениях. Требуется для этого сделать небольшой строевой разбег, оттолкнуться правой ногой от трамплина и лететь в воздухе, имея левую ногу и обе руки вытянутыми прямо и параллельно земле. А после прыжка, достигнув земли, надо опуститься на нее на носках, каблуками вместе, коленями врозь, а руками подбоченившись в бедра.

— Господин поручик! — восклицает с негодованием Александров. — Да это же черепаший жеманный прыжок. Позвольте мне прыгнуть свободно, без всяких правил, и я легко возьму препятствие в полтора моих роста. Сажень без малого.

Но в ответ сухая и суровая отповедь:

— Прошу без всяких возражений. Исполняйте, как показано в уставе. Устав для вас закон. Устав для вас, как заповедь. И, кроме того, дневальство без очереди за возражение начальству. Фельдфебель! Запишите.

«Нет, не выйти мне по первому разряду, — мрачно решает Александров. — Никогда мне не простит моих

дурацких выходок Уставчик и никогда не засияет милосердием его черствая душа. Ну и что ж? Ничего. Выйду в самый захолустный, в самый закатальский полк или в гарнизонный безымянный батальон. Но ведь я еще молод. Приналягу и выдержу экзамен в Академию генерального штаба. А то начнется война. Долго ли храброму отличиться? Получу георгия, двух георгиев, золотое оружие и, чин за чином, вернусь с войны полковником — так этот самый Уставчик будет мне козырять и тянуться передо мною в струнку. А я ему:

— Капитан! Темляк при шашке у вас криво подвязан. Делаю вам замечание, о чем извольте доложить вашему непосредственному начальству. Можете идти...»

Какая сладкая месть!

Это жаркое, томительное лето, последнее лето в казенных учебных заведениях, было совсем неудачно для Александрова. Какая-то роковая полоса невезенья и неприятностей. Недаром же сумма цифр, входящих в этот год, составляла число двадцать шесть, то есть два раза по тринадцати. А тут еще новое несчастье...

Съемка уже близилась к окончанию. Работы на всехсвятских полях оставалось не больше чем дня на три, на четыре.

В одну из суббот партия Александрова, как и всегда, зашабашила несколько раньше, чем обыкновенно, и, собрав инструменты, направилась обратно в лагери. Но посредине пути Александров вдруг забеспокоился и стал тревожно хлопать себя по всем карманам.

— Вы что? — спросил Патер.

— Да вот не знаю, куда девал измерительную рулетку. Ищу и не могу найти.

— А может, вы оставили ее на месте съемки?

— Пожалуй, что и так. Ну-ка, господа офицеры, возьмите у меня кипрегель с треногой. А я мигом смотаюсь туда и назад.

Он быстро пустился по пройденной дороге, меняя для отдыха резвый бег частым широким шагом.

Вдруг женский грудной голос окликнул его из ржи, стоявшей золотой стеной за дорожкой:

— Эй, юнкарь, юнкарь! Погоди, сделай милость!

Он остановился, часто дыша, и обернулся. С лица его струились капли пота.

На меже, посреди буйной ржи, окруженная связанными снопами, сидела крестьянская девушка из Всехсвятского, синеглазая, с повитой вокруг головы светлорусой, точно серебристой косой.

— Ты это меня, что ли, красавица?

— Тебя, тебя, красавец. Ты не потерял ли чего-нибудь?

— И то — потерял. Сумочку такую, круглую. А в ней железная лента, чтобы мерять землю.

— Ну вот, счастье твое, что я подняла. Ты ее вон где оборонил, на самой дороге. А народ у нас, знаешь сам, какой вороватый: что нужно, что не нужно — все норовят в карман запихать. Да ты присядь-ко на минуточку, передохни. Ишь как зарьялся, бежавши. Вещица-то небось казенная?

— То-то и есть что казенная, душенька.

— Ишь ты! Словечко какое подобрал: душенька! А меня и впрямь Дуняшей зовут. Душкой. Да ты сядь, юнкарь, сядь. В ногах правды нет. А я тебя квасом угощу, нашим домашним, суровым.

Она ласковой, но сильной рукой неожиданно дернула Александрова за край его белой каламянковой рубахи. Юнкер, внезапно потеряв равновесие, невольно упал на девушку, схватив ее одной рукой за грудь, а другой за твердую гладкую ляжку. Она громко засмеялась, оскалив большие прекрасные зубы.

— Нет, юнкарь, ты играть — играй, а чего не надо — не трогай. Молод еще.

— Да я, ей-богу, нечаянно!

— Хорошо, хорошо! Знаем мы вас, солдат, как вы нечаянно к девкам под подол лазаете.

— Да я, право же...

— А кругом, куда ни погляди, — все народишко бегает. Неровен час, увидят и пойдут напраслину плести. Долго ли девку ославить и осрамотить? Вон, погляди-ко, какой-то мужик с коробом сюда тащится. Ты уж, милый, лучше вылезай-ко!

Александров обернулся через плечо и увидел шагах в ста от себя приближающегося Апостола. Так

сыздавна называли юнкера тех разносчиков, которые летом бродили вокруг всех лагерей, продавая конфеты, пирожные, фрукты, колбасы, сыр, бутерброды, лимонад, боярский квас, а тайком, из-под полы, контрабандою, также пиво и водчонку. Быстро выскочив на дорогу, юнкер стал делать Апостолу призывные знаки. Тот увидел и с привычной поспешностью ускорил шаг.

— Ну и к чему ты позвал его? — с упреком сказала Дуняша, укрываясь в густой ржи. — Очень он нам нужен!

— Подожди минутку. Сейчас увидишь. Да ты не бойся, он не из ваших, он — чужой.

— Чужой-то — чужой, — пропела девушка, показывая из золотых снопов смеющийся синий глаз. — А все-таки...

Апостол подошел и стал со щеголеватой ловкостью торгового москвича разбирать свою походную лавочку.

— Чем могу служить господину обер-офицеру?

— А вот дай-ка нам два стаканчика, да бутылочку лимонада, да пару бутербродов с ветчинкой и еще... — Александров слегка замялся.

— Червячка изволите заморить? Сей минут-с! Готово-с.

— Вот именно. Два шкалика.

Всехсвятская красавица сначала пожеманилась: да не надо, да зачем мне, да кушайте сами. Но, однако, после того как она убедилась, что ланинский шипучий лимонад куда вкуснее и забористее ее квасца-суровца, простой воды, настоенной на ржаных корках, то уговорить ее пригубить рассейской водочки было уж не так трудно и мешкотно. Она пила ее, как пьют все русские крестьянки: мелкими глотками, гримасничая, как будто после принятия отвратительной горечи. Но последний глоток она опрокинула в рот совсем молодцом. Утерла губы рукавом и сказала жалобно:

— Ну и крепка же она, матушка! Как ее бедные солдаты пьют?

Пережевывая своими белыми блестящими зубами ветчину на помасленном белом хлебе, она охотно и весело разговорилась:

— Вот ты — хороший юнкарь, дай бог тебе доброго здоровья, и спасибо на хлебе, на соли, — кланялась она головой, — а то ведь есть и из вашей братии, из юнкарей, такие охальники, что не приведи господи. Вот в прошлом-то годе какую они с нами издевку сделали: по сию пору вспомнить совестно. Стояли они здесь, неподалечку, со своей стрелябией и все что-то меряли, все что-то в книжки записывали. А мы, девки да бабы, все на их смотрели и дивовались. А один-то из юнкарей возьми да и крикни: «Идите к нам сюда, девочки да бабочки! Посмотрите-ка в нашу подозрительную трубку». Ужасти, как занятно. Ну мы, конечно, бабы глупые, вроде как индюшки: так одна за другой и потянулись. В трубке-то стеклышко малое; так, значит, в это стеклышко надо одним глазом глядеть. И что ты думаешь! Чудо-то какое! Видать очень хорошо, даже, можно сказать, отлично. Но только все, милый ты мой, показывается не прямо, а вверх ногами, вниз головой. Вот так штука! Смотрели мы на нашу сельскую церковь во имя всех святых, и — поверишь ли? — видим: стоит она кумполом вниз, папертью кверху. На выставку поглядели — опять вверх тормашками. Потом юнкарь стекляшку на наше стадо навел, дал мне глядеть, и что ж ты думаешь?.. Все коровы кверху ногами идут, и даже видно, как наш общественный бык Афанасий, ярославской породы, ногами перебирает, а головой-то вниз идет. Тут тетка Авдотья Бильдина, тезка моя, баба уже в годах, закричала: «Побежим, девоньки, домой! Долго ли тут до греха?» Ну, мы и прыснули утекать. А юнкеря вослед нам рыгочат, как жеребцы стоялые. Орут: «Бабочки, девочки, берегитесь! Все вы, как одна, вверх ногами идете, и подолы у вас задранные...» И уж так мы тогда всполошились, что и сказать нельзя! Кто юбками давай завешиваться, кто на землю сел, все давай визжать со стыда. А юнкаря со смеха помирают... Навеки в памяти у нас остались их стекляшки проклятые.

Слушая Дуняшу, Александров с некоторой тревогой смотрел на Апостола, который, спешно укладывая свой короб, все чаще и беспокойнее озирался назад, через плечо, а потом, не сказав ни слова, вдруг пустился

большими шагами уходить в сторону. Юнкер обернулся назад и на минуту остался с разинутым ртом. Невдалеке, взрывая дорожную коричневую пыль, легким галопом скакал на своей белой арабской кобыле Кабардинке батальонный командир училища, полковник Артабалевский, по прозвищу Берди-Паша. Вскоре Александров услышал его окрик:

— Юнкер, ко мне! Сюда, юнкер!

Александров поспешной рысью побежал ему навстречу и остановился как раз в ту минуту, когда Берди-Паша, легко соскочив со вспененной лошади, брал ее под уздцы.

— Эт-то что за безобразие? — завопил Артабалевский пронзительно. — Это у вас называется топографией? Это, по-вашему, военная служба? Так ли подобает вести себя юнкеру Третьего Александровского училища? Тьфу! Валяться с девками (он понюхал воздух), пить водку! Какая грязь! Идите же немедленно явитесь вашему ротному командиру и доложите ему, что за самовольную отлучку и все прочее я подвергаю вас пяти суткам ареста, а за пьянство лишаю вас отпусков вплоть до самого дня производства в офицеры. Марш!

— Слушаю, ваше высокоблагородие! — лихо ответил Александров, скрывая горечь и досаду.

Глава XXVIII

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Неудобно, невесело и досадно влеклись эти пять дней сидения под арестом в карцерном бараке, в ветхом, заброшенном деревянном узком здании, обросшем снаружи высокой, выше человеческого роста, крапивой и гигантскими лопухами. Зеленоватый дрожащий свет скудно и мутно падал сюда сквозь потолочные окна, забранные железными ржавыми решетками. Особенно неприятно было то, что сидение под арестом сопровождалось исполнением служебных обязанностей. Три-четыре раза в день нужно было выходить из карцера: на топо-

графические работы, на ротные учения, на стрельбу, на чистку оружия, на разборку и сборку всех многочисленных частей скорострельной пехотной винтовки системы Бердана, со скользящим затвором номер второй, на долбление военных уставов — и потом возвращаться обратно под замок. Эта беготня точно умножала тягость заключения.

До прибытия Александрова в карцер там уже сидело двое господ обер-офицеров, два юнкера из роты «жеребцов» его величества: Бауман и Брюнелли, признанные давно всем училищем как первые красавцы. Бауман — рыжеволосый, белолицый, голубоглазый, потомок тевтонов; Брюнелли — полуитальянец, полурусский, полукавказец, со смугловатым, правильным, строгим и гордым лицом. Оба они были высоки и стройны. Когда их видели стоящими рядом, то они действительно производили впечатление сильного, эффектного контраста. Кстати — они были очень дружны друг с другом.

Известно давно, что у всех арестантов в мире и во все века бывало два непобедимых влечения. Первое: войти во что бы то ни стало в сношение с соседями, друзьями по несчастью; и второе — оставить на стенах тюрьмы память о своем заключении. И Александров, послушный общему закону, тщательно вырезал перочинным ножичком на деревянной стене: «26 июня 1889 г. здесь сидел обер-офицер Александров, по злой воле дикого Берди-Паши, чья глупость — достояние истории».

Арестованные занимали отдельные камеры, которые днем не запирались и не мешали юнкерам ходить друг к другу в гости. Соседи первые рассказали Александрову о своих злоключениях, приведших их в карцер.

В прошлое воскресенье, взяв отпуск, пошли они в город к своим портным, примерить заказанную офицерскую обмундировку. Но черт их дернул идти обратно в лагери не кратчайшим привычным путем, а через Петровский парк, самое шикарное дачное место Москвы!

У них, говорили они, не было никаких преступных, заранее обдуманных намерений. Была только мысль —

во что бы то ни стало успеть прийти в лагери к восьми с половиною часам вечера и в срок явиться дежурному офицеру. Но разве виноваты они были в том, что на балконе чудесной новой дачи, построенной в пышном псевдорусском стиле, вдруг показались две очаровательные женщины, по-летнему, легко и сквозно одетые. Одна из них, знаменитая в Москве кафешантанная певица, крикнула:

— Бауман, Бауман! Иди к нам скорее. И своего товарища тащи. Да ты не бойся: всего на две минуты. А потом мы вас на лошадях отвезем. Будьте спокойны. Только один флакон раздавим, и конец.

Юнкера вошли. Обширная дача была полна гостями и шумом: сумские драгуны, актеры, газетные издатели и хроникеры, трое владельцев скаковых конюшен, только что окончившие курс катковские лицеисты, цыгане и цыганки с гитарами, известный профессор Московского университета, знаменитый врач по женским болезням, обожаемый всею купеческою Москвою, удачливый театральный антрепренер, в шикарной, якобы мужицкой поддевке, и множество другого народа. Шла великая московская пьянственная неразбериха. Давно уже перешли на шампанское вино, которым были залиты все скатерти. Сумцы выпили за александровцев, александровцы — за катковский лицей. Потом поднимались тосты за всех военных и штатских, за великую Россию, за победоносную армию, за русское искусство и художество.

Вскоре густой веселый туман обволок души, сознание и члены юнкеров. Они еще помнили кое-как мерное, упругое и усыпляющее качание парных колясок на резиновых шинах. Остальное уплыло из памяти. Как сквозь сон, им мерещился приезд прямо на батальонную линию и сухой голос Хухрика:

— Конечно, милостивые государыни, патриотизм вещь всегда ценная и возвышенная, и ваши чувства, барыни, достойны всякого почтения. Но извините: закон есть закон, и устав есть устав. И потому прошу вас удалиться с лагерной линейки.

Рассказал и Александров свое маленькое приключение с апостольским вином и со всехсвятской Дуняшей.

Красавцы выслушали его рассказ без особой внимательности, добродушно.

— Какой фатум, — сказал Брюнелли. — Все мы пали жертвами и Вакха и Венеры.

Но потом и разговаривать стало не о чем. Приглядывался к ним обоим Александров, часто думал:

«Ничего между нами нет общего. Ну, скажем, они выше меня ростом, даже красивее. Может быть, у них знатная или богатая родня?.. Но путь их жизней я вижу, точно на ладони, и неизменно. Бауман будет в своем полку сначала батальонным, потом полковым адъютантом. Затем он удачно или выгодно женится на красивой остзейской барышне и поступит в жандармы или в пограничную стражу. Что же касается Брюнелли — такого серьезного, — то жизненный путь его еще яснее. Академия генерального штаба или юридическая. Длинный, упорный и верный путь к почетной, независимой и обеспеченной будущности. И нет никаких сомнений в том, что в маститые годы они обое станут генералами с красными широкими лампасами и с красными подкладками пальто. Вот и вся их жизнь. И больше нет ничего. И дай им бог этого счастья».

Нет! Жизнь Александрова пройдет ярче, красивее, богаче, разнообразнее и пестрее. Он будет великим военным героем России. А может быть, он будет знаменитым живописцем, любимым современным писателем, идолом молодежи, исследователем Памира, восходящим на вершины Гималайских недоступных гор. Или первоклассным актером! Имя его будет у всех на устах. Его портреты украсят все журналы. «Кто этот загорелый суровый человек, которому все кланяются?» — «Ах, это известный Александров. Не правда ли, — какое мужественное лицо?»

Добрые отношения между Александровым и его собратьями по заключению тихо, беззлобно потухали с каждым днем, пока незаметно не исчезли совсем.

В ночь с четвертого на пятый день ареста тяжелая, знойная, напряженная погода, наконец, разрядилась. Весь день был точно угарный. Губы ежеминутно сохли

от недостатка свежего воздуха. Небо стало грузным, темным, неподвижным и угрожающе сонным. Дышать становилось все труднее. Изнуряющий липкий пот выступал на шее, на лице, на всем теле. Только вечером, когда небо, воздух и земля так густо почернели, что их нельзя стало различать глазом, заворчали первые глухие отдаленные рычащие громы. А потом, как это всегда бывает в сильные грозы, — наступила тяжелая, глубокая тишина; в камере сухо запахло так, как пахнут два кремня, столкнувшиеся при сильном ударе, и вдруг ярко-голубая ослепительная молния, вместе со страшным раскатом грома, ворвалась в карцер сквозь железные решетки, и тотчас же зазвенели и задребезжали разбитые карцерные окна, падая на глиняный пол. Начиналась такая дьявольская гроза, подобной которой никогда, ни раньше, ни потом, не видывал Александров: необычайной силы гроза, оставшаяся на долго лет в памяти коренных москвичей, потому что она снесла наголо Анненгофскую Лефортовскую рощу и разрушила вдребезги более сотни московских деревянных домишек. Она не прекращалась до той поры, пока не забрезжил ранний сереющий рассвет.

Ветхий потолок и дырявые стены карцера в обилии пропускали дождевую воду. Александров лег спать, закутавшись в байковое одеяло, а проснулся при первых золотых лучах солнца весь мокрый и дрожащий от холода, но все-таки здоровый, бодрый и веселый. Отогрелся он окончательно лишь после того, как сторожевой солдат принес ему в медном чайнике горячего и сладкого чая с булкой, после которых еще сильнее засияло прекрасное, чистое, точно вымытое небо, и еще сладостнее стало греть горячее восхитительное солнце.

А час спустя он услышал шлепанье сапог по лужам и милый, знакомый голос, призывавший его снизу.

— Александров! Александров! — кричал под окном верный дружок Венсан. — Высуньте, насколько можно, руку из решетки. Я сижу на дереве. И, кстати, сердечно вас поздравляю.

— С чем? С окончанием ареста?

— Нет. Сейчас вы увидите сами. Но каким молодцом оказался наш Уставчик! Однако живее! Здесь

где-то поблизости слоняется зловещий Берди-Паша. Ну, тяните скорее руку! Так!

Венсан, прыгнув, густо шлепнулся в грязь. В руке Александрова остался напечатанный на множителе сверток казенной бумаги, очевидно купленный или украденный из походной батальонной канцелярии. В нем, в нисходящем порядке, были оттиснуты все имена выпускных юнкеров, от фельдфебелей и портупей-юнкеров до простых рядовых, с приложением их средних баллов по военной науке. Со странным двойным чувством гордой радости и унижения увидел Александров свой номер, ровно сотый, и как раз последний; последняя девятка, дающая право на первый разряд. Ниже шло еще сто номеров для злосчастных юнкеров второго разряда.

«Но ведь это все же только подачка, только жалкая милостыня, брошенная мне Уставчиком», — горестно подумал Александров и покрутил головой.

Через дней пять-шесть пришли из петербургского главного штаба списки имеющихся в разных полках офицерских вакансий. Они тотчас же были переписаны в канцелярии и розданы на руки юнкерам. Всего только три дня было дано господам обер-офицерам на ознакомление с этими листами и на размышления о выборе полка. И нельзя сказать, чтобы этот выбор был очень легким. С ним связывалось много условий: как необыкновенно важных, так и вздорных, совсем пустяковых, и разобраться в них было мудрено. Какое главное? Какое третьестепенное?

Хотелось бы выйти в полк, стоящий поблизости к родному дому. Теплый уют и все прелести домашнего гнезда еще сильно говорили в сердцах этих юных двадцатилетних воинов.

Хорошо было бы выбрать полк, стоящий в губернском городе или по крайней мере в большом и богатом уездном, где хорошее общество, красивые женщины, знакомства, балы, охота и мало ли чего еще из земных благ.

Пленяла воображение и относительная близость к одной из столиц; особенно москвичей удручала мысль расстаться надолго с великим княжеством Московским, с его семью холмами, с сорока сороками церквей, с Кремлем и Москва-рекою. Со всем крепко устоявшимся свободным, милым и густым московским бытом.

Но такие счастливые вакансии бывали редкостью. В гвардейские и гренадерские части попадали лишь избранники, и во всяком случае до номера сотого должны были дойти, конечно, славные боевые полки, — но далеко не блестящие, хорошо еще, что не резервные батальоны, у которых даже нет своих почетных наименований, а только цифры: 38-й пехотный резервный батальон, 53-й, 74-й, 99-й... 113-й и так далее.

Но были и другие соблазны, другие просторы для фантазии молодых душ, всегда готовых мечтать об экзотической жизни, о неведомых окраинах огромной империи, о новых людях и народах, о необычайных приключениях на долгих и трудных путях... Тянул к себе юг: служба на Кавказе, в Самарканде, в Туркестане, на границах с Персией, Афганистаном и Бухарой, на подступах к великой загадочной, пышной, сказочной Азии. Нельзя сказать, чтобы выпускные юнкера особенно хорошо знали географию. Ведение ее остановилось на шестом классе кадетского корпуса и с этой поры не подновлялось. Однако по смутным воспоминаниям соображали они, что Крым — это земной рай, где растет виноград и зреют превкусные крымские яблоки; что красоты Кавказа живописны, величественны и никем не описуемы, кроме Лермонтова; что Подольская губерния лежит на одной широте с Парижем, и оттого в ней редко выпадает снег, и летом произрастают персики и абрикосы; что Полесье славится своими зубрами, а его обитатели колтунами, и так далее в этом же роде. Большое значение имела краткая военная история полка, его былые доблести и заслуженные им отличия и награды. Не малую роль играли в выборе полка его петлицы — красные, синие, белые или черные: кому что шло к лицу. Случалось, — говорили прежние господа обер-офицеры, — что глубокий второразрядник сокру-

шенно махал рукой и заявлял: «Мне все равно. Пишите меня в ту часть, где красные петлицы».

Почти в таком же настроении был и Александров. С недавнего времени он вообще стал склонен к философии. Он размышлял: «Сто полков будут мне даны на выбор, и из них я должен буду остановиться на одном. Разве это не самый азартный вид лотереи, где я играю на всю собственную жизнь? Одному только богу ведомо, что ждет меня в первом, во втором, в тридцатом, в семьдесят четвертом или в девяносто девятом и сотом полку. Совершенно неизвестно, где меня поджидает спокойная карьера исполнительного офицера пехотной армии, где бурная и нелепая жизнь пьяницы и скандалиста, где удачный экзамен в Академию и большая судьба. Где богатая женитьба на любимой прекрасной девушке, где холостая, прокуренная жизнь одинокого армейца, где несчастливая дуэль, где принудительный выход из полка по решению офицерского суда чести, где великие героические подвиги на театре военных действий... Все покрыто непроницаемой тьмой, и все-таки тяни свой жребий».

И кто же возьмет на себя дерзость разрешать, какой полк хорош и какой плох, который лучше и который хуже? И невольно приходит на память Александрову любимая октава из пушкинского «Домика в Коломне»:

У нас война! Красавцы молодые,
Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые,
Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк.
Все с ревом так и лезут в бой кровавый,
Ширванский полк могу сравнить с октавой.

Да, конечно же, нет в русской армии ни одного порочного полка. Есть, может быть, бедные, загнанные в непроходимую глушь, забытые высшим начальством, огрубевшие полки. Но все они не ниже прославленной гвардии. Да, наконец... и тут перед Александровым встает давно где-то вычитанный древний греческий анекдот: «Желая посрамить одного из знаменитых

мудрецов, хозяева на званом обеде посадили его на самое отдаленное и неудобное место. Но мудрец сказал с кроткой улыбкой: «Вот средство сделать последнее место первым».

Настал, наконец, и торжественный день выбора вакансий.

В один из четвергов, после завтрака, дежурные юнкера побежали по своим баракам, выкрикивая словесное приказание батальонного командира:

— Всем юнкерам второго курса собраться немедленно на обеденной площадке! Форма одежды обыкновенная. (Всем людям военного дела известно, что обыкновенная форма одежды всегда сопутствует случаям необыкновенным.) Взять с собою листки с вакансиями! Живо, живо, господа обер-офицеры!

Служители уже расставляли на площадке обеденные столы и табуретки. Никогда еще юнкера так охотно и быстро не собирались на призыв начальства, как в этот раз. Через три минуты они уже стояли навытяжку у своих столов, и все двести голов были с нетерпением устремлены в ту сторону, с которой должен был показаться полковник Артабалевский.

Он скоро показался в сопровождении ротных командиров и курсовых офицеров.

— Садитесь! — приказал он как будто угрожающим голосом и стал перебирать списки. Потом откашлялся и продолжал:

— Вот тут перед вами лежат двести десять вакансий на двести юнкеров. Буду вызывать вас поочередно, по мере оказанных вами успехов в продолжение двухлетнего обучения в училище. Рекомендую избранную часть называть громко и разборчиво, без всяких замедлений и переспросов. Времени у вас было вполне достаточно для обдумывания. Итак, номер первый: фельдфебель первой роты, юнкер Куманин!

Ловко и непринужденно встал высокий красавец Куманин.

— Имени светлейшего князя Суворова гренадерский Фанагорийский полк.

Артабалевский громко повторил название части и что-то занес пером на большом листе. Александров тихо рассмеялся. «Вероятно, никто не догадывался, что Берди-Паша умеет писать», — подумал он.

— Фельдфебель четвертой роты, юнкер Тарбеев!

— В лейб-гвардии Московский полк.

— Фельдфебель второй роты, юнкер Пожидаев!

— В двенадцатую артиллерийскую бригаду на сослужение с отцом.

— Портупей-юнкер, князь Вачнадзе!

— На сослужение с братом в Эриванский гренадерский полк.

Так прошли перед выпускными юнкерами все фельдфебели, портупей-юнкера и юнкера с высокими отметками. Соблазнительные полки с хорошими стоянками быстро разбирались. Для второразрядных оставались только далекие места в провинциальных уездных городах, имена которых юнкера слышали первый раз в своей жизни.

Внимание Александрова давно устало и рассеялось. Он машинально зачеркивал выходящие полки и в то же время вел своеобразную детскую игру: каждый раз, как вставал и называл свой полк юнкер, он по его лицу, по его голосу, по названию полка старался представить себе — какая судьба, какие перемены и приключения ждут в будущем этого юнкера? И когда Александров услышал свою фамилию, громко названную Берди-Пашой, то он вздрогнул и совсем растерялся. Беспомощно водя глазами по листу, исчерченному синим и красным карандашом, он никак не мог остановиться на одном из намеченных полков.

Артабалевский крикнул своим металлическим «первым»:

— Чего молчать! Чего мечтать? Проснитесь, юнкер!

Тогда Александров ткнул наудачу пальцем в лист. Вышел полк совсем ему неведомый, и маленький городишко, никогда им не слыханный. И, откашлявшись, он громко крикнул:

— Ундомский пехотный полк!

Город «Великие грязи». И опять подумал про себя: «Вот средство сделать последнее место — первым».

Раздача вакансий окончилась. Берди-Паша сказал поучительное слово:

— Однако не воображайте, что вы уже в самом деле — господа офицеры. Этого воображать отнюдь не следует. Вы суть только юнкера. Пока выбранные вами вакансии дойдут до Санкт-Петербурга, и пока великому государю нашему, его императорскому величеству императору Александру Третьему не благоугодно будет собственноручно их утвердить, и пока, наконец, высочайшее его соизволение не дойдет до Москвы, — вы будете нести военную службу со всеми ее строжайшими обязанностями неукоснительно и в двойном размере. Ибо многому вы еще не доучились и ко многому не привыкли. Итак, сейчас же построиться на передней линейке для батальонного учения!

О! Злобный азиат!

Глава XXIX

ТРАВЛЯ

Двести вакансий в разные полки разобраны.

Военные портные уже уведомлены, какого цвета надо пришивать петлички к заказанным мундирам и какого цвета кантики: белого, красного, синего или черного?

Фамилии будущих господ офицеров и названия выбранных ими частей уже летят, летят теперь по почте в Петербург, в самое главное отделение генерального штаба, заведующее офицерскими производствами. В этом могущественном и таинственном отделении теперь постепенно стекаются все взятые вакансии во всех российских военных училищах, из которых иные находятся страшно далеко от Питера, на самом краю необъемной Российской империи.

И вот, наконец, все вакансии собраны и проверены. Тогда их поручают десяти искуснейшим во всей России писарям, из которых каждый состоит в капитанском чине, и они на ватманской слоновой бумаге золотыми перьями составляют список юнкеров, имеющих быть произведенными в первый офицерский чин и зачислен-

ными на доблестное служение в одном из славных победоносных полков великой русской армии.

А теперь уже выступает на сцену не кто иной, как военный министр. В день, заранее ему назначенный, он с этим драгоценным списком едет во дворец к государю императору, который уже дожидается его.

Конечно, русскому царю, повелевающему шестой частью земного шара и непрестанно пекущемуся о благе пятисот миллионов подданных, просто физически невозможно было бы подписывать производство каждому из многих тысяч офицеров. Нет, он только внимательно и быстро проглядывает бесконечно длинный ряд имен. Уста его улыбаются светло и печально.

— Какая молодежь, — беззвучно шепчет он, — какая чудесная, чистая, славная русская молодежь! И каждый из этих мальчиков готов с радостью пролить всю свою кровь за наше отечество и за меня!

Он со вздохом подписывает свое имя и говорит министру:

— Передайте им всем мои поздравления с производством и мою уверенность в их беспорочной будущей службе.

Очень долги пути государственных бумаг!

Старшие юнкера изводятся от нетерпения — они уже перестали называть себя господами обер-офицерами, иначе рядом с выдуманным званием не так будет сладко сознавать себя настоящим подпоручиком, его благородием и, по праву, господином обер-офицером.

Теперь все они кажутся совсем взрослыми, даже как будто пожилыми. Они стали осторожнее в движениях и умереннее в жестах. У них такой вид, точно каждый боится расплескать чашу, до краев полную драгоценной влагой. Они как-то любовно, по-братски присматривают друг за другом. Стоит самая африканская жарища. Клокочущее нетерпение не знает, во что вылиться. Нервы натянуты до предела. Не дай бог, кто-нибудь под этими давлениями взорвется и сделает такой непозволительный грубый и глупый поступок, который повлечет за собою лишение офицерского чина. Что тогда делать? Скрыть невозможно и нельзя. Отдать в солдаты? Выгнать из училища? Но как же быть,

если события так повернутся, что наказанного в Москве государь только что произвел в офицеры в Петербурге? Телеграфировать на высочайшее имя для осведомления императора? Но какое огорчение нанесет это обожаемому монарху! Какое несмываемое пятно для славного, любимого, дорогого Александровского училища!

Ротным командирам и курсовым офицерам известно это волнение молодых сердец, и они начинают чуть-чуть ослаблять суровые требования воинской дисциплины и тяжкие, в жару просто непереносимые, трудности строевых учений. Выпускные юнкера в свою очередь чувствуют эти поблажки и впадают в легкую фамильярность с начальством, в ленцу и в небрежность.

На полевом учении, в рассыпном строю, поручик Новоселов (он же Уставчик) командует:

— Перестать стрелять, встать — направление на мельницу. Бегом!

А кто-нибудь из выпускных лениво говорит:

— Зачем бегать, Николай Васильевич? Жара адова. Полежимте-ка лучше.

Уставчик топочет ногами и слабо кричит:

— Вставать-с, в карцер посажу-с!

Выпускной смягчается:

— Да уж, пожалуй, пойдем, Николай Васильевич. Ведь мы вас так любим, вы такой добрый.

— Молчать-с! Перебежка частями!

Или иногда говорили Дрозду, томно разомлевшему от зноя:

— Господин капитан, позвольте рассыпать цепью по направлению на вон ту девчонку в красном платке.

— Э-кобели! — ворчал Дрозд и вдруг властно вскакивал. — Встать! Бежать на третью роту! Да бежать не как рязанские бабы бегают, а по-юнкерски! Эй, ходу, а то до вечера проманежу!

Этот странный Дрозд, то мгновенно вспыльчивый, то вдруг умно и великодушно заботливый, однажды чрезвычайно удивил и умилил Александрова. Проходя вдоль лагеря, он увидел его лежащим, распластав широко ноги и руки, в тени большой березы и остановился

над ним. Александров с привычной ловкостью и быстротой вскочил, встряхнул шапку и сделал под козырек.

— Опустите руку, — сказал Дрозд. Поглядел долгим ироническим взглядом на юнкера и ни с того ни с сего спросил: — А ведь небось ужасно хочется хоть на минутку поехать в город, к портному, и примерить офицерскую форму?

— Так точно, господин капитан, — с глубоким вздохом сознался Александров. — Ужасно, невероятно хочется. Да ведь я наказан, без отпуска до самого производства.

— Да, плохое твое дело. Командир батальона ничего не прощает и никогда не забывает. Он воин серьезный.

— Так точно, господин капитан. Серьезнее на свете нет.

— Н-да, плохое ваше дело: и хочется, и колется, и маменька не велит. Вполне понимаю ваше горе...

— Покорно благодарю, господин капитан.

— А главное, — продолжал Дрозд с лицемерным сожалением, — главное, что есть же на свете такие отчаянные сорванцы, неслухи и негодяи, которые в вашем положении, никого не спрашивая и не предупреждая, убегают из лагеря самовольно, пробудут у портного полчаса-час и опрометью бегут назад, в лагерь. Конечно, умные, примерные дети таких противозаконных вещей не делают. Сами подумайте: самовольная отлучка — это же пахнет дисциплинарным преступлением, за это по головке в армии не гладят.

— Так точно, господин капитан.

Оба собеседника замолкают и молчат минуты три-четыре. Вдруг Дрозд загадочно фыркает и презрительно восклицает:

— Ну и бревно же!

— Какое бревно? — с недоумением спрашивает Александров.

— А такое, — равнодушно отвечает Дрозд и медленно отходит от юнкера.

Александров растерян. Кажется ему, что какой-то темный намек сквозил в небрежном разговоре Дрозда, но как его понять? Он идет в барак, отыскивает в нем

Жданова, замечательного разгадчика всех начальственных каверз и заковык, и передает ему всю свою странную болтовню с Дроздом. Жданов саркастически улыбается:

— Бревно — это, конечно, ты, мой красавец. Разве ты сразу не мог понять, что сострадательный Дрозд окольным путем тебе советует сделать алегро удирато? То есть убежать самоволкой в город? Конечно, он яснее высказаться не мог и не смел, ибо он все-таки твой прямой начальник. Но, ей-богу, он все-таки отменный парень. А тебе остается только одно — завтра отпуск, и ты без всяких размышлений наденешь на себя мундир и скорым шагом отправишься к своему портному; старайся не терять времени понапрасну. Уходи в толпе и приди в толпе, чтобы не быть ни для кого заметным. Если хочешь, я пойду впереди тебя наблюдательным дозором.

Так Александров на другой день и сделал: ловко втиснулся в густую массу отпускных юнкеров и благополучно выбрался на Ходынское поле. Там он уже был на свободе и крылатым шагом дошел до Тверской-Ямской, до того дома, где красовалась золотая вывеска: «Сур. Военный портной». И правда, риск самовольного побега был ничтожен в сравнении с наслаждениями, ожидавшими Александрова. Старый портной елозил вокруг него, обтягивая материю и пестря ее портновским мелком. В трех зеркалах бесчисленно отражалась его новая для самого себя фигура, и все ему хотелось петь на мотив из «Фауста»: «Александров! Это не ты! Отвечай, отвечай, отвечай мне поскорее!»

Он примерил массу вещей: мундир, сюртук, домашнюю тужурку, два кителя из чертовой кожи, брюки бальные и брюки походные. Он с удовольствием созерцал себя, многократного, в погонах и эполетах, а старик портной не уставал вслух восхищаться стройностью его фигуры и мужественностью осанки.

На обратном пути он хотел было сделать маленький крюк, чтобы забежать в Екатерининский институт и справиться у Порфирия о том, как поживает Зиночка Белышева, но вдруг почувствовал, что у него не хватит

духа. В лагерь он пришел, когда уже начинало темнеть. Быстрым катышком свалился он в глубь оврага, где протекала холодная быстрая речонка, спешно переоделся в заранее спрятанную каламянковую рубашку и вышел наверх. Первый, кого он увидел, был Дрозд, прогуливавшийся по плацу над купальней, заложивши руки за спину.

— Как поживаете, господин обер-офицер? — спросил Дрозд лениво.

— Покорно благодарю, господин капитан, очень хорошо! — воскликнул Александров, блестя глазами.

Так успели за двухлетнее знакомство и за лагерную страду опроститься и очеловечиться отношения между юнкерами и офицерами.

Только три человека из всего начальственного состава не только не допускали таких невинных послаблений, но злились сильнее с каждым днем, подобно тому как мухи становятся свирепее с приближением осени. Эти три гонителя были: Хухрик, Пуп и Берди-Паша, по-настоящему — командир батальона, полковник Артабалевский.

Первые двое были, пожалуй, уж не так зловредны и безжалостно строги, чтобы питать к ним лютую вражду, ненависть и кровавую месть. Но они умели держать молодежь в постоянном состоянии раздражения ежеминутными нервными замечаниями, мелкими придирками, тупыми повторениями одних и тех же скучных, до смерти надоевших слов и указаний, вечной недоверчивостью и подозрительностью и, наконец, долгими, вязкими, удручающими нотациями.

Берди-Паша не был выпечен из такого пресного теста. Его, должно быть, отлили из железа на заводе и потом долго били стальными молотками, пока он не принял приблизительную, грубую форму человека. Снабдить же его душою мастер позабыл.

И правда: Берди-Паша кажется лишенным если не всех, то очень многих свойственных обыкновенному человеку достоинств и недостатков, страстей и слабостей. Он не знает ни честолюбия, ни жалости, ни любви, ни

привязанности. Ему чужды страх и стыд. Он никогда не хвалит и не делает выговоров. Он только спокойно и холодно, как машина, наказывает, без сожаления и без гнева, прилагая максимум своей власти. У него сильный стальной голос, слышимый из конца в конец огромнейшего Ходынского поля, на котором летом свободно располагаются лагерями и производят учение все войска Московского военного округа. Но ни разу он не закричал на юнкера, так же как никогда не показал ему сострадания.

Все в училище, не исключая и офицеров, глубоко убеждены в том, что Берди-Паша просто глуп. Его редкие изречения тщательно запоминаются второкурсниками и передаются из поколения в поколение, обрастая, конечно, добавками, как корабль в далеком пути обрастает ракушками и моллюсками.

Берди-Пашу юнкера нельзя сказать чтобы любили, но они ценили его за примитивную татарскую справедливость, за голос, за представительность и в особенности за неподражаемую красоту и лихость, с которыми он гарцевал перед батальоном на своей собственной чистокровной белой арабской кобыле Кабардинке, которую сам Паша, со свойственной ему упрямостью, называл Кабардиновкой.

Но теперь юнкера, а в особенности выпускные, были обижены тем, что немедленно по окончании торжественного разбора вакансий Берди-Паша бесцеремонно погнал батальон на строевые занятия, как будто наплевав на великую важность происшедшего события.

Всякий порядочный командир батальона дал бы своей части в подобном случае хоть час-два блаженного отдыха после только что пережитых, столь сильных впечатлений.

Это с его стороны невежество, умышленное свинство, пренебрежительный вызов, требующий немедленного воздаяния.

И вот тогда, точно по телеграфу, работающему без проводов, разнесся, начиная с первой роты, самой долговязой, самой шикарной и самой авторитетной, и кончая предприимчивой четвертой, — невидимый приказ:

«Травить всех по-прежнему, умеренно. Хухру и Пупа — с натиском. А нераскаянного Берди-Пашу не только сугубо, но двугубо и даже многогубо».

Это предложение было принято повсюду с величайшей готовностью. К тому же, надо сказать, всему училищу было известно, что в этом году производство начнется с большим, против всегдашнего, промедлением. По каким-то важным политическим причинам государь опоздает приехать в Петербург. Лишнее промедление обрекало всех юнкеров на длительную скуку. Сугубая травля обещала некоторые развлечения, и она вышла действительно неслыханно разнообразной и блестящей.

Она началась непосредственно после вечерней переклички, «Зори» и пения господней молитвы, когда время до сна считалось свободным. Как только раздавалась команда «разойтись», тотчас же чей-нибудь тонкий гнусавый голос жалобно взывал: «Ху-у-ух-рик!» И другой подхватывал, точно хрюкая поросенком: «Хухра, Хухра, Хухра». И целый многоголосый хор животных начинал усердно воспевать это знаменитое прозвание, имитируя кошек, собак, ослов, филинов, козлов, быков и так далее.

Затем начинался фейерверк в честь и славу Пупа. Не без гордости взял на себя Александров должность одного из самых главных пиротехников. Недаром же он еще в корпусе, вместе с товарищем Тучабским, вышедшим год назад в офицеры, изучал искусство потешных огней. Он даже не знал, откуда ему приносили серу и селитру, кремортартар и другое. Он сам толок в мелкий порошок древесный уголь и сахар. Порох он получал из патронов, оставшихся у многих юнкеров от учебной стрельбы. Необходимые же трубки и трубочки он скатывал на шомполах и на других цилиндрических предметах. Таким образом он, хоть и грубо, но все-таки достаточно для простой цели, изготовлял шутихи, бенгальские огни, римские свечи и главным образом ракеты.

Когда травление Хухрика начинало немного приедаться, Александров пускал цветной сигнал для привлечения внимания и сейчас же, держа двумя пальцами трубку ракеты, поджигал ее. Ракета, оставляя звездчатый золотой хвост, весело шла вверх. Вибрирующее

шипение шло за нею. Это продолжалось недолго, секунд десять — двенадцать, но времени хватало, чтобы прокричать мадригал Дудышкину. Множество голосов наперебой восклицало:

«Я Пуп, но не так уж глуп. Когда я умру, похороните меня в моей табакерке. Робкие девушки, не бойтесь меня, я великодушен. Я Пуп, но это презрительная фора моим врагам. Я и Наполеон, мы оба толсты, но малы» — и так далее, но тут, достигая предела, ракета громко лопалась, и сотни голосов кричали изо всех сил: *«Пуп!»*

Травля Берди-Паши была сложнее, разнообразнее и художественнее. Сначала из архивов памяти, еще от преданий предков, выкапывались поразительные, незабвенные изречения Паши. Вот некоторые из них:

Юнкер стоит, облокотившись на раму, и смотрит сквозь окно на училищный плац. Подходит Берди-Паша и упирается взглядом ему в спину. Оба молчат очень долго, минут десять, пятнадцать... Вдруг Паша нарушает тишину:

— Стоить и думаеть, и думаеть, что думаеть, и сам не знаеть, что ничего не думаеть. А не хотите ли в карцер, юнкер?

И еще:

Оркестр Крейнбринга, училищный знаменитый оркестр, играет в училищной столовой. Один из музыкантов держит под мышкой свою волторну. Берди-Паша подходит к капельмейстеру и спрашивает:

— А этот почему стоит без дела?

— Он паузу держит.

— Почему же он ее за пазухой держить? почему не граить?

И опять о Крейнбринге:

Наблюдая за оркестром, Паша замечает, что старый артист на бейном басе во все время концерта ни разу не прикоснулся к своему инструменту. Он подходит к Крейнбрингу:

— Ну, а этот почему не играеть? Тоже паузу держить? Лентяй!

— Нет, он амбушюр потерял.

— Вот сволочь! Казенную вещь теряить? Взгрей-

те-ка его хорошенько, а стоимость вычтите из его жалования. Я их научу, как казенные вещи терять!

Потом на голову бедного полковника Артабалевского вешаются все бесчисленные анекдоты о русских генералах, то слишком недогадливых, то чересчур ревностных, то ужасно откровенных, то неловких поклонников дамской красоты, то любителей загадок и так без конца.

Анекдоты эти рассказываются обыкновенно в таких местах, где сам Берди-Паша их отлично может расслышать. Начинает рассказчик так:

— Ну, а вот послушайте новый анекдот еще об одном генерале... — Все, конечно, понимают, что речь идет о Берди-Паше, тем более что среди рассказчиков многие — настоящие имитаторы и с карикатурным совершенством подражают металлическому голосу полковника, его обрывистой, с краткими фразами речи и со странной манерой употреблять ерь на конце глаголов.

Берди-Паша понимает, изводится, вращает глазами, прикусывает губу, но сделать ничего не может — боится попасть в смешное или неприятное положение. Но татарская кровь горяча и злопамятна. Берди-Паша молча готовит месть.

Однажды в самый жаркий и душный день лета он назначает батальонное учение. Батальон выходит на него в шинелях через плечо, с тринадцатифунтовыми винтовками Бердана, с шанцевым инструментом за поясом. Он выводит батальон на Ходынское поле в двухвзводной колонне, а сам едет сбоку на белой, как снег, Кабардинке, офицеры при своих ротах и взводах.

Надо сказать, что Берди-Паша, вероятно, один из самых совершеннейших и тончайших мастеров и знатоков батальонного учения во всем корпусе русских офицеров.

Он не давал батальону роздыха (это оттого, что сам он сидит на Кабардиновке, — сердито думали юнкера) и только изредка, сделав десять, пятнадцать построений, командовал:

— Вольно. Оправиться. С мест не сходить, — чтобы через две минуты снова крикнуть: — Батальон

в ружье. (Такие частые, но малые остановки, как известно, гораздо больше утомляют пехотинцев, чем сплошной ровный ход.) Он управлял батальоном, точно играл на гармонии: сжимал батальон так тесно в сближение четырех рот, что он казался маленьким и страшно тяжелым, и разжимал во взводную колонну так, что он казался длинным-предлинным червяком. Он заставлял «заходить», то есть вращаться, как по циркулю, целые роты. Он водил батальон прямым, широким, упругим маршем и облическим, правильно косым движением, и вдруг резкой командой: «На руку», заставлял все четыреста ружей ощетиниться на ходу штыками, мгновенно взятыми наперевес.

Берди-Паша был в эти минуты похож на знаменитого балетмейстера, управляющего отлично слаженным кордебалетом, на директора цирка, заставляющего массу нарядных лошадей однообразно делать сложные вольты, лансады и пируэты, на большого мальчишку, играющего своими раздвижными деревянными солдатиками, заставляя всю их сомкнутую группу разом сдвигаться и раздвигаться то сверху вниз, то слева направо.

Команды Паши были отчетливы, а приемы юнкеров абсолютно правильны. Но сегодня Артабалевский точно объелся белены и взбесился. Через каждые десять шагов он командовал:

— Стой.

И батальон, как один человек, останавливался в два темпа, а в три других темпа, сняв ружье с плеча, ставил его прикладом на землю. И тотчас уже опять:

— Батальон шагом марш, стой, шагом марш, стой, шагом марш, стой.

И на каждой краткой остановке молниеносный, пламенно бешеный разнос:

— Почему приклады стучать? Почему стучать приклады! Сказано, опускать приклады на землю беззвучно. Беззвучно опускать вам приказано.

И снова:

— Шагом марш. Стой. Зачем, зачем шлепаютъ прикладами? Заморю на учении, а заставлю, чтоб никакого звука не было слышно.

Так Берди-Паша каждый раз неистовствовал и крупным галопом носился вокруг батальона, истязая шпорами красавицу Кабардинку, которая вся была в мыле и роняла со своей прелестной морды охлопья белой пены, но добиться идеального беззвучия он не мог, как ни выходил из себя.

Юнкера знали, в чем здесь дело. Берди не был виноват в том, что заставлял юнкеров исполнять неисполнимое. Виноват был тот чрезвычайно высокопоставленный генерал, может быть даже принадлежавший к членам императорской фамилии, которого на смотру в казармах усердные солдаты, да к тому же настреканные начальством на громкую лихость ружейных приемов, так оглушили и одурманили битьем деревянными прикладами о деревянный пол, что он мог только сказать с унынием:

— Да, все это очень хорошо, но хотелось бы, чтобы было потише. Согласитесь, что такими мощными ударами можно потрясти берданку и значительно испортить ее тонкие, весьма чувствительные внутренние части.

Замечание это было разослано для принятия ко вниманию во все округа, корпуса, дивизии и полки. Военная служба — строгая служба. В ней нет места ни своеволию, ни отказу, ни возражению. Приказано и — делать. И притом не рассуждать. Но беспрестанные «Марш» и «Стой» в сопровождении татарских наскоков Берди-Паши извели и утомили юнкеров, а главное, наскучили до смерти. Сначала один, двое, трое юнкеров, по усталости и небрежности и отчасти по случайности, слишком громко поставили приклады. Соседи поддерживали их из проказливости, показала свою власть и липкая подражательность. По батальону побежал магнетический слух: «Берди-Пашу травят! Травите Берди-Пашу».

И тогда уже весь батальон, четыреста человек, стали при каждой команде: «Стой», изо всех сил бить прикладами по сухой земле.

Батальонный не растерялся. Он озверел: пятя свою Кабардинку задом на строй первой роты, позеленевший от злобы, он кричал обрывающимся голосом:

— Не хочете? Не жалаете? Разнежничались? А, вот я вас всех сейчас до выставки погоню, туда и обратно.

Чей-то неведомый голос вдруг возразил из середины строя:

— Ан не погонишь!

— Не погоню? — взревел Паша изо всей силы своего голоса, и лицо его пошло красными пятнами. — Не прогоню? Два раза прогоню: туда и обратно и еще раз — туда и обратно... Батальон на плечо. Шагом марш.

Ошарашенный этой грозной вспышкой, батальон двинулся послушно и бодро, точно окрик послужил ему хлыстом. Имя юнкера-протестанта так и осталось неизвестным, вероятно, он сам сначала опешил от своей бессознательно вырвавшейся дерзости, а потому ему стало неловко и как-то стыдно сознаться, тем более что об этом никто уже больше не спрашивал. Спроси Паша сразу на месте, — кто осмелился возразить ему из строя, виновник немедленно назвал бы свою фамилию: таков был строгий устный адат училища.

Не важно, какому бы тягчайшему наказанию подверг Берди-Паша дерзилу. Гораздо опаснее было бы, если бы весь батальон, раздраженный Пашой до крайности и от души сочувствовавший смельчаку, вступился в его защиту. Вот тут как раз и висели на волоске события, которые грозили бы многим юнкерам потерею карьеры за несколько дней до выпуска, а славному дорогому училищу темным пятном.

Вовсе не от такта, или политики, или жалости ограничился Паша длинным маршем, в котором невольно приняли участие ротные командиры и курсовые офицеры. Нет, Берди-Паша поступил так, влекомый природной глупостью и ослепившим его гневом. Но четырех концов ему все-таки не удалось сделать. В конце третьего — у штабс-капитана Белова, курсового офицера четвертой роты, от жары и усталости хлынула кровь из носа в таком обилии, что ученье пришлось прекратить. Батальон повели обратно, в лагери. У Берди-Паши, еще не перестававшего шпорить Кабардинку, был вид тигра, у которого изо рта насильно вырвали добычу.

Глава XXX

ПРОИЗВОДСТВО

Упорствуют, не идут, нарочно не хотят идти из Петербурга волшебные бумаги, имеющие магическое свойство одним своим появлением мгновенно превратить сотни исхудалых, загоревших дочерна, изнывших от ожидания юношей в блистательных, молодых офицеров, в стройных вояк, в храбрых защитников отечества, в кумиров барышень и в украшение армии.

Но Петербург все безмолвствует. Доходят до лагерей смутные слухи, что по каким-то очень важным государственным делам император задержался за границей и производства можно ожидать только в середине второй половины июля месяца.

Училищных офицеров тоже беспокоит и волнует это замедление. После производства в офицеры бывшие ученики и прямые подчиненные становятся отрезанным ломтем, больше о них нет ни забот, ни хлопот, ни ответственности, ни даже воспоминаний.

Будущие второкурсники (господа обер-офицеры) обыкновенно дня за три до производства отпускаются в отпуск до начала августа, когда они в один и тот же день и час должны будут прибыть в училищную приемную и, лихо откозыряв дежурному офицеру, громко отрапортовать ему:

— Ваше благородие, является из отпуска юнкер второго курса, такой-то роты и фамилия.

Но от дня производства до явки отпускных у начальства остается почти месяц свободного от занятий времени, которым каждый пользуется по средствам и воображению.

Потому-то весь состав училища становится в эти дни напряженного ожидания нетерпеливее и распущеннее, чем обыкновенно. Занятий почти нет. Ружья на неделю отобраны от юнкеров и отправлены в оружейную мастерскую училища. Там старые, постоянные мастера уже успели на глаз, на ощупь и через специальное маленькое зеркальце осмотреть все раковинки, ржавчинки и царапинки и другие повреждения, которые принесли ружьям плохая чистка и небрежное

обращение. Старшему курсу уже был прислан отчет о том, какая сумма будет вычтена при производстве с каждого юнкера за порчу казенных вещей (Александрову насчитали ужасно много: тринадцать рублей сорок восемь копеек), второй курс заплатит свою пеню в будущем году.

Занимаются подзубриванием уставов, перечислением лиц императорской фамилии, караулом при знамени и перед пороховым погребом, немного гимнастикой, немного маршировкой.

Юнкеров, взявших вакансии в артиллерию, училищный берейтор Плакса каждый день тренирует в верховой езде. Больше всего увлекаются купаньем — погода стоит пламенная.

Даже травля надоела. Попробовал Александров однажды вечером запустить последнюю оставшуюся у него ракету, — как раз она и вылетела шикарно и разорвалась эффектно. Но никто не послал ей вслед острого словца, только на взрыв какой-то юнкер ответил: «Пуп» — и так уныло у него вышло, как будто он собирался крикнуть: «А производства-то все нет...»

Третья рота устроила перед своими бараками пышное представление под заглавием «Высокое награждение султаном ниневийским храброго джигита и абрека Берди-Пашу». Постановка была очень недурна, принимая во внимание, что декорации и костюмы были сделаны из простынь, подушек, шинелей, цветной бумаги и древесных веток. Юнкер Павлов, изображавший Пашу, обмотал лоб громаднейшим тюрбаном, посол султана был в белом остроконечном картонном колпаке, усеянном звездами. Собственная музыка сыграла при входе посла ниневийского марш; инструментами музыкантам служили: головные гребешки, бумажные трубы, самодельные барабаны и свой собственный свист.

Сцена роскошно освещалась четырьмя стеариновыми свечами. Посол низко поклонился Берди-Паше, а Берди-Паша послу. Затем посол приказал своей свите: «Приведите присланных одалисок».

Свита ушла и через минуту вернулась назад, поддерживая с нежностью двух смазливых юнкеров, одетых в роскошные женские одежды из простынь.

— О прелестные одалиски, упоите зрение знаменитого воина Берди-Паши вашими грациозными танцами.

Оркестр грянул «Турецкий патруль», и под него одалиски протанцевали изумительный танец, виляя бедрами и боками, вращая животами, оглядывая публику сладострастными восточными взорами.

— Теперь довольно, — сказал посол и поклонился Паше. Паша сделал тоже самое. — О великий батырь Буздыхан и Кисмет, — сказал посол, — мой владыко, сын солнца, брат луны, повелитель царей, жалует тебе орден великого Клизапомпа и дает тебе новый важный титул. Отныне ты будешь называться не просто Берди-Паша, а торжественно: Халда, Балда, Берди-Паша. И знай, что четырехстворчатое имя считается самым высшим титулом в Ниневии. В знак же твоего величия дарую тебе два драгоценных камня: желчный и мочевой.

Новоиспеченный Халда, Балда, Берди-Паша глубоко поклонился послу, посол сделал то же и потом сказал:

— Мой повелитель дарит тебе этих прекрасных ниневиатинок.

— Ни, ни! — закачал Паша головою. — Что я с ними буду делать? мне они незачем. А вот место евнуха в султановом гареме, да еще с порядочным жалованием, от этого я бы не отказался...

— Будь им с нынешнего числа, — сказал посол. — Я вовсе не посол, а сам султан. Ты нравишься мне, Берди. Идем-ка вместе в трактир. Пьеса окончена. Что? Хорошо я играл, господа почтенные зрители?

Эта пьеса-церемония была придумана за час до представления и, по совести, никуда не годилась. Она не имела никакого успеха. К тому же у юнкеров еще не вышло из памяти недавнее тяжелое столкновение с Артабалевским, где обе стороны были неправы. Юнкерская даже больше.

Но зато первая рота, государева, в скором времени ответила третьей — знаменной, поистине великолепным зрелищем, которое называлось «Похороны штыка» и, кажется, было наследственным, преемственным.

Жеребцы не пожалели ни времени, ни хлопот и набрали, бывая по воскресениям в отпуску, множество бутафорского материала.

Начали они, когда слегка потемнело. Для начала была пущена ракета. Куда до нее было кривым, маленьким и непослушным ракетишкам Александрова, — эта работала и шипела, как паровоз, уходя вверх, не на жалкие какие-нибудь сто, двести сажен, а на целых две версты, лопнувши так, что показалось, земля вздрогнула и рассыпала вокруг себя массу разноцветных шаров, которые долго плавали, погасая в густо-голубом, почти лиловом небе. По этому знаку вышло шествие.

Впереди шли скрипка, окарина и низкая гитара. Они довольно ладно играли похоронный марш Шопена. За музыкой шел важными и медленными шагами печальный тамбур, держа в руках высокую палку с траурными лентами.

Затем шествовал гроб такой величины, что в нем свободно умещался берданочный штык, размером не более полуаршина. Гроб был покрыт чем-то похожим на парчу и завален весь через верх грудою полевых цветов. Он стоял на крошечных носилках, четыре угла которых поддерживали четыре траурных кавалера, освещаемые с обеих сторон смоляными факелами. Дальше медленно и почтительно двигались провожающие. Шествие началось у купального водоема, а окончилось за первым флангом расположения первой роты. Там гробик был опущен в приготовленную для него яму и засыпан землей. Каждый юнкер бросил горсточку. Потом могильный холмик был осыпан цветами, водружена была дощечка со скромной надписью:

ШТЫК

1889.

И вся церемония окончилась в той же строгой серьезности, как и началась.

— Желающие могут произнести речи, — предложил высокий юнкер первой роты, лицо которого нельзя было разглядеть из-за спустившихся сумерек. Кто-то приблизился к могиле и стал говорить:

— Прощай, штык. Два года носили мы тебя на левом бедре. Спрашивается: зачем? Как символ воинского звания? Но вид у тебя был совсем не воинственный, а скорее жалкий. Воткнутый в свое кожаное узкое влагалище, ты походил на длинную болтающуюся селедку. Для возможной обороны? Но ты только тогда и силен, когда подкреплен огромным весом ружья. Для украшения? Но без тебя воинский чин только выигрывал в красоте. У нас были в обмундировании золотые орлы на барашковых шапках, пылающие бомбы на медных застежках поясов, золотые галуны и прекрасный наш вензель. Куда же ты сунулся, о несчастный, в какое благородное общество? Я помню наш прежний тяжеловесный тесак, с которым наши славные предки делали такие могучие атаки и который был отнят у нас за чужую проказу. Он величествен и грозен, как настоящее оружие войны. И он был универсален: в случае надобности на войне им можно было нарубить дров, наколоть лучин, расколотить лед, вырыть окоп и так далее... Прощай же, штык. Ржавей и разрушайся в земле. Мы не помним на тебя зла. Это не ты пришел непрошенный в наше общество. Нет. Тебя нам навязали насильно, и в конце концов в моей краткой речи я нарушил старый обычай: «О мертвых либо хорошо, либо ничего». Поэтому, воздавая тебе справедливость, скажу почтительно, что в минувшую войну с турками ты немало продырявил и пропорол вражеских животов. Прощай же, наш невольный боевой товарищ. Через день, два тебя заменит нам благородная, быстрая, страшная шашка, благородная дочь знаменитой исторической сабли. Аминь.

— Аминь, — повторяют участники похорон. Печальный обряд окончен, и все расходятся по своим баракам.

Теплая ночь, и на небе пропасть больших, шевелящихся звезд...

Но наступает время, когда и травля начальства и спектакли на открытом воздухе теряют всякий интерес и привлекательность. Первый курс уже

отправляется в отпуск. Юнкера старшего курса, которым осталось день, два или три до производства, крепко жмут руки своим младшим товарищам, бывшим фараонам, и горячо поздравляют их со вступлением в училищное звание господ обер-офицеров.

— Блюдите внутреннюю дисциплину, — говорят они уходящим младшим товарищам. — Не распускайте фараонов, глядите на них свысока, следите за их молодцеватым видом и за благородством души, остерегайтесь позволять им хоть тень фамильярности, жучьте их, подтягивайте, ставьте на место, окрикивайте, когда надо. Но завещаем вам: берегитесь цукать их нелепой гоньбой и глупыми, оскорбительными приставаниями. Помните, что Александровское военное училище есть первейшее изо всех российских училищ и в нем дисциплина живет не за страх, а за совесть и за добровольное взаимное доверие. Прощайте, друзья, прощайте, и дай бог нам встретиться соратниками на поле брани.

А другие говорили уходящим:

— Никогда и никому не позволяйте унижать звание пехотинца и гордитесь им. Пехота — самый универсальный род оружия. Она передвигается подобно кавалерии, стреляет подобно артиллерии, роет окопы подобно инженерным войскам и, подобно им, строит мосты и понтоны, и решает участь боя главным образом мужество и стойкость пехоты. Прощайте!

Господа обер-офицеры ушли, и как раз на другой день рано утром прибыл из Москвы в хамовнические лагери в полном составе чудесный оркестр училища.

— Это — подарок начальника училища, — объяснил Дрозд, — лето было уж очень жаркое и лагери тяжелые.

— Сегодня производство? — спросил нервно один из юнкеров.

— Не знаю. Ровно ничего не знаю, — ответил Дрозд уклончиво.

В семь часов сделали перекличку. Батальонный командир отдал приказание надеть юнкерам парадную форму. В восемь часов юнкеров напоили чаем с булками и сыром, после чего Артабалевский приказал

батальону построиться в двухвзводную колонну, оркестр — впереди знаменной роты и скомандовал:

— Шагом марш.

Утро было не жаркое и не пыльное. Быстрый крупный дождь, пролившийся перед зарею, прибил землю: идти будет ловко и нетрудно. Как красиво, резво и вызывающе понеслись кверху звуки знакомого марша «Под двуглавым орлом», радостно было под эту гордую музыку выступать широким, упругим шагом, крепко припечатывая ступни. Милым показалось вдруг огромное Ходынское поле, обильно политое за лагерное время юнкерским потом. Перед беговым ипподромом батальон сделал пятиминутный привал — пройденная верста была как бы той проминкой, которую делают рысаки перед заездом. Все оправились и туже подтянули ремни, расправили складки, выровняли груди и опять — шагом марш — вступили в первую улицу Москвы под мужественное ликование ярко-медных труб, веселых флейт, меланхолических кларнетов, задумчивых тягучих гобоев, лукавых женственных валторн, задорных маленьких барабанов и глухой могучий темп больших турецких барабанов, оживленных веселыми медными тарелками.

Свернутое знамя высится над колонной своим золотым острием, и, черт побери, нельзя решить, кто теперь красивее из двух: прелестная ли арабская кобыла Кабардинка, вся собранная, вся взволнованная музыкой, играющая каждым нервом, или медный ее всадник, полковник Артабалевский, прирожденный кавалерист, неукротимый и бесстрашный татарин, потомок абреков, отсекавших одним ударом шашки человеческие головы.

Улицы и слева и справа полным-полны москвичами.

— Наши идут. Александровцы. Знаменские.

Изо всех окон свесились вниз милые девичьи головы, женские фигуры в летних ярких ситцевых одеждах. Мальчишки шныряют вокруг оркестра, чуть не влезая замурзанными мордочками в оглушительно рявкающий огромный геликон и разевающие рты перед ухающим барабаном. Все военные, попадающие на пути, становятся во фронт и делают честь знамени.

Старый, седой отставной генерал, с георгиевскими петлицами, стоя, провожает батальон глазами. В его лице ласковое умиление, и по щекам текут слезы.

Все двести юнкеров, как один человек, одновременно легко и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом почти выше чем человеческом движении есть страшная сила и суровое самоотречение.

Какая-то пожилая высокая женщина вдруг всплескивает руками и громко восклицает:

— Вот так-то они, красавцы наши, и умирать за нас пойдут...

Святые, чистые, великие слова. Сколько народной глубокой мудрости в них. Вот забрили лоб рекруту. Ведут его под присягу. Бабы плачут, девки плачут, старики кряхтят на завалинках. А забритый пьян, распьян, куражится, задается, шумит, выражается. «Желаю, говорит, пролить кровь за отечество, Марфа. Тащи еще четверть водки». А вот он уже и в солдатах. Обреченный человек, казенный человек, ответчик за весь мир православный, слуга царю и родине. Первое время-то какое тяжелое! С непривычки все домой да домой тянет и учение плохо дается. Ну, а там, гляди, обратался, отпрукался, освоился, стал настоящим исправным солдатом, даже ефлетером и младшим ундером. Приехал домой на кратковременный отпуск — узнать нельзя: стройный, ловкий, уверенный, прежнего вахлака и в помине нет. Спрашивают: «Ученьем вас небось много мучают?» А он этак по-солдатски, с кондачка: «Нам ученье чижало, между прочим нечаго. А убоина у нас каждый день во щах и каша тоже, и мясная порция на спичке выдается, двадцать пять золотников ежедневно. А в государевы дни и в полковой праздник водку нам подносят по целой манерке». Нет, жить в солдатах можно хорошо, надо только быть расторопным, понимающим, усердным и веселым и, главное, правдивым.

А потом, спаси господи, война начнется. Идет солдат на войну, верный присяге. Шинелью из кислой шерсти навкось опоясан, ранец на нем и вещевой ме-

шок со всем его имуществом, ружье на плече, патроны в подсумках.

Идет полк с музыкой — земля под ним дрожит и трясется, идет и бьет повсюду врагов отечества: турок, немцев, поляков, шведов, венгерцев и других инородцев. И все может понять и сделать русский солдат: укрепление соорудить, мост построить, мельницу возвести, пекарню или баню смастерить.

Он же, солдат, и на верную смерть охотником вызваться готов, и ротного своим телом от пули загородить, и товарища раненого на плечах из боя вынести, и офицеру своему под огнем обед притащить, и пленного ратника накормить и обласкать, — все ему сподручно.

А забравши под Российское государство великое множество городов и взявши без числа пленных, возвращается солдат домой, простреленный, иногда без руки, иногда без ноги, но с орденом на груди святого великомученика Георгия.

И тут уже солдат весь входит в любимую легенду, в трогательную сказку. Ни в одном другом царстве не окружают личность военного кавалера таким наивным и милым уважением, как в России. Солдат из топора щи мясные варит, Петра Великого на чердаке от разбойников спасает, черта в карты обыгрывает, выгоняет привидения из домов, все улаживает, всех примиряет и везде является желанным и полезным гостем, кумом на родинах, сватом на свадьбах.

«Странно, — думает Александров, — вот мы учились уставам, тактике, фортификации, законоведению, топографии, химии, механике, иностранным языкам. А, между прочим, нам ни одного слова не сказали о том, чему мы будем учить солдата, кроме ружейных приемов и строя. Каким языком я буду говорить с молодым солдатом. И как я буду обращаться с каждым из них по отдельности. Разве я знаю хоть что-нибудь об этом неведомом, непонятном существе. Что мне делать, чтобы приобрести его уважение, любовь, доверие? Через месяц я приеду в свой полк, в такую-то роту, и меня сразу определят командовать такой-то полуротой или таким-то взводом на правах и

обязанностях ближайшего прямого начальника. Но что я знаю о солдате, господи боже, я о нем решительно ничего не знаю. Он бесконечно темен для меня.

В училище меня учили, как командовать солдатом, но совсем не показали, как с ним разговаривать. Ну, я понимаю, — атака. Враг впереди и близко. «Ребята, вся Россия на нас смотрит, победим или умрем». Выхватываю шашку из ножен, потрясаю ею в воздухе. «За мной, богатыри. Урррраааа...»

Да, это просто. Это героизм. Это даже вот сейчас захватывает дыхание и холодом вдохновения бежит по телу. О, это я сумею сделать великолепно. Но ежедневные будни. Ежедневное воспитание, воспитание дикого неуча, часто не умеющего ни читать, ни писать. Как я к этому важному делу подойду, когда специально военных знаний у меня только на чуточку больше, чем у моего однолетки, молодого солдата, которых у него совсем нет, и, однако, он взрослый человек в сравнении со мною, тепличным дитятей. Он умеет делать все: пахать, боронить, сеять, косить, жать, ухаживать за лошадью, рубить дрова и так без конца... Неужели я осмелюсь отдать все его воспитание в руки дядек, унтер-офицеров и фельдфебеля, которые с ним все-таки родня и свой человек?

Нет, если бы я был правительством, или военным министром, или начальником генерального штаба, я бы распорядился: кончил юноша кадетский корпус — марш в полк рядовым. Носи портянки, ешь грубую солдатскую пищу, спи на нарах, вставай в шесть утра, мой полы и окна в казармах, учи солдат и учись от солдат, пройди весь стаж от рядового до дядьки, до взводного, до ефрейтора, до унтер-офицера, до артельщика, до каптенармуса, до помощника фельдфебеля, попотей, потрудись, белоручка, подравняйся с мужиком, а через год иди в военное училище, пройди двухгодичный курс и иди в тот же полк обер-офицером.

Не хочешь? — не нужно, — иди в чиновники или в писаря. Пусть те, у кого кишка слаба и нервы чувствительны, уходят к черту, — останется крепкая военная среда».

Александров вздрагивает и приходит в себя от мечтаний. Жданов толкает его локтем в бок и бурчит:

— Не разравнивай рядов.

Батальон уже прошел Никитским бульваром и идет Арбатской площадью. До Знаменки два шага. Оркестр восторженно играет марш Буланже. Батальон торжественно входит на училищный плац и выстраивается по-ротно в две шеренги.

— Смирно, — командует Артабалевский, соскакивая с лошади. — Под знамя. Слушай на караул.

Ладно брякают ружья. Знамя, в сопровождении знаменщика и адъютанта, уносится на квартиру начальника училища. Генерал Анчутин выходит перед батальоном.

— Здравствуйте, юнкера, — беззвучно, но понятно шепчут его губы.

— Здравия желаем, ваше превосходительство, — радостно и громко отвечает черная молодежь.

Начальник училища передает быстро подошедшему Артабалевскому большой белый, блестящий картон. Берди-Паша отдает честь и начинает громко читать среди гулкой тишины:

— «Его императорское величество государь и самодержец всея России высочайше соизволил начертать следующие милостивые слова».

Юнкера вытягиваются и расширяют ноздри.

— «Поздравляю моих славных юнкеров с производством в первый обер-офицерский чин. Желаю счастья. Уверен в вашей будущей достойной и безупречной службе престолу и отечеству.

На подлинном начертано — *Александр*».

Могучим голосом восклицает Артабалевский:

— Ура, его императорскому величеству. Ура!

— Ура! — оглушительно кричат юнкера.

— Ура! — отчаянно кричит Александров и растроганно думает: «А ведь что не говори, а Берди-Паша все-таки молодчина».

Все бегут в гимнастическую залу, где уже дожидается юнкеров офицерское обмундирование.

Там же ротные командиры объявляют, что спустя трое суток господа офицеры должны явиться в канцелярию училища на предмет получения прогонных денег. В конце же августа каждый из них обязан прибыть в свою часть. Странным кажется Александрову, что ни у одного из юных подпоручиков нет желания проститься со своими бывшими командирами и курсовыми офицерами, зато и у тех как будто нет такого намерения. Удивленный этим, Александров идет через весь плац и звонится на квартиру, занимаемую Дроздом, и спрашивает долговязого денщика, полуотворившего дверь:

— Можно ли видеть господина капитана?

— Никак нет, ваше благородие, — равнодушно отвечает тот, — только что выехали за город.

Александров пожимает плечами.

Глава XXXI

НАПУТСТВИЕ

Форма одежды визитная, она же — бальная: темно-зеленоватый, длинный, ниже колен, сюртук, брюки навыпуск, с туго натянутыми штрипками, на плечах — золотые круглые эполеты... какая красота. Но при такой форме необходимо, по уставу, надевать сверху летнее серое пальто, а жара стоит неописуемая, все тело и лицо — в поту. Суконная, еще не размякшая, не разносившаяся материя давит на жестких углах, трет ворсом шею и жмет при каждом движении. Но зато какой внушительный, победоносный воинский вид!

Первым долгом необходимо пойти на Тверскую улицу и прогуляться мимо генерал-губернаторского дворца, где по обеим сторонам подъезда стоят, как львы, на ефрейторском карауле два великана гренадера. Они еще издали встречают Александрова готовно растаращенными глазами и, за четыре шага, одновременно, прием в прием, такт в такт, звук в звук, великолепно отдают ему винтовками честь по-ефрейторски. Он же, держа руку под козырек и проходя с важной

неторопливостью, смотрит каждому по очереди в лицо взором гордым и милостивым. И кажется ему в этот миг, что бронзовый генерал Скобелев, сидящий на вздыбленном коне посредине Тверской площади, тихо произносит:

— Эх. Такого бы мне славного обер-офицера в мою железную дивизию, да на войну.

Но это наслаждение слишком коротко, надо его повторить. Александров идет в кондитерскую Филиппова, съедает пирожок с вареньем и возвращается только что пройденным путем, мимо тех же чудесных гренадеров. И на этот раз он ясно видит, что они, отдавая честь, не могут удержать на своих лицах добрых улыбок: приязни и поощрения.

А теперь — к матери. Ему стыдно и радостно видеть, как она то смеется, то плачет и совсем не трогает персикового варенья на имбире. «Ведь подумать — Алешенька, друг мой, в животе ты у меня был, и вдруг какой настоящий офицер, с усами и саблей». И тут же сквозь слезы она вспоминает старые-престарые песни об офицерах, созданные куда раньше Севастопольской кампании.

Офицерик просто душка,
Только ростом не велик.
Ах, усы его и шпоры,
Вы с ума меня свели.

— А то еще, Алеша, один куплет. Мы его под гросфатер пели, — был такой старинный модный танец:

Вот за офицером
Бежит мамзель,
Ее вся цель,
Чтоб он в нее влюбился,
Чтоб он на ней женился.
Но офицер
Ее не замечает
И только удирает
Во весь карьер.

И опять она обнимает Алешину голову и мочит ее старческими слезами.

— Поедем завтра в Троице-Сергиевскую лавру, Алеша. Закажем молебен угоднику.

Через три дня, в десять часов пополудни, Александров входит в училищную канцелярию, с трудом отыскав ее в лабиринтах белого здания. Седой казначей выдавал прогонные деньги молодым подпоручикам, длинным гусем ожидающим своей очереди. Расчет производился на старинный образец: хотя теперь все губернские и уездные большие города давно уже были объединены друг с другом железной дорогой, но прогоны платились, как за почтовую езду, по три лошади на персону с надбавкой на харчи, разница между почтой и вагоном давала довольно большую сумму. Вероятно, это был чей-то замаскированный подарок молодым подпоручикам.

Выдав офицеру деньги и попросив его расписаться, казначей говорил каждому:

— Его превосходительство, господин начальник училища, просит зайти к нему на квартиру ровно в час. Он имеет нечто сказать господам офицерам, но, повторяю со слов генерала, что это не приказание, а предложение. Счастливого пути-с. Благодарю покорно.

Александров пришел в училище натощак, и теперь ему хватило времени, чтобы сбегать на Арбатскую площадь и там не торопясь закусить. Когда же он вернулся и подошел к помещению, занимаемому генералом Анчутиным, то печаль и стыд охватили его. Из двухсот приглашенных молодых офицеров не было и половины.

— Что же другие? — спросил он в недоумении. Но ему никто не ответил. Кто-то поглядел на часы и сказал:

— Еще пять минут осталось. Подождем, что ли.

Но в эту минуту дверь широко раскрылась, и денщик в мундире Ростовского полка, в белых лайковых перчатках сказал:

— Пожалуйте, ваши благородия. Его превосходительство изволят вас ожидать в гостиной комнате. Соблаговолите следовать за мною.

Офицеры стали вслед за ним подыматься во второй этаж, немного смущенные малым количеством, немного подавленные всегдашней, привычной робостью перед каменным изваянием.

Генерал принял их стоя, вытянутый во весь свой громадный рост. Гостиная его была пуста и проста, как келия схимника. Украшали ее только большие, развешанные по стенам портреты Тотлебена, Корнилова, Скобелева, Радецкого, Тер-Гукасова, Кауфмана и Черняева, все с личными надписями.

Анчутин холодно и спокойно оглядел бывших юнкеров и начал говорить (Александров сразу схватил, что сиплый его голос очень походит на голос коршевского артиста Рощина-Инсарова, которого он считал величайшим актером в мире).

— Господа офицеры, — сказал Анчутин, — очень скоро вы разъедетесь по своим полкам. Начнете новую, далеко не легкую жизнь. Обыкновенно в полку в мирное время бывает не менее семидесяти пяти господ офицеров — большое, очень большое общество. Но уже давно известно, что всюду, где большое количество людей долго занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где конец занимательности и начало равнодушной скуки, как, например, на кораблях в кругосветном рейсе, в полках, в монастырях, в тюрьмах, в дальних экспедициях и так далее, и так далее, — там, увы, неизбежно заводится самый отвратительный грибок — сплетня, борьба с которым необычайно трудна и даже невозможна. Так вот вам мой единственный рецепт против этой гнусной тли.

Когда придет к тебе товарищ и скажет: «А вот я вам какую сногсшибательную новость расскажу про товарища Х.», — то ты спроси его: «А вы отважетесь рассказать эту новость в глаза этого самого господина?» И если он ответит: «Ах нет, этого вы ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет», — тогда громко и ясно ответьте ему: «Потрудитесь эту новость оставить при себе. Я не хочу ее слушать».

Закончив это короткое напутствие, Анчутин сказал сиплым, но тяжелым, как железо, голосом:

— Вы свободны, господа офицеры. Доброго пути и хорошей службы. Прощайте.

Господа офицеры поневоле отвесили ему ермоловские глубокие поклоны и вышли на цыпочках.

На воздухе ни один из них не сказал другому ни слова, но завет Анчутина остался навсегда в их умах с такой твердостью, как будто он вырезан алмазом по сердолику.

БРЕДЕНЬ

Молодой ученый агроном, Василий Васильевич Воркунов, возвращался не спеша домой, в черникинскую удельную усадьбу. У ноги его устало плелся рыжий, в белых пятнах гончий выжлец Закатай, выпустивший почти на пол-аршина красный мокрый язык. Три затравленные русака болтались у Воркунова через правое плечо, а левое плечо оттягивало тяжелое ружье, давившее на ключицу.

Было тепло, всего градусов восемь-девять ниже нуля по Реомюру. Далекие снега без границ казались то скучно зеленоватыми, то вяло желтоватыми, а в глазах медленно плавали черные точки. Мысли текли сонно и несвязно.

Думал агроном о петербургском сельскохозяйственном институте, о практических работах, о том министерстве, к которому он был причислен и которое в насмешку называлось «министерством непротивления злу».

«И в самом деле, что за нелепое, что за глупое, что за трагикомически бесцельное учреждение! Каждый день, каждый час, чуть не каждую секунду извергает оно сотни тысяч указаний, приказаний, запрещений, советов, распоряжений, незамедлительных мер, имеющих в виду блестящее возрождение всероссийского хозяйства. Но, увы, весь этот непрестанный бумажный

труд легко укладывается в пять-шесть слов, с которыми в «Плодах просвещения» светский балбес Вово обращается к деловым, серьезным крестьянам:

— Вы бы, мужички, сеяли мяту. Э... Вы бы мяту сеяли.

«Да, — размышляет Воркунов, — образцовую, показную ферму, конечно, можно оборудовать с блестящими результатами и даже на удивление высоко культурным европейцам. Но, во-первых, дайте мне для этого эксперимента ровный, спокойный климат, не грозящий ни дьявольскими засухами, ни внезапными сорокадневными потопами, ни апокалиптическими нашествиями саранчи; во-вторых, найдите для этих агрокультурных выставок такой глубокий слой природного чернозема, который проникает вниз на две сажени. Но таких сказочно плодородных земель теперь уже не отыщешь нигде на огромных пространствах России: ни в южных богатых степях, ни в баснословных хозяйствах Сибири и Присибирья. Все оскудело, обеднело, захирело от лени, неуменья, дикой жадности, от дурацкого закона: день — да мой. Иностранцам хорошо. У них для удобрения годится все, что способно гнить и давать химические результаты для оплодотворения.

Там еще гуано перевозят через океан, сотни тысяч тонн гуано; там в мельчайшую пудру размельчают миллионы пудов всяких фосфатов. Там и сушеная бычья кровь, и рыбные остатки, и устричные раковины ценятся, как отличнейшие удобрения, и человеческий помет стоит на высоком месте. Что же касается до самого ценного удобрения, лошадиного помета, то надо только представить себе, сколько его могут дать слоноподобные ардены и першероны, и притом какого несравненного качества.

Но, к сожалению, все эти замечательные пособники оплодотворения и мощного произрастания растений, — увы, совсем не для русского жалкого хозяйства. Надел крестьянский оскорбительно мал: впору быть сытыми до следующего ярового посева. Удобряют мужики землю исключительно лошадиным навозом. Но что уж может дать крестьянская лошаденка ростом с телка, худая, изморенная, весом не больше шести пудов, всегда

худо кормленная, измученная непосильной работой и скверными ухабистыми болотистыми дорогами.

И нечего хвастать, что Россия — житница мира, величайшая хлеборобная страна... Правду сказал один великий агроном, когда говорил:

— Нет такого голого и бесплодного куска земли, пусть даже это будет холодная скала, — где бы опытный и трудолюбивый хозяин не мог развести прекрасный сад, отличного цветника и хорошего огорода.

Да! он сам, Василий Васильевич Воркунов, ученый агроном, и до сих пор еще глубоко верит в то, что если бы дружно, усердно, умно и честно взяться за дело, то со временем не так уже невозможно сделать Россию первой страной в мире по хлеборобию. А тогда уж долой и войны. Как какие-нибудь государства начнут рычать о войне, так Россия — хлоп! — и закроет хлебный амбар. «Нам надо делом заниматься, а вы там себе деритесь сколько вашим душенькам хочется. — Воркунов глубоко вздыхает. — Но только, ох, как много для этого мирного счастья надо!

Первое — все проселочные дороги вымостить крепко-накрепко и обсадить деревьями. Возможно же это было за границей, а в старые времена и частным владельцам по личной инициативе. Второе — научить крестьян строить избы из кирпича; скажем, сначала фундаменты и бани, а хлева и амбары из камня с известкой. Молодых инженеров путей сообщения и строителей посылать без всяких церемоний в деревни отслуживать свой практический стаж. А рабочей силы в России — сколько хочешь. Да, видел я шлюзовые огромные постройки на Мариинской системе и на Сайменском озере. Кем построено? — Солдатами и арестантами.

А в-третьих: во что бы то ни стало выработать средний тип сильной и выносливой крестьянской лошади, не такой, которая бы все мужичково хозяйство пожрать могла, а хоть бы такой, какую Петр вывел в Вятке от чухонских лошадей... ну, скажем, немножко покряжистей.

Что здесь мудреного? Ведь производили же русские поля и русский овес тяжеловесных битюгов,

великолепных скакунов, отличнейших рысаков и превосходный материал для кавалерийского ремонта. Но одно дело спорт и забава, и совсем другое — рабочая лошадь хозяина-хлебороба. Последняя-то будет посущественней!

Да и образование мужику необходимо. Только не та хурда-мурда, которой его пичкают в начальных школах и которую он забывает на шестнадцатом году. Нет, дайте ему познания о правах и обязанностях, дайте понятие о свободе и справедливости и о высоком человеческом достоинстве. А уже после, после этого духовного воспитания, не бойтесь щедрыми руками вливать в его мозг, в его глаза, уши, руки и в память сколько хотите научных знаний, ремесел и привычек; надо только, чтобы каждое из них имело ясное, живое и прочное практическое применение к жизни и к работе. А уже после этого искуса, без всякой церемонии, нарезать всю землю, способную плодоносить, во владение тех хозяев, которые будут способны обращаться с нею наиболее умно, любовно и продуктивно. Ведь подобным же образом строгий и мудрый отец отдает свою дочь не пустому лодырю, болтуну, лгунишке и гуляке, а человеку здоровому, толковому, работящему и сильному, который и дому верный рачитель, и жене заступник, и детей наплодит крепких, как огурчики».

Дойдя до этой мысли, Василий Васильевич Воркунов вздыхает, громко чмокает языком и крутит головой.

«Вся суть в том, — говорит он самому себе, — что министерство «непротивления злу», вместе со своим облесением оврагов, осушением болот, ручьев и речек, задержанием таяния снегов, с опытами грядкового сеяния ржи по Демчинскому и по китайской системе и со всякими другими фокусами в банке, так же нужно трудолюбивому и трезвому мужику, как собаке пятая нога. Да, пожалуй, и все мы, интеллигентные помощники и руководители, ему не надобны: ни я — агроном, ни господин лесницын, ни дохтур, ни витилинарь. Все равно нас всех одинаково будут топить и резать в первую голову во время первой эпидемии.

А почему? да просто потому, что как бы добры и благожелательны ни были, а все-таки мы люди в штанах навыпуск и, значит, у мужика никаким кредитом и никаким доверием не пользуемся со времен крепостного права, а еще больше с крестьянского освобождения, которое было настоящим разделом между медведем и мужиком. При помещиках-то мы еще кое-как жили. А пришел конец крепостному праву — тут-то мы и захирели. Свободы-то нам только хвостик показали, а землею совсем обидели, и нет ничего удивительного на свете, как эта неумирающая коллективная память народа. Не только крепостное право помнят до сих пор, еще поют про Ивана Грозного, про Петра Первого, про удалого казака батюшку Степана Тимофеевича и Павла Первого добром вспоминают.

А по какой причине? К боярам были жестоки выше всякой меры.

Вот тебе и ходячая русская история. И причем же в этом космосе мы, приблудные агрономы? Уж одно здесь страшно, что ведь мы и разговаривать с мужиком не умеем, а не только учить и просвещать его. И ведь что обидно: для своего обихода, для своих несложных надобностей русский крестьянин обладает языком самым точным, самым ловким, самым выразительным и самым красивым, какой только можно себе представить. Счет, меры, вес, наименования цветов, трав и деревьев. Рождения, свадьбы. Похороны, ездовая упряжь, все подробности до мелочей домостроительства и домохозяйства, одежда и обувь, еда и питье, все носит у мужика названия, наиболее краткие, удобные и легкие для памяти и произношения. И тут же инстинктивная работа языка над фонетическим благозвучием.

Воркунов не может удержаться, чтобы не вспомнить несколько выразительных слов; вот, например, как называют родню: братовья, мужевья, деверья, сватовья. А вот бычки в различных возрастах: бычок молочный, бычок лонешный, бычок зеленятник, бычок нагульный, и потом уже бык, которого почему-то часто зовут Афанасием.

Очень хорошо также слушать, как в осенние тихие вечера, после тяжелой летней страды, беседуют дружно

между собою на завалинках пожилые почтенные мужики. Что за прекрасное течение речи, полнозвучной, русской правильной речи, не нарушаемой ни мычанием, ни искусственным кашлем, ни эканьем, ни умышленным повторением слов, ни дурацкими вставными словечками, ни заиканием. Все, что нужно сказать, говорится кругло, веско, и слова сами ложатся на полагающееся им место без натяжки. Мудрое слово импровизируется тут же на месте в виде краткого поучения, забавного сравнения, рифмованного афоризма, меткой характеристики:

«Ты его считай за апостола, а он хуже кобеля пестрова», — и нельзя уже тут соваться со словом мало взвешенным или почерпнутым из барско-лакейского лексикона. Сейчас же оборвет какой-нибудь из строгих словесников:

— Говорок, говорок облизал чужой творог.

Или еще того хуже: обзовут отцом-языкантом.

Здесь, на этих тихих беседах, ревниво и тщательно берегут чистое слово. Недаром же у Пушкина и у Даля так красиво, богато, гибко и послушно русское слово. Оба они начатки его впитали в себя в русской деревне еще в младенческие дни своего земного бытия.

И тут уж с легкой горечью говорит сам себе немножко усталый Воркунов:

«Язык-то мужицкий мы, божьим попущением интеллигенты, отлично и даже с наслаждением понимаем, но когда покушаемся на нем говорить, то выходит у нас вроде Петрушкина ломания: невнятно, смешно и позорно.

И мужик, в свою очередь снисходя к душевному убожеству человека в штанах навыпуск, старается объясняться с ним черт знает на каком путлястом, нелепо напыщенном, перековерканном наречии, на котором ни мужик, ни барин ровно ни звука не могут понять.

А тут еще министерство «непротивления злу» рекомендовало на днях Воркунову озаботиться немедленно распространением среди крестьян ревеня, как дешевого и полезного варенья, а также культивизацией волчьих ягод на предмет изготовления из них замечательного слабительного средства «каскара саградо».

— Нет, черт возьми! — громко восклицает агроном. — Сегодня же напишу бумагу с просьбой об увольнении из министерства.

В этом саморазговоре молодой человек не успел заметить, как его утоптанная тропинка постепенно подымалась наверх, и только теперь понял, что он взбирается на пологую горушку, которую местные мужики называли Поповкой, а молодые охальники Поповым пупом, потому что на ее верху испокон времен селилось духовенство деревни Тристенки.

Гончий пес, учуяв людей, с лаем помчался вниз. Воркунов пошел следом за ним, перемещая движениями плечей натрудившие кожу ремни.

Под ним высились: закутанная снегом водяная мельница, а неподалеку от нее — две синие луковицы церкви.

Посредине протекала обычно речонка Зура, но теперь она замерзла и лежала ровным белым платом, на котором Воркунову мерещилось какое-то неясное темное движение.

«Это я много нынче на снег нагляделся», — подумал агроном.

Высоко на небе выплыл серебряный молодой месяц, дальние облака на востоке окрасились в стальной, с румянцем, свет; заметно похолодало. Гончая собака прибежала снизу, потерлась о ногу и точно доложила хозяину — гав, гав, гав, гав, внизу какой-то народ, пойдем посмотрим!

Воркунов спустился по горушке. Еще издали приметил он все выраставшую при его приближении черную толпу. Слышен уже был бестолковый пляшущий галдеж, по которому легко узнать обеспокоенных мужиков.

«Это, вернее всего — тристенские молодчики. Они — первые заводиловцы на всякий шум и разногласие. К тому же они с помещиком уже давно тяжбу ведут по поводу этого рукава Зуры. Что и говорить — лихие парни».

Он не ошибся. Тристенские мужики облепили реку по льду и по берегам. Все глухо орали, стараясь

перекричать один другого. Вблизи услышал агроном и отдельные голоса:

— Чаво ты лезешь? Говорят тебе, что непременно тянуть надоть, пока морозом по краям не прилепило!

— Да! Потянешь ты! А может, сеть-то за корягу зацепилась. Тебе легко говорить: тяни, а если опчественный бредень разорвать, так тебе и горюшка мало, трутень ты безмедовый, захребетник ты мирской.

— Чаво ты лаешься, непутевый. По-твоему, оставить бредень до весны в воде, прогниет, а ему цена-то вон какая, братец ты мой, цена агроматная. Уж тут как хочешь, а тянуть нужно.

— Мырнул бы кто-нибудь, кто посмеляе, — посоветовал робкий голос.

— А ты вот и мыряй, ежели этакий нашелся. Там ведь глыбь-то какая: сразу тебя в кружало занесет.

Воркунову и скучно и досадно стало слушать мужичью руготню, пересыпаемую бессмысленными матерными словами. Он увидел вдали от мужиков молодого псаломщика тристенской церкви и подошел к нему.

— Не знаете ли, что у них там вышло?

— Да просто — мужичья неразбериха. Захотелось тристенским живоглотам к рождеству Христову рыбки половить, чтобы рыбкой полакомиться, стало быть. Завели они компанейский бредень под воду. Сначала-то у них все шло как следует. А потом вдруг заело сети. Ни туда ни сюда. Стоит бредень на одном месте и шабаш. Вот уж четвертый час возятся с ним мужики — и ничего. Круглый шабаш.

Воркунов помолчал немного, а потом спросил с любопытством:

— Неужели зимой ловят рыбу бреднем? Я этого никогда не видел и даже не слышал об этом.

— Да, признаться, и я в этом деле не больно большой знаток. Так только видывал кое-когда. Штука из не особенно легких. Нужна здесь и большая ловкость и порядочная опытность. А делается эта ловля приблизительно так: пробивают на разных концах две неширокие проруби, одну для входа, другую для выхода, а по бокам реки выдалбливают с одной и другой сто-

роны по три, по четыре сквозных кружков. В первую, значит, прорубь втискивают голову бредня, увешанного плоскими камушками, и дают бредню ход вперед. А чтобы бредень шел беспрепятственно и прямо и чтобы он в воде не скукоживался в веретено, а имел бы широкий раздол, то для этого у проделанных кружков стоят рыбаки, направляльщики. У каждого в руке этакая особая палка с рогулей на конце. Вот этими рогулями они и направляют движение. А как дошла голова до второй проруби, то уж тут и весь бредень легко любым крюком на берег вытянуть. Улова, особенно богатого, тут, разумеется, ждать нельзя, потому что все делается как бы с закрытыми глазами, да, кроме того, рыба, какая любит прятаться в глубоком иле, на дне, так она наверх идет совсем неохотно. А все-таки в такой старательной речушке, как Зура, пудов до двух, а пожалуй, и до трех можно заграбастать за милую душу. Был бы счастливый улов да дошлые толкачи для бредня.

Тут псаломщик остановился говорить и начал пристально и внимательно вглядываться в подходившего высокого и очень тучного человека.

— Это Владимир Порфирьич из Никифорова, — сказал он. — Никак к вам идут, господин агроном...

Воркунов знал немного этого грузного великана, богатого лавочника из Никифоровской волости, который продавал на весь Устюженский уезд хомуты, дуги, кнуты, веретена, деготь, деревянное масло, керосин, свечи, серные спички, рукавицы и варежки, деревянную посуду, чресседельники холуевские, образа и иконы, рыболовные крючки, разные пестрые материи для баб, валенки, самовары и тазы, стекла и другие разные вещи, необходимые в крестьянском обиходе; и одновременно скупал во всех деревнях муку, крупу, мед, бабью точу и вязь, а понемножку и земельные куски у разорявшихся помещиков. Считался он уже в двадцати тысячах, и мужики оказывали ему полупрезрительное почтение.

Он протянул Воркунову лопаточкой негнувшуюся пухлую руку.

— Господину агроному наше глубочайшее. Какая у нас незадача-то вышла с бреднем. Никак его с места не стронем. Тут, я слышал, чего-то говорили насчет того, чтобы какой-нибудь удалец решился бы под воду мырнуть и там ослобонить затор. Да ведь кто же на такой риск пойдет. Одно — что зима, а другое — дело-то уже к вечеру идет, чуть не к ночи. Я, как пайщик главный в бредне, сулил тому молодчику, кто отважится мырнуть, целые пять целковых в вознаграждение. Да нет, не находится охотника. Мы и так послов послали к мельнику, к Прову Силычу. Если он не согласится порадеть для мира, то нашему бредню совсем каюк будет.

— Да ведь он совсем старик? Куда ему? — сказал с сомнением Воркунов.

— Какое там старик, всего семьдесят годов, а на каждую Иордань, после водосвятия, трижды окунается в реку с головой. От снохачества своего очищается. Ведь они, мельники-то, слова такие тайные знают. А Пров-ат Силыч такой завидной крепости мужик, что у него и в сто лет все зубы и все волосы в целости останутся. И еще кое-что другое. Эх, только бы соблаговолил, умягчился. Ведь вот тристенские-то охаверники! Всегда сами себе на беду натворят всяких пакостей, натворят, а потом винятся, сукины сыны. Летось пристали без короткого к Прову Силычу, что мол-де на помоле их дюже обижает, и все была одна брехня. Мельник человек суровый, однако в своем деле очень справедливый. Ах, дай, господи, чтобы теперь прошлого зла не попамятовал. Мы, уже простите, Василий Васильевич, на вас сослались, послали сказать, что будет-де смотреть ученый агроном из Санкт-Петербурга. Может быть, и в газетах нас пропечатают с поощрением.

— Да позвольте, как будто бы народ чего-то задвигался, никак привели его.

И действительно, через несколько минут Воркунов услышал глухой быстрый ропот, в котором выделялись отдельные голоса: идет, идет, идет, идет...

Воркунов протискался вперед, к первой проруби, к которой одновременно с ним подходил и мельник,

Это был не очень высокий человек, но широкогрудый и широкоспинный и весь какой-то мощно кряжистый. На нем была теплая, гречником, шляпа, волчья шуба на плечах, романовские валенки, обшитые кожей, на ногах. Рыжая проседь чуть золотилась в его волосах, белых и еще молодых.

Приближаясь ко льду, он еще на ходу продолжал ироническую торговлю с лукавыми тристенскими мужиками:

— Я вам в сотый раз говорю, что все щуки мои. Сказано — и баста.

— Да помилуй, Пров Силыч, — настаивали тристенские, — по всей по речушке по Зуре, почитай, только одни щуки и водятся. И придется нам после тебя только хвост облизать.

— Брешете, пострелы, — спокойно, густым басом возражал мельник. — А лещ, а подлещик, а окунь, а плотва, а ерш? А пескарь-та? А шелеспер? А налим? Все ведь ваше останется, да еще с каким избытком. А я сказал — моя щука,—быть по сему. Да вы еще, хитрецы этакие, своего бредня сюда не присчитали.

Поторговались, пособачились еще немного и решили послушаться дедушку Прова Силыча. Ведь не пропадать же дорогому бредню.

Но мельник не сразу утих. Он громко позвал во свидетели договора купца Владимира Порфирьича и Василь Васильича, агронома.

— А то у этих шильников слово-то не больно крепкое. Так в случае я их и к мировому притяну.

И самым спокойным образом стал отдавать распоряжения:

— Вы, отцы и дяденьки, сделайте-к прорубь на чутолочку поширше, обрубите мало-мало топорами, чтобы мне под воду лезть было способнее. А вы, молодые кобельки, натаскайте хворосту и сухостоя, чтобы костер на берегу разложить, а и мне над головой свету давать. А к вам, господин агроном, у меня будет серьезнейшая просьба: когда буду под воду спущаться, то будет у меня в руке тоненький канатик, а другой его конец я уж вас попрошу непременно

в своей руке держать и по нужде потравливать. А как я вам тревожно задергаю сигнал канатиком, то, значит, задыхаюсь или устал. И тут вы меня, ваше благородие, начинайте подымать кверху, а если не осилите, то заставьте этих молодых лоботрясов помогать.

Этот, точно сильный, старец не суетился, не торопился и не терялся. Его приказания исполнялись с необычайным толком. Еще на берегу он проверил сравнительную натянутость вытащенных наружу сетей бредня. Потом снял с себя шубу и романовские валенки, оставшись только в портках и в холщовой рубахе.

— Господи, благослови! — сказал он, взявши в одну руку кирпич, а другой рукой подав конец веревки агроному. — Ныряю.

Густо бухнуло его тело в прорубь, и быстро побежала веревка в руках Воркунова...

Кто не знает о том, как невероятно быстро мчится час, когда каждая его секунда драгоценна, и как мучительно длинна секунда, когда ее отягощает ужас, боль или жадное ожидание. Воркунову казалось, что прошло ужасно много времени с того момента, когда мельник шлепнулся в воду и исчез в ней. Веревка не двигалась. Она только слабо двигалась поверху, не давая знать о себе.

«Господи! — думал Воркунов. — Уж лучше бы я сам вызвался распутать этот затор, чем допустить глубокого старика лезть под воду. Какая же я самолюбивая свинья».

И опять шли часы, и так же была в руке агронома недвижима веревка, колеблемая лишь дыханием воды.

Уж не задохнулся ли, не умер ли этот бело-рыжий могучий дедушка? И вдруг — краткий толчок. Точно упала ягода, точно клюнула мелкая рыбешка. И еще, и еще, с каждым разом сознательнее и сильнее вздрагивает веревка и сразу переходит в настойчивый отчаянный призыв: наверх! наверх! наверх!

Воркунов, точно очнувшись, принялся торопливо сматывать веревку. Странно легким, едва-едва весо-

мым показалось ему, в первые захваты, большое мясистое тело мельника. Уж не умер ли? Но оно тяжелее с каждым подъемом, и когда стало уже непосильным для одного человека, то на берег выскочил огромный, точно ломовая лошадь, мокрый Пров Силыч, фыркая, громко дыша, шлепая ногами и разбрасывая вокруг себя бурные клубы воды.

— Шубу! Валенки! — крикнул он, задыхаясь. — А коряга-то — она вот она, которая задерживала. Теперь с богом! Ведите свой бредень. Только рты-то не разевайте.

Он произносил эти слова через тяжелые промежутки, шумно вдыхая и выдыхая воздух: фуаф! фуаф! фуаф! — раздавалось из его груди, как из локомотива.

— Господин купец, — обратился он к Павлу Порфирьичу, — сделай милость, пошарь в моей шубе малый карафинчик с водкой, а то у меня руки совсем облубнели.

Какой-то молодой мужик спросил любопытным и восхищенным голосом:

— Дяденька Пров Силыч, а оно дюже студено под водой-то?

— Эх ты, дуракон, дуракон, — с усмешкой ответил мельник. — Сколько лет на божьем свете прожил, а до сей поры не знаешь, что под водой никогда холодно не бывает. Лед он хуш и холодный, а скрозь себя никогда стужи и не пропущает.

А другой из тристенских озорников задорно попросил:

— Позвольте, дедушка Сила, вас поздравить покупавшись. На водочку бы с вашей милости. А то мы уморились, вам помогавши.

Но мельник даже не поглядел на ерника, его больше занимала ловля.

— Эй, вы! У бредня! — закричал он, свернув руку трубой. — Как дела?

— Идет, идет, дедушка, о-о! Пошел, пошо-о-ол!..

— Ну и слава тебе господи. А что, Владимир Порфирьич, не одолжишь ли ты мне своего меренка? Я

только домой на минуточку съезжу переодеться и кое-чем по хозяйству распорядиться и мигом назад обернусь, к самому улову поспею, к дележке. Без своих-то глаз тристенским мужикам я не больно доверяю. Жуки они. А потом милости прошу тебя с агрономом ко мне пожаловать, чайком побаловаться и малость закусить чем бог послал.

И вдруг заорал на рыболовов:

— Эй, ты! На левой руке! Чего косишь? Чего косишь-то, а? Держи правея-я-я-я!

ВАЛЬДШНЕПЫ

Нас только двое: я и бурдастый белый пойнтер Джон, кобель чистой английской породы. Он обладает чудеснейшим верхним чутьем, на охоте строг и неутомим; ни воды, ни болота не боится. Но есть у него один порок, который тонкими охотниками считается совершенно портящим все прекрасные достоинства подружейной собаки. Он, увы, неравнодушен к зайцам. В прошлом году лесной объездчик Веревкин, натаскивая Джона, прозевал по небрежности, что полем, прямо на Джона, мчится, как оголтелый, осенний русачище. Ему бы тут надлежало сейчас же остановиться, притянуть к себе пса за ошейник и легонько его образумить плетью: «Ты, мол, сукин сын, — собака благороднейших кровей, и не тебе, как какому-нибудь выжлецу, гоняться за зайцами». А когда Веревкин успел опамятоваться, пойнтер уже нагнал косоглазого и весь в крови заячьей стал его освежевывать. Правда, потом Веревкин отнял у него косого, но что тут толку? Хлебнувши горячей заячьей крови, стал английский кобелек совсем никуда не годным. Пробовали его и учить, и стыдить, и уговаривать, и наказывать, и плеткой его лупили несосветимо. Нет, ничем невозможно было у него эту страсть чертовскую из души выбить. Бывает, учует, бог знает из какой дали, красную дичь: бекаса, дупеля, перепелку, утку, тетерева, глухаря; учует и тянет по нему. Весь, как струна. Не

дышит, ни кустиком, ни веточкой не зашуршит. Только на охотника оком взирает: «Видишь? Идешь?» И вот в этот-то напряженный момент, когда охотник весь дрожит от волнения, принесет нечистая сила сумасбродного русака, и прощай всё. Ведь за полверсты их, проклятиков, Джон учуивал. Бросит живой, пахучий след и айда сломя голову. Только его и видели. Вернется домой к вечеру. Морда вся в крови. Бить его станут — молчит: «Знаю, мол, что виноват, и сам не рад этой противной шали. А вот ничего с ней поделать не могу. Бейте! Заслужил!»

Да и сам объездчик Веревкин, после того как знаменитого пса испортил, стал шибко винцом баловаться и охотничий азарт потерял. А какой был охотник! какой знаток! По охоте-то он во всей Новгородской губернии вторым после великого охотника, Константина Иваныча Трусова, помещика, считался. И вот погиб человек за собаку.

Но теперь, в этот весенний вечер, и я и Джон оба идем спокойные и уверенные в себе. Ничто на свете нас не волнует, кроме того, что сейчас вот-вот из неведомой дали послышатся первые едва внятные звуки вальдшнепиной тяги. И никакие зайцы нам не помешают. Осень и зима — вот это заячьи времена года, когда зайцы бегают по чернотропу и испещряют следами белые снега. А ранней весною зайцы куда-то исчезают, прячутся, а куда именно — никому не известно из людей и охотников.

Начинающее потухать синее небо все в белых барашках; закат тихий, розовый — приметы хорошей погоды на завтрашний день.

Мы уже давно и далеко отошли от человеческих домов; идем узкими тропами, наезженными колеями, переходя через болота, ручьи и речушки по древесным гатям, которые местные крестьяне называют лавами. Нам надо найти такое гладкое и сухое местечко, которое, с одной стороны, было бы удобно для прицела и выстрела, а с другой — заманчиво для вальдшнепов, пролетающих в блаженном безумии всемогущего тока.

Пахнет завязями ольхи: ее длинные сережки терпко благоухают, подобно клейкому тополю. Березовые распускающиеся листочки посылают свой смолистый аромат. Джон начинает волноваться. Его слух, конечно, слабее, чем у кошки, но он во много-много раз острее, чем у человека, которого природа скудно одарила всеми чувствами, дав ему взамен огромное обладание умом, делающим его то великим, то несчастным.

Для меня уже несомненно, что Джон в расстоянии, недоступном для моего слуха, успел поймать и опознать звуки вальдшнепа, стремительно летящего на ток. Я пристально гляжу на собаку, как красив в эту минуту гладкий, белый, сильный, весь дрожащий пойнтер. Его нетерпеливая морда обращена на северо-восток. Каждый мускул его напряжен изо всей силы. Я знаю, что ему хочется визгом известить меня, тугоухого: уже близко передовой вальдшнеп.

Но на охоте есть суровый закон, строго запрещающий в охоте на дичь и людям и собакам всякие звуки и слова, не идущие к делу; и Джон молчит, содрогаясь всеми мускулами тела. И в его глазах, с мольбою обращенных ко мне, я ясно читаю:

«Да неужели ты не слышишь, жалкий, беспомощный человек, что *он* летит на нас, что он уже близок. Бери же, наконец, в руки свое железное длинное орудие, которое извергает гром, и огонь, и смерть. Зачем ты тянешь время? О глупое, неловкое животное, лишенное благородных инстинктов!»

Мне становится стыдно перед собакой, и я загораюсь охотничьим пламенем, уши мои как будто бы разверзаются, и теперь с ясностью и со страстью я узнаю снова давно знакомые мне два колена вальдшнепиной тяги. Сначала два харкающих звука, хру-хру, и тотчас же за ними два нежных свистка, фью-фью.

— Хру-хру, хру-хру, фью-фью. Хру-хру, фью-фью, хру-хру, фью-фью.

У кого из ружейных охотников не дрожали руки и не холодели щеки при первом выстреле в весеннего вальдшнепа на току? Так и я с бледными губами и с дрожащим сердцем навел прицел. Вальдшнеп летел прямо, как пуля. Я нажал на собачку. Ахнул со

звоном оглушительный выстрел. Загудело в ушах, приклад больно отдал в левое плечо[1], и сурово запахло порохом.

Джон, неистово трясясь от восторга, спрашивал глазами: «Что же не велишь принести птицу? Ты только приказывай, о огненный человек. Ты только бей их, а я тебе их всех до одного перетаскаю, хоть всех, которые есть на свете».

— Шерш, — сказал я, и Джон красиво, точно в воду, нырнул в глубокую чащобу. Он выкатился из кустов не позже двух минут, но за это время я успел увидеть сквозь темнеющий закат, что против меня на пригорочке в камышах стояла Устинья, старшая дочка лесника, здоровая, веселая и красивая девка. Я пригрозил ей несердито пальцем — не шуми, мол, и деревьев не шатай. И она, понявши, успокоительно кивнула два раза головой: «Это я понимаю, недаром лесника дочка».

Я убил за эту тягу двенадцать вальдшнепов. Все плечо отбило тяжелое ружье, да и устал я. Джон разобиделся на меня — зачем прекращаешь охоту. У них теперь самый лёт пошел. Всех бы их перебили, сколько есть на свете. Но я уперся. Был у меня такой охотничий завет: убей столько, сколько съесть можешь, а больше стрелять — уж это совсем напрасно. Я и так четыре штуки по глупой жадности ухлопал. Пришлось отдать в подарок Устинье. Уж очень смешно с ней торговаться было. Языкатая она девчонка была. Я говорю:

— Вот тебе, Устюша, четыре вальдшнепа, а ты меня один разок поцелуй.

— Эка, ты бесстыжий какой. Да ведь мы с тобой на крестинах у Бобылевых покумились, кумом да кумой сделались. А кумовьям — ты спроси хоть любого попа, он тебе скажет, что куму и куме любовью заниматься — это грех самый тяжелый и непростимый.

— Да то любовь, а то поцелуй с кумою, и на пасхе и при водочке целоваться нисколько не зазорно.

---

[1] Я всегда по разноглазию стрелял с левого плеча. *(Прим. автора.)*

— Так ты и приходи на пасху, тогда я тебя и три раза с удовольствием расцелую.

— Да постой, Устюша, ты это дело не с той стороны разбираешь. В брак мы с тобой, кума с кумом, никак не можем вступать, и поп нас венчать никогда не станет. А целоваться-то нам ничуть не заказано, и целоваться мы можем, где захотим и сколько захотим, и нам это будет отнюдь не поцелуй, а как бы ликование безгрешное, апостольское.

А она вдруг как расхохочется.

— Знаю я это, знаю... Ты его считай за апостола, а он хуже кобеля пестрого. Вон на Джонкин манер...

Славная она была девка, эта Егорова Устюша.

А перед войной я жениха нашел подходящего, помощника механика на паровозе, Ильюшку Лаптева. Сам и посаженым отцом был у них на свадьбе. Эх, парочка какая была ладная. Посмотреть было любо на них.

Да вот пришла эта война проклятущая, а потом эти колхозы и другая неразбериха. И где они все: и лесник Егор, и Ильюша с Устюшей, и объездчик Веревкин, и все грамотные лесничие, и охота русская, и хозяйство русское, и прежние наши охотничьи собаки. Все как помелом смело. Ничего не осталось. А почему? Кто это объяснит?

Темнеет. Трудно видеть предметы. Я укладываю в ягдташ длинноносых вальдшнепов и перекидываю через плечо ружье. Добрый, ласковый голос Устюши спрашивает:

— Ужинать домой пойдете или у нас, у батюшки, поужинаете?

— Если можно, то, пожалуй, к вам пойду.

— Да сделайте милость. Вы парочку птиц мне дайте, я вперед побегу и для вас кулеш состряпаю.

— Прекрасно, — говорю я. И я отлично знаю, что Устюшу вовсе не кулеш с вальдшнепом интересует, а мои незатейливые рассказы о морях, горах, народах, обычаях.

Ум у нее светлый, любопытный и никогда не насытимый.

БЛОНДЕЛЬ

На берегу Невы мы сидим в легком, качающемся поплавке-ресторанчике и едим раков в ожидании скромного ужина. Десять с половиной часов вечера, но еще совсем светло. Стоят длительные, томные, бессонные белые ночи — слава и мука Петербурга.

Нас — пятеро: клоун из цирка Чинизелли Танти Джеретти с женой Эрнестиной Эрнестовной; клоун Джиакомо Чирени (попросту Жакомино) из цирка «Модерн»; ваш покорный слуга и гастролировавший за прошедший сезон в обоих цирках укротитель диких зверей Леон Гурвич, чистокровный и чистопородный еврей, единственный в своем племени, кто после пророка Даниила занимается этой редкой, тяжелой и опасной профессией.

Свидание наше лишено обычного непринужденного веселья. Оно прощальное перед скорой разлукой. Постоянные большие цирки с началом лета прекращают обыкновенную работу, перестающую в эту пору давать необходимый доход. Половина публики разъехалась на дачи и за границу, другая половина развлекается на свежем воздухе в различных кабаре и мюзик-холлах. Артисты до начала осени остаются в положении свободных птичек небесных. Те из них, кому случай, талант или удача успели сковать прочные, громадные имена, заранее уже запаслись на летний

сезон ангажементами в богатые губернские города, издавна славящиеся любовью и привязанностью к цирковому искусству. Мелкая рыбешка и униформа пристают к бродячим маленьким циркам — «шапито», пользующимся старой доброй репутацией, и проводят трудовое лето под парусиновым навесом, обходя городишки и местечки.

Правда, работая под шапито, трудно приобрести известность, но хорошо уже и то, что в течение трех месяцев тело, мускулы, нервы и чувство темпа не отстают от манежной тренировки. Недаром же цирковая мудрость гласит: «Упражнение — отец и мать успеха».

Говорит Гурвич, укротитель зверей. Речь его, как всегда, тиха, однообразна и монотонна. Между словами и между предложениями — очень веские паузы. Его редкие жесты — наливает ли он себе в стакан из бутылки пиво, закуривает ли он папиросу, передает ли соседу блюдо, указывает ли пальцем на многоводную Неву — спокойны, ритмичны, медленны и обдуманно-осторожны, как, впрочем, и у всех первоклассных укротителей, которых сама профессия приучает навсегда быть поддельно-равнодушным и как бы притворно-сонным. Странно: его неторопливый голос как-то гармонично сливается с ропотом и плеском прибрежных холодных волн.

Лицу его абсолютно чуждо хотя бы самое малое подобие мимики. Оно, как камень, не имеет выражения: работа съела его. Со всегдашним мертвым, восковым, мраморным лицом и с тем же холодным спокойствием он входит в клетку со зверями, защелкивая за собою одну за другой внутренние железные задвижки.

Он очень редко употребляет в работе шамбарьеры, пистолетные выстрелы, бенгальские огни и устрашающие крики и всю другую шумливую бутафорию, столь любимую плебейским граденом, расточителем аплодисментов. Гагенбек-старший называл его лучшим из современных укротителей, а старший в униформе

парижского цирка, престарелый мосье Лионель, говорил о нем, как об артисте, весьма похожем на покойного великого Блонделя.

— На ваш вопрос, мадам Эрнестин, — сказал Гурвич, — мне очень трудно ответить. — Боимся ли мы зверей? Тут все дело в индивидуальности, в характерах, в привычке и навыке, в опытности, в любви к делу и, конечно, уже в психологии зверя, с которым работаешь... Главное же, все-таки наличие дара и его размеры, — это уж от бога. Возьмите, например, великого, незабвенного и никем не превосходимого Блонделя. Это был истинный бог циркового искусства, владевший в совершенстве всеми его видами, родами и отраслями, за исключением клоунады. Это он впервые дерзнул перейти через водопад Ниагару по туго натянутому канату, без балансира. Впоследствии он делал этот переход с балансиром, но неся на плечах, в виде груза, любого из зрителей, на хладнокровие которого можно было полагаться. После Блонделя осталась книга его мемуаров, написанная превосходным языком и ставшая теперь большою редкостью. Так в этой книге Блондель с необыкновенной силой рассказывает о том, как на его вызов вышел из толпы большой, толстый немец, куривший огромную вонючую сигару, как сигару эту Блондель приказал ему немедленно выбросить изо рта и как трудно было Блонделю найти равновесие, держа на спине непривычную тяжесть, и как он с этим справился. Но на самой половине воздушного пути стало еще труднее. Немец «потерял сердце», подвергся ужасу пространства, лежащего внизу, и ревущей воды. Он смертельно испугался и начал ерзать на Блонделе, лишая его эквилибра[1].

— Держитесь неподвижно, — крикнул ему артист, — или я мгновенно брошу вас к чертовой матери!

И тут настала ужасная минута, когда Блондель почувствовал, что он начинает терять равновесие и готов упасть.

---

[1] Равновесия (от *франц.* équilibre).

Сколько понадобилось времени, чтобы снова выправить и выпрямить свое точное движение по канату, — неизвестно. Это был вопрос небольшого количества секунд, но в книге его этим героическим усилиям отведена целая небольшая страница, которую нельзя читать без глубокого волнения, заставляющего холодеть сердце. А дальше Блондель рассказывает, что, окончив свой страшный переход, он был доставлен кружным путем к месту его начала. Надо сказать, что среди многочисленных зрителей находился тогда наследный принц Великобритании, в будущем король Эдуард VII, король между джентльменами и джентльмен между королями. Он был в восторге от подвига Блонделя, пожал ему руку и подарил ему на память свои прекрасные золотые часы. Блондель был человек воспитанный и очень любезный. Он низко, но свободно поклонился принцу, благодаря его за подарок, и, когда выпрямился, сказал с учтивостью:

— Я буду счастлив, ваше королевское высочество, если вы соблаговолите сделать мне великую честь, согласившись вместе со мною прогуляться таким образом через Ниагару.

И умный принц не хотел отказом огорчить отважного канатоходца. Он сказал с очаровательной улыбкой:

— Видите ли, господин Блондель. Я на ваш изумительный переход с великим вниманием смотрел, не пропуская ни одного движения, и — пусть это будет между нами — я убедился в том, что для выполнения такого головоломного номера мало того, что артист отважен, спокоен, хладнокровен и безусловно опытен в своем деле. Надо, чтобы и человек, являющийся его живым грузом, обладал хотя бы пассивным бесстрашием. Не так ли? Я же, хотя и не считаю себя трусом и не боюсь пространства, но одна мысль о том, что случайно могу испортить или затруднить переход, приводит меня заранее в отчаяние. Но вы подождите, господин Блондель. Когда-нибудь в свободные часы я начну усердно работать над моим равновесием и когда, наконец, найду его достойным, то мы с вами

непременно отправимся на Ниагару, выждав благоприятное время.

Да, этот государь имел, без всяких стараний и поз, инстинктивный дар очаровывать людей. Гордый Блондель остался до конца своих дней его преданным и восторженным поклонником.

А теперь еще два слова о Блонделе. Известно, что в числе его многих цирковых талантов был и талант укротителя, в котором он, как и повсюду, оставил рекорды, до сих пор еще недосягаемые. Так однажды он держал пари со знаменитым менеджером[1] Барнумом в том, что он один войдет в любую клетку со зверями какой угодно породы, возраста и степени дрессинга и проведет в ней ровно десять минут.

Нет, то не был спор, в котором на одних весах висело человеческое мясо, а на других ничтожная кучка долларов. Блондель настоял на том, чтобы нотариус из Чикаго (где все это происходило) засвидетельствовал в своей конторе все условия пари. Блондель поставил со своей стороны такую круглую сумму, которая заставила богатого Барнума поморщиться. Идти вспять ему не дозволил его громадный престиж. Также настоял Блондель, чтобы в нотариальный акт были внесены следующие условия: а) звери должны быть накормлены по крайней мере полсуток назад; в) контроль кормления принадлежит помощнику Блонделя; с) ввиду крайней опасности номера женщины и дети во время его исполнения в манеж не допускаются и д) Блонделю предоставляется выбор костюма.

Старые свидетели этого безумного пари рассказывали о нем потом до конца жизни, как о дерзком и великолепном чуде. Вы, господа, конечно, не можете себе представить, какой комплект веселеньких зверей распорядился подобрать Барнум, истинный, чистокровный американец, человек, начавший свою карьеру чистильщиком сапог и завершивший ее миллиардами

[1] Директором (от *англ.* manager).

долларов, субъект — железный, холодный и беспощадный.

Под звуки марша Блондель вошел на арену, и вся публика охнула, как один человек, от удивления.

Блондель оказался... голым. На нем ничего не было, кроме замшевых туфель и зеленого Адамова листка ниже пояса, в руке же он держал зеленую оливковую ветку в половину метра длиною. Звери встретили его молчанием, когда он входил в клетку, запирая ее за собою. По-видимому, они были поражены больше, чем публика, костюмом нового укротителя и его сверхъестественным спокойствием. Он неторопливо обходил большую клетку, переходя от зверя к зверю. Очевидно, он узнавал в них воспитание и дрессинг Гагенбека из Гамбурга, потому что порою на тревожные взгляды и движения их ласково говорил по-немецки. Молодой крупный азиатский лев рыкнул на Блонделя не злобно, но чересчур громко, так что в конюшнях тревожно забились и затопали лошади. Блондель отеческим жестом обвил вокруг звериной морды свою волшебную зеленую ветвь и сказал воркующим, приветливым голосом: «О мейн кинд. Браво шон, браво шон» [1]. И лев, умолкнув, тяжело пошел следом за ногами Блонделя, как приказчик за строгим хозяином.

В общем, Блондель пробыл в клетке четверть часа, на пять минут дольше условленного. Выходил он из нее не спиною, как это делают из осторожности большинство укротителей, а прямо лицом к дверям. Таким образом он не мог заметить того, что заметила публика: одна нервная и злая тигрица, увидев уход укротителя, вдруг стала эластичными беззвучными шагами подкрадываться к нему. Но тот же азиатский лев стал ей поперек дороги и угрожающе забил хвостом.

Когда по окончании сеанса Блонделю сказали об этом в уборной, он ответил беспечно:

— Иначе и не могло быть. Ведь, обходя клетку, я успел взглянуть и на глупую трусливую тигрицу и на

---

[1] «О дитя мое. Браво прекрасно, браво прекрасно» *(нем.)*.

великодушного, благородного льва. Ведь для хорошего укротителя зверей надобны два главных качества: абсолютное, почти уродливое отсутствие трусости и умение приказывать глазами. Правда, все животные любят, чтобы человек говорил с ними, но это — дело второстепенное...

— Да, великим человеком был этот удивительный француз Блондель, — сказал Гурвич. — Такие люди рождаются только раз в тысячу лет, по особому заказу природы...

ЖАНЕТА

ПРИНЦЕССА ЧЕТЫРЕХ УЛИЦ

Роман

I

В юго-западном углу Парижа, в зеленом нарядном Passy, в двух шагах от Булонского леса (стоит только перейти по воздушному мостику над полотном окружной железной дороги), на самом верху шестиэтажного дома живет старый русский профессор. Чердачная мансарда его длинна и узка; к дверям — немного пошире; потолком ей служит покатая крыша дома; в общем, она, по мнению ее обитателя, похожа видом и размером на гроб Святогора, старшего богатыря. Единственное ее окно сидит глубоко в железном козырьке.

Профессор Симонов живет с простотою инока. Вся его мебель: раскладная парусиновая кровать военного образца, деревянный некрашеный стол, две такие же табуретки, умывальник с кувшином и ведром и старозаветный чемодан, весь испещренный разноцветными путевыми ярлыками. Стены оклеены отвратительнейшими обоями в синие и желтые полосы; когда на них глядишь, то скашиваются глаза и кружится голова.

Профессор сам готовит для себя на спиртовке спартанские кушанья и кипятит чай, сам прибирает комнату, сам чистит платье и сапоги.

Но человек не может жить без роскоши (кроме изуверов и идиотов), и в этом, по мнению профессора, одно из важных отличий его от всех животных, за исключением некоторых диких птиц, чудесно украшающих свои гнезда. На подоконнике, в больших деревянных ящиках, всегда растут редкие яркие цветы. Он за ними внимательно ухаживает. Иногда можно застать его в те минуты, когда он тонкой кисточкой, бережно, как художник-миниатюрист, переносит желтую цветочную пыльцу из чашечки одного цветка в чашечку другого. Вид у него при этом сосредоточенный, губы вытянуты в трубочку, глаза сощурены в щелочки под косматыми рыжими бровями.

Он давно примелькался и хорошо известен в своем небольшом районе, ограниченном лавками: мясной, молочной, бакалейной, табачной, булочной и тем угловым бистро[1] мадам Бюссак, куда он изредка заходит выпить у блестящего жестяного прилавка стаканчик вермута пополам с водой. Все еще издали узнают его длинную худую фигуру, его развевающуюся на ходу серую клетчатую размахайку, носившую когда-то, в древние времена, название не то макфарлана, не то пальмерстона, его рыбачью широкую шляпу, насунутую так низко на брови, что из ее спущенных вокруг полей торчат спереди лишь конец крупного мясистого носа и огненная с сединой борода утюгом.

Прежде французские лавочники раздражались на профессора за его рассеянность, разводили руками, хлопали себя по бедрам, кричали свое нетерпеливое «alors!»[2] и вообще пылили, но теперь попривыкли и благодушно поправляют его, когда он забудет взять сдачу, заберет чужой сверток вместо своего или собирается уходить, не заплативши, — с ним такие мелкие ошибки случаются десять раз на дню. Он приятен тем, что в его обращении с людьми много независимости, легкости и доброго внимания. Совсем в нем отсутствуют те внешние черты унылости, удрученности, роковой подавленности, безысходности, непонятости

[1] Ресторанчиком (от *франц.* bistro).
[2] «Ну, что же!» *(франц.)*

миром — словом всего того, что французы считают выражением «ам сляв» [1] и к чему их энергичный инстинкт относится брезгливо.

Профессор входит в лавку. Левую руку протягивает через стойку хозяину для пожатия, правой издали посылает приветствие хозяйке и бодро здоровается со всеми присутствующими:

— М'сье, да-ам!..

— М'сье! — произносит несколько голосов из-за газет.

Порядок непременно требует справиться у патрона: идет ли? Оказывается — идет. Теперь профессору нужно сделать самое неожиданное открытие:

— Но какой прекрасный день!

Или:

— Ах, какой дождь!

— О да! — убедительно подтверждает патрон и в свою очередь с неизменной улыбкой осведомляется у Симонова: — Тужур промнэ? [2]

Вот этого-то профессорского «тужур промнэ» французы никак не могут осмыслить, несмотря на всю их любезность к Симонову. Как это он позволяет себе прогуливаться и, по-видимому, совсем праздно — в часы, вовсе не приспособленные для прогулки. Каждый порядочный француз — а они все порядочны — отлично знает, что гулять можно только по воскресеньям. Поэтому в будни они если не сидят в своих лавках и бюро, то либо бегут в них, либо возвращаются бегом домой. В семь часов утра весь работающий Париж плескает себе в нос воду из умывального таза, в десять часов вечера каждый честный буржуа уже в постели.

Профессор же снует по улицам без всяких почтенных причин и утром, и днем, и поздно ночью. Это удивительно. Все-таки — ам сляв.

Профессор и сам понимал, что это удивительно. И чувствовал какую-то неловкость перед французами, чувствовал себя трутнем среди трудолюбивых пчел. Но

---

[1] «Славянской души» *(франц.)*.
[2] Все прогуливаетесь? *(франц.)*

как же мог он объяснить и оправдать свое уличное слоняние?

Сказать, что у него три урока в трех разных домах. Но французы совсем не имеют понятия о частных уроках. Какая блажь! Чтобы учиться — на это существуют прекрасные бесплатные коммунальные школы и великолепные лицеи. Какой же дурак будет выбрасывать деньги на приватных учителей.

Объяснить им, что он пишет научные статьи и привык их обдумывать на ходу, да еще на очень резвом ходу. Между тем как на чердаке не очень-то разбегаешься?

Но они опять поднимут плечи до ушей и возразят:

— Alors!.. Наши инженеры сидят в своих ателье и думают определенное число часов в день. То же делают в своих бюро ученые, поэты, купцы, адвокаты. И все они думают обязательно сидя. Никто из них не позволит себе ради размышлений бегать по улицам, а если некоторые и допускают себя до подобного легкомыслия, то они сами виноваты, если их давят автомобили. Улица не для философов и ротозеев, а для пешеходов. Вуаля ту [1].

«А ведь они правы», — думает с кротостью профессор. Он сам иногда переходит через улицу, позабыв обо всем на свете, кроме течения своих мыслей, и, когда над его ухом рявкнет оглушительно автомобиль, он так и затрепыхается от испуга и обольется холодным потом. Шофер, объезжая, поливает его черной руганью, а сердце потом колотится долго-долго.

II

Уроки и статьи в обрез обеспечивают его аскетическое существование, но для кафедры Симонов уже пропал. Он не потерял своего славного имени, но как бы растратил, расточил, размотал его. Пять-шесть старых коллег еще помнят его блестящие лекции в Москве на

[1] Вот и все (*франц.*).

естественном факультете и в Петровско-Разумовской академии по физике, органической химии и дендрологии.

У него все возможности для того, чтобы стать звездою в ученом мире, но он не успел ни создать своей школы, ни написать хоть одной строго научной книги. Карьера его сникла и оборвалась по четырем причинам, или, вернее, по четырем отрицательным свойствам ума и характера. Он не обладал настойчивостью в обработке мелочей. Он был лишен профессионального честолюбия. Он был неуживчив вследствие своей прямолинейности и гордости. Он не мог утолить своей яростной неутомимой жажды знания одним предметом или дисциплиной, он хотел знать все, что доступно человеческим умам, и даже больше.

Быстро загораясь и также быстро охладевая, — о чем только он не писал замечательных докладов и прекрасных популярных статей. Где только он не читал образцовых по красоте и образности лекций. Каких только служб и профессий он не переменил, исколесив всю Россию от Владивостока до Мурмана и от Архангельска до Баку. Кто-то назвал его Дон-Жуаном науки. Но он был и ее Дон-Кихотом.

У него можно было навести справки обо всяком предмете, явлении, имени, событии. Но ум его не был лишь механическим хранилищем, кладовой знаний. Симонов обладал большим даром синтетического прозрения. Часто он говорил или писал в случайных статьях о будущих завоеваниях науки. И когда, спустя десятки лет, его летучие догадки находили твердо обоснованное научное подтверждение, он говорил добродушно:

— Я бродяга. Я бросал своих детей голыми на больших дорогах и шел дальше. Мне приятно видеть их теперь большими мужчинами, с густыми бородами, в золотых очках. Но родительской нежности к ним я не чувствую: любовь была слишком пылка и слишком скоропреходяща.

В 1885 году, исходя от греческих философов, он носился с теорией относительности. В 1889 году он доказывал, что человеческий мозг — электрическая батарея,

беспрерывно посылающая в пространство вибрирующие волны, которые, утверждал он, в недалеком грядущем будут улавливаться особо чуткими приборами. В 1893 году, будучи лесным ревизором Рязанской губернии, он вычерчивал и вычислял построение биплана со взрывным нитроглицериновым мотором. В 1901 году он разрабатывал проект аппарата, переносящего на расстояние зрительные изображения. В 1907 году он напечатал в одном английском ревю парадоксальную статью: о кажущемся беспорядке в строении видимого звездного мира, а также толкованиях Апокалипсиса и тому подобное.

Профессор живет почти один. Когда-то была жена, были две дочери, был хоть и походный, как скиния, но любимый дом... И все это пошло, поехало кувырком... Не стоит о прошлом... Рана давно отболела. Остался в душе толстый, грубый рубец, который, подобно старческим ревматизмам в непогоду или пулевым ранам, дает о себе знать изредка, в бессонную ночь, когда всякие глупости лезут в голову.

Но все-таки он не так уж безнадежно одинок. Два года назад, зимою, дождливыми полусумерками, к нему в открытое окно пробрался с крыши полудикий кот — черный, длинный, худой, наглый, — настоящий парижский апаш кошачей породы. Никогда еще в своей жизни не видал Симонов ни человека, ни животного, которые носили бы на себе такое несчетное количество следов бывших отчаянных драк.

Кот требовательно мяукал, распяливая свой рот в узкий ромб, яростно блестя пронзительными зелеными глазами, судорожно царапая когтищами край подоконника. Профессор поставил ему на стол блюдечко скисшего молока с хлебом и остатком жареной грудинки. Кот поел, муркнул что-то вроде небрежного «спасибо» и в один прыжок очутился снова на крыше.

На другой день он пришел днем. И не только погостил около часа; даже, с нескрываемой брезгливостью, позволил слегка себя погладить. Потом зачастил. По целым дням спал, как собака, на голом полу, а вечером исчезал по своим темным и опасным делам.

Порою он не показывался по неделям и тогда приходил сильно потрепанным, часто хромым, с новыми шрамами, с разорванным надвое ухом. Симонов звал его Пятницей, и часто по ночам, когда наверху грохотала железная крыша и неслись к небу раздирательные кошачьи вопли, он думал: «Это мой Вандреди[1] там воюет».

Пожалуй, их отношения можно было бы назвать дружбой. В дружбе один всегда смотрит хоть чуть-чуть сверху вниз, а другой снизу вверх. Один покровительствует, другой предан. Один великодушно принимает, другой радостно дает. Первым был, конечно, кот. Это он нашел профессора, а не профессор его. В области перемещения в трех измерениях кот был несравненно щедрее одарен природою, чем профессор. Профессор уже устал от жизни, хотя продолжал любить и благословлять ее, — кот жил всей кипучестью одичавших страстей: любовью, драками, воровством, убийством. Кот знал и умел делать тысячу вещей, которые были совсем не доступны профессору.

Разве мог бы профессор поймать зубами хоть самого маленького мышонка. А кот однажды утром притащил в мансарду пойманную и задавленную им на улице огромную рыжую крысу, из тех злобных чудовищ, что живут в водосточных каналах и никого не боятся. Когда профессор отворил ему окно, он со стола бросил прямо на пол, к ногам слабого человека, труп побежденного врага. И столько было силы в черной окровавленной морде, столько гордости в глазах, то расширявшихся, то сжимавшихся от волнения, что Симонов совершенно серьезно шаркнул ножкой и сказал:

— Очень вам благодарен.

По происхождению своему кот был гораздо древнее профессора, чему есть неопровержимое доказательство в первой главе библии. Кроме того, род кота был еще и знатнее: в те седые времена, когда предки его почитались, как священные животные, великим и мудрым народом, — пра-пращур профессора дрожал,

---

[1] Пятница (от *франц.* vendredi).

голый, в пещере, слышал гром с неба и впервые, в потугах корявой фантазии, придумывал себе бога.

Иногда человек и зверь подолгу глядели в глаза друг другу: человек первый уступал перед суровым, пристальным, как будто бы видящим сквозь материю и время взором. Тогда и кот лениво сощуривал зеленые глаза и сокращал круглые черные зрачки в узенькие щелочки. Разве он унизился бы до борьбы с профессором взглядами. Он просто показал зазнавшемуся человеку его место во вселенной и сделал это со спокойным достоинством.

Но бывали изредка и минуты равенства, даже некоторого преобладания человека над зверем. Это случалось в душные вечера пред ночной грозою, когда неподвижные, набухающие облака свинцовеют и чернеют и воздух сухо пахнет, как при ударе кремня о кремень.

В такие дни кот приходил рано, возбужденный, тревожный, пересыщенный накопившимся в нем электричеством. Он то ложился, то вставал и бродил по темным углам, выпускал и прятал когти, кончик его облезлого хвоста коротко и нервно вздрагивал. А если профессор слегка проводил рукою по его спине, то вздыбленный мех трещал и сыпал голубые искры, пахнувшие морским ветром. Тогда жалостно тыкался кот носом в профессоровы колени и беззвучно мяукал, широко и умильно раскрывая рот. Здесь человек пересиливал зверя.

Иногда, во время прогулок по Булонскому лесу, Симонов замечал Пятницу где-нибудь в траве, за деревом, между кустами: вероятно, здесь были места его охоты за лесными мышками, птенцами и, ночью, за спящими птицами. Конечно, кот успевал увидеть профессора еще раньше, но, должно быть, под открытым небом он стыдился признаваться в своем знакомстве с ним.

Был у Симонова еще один приятель — пожилой художник, бывший когда-то его слушателем в Петровской академии. С ним вместе они, случалось, ходили по воскресеньям в обжорку на Ваграме, а иногда, утром или вечером, бродили по «Буа-де-Булонскому ле-

су», как называл его художник. Бродили и разговаривали. Профессор описывал вслух красоту природы, — художник помалкивал и посвистывал. Но когда живописец яро пускался в философию и политику — профессор молча отмахивался рукой.

III

Вчера, возвращаясь домой, профессор Симонов видел, как далеко за черными деревьями и кустами Булонского леса пламенели и тлели красные угли вечерней зари, а над лесом, по правую руку от Симонова, стоял серебряный обрезок молодого месяца.

«Месяц ясный, небо чистое, заря рдяная — значит, завтра будет ветер», — подумал профессор и, вынув из жилетного кармана франк, показал его заново отчищенному, блестящему серпику... Новая луна приходилась справа: к прибыли.

У него вовсе не было предрассудков, но он любил всякие старинные обычаи и привычки — пусть даже и вздорные, — как крепкое утверждение простого и полного быта. Он говорил иногда, что приметы идут впереди точного знания, а наука о душе — позади суеверия.

И правда, сегодня дует сильный северо-западный ветер. Отворив рано утром окно, чтобы выпустить черного кота, случайного ночлежника, на волю, Симонов увидел, как широко раскачиваются на той стороне улицы вершины диких платанов, и ясно почуял отдаленный, еле уловимый, кисловатый, волшебный запах океана. Жаль, что нельзя выходить из дома так рано, как хочешь. Это запрещено по неписаному договору с консьержкой, которая, кстати сказать, всегда услужлива и любезна с русским чердачным жильцом. Но однажды в разговоре с ним она как-то вскользь сказала:

— О м'сье, мы не жалуемся на то, что нам, консьержкам, приходится отворять на звонки до глубокой ночи. Alors! Это маленькое неудобство нашей профессии. Но в утренние часы, так от трех до семи, — мой

самый сладкий сон, и я очень огорчаюсь, если меня в это время беспокоят по пустякам.

Часов у профессора не было, то есть была старинная золотая луковица, но она временно гостила в другом месте и несомненно в дурном обществе. Профессор хорошо обходился и без часов, своими собственными отметами времени. Он знал, что в три часа хриплыми, мокрыми со сна голосами перекликнутся петухи, которых очень много водится во дворах просторного, провинциального Passy. Позднее, перед рассветом, начнут около домов чокать и посвистывать черные дрозды; с восходом солнца они улетят в лес и в скверы. В шесть — опять закричат, навстречу солнцу, уже совсем проснувшиеся, свежие, бодрые петухи. В шесть с четвертью пронесется, потрясая почву, первый поезд окружной дороги. В половине седьмого приедут мусорщики на длинном грузовике с железной полуцилиндрической крышкой. Забирая из выставленных на улицу ящиков и ведер всякую грязную дрянь, накопившуюся за сутки, они будут сипло и непонятно ругаться по-овернски и по-итальянски. В семь без четверти донесется издалека низкий, протяжный, трубный звук, и его тотчас же подхватит многое множество разноголосых гудков и свистков. Это фабрики и заводы кричат рабочим: «Скорее! Скорее! Через контрольную будку! А то пропадет полдня и половина заработка». Они повоют с полминуты и умолкнут. Наступит последний промежуток легкой и короткой тишины.

Профессор поднялся, всунул руки в крылья своей серой разлетайки, надел шляпу со свисающими, как у рыболовов, полями и стал ждать того странного момента, который на него всегда производил впечатление жестокого и могучего чуда и который можно наблюдать ежедневно только из немногих окраин Парижа.

Сейчас ему казалось, что Париж набирает в грудь воздух, собирает мускулы, как гонец перед дальним бегом...

И вот вдруг огромный город, точно двинутый электрическим толчком, вышел мгновенно из утреннего оцепенения, раздохнулся и сразу весь вылился из домов на улицы, наполнив их тем сплошным, ни на секунду

не прекращающимся гулом, который, привычно-неслышимый для ушей, целый день висит над Парижем, так же как целую ночь стоит над ним в небе красно-желтое зарево от электрических огней; смешанным гулом, слитым из рева вздохов, стонов и трескотни автомобилей, грохота телег и грузовиков, стука лошадиных подков, шарканья ног, звонков и завываний трамваев, множества человеческих голосов...

— Заворчал апокалипсический зверь, — сказал вслух профессор и стал спускаться по винтовой лестнице «для прислуги».

IV

По бульварам и улицам уже бежали девушки из молочных в белых передниках с раздутыми пышными рукавами, прихваченными в запястье кожаными браслетами. На каждой руке, на каждом пальце у них были нанизаны металлические дужки молочных бутылок; жидкое мелодичное позвякивание наполняло весь квартал. Ветер трепал и путал волосы над свежими, только что вымытыми розовыми личиками молочниц, и, глядя на них, профессор с удовольствием думал: «Как милы, как четки, как хороши люди в ясное утро, на воздухе... Это, вероятно, потому, что они еще не начали лгать, обманывать, притворяться и злобствовать. Они еще покамест немного сродни детям, зверям и растениям. Да, это славная истина: не потеряет тот, кто рано и в должный час выйдет из дома. И какой сладкой прохладой тянет из Булонского леса».

Симонов делал свои ежедневные скромные покупки. Купил хлеба в булочной на площади Ля Мюетт (бонжур м'сье, д-а-ам), пшена, муки и соли в бакалейной (Ça va? — Ça va! [1]), четверть кило свиной грудины («Какой прекрасный день!» — «Но ветер». — «Вы, французы, всегда недовольны погодой. Ветер очищает воздух!»), зашел в мясную купить для Пятницы на пятьдесят сантимов бараньей печенки (Тужур промнэ,

[1] Идет? — Идет! *(франц.)*

м'сье?) и тотчас же, глядя на патрона, толстого, крепкого, полнокровного брюнета с малиновыми щеками, подумал: «А ведь это замечательно, что во всем мире самый цветущий вид у мясников, у колбасниц и у служащих на бойнях. Должно быть, это от постоянного вдыхания испарений здорового мяса, сала и крови. Будь я доктором, я вместо всяких вонючих пилюль и модных курортов посылал бы малокровных пациентов, этак на год, на службу в колбасную лавку».

Теперь фуражировка окончена; кот и человек обеспечены едою на сутки; расход не превысил четырех франков; следует идти домой, заваривать чай.

Но, не доходя четырех домов до конца улицы Renelagh, профессор вдруг останавливается, уткнувшись носом и рыжим клином бороды в железную решетку, ограждающую от улицы чей-то палисадник, прилипает к одному месту и так стоит неподвижно целых десять минут, с длинным хлебом под мышкой. Он немного затрудняет деловое, торопливое движение пешеходов на узком тротуаре, но к его странностям давно уже привыкли в этом квартале: кое-кто, проходя, пожмет плечами, растопыривши локти, другой, весело прищурив один глаз, кивнет головою, женщина пройдет и раза два неодобрительно обернется назад.

Между черным кружком решетки и столбом газового фонаря, всего на пространстве трех-четырех квадратных вершков, паук сплел свою воздушную западню, и от нее-то не может оторваться профессор, забывший в эти минуты о времени, о месте, о чае, который надо кипятить, и о коте, которого надо кормить.

Это плетение из тончайших в мире нитей представляет собою прелестную спираль, перетянутую расходящимися от центра радиусами, прочно укрепленными в местах соединений. Радужным бисерным сиянием отсвечивают на солнце почти невидимые нити. Наклонишь голову налево — радуги побегут вправо; наклонишь направо — они закружатся влево, блестя и ломаясь углами на перехватах.

По улице носится порывистый шальной ветер. Под его капризными ударами вся нежная паутинная

постройка, сверкая радугой, вздрагивает, трепещет и вдруг упруго надувается, как переполненный ветром парус.

Весь захваченный почтительным восхищением перед этой великолепной живой постройкой, профессор комкает в кулаке рыжий утюг своей бороды.

Самого архитектора не видно. Он, должно быть, очень мал или искусно спрятался. Какую громадную массу строительного материала вымотал он из своего почти невесомого тела.

Сколько бессознательной мудрости, расчета, находчивости и вкуса вложено сюда. И все это ради одного дня, может быть, одной минуты, ради ничтожной случайной цели.

«Как богата природа, — размышлял почтенный профессор, — с какой щедростью, с каким колоссальным запасом она одаряет все ею созданное средствами к жизни и размножению. На старом сибирском кедре до тысячи шишек, в каждой до сотни орешков, а конечная цель — всего лишь одно зернышко, случайно попавшее в земную колыбель, лишь один росток слабой жизни, которой грозят тысячи гибелей. Но зато и кедров не один, а миллионы, и живут они, ежегодно оплодотворяясь, многие сотни лет, и все кедры — порука за род.

В хорошем осетре — пуд икры, миллионы икринок, но конечная цель природы будет блестяще достигнута, если из этого количества зародышей вырастает хотя бы десяток рыб. Пара мух, если бы яички самки оставались неприкосновенными, расплодили бы за одно лето такое потомство, которое покрыло бы всю землю сплошь, как теперь ее покрывает человечество, разросшееся не в меру.

Да, — думает профессор, — жизнь есть благо. Благо, и размножение, и еда. Но и смерть так же благо, как все необходимое. Мечта о человеке, который победит наукою смерть, — трусливая глупость. Микробам так же надо есть, и размножаться, и умирать, как и всему живущему.

И как разнообразно вооружила природа все существа для борьбы за жизнь. Панцири, клыки, жала,

пилы, иглы, насосы, яды, запахи, самосвечение, ум, зрение, мускулы. Кто видел блоху под микроскопом, тот знает, какое это страшное, могущественное, неимоверно сильное и кровожадное создание... Будь она ростом с человека, она перепрыгнула бы через Монблан и уничтожила бы в несколько секунд слона.

Или вот этот паучишко... Какой сильный ураган выдерживает теперь его прекрасная воздушная сеть. Ну разве можно хоть в малейшей степени сравнить это божественное сооружение с таким жалким и грубым делом рук человеческих, как Эйфелева башня, столь похожая в туманный день на бутылку от нежинской рябиновой? Во сколько раз Эйфелева башня тяжелее, прочнее и долговечнее легкой паутины? Это немыслимо высчитать, — получится число со столькими знаками, что их не упишешь в одну строку самым мелким почерком. Возьмем, однако, для простоты, скромный, ничтожный миллиард.

Положим, я обозначу то давление ветра, которое испытывает теперь паутина, четырьмя баллами, по метеорологическому исчислению. Тогда для того, чтобы Эйфелева башня испытывала то же самое давление ветра, как паутина, надо это давление увеличить пропорционально силе сопротивляемости башни, то есть до четырех миллиардов баллов. Это великолепно! Ветра силою в сорок баллов не может себе представить воображение человека. Ураган в четыреста только баллов в одно мгновение свалил бы Эйфелеву башню, как картонный домик, как здание из соломинок, и сбросил бы этот мусор в Сену. Нет! Он сдунул бы весь Париж и помчал бы его камни, его развалины на юго-восток. Он выплеснул бы всю воду из рек и разбрызгал бы моря по материкам. Да, уж конечно, не паук строит лучше инженера, но природа строит крепче и мудрее всех инженеров мира, взятых вместе, — природа — одна из эманаций Великого, единого начала, которому слава, поклонение и благодарность, кто бы оно ни было».

V

На этом месте своих отвлеченных размышлений профессор вдруг перестал комкать рыжую бороду. Уже давно, в то время как его сознательное «я» занималось построением пропорций, — его «я» подсознательно ощущало какое-то смутное беспокойство в правой руке. Профессор склоняет голову направо и вниз. Действительно, в его сжатой ладони спокойно лежала маленькая шершавая ручонка, а рядом с ним стояла девочка лет пяти-шести, ростом немного повыше его бедра. Как он мог не почувствовать этой детской лапки, прокравшейся в его руку? Впрочем, с ним бывали случаи еще более странные. В Гельсингфорсе он зашел однажды в парикмахерскую, где, обыкновенно через день, очень ловкая женщина-парикмахер обравнивала его бороду и подстригала волосы на щеках машинкой 00.

Он ни разу в жизни не брился.

В этот день, садясь в кресло, он молча показал рукой на обе щеки и даже не заметил, что вместо знакомой парикмахерши над ним хлопочет какой-то новый мастер. Он и до сих пор помнит, какой предмет захватил тогда его внимание. Еще по дороге в парикмахерскую ему пришло в голову, что почти все человеческие лица, — особенно мужские, — можно при всем их кажущемся бесконечном разнообразии разделить по внешнему сходству на несколько сотен, а может быть даже и десятков определенных типичных групп. И вот, сидя в кресле, повязанный по горло белым полотенцем, глядя прямо на свое отражение в зеркале и не видя его, он так увлекся вызыванием в зрительной памяти всех знакомых ему мужских физиономий, что совсем не замечал, как парикмахер опенивал мылом обе его щеки. Он опомнился только тогда, когда перед его глазами блеснуло губительное лезвие бритвы.

В тот самый миг, когда профессор увидел девочку, она тоже очнулась, отвела свой взгляд от паутины и устремила его вверх, в глаза странного, большого старого человека. Указательный палец правой руки еще оставался у нее во рту, прикушенный острыми

беличьми зубками — известный знак напряженного внимания и удивления.

У нее был смуглый кирпично-бронзовый цвет лица; по его крепкому румянцу и золотому загару пестрели грязные следы размазанных слез и липкие, блестящие пятна от конфет. На ней был затрепанный балахончик ярко-канареечного цвета, что-то вроде мешка с пятью отверстиями для головы, голых рук и ног, очень тонких и светло-шоколадного цвета, в соломенном пуху. Прямые, жесткие, черные — в синеву — волосы падали ей на лоб и на виски, как у японской куклы. Впрочем, было нечто если и не японское, то все-таки восточное в ее черных сладких глазах, неширокиx и прорезанных чуточку вверх от переносья. У нее был длинный, но красивый рот, всегда сложенный как бы в полукруглую улыбку, немного козьего рисунка, с очень сложным выражением доброты и лукавства, застенчивости и упорства, ласки и недоверия.

Тут только девочка и сама заметила, что ее рука нечаянно попала в плен. Ни дети, ни молодые домашние животные не переносят, когда их члены лишены свободы. Маленькие обезьяньи пальчики вдруг все пришли в движение. Они стали точно крабом или большим жуком со множеством лапок, и эти лапки начали упираться, отталкиваться, изворачиваться, пока, наконец, не вывинтились на свободу из кулака.

— Как ваше имя, прекрасное дитя? — спросил Симонов.

— Жанет, — ответила девочка и, показав головой на паутину, сказала: — Это очень красиво! Не правда ли?

— Очень красиво.

— Кто это сделал?

— Паук. Такое насекомое.

— Зачем сделал?

— Чтобы ловить мух. Летит маленькая мушка и не замечает этих ниточек. Запуталась в них, не может никак выбраться. Паук видит. Пришел и съел мушку.

— А зачем?

— Потому что он голодный. Хочет есть.

— А он большой? Где он?

— Подожди, я попробую его позвать.

Профессор роется в карманах разлетайки, наполненных тем мусором, которым всегда полны карманы рассеянных мужчин, лишенных зоркого женского досмотра, достает измятый обрывок бумажки и, выждав короткую передышку ветра, начинает нежно щелкать ее уголком нити паутины. Из-за черного железного прута медленно высовываются две тонкие ножки, коленчатые ножки паутинного цвета, за ними виднеется что-то бурое, мохнатенькое, величиною чуть побольше булавочной головки. Профессор и Жанета переглянулись. Лица у них сосредоточены, как у двух соучастников важного дела, требующего особой осторожности. Но паук, тоже не торопясь, складывает свои ножные суставы и втягивает их назад.

— Ушел, — шепчет профессор.

— Да-а. Он — хитрый. Он увидел, что это мы, а не муха.

— Где же ты живешь, Жанета?

— Здесь и там.

Она указывает пальцем сначала на соседний дом, потом вдоль улицы, на газетный киоск, и поясняет:

— Здесь мы спим, а там продаем газеты.

— Почему же я тебя раньше не видел?

— Я была в деревне. Только вчера приехала. Но вас я давно знаю, еще до деревни. Вы очень смешной.

— Много благодарен. Пойдем, дитя мое, со мной, я куплю газету.

Он берет ее за руку. Теперь ручка девочки доверчива, но живые пальцы не могут не шевелиться и не подрагивать: так много в них электрического чувства свободы.

Газетный киоск втиснулся между забором железной дороги и перекинутым через нее воздушным мостиком. Это — деревянная будочка с квадратным оконцем и наружным прилавком, на котором газеты лежат стопками, прихваченные сверху, чтобы не развеял ветер, свинцовыми полосами. Коричневых стен киоска почти незаметно из-за множества покрывающих их иллюстрированных журналов, сцепленных между собой

деревянными прачечными защипками. По обе стороны прилавка — два ящика с покатыми стеклянными крышками. В них различный мелкий товар для подсобной грошовой торговли: иголки, булавки, катушки, мотки шерсти, наперстки, шпильки, кружки ленточек и тесьмы, карандаши, вязальные крючки, блокноты, пуговицы роговые, деревянные, костяные, наконец конфеты в фольге, в бумажках и простой леденец. Внутри домика есть переносная железная печь с плитою. Над крышей высится коленом черная жестяная труба. Когда из этой трубы валит дым, Симонову кажется, что вот-вот киоск-вагончик засвистит и вдруг поедет.

К киоску прислонена, загромождая тротуар, детская клеенчатая, сильно подержанная коляска с откинутым верхом, в каких возят годовалых детей. Вся она полна разной игрушечной, отслужившей свой век инвалидной рухлядью. Тут и плюшевые мишки и коричневые суконные обезьянки с глазками из черных бисеринок, и рыжие курчавые пудели, и головастые разноглазые бульдожки, и дырявые слоны из папье-маше, и множество полуодетых и вовсе голых кукол, иные без волос и без носов, иные с вылезшими наружу паклевыми и стружковыми внутренностями.

— Очень хорошо, — не правда ли? — шепнула ему Жанета.

— Великолепно!

— Это все мое.

— О!

Надо было что-нибудь купить. Заманчиво кинулся в глаза иллюстрированный сельскохозяйственный журнал большого формата, довольно толстый, с двумя серыми гривастыми мохноногими арденами на голубоватой обложке. Но устрашала цена в два франка пятьдесят сантимов. Газет он не читал, ни русских, ни иностранных. Газеты, говорил он, это не духовная пища, а так, грязная накипь на жизни-бульоне, которую снимают и выбрасывают. По ней, правда, можно судить о качестве супа, но я не повар и не гастроном. А если произойдет нечто исключительно важное, то все равно кого-нибудь встретишь — и расскажет. Газеты тем и сильны, что дают людям праздным, скучным и без

воображения на целый день материал для пересказа «своими словами». Пришлось взять листок с первой попавшейся стопки — оказался «Journal des Débats». Когда он расплачивался, маленькая жесткая ручка убежала и больше не вернулась.

Профессор начал было рассказывать о пауке, но у него не вышло... Газетчицу интересовали не пауки, а сантимы, и она не слушала. Это была небольшая, полная, еще цветущая женщина, с значительной долей еврейской или цыганской крови в жилах, далеко не такая смуглая и черноволосая, как Жанета, и совсем на нее не похожая. Общее у них было только в рисунке рта, но не в выражении. Глядя на беззастенчивый рот матери, казалось, что она недавно крепко поцеловалась с мужчиной, и опухшие губы по забывчивости еще сохранили форму поцелуя.

Кроме того, что она, как и все французы, была очень нетерпелива, — она бывала еще груба со своими клиентами и нередко покрикивала на них. Особенно доставалось от нее ее ami [1], — должно быть, слесарю, механику или водопроводчику, судя по лицу, всегда перепачканному глянцевитой гарью. Она держала его в строгости. Но в воскресенье, расфранченные, они прогуливались по лесу и, присаживаясь на скамейках, несмотря на публику, обнимались с той свободной откровенностью, какая повелась в Париже со времен войны.

— До свиданья, мадам, — сказал профессор. — Ваша Жанета очаровательный ребенок.

Газетчица почти рассердилась.

— О, вовсе нет, м'сье, вовсе нет. Она — дьявол.

— Мадам, разве можно так про ребенка?

— Я вам говорю, что она дьявол. Она злая, она очень злая... Она дьявол.

И вдруг, без всяких переходов:

— Поди ко мне, поди скорее, моя крошка.

Когда Жанета протиснулась к ней через узенькую боковую дверцу, она посадила ее на свои колена, притиснула к своей пышной груди и стала осыпать

[1] Другу *(франц.)*.

бешеными поцелуями ее замурзанную мордочку; а в промежутках ворковала стонущим, нежным голубиным голосом:

— О мой цыпленок, о мой кролик, о моя маленькая драгоценная курочка, о моя нежно любимая!

«А через три минуты она опять ее за что-нибудь нашлепает, — подумал, уходя, профессор. — Такие страстные, нетерпеливые матери — только француженки и еврейки».

Черный кот встретил Симонова странно-холодным и точно недружелюбным взором. «Это оттого, — подумал профессор, — что я опоздал». Кот съел свою порцию грудинки с необыкновенной жадностью и быстротою. Но, окончив еду, он не лег, против давнишней привычки, на полу, в золотом теплом солнечном луче. Он тяжело прыгнул на стол, выгнул спину вверх, по-верблюжьи, и проницательно, с яростной враждой уставился большущими зелеными глазищами в глаза профессора.

— Ты что, брат Пятница? — Профессор нагнулся, чтобы его погладить, и протянул руку. Но кот не позволил. Он злобно фыркнул, мгновенно повернулся к человеку задратым кверху хвостом и в два упругих прыжка очутился на карнизе и на крыше.

— Сердится, — сказал смущенный профессор и мотнул головой. — Но за что?

Проходят день и ночь. Наступает мутное и сухое утро. В полдень Симонов смотрел на флюгер чужой виллы. Стрелка его ни на мгновение не оставалась в покое. Она капризно, с разными скоростями вертелась то по солнцу, то против солнца, по всем тридцати двум румбам. В четыре пополудни стало жарко.

— Ну и здоровенная же будет нынче гроза, — сказал самому себе вслух профессор, выходя из дома. — Ого, уже начинается.

И правда: людям и животным не хватает воздуха. У них сохнут губы, языки и горла и кровью набухают затылки. Порывистый, изменчивый южный ветер сирокко не приносит облегчения, а только обдает на мгновение огненным дыханием, летящим из Сахары,

Сорванные с пешеходов соломенные шляпы, котелки и фетры катятся ребром по пыльной мостовой, а за ними козлом скачут люди с развевающимися полами пиджаков. Безобидно смеются зрители. Смеются и сами пострадавшие, крепче натягивая шляпы на затылки. Зонтики с треском выворачиваются спицами вперед. Женские юбки тюльпанами вздымаются вверх или вдруг тесными морщинами облипают груди, животы, бедра и ноги. Женщины идут против ветра, нагнувшись, низко склонив головы, прихватывая левой рукой шляпку, а правой непослушные легкие одежды.

В Булонском лесу этот взбалмошный ветер раскачивает, треплет, рвет и ерошит старые, могучие, шумящие деревья и крутит их шипящие от злобы вершины, как половые метлы. Он то заголит всю листву на светлую изнанку, то внезапно перевернет ее на темное лицо, и от этой размашистой игры весь лес то мгновенно светлеет, то сразу темнеет. И весело переплетаются в листве, на зелени газонов, на желтом песке дорожек узорчатые подвижные пятна золотого солнца, голубого неба и дрожащих теней.

Под широким шатром могучего разлатого каштана, лицом к ветру, сидит человек в сером балахоне, так низко опустивший грудь и голову, что проходящим, из-под его рыбачьей шляпы, виден только кончик его огненно-рыжей, седоватой бороды. Этот кончик он иногда задумчиво пощипывает двумя пальцами, иногда рассеянно сует в рот и пожевывает. Прохожие, с легкой улыбкой, замечают также, что порою этот большой, живописный старик вдруг то ударяет себя кулаком по колену, то пренебрежительно пожимает плечами и резко вскидывает голову, то гневно стукнет палкой по земле: дурные привычки людей, умеющих думать не поверхностными, случайными обрывками мыслей, а глубоко и последовательно.

Но прохожим только так кажется, что здесь, на зеленой скамейке, сидит всего один человек. Им ни за что не догадаться, что близ них ведут бестолковый и неприятный семейный разговор два совершенно разные

существа, неразрывно спаянные в одном человеческом образе. Первый — профессор химии, физики, ботаники, физиологии растений, ученый лесовод и лесничий, дважды доктор honoris causa[1] европейских университетов, вечный старый студент, фантазер, непоседа, святая широкая душа с неуживчивым характером, бессеребреник и ротозей. Другой — просто Николай Евдокимович Симонов и больше ничего, человек, каких сотни тысяч, даже миллионы на свете. Николай Евдокимович знает очень и очень многое. Ему, например, известно, что в ожидании дождя порядочные люди берут с собою зонтики, выходя на улицу, что, возвращаясь поздно ночью домой, надо непременно без грохота затворять за собою входную дверь, что лестницы для того обнесены перилами, чтобы за них держаться, что каша, сало, чай, квартира и прачка требуют оплаты, что автомобиль на крутом повороте способен свалить с ног замечтавшегося зеваку. И еще бесконечное количество подобных умных и полезных законов. Наконец, как важнейший параграф домашнего катехизиса, он исповедует строгую истину о деньгах. Деньги чеканятся круглыми для удобного ношения в кошельках, а вовсе не для того, чтобы легче было пускать их ребром катиться по свету, и наоборот: им придана плоская форма, дабы красивее было их складывать в стопочки перед тем, как, пересчитав, отнести в солидный банк.

Профессор неохотно прислушивается к премудростям Николая Евдокимовича и свысока призирает их, как временные и скучные. Николай Евдокимович осуждает щедрость, безалаберность и глупую доброту профессора, ворчит, кряхтит, журит его и даже позволяет себе иногда осторожно поехидничать. Профессор говорит ему «ты», как раньше говорил престарелому сторожу, служившему тридцать лет при лаборатории. Здесь старая привычка, ласковая фамильярность, покровительственная интимность... Николай Евдокимо-

[1] «Ради почета» (лат. выражение, означающее получение ученой степени без защиты диссертации).

вич говорит «вы» и «господин профессор» с оттенком бережной заботы и почтения, но иногда и с поучительностью старой привязанной няньки.

Сидят теперь они оба в Булонском лесу, на железной зеленой скамейке, и ведут беззвучный разговор, и временами профессору кажется, что беспокойные деревья с трепетом прислушиваются к этой беседе и принимают в ней тревожное участие.

VI

Профессор вытягивает перед собой небольшую, но мясистую ладонь правой руки, всю исчерченную, изрезанную, изморщенную множеством переплетающихся линий, бугров и трещин. Такая рука, вылитая в бронзе, есть только у Бальзака, в музее его имени в Париже, на улице Raynouard, рука великого человека, все знавшая, все испытавшая, все ощупавшая, все испробовавшая, все измерившая и взвесившая, и тем не менее прекрасная и живая даже в металле.

Профессор Симонов любит Бальзака больше всех иностранных авторов и нередко посещает его скромный музей. Но ему и в голову никогда не приходило сличить его руку со своей. Всего больше в этом простом и маленьком хранилище занимает профессора висящая на стене рамка, в которую вставлен четырехугольный лист ватманской белой бумаги с красивой надписью, сделанной самим Бальзаком:

Jci
un
Rembrandt[1]

Эта наивная любовная надпись всегда умиляла профессора почти до слез, а потому он никогда не брал с собою в музей скептического и слишком земного Николая Евдокимовича.

---

[1] Здесь Рембрандт *(франц.)*.

Профессор долго и внимательно смотрит на свою бальзаковскую ладонь, слегка улыбается нежной старческой улыбкой и беззвучно говорит:

— Вот здесь, вот именно здесь, заблудилась ее крошечная, так мило жесткая и грязная ручонка. И как она потом нетерпеливо карабкалась, чтобы выбраться на свободу. Ну совсем точно маленький, вольный, подвижной звереньшек. О, чего же стоят все утехи, радости и наслаждения мира в сравнении с этим самым простым, самым чистым, божественным ощущением детского доверия.

Чтобы яснее вызвать образ маленькой чумазой Жанеты, профессор на минуту плотно зажмуривает глаза и вдруг слышит язвительное ворчание Николая Евдокимовича, этого вечного брюзги, нестерпимого указчика и надоевшего близнеца:

— Ах, господин профессор, господин профессор. Сколько мы с вами за нашу долгую жизнь рассыпали фантастических глупостей по всем долготам и широтам земного шара. И вот, извольте: на почтенном закате дней своих вдруг взять и ошалеть от восторга при виде какой-то грязной, замурзанной шестилетней уличной девчонки, похожей на желторотого птенца. Вот уж третий день идет, как мы крутимся около газетного киоска и без толку покупаем утренние, дневные и вечерние журналы, в надежде вновь увидеть, хоть мельком, измазанную детскую мордашку и поймать ее лукавую улыбку. И на свою правую ладонь мы не устаем смотреть с блаженным умилением буддийского святого, взирающего на свой пупок.

Ну да — все это мило, хорошо и трогательно; тем более что вы человек с душою абсолютно, химически, чистой. Но согласитесь, господин профессор, с тем, что наше буколическое увлечение, пожалуй, может показаться нелепым и смешным, если на него посмотреть со стороны зорким и скептическим взглядом.

— Ну и пусть кажется. Какая мне забота до дураков и бездельников и до их свинского воображения? Мои годы, мои седины, моя безукоризненная жизнь — вот моя порука! Свиньей, вроде тебя, мрачной и гнусной свиньей, будет тот, кто усмотрит грязь в том, что

меня чуть не до слез умилила эта забавная, чудесная, славная девчурочка. И все тут. Баста!

«Все тут и баста, все тут и баста», — шипят качающиеся, переплетающиеся ветви.

Николай Евдокимович сдается:

— Да ведь я что же, господин профессор? Я оскорбительного для вашей чести ничего не говорю. Я только хочу сказать, что у каждого народа есть свои нравы, обычаи, навыки, суеверия и приметы, которые куда как мощнее писаных и печатных законов. И вот тут-то иностранцу, да еще бездомному эмигранту, укрывшемуся от позора и смерти под дружеским, верным и сильным крылом, должно с этими неписаными адатами обращаться как можно осторожнее и деликатнее.

— Перестань, старая шарманка, — раздраженно восклицает профессор, и трепещущие листья повторяют за ним: «Старая, старая шарманка!» Но давнишний лабораторный служитель не сдается:

— Да вы же сами помните, господин профессор, как вы выразили перед хозяйкой киоска свой милый восторг перед ее очаровательной дочкой Жанетой. И как она в ответ на это зачертыхалась? В ее чертыхании вовсе не было зла против вас или Жанеты. Нет, здесь заговорила бессознательная, инстинктивная, многовековая память о борьбе со злыми ларвами в языческие времена и с мерзкими кознями дьявола в эпоху первого, грубого христианства. Эта почтенная женщина, видите ли, услышав вашу горячую похвалу ее дочке, бессознательно испугалась, — а вдруг у вас дурной глаз. А вдруг вы Жанету сглазите. А вдруг дьявол услышит вашу искреннюю похвалу милой девчурке и от злой ревности возьмет и испортит ее: сделает ее кривобокой, или наведет на ее лицо какую-нибудь гадкую сыпь, или скосит ей глаза. А что касается дурного глаза, то разве не вы сами, господин профессор, девять лет назад поместили в одном теософском английском журнале полунаучную, полумистическую статью под псевдонимом «Немо», в которой интересно и весьма обстоятельно доказывалось, что из множества эманаций, выделяемых человеческим организмом, едва ли не самыми мощными

флюидами являются флюиды, излучающиеся из человеческого зрачка, столь близко расположенного к мозгу. Через глаза передаются гипнотические волны, и не зрение ли, соединившись с воображением, ткет глубокой ночью цветистые, многообразные сны? И, наконец, вовсе не выдумка безответственных романистов (как вы сами говорили) способность человеческих глаз к удивительным световым эффектам. Да, действительно, глаза человека, в зависимости от душевных эмоций, могут сиять, блестеть, вспыхивать молнией, жечь, пронизывать, наводить ужас и повергать ниц. И эту чудесную силу их открыли еще бог знает в какой глубокой древности всё видевшие, всё замечавшие и запоминавшие народы, самые наименования которых стерлись из истории, но которые оставили после себя несокрушимые устные предания. Романисты только ограбили неведомых предков без пользы для себя, между тем как у спокойного простонародья старая мудрость и великий опыт сохранились в темных приметах и суевериях. Вот и спрашивается теперь, господин профессор: правы ли вы были, рассердившись на экспансивную мамашу вашей ненаглядной Жанеты?

Профессор ударяет железным наконечником палки по дорожке, и гравий визгливо хрустит.

— Замолчи, несчастный попугай, собиратель старой рухляди, умеющий только превращать в ходячую пошлость все, до чего коснется рука твоя.

Ветер становится все более тяжелым и упругим. Дышать трудно даже в обильном зеленью лесу. Огромные, старые, вековые деревья, когда-то видевшие под своею сенью Виктора Гюго, Альфреда Мюссе, Бальзака и обоих Дюма, недоверчиво и устало поскрипывают и недовольно кряхтят. Небо потемнело, и по нему быстрыми взмахами летят группы странно больших, черных, зловещих птиц. Во всей природе какое-то мрачное ожидание. Профессора томит приближающаяся буря. А тут еще этот неугомонный филистер, скучный хранитель буржуазной морали, этот вечный суфлер и наставник, двойник, с которым никогда не расстанешься и который всегда будет тащить свободную душу профессора по истоптанным путям спаси-

тельной боязни, благоразумного умалчивания, политичного воздержания, всегдашнего согласия с большинством, повторения ветхих, заплесневелых истин, казенных улыбок и лицемерных похвал высокостоящим болванам. И профессор взрывается, подобно брошенной на землю петарде:

— Никого я не хочу ни знать, ни слушать! Что дурного или предосудительного в том, что всем моим сердцем и всеми моими мыслями завладела маленькая милая девочка, живой и нежный французский ребенок. Господи! ведь я никогда не испытал и не перечувствовал и даже не надеялся когда-нибудь почувствовать тихой бескорыстной радости, которою так мудро и так щедро одаряет судьба дедушек и бабушек, когда все земные, пряные радости отлетают от них. Ах! я не был дедушкой, не успел... Да, впрочем, что греха таить. Могу ли я, по чистой совести, похвастаться, что был когда-нибудь счастливым мужем или почтенным, уважаемым отцом, авторитетным главою дома, его основанием, его управителем и защитником?

Нет, вся его семейная жизнь сложилась как-то неладно, кособоко, нелепо, разрозненно и неуютно. Женился он приват-доцентом на бледной и капризной дочери видного профессора, университетского декана и академика, который сделал себе огромное имя, и независимое положение, и комфортабельную жизнь путями не особенно, по тому времени, прямыми: всегдашней готовностью идти навстречу воле и желаниям правительства, отрицательным отношением к студенческим массовкам, протестам и забастовкам, а также и суровой требовательностью на экзаменах. Он знал, конечно, что за глаза, в молодых радикальных профессорских кругах, его ядовито называли «кондитером» и «мыловаром». Но что ему было за дело до брехни неудачников и бездарностей и необразованных лентяев.

Он с привычным, нескрываемым удовольствием опускал в портмоне золотые, приятно тяжелые дарики, выдаваемые после каждого из торжественных заседаний Академии; со спокойным достоинством принимал

казенные, весьма широко оплачиваемые научные поездки за границу и роскошные издания своих книг и без всякой тени заискивания расширял и поддерживал свои знакомства с питерской аристократией и с высочайшими особами. Студенты его ненавидели, но его лекции всегда наполняли аудиторию да самого верха, ибо он в совершенстве владел своим глубоким и гибким умом, был красноречив и обаятельно остроумен.

«Гениальная скотина», — назвал его однажды бесцеремонный и злой на язык, великий циник граф Витте.

Брак Симонова с его младшей дочерью Лидией был чрезвычайно странен как по своей неожиданной быстроте, так и по полному отсутствию того томного ухаживания, которое составляет главную прелесть жениховского периода.

Поездка на Аптекарский остров профессорской компанией. Дурманящая белая ночь, легкое и веселое опьянение дешевым русским шампанским «Абрау-Дюрсо», могучее дыхание полноводной Невы, смолистый ласковый запах березовых распускающихся почек, непринужденная игривость дружеского пикника. Играли в горелки. Лидия, со своим гибким и тонким станом, с матовым лицом и ярко-красными губами, летала, точно не касаясь ногами земли, похожая в загадочной полутьме на влюбленную колдунью. Никто не сумел бы понять, как это случилось. Догоняя Лидию, Симонов так разогнался, что чуть ее не опрокинул и для поддержания равновесия принужден был крепко обнять ее за талию и прижать к своей груди, так что почувствовал упругое прикосновение ее девических сосцов. И в этот же момент она поцеловала его в губы под защитою старого дерева.

Сначала молодой ученый был смущен и до румянца сконфужен ненасытной жадностью и чувственным бесстыдством этого пламенного и влажного поцелуя, но потом, со свойственным ему великодушием и уважением к женщинам, быстро решил в уме, что это просто первоначальная неумелость, неопытность, непривычность наивной и невинной девочки, вдруг вздумавшей

подражать взрослым или разыгрывать сценку из только что прочтенного романа. Но во всяком случае этот поцелуй, огнем пробежавший по всем нервам Симонова, требовал, по его джентльменскому мнению, серьезной ответственности. Поэтому, возвращаясь с пикника на Разъезжую, Симонов, набравшись храбрости, с бьющимся сердцем, сделал Лидии форменное предложение вступить с ним в брак. Немного покоробило его спокойствие, с которым она дала свое согласие. Симонов ожидал услышать старинную, традиционную, многовековую фразу: «говорите об этом с папой и с мамой». Нет, она сказала просто, с вежливой приветливой улыбкой: «Я согласна. Вы мне давно нравитесь. Я не могу от вас скрыть, что приданое за мною не так уж велико, как это можно было бы предполагать, судя по нашей жизни, которая со стороны кажется очень широкой. Конечно, мои родители охотно возьмут на себя все расходы по бракосочетанию и по поездке за границу. Они же с удовольствием озаботятся тем, чтобы приискать нам на первое время уютную хорошенькую квартиру, с удобной мебелью и со всем хозяйственным обзаведением. Но я думаю, что больше пятидесяти тысяч папочка за мною не может дать. А это — немного по теперешнему времени, когда о шалаше и рае не вспоминают даже в шутку. Я свободно владею тремя иностранными языками: французским, немецким и английским — и могла бы отлично переводить с них. Но вы сами знаете, как дешево оплачиваются переводы...»

Эта хладнокровная деловитость заставила Симонова на минуту съежиться, и он сказал с невольной неловкостью:

— У меня есть небольшое имение в Новгородской губернии. Если не ошибаюсь, сотни четыре десятин с небольшим. В Устюженском уезде. Но еще больше я надеюсь на свой труд, потому что работать я люблю и умею и никогда работы не боялся и никогда от нее не отлынивал. Верьте мне, Лида: с вашей любовью и дружбой я вскоре займу положение, которым вы по справедливости будете гордиться. Вот вам моя рука в залог; пожмите ее крепко, как можете.

Бледное лицо девушки порозовело, когда она исполнила просьбу жениха. А потом она сказала:

— Если бы я не поверила вам, то неизбежно должна была бы поверить папочкиному мнению о вас. Вы ведь знаете, как он скуп на комплименты и на лестные отзывы, особенно в научной сфере. О вас же он заочно говорит, как о будущем светиле науки, как об отце будущей, новой, великой школы. Это его собственные слова. А теперь, если вы не раздумали, пойдем к нему наверх и скажем о нашем решении соединиться законным браком. Только я вас об одном попрошу. Наука так и останется наукой, но в делах коммерческих и денежных обращайтесь всегда за советом к папе. Имя его известно во всем цивилизованном мире. Но мало кто знает, что папочка со своим ясным, светлым и острым умом является первоклассным дельцом и безошибочным разместителем крупных денег в такие места, откуда они вскоре возвращались обратно в удесятеренном виде. Папочке бы быть русским министром финансов! — сказала Лидия с гордой похвалой...

Таким образом женился Симонов на Лидии Кошельниковой. Брак этот вышел не по расчету, не по страстной любви, даже не по мгновенному случайному увлечению, от которого внезапно кружится голова, заволакиваются туманом глаза, а мысли и слова теряют смысл и значение.

Впоследствии Симонов много раз возвращался памятью к этому странному времени жениховства и первоначального замужества и никогда не находил в них ни логики, ни оправдания, ни надобности: было холодное наваждение, была неуклюжая актерская игра в напыщенную влюбленность. Он слишком поздно разобрался в душе своей жены и нашел для нее типичное место, в котором, однако, не было ничего сложного, загадочного или необыкновенного. Просто: она была дочерью своей эпохи, когда молодые девушки либо мечтали о политике и курсах, либо напичкивались сверх силы Оскаром Уайльдом, Фридрихом Ницше, Вейнингером и половым бесстыдством. Лидия была из послед-

них. Еще в институте для привилегированных девиц она ела толченый мел и пила уксус для того, чтобы тело не переставало держаться в воздушных, почти невесомых формах, а лицо под гримом постоянно носило томный отпечаток бессонных, безумно проведенных ночей, оставивших черные красноречивые круги под глазами.

В институте же, под наивной и невинной игрою в «обожание» старших подруг, она узнала первоначальные соблазны уродливой однополой любви, которой в то время предавались по распущенности и из-за снобизма юноши и девушки всех благородных учебных заведений. В супружеских интимных отношениях она не проявляла здоровой чувственности, была лишь холодно-любопытна, и вскоре эти отношения между молодыми супругами стали постепенно все реже и неодухотвореннее. Однажды Лидия сказала мужу:

— Ты знаешь. В конце концов немцы были и умны и практичны, когда признавали за «цвей киндер систем» право гражданственности. Это и необходимо и достаточно.

Симонов, как всегда, ответил спокойным согласием и нисколько не удивился тому, что, родив вторую и последнюю девочку, Лидия совсем отказалась от супружеских обязанностей, предоставив вместо них мужу полную свободу, в которой он, впрочем, совсем не нуждался.

Однако обязанность доставать деньги осталась за ним и с каждым годом настоятельно увеличивалась. За детьми Лидия никогда не ходила. Не любила и не умела этого. Около девочек были всегда кормилицы, няньки и бонны. Сама же мать только наряжала их, как кукол, и играла с ними, как с куклами, в течение десяти минут в сутки. Переводы с иностранных языков оказались милым вздором заневестившейся барышни. Знала она, правда, — и то с грехом пополам, — слов по сто на каждом из трех главных европейских языков, но для профессии переводчицы этот багаж был и скуден и легковесен. А главное, к занятию этому у Лидии не было ни призвания, ни терпения. Занимала ее больше всего легкая, суетливая, подвижная общественная бла-

готворительность, устройство литературных и студенческих вечеров, лотереи и базары и прочие веселые пустяки, с приглашением знаменитостей, с продажей шампанского и цветов и с постоянными предлогами заказывать новые модные костюмы.

Больше всего имела Лидия успех в только что народившихся, бесшабашных кружках новой литературы, поэзии и живописи, — у всей этой молодежи, носившей диковинные девизы кубистов, футуристов, акмеистов и даже ничевоков. Они в ней находили порочную прелесть верленовских изломов и манящую жуть сладострастия Пикассо. Впрочем, все эти божественно дерзкие переустраиватели мирового искусства никогда не задумывались над смыслом и значением тех умопомрачительных слов, которые они походя роняли, веско, гулко, бездонно-глубоко и абсолютно непонятно для непосвященных буржуев. Ничего! Им все благоговейно сходило с рук. Такое уж сверхчеловеческое поветрие носилось тогда, незадолго до ужасной войны, по обеим столицам России, что гении, пророки, ясновидцы, тайновидцы, предсказатели, медиумы, мировые мудрецы, Наполеоны и Заратустры рождались среди интеллигенции с быстротою грибов после теплого летнего дождя. Уважающему себя культурному и передовому человеку приходилось разрываться на части, чтобы не пропустить случая сбегать на поклон к новому блистательному светилу, только что вчера открытому. Москва, древняя, кондовая, купеческая, усестая Москва, которая прежде созывала гостей на обед с юродивым Корейшей, с протодьяконом Шаховцовым, который голосом своим тушил все люстры в зале, с полицмейстером Огаревым, с Шаляпиным или с борцом Поддубным, — эта наивная, сердечная Москва вдруг, очнувшись, поняла, что ей совсем уж невозможно жить без своего декадента. Поэтому она спешно заказала для своих домов декадентскую архитектуру, завела чертовски декадентскую и безумно дорогую литературу, а московские дебелые девицы бредили во сне: тятенька с маменькой, купите мне в женихи настоящего декадентского кентавра.

И покупали.

Чинный Петербург всегда был спокойнее, умереннее и хладнокровнее пылкой Москвы, к которой он еще со времен Петра I привык относиться свысока. Однако яростный напор новых течений во всех отраслях искусства мощно захватил и солидный Петербург, ставший к тому времени внезапно Петроградом. Первыми провозвестниками и глашатаями этой трескучей новизны стали торопливые карьеристы, малограмотные приват-доценты, читавшие «взгляд и нечто» на многочисленных женских курсах и пописывавшие критические статейки в сотнях журналов, которые ежедневно возрождались под самыми драконистыми заглавиями, чтобы через два-три дня тихо и бесследно опочить.

Лидия, со всегдашней своей страстью к шумливым, безвкусным и дешевым безделушкам, одной из первых записалась в горячие поклонницы всех этих «истов», в их верного друга, в их деятельную помощницу и пропагандистку. Они же называли ее своей мамой, своей музой, своим икс-лучом и аккуратно, целыми стаями, посещали по пятницам ее несколько скучноватый, но услужливый и гостеприимный салон, где подавались очень вкусные сандвичи и отличное кавказское красное вино «Мукузань».

Симонов вначале не без интереса и любопытства посещал декадентские вечера своей жены. Как-никак, а, по словам Лидии, на них созревало и выковывалось то новое, могучее и гордое искусство, которому надлежало, растоптав в прах все жалкие, скучные и нудные потуги предшественников, засиять над миром неугасимой огненной звездою.

Однако вскоре он стал потихоньку думать: «Тут, по совести, одно из двух: либо я отстал от искусства и ничего не понимаю, либо все эти футуристы и кубисты — просто-напросто охальники, симулянты, мистификаторы, шарлатаны и развязные наглецы и похабники...» Правда, в некоторых поэзах этих вчерашних новаторов звучала порою странная и дикая сила; правда и то, что дерзкие консонансы, заменившие у декадентов лакированную точность строгих рифм, были ясны и понятны для Симонова, хорошо изучившего остроту крестьянских поговорок и частушек. Но

отсутствие прямого смысла неприятно раздражало его, как раздражала и их манера читать свои произведения в нос, нараспев, на мотив «Чижика», похоронного ирмоса или бульварной песни, не останавливаясь перед похабными словами. Еще экстравагантнее были футуристические музыканты и кубистические художники. Этих не понимали даже близкие сотоварищи. Впрочем, в этих сверхчеловеческих, орущих шайках — быть непонятным считалось первой ступенью к гениальности.

Эта здоровенная молодежь ела и пила с аппетитом волжских грузчиков, не переставая брала взаймы деньги и часто оставалась ночевать на диванах, на сдвинутых стульях и даже просто на полу. На это молодое разгильдяйство Симонов смотрел снисходительно и даже с молчаливым сочувствием. Профессорская жизнь еще не выжгла из его памяти студенческих годов в Московском университете, когда бесцеремонная молодежь охотно делилась и ночлегом, и обедом в столовке, и последней кружкой пива, и научными знаниями. Но один дурацкий случай вывел его из себя. Какой-то здоровенный, долговязый, весь в угрях декадент, в балахоне, наполовину желтом, наполовину голубом, с пучком укропа и с морковкой в петлице, только что окончил завывать свою новую поэзу, носившую претенциозное заглавие «Паванна», и стоял, окаменев от наплыва вдохновения, а вокруг него благоговейно безмолвствовали второстепенные поэты. Встретившись глазами с Симоновым, желто-голубой верзила спросил в нос:

— Ну, что же, Амфитрион? Кого вы теперь назовете прекраснейшим из всех русских поэтов?

Смущенный Амфитрион невольно повел глазами по той стене, где у него ровной линией висели застекленные портреты всех знаменитых русских писателей и поэтов, и застенчиво пробормотал:

— Я думаю, что все-таки Пушкин...

— О, ослица Валаамова! — возопил прыщавый декадент. — Весь ваш слащавый европеец Пушкин не стоит одного ногтя с моей ноги. — И вдруг, схвативши массивную чернильницу, декадент с быстрым размахом швырнул ее в лицо Пушкина, раздробив стекло и залив портрет чернилами. Симонов, весь побелев от

негодования, схватил с необыкновенной силой поэта за шиворот и потащил к выходным дверям, беззвучно говоря дрожащими губами:

— Ах ты сукин сын! Чтобы тут больше твоего духу не было! А то насмерть убью стервеца! Вон сию же секунду!

Претендент на высокое звание прекраснейшего из русских поэтов всех времен поспешно выскочил в переднюю, сбитый с толку и точно скомканный. За ним, с глухим ворчанием, посыпались второстепенные поэты. Но «грубая, безобразная, дикарская выходка» Симонова не обошлась ему даром. Во-первых, Лидия после громадного истерического припадка, с рыданиями и обмороками, заставила-таки мужа на другой день поехать к желто-голубому поэту и просить у него прощения. Во-вторых, ему на веки вечные запрещено было присутствовать на декадентских радениях, хотя бы даже издали через щелку. А в-третьих, с того злополучного вечера совсем прекратились всякие человеческие отношения между мужем и женой. Здесь не было ни злости, ни мести, ни взаимного отвращения. Просто оба давно уже стали понимать и чувствовать, что нет и никогда не было между ними ничего общего, сближающего, душевного и что скоропостижный брак их можно было бы объяснить только холодным, бессонным наваждением северной белой ночи и мгновенным капризом анемичной, избалованной петербургской барышни.

В начале этого расхождения Симонов даже был рад этой домашней свободе. Легче работалось, легче думалось. А главное, в эти одинокие тихие дни Симонов, наконец, нашел подход и дорогу к умам и характерам своих двух дочек, которые до сих пор пребывали в глупом баловстве и в капризном невежестве. Он с нежной и веселой радостью уже стал замечать, как входили в детские умы и сердца те избранные книги, которые он им читал: русские, умело подобранные сказки, сказки Андерсена, рассказы Марка Твена и чудесного Киплинга и Додэ, «Хижина дяди Тома», приключения Жюль Верна, «Серебряные коньки», «Капитанская дочка» Пушкина и тому подобные вещи,

легко и удобно входящие в ум и в воображение детей. Он при первой возможности водил девочек в Зоологический сад, в зверинцы, музеи и галереи. Каждый листик, каждые зверь и зверюшка, каждые жуки и мушки являлись для него и для детей предметами жадного внимания и удивительных рассказов. Эти два года мирного общения с маленькими дочерьми остались навсегда для Симонова самыми лучшими, теплыми и благородными воспоминаниями. Прежде бывало так, что, рассерженный безалаберностью жены и ее вечным мотанием по знакомым, и по лавкам, и по заседаниям, он молчаливо повторял про себя жестокое изречение из притчей Соломоновых: «Горе жена блудливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ея». Теперь же он все чаще ловил себя на унылой мысли брошенного человека, уже свыкшегося со своим одиночеством:

— А все-таки, куда как лучше и приятнее дома, когда в нем нету его почтенной и обворожительной хозяйки Лидии.

Но давно уже известно, что женщина, разлюбившая и злая, никогда не удовлетворится спокойным молчанием. Так и Лидия вскоре стала неутомимо пилить и заедать мужа, выбрав для этого самое уязвимое, самое чувствительное, самое больное место — деньги.

Настало время, когда в маленькой, когда-то мило уютной комнате на Песках с утра до вечера только и стало слышаться одно это желтое, ужасное, проклятое, ядовитое и такое всемогущее слово — деньги. Вы, как кажется, позабыли о деньгах? Где же деньги? Вы, по-видимому, все мечтаете о рае в шалаше, а не о деньгах? Вы, кажется, совсем забыли, что у нас завтра — гости и, чтобы принять их, надобны деньги? Оленьке нужны деньги на башмачки, Юленьке нужны деньги на шубку. Кухарке нужны деньги на базар, мне нужны деньги на замшевые перчатки и на билет на Вагнера». Деньги, денег, о деньгах, деньгам, деньгами, деньгам, деньгами... Вкус ржавого железа появлялся во рту Симонова, когда звучали эти металлические слова, требующие денег.

Вскоре и дочери, сначала, как невинные попугайчики, а потом все сознательнее и настойчивее, научились этой минорной песне о вечных деньгах.

— Папочка! Почему ты нам купил аграфы сердоликовые, когда теперь все носят жемчужные? — Папочка! Почему ты купил места в партере, а не в бельэтаже? — Папочка! Почему у нас елка была с парафиновыми свечами, а у X. электрическая? Почему у Z. свой собственный выезд, а мы должны трястись на извозчике-ваньке? — Папочка! Почему мамочка всегда плачет, что ты жадный и скупой и никогда не хочешь ей давать деньги и что ты, кроме того, страшный лентяй и не хочешь работать?

«Какая пакость со стороны тех матерей, которые ложью восстанавливают детей против отцов, — думал часто Симонов и тотчас же поправлял самого себя, — а еще хуже длительная, текущая годами семейная злобная вражда, в которой обе стороны считают себя великомучениками и только тем занимаются, что отыскивают против врага укус поядовитее».

Симонов, со свойственным ему мягким великодушием, рыцарски самоотверженно причислял себя к одной из враждующих сторон. Носить в себе вечную неугасимую злобу казалось ему тяжким и горчайшим бременем, и он как бы навьючивал на себя молчаливо половину общего проклятого груза. Нет, никогда он не был лентяем или скупцом. Как однажды, в далекую белую ночь, дал он Лидии торжественное обещание работать не покладая рук для счастья своего гнезда, так и держал это слово с непоколебимой энергией, с радостным сознанием исполняемого священного долга. Он успевал читать лекции в петербургских сельскохозяйственном и лесном институтах и на женских курсах, преподавал физику, химию, космографию и естественную историю в кадетских корпусах, в военных училищах, женских институтах. Одно время он руководил геодезическими триангуляционными съемками в Академии генерального штаба. Он написал много статей как строго научных, так и популярных. Журналы принимали их охотно, редакторы рассыпались в похвалах и комплиментах... Однако гонорары повсюду были

мизерны. И все-таки жить было можно и даже жить с небольшим комфортом, несмотря на то, что тесть слукавил на приданом. Беда была в том, что Лидия никогда не знала цены деньгам, и они сыпались у нее сквозь пальцы, а Симонов во всю свою жизнь так и не научился ладить с нужными людьми, обходя их услужничеством, лестью и подобострастием: бывал, когда не надо, горд, независим, противоречив, самостоятелен и неуступчив. А эти свойства люди сильные не всегда любят.

Когда пришла Симонову пора защищать свою докторскую диссертацию, то профессор Кошельников однажды любезно спросил его, как бы мимоходом:

— Что ты скажешь, милый зятек, если узнаешь, что университетский совет назначит меня быть твоим оппонентом на диссертации?

По профессорской этике такой любезный вопрос всегда имеет и огромный вес и серьезнейшее значение. В нем как будто бы уже заранее признаются и талант и заслуги молодого диссертанта, и не чем иным, как благодарной улыбкой, на него нельзя было бы ответить. Но Симонов как-то сухо, по-медвежьи коряво возразил:

— Я бы, конечно, был весьма обрадован и польщен, господин профессор, но... но согласитесь с тем, что мы с вами все-таки в свойстве... и бог знает, что могут наговорить недоброжелательные языки... Кумовство, непотизм, протекция... и так далее... Обоим нам будет неловко.

Тесть поднялся с кресел и желчно сказал:

— Дело ваше. Как знаете, как знаете... — и, надевая шляпу в передней, еще раз прибавил: — Как знаете.

Кончилось тем, что диссертацию свою Симонов сдал в Москве и сдал самым блестящим образом. Когда он приехал назад в Петербург, тесть не дал себе труда поздравить его.

Кошельников был не злопамятен; к тому же он очень любил свою анемичную дочку. Поэтому спустя некоторое время он сделал зятю у себя на дому великолепное предложение в духе той финансовой мудрости, которой

когда-то так восхищалась Лидия. Дело заключалось в том, что несколько влиятельных и высокостоящих чинов генерального штаба предпринимали в военных целях гигантскую работу по осушению Полесья. В настоящее время начинают разыскивать и подбирают опытных инженеров, гидротехников, землемеров, лесников, геодезистов. Проектируется работа на многие десятки миллионов. Дело большое и верное, и на нем можно честным путем сделать хорошее, солидное состояние, опору будущему счастью. У Николая Евдокимовича остались добрые знакомства с генеральным штабом, тесть поможет своими влияниями. Надо только ковать железо, пока оно горячо.

Симонов попросил две недели отсрочки для размышлений. Аккуратно в назначенный срок он пришел к тестю и попросил у него сепаратного разговора. С первых же слов он решительно отказался от работы на Полесье, а когда профессор Кошельников спросил о причинах такого крутого отказа, зять нарисовал картину мрачную, зловещую и устрашающую.

— Во-первых, — сказал он, — осушение Полесья стоит не миллионы, а миллиарды. Во-вторых, осушение Полесья, кроме дороговизны, повлечет за собою непременно обмеление всех водных источников, речонок и рек, как малых, так и средних и больших. Это же со своей стороны грозит оскудением сельских хозяйств на громадных пространствах, остановкой водяных мельниц, прекращением путей сообщения и в особенности пароходному движению по рекам, питаемым водами Полесья. Подумайте: Днепр и теперь уже нуждается в землечерпалках, что же будет дальше, когда он высохнет. В-третьих, кто инициатор и глава этого осушительного предприятия? Полковник генерального штаба Ж. Он поляк, действительно — Ж. С идеей осушения он возится давно уже, связывая эту идею с возможностью оборонительной войны. Умный теоретик военного искусства Михаил Драгомиров сказал однажды по этому поводу: «Умный, храбрый вождь пройдет шутя через топь. Трусливый дурак разобьет голову на ровном месте».

Однако полковник Ж. теперь снова вылез наверх... И наконец — четвертое: мне удалось узнать фамилии будущих предполагаемых подрядчиков. Все это — народ жох, тертые калачи, а главное, жестокие специалисты по лесному делу.

— И что же?

— Да то, что вся суть осушения сводится к неслыханной по размерам вырубке Полесья и распродаже леса в дьявольских размерах. Военные интересы — одна только вывеска.

— Однако, — возразил тесть, — ведь там в числе пайщиков есть и высочайшие персоны.

— Тем более, — угрюмо буркнул Симонов, — мне в эту компанию не ход.

— Глупая щепетильность, — пожал плечами Кошельников, и собеседники, не говоря больше ни слова, сухо и надолго простились.

На другой день Лидия пришла к нему в кабинет и без обычной ссоры, вялым, деловым голосом предложила ему развестись с ней. Он ничего у нее не расспрашивал, сразу же согласился. По ее же просьбе он согласился и взять вину развода на себя, как на мужа, осквернившего супружеское ложе. Много этому невинному, доброму и покладистому человеку пришлось выслушать консисторских пакостей, пока развод не был зарегистрирован в порядке.

Одно условие развода огорчало и удручало Симонова: обе его дочери, по утверждению святейшего синода, должны были остаться при матери, на которую возлагалось их духовное и моральное воспитание в началах и указаниях святой православной кафолической церкви. «Хорошими началами она их напичкает», — сурово ворчал про себя Симонов; и, предвидя неизбежные в разводе сцены ревности из-за детей, возрастающую на этой почве неутолимую ненависть и тяжелое влияние на девочек родительской вражды, он с глухим горем оставил навсегда Петербург, чтобы занять профессуру в родной, знакомой и давно любимой Москве.

Так-то порвались навеки для него все сношения с бывшей семьей и даже самая память о ней. Но любовь

ко всем детям, умиление над их беспомощностью, радость слышать их голоса и видеть их улыбки, созерцать их игры и их первые попытки к общежитию постоянно наполняли его душу целительным бальзамом. Он не ради щегольской фразы, но от глубины чистого и любящего сердца произнес свой афоризм на большом московском собрании матерей:

— Тот, кто написал хорошую книгу для детей или изобрел детские штанишки, не связывающие движений и приятные в носке, — тот гораздо более достоин благодарного бессмертия, чем все изобретатели машин и завоеватели стран.

А удушливый, горячий ветер сирокко не только не хочет уняться, но все больше и больше набирает силу, злобу и упругость. Профессор давно уже устал вести бесполезную ссору со своим тупым и мещански настроенным двойником Николаем Евдокимовичем. Приближающаяся и все не решающаяся разразиться гроза точно приплюскивает его к земле и лишает воздуха. «Что же я так сижу и изнываю?» — думает он. Ведь даже гимназистам первого класса известно, что ничего нет опаснее, чем стоять в грозу под деревом.

— Пойду-ка к себе домой. У меня над моей голубятней проведен громоотвод. Молодцы французы в этом отношении. Впрочем, и во всем они молодцы, что касается стихийных бунтов и восстаний.

Он подымается, с трудом выпрямляя члены, затекшие от долгого сиденья. Бесчисленные мурашки бегут под его кожей.

«Точно электрический ток, — думает профессор. — А почему бы и в самом деле этому ощущению не быть электрическим явлением?» — и в этот момент Симонов тяжело падает на землю, оглушенный и ослепленный яростными, одновременными молнией и громом. Страшный ураган срывается, как взбесившаяся лошадь. Небо, воздух и земля заволакиваются густым зловещим мраком. Ревут деревья, трещат ломающиеся ветви, с чертовским грохотом и жалобным стоном падает столетний могучий каштан, выворачивая из земли свое

огромное корневище, зарытое в землю. Деревья раскачиваются, нагибаясь до земли. Молния и гром не перестают ни на минуту. Водяные хляби разверзлись точно при потопе. Ничего не видно, кроме тяжелой, сплошной воды, закрывшей весь горизонт.

Симонов, весь промокший и потерявший дорогу, с великим трудом пробирается между деревьями, инстинктом находя дорожки и вновь теряя их. Маленькая, нежная ручонка вдруг касается его пальцев, и дрожащий, испуганный голосок говорит снизу:

— О господин. Я боюсь. Помогите мне. Я очень боюсь. Я не знаю, куда мне надо идти.

— Ах! Боже мой! Ведь это Жанета, — с радостью и с ужасом узнает профессор. — Как ты попала сюда, под мой непромокаемый плащ. Вот так, вот так, моя дорогая девочка, вот так. И теперь перестань тревожиться. Будь спокойна, я тебя сейчас донесу до вашего киоска. — И, ловко окутав Жанету своим пальмерстоном, он храбро шлепает по лужам.

Время от времени тоненький, жалобный голосишко попискивает из узла:

— О, как я боюсь, как боюсь, мой добрый господин! — И умиленный Симонов ласково и успокоительно похлопывает ладонью по разбухшей разлетайке. Так они выходят из Булонского леса, проходят по бульвару Босежур, и там, под перекидным мостом, профессор сдает свой мокрый груз в газетный киоск, наполняя его водой и крикливым изумлением хозяйки, которая уже успела до смерти измучиться, разыскивая свою быстроногую Жанету в эти страшные часы бури, молнии и зловещего мрака. Она, с той быстротой и приятной ловкостью, какие свойственны всем любящим матерям на свете, освобождая девочку от бесконечной профессорской обмотки, вытирала быстрыми движениями ее промокшее тельце, сморкала ей нос и в то же время не забывала шлепать ее по задушке и скороговоркою то браниться, то в сотый раз пересказывать Жанете, профессору и всем ближайшим соседям о тех ужасах, которые она сегодня претерпела.

— О дорогой господин, — обращалась она к Симонову. — Надеюсь, что вы извините меня за то, что я

сначала подумала, будто это вы завели Жанету в Булонский лес, и вот я прибежала к вашей госпоже консьержке и осведомилась у нее о вас. И я была очень рада, когда услышала самые почтенные и добрые рекомендации о вас с ее стороны. Но вы, конечно, поймете душевную тревогу бедной матери. Надеюсь, что у вас самого были сестры, дочери или внучки?

Но тут сама Жанета, решительно высвободив голову из кучи тряпья, великодушно идет профессору на помощь и защиту.

— О моя дорогая мама, — говорит она с восторгом и ужасом. — Если бы ты видела, какой это был ужас. Я пошла в Булонский лес с Жермен, с дочерью мясника, господина Колэн, и мы разошлись там, когда настала гроза. О мой бог, как это было страшно и как я испугалась. Ветер был такой, что сломились все деревья и разрушились многие большие дома. Молнии летали по всем направлениям, толстые, как моя рука, и большие, как Эйфелева башня. А гром был такой громкий, как фейерверки на четырнадцатое июля или как пальба из пушек, и дождь был ужасно большой, ну вот совсем, как потоп, о котором нам читал господин аббат и который потопил весь мир. Я так испугалась, так испугалась, что думала, что сейчас же вот-вот умру. И подумай, мама, какое это было счастье, что добрый и храбрый господин пришел мне на помощь в бурю, грозу и молнию и точно святой ангел покрыл меня своим манто, чтобы вынести меня из настоящего ада. О мама, этот отважный жантильом[1] был моим спасителем, которого мы должны благодарить во всю нашу жизнь.

Эта импровизированная болтовня умилила и рассмешила профессора до слез, а мать вставила уже спокойным голосом:

— Этим декламациям Жанету научила ее лучшая подруга Жермен, которая старше ее и, к сожалению, чрезвычайно много читает.

Профессор сказал:

— Конечно, это маленькое приключение — просто

[1] Дворянин *(франц.)*.

пустяки, и все обошлось благополучно. Позвольте, мадам, я в один момент схожу в бистро к мадам Бюссак за липовым цветом, он у нее превосходного качества. Ведь ваша бедная девочка все-таки сильно промочила ноги.

— О нет, мой господин. Я вас, пожалуйста, прошу не беспокоиться. Липовый цвет есть у меня на квартире, а я вам приношу миллионы благодарностей и в свою очередь прошу вас заняться своим здоровьем. Эти летние простуды гораздо опаснее зимних.

«Экая твердая баба! — покачал головой Симонов, уходя из киоска, — и все-таки прекрасная любящая мать».

Пройдя шагов пять, он обернулся назад. В киоске, из-за каких-то платков и тряпок, глядел на него веселый, ласковый, улыбающийся глазок Жанеты.

И вот вскоре настал для профессора Симонова моральный скучный ущерб. Прежде хоть изредка удавалось ему на минутку-две увидеть живое, веселое личико Жанеты под разными приличными предлогами: то покупая газету, то просто проходя мимо киоска с нарочно сделанным серьезным, деловым лицом. Теперь он стал стыдиться своих прежних невинных хитростей и бояться, что Жанетина мать подумает, будто русский старый чудак, особенно после грозы в Булонском лесу, захочет втереться в чужую семью. И он стал наблюдать за милой девочкой с осторожной украдкой, на далеком расстоянии, стараясь не попадаться на глаза ни матери, ни дочке, благодаря бога за свою лесную привычную дальнозоркость.

Весело, пестро, разнообразно, затейливо проводит Жанета свои дни, радостно насыщенные все новыми и новыми впечатлениями. Ноги ее не успевают бегать, легкие — дышать, глаза — все жадно видеть, уши — все слышать, ум — все воспринимать. Будь Жанета совсем свободной — для нее мало было бы всего шестнадцатого округа, всего Парижа с окрестностями, всей необозримо большой Франции. Но, к ее досаде, строгий надзор матери и острая наблюдательность

услужливых соседок замкнули ее свободу в тесное пространство, ограниченное квадратом, образуемым четырьмя улицами: улицей Ранеляг, авеню Мозар, улицей Ассомпсьон и бульваром Босежур.

Профессор уже давно это заметил и сам для себя в уме называет Жанету принцессой четырех улиц.

Правда, эта быстроногая принцесса в неудержном беге врывается и в другие близлежащие улицы: в бульвар Монморанси и в улицу доктора Бланш. Но это только резвые наскоки принцессы амазонки, жаждущей невинных приключений.

Самый суровый запрет положен на Булонский лес, да и сама храбрая Жанета трепещет перед его ужасами и до сих пор не может понять, какие силы занесли ее в густой парк во время бури сирокко. Там, по уверениям старинных обитательниц Пасси, прячутся в густых деревьях злые мошенники, которые нападают на гуляющих и, бросая их в автомобили, увозят бог знает куда, чтобы взять потом за них большой выкуп; там появляются беспощадные люди-сатиры, не жалеющие ни женщин, ни детей; там бродят часто кровожадные дикие звери, убегающие из соседнего зоологического сада, и, наконец, там ходят по вечерам белые привидения, духи людей, погибших давным-давно на дуэлях в Булонском лесу и лишенных церковного покаяния.

Но на всем протяжении своего маленького суверенного владения Жанета является настоящей, всеми признанной принцессой; принцессой доброй, приветливой, заботливой и любимой. Ее подданные души в ней не чают. Когда она весело, легкими быстрыми шажками проходит по улицам своего государства, то с обеих сторон слышатся ласковые приветствия:

— Добрый день, Жанета! Добрый день, маленькая Жанета!

Так встречают ее все: почтальоны, несущиеся с толстыми кожаными сумками, взрослые девушки, развозящие по домам в ручных тележках молоко и булки, девочки, спешащие говорливыми группами в школу, рабочие, только что принявшие в бистро очередную порцию аперитива или дижестива, чиновники и посыль-

ные, старающиеся сохранить на лицах выражение деловой серьезности, между тем как свет нежной улыбки освещает их уста, пожилые женщины, идущие спешным ритмическим шагом на базар.

— Добрый день, Жанет! Добрый день, Жанет!

И Жанета разбрасывает налево и направо свои звонкие приветствия вместе с ландышами и маргаритками своих сияющих улыбок:

— Добрый день, господин Топэн! Добрый день, госпожа Тиру. Добрый день, Ирэн, Симон, Мадлэн!..

И как мило заботлива она к работе и к интересам своего народа. Вот идет по тротуару молодой, весь в лохмотьях, савояр, дудя гнусаво в допотопную деревянную свирель. Рядом с ним, на мостовой, тесно сплотившись, движется густое, лохматое стадо коз. Савояр только и знает, что наигрывает тысячелетнюю печальную мелодию, а за порядком стада ревностно, строго и неутомимо следит умный, черный, большой пес, не устающий бегать вокруг бредущей отары, загоняя каждую отстающую, проказливую или упрямоигривую козу в общее тесное блеющее стадо. Он достигает этого лаем, ударом головою, иногда осторожным укусом, а всего больше огненным взглядом своих человеческих глаз. Прохожие, знающие злобный и решительный характер савойских овчарок, обходят их подальше, но для Жанеты не существует ни страха, ни боязни за свое тело, и руки ее никогда еще не знали трусливой дрожи. Поэтому она с беспечной старательностью помогает черному барраку загонять коз, и мохнатая, с ног до головы обросшая шерстью собака порою возьмет и лизнет Жанету длинным, красным, горячим языком, стараясь пройтись по всему лицу.

И меланхоличный савояр, не останавливая стада и оставляя его на попечение пса, останавливает одну лишь из коз, с ловкостью фокусника доит ее грушевидное вымя в небольшой стаканчик и молчаливо протягивает его Жанете. Теплое козье молоко не особенно вкусно; к тому же оно так сильно отдает терпким запахом неистового козла, что пьют его только больные

и редкие любители. Но как же обидеть савояра и его прекрасного пса? Молоко мужественно проглочено одним мгновением.

— Благодарю, до свиданья, мой дорогой пес. До приятного свиданья.

Проходит, мелодично позванивая большим звонком, древний, но крепкий, как дуб, точильщик ножей, бритв и всякого кухонного металла. Его передвижная мастерская весьма тяжела. Везут ее на колесах вдвоем: хозяин-мастер и его трудолюбивая собака-волк. Часто Жанета с умилением удивлялась той добросовестности, с какой эта рыжая, гладкошерстая собака несла свою обязанность. Она напрягала все свои силы, налегая на постромки, и как бы распластывалась по земле, стараясь облегчить груз своему божеству, хозяину.

— Добрый день, господин Перье!

— Добрый день, моя малютка!

Он останавливался и опять звонил, ощупывая глазами этажи и дома, из которых могли бы дать работу. Рыжий собака-волк в это время укладывался калачом на земле под точильным прибором. Там же оставался он и в то время, когда господин Перье визжал, верещал и яростно жужжал своими орудиями. Не подымался он и тогда, когда хозяин заходил освежиться от трудов праведных в кабачок «Au pelouse» (лужайка). Может быть, ему не нравилось, что в этом кабачке на улице доктора Бланш обитало множество чуть-чуть синеватых сеттеров, порода которых так и зовется «голубые оверньские», а может быть, он вообще пренебрегал всяким обществом на свете. Он был молчалив, необщителен, всегда скучен. Гладить себя он никому не позволял, а хозяин, кажется, ни разу в жизни его не погладил. Жанета, конечно, могла это делать, но что же приятного гладить собаку, которая на это не обращает никакого внимания.

Странен был сумрачный характер этой собаки. (Не лежало ли на ее душе какое-нибудь тяжкое преступление?) Тем более что господин Перье был всегда

весел и общителен. Жанета очень любила издали слушать, как он пел в своем любимом кабачке старые-престарые, веселые песни, с трудом понимаемые нынешними французами. Немного странным казалось Жанете, что господин Перье некоторые слова песен заменял мычанием и многозначительным покряхтыванием.

Все были добрыми приятелями Жанеты: и необыкновенный крикун, покупавший тряпки-железо, а также торговавший разными костюмами; и садовники из роскошного цветоводства, принадлежавшего какой-то таинственной, никем никогда не виданной миллионерше, и девушки из лаборатории, и страстные игроки в конский тотализатор, которые, покупая спортивные газеты, просили Жанету назвать им на счастье какую-нибудь цифру, и нищие, которым она никогда не скупилась подать монету в два су, если она находилась в кармане передника, и так далее. Но были у нее еще дружки, особенно ценные, интересные, занятные и любимые. Появлялся, например, раза три в месяц в пределах Жанетиного властвования старый, бодрый шарманщик. У него не было левой руки и правой ноги, которые он потерял на войне, но зато была хорошо налаженная, солидная клиентура из истинных знатоков и тонких любителей благородной шарманочной музыки или, как ее вернее называют, — органной. Через каждые десять дней регулярно он приходил под окно очередного меломана, укреплял каким-то непонятным способом при помощи костылей свою шарманку и давал на ней превосходный концерт, начинавшийся всегда с итальянской канцонетты «o sola mia» [1], военной французской песенкой «Madelon» или Марсельезой. Надо сказать, что избранная (по его мнению) публика любила его. Во время концерта и после окончания его разные монеты, завернутые в бумажки, так и летели изо всех этажей, брякая об уличные тротуары и о мостовые.

Но, кроме изысканной музыки, однорукий и одноногий шарманщик приспособил к крышке своего

---

[1] О моя единственная *(итал.)*.

органа небольшую шкатулочку, из которой уличная публика могла за пять сантимов вытаскивать свернутые в голубые, зеленые и красные трубочки предсказания судьбы, разрешения любовных и коммерческих дел, астрологическое значение планеты каждого человека и прочие премудрости. Однако музыканту, очевидно, было по его инвалидности и больно и неудобно заниматься одновременно несколькими делами: вертеть ручку шарманки, следить за любителями предсказательной лотереи и подбирать с земли завернутые монеты, шкондыбая, тяжело нагибаясь и еще еле успевая посылать добрым клиентам летучие поклоны во все этажи, от рэ-де-шоссе до мансарды восьмого этажа, в котором гнездились горничные, кухарки, швейки и прочая беднота, всегда щедрая на расплату за маленькое удовольствие. Однако шарманщик терпеть не мог, когда кто-нибудь из собравшейся вокруг него публики проявлял желание помочь ему. В этих случаях он стучал костылем и с недовольной торопливостью говорил:

— Нет, нет, благодарю, благодарю, я сам, я сам. Благодарю!

Но удивительно — когда Жанета впервые нагнулась со своей легкой гибкостью и изящно, двумя пальчиками, поднесла ему скомканную бумажку с двумя толстыми «гро су» [1], шарманщик нежно похлопал ее по плечу и, улыбаясь, сказал:

— О, мерси, гранд мерси, моя крошка. Как вы очаровательны!

И правда, в этой смуглой, грязноватой девочке, с черными живыми глазами, было очень много того, что французы называют шармом и что в Жанете ласково пленяло людей, собак, лошадей и кошек.

В следующий свой визит на Пасси, в герцогство принцессы Жанеты, шарманщик уже разыскивал озабоченно глазами, где его недавняя помощница, и, отыскав, с улыбкой поманил ее к себе, а когда она подошла, вся сияя от радости, он вытащил из отворота пальто слегка помятую, но все еще благоуханную розу

---

[1] Монетами в десять сантимов *(франц.)*.

и галантно поднес ее девочке. С этих пор Жанета, как только услышит издали гнусавые, тягучие звуки шарманки, — стрелой летит к своему импрессарио и добросовестно работает, избегая лишь переступать через запретные зоны. И неизменно она получает от музыканта розу, гвоздику или другой сезонный цветок. Эти подарки — ее гордость. Они заработаны чистым артистическим трудом.

Другой увечный человек — самый любимый друг Жанеты, предмет ее жалости и особой заботы, — это слепец. Он — кроткий пожилой мужчина, с бледным лицом и мягким голосом прекрасного печального тембра. Ему каждый день утром надо зачем-то переходить через улицу Ранеляг, которая в этот год загромождена новыми строениями, полными мусора, кирпича и досок, что делает непостоянную дорогу трудной и опасной для незрячего. Жанета помогает ему много дней, недель и месяцев. Каждый день, кроме праздников, в семь часов утра дожидается Жанета на перекрестке авеню Мозар и улицы Ранеляг появления своего тихого и милого друга. Он показывается ровно в семь, минута в минуту, секунда в секунду. В руке у него белая палочка. Он не видит, но движениями головы как бы хочет учуять то место, где находится девочка, и она тотчас же подает звонко свой тоненький голосок:

— Здравствуйте, господин Гастон.

Его проваленные глаза черно мертвы. Но на губах его разливается теплая, всегда грустная улыбка.

— Здравствуй, душа моя. Что видела во сне?

Но Жанета так еще молода, что снов не видит, а если и видит, то мгновенно же их забывает.

— Ничего, господин Гастон.

— И слава богу, — утешительно произносит слепой.

Они берутся за руки и идут. Слепой уже привык ощупывать почву своей палкой, но иногда Жанета, слегка пожимая его руку, предупреждает:

— Направо кирпич! Налево ямка!

Иногда они садятся на уличную скамейку и разговаривают. Слепой вдруг спрашивает:

— У нас сегодня понедельник?

— Кажется, господин Гастон.

— А как ты думаешь, Жанета, какого цвета понедельник?

— Темно-зеленого, — отвечает девочка.

— И мне кажется так же. А вот, слышишь? — солдаты в трубы трубят. Теперь какой цвет?

— Красный, — не задумавшись, отвечает Жанета.

— А я думаю, что красный с желтым оттенком. Не правда ли?

— Да, правда, господин Гастон, с желтым.

Они замолкают. Через несколько минут господин Гастон тихо говорит:

— Ну да. Я ослеп. Ничего не вижу. Но ведь судьба оставила мне великодушно слух, осязание, обоняние, вкус и разум. А я мог бы лишиться всего этого и лежать бы теперь в вечном бессознательном мраке. Разве я не счастлив, милая Жанета?

— Я вас люблю, господин Гастон, — шепчет девочка и ласковой рукой нежно проводит по его лицу. А потом они рука об руку идут до бульвара Босежур, где расстаются.

Профессор Симонов не раз видел эти тихие, меланхолические свидания. Нет! Его светлая душа не знает ревности, особенно к такому человеку, как господин Гастон, столь жестоко наказанному судьбою. Он только иногда смутно думает о том, что если бы он сам был слепцом, то величайшим утешением в этом несчастии была бы для него дружба с Жанетой. И вот он однажды решается на невинную, смешную мальчишескую уловку. Водиться с русским профессором строго-настрого запрещено, но, встречаясь с ним случайно на улице, Жанета никогда не упустит возможности поздороваться с ним улыбкой или кивком головы. Иногда она даже перебегает через улицу на другую сторону, причем у нее несносная манера лезть под каждый трамвай и камион[1], что приводит Симонова в холодный ужас. И вот как-то раз утром, вывернувшись чудом из-под огромной, ревущей и пыхтящей

[1] Грузовик (от *франц.* camion).

машины, Жанета застает старого друга совсем расслабленным, хилым, разбитым, измученным.

— О господин профессор, что с вами? Вы, кажется, очень больны? — говорит жалобно Жанета. — Чем я могу вам помочь?

— Ах, дорогая Жанета, — кряхтит и стонет Симонов. — У меня большое горе. Я — ослеп! Не будешь ли ты так добра провести меня до дома? Я живу близко отсюда, бульвар Монморанси.

— О, с удовольствием, господин профессор. Не угодно ли вам будет опереться на мою руку?

Они идут. Проходят шагов с пятьдесят. Походка профессора становится все спотыкливее и неувереннее, и, не доходя до квартиры профессора шагов на тридцать, Жанета вдруг разражается веселым, громким хохотом, звенящим, как золотой дождь по серебряному блюду.

— Ах, шутник! обманщик! — заливается Жанета. — Разве меня можно одурачить! Ваши руки слишком жестки для слепого, и разве я не вижу, как дрожат ваши ресницы, когда вы через них поглядываете на меня? И шаг ваш гораздо тверже, чем у слепца. Ну, алор, марш домой, господин слепой! И, пожалуйста, не делайте над собой таких фокусов, а то и навсегда останетесь слепым. На небе таких шуток не любят.

Симонов уходит посрамленным и сконфуженным. Но в дорогу Жанета посылает ему ласковое утешение:

— Вы не думайте. Я люблю господина Гастона, но люблю и вас. Гастон хороший, и вы тоже хороший, всякий по-своему. Подождите, я когда-нибудь вас познакомлю, и вы станете друзьями.

Много странностей с течением времени замечает профессор за Жанетой. Так он открывает, что эта милая девочка совсем чужда брезгливости.

Однажды, ранним утром, спустившись со своего высоченного чердака вниз, на уличный асфальт, профессор увидел обычное зрелище, которое он привык созерцать каждый день. У выхода из дома, как всегда, стоял высокий, вместительный автомобиль около заранее выставленных консьержками цинковых кубов со

всяким накопившимся за сутки домашним мусором. Трое бойких овернцев ловко подхватывали эти кубы и опоражнивали их в автомобиль. И вдруг Симонов услышал громкий веселый голос оверньята:

— Эй, Жанета! Держи.

Тут только увидел профессор маленькую фигурку девочки, до сих пор заслоненную боком машины. Жанета искусно поймала на лету небольшой серый предмет, брошенный для нее. Это был уже сильно поношенный плюшевый медвежонок с наивной, удивленной мордочкой.

— Благодарю, господин Антуан, — крикнула радостно Жанета.

А Симонов подумал: «Так вот откуда у нее в детской колясочке такая богатая коллекция старых, потрепанных игрушек. Из ордюров, а по-русски говоря — из помоек. Черт возьми, ведь эти чаны самое удобное гнездилище всевозможных бацилл и бактерий. Здесь захватить опасную инфекционную болезнь — одна секунда. Почему мать Жанеты такая росомаха. О чем думает городская полиция. Чем занят санитарный надзор». Обратиться к Жанетиной матери с предупреждениями и увещаниями профессор не отваживался, давно узнавши ее деспотичную властность и крутую самостоятельность по отношению к дочери. Смешно и нелепо было бы также рекомендовать людям, занятым чистотою и здоровьем громадного города, чтобы они следили за гигиеническим поведением и за чистоплотностью каждой бойкой и резвой парижской девочки семи лет. Это — дело матерей и школы. Но изобретательный ум профессора выдумал уловку — безвредную для Жанеты и приятную для него самого.

Один из мусорщиков, господин Антуан, похожий наружностью на грузина, а характером на русского ярославца, был с ним в дружбе. Они посещали одно и то же бистро госпожи Бюссак и уже много раз успели сыграть в беллот и угощали один другого очередными турами красного вина. У Симонова с давних пор был дар ладить с простыми рабочими людьми. Однажды, допивая свой стакан розового вина, профессор сказал:

— А кстати, господин Антуан, у меня к вам маленькая просьба.

— К вашим услугам, мосье.

— Видите ли... Маленькая Жанета — очаровательная девочка... прелестная, но ее почтенная мамаша ужасно строга к ней. Никогда не сделает ей какого-нибудь детского удовольствия и ни за что не позволяет подарить девочке хотя бы самую невинную, самую пустячную безделушку.

— О господин, — возражает серьезным тоном Антуан. — Мы, французы, мы очень любим наших детей, и мы никогда не поймем, с какой стати иностранец, хотя бы жантильом, вдруг станет дарить нашим детям игрушки. Что у него на уме. Откуда такой странный каприз. Разве у иностранцев нет своих собственных детей.

Профессор вздыхает.

— Ах, господин Антуан, у меня было двое детей, две девочки. Но теперь их нет, и я никогда уже больше их не увижу. Понимаете ли вы эту тоску по детям. Один великий философ сказал как-то: «Природа не терпит пустоты». Отсюда и моя чистая, святая любовь, моя отцовская привязанность к Жанете. Будь я богатым человеком, я бы обставил жизнь Жанеты и ее матери прекрасными комфортабельными условиями, дал бы девочке превосходное образование, сделал бы каждый день ее существования на свете радостным и полезным для нее и для окружающих ее людей. Но что же я, бедный дьявол, могу теперь для нее сделать, только подарить ей кое-когда дешевую игрушку.

Господин Антуан растроган словами профессора и особенно его теплым, печальным, задушевным тоном.

— Чем же я могу помочь вам, мой бедный друг?

Профессор оживает.

— О! господин Антуан, совсем невинным пустяком. Я видел как-то: вы бросили Жанете с вашего камиона плюшевого медвежонка. Он был уже старый, потрепанный, инвалидный, но я видел, каким восторгом заблистали глаза Жанеты. Вот и все. Так позвольте я когда-нибудь принесу вам какую-нибудь неважную детскую безделицу, а вы, ничего не говоря, бросьте ее

Жанете, и я тоже обещаю вам никому об этом и никогда не говорить. Пусть тайна останется между нами двумя.

В душу каждого француза, даже делового оверньята, вложена небольшая доза сентиментальности, когда дело коснется детей.

— О, — говорит оверньят, хлопая Симонова по плечу. — Конечно, мне это не доставит никакого труда. Я в вашем распоряжении.

Еще задолго до ужасной войны и до последовавшей за нею принудительной эмиграции Симонов знал поверхностно Париж, восхищаясь им в недолгие наезды. Теперь, прожив в столице мира почти десять лет, он не устает все больше изумляться ею: ее жизненной могучей силой, ее радостным, всегда молодым темпом, ее любовью к зрелищам, к острому слову, к изяществу во всех отраслях жизни, чудесной законченностью во всех делах, изобретениях и творческих произведениях. Чего только не подарил Париж всему свету. Самый блистательный, самый роскошный, самый могущественный и самый абсолютный монархизм и самые кровавые, самые непреоборимые революции; мудрость Паскаля и оперетку Оффенбаха, смех Рабле и язвительную иронию Вольтера, тонкие афоризмы мыслителей и прекрасное в своей грубости историческое слово Камбронна, удивительнейшие духи знаменитых парфюмеров и мудрую книгу Суварена: «Физиология вкуса».

В продолжение многих столетий Париж был всеми признанным царем, владыкою женских мод, и останется на этом троне еще на много веков, как останется впереди прочих народов в областях математики, химии, физики, строительства, юриспруденции, медицины, инженерных искусств и всех прочих наук и искусств.

Марка Парижа — это пропускной билет в храм славы и бессмертия. Это знают не только ученые, не только знаменитые писатели, художники, скульпторы, композиторы, музыканты, певцы, но и престижитаторы, Вантерлоки, жокеи, клоуны, сальтимбанки и предсказатели. Париж скуповат на денежные глупые подноше-

ния, но его аплодисменты звучат на весь земной шар. И как благородно хранит Париж память о том, кто при жизни удостоился сделаться его любимцем. Вряд ли есть во всем мире другой город, в котором с парижской роскошью были бы увековечены в статуях и в наименованиях улиц великие люди, ушедшие из жизни. Воистину Париж светоч и столица *мира.*

Но особенно сильно пленяло и восхищало Симонова народное кустарное, наивное творчество французов. Он никогда не пропускал хозяйственных выставок в память парижского префекта Лепина и заслушивался изумительным красноречием уличных шарлатанов, которые при помощи слова и жеста умели втереть прохожему самую пустячную и никуда не годную вещь. Также доставляло ему большое и чисто мальчишеское удовольствие ходить по Большим бульварам в те погожие часы, когда там безвестные изобретатели и мастера продавали детские игрушки, всегда новые, всегда забавные, всегда заманчивые и остроумные. Ведь только здесь, в невольном и тяжком изгнании, он понял, что почти все милые и любимые игрушки его раннего московского детства круговым путем приходили из Парижа: и бильбоке — игра садовая, и американский чертик, разноцветные воздушные шары, и скрипучие кри-кри, запрещенные потом оберполицмейстером Огаревым. А парижские кустари выделывают да выделывают все новые да новые игрушки, забавляющие взрослых и детей, стариков и старух, девочек и мальчиков. Какая веселая изобретательность и какое знание сегодняшней моды. Стали парижские дамы увлекаться фокстерьерами — на бульварах тотчас же появляются крошечные фоксы из лайки, плюша, фланели и даже бархата. Вошли в моду мохнатые айриштерьеры — и уже на Больших бульварах продаются сотни этих добродушных, симпатичных собачонок, которые и живыми кажутся, будто они наспех, неумелыми детскими руками, сделаны из ваты, пуха и домашних мелких лоскутков. Потом пришла очередь Микэ, не то мышат, не то морских свинок, не то кроликов. Эти Микэ раньше до слез смешили ребятишек, выходя в антрактах кинематографов

на экране, но потом их потешный образ был перелицован в маленькие игрушки, которые и смешили по-прежнему и вскоре оказались отличными порт-бонерами[1]. Большой успех имели растягивающиеся и сжимающиеся игрушки ё-ё, но успех их оказался недолгим — месяцев пять-шесть, а потом он исчез. Но бывают игрушки-счастливцы, на которые не влияют ни моды, ни время, ни капризы покупателей и которые в спросе постоянно: десятками, если не сотнями лет. Тут либо ворожба, либо умно схваченный вкус всех детей одного и того же возраста. Это, во-первых, два картонные борца, которые прекрасно изображают на столе все перипетии римско-французской борьбы, будучи незримо привязаны к тончайшей ниточке, управляемой игрушечником. Затем утка, крякающая при нажиме на весь базар, и, наконец, жуки, мухи, стрекозы, пчелы и прочая тваришка, которая сама движется от пружинного завода. И, двигаясь, дребезжит. Конечно, такая игрушка может прожить несколько человеческих поколений, если солидный папа вынимает ее в праздничный день из стеклянного футляра и осторожно заводит, отнюдь не перекручивая завод, а после того, как кукла исполнила свой номер, осторожно запирает ее в тот же футляр, где она пролежит мирно до следующего большого праздника. Но куда же мы тогда денем невинное детское любопытство и присущее детям научное влечение ко всем механизмам?

На другой же день после своего сентиментального разговора с оверньятом Антуаном Симонов пошел на Большие бульвары. Предварительно он сделал строгий учет своей денежной кассе. Наличными оказалось одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Черному коту Пятнице печенку не покупать ввиду его безвестного отсутствия. Это — плюс. Старые мозеровские часы можно было бы продать или заложить. Ход у них, как у судового хронометра. Но кто же польстится на древние серебряные, да еще пожелтевшие

[1] Брелоками (от *франц.* porte-bonhem).

за долгую службу часишки? Взять аванс на одном из уроков? Спросят: зачем понадобилось? А не умею я ни лгать, ни кривить умильно подобострастного лица. Обойдусь иначе. Да вот, на что лучше. Пробные опыты вегетарианства, как лучшего стимула физического и духовного возрождения. Это — идет. Полфунта белого хлеба, немножко черствого, стоит пятьдесят сантимов и хватает на два дня. Теперь вопрос в питательных вещах и в витаминах. Хорош геркулес, недурна овсянка, хвалят квакер и поридж. Надо из них выбрать что посытнее и подешевле. Чай у меня спитой, но был в употреблении только один раз и потому смело послужит еще раз на пять-шесть. Право, все в порядке!

На Больших бульварах, как всегда, было много продавцов игрушек, пропасть покупателей и еще больше праздных зевак. Симонову трудно было выбирать. Что казалось хорошим, было дорого, а дешевые вещицы были скучны, не интересны.

На Итальянском бульваре профессор вдруг наткнулся на игрушку, которая показалась ему и новой, и занимательной, и красивой. На левой руке продавца, под мышкой у него, сидит крошечный веселый фокстерьерчик, трудно сказать — щенок, или уродец, или лилипут. Он необычайно мал и мил. Глазки его задорно блестят, миниатюрные лапочки, вылезшие наружу, находятся в непрерывном движении. «Ну что за прелестный песик», — думает профессор и тут только замечает, что фокстерьер сделан из какой-то белой материи, глаза — из литого стекла, лапочки его заставляет двигаться каким-то образом хозяин. Но не один профессор поддается этой ловкой иллюзии. То и дело у лотка восклицают не только мужчины, но и более их проницательные женщины:

— Ах, какая прелестная собачка! Можно подумать, что в самом деле игрушечная. Но кто же сумел вырастить такую мелкую породу? Удивительно, до чего теперь доходит всякое искусство! Ах! как он на меня сейчас поглядел. Ну просто не собака, а человек.

Симонов с унылой безнадежностью спрашивает сипло:

— Сколько?

— Десять франков девяносто сантимов.

Симонов долго и молча стоит, пришибленный своей проклятой бедностью. У него налицо всего одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Если один франк удержать у себя на всю грядущую массу расходов, то, увы, на покупку фоксика все-таки не хватает трех су.

— Три су, — кричит в молчаливом отчаянии профессор к небу, — только три су! Найти бы их хоть на земле. — Он нагибается до самого тротуара. Здоровенный, чеканки Наполеона III, гро-су лежит на земле. Профессор почти не удивляется. Увы! еще одного пти-су нет, одного су, на который теперь во Франции нельзя купить, кроме пустой аптечной облатки, ничего.

Но хозяин очаровательного фоксика добродушно говорит:

— Оставьте, не затрудняйте себя. Всего одно су — какой пустяк! Вы лучше посмотрите, как надо управлять собачкой. Один палец сюда, другой сюда, а несуществующее туловище вы как бы прикрываете рукою. Благодарю вас, мосье, я чувствую, что у вас легкая рука.

На другой день, ранним утром оверньят Антуан как бы случайно находит в своем емком камионе эту великолепную игрушку и дарит ее Жанете, показав сначала все чудесные движения веселого, ласкового песика. Игрушка имеет во всем квартале поразительный успех. Все друзья и подруги Жанеты целый день наполняют улицы, переулки и тупики восторженным визгом и неистовыми криками:

— О Жанета, позволь и мне подержать на минуту твою волшебную собачку! Милая Жанета, а она умеет лаять? Как ее зовут, Жанета? А можно ее погладить, Жанета? Ах, какая ты счастливая, Жанета!

Жанета добра и великодушна. К тому же ее радость так чрезмерно велика, что можно в ней захлебнуться, если не поделишься с другими. Она за сто шагов увидала Симонова и помчалась к нему, как ласточка:

— Господин профессор! О, мой дорогой господин профессор! Посмотрите, какая у меня восхитительная вещичка. Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное?

Профессор сделал удивленно-серьезное лицо.

— Нет, милая Жанета, никогда не видел. Это — настоящее чудо. В том, что собачка — фокстерьер, можно не сомневаться по всей ее наружности, но я уверен в том, что такой малюсенькой собачки никто еще на свете не видывал. Это либо англичане, либо японцы могли вырастить такую редкостную породу. Ты ее чем кормишь, Жанета?

Тут девочка разражается звонким хохотом.

— Да ведь она не настоящая, не живая. Она неодушевленная. Она сделана из какой-то материи, у нее даже нет живота, и она не дышит.

— Удивительно! — говорит профессор. — Глаза у нее совсем живые, а мордочка превыразительная. Откуда ты ее взяла, Жанета?

— Мне подарили. Господин Антуан подарил, который по утрам мусор собирает.

— Ну что же, подарок забавный, — хвалит Симонов, — ты его береги.

Веский, времен Наполеона III, десятисантимный гро-су, который с такой уверенностью нашел Симонов на тротуаре Итальянского бульвара, завязал в мозгу и в памяти профессора целый клубок мыслей, воспоминаний и отважных идей. Сиденье на овсяном супе и на спитом чае только поощряли изобретательность и энергию ума.

Вот здесь, в Пасси, думал он, близко, стоит рукой подать, находится Булонский лес, резервуар свежего воздуха, с громадным скаковым ипподромом, с двумя озерами, по которым плавают ручные птицы и где можно кататься на лодках. Этот Булонский лес вовсе еще не лес, а хорошо возделанный парк. Но если пойти вглубь, по направлению к Лоншану, то можно забрести в настоящую лесную чащобу, где иногда выбегают к людям стайки грациозных, пугливых диких козочек, ис-

чезающих мигом при неловком движении, при резком звуке. А в другую сторону Булонского леса — зоологический сад. Слоны, медведи, гиены, моржи и тюлени, фламинго и марабу, обезьяны и всякая дикая живность. Недалеко от Булонского леса — Трокадеро с интересным аквариумом, с богатым музеем, с огромным театром, где даются старые, классические, прекрасные пьесы. Всего этого никогда еще не видела милая девочка Жанета. Конечно, Симонов и подумать не смеет о систематическом образовании и воспитании чумазой Жанеты. Куда ему! В свое время она пройдет материнскую школу, потом коммунальную, потом — недорогой лицей, в котором научится немного грамматике, немножко литературе, немножко физике и химии, немножко математике, немножко истории и географии, — все для того, чтобы не быть круглой невеждой. А потом, если окажется дар божий, то кто же помешает ей сделаться новой Жорж Занд или новой мадам Кюри? Но профессор умом, чутьем, инстинктом знает и верует в то, что первичные детские впечатления входят в восприимчивые души младенцев и ребятишек с такой необычайной силой и с такой стихийной мощью, которые не имеют себе ничего равного в мировом здании. Каждый свет и цвет, каждый фальшивый и музыкальный звук, каждый оттенок человеческого голоса, каждый запах и каждое движение воздуха, каждый предмет, к которому сознательно или полусознательно прикасается будущий человек, каждое услышанное и сказанное слово, каждая мысль, слабо шевельнувшаяся в несовершенном еще мозгу, каждое подобие сна во сне, каждый атом пищи, проглоченный неумелым и жадным ртом, — все эти явления, образы и предметы идут на созидание того могущественного здания, которому имя *человек* и перед которым все созданное людьми является жалким ничтожеством. «Да, — говорит сам себе с умилением профессор, — правы те мудрые учители, которые советовали окружать рост младенца красотою и добром, рост дитяти — красотою и первичными знаниями, рост отрока — красотою и физическим развитием, рост юношей и дев — красотою и учением».

И профессор говорит дальше:

— Да, пусть Жанета ходит в свою родную школу и учится чему хочет и может на родном языке, который всегда лучшая пища для ума, но почему же ей, под моим любящим руководством, не научиться постигать бесконечную красоту, доброту, богатство и прекрасную планомерность мира? Здесь одна препона: властолюбивая, суеверная, недоверчивая мать, хозяйка газетного киоска. Но ничего. Такую невинную забаву, как зоологический сад, ярмарки или театр, мы уж как-нибудь состряпаем. Недаром я человек хитрый, вроде североамериканского дикаря, на мамашу мы не станем действовать непосредственно и лично. Нет, как застрельщика, мы пустим вперед ее ами, господина Огюста, ленивого и падкого к вину пломбье[1]. Его просьбе влюбленная дама, конечно, не откажет. А главное — это, что все расходы на воскресную прогулку я беру на себя. Это ли не макиавеллиевский прием? А дружба с пломбье давно уже началась и с каждым днем становится крепче. Она несложна: пять-шесть партий в беллот, во время которых профессор будто бы не замечает, что партнер его не прочь приписать на свой счет десять—пятнадцать туров красного вина или Перно, взятых Симоновым как бы по ошибке на себя, а особенно искренняя, горячая любовь профессора к Франции и французам — вот узы этой прочной дружбы, на которую уповает хитрый старый эмигрант. Но есть и другое трудноодолимое, почти совсем неодолимое препятствие: деньги. Их нет совсем и давно уже нет. Однако профессор не унывает. Он не напрасно считает себя счастливцем. Начиная от тех глубоких времен, когда он начал сознательно помнить себя, все его серьезные желания исполнялись. Исполнялись порою целиком, порою в половину, а чаще в пятую или десятую долю, но все-таки исполнялись. Помнится ему, как еще до поступления в приготовишки жил он с родителями в Москве на Пресне, в деревянном доме, большой двор которого был настоящим ристалищем для благородной игры в бабки. И вот малышу Кольке во что бы то ни

[1] Рабочего свинцового завода *(франц.)*.

стало захотелось выиграть бабку-свинчатку, взяв ее с боя. Конечно, такую свинчатку было легко и возможно купить, самому сделать или заказать литейщику, но такая бабка не имела почета и не внушала уважения. Ценилась только бабка свинчатка-битка, которая имела бы свою батальную историю, подтверждаемую свидетельством знаменитейших в квартале игроков. Добыть такую свинчатку бывало нелегко: требовалось разбить столько-то конов и выбить столько-то свинчаток, играя с партнерами наивысочайших качеств. И Симонов выслужил-таки свою знаменитую свинчатку. Правда, через год, будучи уже в первом классе гимназии и перейдя через великое испытание.

Потом, уже во втором классе гимназии, его страстно повлекло желание попасть в гимназический церковный хор. Это удалось не скоро и пришло к Симонову лишь тогда, когда его сиплый теноришко переломился в приятный баритон. То же было с умением плавать, с верховой ездой, с первым застреленным зайцем, с первой робкой наивной любовью, с первой лекцией, с первой вышедшей в свет книгой. Правда, с годами профессор стал замечать, что сила желания и послушность ему судьбы живучи только в юности, немного устают в молодости, слабеют в зрелом возрасте, а затем, хотя и повинуются, но как-то спотыкливо и неуверенно, но все-таки повинуются. В Париже, в дурные дни, он нашел на улице один раз пять франков, а в другой — два. Да вот и недавний случай на Итальянском бульваре. Разве не по его желанию нашелся на земле этот толстый гро-су? Надо только собрать в комок волю и напрячь желание.

Всю ночь лил сплошной дождь. Утро проснулось теплое и туманное, солнце скрывалось в густых ленивых тучах.

Как всегда, профессор рано скатился со своего чердака на улицу. Мусорщики уже начали свою работу. Вспомнилась Жанета, принцесса четырех улиц, и сердце заколотилось и заныло от непонятной жалости. Навстречу Симонову шел его старый друг художник.

— Добрый день, господин профессор!

— Добрый день, Иван Иванович. Что же, пойдем в Буа-де-Булонский лес?

— Пойдем.

Они пошли далеко за ипподром, вдоль наружного озера до паромного перевоза на другую сторону. Художник выбранил политику Германии и предсказывал близость ужасной войны, размеров и жестокости которой не может представить себе человеческое воображение.

Так они дошли до той бухточки, где стояли лодки, отдаваемые напрокат. Впереди их ждало странное зрелище. Лебеди сгрудились на воде в густом тумане. Странно: перспектива совсем пропала, точно исчезла, осталась лишь плоскость. От этого птицы казались нарисованными или, вернее, нанизанными на невидимые ниточки и поставленными параллельно.

— Что за черт! — воскликнул неприятно удивленный профессор. — Кажется, весь мир сплюснулся?

— Это ничего, — пояснил художник, — это только абберация зрения, то самое, что бывает на кораблях и в пустынях. Сейчас взойдет солнце, и все станет на свои места, указанные господом богом.

И действительно, художник был прав. Туман скоро осел, предметам вернулось их тело. Друзья пошли обратно. Художник вдруг по дороге сказал:

— Я чуть не забыл с этими туманными превращениями, что пришел к вам по делу. Помните вашу старинную картинку по дереву?

Симонов напряг память и вспомнил. Речь шла о художественной маленькой вещице, которая множество лет валялась в родовом новгородском доме Симоновых и которую профессор почему-то вывез с собою в Париж. Она в темных тонах изображала древнюю голландскую или фламандскую харчевню, с молодцом в медном шлеме, с роскошнотелой, полуголой женщиной, с белой собакой и с мальчуганом, делающим в угол то же, что и брюссельский Манекен-пис. Когда-то, очень давно, профессор дал эту вещь художнику с просьбой узнать ее автора и приблизительную стоимость. Он сказал:

— Помню. И что же?

— Это не Теньер, как я предполагал, а Тенирс, любимый ученик Теньера. Что любимый — видно из того, что он дал ему как бы частицу своего имени. Вещь хорошая. Если наскоро ее продавать в магазинах обже д'ар [1], дадут тысяч восемь—десять. С любителя можно свободно взять двадцать, а со знатока и тридцать. И все. И моя миссия окончена.

— Я обещал дать вам куртажные, — мягко сказал Симонов.

— Эх, бросьте глупости городить, — ответил художник. — Вы обещали, а я этого обещания и слышать не хотел. Съедим когда-нибудь ляпэна [2] или барашка с чесночком в кабачке у мадам Бюссак и запьем их шопином красного ординера, и баста. Квиты.

Они поднимаются по перекидному мосту и по нему же спускаются на другую сторону, вниз, прямо к давно знакомому киоску. Профессор идет первым... Художник вдруг с удивлением слышит его тревожный возглас:

— Господи! где же киоск? Что же случилось с киоском?

Легкий художник горошком скатывается вниз и застает профессора с руками, вздетыми к небу. Журнальная лавка полупуста и полуразрушена, повсюду пыль, грязь, клочья бумаги, обрывки веревок и шпагата, и вокруг теснятся чужие, незнакомые люди, похожие на погромщиков. Профессор ничего не понимает, но сердце у него холодеет и сжимается от дурного предчувствия. Незнакомые громилы внушают ему суеверный страх. Он идет в бистро мадам Бюссак.

— Мадам, что такое случилось с киоском? Неужели какое-нибудь несчастие?

Госпожа Бюссак — истинная староста Пасси. Она всегда и все знает раньше других.

— О, ничего особенного, господин профессор. Успокойтесь.

И тут она подробно рассказывает Симонову всю суть киоскного происшествия.

---

[1] Предметы искусства (*франц.*).
[2] Кролика (от *франц.* lapin).

Мать Жанеты своего газетного дела никогда не любила; никогда не хотела и не умела его вести. И вот теперь представился ей очень выгодный случай разделаться со своим киоском. Вчера вечером она окончила сдачу своего дела новым владельцам и поехала на вокзал с Жанетой и с господином Огюстом. Ни для кого не были тайной их отношения, но теперь они устраиваются, как настоящие буржуа. Мать Жанеты получила на днях кругленькое наследство у себя в Лангедоке или, кажется, в Бретани, а господин Огюст получает там же солидное место на большом заводе. Конечно, прибыв к себе в скучный Лангедок, они немедленно обвенчаются, сначала в мэрии, а потом в церкви.

— Ну, что же, господин профессор, пожелаем им доброго пути и счастливого брака, — сказала госпожа Бюссак.

— Пожелаем. Дай бог, — сказал профессор. — Ах, как мила была ее дочка Жанета.

— О да. Славная девочка.

Густой туман, спустившийся на Париж, стоял до вечера. Симонов вернулся домой поздно. Внезапное исчезновение Жанеты и тяжелая погода совсем его раздавили. Он сидел в темноте, без огня, и безучастно перебирал невеселые, серые мысли. В первый раз за всю жизнь ощущал он тихую тоску.

Полил крупный редкий дождь и забарабанил по железному козырьку. «Вот и дождь идет, — подумал профессор равнодушно, — а зимой, может быть, и снег пойдет... Все законно...»

В эту минуту крыша выгибается с железным грохотом, кто-то царапается в стекло.

— Кто там? — кричит профессор и, не дождавшись ответа, открывает окно. Мягкий, тяжелый клубок падает на пол. Симонов зажигает огонь и нагибается. — Пятница! — восклицает он с удивлением и радостью. — Это ты, Пятница? — Кот прыгает ему на колени и начинает бесконечную мурчащую, рокочущую песню. Тут только Симонов с ужасом замечает, какие жестокие следы оставили на его верном друге Пятнице два протекших года: он хромает на правую переднюю и на

левую заднюю ноги; на всем теле следы вырванных клочьев шерсти; на морде еще не зажившие глубокие царапины.

— Срамник ты, Пятница, — говорит, вздыхая, профессор. — Впрочем, оба мы хороши.

Кот зевает во всю пасть, показывая весь красный шершавый язык, и громко требует, — мняу, мняу... — я голоден, как собака.

Молча надевает профессор свою непромокаемую разлетайку и бежит по дождю в бистро мадам Бюссак за остатками говядины и молока.

ЦАРЕВ ГОСТЬ ИЗ НАРОВЧАТА

Прежде всего надо осведомить читателей о том, что такое Наровчат, ибо слово это ни в истории, ни в литературе, ни в железнодорожных путеводителях не встречается. Так вот. Наровчат есть крошечный уездный городишко Пензенской губернии, никому не известный, ровно ничем не замечательный. Соседние городки, по русской охальной привычке, дразнят его: «Наровчат, одни колышки торчат». И правда, все наровчатские дома и пристройки построены исключительно из дерева, без малейшего намека на камень, река Безымянка протекает от города за версту; лето всегда бывает жаркое и сухое, а народ — ротозей. Долго ли тут до божьего попущения? Так и выгорал из года в год славный город, выгорал и опять обстраивался.

Однако бедным городом Наровчат никак уже нельзя было назвать. По всему уезду пролегала превосходная хлебная полоса, природным, густым черноземом на две сажени в глубину: никакого удобрения не надобно; урожай сам-сто, — груши, яблоки, сливы, вишни, малина, клубника, смородина — прямо хоть на международную выставку, а рогатый скот, домашняя откормленная птица и молочные поросята далеко превосходили и оставляли за собою не только Тамбов, но и Ярославль. Рабочей крестьянской силой была

преимущественно мордва, захожее издревле племя, родня, с одной стороны — финнам, а с другой — венграм; народ туго понимаемый и языческий, но добродушный, уживчивый, не знающий отдыха в работе, трезвый и находчивый. Мордовские цветные вышивки на женских одеждах до сих пор известны всей России, так же как мордовская упряжь и мордовская обувь. В Рязанской губернии до сих пор еще говорят о человеке скрытном и лукавом: «Прост-то он прост, да простота-то его, как мордовский лапоть, о восьми концах».

Что же касается до помещиков, то почти все они состояли из татарских князей. Роды свои они вели от Тамарлана (хромого Таймура), Чингис-хана, Тахтомыша и других полумифических восточных владык, но уже давно отошли от веры магометовой, а русскую грамоту разбирали кое-как, а то и вовсе ее не разбирали. Однако карточная игра прочно привилась в Наровчате. В почтенных дворянских домах играли в преферанс по копейке очко. Духовенство резалось в стуколку, а в Благородном собрании процветал серьезный штосс, за которым проигрывались не только крупные ассигнации, но порою коляски с лошадьми, крепостные мужики, бабы и девки и целые имения.

Тогдашние шулера, даже самые крупные, никогда не обходили своим профессиональным вниманием Наровчатскую троицкую ярмарку и считали ее, по доходности, второй после знаменитой Лебедянской. Не обходили Наровчат и лихие ремонтеры: тамошние лошади были хороших кровей, доброезжие и ладные под кавалерийское седло. Что греха таить, случались в Благородном собрании недоразумения, споры, неизбежные скандалы и бурные объяснения, в результате которых летали канделябры, облаивалась честь дворянских родов шестой книги и раздавались грозные голоса:

— Вызываю! Сейчас же стреляться через платок! Где секунданты?

Надо сказать, что этот роковой кровавый и смертельный вызов на мгновенную жестокую дуэль имел когда-то огромное распространение в дворянских захолустьях, но ни один печатный или письменный

документ, ни одно словесное показание старожилов не донесли до сведения потомства о ритуале этого страшного поединка, о его правилах и об его бесчисленных убийственных жертвах во всех уездных городишках великой России. Правда, один из последних могикан, почтенный и престарелый князь Чугильдеев, рассказывал мне однажды под веселую руку о дуэли через платок, которой он был живым свидетелем в пору своей золотой юности. Но рассказ его был так бестолков, так запутан, так местами сам себе противоречив, что доискаться до серединной, хотя бы приблизительной истины не было никакой возможности. Порою казалось, что старший из секундантов, швыряя свой скомканный носовой платок вперед перед собою, обозначал этим место барьера, порою казалось, что дуэлянты по сигналу палили друг в друга через туго натянутый большой платок, не видя один другого, наудачу. Порою же поединок признавался несостоявшимся за неимением у всех джентльменов ни одного носового платка. Но если дуэль и совершалась, то происходила она тут же в зале Благородного собрания и единственной жертвой ее являлся либо клубный лакей, либо маркер при биллиарде, получивший незначительную рану в седалище. Впрочем, князевым рассказам трудно бывало давать вес и доверие, особенно тогда, когда он находился под мухой.

Как уже сказано было выше, замечательных и примечательных событий в Наровчате никогда не происходило. Даты времени отсчитывались по мелким домашним происшествиям... Это было за год перед тем, как у Ольги Иннокентьевны родилась двойня; или год спустя после того, как мировой посредник Фалин привез из Пензы секрет яблочной пастилы, и все другое в том же роде.

Но был все-таки в утлой и скудной летописи безвестного городка Наровчата один-единственный случай, который смело можно назвать необыкновенным и которому в свое время с пламенной ревностью завидовали и толстопятая Пенза, и раскормленный Тамбов,

и богатая магометанская мыльная Казань. Да и в самом деле было чему завидовать: вскоре после победы над Наполеоном и двенадцатью языками великий победитель, незабвенной памяти государь и император всея России Александр Павлович, высочайше соизволил осчастливить уездный город Наровчат своим милостивым посещением. Милость, — с какой стороны на нее ни погляди, — столь же громадная, сколь неожиданная и необъяснимая.

Правда, давно уже всем верноподданным россиянам была известна благородная любовь Александра Павловича к далеким путешествиям по своему царству. Недаром же после его кончины некий смелый вития сказал краткую эпитафию:

Всю жизнь провел в дороге
И умер в Таганроге.

Однако прибытие государя в скромный Наровчат имело свой особенный, чисто наровчатский характер.

Для сокращения пути на Казань государевы передовые вожатые решили проехать через Наровчатский уезд и, следовательно, по мосту через речку Безымянку. Так и расположили маршрут. Но, увы, на безымянском мосту злой рок подстерегал императорский кортеж. Никто из императорской свиты не догадался своевременно удостовериться в состоянии моста — этакие ротозеи! Государев венский дормез был не в меру тяжел, а безымянский мост не ремонтировался лет так с тридцать, тридцать пять. И вот произошла страшная беда: тяжеловесный экипаж был на самой середине, когда ветхий мост рухнул и развалился на мелкие части. Бог хранил своего избранника. Пострадали, и то не смертельно, форейторы и ездовые; государь же отделался сильным ушибом левой ноги. Всем известно, что Александр Павлович был истинным ангелом во плоти; он всем простил и ни на кого не гневался. Наоборот, ласково утешал пострадавших и ободрял растерявшихся. И так как врачи настаивали на немедленном отдыхе для излечения ушиба, то государь милостиво соизволил принять гостеприимство в роскошном доме у предводителя дворянства Иннокентия

Владимировича Веденяпина, куда он и был перенесен на носилках, со всеми предосторожностями.

Воистину прекрасная душа победоносного царя всероссийского была полна доброты и благоволения. Когда ушибленная нога его величества пришла в такой порядок, что, будучи обвязанной крепкими бинтами, не препятствовала Александру Павловичу осторожно передвигаться с места на место, то государь с прелестной улыбкой дал свое согласие наровчатским дворянам присутствовать лично на торжественном балу в честь выздоровления обожаемого императора. Бал этот, дававшийся в просторных залах Благородного собрания, был сказочно, неописуемо великолепен. Выписано было два оркестра: один военный, из пехотного полка, стоявшего в Пензе, другой — струнный, из Тамбова. Стены собрания и снаружи и изнутри были сплошь усыпаны живыми роскошными цветами. Пензенский богатый помещик Дурасов не пожалел на это пышное украшение всех своих редкостных знаменитых оранжерей. Угощение подобрали самое лукулловское: разные там оршады, лимонады, крюшоны и жжёнки; мороженое всех сортов и прочие всякие тонкие деликатесы. Пензенские заметные дамы в сильно декольтированных костюмах ампир, кавалеры в цветных фраках. Достаточно того сказать, что весть об этом колоссальном бале дошла до обеих столиц и была пропечатана в петербургской газете, а память о сказочном торжестве осталась среди наровчатских жителей на пятьдесят, а то и на сто лет.

Забинтованная нога не позволяла государю принять участие хотя бы в традиционном и весьма нетрудном полонезе, но на усердные танцы наровчатского бомонда [1], обучавшегося хореографическому искусству у заезжей француженки де Пудель, он глядел, сидя в почетных креслах, с большим вниманием и с благосклонной радостной улыбкой. Молодой флигель-адъютант государев, блестящий гвардейский офицер, стоявший за спиной императора и не изменявший своего серьезного должностного лица, тут же вполголоса

[1] Аристократического общества (от *франц.* beau monde).

экспромтом напевал в темп гросфатеру забавные стишки на танцующих:

Вот за офицером
Бежит мамзель,
Ее вся цель,
Чтоб он в нее влюбился,
Чтоб он на ней женился.
Но офицер
Ее не замечает
И дальше поспешает
Во весь карьер.

А на другой танец, более резвый, он импровизировал другие стишки:

Кума шен, кума рон!
Кума дальше от комода,
Кума чашки разобьешь.
Трам, трам, тара-ра,
Напирайте, господа.
Там налево осторожно,
Зацепить за горку можно.
Траля, траля-ля,
Не спешите, господа.

И все в таком же веселом роде. Стишки эти до слез и колик смешили государя, соскучившегося в наровчатском невольном сиденье, но еще больше ему понравилась парочка Хохряковых, мужа и жены; оба они были кургузенькие, пузатенькие, но ужасно манерные и жеманные. Вероятно, во всем мире не бывало видано таких вычурных наизатейливых гротесков, которые откалывала с важностью чета Хохряковых. Глядя на них, деликатный Александр Павлович делал все усилия, чтобы не расхохотаться громко. Но когда Хохряковы окончили свой черед, он послал к ним адъютанта с просьбой узнать, не будут ли они так любезны, чтобы повторить свой танец. С неописанным наслаждением исполнили они желание императора. Но этой чести было еще мало. Покидая зал и поблагодарив наровчатское дворянство, государь отдельно подозвал к себе Хохрякова и ласково сказал ему:

— Я с удовольствием любовался вашими танцами и очень жалею, что моя жена не могла их увидеть. Но если вам придется когда-нибудь приехать в Петер-

бург, то милости прошу ко мне во дворец. Я охотно представлю вас ее величеству.

На другой же день государь покинул Наровчат.

Прошло достаточно много времени. Наровчат после великих дней пребывания в нем царя постепенно ввалился в обычную, привычную колею. Пришли, наконец, будничные, сумрачные дни, когда городишко совсем перестал говорить и думать об августейшем посетителе, так же как забыл он интересоваться таинственной судьбой дворянина Хохрякова, который через неделю после отъезда государя со свитою вдруг исчез неведомо куда и неведомо зачем и вот уже месяцами не давал о себе ни слуха, ни знака. Соседи спрашивали мадам Хохрякову:

— А не поехал ли часом ваш благоверный в Санкт-Петербург по государеву приглашению?

Но госпожа Хохрякова отвечала кратко:

— Куда ему, сопливому. Он дальше Тамбова и проехать не сумеет. Одна беда — все наличные деньги с собою увез. Боюсь, не дунул ли в Царицын к цыганкам. От него, поганца, станет.

Вот и все. Вскоре Хохрякова как бы и на свете никогда не бывало...

...И вдруг перед самым рождеством Христовым разносится по всем домам животрепещущая новость:

— Приехал! Приехал! Хохряков только что приехал! В Петербурге был! Во дворец был приглашен, с августейшими особами чай пить и беседовать удостоился! Жена ему теперь за вранье волосы дерет. Идите скорее глядеть!

Но когда все эти домашние суспиции и козьи потягушки затихли, а взбудораженный муравейник успокоился, то отцы города строжайше потребовали от Хохрякова точного и правдивого отчета во всех его похождениях, приключениях, встречах, знакомствах, удачах и провалах и так далее. В большом зале Благородного собрания рассказывал дворянин Хохряков, в присутствии всех знатных наровчатцев, свою изумительную Одиссею.

— Должен сначала сказать, что я, долго и многосторонне обдумывая милостивые и, скажу, даже ласковые слова его величества, обращенные ко мне на торжественном балу, понял, что это бесспорно есть знак высочайшего одобрения моему искусству танцевать, а всемилостивейшее приглашение обожаемого монарха побывать при возможном случае в его резиденции нельзя понимать иначе, как желание императора увидеть еще раз эти танцы и дать возможность поглядеть их своей августейшей супруге. Исполнить малейшее желание великого государя всея России есть первейший и священнейший долг каждого верного подданного. Вот мотив, по которому я поехал в Петербург. Меня, может быть, спросят, почему я не взял с собою в вояж возлюбленную супругу нашу и уважаемую сожительницу, несравненную Алевтину Исидоровну. Ответ прост — государь, произнося свое великодушное приглашение, изволил говорить лишь со мною, исключительно со мною, и его царственные взоры были обращены только на меня. Согласитесь, имел бы я право ввести в царские чертоги особу, хотя и блистающую всякими достоинствами, но официально не имеющую приглашения?

Но тут все наровчатские нотабли [1] дружно закричали:

— Верно, правильно! Браво! Переходите ко главному!

И успокоенный Хохряков начал свой рассказ:

— Ехал я на почтовых девять дней с небольшим, пока не приехал в Санкт-Петербург. Ужасно большой город, раз в десять больше нашей Пензы. Остановился в Балабинской гостинице. Шик прямо сверхъестественный. Переночевал благополучно. Утром велел коридорному начистить сапоги до военного блеска. Спрашиваю: «Где теперь изволит проживать государь император?»

Представьте себе, в гостинице никто не знает. Слава богу, околоточный надзиратель на улице помог: «В Зимнем дворце». Я — туда, на извозчике. Господи, ну

[1] Почетные, именитые лица (от *франц.* notable).

и дворец! Я там себе как самая ничтожная мошка показался. Отовсюду входы и выходы. Сто крылец, сто подъездов, и всюду миллионы деловых людей бегают. Я спрашиваю, как пройти к государю, по его личному словесному разрешению и даже приглашению. Не тут-то было. Спрашивают: «А где у вас бумаги? Где разрешение? Кто за вас ручается? Кому вы известны?» И трата-ти и трата-та... Я уже потерял присутствие духа, как вдруг подходит ко мне тот самый флигель-адъютант, который на балу в Наровчате такие насмешливые вирши складывал.

— Здравствуйте, — кричит, — пензяк толстопятый! Как живы, здоровы? Что в Питере делаете?

Я рассказал этому прекрасному гвардейцу все мое положение и все мои адские затруднения, а он говорит:

— Я понимаю, как вам тяжело в незнакомом городе, да еще без протекции. Подождите меня вот у этой арки, а я вам сейчас разрешение принесу.

Сказал и скрылся, а через четверть часа прибегает обратно.

— Государь очень рад будет увидеть вас в восемь часов за своим интимным чаем, а пока пойдем немного прогуляемся по Невскому проспекту и у Доминика в биллиард поиграем.

Ровно в восемь поднялись мы по роскошным мраморным лестницам в верхние, уютные, лишенные всякой официальности, домашние палаты молодых государя и государыни. Когда я сделал низкий придворный поклон, Александр Павлович любезно протянул мне руку. Я хотел ее облобызать, но царь не дозволил этого и сказал:

— Ручку ты поцелуешь у моей жены. Вот, Лизанька, мой друг из Наровчата. Прошу любить да жаловать. Ах, если бы ты знала, с каким отменным пафосом он танцует старинный гросфатер.

Я приложился к прекрасной маленькой ручке государыниной, и ее величество ласково сказать соизволила:

— Очень рада сделать знакомство с вами. Позвольте предложить вам чаю.

А государь говорит:

— Чего хочешь, брат Хохряков? Чаю или кофею?

— С позволения вашего императорского величества, попросил бы чаю.

— А с чем предпочитаешь чай, брат Хохряков? Со сладким печеньем или с марципаном?

— Как угодно вашему величеству.

— А что, брат Хохряков, а не разбавить ли нам чай китайский настоящим ямайским ромом?

— Думаю, что не повредит, ваше величество.

И тут государь обращается к своей порфироносной супруге:

— Не знаешь ли, Лизанька, остался ли у нас еще в погребе этот отличный ямайский ром?

— Кажется, остался.

— И чудесно, — говорит государь. — Ну-ка, полковник, — обращается он к юному флигель-адъютанту, — идите-ка в погреб. Поищите там рому покрепче и подушистее.

Тот мигом сорвался с места и исчез. Не прошло и четверти часа, как он вернулся с кувшином бемского граненого хрусталя, наполненным амброзией и нектаром. Понимаете ли? Ром из царских погребов! Высочайшая во всем мире марка! У нас в Пензе лучшие знатоки вина определяли достоинство хорошего рома по мере того, насколько сильно он пахнул клопом. Но императорский ром — дело совсем другого рода: он благоухал и портвейном, и хересом, и малагой, и доппелькюмелем, и мадерой, и опопонаксом, и резедой, и имел он крепость необычайную. Я с трудом, через силу, выпил рюмки четыре, а больше не мог, натура не позволила. Вежливо, но отказался. В голове зашумело. Помню, как адъютант подал мне глазами знак уходить. Я низко раскланялся, а государь, смеясь, спросил меня:

— А скажи, брат Хохряков, починили ли в Наровчате тот мост, на котором я чуть-чуть не сломал себе ногу?

Мне стыдно и страшно было ответить, и я решился на маленькую ложь.

— Государь, — сказал я, — уезжая из Наровчата, я успел заметить лихорадочную работу над возведением отличного каменного моста через эту несчастную речку. Но в скорости он будет закончен.

Государь и государыня милостиво простились со мною. Флигель-адъютант проводил меня пешком до моей гостиницы и по дороге все спрашивал меня, весело смеясь:

— Что, брат Хохряков? Вкусным я тебя ромом попотчевал?

Так мое путешествие в Петербург и прошло благополучно. Но только, господа дворяне, вы уж меня перед моим обожаемым царем не подведите. Постройте хороший мост через Безымянку.

И все Благородное собрание ответило громом рукоплесканий и самыми горячими обещаниями.

С того времени прошло сто лет с небольшим. До сего дня в Наровчате есть старинная поговорка: «Чего, брат Хохряков, хочешь? Чаю или сахару? С пирожными или с марципанами?»

Но мост через Безымянку так и остался в прежнем ветхом состоянии, и по весне на нем неизменно калечатся люди и лошади.

НОЧНАЯ ФИАЛКА

Есть в Средней России такой удивительный цветок, который цветет только по ночам в сырых болотистых местах и отличается прелестным кадильным ароматом, необычайно сильным при наступлении вечера. Будучи же сорванным и поставленным в воду, он к утру начинает неприятно смердеть. Он вовсе не родня скромной фиалке. Ночной фиалкой его назвали безвкусные дачницы и интеллигентные гостьи. Крестьяне разных деревень дали ему несколько разнообразных и выразительных названий, которые выпали теперь из моей головы, и я так и буду называть этот цветок ночною фиалкою.

Он не употребляется у крестьян ни как целебное растение, ни как украшение на троицын день или на свадьбу. Просто его как бы не замечают и не любят. Говорят кое-где, что пахучий цветок этот имеет какую-то связь с конокрадами, колдунами и ведьмами, но изучатели народного фольклора до этого не добрались.

Странные и, пожалуй, невероятные истории рассказывал мне о ночной фиалке Максим Ильич Трапезников, саратовский и царицынский землемер, мой хороший закадычный дружок, человек умный, трезвый и серьезный.

Мы тогда шли с ним на зевекинском пароходе вверх по Волге, лакомясь камскими стерлядями и

сурскими раками, и времени нам девать было некуда, а на разговор о ночной фиалке нас навела веселая девчурка, лет семи-восьми, которая на небольшой пристани бойко продавала крошечные букетики этих цветов.

— Вы правы, — сказал он, — кажется, никто не знает его народного названия или очень быстро его забывает. А что касается фиолетового цвета, то этого цвета русский народ совсем не знает и нигде не употребляет. Лиловый он еще понимает по сирени, да и то говорит не сиреневый, а синелевой. И, стало быть, наименование цветка «ночная фиалка» выдумано грамотеями. А вот почему оно так широко распространилось по всему лицу земли русской, этого я — воля ваша — уяснить себе никак не могу.

Но вы послушайте-ка, что я вам сейчас расскажу об этом цветике. Удивительная историйка. Расскажи мне ее другой, сторонний человек — ни за что ему не поверил бы, сказал бы: «Брешет парень, баки мне забивает, уши заговаривает». Но в том-то и дело, что во всем, что я вам расскажу, был я и пристальным свидетелем, и действующим лицом, и, можно сказать, плачевной жертвой. Жигулевского пивка не хватить ли нам по черепушечке? Для освежения гортани? Знатное здесь пивцо.

Ну, и так — окончил я курс в московском землемерном институте и вышел из него землемер-инженером, с дипломом первого разряда и с золотым гербом на фуражке. Поехал немедленно в Царицын, к моим папочке и мамочке, в родной угол. Папаша мой за всю свою рабочую жизнь обзавелся в нашем уезде стами тремя десятин землишки, домиком деревянным о полутора этажей, сад разбил фруктовый и ягодный огород чудесный, цветничок хорошенький с любимой резедою. Парочку собак подружейных держал для охоты; двух сеттеров, кобелька с сучкою; их было уже двенадцатое поколение. И для рыбной ловли на всякие способы стояли в сенях всевозможные принадлежности. Ну, прямо рай земной, если еще включить домашние варенья и настойки. Ах, боже мой! Какая это радость приехать в милый теплый отчий дом серьезным, солидным

человеком в чине титулярного советника с блестящим будущим впереди! Папочка ведь мой был всю свою жизнь землемером и только недавно дослужился до губернского землемера. Но начал он свою карьеру во времена очень далекие, еще в конце шестидесятых годов прошлого столетия, в эпоху освобождения крестьян. Ему в радостную диковину были: и мой мундир, зеленый с золотом, и моя усовершенствованная астролябия, и мой теодолит для компасных съемок, с объективом Цейса. Этот объектив (правда — великолепный) более всего поразил и удивил моего папашу, старого землемера: «Боже мой, до чего дошла современная техника! Это ведь уже не прибор для обмеривания земли, это почти телескоп для наблюдения за небесными светилами. Прости за нескромный вопрос, милый Максимушка, сколько может стоить такое чудо шлифовального искусства?»

Я отвечал, что цены теодолиту я не знаю, так как не сам его покупал, а был он мне поднесен на выпускном акте самим директором института за примерное поведение и отличные успехи.

Тут и мамочка моя немного всплакнула от родительского умиления.

— Вот, — говорит, — как господь бог хорошо и ладно устроил, что и отцу от трудов праведных можно будет отдохнуть в своем собственном домишке и тебе наследственно отцовское место и отцовскую службу взять на свои рамена. А пока что мы тебе и знатную невесту подыщем. У нас в Заволжье этого добра — непочатый край: и умны, и красивы, и работящи, и с хорошими придаными.

Но тут отец слегка перебил возлюбленную супругу свою:

— Подожди, мать моя. Успеешь с козами на торг. О жене Максиму рано еще загадывать. Всего двадцать лет ему. Пускай у нас на свободе побегает, вволю поест, попьет, воздухом свежим после столицы надышится, знакомствами обзаведется, поохотится, рыбу половит, а там уж что бог даст. Ружье-то мое знаменитое возьми, Максим, себе на память, а я уж стар стал на охоту ходить. Пощебелил, да и за щеку.

И, надо сказать, после казенной замкнутости и тесной жизни пристрастился я к охоте, как пьяница к вину. Целые дни проводил на охоте. Постоянным спутником моим, а пожалуй, и учителем был ветеринар Иванов (ударение он ставил на и — Иванов), жадный, неутомимый, опытный охотник, прекрасно набивавший ружейные патроны и бывший прежде любимым сотоварищем отца по охоте. Часто мы с ним собирались уйти из дома суток на три, четыре, и тогда ключница мамаши Агата, ее правая рука по хозяйству, снабжала наши ягдташи кое-чем съестным, на случай голода, и согревающим, на случай болотной простуды. И мы уходили куда раньше зари.

Странно: я уже лет с десять знал эту Агату (настоящее-то ее имя было Агафья, но уж мама для благозвучия стала называть ее Агатой), всегда видел ее, приезжая осенью на вакации, а потом, в Москве, никак не мог вспомнить ее лица, голоса и фигуры. Так, что-то тихое, молчаливое, опрятное, бледное и с какой-то неуловимой странностью в глазах.

Ну, а теперь подступаю ближе к моему рассказу. Как-то охотились мы с Ивановым в отдаленных болотцах на дупелей, бекасов и кроншнепов и зашли от дома довольно далеко, так что даже мой сотрудник стал вертеть головой, опознаваясь в местности. Потом увидели, что где-то на западе маячат чуть заметные деревянные столбы. Иванов говорит:

— Я, кажется, это место знаю. Это домишко, поставленный на столбы на случай весеннего разлива, но теперь он почти рухлядь, а живет в нем старая цыганка. Бабы говорят, что она будто бы колдунья. Мы с вами, как люди образованные, конечно, этим бабьим глупостям не верим, а, однако, попробуем. Пойдем, чай у нас с собой; кипятку нам вскипятят. Вот и попьем китайского зелья с устатку да измочившись на болотах.

Пошли. Приходим. Стоит, правда, хибарка рухлая, на четырех ножках. В ней старуха, носастая, черная, закоптелая. По виду цыганка. Развела огонь, вскипятила воду в медном тазу. Мы чай заварили, напились и старую ведьму напоили. Тогда она говорит, глядя на меня:

— Дай, барин, ручку, я тебе поворожу.

Иванов ворчит:

— Гоните ее, окаянную, к бесу.

А она уж завладела моей рукой и бормочет:

— Ах, барин, молодой, красивый и будет счастлив и богат. Есть у тебя по левую сторону черный человек, он много тебе зла сделать хочет, а только ты его не страшись. Одна девица, молоденькая, хорошенькая, все на тебя глядит. Проживешь долго, до восьмидесяти лет...

И всю другую цыганскую обычную белиберду. Я дал ей пятнадцать копеек. Она опять пристает: позолоти, барин милый, хороший, я тебе настоящее-пренастоящее египетское гадание скажу. Приставала, приставала, — дал ей еще полтинник. А она опять свою цыганскую мочалку жует. Надоело мне. Собираюсь уходить, а она все свое талдычит. Надел я шапку и уже перевесил ружье через плечо, — она в меня руками вцепилась.

— Послушай, барин ненаглядный. Я знаю, есть у тебя в мешке водочка-матушка. Поднеси стаканчик малый — скажу тебе взаправдашнюю за семью печатями ворожбу... Чего тебе бояться и чего опасаться. Это уж по гроб жизни будет верно и неизменно.

Что делать! Налил я старухе стакан водки. Высосала она его с великим наслаждением, ничем не закусивши, и говорит:

— Больше всего опасайся, молодой барин, лошадиного и кошачьего глаза, а еще духовитой ночной травы, а еще больше — полного месяца. И теперь желаю тебе пути доброго. А если когда от этих троих моих злых недугов захвораешь, заходи ко мне в хибарку мою, я тебе отворот верный дам.

Ушли мы и больше в этот день не охотились, а когда возвратились домой, то Иванов все меня пилил за цыганку:

— Не могли ничего лучше выдумать, как фараонову отродью стакан вина стравить. Эх вы, ученые столичные!

На другой день с утра пошел дождь и заладил надолго. Пришлось оставить охоту и заняться днем чте-

нием, а вечером винтом в общественном клубе или преферансом по маленькой с родителями.

Сам не могу припомнить, когда меня вдруг несказанно поразили глаза Агаты. Кажется, это было за столом. Случайно взглянув на Агату, я увидел, что в ее зрачках горят странные тихие огоньки. Они менялись сообразно поворотам Агатиной головы то зелеными, то красными, то лиловыми, то фиолетовыми. Такую световую игру глаз я видел иногда у лошадей и кошек в темном помещении. И вот, с этого мгновения, как бы впервые увидел Агату, которую знал, но точно не видел в течение нескольких лет. Она вдруг показалась мне и выше ростом, и стройнее, и увереннее в своих спокойных, неторопливых движениях. Сколько ей было лет, я не мог разобрать. Тридцать? Тридцать пять? Сорок? Нижнюю ее губу время от времени быстро дергал небольшой тик. Она никогда не смеялась и не улыбалась, но в добрые и приятные минуты ее лицо как-то теплело внезапно на короткое время и становилось привлекательным.

Я спросил однажды матушку о прошедшей судьбе Агаты, но получил весьма скудные сведения:

— Агата (по-настоящему Агафья) — побочная дочь спившегося и обнищавшего мелкого дворянина и его служанки; круглая сирота, которую мы из милости взяли в свой дом. С детства обучали ее хозяйственному обиходу и посылали сперва в начальную, а потом в среднюю школу. Ничего себе, девчонка росла прилежная, послушливая, понятливая, признательная за благодеяние, ей оказанное, а потом, будучи лет так одиннадцати, вдруг куда-то сгинула, так что и следов ее нельзя было отыскать. Вернулась через год. Оказывается, все время с цыганами бродила. Пришла и горькими слезами разливается: «Простите меня, ради бога, и опять к себе возьмите. Никогда больше вас огорчать не стану». Ну, что тут сделаешь? Взяли мы ее к себе обратно. Идет время — мы Агашей налюбоваться не можем, нахвалиться досыта не устаем, чудо в нашем доме растет: уж и рукодельница она, и стряпуха первоклассная, и набожная, и смирна, и умна, и практична, и весела... И что же?.. Садимся мы с мужем за

стол, я Агату к обеду кличу. Входит она, как водой облитая: голова опущена, глаза в пол смотрят. «Что такое с тобой случилось?» А она еле слышно отвечает: «Благодетели вы мои, дайте мне разрешение и благословение в Белогорский монастырь идти на святое пострижение в монашество». Господи, что за чудеса в решете? Стали мы ее всеми силами отговаривать: «Да куда тебе в монастырь, если тебе всего шестнадцать лет. Да какой у тебя может быть страшенный грех, чтобы его замаливать, и тому подобное». Нет, уперлась, как бык, утром завязала в платочек все свое жалкое бельецо и испарилась. Жалели мы ее сердечно, но что поделаешь, если на девку накатило?

Сколько лет после этого прошло, мамаша не помнила: не то семь, не то восемь, и что вы думаете, опять вдруг наша Агата объявилась. Пала перед нами на колена, лбом об пол бьется:

— Простите меня, окаянную, заблудящую, в последний раз, последний раз прибегаю к вашей доброте ангельской, неисчерпаемой. Богом и святым евангелием клянусь, что это уж мое последнее, распоследнее бегство. От сего дня до самой моей гробовой доски буду рабой верной и нелицемерной как вам, так и дому вашему и всему потомству вашему... — и все прочее и тому подобное.

И вот с тех пор живет она у нас тихая, покорная, бессловесная, учтивая; ну, прямо как монахиня скитская. И даже пахнет от нее как-то смиренномудренно свечой восковой, ладаном и миром.

Вскоре и я совсем перестал обращать внимание на тихую Агату, точно она была старой мебелью или, точнее, совсем не существовала в доме, и странные огни, зажигавшиеся порою под длинными ресницами ее опущенных глаз, перестали меня удивлять и беспокоить. А я в то время подумывал уже серьезно о достойной женитьбе, покоряясь родительским настояниям. Женихом я считался по тамошним местам очень видным: молод, здоров, не урод, интеллигентен, стою на линии инженера, танцую вальс в три темпа, мазурку,

краковяк и падеспань и дирижирую кадрилью на приличном французском языке. Ну, также и накопленное папенькино состояние. Кое-каких прекрасных и богатых девиц я уже имел на примете... Но вот тут-то и грянуло на меня чертовское несчастие...

Позабыл теперь, в каком году это случилось, помню только, что в пятницу, в конце июня. День выдался такой невыносимо знойный, какие бывают редкими даже у нас в Заволжье; только к позднему вечеру стало возможно вздохнуть полной грудью. Я выкупался, поужинал и пошел в наш запущенный сыроватый сад и сел на скамейку, расстегнув догола ворот рабочей рубахи. Ох, какое наслаждение после дневного истошного пекла вдыхать свежий, душистый, прохладный воздух! Стало темнеть, выкатился огромный, без единой ущербинки, круглый, серебряный, бледный месяц. Где-то засветились и задрожали крошечные светлячки. Сад стал бледно-волшебным. Я услышал чьи-то легкие шаги. Это шла Агата, вся облитая бледно-зеленым светом.

— Позвольте мне присесть около вас, Максим Ильич, — сказала она дрожащим голосом.

Я посторонился.

— Пожалуйста, прошу вас. Посмотрите, какая прекрасная ночь.

— Да, прекрасная, — отозвалась она. — Прелестная. Возьмите, вот я вам букетик цветов принесла, чудно пахнут как.

Одновременно я почуял упоительный, зовущий, возбуждающий аромат и почувствовал ее горячую руку на моей ноге. Пылкое, никогда не испытанное мною желание побежало по всему моему телу, от ног до волос на голове. Я чувствовал, что весь дрожу, а она тихо говорила, обдавая мое лицо своим дыханием:

— Если бы вы, Максим Ильич, знали, как я привязана ко всему вашему дому! Как я люблю вас всех! И папу вашего, и мамочку, и вас люблю. Люблю, люблю, люблю! О Максим Ильич, я хотела бы быть всю жизнь рабою вашей, собакой вашей, ковром вашим, подстилкой для ног ваших! О, как страшно я люблю вас! Если бы нужно было для вашего здоровья или для вашего удовольствия отдать всю кровь мою

и все тело мое и даже загубить навек бессмертную душу мою, я с радостью отдала бы все!

Нет! Об этой ночи словами не расскажешь! Наглый, колдовской месяц, сводник влюбленных, друг мертвецов, покровитель лунатиков, одуряющие запахи ночной фиалки и ее безумно жаждущего тела, зеленые и красные огни в ее зрачках... Она говорила, лежа, содрогающаяся, на моей обнаженной груди:

— Одна мечта моя за много лет была — поцеловать тебя в губы, в губы и умереть тут же на месте.

И мы поцеловались. Силы небесные, что это был за поцелуй. Мне казалось, что земля кружится подо мною и что я схожу с ума. А она шептала восторженно:

— Еще, еще, еще...

Я пришел в свою комнату на рассвете. Ноги мои подгибались, в голове гудел шум, все мускулы ныли, руки тряслись, лицо горело.

Моя мать зашла ко мне и спросила:

— Что с тобою, Максим, ты сам на себя не похож?

Я сказал:

— Это от жары, день был ужасно жаркий.

А она сказала:

— Нет, это не от солнца. Это лунный удар, иди скорее в постель. Сном все пройдет.

Я лег. Ночью пришла ко мне Агата, а под утро я к ней прокрался в антресоли. Так у нас и пошло каждый день, каждый час, всегда. Мы стали друг к другу голодны и никогда не насыщались.

Черт знает, откуда эта женщина, рожденная и воспитанная в диком захолустье, могла научиться этим бесстыднейшим и утонченнейшим любовным приемам, затеям и извращениям, о которых мне теперь даже вспоминать срамно. Но тогда я жил в каком-то блаженном и сладостном аду, обвязанный невидимыми тонкими стальными нитями. Оба мы, радостно-безумные, сумасшедшие, ни о чем не думали, кроме нашей любви. Мы узнавали друг друга издалека: по голосу, по походке, по запаху, узнавали — и неудержимо стремились друг к другу, чтобы вновь упиться бешенством

разъяренной страсти. Все кусты, амбары, конюшни, погреба и пристройки были нашими кровлями любви.

Агата хорошела и здоровела, но я радостно шел к гибели. Я стал похож на скелет своею изможденностью, ноги мои дрожали на ходу, я потерял аппетит, память мне изменила до такой степени, что я забыл не только свою науку и своих учителей, но стал забывать порою имена моих отца и матери. Я помнил только любовь, любовь и образ любимой.

Странно, никто в доме не замечал нашей наглой, отчаянной, неистовой влюбленности. Или в самом деле у дерзких любовников есть какие-то свои тайные духи-покровители? Но милая матушка моя, чутким родительским инстинктом, давно догадалась, что меня борет какая-то дьявольская сила. Она упросила отца отправить меня для развлечения и для перемены места в Москву, где тогда только что открылась огромнейшая всероссийская выставка. Я не мог идти наперекор столь любезной и заботливой воле родителей и поехал. Но в Нижнем-Новгороде такая лютая, звериная тоска по Агате мною овладела, такое жестокое влечение, что сломя голову сел я в первый попавшийся поезд и полетел стремглав домой, примчался, наврал папе и маме какую-то несуразную белиберду и стал жить в своем родовом гнезде каким-то прокаженным отщепенцем. Стыд меня грыз и укоры совести. Сколько раз покушался на себя руки наложить, но трусил, родителей жалел, а больше — Агатины соблазны манили к жизни. Вот тут-то самоотверженная матушка моя начала энергично разматывать тот заколдованный клубок, в нитях которого я так позорно запутался. Вначале взялась она за ветеринара Иванова, с которым мы прежде постоянно охотились. Тот рад-радехонек был прийти на помощь чем может. Рассказал точно и обстоятельно о том, как мы зашли к цыганке, как цыганка гадала на мое счастье, как указывала, чего мне следовало бояться и опасаться, и как велела обратиться к ней за отговором в случае беды. Тогда мамаша послушно пошла к цыганке и долго с ней говорила. Уходя, совала гадалке четвертной билет, но та не взяла.

«Я, говорит, божьему делу помогаю, а за это денег не берут». К последнему сходила матушка — к соборному протоиерею, отцу Гавриилу, священнику постарелому и святой жизни. Протоиерей ее благословил и наставил.

Наступил день архангела Гавриила. Матушка заказала молебен на дому. Собрала в зальце всех домочадцев, включая и Агату. И меня научила, что мне делать и говорить. Отслужили молебен честь честью. Духовенство отбыло. Тогда мамочка начала говорить тихо и внушительно, глядя серьезно на Агату:

— Милая наша Агата, вот была ты много лет верным другом нашего дома, нашей трудолюбивой и терпеливой сотрудницей. И вот подумали мы, что довольно тебе быть приставницей у стад наших и что пора тебе обзавестись собственным домиком и собственным хозяйством. Вот в этом бумажнике, который я тебе передаю, есть крепостная на небольшой клочочек земли и сумма денег, необходимых для первого обзаведения хозяйством. Это все от мужа, а от меня двадцать выводков кур, гусей, уток и индюков. От сына же нашего Максима получишь ты необходимую мебель, а на память золотые часики работы Мозера. Вручи их, Максик, Агате.

Передал я часики и простился с ней последним взглядом, и видел, как она смертельно побледнела. Тогда матушка взяла кропило и окропила всех присутствующих священной крещенской водою, а сама читала трогательное воззвание к божьей матери: «Призри с небеси, всепетая богородица, на их лютое телесе озлобление и утоли печаль их души...»

Вот и конец всему. А той же ночью исчезла Агата из дома, никому не сказавшись, ничего не взявши с собою из подаренных денег и вещей.

Так и пропал ее след навеки. А мать в свой поминальник включила рабу божью Агафоклею, недугующую и страждущую, и поминает ее за каждой обедней и всенощной...

РАЛЬФ

(Из будущей книги «Друзья человека»)

Быть может, что среди харьковцев, в эмиграции сущих, найдутся пожилые люди, у которых в далекой памяти еще остался, хотя бы по рассказам старожилов, знаменитый и замечательный пес с кличкою Ральф. Был он рыжий кобель, породы ирландских сеттеров и, очевидно, хороших кровей. Как он попал к почтовому чиновнику, коллежскому регистратору Балахнину — вопрос навеки остался неразгаданным и таинственным. Известно было лишь то, что Балахнин приехал в Харьков и поступил на службу уже вместе со своей собакой.

Харьков — город чрезвычайно значительный. Он — как бы пуп и центр русской металлургии и каменноугольного дела, но по своим размерам, по великолепию и огромности домов, по аристократическому шику жизни и по блеску парижских костюмов, по обилию безумных развлечений он стоял куда ниже не только столиц, но и таких губернских городов, как Киев и Одесса-мама.

Жить в нем тесновато и скучновато, несмотря на университет и театр. Нет ничего мудреного, что слухи о необыкновенной дрессировке почтамтской собаки Ральфа обошли весь Харьков, и оба друга, двуногий и четвероногий, обрели прочную славу, которая,

кстати, благоприятно влияла на скромную карьеру Балахнина.

Сказать о Ральфе, что он был дрессированной собакой, — это, пожалуй, значило бы то же самое, что назвать гениального композитора — тапером. Хороших маэстро было много, но один из них был Бетховен, таков же был и Ральф в собачьем мире. Он просто и ясно понимал каждое слово, каждый жест и каждое движение хозяина.

В памяти и в понимании Ральфа была по крайней мере целая тысяча слов, и повиноваться их значению было для него серьезным долгом и великой радостью.

Обращаясь к собаке, Балахнин никогда не прибегал к обычным, дрессировочным восклицаниям: «Вьен иси, апорт, тубо, шерш»[1] и так далее... Нет, он просто говорил с ней ровным, чистым человеческим голосом, как бы обращаясь к другому человеку. Он никогда не кричал на Ральфа и говорил ему неизменно на «вы». «Ральф, принесите мне папиросы и спички», — и собака ловко и быстро приносила поочередно портсигар и спичечную коробку. «Ральф, где моя зеленая тетрадка, где мой красный карандаш?» — и Ральф тотчас же являлся с этими вещами.

Давно уже всем известно, что собаки, отличающиеся несравненным обонянием и прекрасным слухом, всегда немного слабы зрением и часто страдают дальтонизмом, но Ральф отлично разбирался в основных цветах: белом, черном, синем, зеленом, желтом и красном. К тому же, находясь при хозяине, он никогда не терял из глаз его лица, поминутно описывая круги. Случалось, что на большом общественном гулянье Балахнин говорил: «Ральф, пойдите и поздоровайтесь с вон той дамой в платье такого-то цвета и со страусовым пером на голове». И тут же Балахнин высоким поднятием руки изображает роскошный плюмаж. Собака немедленно повинуется. Она зигзагообразно пробирается сквозь толпу на свободные места, ловя взорами указанную даму. Порой она оборачивается на

---

[1] «Иди сюда, принеси, нельзя, ищи» *(франц.)*.

хозяина, стараясь узнать по движению его головы и ресниц: «Верно ли иду? Не ошибаюсь ли?»

Оказывается, все обошлось хорошо. И довольный собою, счастливый пес тычет розовым мокрым носом в нежную ручку дамы, невзирая на ее негодование.

Балахнин жил где-то на краю города, нанимая одну комнату и будучи нахлебником у толстой просвирни. Там, в домашнем хозяйстве, Ральф уже давно нес обязанности по доставке провианта. Все мелкие лавки: мясная, рыбная, бакалейная, пивная, монопольная и прочие — были знакомы Ральфу, как свое жилище. Стоило Балахнину или Секлетинье Афиногеновне поставить на пол кожаную сумку, в которую защелкивались: краткая записка лавочнику, заборная книжка и деньги в бумажке, как уже Ральф начинал радостно волноваться, предвкушая самую важную и любимую прогулку. Тогда ему называли предмет купли и открывали дверь. Тотчас же, завив хвост девятым номером, Ральф выбегал на улицу. Он никогда не ошибался лавками, потому что все они были запечатлены в его памяти обонятельными, вкусовыми чувствами. Так же спокойно и серьезно возвращался он домой, окончив поручение; никто не обижал его. Лавочники ценили в нем деловитую солидную особу, неистовые уличные мальчишки видели в нем славу и гордость квартала. Собаки никогда не вызывали его на драку. У этого милого и умного народа, у собак, есть свои непреложные законы, в числе коих, между прочим, говорится: «Когда человек работает вместе с тобой, считай это за честь и помогай ему, насколько хватит твоих сил, а работающей собаке никогда не мешай».

Рекорд ума и находчивости, поставленный Ральфом, был тем более неожидан и блестящ, что в то время Шерлок Холмс еще не появлялся в свет, а немцы не тренировали злых доберман-пинчеров на ловлю преступников.

Тогда позднею весной, на пасху, был устроен харьковской губернаторшей в ее парке большой благотворительный вечер в пользу недостаточных студентов, на открытом воздухе с цыганами и артистами, с лотере-

ями и шампанским. Главной особой, для которой давалось торжество, была кузина губернаторши, важная придворная статс-дама. И вот, когда воздух потемнел и стала падать ночь, статс-дама закричала жалобным голосом: «Ах! Мое колье! Ах, мое брильянтовое колье! Куда, куда оно делось?» Произошла сумятица. Затормошилась полиция. Длинноусый обер-полицеймейстер сделал страшное лицо. Взволнованная публика требовала, чтобы все посетители были подвергнуты обыску. Входы и выходы были заперты. Никакие полицейские меры, однако, не помогали. Тогда вызвался почтамтский чиновник Балахнин.

— Позвольте, ваше сиятельство, — сказал он огорченной даме, — позвольте я пущу по следу вора мою собаку, ирландского сеттера Ральфа.

— Ах, пожалуйста, сделайте милость! Ведь колье это — фамильное сокровище нашего рода, подаренное царицей Екатериной Великой моему прапрадеду.

Полиция подтвердила, что собака действительно очень умна и всему городу известна своим примерным поведением. Дала статс-дама обнюхать Ральфу свое манто, свое платье, руки и перчатки. Начальство отрядило на помощь Ральфу двух сыщиков, и они пошли вчетвером.

Ральф сразу понял, что от него ждут... Сначала нырнул в узкий забытый лаз на краю сада, а потом повел и повел, ни разу не сбившись со следа, пока не привел в гостиницу Коняхина, где собиралось всяческое ракло. А войдя в трактир, Ральф прямо остановился перед столом, где бражничал известный всему Харькову Митька Легунов, опустившийся дворянский сын, скандалист, мошенник и пройдоха. Сыщики его — цап! — где колье? Не стал и отлынивать. Сразу вытащил из-за пазухи. «Эту вещицу, говорит, я на улице нашел и только что собирался объявить о ней... в участке».

Статс-дама со слезами на глазах горячо благодарила Балахнина. Предлагала за труды хорошее вознаграждение, но Балахнин вежливо отказался:

— Это не я сделал, а мой друг Ральф. Дайте ему из вашей милой ручки кусок сахара. Он очень доволен останется.

Тут и конец об этой необыкновенной собаке. Надо прибавить лишь одно. Знатная дама все-таки прислала Балахнину из Петербурга золотой жетон с надписью: «Я Ральф — друг людей».

Многие люди, знавшие или только видевшие знаменитого харьковского пса, говорили: «Жаль только, что он лишен дара речи». Но кто знает, был ли бы счастлив говорящий Ральф?

«СВЕТЛАНА»

Посвящается милым рыбакам
Егорушке и Светланочке.

Коля Константи, пожилой, весь просоленный балаклавский рыбак, собирается наново вычистить и покрасить свою двухвесельную, стройную, видавшую многие виды лодку. В помощники он выбирает — великая честь — вашего покорного слугу.

Сначала мы тщательно выбираем место, откуда надо будет выволочить лодку на сухой берег, и после долгих размышлений и колебаний останавливаемся на новом берегу, на пустом пространстве между дачей доктора Петькова и рыбокоптильным заведением Кефали. Туда-то мы и втащили катом, переворачивая с боку на бок, непокорную лодку. Странно было, что она, столь легкая, веселая и послушная на ходу, в море, оказалась такой непомерно тяжелой и грубой на суше. Только изодрав в кровь ладонь, я понял причину этого недоразумения: дно «Светланы» оканчивалось свинцовым килем в пятнадцать пудов весом.

И все-таки эта работа по втаскиванию лодки (или баркаса, как называл ее Коля) была куда как легкой по сравнению с теми чертовскими усилиями, которые мы употребляли на отдирание от лодки моллюсков и ракушек, которые наслоились на бортах лодки за время ее многолетних стоянок во всевозможных бухтах и

пристанях. Отколупывать их руками было немыслимо — так мощно они вцеплялись в дерево. Приходилось орудовать молотком и слесарными инструментами. Хорошо было Коле Констанди! По мере того как мы отскребывали эти петалиди-металиди, он кончиком ножа выковыривал их устрицеподобную мякоть и, всхлебывая, жадно поглощал ее. Приглашал и меня Коля полакомиться этим изысканным гастрономическим блюдом, но у меня как-то не хватало мужества и отваги; очень уж пахли эти петалиди нашими московскими улитками и слизняками. Да и вообще греческая кухня, прекрасно изготовляющая рыбу с толченым орехом, с чесноком, изюмом и паприкой, весьма падка на всякие морские гадости, из которых первая — злой и ужасный восьминог.

Покончивши с надоедными ракушками, с которыми мы возились очень долго и без удовольствия, мы перешли к капитальному ремонту лодки. Тут, кстати, судьба послала нам неожиданно третьего помощника.

Я уже давно приметил, что невдалеке от нас, так шагах в ста, постоянно возится босой мальчишка лет одиннадцати — двенадцати, загорелый дочерна, с видом диким, лукавым и пугливо-недоверчивым. Я указал на это явление моему атаману Констанди.

— Это — ничего, так себе, — небрежно ответил атаман. — Этот бамбино [1] — круглый сирота; живет, где попадется. Постойте-ка, кирийе [2], я его сейчас к делу приставлю.

Он свистнул в два пальца призывным боцманским свистом и крикнул:

— Э! Спиро! Иди-ка сюда! Копейку можешь заработать!

Спиро подошел с нахмуренным лицом, шагая боком, точно краб.

— Кали спера [3], кирийе Коля, — сказал он сипло и вставил палец в нос. — А ты не обманешь?

---

[1] Мальчик *(итал.)*.
[2] По-гречески господин. *(Прим. автора.)*
[3] Добрый вечер. *(Прим. автора.)*

— Раз сказал — так слово мое крепче железа. Будешь у нас работать и служить и каждый вечер на шабаш получать живую государственную копейку.

Так поступил в нашу маленькую верфь одинокий бездомный мальчуган Спиро, по-русски — Спиридон. Первую свою заработанную копейку тотчас же положил за щеку с манерой молодой запасливой обезьянки, и с этой поры Спиро сделался неутомимым работником и отличным, сообразительным помощником. Должно быть, в нем проснулась древняя кровь тысячелетних предков, отважных листригонов, о которых с почтительным страхом говорил еще гомеров Одиссей. Это чудо сделали: вековой извилистый и узкий залив, вековой глубокий запах моря, вековая работа над лодкой и те вековые, ныне уже позабытые, горловые восклицания, которыми Коля Констанди поощрял ход работы.

Сначала Спиро служил только на побегушках: бегал ко мне и к Коле домой за едою, к Юре Капитанаки в кофейную за кофеем и за красным терпким вином и в городские лавчонки за необходимым материалом. Случалось посылать его и в Севастополь, за восемь верст. Спиро бывал всегда одинаково быстр, исполнителен и ловок. Он не знал другого аллюра, как широкий галоп, причем на бегу ритмично щелкал себя пятками ниже спины, а совершая длинные пути, никогда не забывал прицепиться к задку чужого экипажа и висеть на нем до того времени, пока кучер не показывал ясного намерения огреть его кнутом — странный и загадочный обычай всех кучеров.

Что и говорить: куда же мне было равняться в этом спортивном беге за неутомимым Спиро? Во мне было тогда добрых шесть с половиною пудов чистого веса.

Между тем настали в нашей работе серьезные часы и минуты: пошли в ход пакля, смола и дерево. Спиро то и дело стрелял к балаклавскому столяру. Коля ходил весь перемазанный черным, несмываемым клеем и ругался на страшном морском языке. Наконец-то мы высохли и окрепли, а «Светлана» обрела свою

прелестную стройность. Оставалось прежде окраски подмалевать ее суриком. В этот период все мы трое перемазались, как североамериканские дикари, в красный цвет от ног до головы. Тогда стояли горячие южные дни, пекло нас, как в печке. Сурик, на что упорный в сушке материал, но и тот не устоял перед знойными лучами балаклавского солнца и вскоре высох. Оставался один самый важный вопрос: в какой же основной цвет решил атаман Констанди выкрасить свой прекрасный баркас «Светлану»?

Только через три дня Коля сказал торжественным тоном:

— Баркас будет белый, как снег, а на его носу из чистого золота будет выведено его название «Светлана», как у крейсера.

Здесь я, волнуемый самыми лучшими чувствами, позволил себе деликатно возразить:

— Что же, Коля, вы предполагаете сделать из вашего судна? Первоклассный баркас для ловли скумбрии, кефали, камбалы, морского петуха и белуги? Или, может быть, для катания по заливу чахлых капризных дачников и дачниц, приезжающих осенью на курортное лечение виноградом? Подумайте-ка: от одного появления в море такого раскрашенного и яркого баркаса вся рыба напугается и побежит — какая в Трапезонд, какая в Одессу.

Коля Констанди был в обыденной, повседневной жизни премилым, прелюбезным человеком, застенчивым, уступчивым, услужливым и кротким. Мне никогда не удавалось залучить его на чашку чая к себе в небольшую квартирку, где я незатейливо обитал с женой. Дальше кухни Коля не переступал, а приходил только с рыбой, которую продавал лишь немного дороже цены, стоявшей на базаре. Но совсем другим делался Коля, когда из бедного, робкого, застенчивого пиндоса-банабаки он превращался в полноправного хозяина баркаса, в собственника снасти и паруса, в безукоризненного рулевого, в неутомимейшего из гребцов и, главное, в атамана судна со властью безграничной и непререкаемой и с правом на пять паев в общей добыче артели. Тут он учил меня морскому

и рыбачьему делу жезлом железным и без всякого стеснения, ибо признал и оценил во мне способность к повиновению. Раза три учил он меня милостиво тому, что рыбака, готовящегося выйти в море, никогда не следует спрашивать: куда идешь? — потому что лишь одному богу известно, куда волна, ветер, течение, внезапная буря могут занести несчастного рыбака: в Средиземное море, на Тендровскую косу или в черную глубину моря. Но когда я в четвертый раз по рассеянности повторил эту грубую ошибку, Коля облил меня таким потоком ругани, перед которым побледнели бы и зашатались избранные моряки русского флота, пожарные Москвы, волжские грузчики и сибирские плотогоны. Это средство помогло: я и теперь, через четверть века, ни одного человека никогда не спрашиваю, куда он идет, это у меня уже такой навык.

В таком же наставительном духе он заставил-таки меня крепить косой латинский парус, когда у мыса Шайтан Дере (Чертова Дыра) нас внезапно захватила и завертела ярая «джигурино» — сумасшедшая, пьяная, бестолковая мертвая зыбь, неизвестно откуда появляющаяся. От ее мерзкого колтыхания начинает травить даже самых испытанных моряков, спокойно переносивших дьявольские бури во всех океанах. Единственное средство избежать джигурину — это поймать ровный ветер и идти с ним куда попало, пока не выйдешь из полосы зыби. Коля, сидевший на руле, закричал мне:

— Крепи парус!

Но как его, черта, крепить, когда волны хлещут до боли в лицо, промокшая парусина тяжела и рвется из рук, не давая ухватить себя. Коля кричит еще раз, и в голосе его я слышу негодование, но все мои усилия никуда не годятся. Тогда озлобившийся атаман изрыгает отчаянную непотребную брань, в которой проклинает все власти, земные и небесные, все органы человеческого тела, все предметы реальные и отвлеченные, за исключением корабельного компаса и святого угодника Николая. Волосы у меня вздымаются кверху и становятся жесткими. Парус мгновенно

хлопает и туго надувается. Быстрым ходом мы уже режем воду.

Я думал, что Константи после сатирического отзыва о вновь перекрашиваемой «Светлане» разразится привычной для него бранью, но странно — его холодное возражение было прилично и сухо и тем более обидно для меня, столь гордившегося званием пайщика в рыболовной артели. Он сказал, внимательно расставляя слова:

— Вот вы только что смеялись с курортных дачников, которые лечатся виноградом. Но что же здесь смешного, каждому овощу свое время, каждому человеку своя развлечение и своя занятие. Дачник себе занимается виноградом; всю набережную за осенью заплюет; а для них у папы Бисти первоклассный ресторан открыт. Юра Капитанаки занимается кофейной для нас, балаклавских жителей, доктор лечит, фельдшер кишку вставляет, жены наши детей нам рождают. Вот вы книжки составляете какие-то, и через это вам жалование идет. Ну, конечно, всякому забавно с морем поиграться. Но, однако, как я в вашем писарском деле ни шиша не смыслю, так и вы в нашей тяжелой рыбачьей жизни мало чего понимаете. Ну разве когда приходило вам в башку то, что ладно построенный баркас живет с умелым и опытным рыбаком, как арабская лошадь со своим возлюбленным всадником? Во взаимной любви, в полном доверии и послушании? Или вы полагаете, что у баркаса нет души? Напрасно. Есть эта душа у лодки, как она есть у человека и у лошади. Недаром же во всех больших приморских городах есть чудесный обычай: когда моряка застигнет жестокая смертельная авария и он чудом спасется на куске разбитого вдребезги судна, то дает он богу обещание — и называется оно экс-вото — сделать благодарственную памятку, и от этого обета экс-вото никогда не отступаются. А состоит оно в том, что этот спасенный моряк, при помощи дерева, гвоздей, молотка и парусины, одними руками выпиливает, вытачивает и собирает точное изображение погибшего судна, со всеми его подробностями и величиной, когда в полчеловеческого роста, когда в ладонь, точно, как по фо-

тографии. А сделав его, моряк идет в соборную церковь и отдает главному попу самодельное суденышко. А поп главный сначала строго исповедывает моряка.

— Ведь на нас, на моряках и на рыбаках, грехов-то всегда, как ракушек на старом корабле. А после исповеди налагает батюшка на грешника самую тяжелую, неумолимую эпитемью, и когда эпитемья выдержана, то берет главный поп из очищенных покаянием рук моряка деревянную модель его судна и вешает ее на тончайших шпагатиках у самого алтаря, на поучение и как урок всем верующим. И висит этот экс-вото в святом месте бесконечное число лет. Вот теперь вы и подумайте, кирийе Александр, есть ли в баркасе душа или нет, если сам главный поп, специалист и дока по этим делам, вешает самодельный кораблик рядом со святым алтарем?

Что поделаешь? Убедительная и наивная речь Коли Константи совсем меня растрогала. Я попросил прощения и получил его, мы крепко пожали друг другу руки. Смягчившийся, снова подобревший Коля еще многое рассказал мне о «Светлане».

— Вот как все произошло и сделалось, — говорил атаман. — Отбывал я воинскую повинность в Черноморском флоте и служил на крейсере «Светлана». Начальство меня очень любило. Да, впрочем, всем давно известно, что мы — греческие человеки — суть наилучшие во всем мире лоцманы, боцманы, моряки и капитаны, и на том же крейсере «Светлана» мы пошли в конце моей службы в Грецию, в гости к прекрасной и великой королеве Елене, имея на борту августейших лиц и самых важных сановников.

Всем было известно, что королева Елена по роду своему была русской великой княжной.

В Афинах весь наш экипаж был представлен королеве, и на ее ласковое приветствие мы громко ответили:

— Здравия желаем, ваше королевское величество.

Затем нам, матросам, был дан роскошный обед, во время которого владычица Греции обходила столы и милостиво беседовала с нами. Так она спросила, много ли на «Светлане» русских греков? Ей ответили, что пять, и все из Балаклавы.

Тогда нам всем пятерым перед отходом «Светланы» было вручено в бархатных футлярах по прекрасным серебряным часам с именем и вензелем королевы Елены, и сама она назвала нас русско-греческими земляками. Эти часы до сих пор висят у меня на стенке у кровати и никогда не ходят после того, как выкупались в море у мыса Фиолент. Я и жена моя очень дорожим ими, потому что они имели большое значение в нашей судьбе. Я уже давно был влюблен в соседку нашу, Стефаниду Стельянуди, и она на меня поглядывала не без ласки. Но старик Стельянуди был богат, а мы, Константди, были люди хорошей фамилии и честной жизни, но бедняки, и потому-то я свататься никак не решался. Но когда я окончил службу во флоте и пришел домой с двумя значками на груди, с кое-какими деньгами, нажитыми во время службы и путем отказа от порционной чарки водки, да еще с часами — подарком самой греческой королевы, то Стельянуди стал смягчаться. Особенно его рассиропили часы, лично пожалованные царицей Греции. Мы, греки, уж такие люди, что успех и награду каждого грека принимаем к самому сердцу. Благословил нас старый Стельянуди и в приданое нам дал новый баркас, заказанный, по его собственным указаниям, знаменитому севастопольскому мастеру. В один и тот же день было наше венчание и освящение баркаса, который мы все трое единогласно окрестили «Светланой». Ну уж и хорошо суденышко! Хоть оно мне и родня, но не могу не похвалить! — И тут Коля продолжительно и сладостно зачмокал языком — способ греков выражать высшее наслаждение.

После этого задушевного разговора у нас с Колей не осталось ни пушинки, ни тени взаимного неудовольствия. Обмазывая белой краской «Светлану», он спросил меня, не могу ли я нарисовать или извлечь из какого-нибудь издания те буквы, из которых можно будет составить слово «Светлана» в необходимую величину.

Я согласился помочь в этом Коле и взаправду принялся яростно за розыски. Но через три дня, ранним

утром, когда я еще пил в халате утренний кофе, кто-то властно постучался в мою дверь.

— Войдите.

Вошел давно мне знакомый полицейский пристав Цемко, с бумагами под мышкой и с каменным выражением лица.

— Извольте прочитать и в извещении расписаться.

Это была бумага ко мне от крупного севастопольского начальника, и она кратко гласила: «Именующему себя литератором поручику в отставке такому-то предлагается через двадцать четыре часа выехать из Балаклавы, со строгим воспрещением впредь появляться в районе радиуса Севастополь — Балаклава. В получении этого предложения — расписаться».

Я спокойно, без лишних вопросов и протестов, подчинился воле властей предержащих: в течение получаса уложил все свои вещи в два походных чемодана и сказал:

— Я готов.

Пристав Цемко любезно нанял мне парного извозчика до севастопольского вокзала и — прощай, прощай навсегда, моя милая Балаклава. Прощай, купленный мною и любовно возделанный участочек «Кефаловриси», прощайте, дорогие друзья, балаклавские рыбаки, все эти Констанди, Паратино, Капитанаки, Стельянуди, Ватикиоти, Мурузи и другие храбрые грекендосы, с которыми я разделял прелесть опасности и труды морской жизни. Прощай, стройная лодка «Светлана». Мне уже так и не привелось больше увидеть этого безмятежного края. Вот к каким злосчастьям приводит рыцарский закон — «Всегда стой за меньшинство».

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ

В ГЛАВНОЙ ШАХТЕ

Раннее летнее утро. Солнце только что выкатилось, и однообразные голые холмы кажутся посыпанными мелкой золотой пылью. Печальные картины развертывает пред нами область войска донского — эта русская Америка, как принято называть ее в передовых статьях.

Едешь час, едешь два, три часа, едешь целые сутки, и только и видишь, что эти огромные крутобокие холмы, на которых солнце выжгло всякие признаки растительности. Раза два в день мелькнет где-то далеко в стороне глубокая балка; на дне ее разбросаны жалкие кусты орешника, и тут же на скате прилепилась крошечная деревушка с ее пятью белыми домиками под соломенными крышами, с низкими заборами, сложенными из желтого плитняка. Но балки скрываются за неожиданным поворотом, и опять пред путником выжженные холмы, да голубое, синеющее от зноя небо, да стрепеты, плавающие, не шевеля крыльями, в небе. А между тем эти холмы, наводящие тоску своим скудным однообразием, скрывают в недрах богатства, которых никогда не истощат бельгийские акционерные компании, полонившие и продолжающие полонять Донецкий бассейн. Я мог бы, конечно, привести несколько столбцов сомнительных цифр, говорящих о возрастающей годовой добыче угля и железа, о

количестве рабочих и о том, в продолжение скольких лет мог бы отоплять весь земной шар донецкий пласт каменного угля. Но так как читатель мог бы без всякого затруднения почерпнуть эти цифры не только в «Вестнике финансов», а и в географии для средне-учебных заведений, то я оставляю статистику в покое. Меня гораздо более интересует, как глядит на эти вопросы в их экономическом, общественном и моральном значении наш возница, казак Илья Похлебин, спина которого уже вторые сутки трясется на облучке пред нашими глазами. Вот он оборачивает к нам свое бронзовое, морщинистое лицо, защищенное от солнца широкополым «брилем» из грубой соломы, и говорит, указывая кнутом куда-то влево:

— А вон и Гладковская шахта, барин.

Я и моя спутница напрягаем зрение, глядя в указанном направлении, но куда же нашим городским глазам сравняться с зоркими глазами степняка? Здесь, в этом безбрежном просторе окаменевших волн, нет ни одного пункта, ни одной приметы, по которой казак Похлебин мог бы ориентировать наше зрение. «Вон, вон... там, где облачко... правее облачка», — старается направить нас Похлебин. Мы пристально смотрим правее облачка, но ничего не видим, кроме дрожащего от жары прозрачными струйками, «мреющего» воздуха. Только спустя полчаса словно вылезает из-под земли, показывается на горизонте высокая, красная фабричная труба, почерневшая сверху от копоти.

— Это и есть Гладковская шахта?

— Эге... это труба... что воздух тянет... потому в шахту с одного конца этый самый воздух машиной напускают, а с другого, значит, труба его вытягивает. Так воздух скрозь и цинкунирует по шахте. А без воздуха в шахте беда: сейчас это тебя гац...

— А посторонних пускают на шахту? — спрашиваю я.

— Отчего не пущать. Пущают.

— Так что и нас пустят посмотреть!

Илья оборачивается назад и равнодушно оглядывает мою физиономию. Потом скашивает глаза на мою соседку.

— Отчего ж... И вас пустят, — заключает он свои наблюдения. — Отчего не пустят... н-но, ты-ы! Азарайси-и! — кричит он зверским басом на левую лошадь. — И народу на Гладковской шахте работает — страшное дело.

— Много?

— Прорвища народу. Если всех подсчитать — с подводчиками, с нагрузчиками, со всем — тыщ пять наберется. Можно так сказать — гнездо! Да это что еще!.. Есть такие заводы, где и по двадцати тыщ работают. Вот взять хоть Юзовский завод, или Дружковский, или вот Криворожье... В ином месте года три тому назад пустое поле было, а теперь глядишь — целый город... и магазины всякие, и трактир с машиной, и сады пивные, и больницы — все тебе есть.

— Так что жить стало лучше?

Илья энергично махает рукой.

— Ка-акое лучше! Народ все пришлый — озорной народ. Со всей Россеи сюда прут. Придет-то он, может, и толк-толком, а через год так испакостится, что и узнать нельзя. Воруют, пьянствуют, разбойничают. Нельзя! Потому уж компания такая. Тут и рязанские, и московские, и калуцкие, с хохлов тоже, с Кавказа... У всех семьи дома остались. Заработки большие, а работа тяжкая, ну и того... замотались божьи человечки... Еще которые большими артелями приходят — ну там, грабари, что ли, каменщики, плотники владимирские — те так вместе и держатся и домой вертаются благополучно... А те, что в шахтеры идут, — совсем пропадущие!.. Да и как иначе? Помилуйте: человек двенадцать часов из-под земли не вылазит и так каждые сутки, круглый год. В шахте — ни свету ему, ни воздуху, а вышел наружу — тоже отдохнуть надо, попить, поесть. Зато уж как дорвется человек до винища этого самого — только его и видели. И работу бросит, и все... До тех пор не опамятуется, пока с себя последней рубашки не пропьет, а там опять за работу...

— Да ведь небось они там гроши получают, на шахтах-то?

— Н-ну не-нет... Совсем не гроши... Плохо-плохо, если рублевку в день... А ведь есть и такие, что по три

рубля в сутки наколачивают — это где работа не поденная, а от куба. Иной вос-семнадцать часов подряд из шахты не выходит. Да ведь как работает-то — спина трещит! Лошади и той не в силу будет. И так-то вот две недели. А потом, — Илья выразительно засвистал, — пошла чертить... Отвлеченный, я вам скажу, народ. Перепьются, и сейчас у них первая мода, чтобы товарища кайлом по башке садануть. Прямо — убивцы. Да на что лучше: позапрошлым годом один шахтер своего товарища зарезал — можно сказать, друга лучшего — и за что? Опохмелиться ему, видишь, захотелось, а у того в кармане пятак денег был. Так он его за пятак за этот самый... Нарр-од!

— Да, мне приходилось в газетах читать, что у вас здесь делается... На заводы, говорят, нападают...

— Всего у нас есть... — мрачно отозвался Илья, — всего... Народ отчаянный, пьяный, его на все подтолкнуть можно. Ему все одно, когда на каторгу идти: сегодня ли, завтра ли... а то и так свои товарищи в драке убьют... Уж раз в такую жизнь человек попал — коне-ец!

Здесь, я вам скажу, такой случай был... Работал на одной шахте молодчик, из купеческого звания... пропился, значит, до того, что в шахтеры попал. Работал он долго — должно, с год. Ну и парень же был! В работе ли, в пьянстве ли — лютей его никого не было. Одно слово — коновод... И вдруг однажды приезжает за ним жена. Ну, прямо из себя картина, андик — можно сказать. И вся это она в перстнях золотых, в сережках, платье на ней шелковое. «Где мой муж! где мой муж».

— Вот он твой муж, возьми, целуйся с ним.

Купчиха так и разахалась: «Ах, ах, ах, до какого ты себя вида допустил». Сейчас его в спинжак одела, в шляпу... и цепочку золотую... На прощанье он всех своих товарищей вином напоил, каждому дал по рублю денег, и потом она его увезла домой... Ну, поговорили, поговорили об нем, да и позабыли... Только проходит месяц, другой — трах, — является опять мой голубчик. Ни пальта на нем, ни спинжака, ни шляпы — чуть не в чем мать родила — все с себя пропил!

«Товарищи милые, здравствуйте! Уж как же я по вас соскучился...» Ну, и те тоже рады... Так он и по сию пору в шахтерах состоит.

— А из ваших, из местных жителей разве никто в шахтах не работает?

— Мало. Так... которые больше из гольтепы. Да и зачем мне шахты, если я на своих двух лошадках зарабатываю в сутки те же три рубля? Опять-таки у нас земля, — хлебом займаемся. Или вот еще аренда. Сдали опчеством в аренду землю, — недры, значит, эти самые, — вот мы и богаты...

— Хорошо платят?

— Платят вот как. Взять хоть криворожских. Господами заделались: завели платье цивильное, чаи распивают... Тут у нас недры многих прокармливают. Только не всем это на пользу идет. Около нас, я вам доложу, жил один помещик — десятин девяносто у него земли было. Пропойца такой, каких свет не создавал: до того дошел, что эту самую водку лопал в кабаке с мужиками. Ну, натурально, земля у него была во всех банках заложена, так что он и сдавал-то ее в аренду за одни проценты. Хорошо-с... Только вот приезжают французы. Вырыли шурфы, поковыряли, посмотрели — да так с бацу этому помещику и предлагают: хотите двадцать пять тыщ, и чтобы вы больше никакого касательства к этой земле не имели, а мы сами на себя и банки и все берем. Ну, как уж не хотеть, коли у человека в брюхе целкает? «Хочу, говорит, сделайте такое ваше одолжение». И что же вы думаете? Получил он эти двадцать пять тыщ, да ка-ак закубрит, как закубрит... В полгода от вина сгорел, даже не успел всех денег просвистать. Вот как.

Между тем мы уже подъезжаем к Гладковской шахте. Рядом с выходящей из-под земли трубой, которую мы видели еще издали, возвышается огромное, каменное, двухэтажное здание. На крыше этого здания вращаются два вертикальных колеса, по желобкам которых скользят канаты, уходящие внутрь. Мы подъезжаем к воротам и быстро проносимся мимо сторожа-черкеса, стоящего около них в своем живописном народном костюме, в косматой папахе, с длинным

кинжалом за поясом. Повсюду на шахтах и на заводах можно видеть в качестве сторожей если не осетинов или ингушей, то черкесов. За ними укоренилась репутация преданных людей. «Уж если черкес нанялся, то ему хоть бочку золота рассыпь, он и смотреть не захочет...»

Однако последние вооруженные нападения на заводы заставляют думать, что и черкесы не на высоте своей репутации.

Мы в конторе. Светлый коридор. Налево и направо двери с дощечками: «Материальная часть», «Бухгалтерия» и так далее. Нас вводят в кабинет инженера, который оказывается жирным бельгийским буржуем, с земляным цветом лица, с черными мешками под глазами, залитыми желчью, с двойным подбородком и с хрипящим, как у старого мопса, голосом. Он долго и недоверчиво расспрашивает нас: не приехали ли мы из соседней шахты (вероятно, в качестве соглядатаев?), не корреспонденты ли мы и вообще не имеем ли мы каких-нибудь злоехидных затаенных намерений против шахты и ее администрации. Мы уверяем его на сомнительном французском языке, — русский язык ему совершенно незнаком, несмотря на то, что он в России уже десятый год, — в искренности и чистоте наших побуждений и в доказательство предъявляем ему наши паспорта. Он внимательно, с многозначительным лицом перелистывает их, держа вверх ногами, и возвращает нам их обратно. Затем он делает поклон моей спутнице и с кислой улыбкой замечает, что, к сожалению, он не может дать даме позволения спуститься в шахту. «Пусть madame votre épouse[1] (во-первых, вовсе не «épouse») извинит меня», — говорит он, вручая мне билетик. «Но вы позволите ей поглядеть хоть сверху?» — «Oh, certenaiment, madame, je vous en prie!»[2]

Мы проходим двором, где и земля, и заборы, и самый воздух пропитаны угольной пылью. Уголь повсюду сложен в длинные двускатные кучи, в рост че-

---

[1] Госпожа ваша супруга *(франц.)*.
[2] О конечно, сударыня, я прошу вас *(франц.)*.

ловека. Таких куч целые ряды, а в каждом ряду их сотни. Между этим угольным царством извивается узкая колейка железной дороги, и по ней снуют немилосердно, пронзительно, свирепо крича, крошечные паровозики — «кукушки». Мы добираемся до здания шахты и всходим во второй этаж.

Дежурный штейгер подходит к нам с не особенно гостеприимным «что вам угодно, господа?» Мы показываем ему билетик с разрешением, и он успокоивается. Место, где мы находимся, представляет из себя нечто вроде огромного длинного сарая, разделенного аркой на две «неравные половины». В меньшей помещается паровая машина, опускающая и поднимающая в шахту платформы. В большей, как раз посредине, находится прямоугольное отверстие, обнесенное со всех сторон решеткой. Это отверстие и есть начало «главного ствола». Две железные крытые платформочки служат для сообщения шахты с поверхностью земли. Движения их рассчитаны так, что, когда одна из них подымается, другая в то же самое время опускается. От отверстия идут два рельсовых пути, приспособленных для маленьких пустых вагонеток. Здесь же мы видим нечто вроде железной клетки. В ней помещается: плательщик, выдающий рабочим задельную плату, и десятник, ведущий им наряд. На большой черной доске отмечается мелом количество выработанного каждым шахтером угля.

Между тем штейгер оглядывает мой городской костюм и спрашивает не без иронии:

— Вы в таком виде и в шахту намерены спуститься?

— Да, намерен. А разве это почему-нибудь неудобно?

— Г-м... Это зависит от вкуса. Предупреждаю вас, что вы выйдете из шахты черный с головы до ног.

— Да, это, правда, не особенно приятно.

— Кроме того, вы вернетесь оттуда с насморком, потому что вам придется попасть под проливной дождь.

— Что же мне теперь делать?

— Я могу вам помочь в этом отношении. У нас есть запасные клеенчатые плащи и кеньги. Так что если вам будет угодно?..

Я, конечно, принимаю это предложение с изъявлениями удовольствия и через несколько минут уже облечен в клеенчатый плащ с капюшоном и в тяжелые калоши гигантских размеров. В одной руке у меня железная палка с острым наконечником, в другой — лампочка. В голове у меня вертятся смутные воспоминания о «Мартыне-рудокопе». Спутница моя смеется и находит, что я более похож на тех игрушечных капуцинов, которые предсказывают погоду.

Мне предстоит спуститься в компании штейгера и шестерых шахтеров. Они сходятся с разных сторон к отверстию ствола. Физиономии не внушают никакого доверия и кажутся бледными из-под покрывающего их угля. Одежды сборные, случайного характера и растерзанные. У каждого в руке инструмент и лампочка.

Эти лампочки представляют из себя не что иное, как цилиндрическое стекло, помещенное в футляр из частой проволоки. Внутри стекла есть маленький резервуар, наполненный маслом и снабженный фитилем. Вот и все. Проволочный колпак имеет предохраняющее значение: он делает невозможными взрывы газа, наполняющего шахты. Не полагаясь на осторожность русского рабочего, администрация рудников прибегает и еще к одной мере: перед тем как выдавать спускающемуся вниз шахтеру лампочку, крышку проволочного футляра закрывают наглухо, расплющивая между двумя пробоями свинцовую пломбу, которую вынуть без клещей никак нельзя. Но и такая заботливость не всегда предохраняет от ужасных катастроф. Невзирая на строгие запрещения и уповая исключительно на русского бога, самого главного из богов, шахтеры умудряются приносить с собою под землю табак и спички.

— Сейчас мы спустимся: будьте готовы, — говорит штейгер.

Платформа, бывшая наверху, медленно опускается и исчезает в черной зияющей дыре. Некоторое время

слышится рокотание скользящих канатов и пыхтение поршней паровой машины. Потом из отверстия издается звук — сначала слабый — приближающейся платформы, которая ходит своими углами в пазах. Есть что-то грозное в этих несущихся из бездны звуках. Через три минуты платформа плавно выскользает из-под земли, механически приподымая вверх одну из решеток, окружающих отверстие ствола. На платформе стоят две вагонетки с крупными мокрыми кусками угля. Двое рабочих тотчас же впрягаются в эти вагонетки и бегом мчат их по рельсам. Мы всходим на платформу. Штейгер пересчитывает нас и кричит механику: «Букет!» (иными словами «люди спускаются»). Этот удивительный сигнал остался от того отдаленного времени, когда людей спускали под землю в больших бадьях. Такая бадья, наполненная торчащими во все стороны человеческими фигурами, имела действительно вид живого букета. Механик дает вниз условный знак — двойной удар железного молотка.

— Держитесь за стенку, — советует мне штейгер.

Клетка дрогнула, и тотчас же я испытал удивительное ощущение. Мне показалось, что ноги мои приобрели вдруг странную легкость и почти отделяются от пола. Вслед за тем я почувствовал, что стремглав лечу вниз. Сначала мимо нас неслась с одуряющей быстротой круглая серая стена колодца, освещенная откуда-то бледным светом. Потом внезапно, в один миг наступила полная тьма. Слабые огоньки ламп чуть-чуть освещали красноватым блеском черные, неподвижные, бородатые фигуры шахтеров. Штейгер говорил мне что-то, наклоняясь к самому моему уху, но платформа ходила с таким грохотом, что я не слыхал его слов.

Но на середине пути вниз я испытал странное ощущение; мне вдруг показалось, что наша клетка, не останавливаясь ни на секунду, не замедляя хода, даже не дрогнув, понеслась вверх так же плавно, как она до сих пор падала вниз. Штейгер по моему растерянному лицу догадался о моих чувствах и крикнул мне на ухо смеясь:

— Ничего, ничего... Мы продолжаем падать... Это так всегда кажется тем, которые в первый раз. Потом это проходит.

Немного не доходя до дна, платформа опять переменила направление и легко, упруго, бережно стала на грунт. Кто-то растворил дверцу нашей клетки.

Штейгер был прав. Едва выйдя из вагона, мы попали под настоящий ливень грунтовых вод, которые отовсюду стекаются к главному стволу и падают вниз целыми потоками. Те рабочие, которые внизу разгружают и нагружают платформу вагонетками, одеты в такие же клеенчатые плащи, в каком был и я. Дождь с силою барабанил по этим плащам.

Шахта начинается высоким мрачным сводом, высеченным в антраците. В начале этого свода горят вставленные в стены керосиновые факелы, и от их колеблющегося света уголь слабо поблескивает там и сям на изломах. Общее впечатление грандиозное и тяжелое: такими в детстве рисовались сказочные подземные пещеры, в которых живут великаны, обедающие мальчиками с пальчиками. Воздух влажный, теплый и затхлый. Дышишь с трудом и чувствуешь, как сильно и часто пульсируют жилы.

Я шел вслед за штейгером по магистральной шахте. Скоро замер вдали огонь керосиновых факелов. Наши лампочки чуть-чуть освещали дорогу, между тем как по стенам бегали и трепетали длинные смутные тени. Сводчатая галерея перешла в узкий коридор с бревенчатым потолком и такими же стенами. Где-то в стороне слышалось журчание бегущей воды. Сверху время от времени падали тяжелые, теплые капли... Я шел осторожно, с тем напряженным, неприятным чувством, которое порождает темнота, ежеминутно натыкаясь ногами на проложенные посредине шахты рельсы. Странно — я уже жалел света и зелени, я уже раскаивался, что любопытство завлекло меня сюда, где надо мною висят и точно давят меня миллионы пудов земли и каменного угля.

Вдруг спереди послышался тяжелый топот лошадиных копыт и грохот колес, катящихся по рельсам. Мы прижались к стенке, и мимо нас рысью пробе-

жала лошадь, кажется — белая. Она влекла за собою две вагонетки, наполненные через верх углем. На первой из вагонеток сидел, небрежно свесив вниз ноги и болтая ими, рабочий. По этому поводу штейгер рассказал мне несколько интересных вещей. Эти лошади, эти благородные животные, созданные для приволья степей, осуждены на многолетнюю жизнь в шахте. Раз спущенная вниз на платформе, лошадь остается в шахте до самой смерти. От постоянной работы во мраке она через год, много полтора, совершенно слепнет и, по-видимому, мирится со своим горестным положением. Удивительней всего, что она какими-то своими лошадиными, непонятными для человека путями научается ориентироваться во времени. Когда кончается ее упряжка, то есть шесть часов беспрерывной работы, то уже ни за что не удастся удержать лошадь в ее лямке. Она протестует против лишней минуты и — едва распряженная — галопом мчится в свою конюшню.

Вдруг впереди нас в густом мраке мелькает красноватая звездочка. Через пять минут мы подходим к этому месту. Здесь идет работа. Двое шахтеров — черные, чуть освещенные фигуры — сидят на земле и острыми кайлами бьют в грунт. Отбив кругом довольно большой кусок, шахтер подводит под него снизу острый конец инструмента и выворачивает его. Изредка подъезжает с вагонетками товарищ этих двух рабочих, забирает отработанный уголь и везет его к главному стволу. Уголь поднимают вверх, и там четвертый и последний участник кучки довозит его до склада.

Шахтеры работают сосредоточенно, молча. Все это народ — суровый, необщительный: к молчанию их приучает жизнь под землей, в душном воздухе под давлением миллионов пудов грунта, где слова, сказанные громко, звучат шепотом.

Работа эта тяжелая, изнурительная, опасная. Хорошо еще, если пласт угля велик и даст возможность работать стоя или на коленях, или сидя. Но бывает, что толщина пласта не превышает аршина. Тогда шахтер работает лежа на спине, причем бьет кайлом

над своей головой. От этой трудной работы часто засариваются глаза, и, чтобы извлечь из глаз мельчайшие частицы угля, требуется немалое искусство, которое у шахтеров развивается практически.

Большею частью работа в шахте производится в совершенной темноте, потому что рабочие, обязанные по контракту работать с своим собственным освещением, экономят на масле.

К опасностям шахтерского ремесла относится также постоянная возможность обвалов, о которых так много писалось в этом году в газетах. Ответственность за эти катастрофы всецело падает на высшую администрацию шахт, потому что, при внимательном наблюдении за работами и при хорошем креплении шахты бревнами, обвалы не должны и не могут случаться. Но так как администрация, с одной стороны, принимает во внимание страшную дороговизну в этой степной местности лесного материала, а с другой — совершенно правильно рассчитывает на отважную беспечность рабочих, то и меры безопасности принимаются только для казенной очистки совести, а обвалы продолжают каждогодно совершаться то здесь, то там.

Магистральная шахта идет в прямом направлении чуть ли на целых две версты и дает множество разветвлений. В иных местах для передвижения вагонеток пользуются наклоном почвы, как движущей силой. Нагруженную вагонетку спускают вниз на канате, а пустую подымают наверх при помощи ворота.

Более часа ходили мы по этому подземному лабиринту. Иногда нам приходилось сгибаться и ползти чуть не на четвереньках по низким наклонным коридорам. Иногда нам преграждала путь длинная неподвижная лужа воды, в которой огонь лампочек отдавался жирным блеском. Все время мы слышали где-то в отдаленье сопенье и чмоканье насоса, выкачивающего из шахты грунтовые воды.

Порою мелькал вдали слабый красный огонек лампочки. Мы подходили к шахтерам, которые с молчаливым, озлобленным напряжением совершали свой тяжелый труд. Большинство из них работало совер-

шенно нагишом, и вид этих желтых сухих мускулистых тел, измазанных углем, производил на меня болезненное, гнетущее впечатление. На мое: «Бог на помощь», — один из рабочих, не подымая головы, не обернувшись, отвечал угрюмым голосом: «Спасибо!» — и с той же суровой энергией продолжал свой упорный труд.

Я должен сознаться, что, когда мы возвратились назад и подходили к главному стволу, я невольно все учащал и учащал шаги. Когда же через несколько минут мы подымались наверх, радостное чувство света и свободы властно озарили мою душу. В то же время я не мог не подумать о сотнях тысяч людей, осужденных на целые годы и десятки лет тяжелой, молчаливой подземной работы.

Платформа, наконец, остановилась, и я вышел из нее, жмуря глаза от нестерпимо яркого дневного света. Моя спутница спросила меня смеясь:

— Ну, что? Интересно в царстве гномов?

Это сравнение поразило меня. Я действительно только что вернулся из царства неутомимых, суровых гномов, которые остались теперь на страшной глубине полутораста сажен под нашими ногами и с той же угрюмой настойчивостью продолжают свою бесконечную работу, выражающуюся в колоссальных, многомиллионных цифрах годовых итогов. И я понял, что стыдно, а может быть даже несправедливо, осуждать этих усталых, «отвлеченных» людей в том, что иногда жажда жизни дерзко и буйно берет у них перевес над общепринятыми понятиями о достоинстве человеческой личности.

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Он между нами жил...

Бывало, в раннем детстве вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день — еще крепишься кое-как, хотя сердце — нет-нет — и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.

Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, — о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей: невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, в суете и потому, что время представ-

лялось неисчерпаемым, — ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно.

Детские скорби жгучи, но они растают во сне и исчезнут с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшей на кладбище, один большой писатель сказал простые, но полные значения слова:

— Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней наших, останется в нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет?

И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобою все те, кто был близок к нему, кто истинно любит его, как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писателей.

К любви, к нежной и тонкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

I

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой

в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, — она походила бы на здания в стиле moderne, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало отделенное низкой стенкой старое, заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах.

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали.

А. П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

— Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал

из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? — прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. — Знаете ли, через триста — четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастии человечества, когда, по утрам, один молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытимого человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было — ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости — от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, — он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастии.

— Как хороша будет жизнь через триста лет!

И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на

большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления, вроде убийства, воровства и прелюбодеяния, становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.

Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то и другое осталось от «Дяди Вани», с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда А. П-чу постановку его пьесы. Обоими предметами Чехов чрезвычайно дорожил и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра. Здесь у места также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много скрасили последние дни незабвенного художника.

II

Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелиховских таксах Броме и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ — собаки!» — говорил он иногда с добродушной улыбкой.

Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и

махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.

Одну собаку звали Тузик, а другую — Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:

— Уйди же, уйди, дурак... Не приставай...

И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:

— Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:

— Ах ты, глупый, глупый... Ну как тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будет... дурачок...

Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А. П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трехчетырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным

и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А. П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны, — и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в «Русском о-ве пароходства и торговли», человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.

Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда подымаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А. П-чу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу.

«И вот тогда произошла сверхъестественная сцена, — рассказывал мой знакомый. — Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань:

— Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты — вот кого ударил!

И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, раздельно, но с необычайным выражением: «Как вам не стыдно!».

Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого мореплавателя, — лучше бы мне двадцать раз в морду плюнули, чем услышать это «как вам не стыдно». И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели».

III

Кабинет в ялтинском доме у А. П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери — большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему — письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем; в нише — турецкий диван. С правой стороны, посредине стены — коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое, незаделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами — это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу — дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, — светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета — в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо — шкаф с книгами. На камине несколько безделушек и между ними прекрасная модель парусной шкуны. Много хорошеньких вещиц из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты — Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры

и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А. П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полукольцом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни и когда во мраке эти огни и звезды над ними так близко сливаются, что не отличаешь их друг от друга, — тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса...

Всегда бывает так: познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры, и все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в самый первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так и у меня, после нескольких лет знакомства с А. П., сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общей зале «Лондонской» гостиницы в Одессе. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки, — слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: «на земского врача или на учителя провинциальной гимназии». Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное — в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова, — именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А. П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков — словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот — удивительно — каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.

Обращал внимание в наружности А. П. его лоб — широкий, белый и чистый, прекрасной формы: лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные, задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека — у Толстого.

Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастию, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А. П. сказал, посмотрев на них:

— Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.

Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, — пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда — небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.

IV

Вставал А. П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда, безукоризненно, изящно и скромно одетого.

По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставать: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессоры, светские люди, сенаторы, священники, актеры — и бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись раз-

вязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота — и настоящая и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.

Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, — надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.

Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, по-моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в академию по этому поводу — прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души.

«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного

погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст. выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными — такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.

А. Чехов».

Странно — до чего не понимали Чехова! Он — этот «неисправимый пессимист», — как его определяли, — никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном:

— Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция.

Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество, который отозвался во всех его произведениях последних лет.

Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А. П-ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания.

Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. А. П. чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с неба,

толстый господин (оказавшийся впоследствии архитектором), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А. П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат: «Просят не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную рижскую сигару. Затем, отвесив, как неизбежный долг, несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведшему его делу.

Дело же заключалось в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. «Так вот, видите ли, глубокоуважаемый А. П., — заключил свой рассказ архитектор, — я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это — случай! Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию — и что бы тогда вышло?» — «Да, все это очень прискорбно, — ответил Чехов, — но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденций. Я пишу только рассказы». — «Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ, — обрадовался архитектор. — Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя — вы и господин П.» (и тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика).

Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор, потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он, наконец, удалился, А. П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными

пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому:

— Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил!

Помню также, — и это, каюсь, отчасти моя вина, — как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, вероятно желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит.

Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо сделается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего, с легким смешком:

— Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут.

— Почему так?

— Смешно очень. Всё врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: «Извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишите, что вздумается. Мне все равно». Ну, уж он и написал. Меня даже в жар бросило.

А однажды он сам с самым серьезным лицом сказал:

— Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: «А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю». Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь...

V

В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом, — удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящая из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И, кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого.

Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых.

Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна (мать А. П.) говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе:

— А Антоша опять ничего не ел за обедом.

Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом:

— Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая из-под ее полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А. П-ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили незнакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.

Один «тамбовский помещик», как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А. П. уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору, — «тамбовский помещик» стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, «тамбовский помещик» положил на стол два золотых и, как его ни уговаривал А. П., ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было «тамбовскому помещику». С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А. П. рассказывал мне сам — полусмеясь, полусердито.

Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса,

сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотою от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех забывавших о нем своей неподвижностью.

— Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, — признавался Чехов. — А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.

И вдруг, с глазами, загоравшимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:

— А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?

В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. «У меня такая масса посетителей, — жаловался он в одном письме, — что голова ходит кругом. Трудно писать». Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:

— У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы А. П. Чехов?» — «Да, это я. Что вам угодно?» — «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовал себя А. П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда — но год от году все реже и реже — воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим, прелестным юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой

день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

— Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедем к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?

Придумывал он удивительные — чеховские — фамилии, из которых я теперь — увы! — помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите, — Бунин мой сверстник, — уверял он с напускной серьезностью. — Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному, идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник...»

Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.

После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уже все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время, или разбирался в своих памятных книжках, занося впечатления дня, — это, кажется, не было никому известно.

VI

Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А. П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:

— Только спаси вас бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.

Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.

Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е. Я. Чехова. «Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро. И опять задумается...»

Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по нескольку лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ, — говорил он как-то, — то уже не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».

Где он черпал свои образы? Где он находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает? Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями.

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа — работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно

уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А. П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью, совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно». Или вторично предлагает вопрос, на который только что получил ответ.

Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которою так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А. П-ча своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи, и все говорит, говорит, говорит... И так каждый день.

И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А. П. прибавлял оживленно:

— А ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем — это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил:

— Знаете, Москва — самый характерный город. В ней все неожиданно. Выходим мы как-то весенним утром с публицистом С-ным из Большого Московского. Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг С-н тащит меня к Иверской, здесь же, напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает оделять нищих — их там десятки. Сунет копеечку и бормочет: «О здравии раба божия Михаила». Это его Михаилом зовут. И опять: «Раба божия Михаила, раба божия Михаила...» А сам в бога не верит... Чудак...

Тут я должен подойти к щекотливому месту, которое, может быть, не всем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с разносчиком, с просящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем, и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не оттого ли у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга — как истый бродяга? И не оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество «закадычных» друзей, за которых он, по их словам, был готов в огонь и в воду?

Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне (была, впрочем, легенда о каком-то его близком, любимом друге, чиновнике из Таганрога), но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть бессознательным, интересом.

Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не ндравится мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги, полупьяницы, полупомешанного, полупророка. Также, помню, разговорились мы с ним как-то о давно уже умершем московском поэте, и Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожительницу, и его

пустые комнаты, и его сенбернара Дружка, страдавшего вечным расстройством желудка. «Как же, отлично помню, — говорил А. П., весело улыбаясь, — в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: «Лиодор Иваныч, а Лиодор Иваныч, а что, вам не пора пиво пить?» Я тогда же неосторожно сказал: «Ах, так вот откуда это у вас в «Палате № 6»?» — «Ну да, оттуда», — ответил А. П. с неудовольствием.

Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, и на самые модные платья, и на внешний интерес к литературе, говорили «едеял», «принциапально». Иные из них часами изливались перед Чеховым: какие у них необыкновенно тонкие, «нервенные» натуры и какой бы замечательный роман мог сделать «гинеяльный» писатель из их жизни, если бы все рассказать. А он ничего, сидел себе и молчал, и слушал с видимым удовольствием, — только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что он *искал,* подобно многим другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть, часто против желания, в силу давно изощренной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.

Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. Также чрезвычайно редко сказывался в его речах художник и беллетрист. Он, отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблял в разговоре обыкновенные, средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене, и в этом была громадная разница между ним и теми беллетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут.

Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также и от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов, и этим свойством А. П. обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка его *кажущегося* безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушия к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ним несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение: некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которые способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выспренними словами и даже представить себе не может, как это он станет на колени и прижмет одну руку к сердцу и как заговорит дрожащим голосом первого любовника. И потому он любит и молчит, и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всем правилам декламации, изъясняет фат среднего пошиба.

VII

К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он: «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему: «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься «нашим молодым» и «подающим надежды», — он отвечал спокойно и серьезно:

— Не всем же, батенька, писать, как Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой

обстановке трудно писать, — и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я вверху, — говорил он со своей очаровательной улыбкой. — И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне, или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».

Читал он удивительно много и всегда все помнил и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнения, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому, что знал, как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая, критика и какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ. Чудесно написано», — говорил он в таких случаях грубоватым и задушевным голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма, написанные одному и тому же беллетристу, по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого:

«Дорогой N., повесть получил и прочел, большое вам спасибо. Повесть хороша, прочел я ее в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие...»

Но так как автор не удовольствовался одной похвалой, то вскоре он получил от А. П. другое письмо:

«Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее, некоторыми. Например, героев своих, актеров, вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми писавшими о них, — ничего нового. Во-вторых, в первой главе вы заняты описанием наружностей — опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою цен-

ность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных. Вот и все, что я могу вам сказать в ответ на ваш вопрос о недостатках; больше уж ничего придумать не могу».

К тем из писателей, с которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, он всегда относился бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, которое, он знал, будет приятно или полезно.

«Дорогой N,. — писал он одному знакомому, — сим извещаю вас, что вашу повесть читал Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ., и в заглавии подчеркните рассказы, которые вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а я уж передам ему».

К пишущему эти строки он также проявил однажды милую любезность, сообщив письмом, что в «Словаре русского языка», издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который (то есть выпуск) я сегодня получил, показались, наконец, и Вы. Так, на странице такой-то и т. д.».

Все это, конечно, мелочи, но в них сквозит так много участия и заботливости, что теперь, когда нет уже больше этого изумительного художника и прекрасного человека, его письма приобретают значение какой-то далекой, невозвратимой ласки.

— Пишите, пишите как можно больше, — говорил он начинающим беллетристам. — Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное — не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вам только и работать. Смотрите: вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день.

И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочи-

нений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден.

— Слушайте: ездите почаще в третьем классе, — советовал он. — Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи.

Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего брандмауэра из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения:

— Не понимаю, отчего вы — молодой, здоровый и свободный — не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему-то его излюбленной частью света) или в Сибирь? Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсем особое государство. Знаете, я убежден, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России, вот так же, как Америка отделилась от метрополии. Поезжайте же, поезжайте туда непременно...

— Отчего вы не напишете пьесу? — спрашивал он иногда. — Да напишите же, в самом деле. Каждый писатель должен написать по крайней мере четыре пьесы.

Но тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. «Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы, — говорил он. — Мы себе и представить не можем, чем будет театр через сто лет».

Бывали у А. П. иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. «Крупное само останется, — доказывал он, — а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот, спустя час, кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказы-

вать о своих театральных впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник, в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Энженю-комик, его «театральная» жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему: «Саша, как это ты вчера напевал из «Паяцев»? Насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жирным актерским голосом: «Что-о́? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена — тот же храм!»

После этого рассказа А. П. сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким, ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена — это храм?..» И записал весь анекдот.

В сущности даже и противоречия во всем этом не было, и сам А. П. потом объяснил это. «Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы — это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку — иначе забудется, рассеется».

Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов, до той поры, пока с легкой руки «Северного вестника» он не завоевал их окончательно.

— В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, — говорил он молодым писателям. — Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? *Это* называется — произведением? Да ведь *это* короче воробьиного носа. Нет, нам таких *штучек* не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да

это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: «Эх, вы, Че-хо-вы!» Должно быть, это было смешно».

Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет, — говорил он решительным тоном. — И оттого-то теперь всё труднее становится выбиться из неизвестности. И, знаете, кто сделал такой переворот? — Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, — они все здоровые мужики. Но писать — мастера».

В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. «Зачем это писать, — недоумевал он, — что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, — все равно, какое придет в голову, — и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире — это манерно».

Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. «В одной хорошей повести, — рассказывал он, — я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка,

и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любуется на них. Так — нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей, и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно».

VIII

Сын Альфонса Додэ в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полушутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить.

Чехов, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного, но как часто приходилось ему выслушивать тяжелые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему свою нежную и твердую руку. В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Но ничто личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым не любя, ласковым и участливым — без привязанности, благодетелем — не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности.

Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу коротенький отрывок из чеховского письма. Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал А. П. своей болью. И вот Чехов однажды написал ему:

«Скажите вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние,

когда она будет улыбаться, а вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов — это обыкновенный maximum для первых родов».

Какое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих, простых строчках. Но еще характернее то, что, когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом, этот мой приятель спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, А. П. ответил спокойно, даже равнодушно:

— Да ведь, когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. *Все равно — и там такая же радость.*

Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его изредка на консультации, отзывались о нем, как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом, проницательном диагносте. Да и не было бы ничего удивительного в том, если бы его диагноз оказался совершеннее и глубже диагноза, поставленного какой-нибудь модной знаменитостью. Он видел и слышал в человеке — в его лице, голосе, походке — то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя.

Сам он предпочитал советовать, в тех редких случаях, когда к нему обращались, средства испытанные, простые, по преимуществу домашние. Между прочим, чрезвычайно удачно лечил он детей.

Верил он в медицину твердо и крепко, и ничто не могло пошатнуть этой веры. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя «Доктор Паскаль».

— Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете, — сказал он, волнуясь и покашливая. — Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа.

И кто же не знает, какими симпатичными чертами, с какой любовью сквозь внешнюю жесткость и как

часто описывал он этих чудных тружеников, этих неизвестных и незаметных героев, сознательно осуждающих свои имена на забвение? Описывал, даже не щадя их.

IX

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом...», «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...», «Здоровье мое неважно... пишу понемногу...»

Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было — кровь шла», — скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе:

— А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно.

Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигавшейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти:

— Видите ли: пока у человека хороши легкие — все хорошо.

Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: «Ich sterbe!»[1] И

---

[1] Я умираю! *(нем.)*

последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны...

Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народа на вокзале, «вагон для устриц», станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз... Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой «вдовы казака Ольги Кукаретниковой».

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

— Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши...

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника?

Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе — и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле: пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастии которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе.

СОБЫТИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ

Ночь 15 ноября. Не буду говорить о подробностях, предшествовавших тому костру из человеческого мяса, которым адмирал Чухнин увековечил свое имя во всемирной истории. Они известны из газет; вкратце: матросский митинг, выстрелы в Писаревского и одного пехотного офицера, отложение экипажей от армии, присяга и измена брестцев, — Шмидт подымает на «Очакове» сигнал: «Командую Черноморским флотом», великолепно-безукоризненное поведение матросов по отношению к жителям Севастополя и, наконец, первые предательские выстрелы с батарей в баржу, подходившую к «Очакову» с провиантом. Но должен оговориться. Длинная, по-жандармски бессмысленная провокаторская статья о финале этой беспримерной трагедии, помещенная в «Крымском вестнике», набиралась и печаталась под взведенными курками ружей. Я не смею судить редактора г. Спиро за то, что в нем не хватило мужества предпочесть смерть насилию над словом. Для героизма есть тоже свои ступени. Но лучше бы он попросил авторов, адъютантов из штаба Чухнина, подписаться под этой статьею. Путь верный: подпись льстит авторскому самолюбию...

Мы в Балаклаве услыхали первые звуки канонады часа в три-четыре пополудни. Сначала думали, что

это — салюты в честь монарха или кого-то из его августейшей семьи. Но выстрелов было слишком много, более сорока. К тому же вскоре показались первые извозчики из Севастополя с колясками, наполненными людьми, одуревшими от ужаса. Говорили смутно и бестолково, что на «Очакове» пожар, что несколько судов потоплено, что из морских казарм стреляют из пулеметов.

Мы вдвоем поехали в Севастополь на обратном извозчике. Это был единственный извозчик, согласившийся вернуться в город, объятый пламенем революции. Надо прибавить однако, что там у него осталась семья.

Вскоре стемнело. Нам навстречу беспрерывно ехали коляски, дроги, телеги. Чувствовалась уже за пятнадцать верст паника. На экипажах навалена всяческая рухлядь, собранная кое-как впопыхах. В этом было много жуткого. Точно кошмарный обрывок из картины переселения народов, гонимых страхом смерти. Сцеплялись колеса с колесами, люди ругались с озлоблением, со стучащими зубами. Ни у кого не было огней. Наступила ночь. Справа от нас над горизонтом по черному небу двигались беспрерывно прямые белые лучи прожекторов, точно световые щупальцы.

Мы окликали, спрашивали. Ни один из беглецов не отозвался. Извозчики отвечали бессмысленно и неопределенно:

— А там пальба идет.

Или:

— Там все друг друга постреляли.

А один сказал с зловещей насмешкой:

— Поезжайте, поезжайте. Сами увидите.

Дорога к Севастополю идет в гору. Когда мы поднялись на нее, то увидели дым от огромного пожара. Весь город был залит электрическим светом прожекторов, и в этом мертвом, голубоватом свете клубы дыма казались белыми, круглыми и неподвижными. Город точно вымер. Встречались только отряды солдат.

Когда при въезде против казарм поили лошадей, то узнали, что действительно горит «Очаков». Отправились на Приморский бульвар, расположенный вдоль бухты. Против ожидания, туда пускали свободно, чуть ли не предупредительно. Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке.

С Приморского бульвара вид на узкую и длинную бухту, обнесенную каменным парапетом. Посредине бухты огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера — сплошное пламя. Остается целым только кусочек корабельного носа, и в него уперлись неподвижно лучами своих прожекторов «Ростислав», «Три святителя», «XII Апостолов». Когда пламя пожара вспыхивает ярче, мы видим, как на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике, вдруг выделяются маленькие черные человеческие фигуры. До них полторы версты, но глаз видит их ясно.

Я должен говорить о себе. Мне приходилось в моей жизни видеть ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти не забуду я этой черной воды и этого громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека. Нет, пусть никто не подумает, что адмирал Чухнин рисуется здесь в кровавом свете этого пожара, как демонический образ. Он просто чувствовал себя безнаказанным.

Великое спасибо Горькому за его статьи о мещанстве. Такие вещи помогают сразу определяться в событиях. Вдоль каменных парапетов Приморского бульвара густо стояли жадные до зрелищ мещане.

И это сказалось с беспощадной ясностью в тот момент, когда среди них раздался тревожный, взволнованный шепот:

— Да тише, вы! Там кричат!

И стало тихо, до ужаса тихо. Тогда мы услыхали, что оттуда, среди мрака и тишины ночи, несется протяжный высокий крик:

— Бра-а-тцы!..

И еще, и еще раз. Вспыхивали снопы пламени, и мы опять видели четкие черные фигуры людей. Стала лопаться раскаленная броня с ее стальными заклепками. Это было похоже на ряд частых выстрелов. Каждый раз при этом любопытные мещане бросались бежать. Но, успокоившись, возвращались снова.

Пришли солдаты, маленькие, серенькие, жалкие — литовский полк. В них не было никакой воинственности. Кто-то из нас сказал корявому солдатику:

— Ведь это, голубчик, люди горят!

Но он глядел на огонь и лепетал трясущимися губами:

— Господи боже мой, господи боже мой.

И было в них во всех заметно темное, животное, испуганное влечение прижаться к кому-нибудь сильному, знающему, кто помог бы им разобраться в этом ужасе и крови.

И вот и к ним и к нам подходит офицер, большой, упитанный, жирный человек. В его тоне молодцеватость, но и что-то заискивающее. Это все происходит среди тревожной ночи, освещенной электрическим светом прожекторов и пламенем умирающего корабля.

— Это еще что-о, братцы! А вот когда дойдет до носа — там у них крюйт-камера, это где порох сложен, — вот тогда здорово бабахнет!..

Но в ответ — ни обычной шутки, ни подобострастного слова. Солдаты повернулись к нему спиной.

А гигантский трехтрубный крейсер горит. И опять этот страшный, безвестный, далекий крик:

— Бра-а-тцы!..

И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразишь на человеческом языке, крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвавшийся крик. Это все оттуда. Тогда некоторые из нас кинулись на Графскую

пристань к лодкам. И вот теперь-то я перехожу к героической жестокости адмирала Чухнина.

На Графской пристани, где обыкновенно сосредоточены несколько сотен частных и общественных яликов, стояли матросы, сборная команда с «Ростислава», «Трех святителей», «XII Апостолов» — надежный сброд. На просьбу дать ялики для спасения людей, которым грозили огонь и вода, они отвечали гнусными ругательствами; начали стрелять. Им заранее приказано было прекратить всякую попытку к спасению бунтовщиков. Что бы ни писал потом адмирал Чухнин, падкий на литературу, — эта бессмысленная жестокость остается фактом, подтвердить который не откажутся, вероятно, сотни свидетелей.

А крейсер беззвучно горел, бросая кровавые пятна на черную воду. Больше криков уже не было, хотя мы еще видели людей на носу и на башне. Тут в толпе многое узналось. О том, что в начале пожара предлагали «Очакову» шлюпки, но что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от «Очакова», стреляли картечью. Что бросавшихся вплавь расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками. Последнему я не верю: солдаты были слишком потрясены, чтобы сделать и эту подлость.

Опять лопается броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности, неудовлетворенная, невозможная месть. Мы уезжаем. Крейсер горит до утра.

По официальным сведениям — две или три жертвы. Хорошо пишет литературный адмирал Чухнин.

О травле против жидов, социал-демократов, которая поднялась назавтра и которая — это надо сказать без обиняков — исходит от победоносного блестящего русского офицерства, исходит вплоть до призыва к погрому, — скажу в следующем письме...

Настроение солдат подавленное. Хотелось бы думать — покаянное.

ИСКУССТВО

У одного гениального скульптора спросили:

— Как согласовать искусство с революцией?

Он отдернул занавеску и сказал:

— Смотрите.

И показал им мраморную фигуру, которая представляла раба, разрывающего оковы страшным усилием мышц всего тела.

И один из глядевших сказал:

— Как это прекрасно!

Другой сказал:

— Как это правдиво!

Но третий воскликнул:

— О, я теперь понимаю радость борьбы!

ПАМЯТИ А. И. БОГДАНОВИЧА

Существует прекрасный, полный героической трогательности рассказ об одном адъютанте Наполеона. В разгаре сражения он подскакал к императору, пославшему его с каким-то поручением, сделал точный, спокойный доклад, но вдруг начал бледнеть и шататься в седле. «Etes vous blessé, monsieur?» — спросил Наполеон. «Pardon, Sir, je suis mort»[1], — ответил офицер и упал мертвым на шею коня.

Мне вспоминается этот рассказ, когда я думаю о последних днях и о смерти Ангела Ивановича Богдановича. До тех пор, пока была возможность держаться на ногах, он мужественно отдавал журналу последние крохи жизненной энергии, преодолевая давнишнюю тяжкую болезнь, страдания от которой стали под конец невозможно жестокими. Оставив редакцию, он в тот же день слег в постель и через несколько недель умер.

Однажды вечером, вот уже год тому назад, я застал его в редакции. Он был один и сидел за корректурой, нагнувшись, совсем приблизив к листу свои слабые глаза в темных очках. Низко опущенный абажур лампы оставлял всю комнату в зеленоватом сумраке, но в светлом круге, падавшем на стол,

[1] Вы ранены, сударь?..
— Простите, Ваше величество, я мертв *(франц.)*.

особенно четко выделялся прямой пробор мягких волос, бледное, бескровное, исхудалое лицо, светлая бородка, заостренная книзу, и сухая белая рука, нервно чертившая на полях корректурные знаки. Помню, меня поразил тогда его голос; прежде такой отрывистый, решительный, несколько суховатый, — он звучал теперь глухо и грустно, с какой-то новой, непривычной, кроткой медлительностью. Тишина, усталость, болезнь и близкая смерть веяли в этот безмолвный вечерний час над его склоненной головой.

Может быть, мало найдется людей, которых судьба преследовала бы с таким ожесточенным постоянством, как Богдановича. В ранней молодости — суровые бедствия студенческой жизни, безыменная, самоотверженная, не ждущая признания и не ищущая благодарности борьба за освобождение народа, и за нею полицейская травля, обыски, ужасы военного суда 80-х годов, крепость и ссылка; позднее — тяжелая, скудно оплачиваемая, изматывающая душу работа в провинциальной прессе; еще позднее — десять лет огромной журнальной деятельности в свирепую эпоху гонения на печать и — что еще хуже! — в пресловутую эпоху свободы печати. Цензурные условия и политическое прошлое принуждали Богдановича скрываться за скромными инициалами А. Б. и таким образом отказаться даже от того удовлетворения авторскому самолюбию, которое так невинно и понятно, а для Ангела Ивановича было так заслуженно.

Но маленький, худой, бледный человек, обладавший несокрушимой волей, твердо шел вперед наперекор судьбе. Он достиг многого: скромные инициалы привлекли круг отзывчивых и благодарных читателей, имя Богдановича приобрело надлежащий вес и значение в литературном мире, счастливая семейная жизнь обещала отдых и спокойствие. Тогда судьба нанесла последний, уже непоправимый удар — мучительную, неизлечимую, затяжную болезнь, — последствие крепостного заключения и суровой борьбы за жизнь.

Никогда и никто из нас не слыхал от него ни одной жалобы. На вопросы о здоровье он отвечал

точно вскользь, коротко и небрежно, куда-то в сторону, прекращая этим дальнейшее любопытство или участие. Точно так же никогда он не говорил ни слова о себе самом, о своей жизни или о личных делах. Даже обычное, так излюбленное людьми местоимение «я» он заменял в разговорах с сотрудниками собирательным редакционным «мы».

Вообще я не знал более молчаливого человека, чем Богданович, и думаю, что немногословность его проистекала равномерно как из серьезной замкнутости сильного, трезвого и осторожного характера, так и от долголетней привычки к упорной кабинетной работе. На редакционных собраниях он подолгу не произносил ни одного слова, слушая или делая вид, что слушает, вертя в это время в пальцах карандаш или нервно покручивая в одну сторону кончик бороды. Но, когда ему приходилось высказываться, он говорил сжато и быстро, никогда не останавливаясь ни на мгновение для подыскания слова. В эти короткие минуты он не позволял перебивать себя. Он произносил спокойно: «Виноват, я сейчас кончу», и продолжал свою речь оттуда, где остановился, с той непоколебимой деловой логичностью, ясностью изложения и знанием вопроса, которым трудно бывало противостоять. Перед большой же публикой он, насколько я знаю, никогда не выступал, боясь за свои нервы.

Работоспособность его была поразительна. Он читал в рукописях статьи почти по всем отделам журнала, держал их корректуры, вел громадную деловую переписку, принимал известных авторов, а также дебютантов в литературе, что, между прочим, одинаково трудно, длительно и неудобно, писал рецензии и критические статьи, распределял материал для очередной книжки, сносился с типографией, торопил брошюровочную. Казалось, в нем жила какая-то ненасытная потребность заваливать себя сверх головы работой. Кто-то сказал про него в шутку: если бы у Богдановича оставалось время, он бы сам набирал статьи, верстал их и печатал.

Как настоящий беспримерный труженик, он не терпел праздной болтовни и высоко ценил деловое время. Поэтому разговоры его с авторами отличались лаконичностью. Если писатель во что бы то ни стало жаждал прочесть ему немедленно же, вслух, свою повесть размером в три-четыре печатных листа, — он говорил коротко, но твердо: «Оставьте здесь рукопись, мы сами прочтем». Возвращая статью автору-неудачнику, он говорил: «Это нам не подходит», а на настойчивые просьбы сказать откровенно, почему именно не подходит, он, наконец, отвечал с серьезной, деловой откровенностью: «Потому что плохо написано». Авторов-графоманов и болезненно-обидчивых дам-романисток он избегал, как огня.

Такой образ действия очень понятен со стороны, но совершенно непонятен авторам, и вот о Богдановиче пошло ходячее мнение, как о человеке с угловатым, нетерпеливым и высокомерным характером, на что, впрочем, он не обращал никакого внимания. Однако он один из первых приветствовал исключительные таланты Горького и Андреева и восприял от купели юношеские произведения многих беллетристов, пользующихся теперь большой известностью, а тогда — робких, застенчивых, уступчивых и признательных новичков. *Те, кому следует, поймут меня.* Правда, он никогда не нежничал, не льстил, не предсказывал писателю будущности, не распределял мест в литературном пантеоне. Он просто говорил: «Это нам подходит», или: «Ваша рукопись сдана в набор». Эту краткость и сухость тоже относят насчет его нелюдимости, мизантропии, самомнения и так далее. А между тем это была только привычная манера делового и страшно занятого человека. Я утверждаю, что под его внешней холодной и сухой манерой обращения таилась истинная, сердечная привязанность к носителям даже незначительных талантов. Для него бывало большой радостью, когда «наш» сотрудник попадал в книжки «Знания», получая таким образом некоторый патент на экзамен, выдержанный во второй класс. И — хотя это всегда отзывалось впоследствии проигрышем для журнала — он

всячески содействовал, насколько это от него зависело, тому, чтобы экзаменующийся получил удовлетворительный балл и был принят.

Но были два предмета его постоянных волнений и нежной заботливости — это «наш журнал» и «наш читатель». Оба они были для А. И. реальными, почти живыми существами. Им он отдавал всю свою душу, о них думал с утра до вечера, ради них усугублял свою осторожную недоверчивость испытанного журналиста. Поэтому он и бывал так упрямо беспощаден к перебежчикам, к людям с подмоченной репутацией, к писателям-флюгерам, готовым писать как, где и что угодно: здесь его антипатии стояли незыблемой стеной. Наконец — и только при нарушении интересов любимого журнала — на Богдановича изредка, раза два-три в год, находили припадки настоящей, не знающей границ ярости, тем более страшной, что она оттенялась всегдашним спокойствием. В одном из подобных настроений Богданович однажды так объяснился с придирчивым цензором, что редакция журнала с этой поры не решалась более утруждать его объяснениями по делам печати. Бескорыстный джентльмен, уступчивый в вопросах денежных и издательских, он становился деспотичным и вспыльчивым, когда дело касалось репутации и чести его знамени — журнала.

Несмотря на громадный труд по журналу, Ангел Иванович читал поразительно много и, что еще дороже, обладал исключительною памятью, в которой множество самых разнообразных знаний укладывались легко и в порядке. Никто легче его не обличал плагиаторов. Это был настоящий энциклопедический ум, живой справочник, в котором умещались даже такие сведения, которые были совсем далеки от специального медицинского образования Ан. И-ча и от его писательской профессии. Он удивлял иногда точными и обширными познаниями в военном искусстве, в конском и атлетическом спорте, в православном богослужении, хотя сам был католиком, в естественных науках, в математике, в медицине, в истории, в музыке, в политической экономии, в живописи и во

многом другом. Но мнения свои он высказывал всегда кратко и притом в самой скромной форме: «Если я не ошибаюсь...», «насколько помню...», «как мне кажется».

Многим из знавших Богдановича лишь издали, поверхностно, покажется невероятным, чтобы этот болезненный, глубоко серьезный, молчаливый человек мог страстно любить наиболее яркие, самые цветные стороны жизни. Еще за пять лет до своей смерти он неизменно ходил смотреть откуда-то с Канавки на военные майские парады и совершенно искренне, даже наивно восхищался голосом дьякона Малинина на Смоленском кладбище во время заупокойной обедни по В. П. Острогорском. Он с удовольствием, в виде отдыха, читал Шерлока Холмса, Дюма-отца и вообще романы с приключениями; он был поклонником физического здоровья, мускульной силы, ловкости, красоты, нормальной чувственности, отваги, легендарного героизма и переносил эти симпатии на свои суждения о литературе. Я помню, как трогательно, наивно и смешно, с необыкновенной серьезностью он отозвался заочно об одном романисте, принесшем в журнал свое произведение: «Роман так себе, мы его напечатаем, но ужасно жалко, что автор такой плюгавый на вид». Яркость и сочность красок, здоровая и простая художественность, сила изображения и меткость взгляда более всего прельщали его в произведениях беллетристики.

Но болезнь и усталость брали свое, все более суживая круг личной жизни. За последний год мы ни разу не видали даже тени улыбки на строгом лице Богдановича. В обращении его с людьми проглядывала утомленность и сумрачная, но мягкая грусть. Журнальные невзгоды, вроде колебаний подписки, неизбежных внутренних неурядиц, административных нападок и так далее, уже не возбуждали в нем, как раньше, мгновенных, хотя и редких взрывов негодования — он принимал их с покорной тоской, затаенной под внешней выдержанной холодностью. И самая политическая ненависть, прежде так глубоко возмущавшая и колебавшая его усталую

душу, под конец улеглась и устоялась в бесповоротное презрение и молчаливую брезгливость.

Угадывал ли он, предчувствовал ли свой близкий конец? Никто из нас не сумеет ответить на это, потому что никого он не пускал в свою замкнутую душу. Но до последних минут главным центром его сознания, важнейшим интересом его угасавшей жизни были все те же два одухотворенные в его глазах существа — «наш журнал» и «наш читатель». Им он остался верен до смерти.

Храбрый солдат покидает свой пост только тогда, когда из его рук само вываливается знамя и глаза заволакивает холодный туман. Преклонимся перед этим образом героизма. Но также снимем шляпы и опустим головы перед ежедневным, незаметным, будничным самоотвержением, идущим вплоть до могилы. Это я говорю тому читателю, на служение которому Богданович сжег свою жизнь.

О КНУТЕ ГАМСУНЕ

I

«Большая книга вышла из печати, целое королевство, маленький шумный мир настроений, голосов и образов. Ее раскупали и читали. Имя его было у всех на устах, счастье не покидало его... Эту книгу он написал на чужбине, вдали от воспоминаний пережитого на родине, и она была крепка и сильна, как вино».

«Милый читатель, это история Дидриха и Изелины. Она была написана в доброе время, во дни ничтожных работ, когда все легко переносилось, написана с сильной нежностью к Дидриху, *которого бог поразил любовью»*.

Это все говорится о книге Иоганнеса, сына мельника, которого так же, как и всех героев Гамсуна, бог поразил прекрасной, трагической, пронизавшей всю его жизнь любовью (Виктория). Но так и кажется поневоле, что Гамсун говорит здесь о другой книге, о своем «Пане», создавшем автору его теперешнюю, чуть ли не всемирную известность.

Первый перевод этого замечательного романа появился у нас около восьми лет тому назад — боюсь ручаться за точность — в книгоиздательстве «Скорпион», в очень хорошем переводе Полякова. Потому ли, что широкая публика относилась тогда еще недоверчиво к этому издательству с таким претенциоз-

ным названием и исключительным направлением, или благодаря изысканной аристократической своеобразности, непринужденной простоте и глубине, пестроте настроений и новизне формы, которыми блистает это произведение, — но только первое издание его перевода расходилось довольно медленно. Правда, покойный Чехов один из первых приветствовал его, называя этот роман чудесным и изумительным еще в то время, когда о Гамсуне очень мало знали даже на его родине, в Норвегии. И если теперь имя Гамсуна действительно на устах у всех образованных русских читателей, то это явление приятно заметить, как рост художественного понимания и повышения вкуса.

Что такое «Пан», как литературное произведение? Если хотите — это роман, поэма, дневник, это листки из записной книжки, написанные так интимно, точно для одного себя, это восторженная молитва красоте мира, бесконечная благодарность сердца за радость существования, но также и гимн перед страшным и прекрасным лицом бога любви. Роман написан так, как пишет гений: не справляясь о родах и видах литературы, не думая о границах дозволенного, приличного, принятого и привычного, без малейшей мысли о авторитетах предшественников и требованиях критиков. Оттого-то этот роман так и напоминает аромат дикого, невиданного цветка, распустившегося в саду неожиданно, влажным весенним утром.

Остов романа так прост, что его трудно передать, не вызвав недоумения у того, кто еще не читал его. Некто Томас Глан, лейтенант, охотник, странный человек с тяжелым, звериным взглядом, проводит раннюю весну, лето и осень в горном лесу на севере Норвегии, над морем. Его друзья — лес и великое уединение. Он живет в одинокой лесной хижине, почти в берлоге, вместе с собакой Эзопом, добывая пропитание охотой и спускаясь вниз в маленький городишко Сирилунд для того, чтобы купить хлеба и соли. Случайно он знакомится с дочерью местного торговца. Ее зовут Эдвардой. Она подросток, только что начавший формироваться в женщину; она еще дер-

жится с той особенной неуклюжестью, которая свойственна этому девическому возрасту, ступая ногами внутрь, но у нее на бледном лице пламенный рот, и вся она, как и Глан, из тех немногих людей, над которыми любовь повисает, как рок, и отмечает их на всю жизнь неизгладимою печатью.

Они любят друг друга, но гордость, ревность, каприз, подозрительность — все эти средства вековечной вражды двух полов — обращают их чувство в сплошное взаимное мучительство. Они расстаются: Эдварда выходит замуж за титулованное ничтожество, Глан предается оргиям в своих экзотических скитаниях, — но им суждено до конца дней стонать под гнетом единственной, неразделенной страсти.

В романе есть еще несколько лиц: отец Эдварды, хромой доктор, влюбленный в нее, и маленькая самоотверженная женщина — Ева, с ее трогательной, наивной и горячей любовью к Глану. Но главное лицо остается почти не названным — это могучая сила природы, великий Пан, дыхание которого слышится и в морской буре, и в белых ночах с северным сиянием, ползущим вверх по небу, и в железных очах осени, в шепоте листьев и в их молчании, и в зове птиц и насекомых, и в тайне любви, неудержимо соединяющей людей, животных и цветы.

Нет возможности передать подробно содержание этой книги, с ее удивительным, самобытным, волнующим тембром, с ее прихотливыми отступлениями, с ее страстными легендами и горячим весенним бредом, где сон и сон во сне так тонко мешаются с действительностью, что не различишь их. Читаешь роман во второй, в пятый, десятый раз и все находишь в нем новые сокровища поэзии — точно он неисчерпаем.

II

Та же самая неразделенная, невознагражденная мучительная любовь, какая была между Эдвардой и Гланом, проходит почти через все произведения Гамсуна, как будто бы этот сюжет наиболее близок его

душе. В «Пане» есть маленькая притча о юноше и двух девушках. Одна отдала ему все, что он просил, и ей это ничего не стоило, и он даже не благодарил ее; но у другой он выпрашивал ласки, как раб, как нищий, и, если бы ей понадобилась его жизнь, он жалел бы, что она не попросила большего. Этот мотив, слегка видоизменяемый, звучит и в «Виктории», и в романе «Под осенними звездами», и в «Драме жизни», и в некоторых небольших рассказах. Даже внешность Эдварды, ее манера ступать на ходу носками внутрь, ее красный рот, бледность, высокие бедра — повторяются часто, точно автор видит перед собою все тот же знакомый образ.

Вот другой роман — «Виктория». Это история бесконечно глубокой, нежной, восторженной и мучительной любви между сыном мельника и дочерью господ из соседнего замка, — любви, которая начинается с детских игр, длится всю жизнь и вдруг расцветает бессмертным сиянием перед смертью Виктории в ее последнем письме.

Иоганнес делается известным писателем. Гамсун даже приподнимает перед читателем ту таинственную, закрытую для всех завесу, за которой совершается незримая работа ума и фантазии, выливающаяся в талантливых произведениях. Но для Виктории Иоганнес остается все тем же мальчиком с мельницы, так же как и она для него — барышней из замка, недосягаемым, высшим существом. Только смерть открывает ей глаза и показывает, как ничтожны в сравнении с любовью все остальные земные вещи, понятия и условности.

«Теперь я вас больше не увижу, — пишет умирающая Виктория, эта прежняя барышня из замка, — и я раскаиваюсь, что не бросилась перед вами на землю и не целовала ваших ног и земли, по которой вы ходили, и не высказала вам всю свою бесконечную любовь...»

«...Да, Иоганнес, я любила вас, всю свою жизнь я любила только вас. Виктория пишет эти слова, и бог читает их из-за моего плеча».

«...Будьте счастливы, Иоганнес, благодарю вас за каждый день. Когда я буду отлетать от земли, я буду благодарить вас до последней минуты и про себя шептать ваше имя».

«...У меня не хватает больше сил писать. Прощай, любовь моя...»

Это плачет ее душа в последние минуты жизни. И теперь еще понятнее становятся те огненные слова, которыми Гамсун в этом же романе говорит о любви, вкладывая их в уста несуществующего монаха Вендта:

«Что такое любовь? Ветерок, проносящийся над розами, нет, электрическая искра в крови.

Любовь — это пламенная адская музыка, заставляющая танцевать даже сердца стариков. Это маргаритки, широко распускающие свои лепестки с наступлением ночи, это анемона, которая закрывается от дуновения и от прикосновения умирает.

Такова любовь.

Она может погубить человека, поднять его и снова заклеймить позором; сегодня она любит меня, завтра тебя, а в следующую ночь его, — так она непостоянна. Но она так же тверда, как несокрушимая скала; и горит неугасаемым пламенем до самой смерти, потому что любовь вечна. Что же такое любовь?

О, любовь — это летняя ночь с небесами, усеянными звездами, и с благоухающей землей. Почему же она заставляет юношу идти окольными тропинками и почему заставляет она старика одиноко страдать в его комнате? Ах, любовь превращает сердце человека в роскошный бесстыдный сад, где растут таинственные, наглые грибы.

Разве не она заставляет монаха пробираться в чужие сады и заглядывать ночью в окна спящих? Разве не она делает безумными монахинь и помрачает разум принцесс? Она заставляет склоняться голову короля до самой земли, так что волосы его метут дорожную пыль, а уста его бормочут бесстыдные слова, и он смеется и высовывает язык.

Такова любовь.

Нет, нет, она совсем другая, и она не похожа ни на что на свете...

...Любовь — это первое слово, произнесенное богом, первая мысль, осенившая его. Когда он произнес: «Да будет свет!» — появилась любовь. И все, что он сотворил, было так прекрасно, что он ничего не хотел переделывать. И любовь стала первоисточником мира и его властелином; но все пути ее покрыты цветами и кровью, цветами и кровью».

Как и почти всегда у Гамсуна, в «Виктории» есть третье лицо, любящее покорно и самозабвенно, той любовью, которая ни на что не надеется и готова отдать все. Это маленькая Камилла, когда-то спасенная Иоганнесом из воды на глазах у Виктории.

III

В «Пане» и «Виктории» Гамсун находит разные аккорды для изображения любви. В чувстве Глана и Эдварды слышится могучий призыв тела, трепет и опьянение страсти, весеннее бурное брожение в крови. Любовь Иоганнеса и Виктории вся обвеяна нежным, целомудренным благоуханием.

Но у Гамсуна — этого истинного поэта любви и природы — есть также и «роскошные сады, где растут таинственные, наглые грибы». В «Голосе жизни» молодая прекрасная женщина из общества в день смерти своего старого мужа приводит ночью, прямо с улицы, человека, писателя, знакомого ей только по имени, к себе в дом и со всем безумием страсти отдается ему в спальне, где еще стоят две постели, рядом с комнатой, где еще лежит на столе покойник. И опять новые приемы в этом маленьком, всего в пять страниц, рассказе: ни одного сомнения, ни колебания, ни недомолвок, язык сжат и почти груб, и вот, несмотря на кажущуюся вымышленность фабулы, получается рассказ удивительной выпуклости и правдивости, сто́ящий лучших рассказов Мопассана.

В романе «Голод» передана потрясающая, кошмарная история человека, выброшенного обстоятель-

ствами за борт благополучного существования. Внешний ужас положения не в голоде и его мучениях, среди большого столичного города, не в судорожных, истеричных поисках за работой, не в ночлегах на улице, а в тех реальных мелочах жизни, которые свирепее физических страданий: в непереваренном бифштексе, в волосах, которые вылезают от голода и лежат прядями на одежде и в умывальном тазу, вызывая насмешки горничной, в жалких, унизительных попытках заложить очки и пуговицы от жилета, в этих драных панталонах, которые приходится смачивать водой, чтобы они казались чернее и новее, в тощем укушенном пальце, из которого голодный человек высасывает свою кровь и плачет при этом от жалости к самому себе.

Но в сто крат ужаснее то, что делается внутри этого человека, раздавленного голодом и одиночеством. С трепетом присутствуешь при том, как его несчастный мозг, обескровленный голодом, приближается в ярких и страшных галлюцинациях к безумию, как болезненно разрушается и падает воля, как обостренное внимание напряженно и тяжко привязывается к изнуряющим мелочам вне и внутри себя. Страницы, в которых описывается ужас темноты, налегший на человека в камере для бесприютных при полицейском участке, — одни из самых потрясающих страниц в мировой литературе...

Но и в это удивительное произведение Гамсун вплетает любовный эпизод, по своему психологическому значению, может быть, самый глубокий из всего написанного им о любви.

Этот оборванный бродяга, похожий на нищего, находящийся от долгого голода в постоянной власти болезненных фантастических грез, встречается случайно на улице с красивой молодой женщиной — «Илайали», как он называет ее мысленно, по странному капризу. Он поражает ее воображение и, наконец, чувство своим необычным видом, своим странным языком, какой-то диковинной обособленностью от всех людей, которых она встречала до сих пор. Она готова считать его пьяным, немного сумасшед-

шим, может быть, вором или убийцей, и тем не менее почти отдается ему, но когда она узнает о том, что он *только* голодный, то страсть сменяется у нее отвращением, жалостью и ужасом.

Гамсун как будто бы чуждается внешних сторон быта, обходя их или пренебрегая ими. Но он может быть и прекрасным наблюдателем. У него есть неоцененная особенность: рассказывая о чужой стране и чужих людях, находить те именно характерные, мелкие черты, которые до него никому не бросались в глаза, и рисовать их сжато, в двух-трех словах. Таков он в рассказах: «В Прерии», «Уголок Парижа», «В стране чудес» и так далее.

«В стране чудес» — это путешествие по России и главным образом по Кавказу. Увы! Талантливый писатель все-таки не избежал здесь исторической клюквы и самовара.

IV

Гамсун не создаст школы. Он слишком оригинален, а подражатели его всегда будут смешны. Он пишет так же, как говорит, как думает, как мечтает, как поет птица, как растет дерево. Все его отступления, сказки, сны, восторги, бред, которые были бы нелепы и тяжелы у другого, составляют его тонкую и пышную прелесть. И самый язык его неподражаем — этот небрежный, интимный, с грубоватым юмором, непринужденный и несколько растрепанный разговорный язык, которым он как будто бы рассказывает свои повести, один на один, самому близкому человеку и за которым так и чувствуется живой жест, презрительный блеск глаз и нежная улыбка. Но имя Гамсуна останется навсегда вместе с именами всех тех художников прошедших и грядущих веков, которые возносят в бесконечную высь ценность человеческой личности, всемогущую силу красоты и прелесть существования и доказывают нам, что «сильна, как смерть, любовь» и что ничтожны и презренны все усилия окутать ее цепями условности. И я без

преувеличения скажу, что «Пан» и «Песня песней» — это только звенья одной и той же цепи вечных художественных произведений, ведущих к освобождению любви.

V

Я ничего не знаю из биографии Кнута Гамсуна, да и нахожу, что лишнее для читателя путаться в мелочах жизни писателя, ибо это любопытство вредно, мелочно и пошло. Но у меня есть его портрет. Длинное, худое, красивое, несколько суровое лицо, пенсне, внешность доктора или адвоката, но под спутанными, волнистыми, белокурыми волосами, почти закрывающими лоб, пристальные глаза смотрят тяжелым, звериным взглядом лейтенанта Глана.

ПАМЯТИ Н. Г. МИХАЙЛОВСКОГО (ГАРИНА)

(Читано на вечере, посвященном памяти Н. Г Михайловского)

Вопреки обыкновению всех воспоминателей я не могу похвастаться ни близкой дружбой с покойным Николаем Георгиевичем, ни долголетним знакомством с ним, ни знанием интимных сторон его жизни. Но мне хочется уловить и передать в немногих словах те живые черты, которые остались в моей памяти от нескольких встреч с этим человеком необычайно широкой души, красивого, свободного таланта и редкого изящества.

Странно-многозначительны, почти фатальны по сопоставлению, были — моя первая встреча с ним и последняя.

Познакомился я с Н. Г Михайловским в расцвете его кипучей деятельности, в дни счастливых, удачных начинаний и грандиозных планов, в пору особенного блеска и плодовитости его таланта. Это было в Ялте, весною, на даче С. Я. Елпатьевского, на большой белой террасе, которая точно плавала над красивым гористым южным городом, над темными узкими кипарисами и над веселым голубым морем. Был сияющий, радостный, великолепный день. Издалека из городского сада доносились бодрые звуки медного оркестра. Легкие турецкие кочермы и фелюги лениво покачивались, точно нежась в малахитовой воде

бухты. Сладко благоухали тяжелые синие гроздья цветущей глицинии. И во многолюдном обществе, собравшемся за завтраком на белой террасе в этот веселый полдень, было какое-то праздничное веселье, сверкал молодой, яркий смех, кипела беспричинная, горячая радость жизни.

Тут присутствовало несколько писателей, два художника, начинающая художница, очень известная певица, два марксиста — оба, точно по форме, в пенсне, в синих блузах, подпоясанных кожаным кушаком, и в широкополых войлочных шляпах, — местный помещик-винодел с женою, оба красивые, молодые, несколько инженеров-практикантов и еще кто-то из совсем зеленой, смешливой, непоседливой молодежи.

И я отлично помню, как вошел Николай Георгиевич. У него была стройная, худощавая фигура, решительно-небрежные, быстрые, точные и красивые движения и замечательное лицо, из тех лиц, которые никогда потом не забываются. Всего пленительнее был в этом лице контраст между преждевременной сединой густых волнистых волос и совсем юношеским блеском живых, смелых, прекрасных, слегка насмешливых глаз, — голубых, с большими черными зрачками. Голова благородной формы сидела изящно и легко на тонкой шее, а лоб — наполовину белый, наполовину коричневый от весеннего загара — обращал внимание своими чистыми, умными линиями.

Он вошел и уже через пять минут овладел разговором и сделался центром общества. Но видно было, что он сам не прилагал к этому никаких усилий. Таково было обаяние его личности, прелесть его улыбки, его живой, непринужденной, увлекательной речи.

В эту пору Николай Георгиевич был занят изысканием для постройки электрической железной дороги через весь Крымский полуостров от Севастополя до Симферополя через Ялту. Этот огромный план давно уже привлекал внимание инженеров, но никогда не выходил из области мечтаний. Михайловский первый вдохнул в него живую душу и по чести может быть назван его отцом и инициатором. Он

нередко говорил своим знакомым, полушутя-полусерьезно, о том, что постройка этой дороги будет для него лучшим посмертным памятником и что два лишь дела он хотел бы видеть при своей жизни оконченными: это — электрический путь по Крыму и повесть «Инженеры». Но — увы! — первое начинание было прекращено внезапной паникой японской войны, а второе — смертью.

Каким он был инженером-строителем, я не знаю. Но специалисты уверяют, что лучшего изыскателя и инициатора — более находчивого, изобретательного и остроумного — трудно себе представить. Его деловые проекты и предположения всегда отличались пламенной, сказочной фантазией, которую одинаково трудно было как исчерпать, так и привести в исполнение. Он мечтал украсить путь своей железной дороги гротами, за̀мками, башнями, постройками в мавританском стиле, арками и водопадами, хотел извлечь электрическую энергию из исторической Черной речки и действительно думал создать беспримерный волшебный памятник из простого коммерческого предприятия.

Таким он был во все свои дни. Веселый размах, пылкая, нетерпеливая мысль, сказочное, блестящее творчество. Этот человек провел яркую, пеструю, огромную жизнь. Он — то бывал миллионером, то сидел без копейки денег, в долгах. Он исколесил всю Россию, участвовал в сотнях предприятий, богател, разорялся и повсюду оставлял золотые следы: следы своей необузданной, кипящей мысли и своих денег, которые лилились у него между пальцами.

По какому-то особенному свойству души он не умел отказывать ни в одной просьбе, и этим широко пользовались все, кому действительно была нужда и кому просто было не лень. И эта черта в нем происходила не так от беспорядочной широты натуры, как от сердечной, теплой, истинной доброты. Он умер совершенным бедняком, но для всех, близко его знавших, не тайна, что незадолго до смерти он сам, по личному почину, предложил и отдал около десяти тысяч на одно идейное дело.

Но часто, очень часто среди этих жизненных перемен он мечтал со вздохом о том, какое было бы для него счастие, если бы он мог навсегда развязаться со всеми делами, проектами и постройками и отдаться целиком единственному любимому делу — литературе. Ее одну он любил всей своей душой, любил с трогательной нежностью, скромно и почтительно. Два месяца спустя после нашего знакомства я провел несколько вечеров у него в Кастрополе, где был сосредоточен его инженерный штаб, и мы неоднократно говорили с ним на литературные темы. Я должен сказать, что ни у одного из писателей я не встречал такого бескорыстия, такого отсутствия зависти и самомнения, такого благожелательного, родственного отношения к собратьям по искусству.

Мне ярко памятны эти дни в Кастрополе на берегу моря. К обеду и ужину все инженеры и студенты вместе с Н. Г-чем и его семьей сходились к общему столу в длинную аллею, сплетенную из виноградных лоз. Отношения у Н. Г-ча ко всем товарищам, начиная с главного помощника и кончая последним чертежником или конторщиком, были одинаково просты, дружественны и приятны, с легким оттенком добродушной шутки. Помню одну характерную мелочь. Среди младших товарищей Михайловского была одна барышня с дипломом инженера. Она только что приехала из Парижа, окончив Ecole des Ponts et Chaussées[1]. И была, кажется, первой женщиной в России, исполнявшей инженерные работы. Она была очень мила, застенчива, трудолюбива, носила широкие шаровары, но работа в горах, на солнечном припеке, давалась ей с трудом. Надо сказать — дело прошлое — инженеры порядочно-таки травили как ее, так и вообще высший женский труд — и травили не всегда добродушно. И я часто бывал свидетелем, как Н. Г-ч умел мягко, но настойчиво прекращать их шутки, когда замечал, что они причиняют боль этой барышне.

---

[1] Школу дорожных инженеров *(франц.)*.

По вечерам мы долго, большим обществом, сидели у него на балконе, не зажигая огня, в темных сумерках, когда кричали цикады, благоухала белая акация и блестели при луне листья магнолий. И вот тут-то иногда Н. Г импровизировал свои прелестные детские сказки. Он говорил их тихим голосом, медленно, с оттенком недоумения, как рассказывают обыкновенно сказки детям. И мне не забыть никогда этих очаровательных минут, когда я присутствовал при том, как рождается мысль и как облекается она в нежные, изящные формы.

Повторяю, я мало знал покойного писателя. К тому немногому, что я сказал, я могу прибавить, что Н. Г. бесконечно любил детей. Несмотря на то, что у него было одиннадцать своих ребятишек, он с настоящей, истинно отеческой лаской и вниманием относился и к трем своим приемным детям. Он любил цветы, музыку, красоту слова, красоту природы и женскую нежную красоту. У него — современного литератора — была душа эллина. Лишь что-нибудь исключительно пошлое, вульгарное, мещанское могло внести в его всегдашнюю добродушную легкую насмешку злобу и презрение.

Таков он был в то лето, перед войною. Затем я видел его мельком раза три-четыре: на железной дороге, в гостях, где-то на литературных собраниях, но ни разу больше мне не удавалось разговаривать с ним. Но последняя наша встреча потрясла меня своей неожиданностью.

Это было зимою. Я присутствовал на вечере, в обществе писателей и художников, в помещении издательства «Шиповник». Говорили, что и Гарин должен прийти немного позднее; но раньше он предполагал зайти на несколько минут в редакцию какой-то газеты, помещавшейся в том же доме, этажом выше. И вот вдруг приходит сверху растерянный слуга и говорит, что Михайловский умер скоропостижно в редакции. Я пошел туда. Он лежал на диване, лицом вверх, с закрытыми тяжелыми, темными веками. Лицо его точно постарело без этих живых,

молодых глаз, но было таинственно-прекрасно и улыбалось вечной улыбкой знания.

Пожилая дама сидела у него в ногах и без слов, неподвижно и молча глядела ему в лицо, точно разговаривая с ним мысленно. Я пожал его руку. Она была холодна и тверда. И — помню — сознавая его смерть умом, я никак не мог понять сердцем, почему холод и оцепенение смерти овладели именно этим живым, энергичным телом, этой пылкой творческой мыслью, этой изящной, избранной душой.

О ТОМ, КАК Я ВИДЕЛ ТОЛСТОГО НА ПАРОХОДЕ «СВ. НИКОЛАЙ»

(Читано 12 октября 1908 г. на вечере имени Толстого, в Тенишевской зале)

Не так давно я имел счастие говорить с человеком, который в раннем детстве видел Пушкина. У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущенный тем вниманием, которое ему оказывало общество. Уверяю вас, что на этого человека я глядел, как на чудо. Пройдет лет пятьдесят — шестьдесят, и на тех людей, которые видели Толстого при его жизни (да продлит бог его дни!), будут также глядеть, как на чудо. И потому я считаю не лишним рассказать о том, как весной тысяча девятьсот пятого года я видел Толстого.

Сергей Яковлевич Елпатьевский предупредил меня, что завтра утром Толстой уезжает из Ялты. Ясно помню чудесное утро, веселый ветер, море — беспокойное, сверкающее — и пароход «Святой Николай», куда я забрался за час до приезда Льва Николаевича. Он приехал в двуконном экипаже с поднятым верхом. Коляска остановилась. И вот из коляски показалась старческая нога в высоком болотном сапоге, ища подножки, потом медленно, по-старчески, вышел он. На нем было коротковатое драповое

пальто, высокие сапоги, подержанная шляпа котелком. И этот костюм, вместе с седыми иззелена волосами и длинной струящейся бородой, производил смешное и трогательное впечатление. Он был похож на старого еврея, из тех, которые так часто встречаются на юго-западе России.

Меня ему представили. Я не могу сказать, какого цвета у него глаза, потому что я был очень растерян в эту минуту, да и потому, что цвету глаз я не придаю почти никакого значения. Помню пожатие его большой, холодной, негнущейся старческой руки. Помню поразившую меня неожиданность: вместо громадного маститого старца, вроде микеланджеловского Моисея, я увидел среднего роста старика, осторожного и точного в движениях. Помню его утомленный, старческий, тонкий голос. И вообще он производил впечатление очень старого и больного человека. Но я уже видел, как эти выцветшие от времени, спокойные глаза с маленькими острыми зрачками бессознательно, по привычке, вбирали в себя и ловкую беготню матросов, и подъем лебедки, и толпу на пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех нас, бывших в это время на пароходе.

Здесь был очень интересный момент: доктора Волкова, приехавшего вместе с Толстым, приняли благодаря его косматой и плоской прическе за Максима Горького, и вся пароходная толпа хлынула за ним. В это время Толстой, как будто даже обрадовавшись минутной свободе, прошел на нос корабля, туда, где ютятся переселенцы, армяне, татары, беременные женщины, рабочие, потертые дьяконы, и я видел чудесное зрелище: перед ним с почтением расступались люди, не имевшие о нем никакого представления. Он шел, как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать дороги. В эту минуту я вспомнил отрывок церковной песни: «Се бо идет царь славы». И не мог я также не припомнить милого рассказа моей матери, старинной, убежденной москвички, о том, как Толстой идет где-то по одному из московских переулков, зимним погожим вечером, и как все идущие навстречу снимают перед ним

шляпы и шапки, в знак добровольного преклонения. И я понял с изумительной наглядностью, что единственная форма власти, допустимая для человека, — это власть творческого гения, добровольно принятая, сладкая, волшебная власть.

Потом прошло еще пять минут. Приехали новые знакомые Льва Николаевича, и я увидел нового Толстого, — Толстого, который чуть-чуть кокетничал. Ему вдруг сделалось тридцать лет: твердый голос, ясный взгляд, светские манеры. С большим вкусом и очень выдержанно рассказывал он следующий анекдот:

— Вы знаете, я на днях был болен. Приехала какая-то депутация, кажется из Тамбовской губернии, но я не мог их принять у себя в комнате, они представлялись мне, проходя пред окном... и вот... Может, вы помните у меня, в «Плодах просвещения», толстую барыню? Может быть, читали? Так вот она подходит и говорит: «Многоуважаемый Лев Николаевич, позвольте принести вам благодарность за те бессмертные произведения, которыми вы порадовали русскую литературу...» Я уже вижу по ее глазам, что она ничего не читала моего. Я спрашиваю: «Что же вам особенно понравилось?» Молчит. Кто-то ей шепчет сзади: «Война и мир», «Детство и отрочество»... Она краснеет, растерянно бегает глазами и, наконец, лепечет в совершенном смущении: «Ах, да... Детство отрока... Военный мир... и другие...»

В это время пришли какие-то англичане, и вот я опять увидал нового Толстого, выдержанного, корректного европейского аристократа, очень спокойного, щеголявшего безукоризненным английским произношением.

Вот впечатление, которое вынес я от этого человека в течение десяти — пятнадцати минут. Мне кажется, что, если бы я следил за ним в продолжение нескольких лет, он так же был бы неуловим.

Но я понял в эти несколько минут, что одна из самых радостных и светлых мыслей — это жить в то время, когда живет этот удивительный человек. Что высоко и ценно чувствовать и себя также человеком. Что можно гордиться тем, что мы мыслим и

чувствуем с ним на одном и том же прекрасном русском языке. Что человек, создавший прелестную девушку Наташу, и курчавого Ваську Денисова, и старого мерина Холстомера, и суку Милку, и Фру-Фру, и холодно-дерзкого Долохова, и «круглого» Платона Каратаева, воскресивший нам вновь Наполеона, с его подрагивающей ляжкой, и масонов, и солдат, и казаков вместе с очаровательным дядей Ерошкой, от которого так уютно пахло немножко кровью, немножко табаком и чихирем, — что этот многообразный человек, таинственною властью заставляющий нас и плакать, и радоваться, и умиляться, — есть истинный, радостно признанный властитель. И что власть его — подобная творческой власти бога — останется навеки, останется даже тогда, когда ни нас, ни наших детей, ни внуков не будет на свете.

Вот приблизительно и все, что я успел продумать и перечувствовать между вторым и третьим звонком, пока отчалил от ялтинской пристани тяжелый, неуклюжий грузовой пароход «Св. Николай».

Вспоминаю еще одну маленькую, смешную и трогательную подробность.

Когда я сбегал со сходен, мне встретился капитан парохода, совсем незнакомый мне человек.

Я спросил:

— А вы знаете, кого вы везете?

И вот я увидел, как сразу просияло его лицо в крепкой радостной улыбке, и, быстро пожав мою руку (так как ему было некогда), он крикнул:

— Конечно, Толстого!

И это имя было как будто какое-то магическое объединяющее слово, одинаково понятное на всех долготах и широтах земного шара.

Конечно, Льва Толстого!

От всей полноты любящей и благодарной души желаю ему многих лет здоровой, прекрасной жизни. Пусть, как добрый хозяин, взрастивший роскошный сад на пользу и радость всему человечеству, будет он долго-долго на своем царственном закате созерцать золотые плоды — труды рук своих.

РЕДИАРД КИПЛИНГ

Страна, делающая лучшую в мире сталь, варящая лучший во всем свете эль, изготовляющая лучшие бифштексы, выводящая лучших лошадей, создавшая священную неприкосновенность семейного очага, изобретшая почти все виды спорта; страна, национальный гимн которой кончается прекрасными словами, заставляющими нас, русских, плакать от бессильного волнения, —

Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом, —

только такая страна, страна мудрого и бессердечного эгоизма, железной англосаксонской энергии, презрительной государственной обособленности и беспримерно жестокой колониальной политики, страна, гордо пишущая местоимение «Я» с большой буквы, но ревниво охраняющая каждую мелочь старины, начиная с официального целования руки у короля и кончая веткой остролистника на рождественском столе, — только такая страна могла породить свою теперешнюю национальную славу — Редиарда Киплинга.

Трое английских писателей — Киплинг, Уэльс и Конан-Дойль — завоевали в настоящее время всемирное внимание. В их труде с особенной яркостью

сказывается та добросовестная техника, та терпеливая, выработанная веками культуры выдумка, об отсутствии которой у русских писателей меланхолически вздыхал Тургенев.

Но бесконечно увлекательный, умный, изобретательный Уэльс все-таки имел предшественников в лице многих авторов фантастически-научных путешествий и приключений. Но Конан-Дойль, заполонивший весь земной шар детективными рассказами, все-таки умещается вместе со своим Шерлоком Холмсом, как в футляр, в небольшое гениальное произведение Э. По — «Преступление в улице Морг».

Киплинг же совершенно самостоятелен. Он оригинален, как никто другой, в современной литературе. Могущество средств, которыми он обладает в своем творчестве, прямо неисчерпаемо. Волшебная увлекательность фабулы, необычайная правдоподобность рассказа, поразительная наблюдательность, остроумие, блеск диалога, сцены гордого и простого героизма, точный стиль, или, вернее, десятки точных стилей, экзотичность тем, бездна знаний и опыта и многое, многое другое составляют художественные данные Киплинга, которыми он властвует с неслыханной силой над умом и воображением читателя.

И тем не менее на прекрасных произведениях Киплинга нет двух самых верных отпечатков гения — *вечности* и *всечеловечества*. В его рассказах — особенно если прочитаешь все, без перерыва, залпом — чувствуется не гений, родина которого мир, а Киплинг-англичанин, *только* англичанин, и притом англичанин наших дней. И как бы ни был читатель очарован этим волшебником, он видит из-за его строчек настоящего культурного сына жестокой, алчной, купеческой, современной Англии, джингоиста, беспощадно травившего буров ради возвеличения британского престижа во всех странах и морях, «над которыми никогда не заходит солнце»; поэта, вдохновлявшего английских наемных солдат на грабеж, кровопролитие и насилие своими патриотическими песнями. Кровь так и хлещет во всех произведениях Киплинга, но что значат несколько тысяч челове-

ских жизней, если ими покупается величие и мощь гордой Англии? И — повторяю — только узость идеалов Киплинга, стесненных слепым национализмом, мешает признать его гениальным писателем.

Читая его, невольно вспоминаешь и другого английского писателя — Диккенса, этого «самого христианского из всех писателей», как выразился о нем Достоевский, Диккенса, умевшего видеть совсем с другой точки зрения добрую, старую, веселую Англию. Нигде не будут чужими и навсегда останутся памятными и близкими, как ушедшие из жизни добрые, верные друзья, его бесчисленные персонажи, очерченные с беззлобным, простосердечным, теплым юмором: м-р Пикквик в золотых очках, оба Уэллера, капитан Куттль с железным крючком, тетушка Копперфильда и ее старый, добродушный друг, маленькая Доррит, м-р Микобер, славные моряки, честные купцы, преданные веселые слуги, проказливые студенты. Даже отрицательные типы Диккенса, вроде Урии Гипа, черствого Домби, плутоватого м-ра Джингля в зеленом фраке, жестокого Мордстона, разных старых каторжников, воров и мошенников, являются нам смягченными благодаря горю, раскаянию или примиряющей смерти. И как мила и добродушна эта домашняя, уютная, патриархальная Англия Диккенса, с ее семейными праздниками, почтовыми дорогами, гостеприимными трактирами, с архаическими судами и конторами, с прелестными старыми обычаями и крепким, соленым, как морской ветер, добротным юмором.

Но Киплинга не волнуют и не умиляют эти тихие, бытовые, семейные картины. По натуре он завоеватель, хищник и рабовладелец, самый яркий представитель той Англии, которая железными руками опоясала весь земной шар и давит его во имя своей славы, богатства и могущества. Большинство его рассказов переносит нас в Индию, где с наибольшей силой и жестокостью сказывается неутолимая английская алчность. Киплинг смело и ревниво верит в высшую культурную миссию своей родины и закрывает глаза на ее несправедливости. Посмотрите на

офицеров и на чиновников в этих рассказах. Все они — люди долга, самоотверженные служаки, глубокие патриоты. Они мокнут в болотах, болеют лихорадкой, изнывают в нестерпимом зное, падают от изнеможения над работой или сходят с ума. В маленьком железнодорожном чиновнике, в офицере, в лесничем, в продовольственном комиссаре Киплинг искусной рукой открывает черты такого скромного самопожертвования и такого бескорыстного героизма, — и все это во благо и процветание далекой отчизны, — что сердце английского читателя не может не сжаться от радостной гордости и умиления.

Другая среда, не менее любовно описываемая Киплингом, — это английские солдаты в Индии. Надо ли говорить о том, что Томми Аткинс выходит из-под пера великого мастера в самых задушевных, привлекательных красках? Он, правда, грубоват и немного ворчун, и не прочь выпить лишнее, но зато обожает своего начальника-офицера, как существо высшей, полубожеской расы, всегда готов положить жизнь за товарища, рад войне, точно празднику, и с гордым достоинством носит звание слуги «Вдовы», как он с интимной почтительностью называет свою королеву. Об одном только не упоминает Киплинг при всем своем пристрастии к доброму, славному Томми — это о жестокости его к побежденным и о его истеричности.

Затем остается еще третий элемент в индийских рассказах Киплинга: местное население. Но и оно служит в его чудесных руках все той же узкой и великой цели — прославлению и возвеличению английской завоевательной миссии. Цветные слуги, готовые на смерть за своих обожаемых сагибов, искусные шпионы из индусов, с детства приучаемые к своей позорной службе, туземные полки, свирепствующие в избиении строптивых сородичей, — вот что вызывает сочувствие и благословение Киплинга. Но всякий бунтовщик, дерзающий восставать против попечительной и разумной английской власти, презрительно рисуется автором как разбойник, вероломный трус и мошенник.

Таким-то образом в Киплинге англичанин заслоняет художника и человека. Но это и все, что ему можно поставить в упрек и что — повторяю — кидается в глаза лишь при слишком пристальном и усердном изучении этого автора. Но независимо от своего патриотического пристрастия Киплинг развертывает перед нами всю сказочную, феерическую Индию, ослепляя нас яркими красками, подавляя и ошеломляя каким-то чудовищным водопадом из людей, стран, событий, костюмов, обычаев, преданий, войны, любви, племенной мести, безумия, бреда, величия и падения. Он ведет нас через всю Индию, показывая нам то жизнь офицеров и солдат в казармах и в горных лагерях, то ужасы голодного года, то афридия, рыщущего по всей стране из города в город за врагом, которого он должен непременно задушить одними голыми руками, без оружия, то индийскую гетеру, «представительницу самой древней профессии», то погонщика слонов, то охоту на тигра, то магометанский Байрам и резню мусульман с индусами в стенах старого города, то страшный кошмар переутомленного чиновника, то разлив Ганга, стремящийся разрушить мост, то древних богов Индии, держащих совет на острове, то уголок гаремной жизни, то маяк, то владетельного раджу, по-европейски образованного и по-азиатски жестокого, то беспечную, полную крови и приключений жизнь трех английских солдат: Лиройда, Мультани и Ортериса, к которым автор так часто возвращается во многих рассказах.

И как нам ни странна, как от нас ни далека эта пряная, фантастическая пестрая жизнь — Киплингу невольно веришь во всем, что он рассказывает. Эта *правдоподобность,* достоверность рассказа и составляет ту тайну очарования, которая приковывает к книгам Киплинга несокрушимыми волнующими узами. Для этого у Киплинга, при всей необычности, исключительности фабулы, есть много приемов, из которых многие вряд ли поддаются учету. У него, например, есть особая, своеобразная манера вводить читателя в среду и интересы своих героев. Для этого

он начинает повествование так просто, так небрежно и даже иногда так сухо, как будто вы давным-давно знаете и этих людей и эти причудливые условия жизни, как будто сегодня Киплинг продолжает вам рассказывать о том, что вы сами видели и слышали вчера. Благодаря такому «вводу» вы долго испытываете какое-то недоумение, почти непонимание, заставляющее вас беспокойно напрягать память и часто возвращаться назад, к уже прочитанным строчкам. Но маленькими, беглыми, точно случайными штрихами автор, незаметно для вас самих, все яснее и яснее очерчивает местность, среду, взаимные отношения людей и фигуры самих людей, и когда вы, наконец, против воли совершенно ориентировались, то вы уже целиком захвачены рассказом, вы свой всем его героям, вы его не читаете, а живете в нем.

Кроме того, Киплинг увлекает и заставляет верить себе благодаря еще одной стороне своего таланта. Он обладает самыми колоссальными и разнообразными знаниями. Ему знакомы мельчайшие бытовые черты из жизни офицеров, чиновников, солдат, докторов, землемеров, моряков; он знает самые сложные подробности сотен профессий и ремесл; ему известны все тонкости любого спорта; он поражает своими научными и техническими познаниями. Но он никогда не утомляет своим огромным багажом. Он лишь пользуется им в такой мере и так искусно, что вы готовы поверить, что именно сам Киплинг ловил треску вместе с рыбаками на севере Атлантического океана, и нес службу на маяке, и метался в жестокой индийской лихорадке, и участвовал в кровавых карательных экспедициях, и строил мосты, и вел, как машинист, железнодорожные поезда, и т. д. и т. д. А в этом доверии заключается одна из тайн поразительного обаяния его рассказов и его большой и заслуженной славы.

НЕМНОЖКО ФИНЛЯНДИИ

По одну сторону вагона тянется без конца рыжее, кочковатое, снежное болото, по другую — низкий, густой сосняк, и так — более полусуток. За Белоостровом уже с трудом понимают по-русски. К полудню поезд проходит вдоль голых, гранитных громад, и мы в Гельсингфорсе.

Так близко от С.-Петербурга, и вот — настоящий европейский город. С вокзала выходим на широкую площадь, величиной с половину Марсова поля. Налево — массивное здание из серого гранита, немного похожее на церковь в готическом стиле. Это новый финский театр. Направо — строго выдержанный национальный Atheneum. Мы находимся в самом сердце города.

Идем в гору по Michelsgatan. Так как улица узка, а дома на ней в четыре-пять этажей, то она кажется темноватой, но тем не менее производит нарядное и солидное впечатление. Большинство зданий в стиле модерн, но с готическим оттенком. Фасады домов без карнизов и орнаментов; окна расположены несимметрично, они часто бывают обрамлены со всех четырех сторон каменным гладким плинтусом, точно вставлены в каменное паспарту. На углах здания высятся полукруглые башни, над ними, так же как над чердачными окнами, островерхие крыши. Перед парад-

ным входом устроена лоджиа, нечто вроде глубокой пещеры из темного гранита, с массивными дверями, украшенными красной медью, и с электрическими фонарями, старинной средневековой формы, в виде ящиков из волнистого пузыристого стекла.

Уличная толпа культурна и хорошо знает правую сторону. Асфальтовые тротуары широки, городовые стройны, скромно щеголеваты и предупредительно вежливы, на извозчиках синие пальто с белыми металлическими пуговицами, нет крика и суеты, нет разносчиков и нищих.

Приятно видеть в этом многолюдье детей. Они идут в школу или из школы: в одной руке книги и тетрадки, в другой коньки; крепкие ножки, обтянутые черными чулками, видны из-под юбок и штанишек по колено. Дети чувствуют себя настоящими хозяевами города. Они идут во всю ширину тротуара, звонко болтая и смеясь, трепля рыжими косичками, блестя румянцем щек и голубизною глаз. Взрослые охотно и бережно дают им дорогу. Так повсюду в Гельсингфорсе.

Мне кажется, можно смело предсказать мощную будущность тому народу, в среде которого выработалось уважение к ребенку. Я невольно вспоминаю рассказ моего хорошего приятеля, доктора Андреева, о японских детях. Рассказ относится ко времени задолго до русско-японской войны:

«Идет, представьте себе, по самой людной улице в Нагасаках этакий огарыш, лет пяти-шести, в отцовском цилиндре, надвинутом чуть не по плечи, в туфлях и в керимоне. Но керимон распахнут настежь, и под ним ровно ничего нет, кроме прелестного, голого, загорелого детского тельца. Малыш небрежно шествует посередине тротуара с потухшей папироской в зубах, не обращая ни малейшего внимания на человеческую суету вокруг себя. Никому даже в голову не придет толкнуть его, или рассердиться, или просто выразить нетерпение. Вот нагоняет его взрослый японец — деловой, торопливый, запыхавшийся человек. Ребенок в уличной давке окончательно застопорил всем дорогу. Взрослый

мечется налево-направо — ничего не выходит. Тогда, смеясь, хватает он мальчугана под мышки, несет его с десяток-два шагов, пока не найдется свободного места, шутливо перевертывает его вокруг себя, ставит бережно к стенке и поспешно идет дальше. А ребенок не только не выражает испуга или недоверия — нет, он даже не потрудился взглянуть, кто это заставил его совершить воздушное путешествие, — до того он уверен в своей безопасности и в неприкосновенности своей священной особы и так всецело занят он своей потухшей папироской».

Не могу я не вспомнить при этом, как однажды осенью мы собирались вести из деревни в Петербург одну очень хорошо мне знакомую девицу трех с половиной лет. Она плакала и кричала в отчаянии:

— Не хочу ехать в Петербург! Там все толкаются и все гадко пахнут.

Для меня вот такие живые мелочи дороже самых убедительных статистических цифр. В них мелькает настоящая душа народа.

Стоит, например, посмотреть, как летом, в полдень, возвращаются из Петербурга по железной дороге финские молочницы. На каждой станции, вплоть до Перкиярви, высыпают они веселыми гурьбами с множеством пустых жестяных сосудов, перекинутых по обе стороны через плечо. И каждую из женщин уже дожидают на платформе свои. Кто-нибудь помогает ей сойти со ступенек вагона, другой — муж или брат — предупредительно освобождает ее от ноши, домашний пес вертится тут же, прыгает передними лапами всем на платье, возбужденно лает и бурно машет пушистым хвостом, завернутым девяткой.

В Финляндии женщина всегда может быть уверена, что ей уступят место в вагоне, в трамвае, в дилижансе. Но ей также уступили место и в государственном сейме, и финны справедливо гордятся тем, что в этом деле им принадлежит почин. Они первые в Старом Свете послали четырех женщин блюсти высшие интересы страны вместе с достойнейшими. И мне кажется, что между встречей, оказанной

молочнице из Усикирко, и выборами женщин в сейм есть некоторая отдаленная связь, как между первой и последней ступенькой длинной лестницы.

Женский труд применяется самым широким образом. В конторах, банках, магазинах, в аптеках — повсюду занимаются женщины. Во всех ресторанах, равинталах и бодегах прислуживают миловидные девушки, прекрасно одетые и чрезвычайно приличные. Домашняя прислуга исключительно женская. Не редкость увидать женщину-парикмахера. Но что особенно поражает своею странностью российских козерогов, так это женщины, услуживающие в банях, не только женских, в мужских.

Когда русские говорят о Финляндии, то уж непременно вспоминают и об этой непонятной, на наш взгляд, отрасли ремесла, вспоминают, надо сознаться, с ужимками, с худо скрытым любопытством, с притворным возмущением: «Черт знает что за безобразие!» Однако никакого безобразия в этом нет. Услуживает вам серьезная, деловая женщина, лет тридцати пяти, одетая в безукоризненное желтое, холстинковое платье; на шее у нее крахмальный воротничок; короткие рукава, собранные пышным буфом гораздо выше локтей, оставляют голыми сильные ловкие руки. Ни лишних слов, ни жеманства, ни улыбки. Она вас переводит из паровой ванны под душ и в бассейн, мылит, моет, массирует, обтирает, взвешивает на весах и серьезно приговаривает три коротеньких словечка: «вар шо гут», то есть будьте так добры. И наш российский козерог быстро подчиняется этой спокойной деловитости.

В Финляндии совсем нет проституции, по крайней мере явной, покровительствуемой, или, как выражаются, терпимой законом. Говорят, что миловидные фрекен из ресторанов и кофеен не отличаются чрезмерной строгостью нравов. Мне рассказывал об этом русский офицер, служивший в Финляндии, по-видимому, большой сердцеед, но и он утверждал, что благосклонность этих девиц не имеет расчетливого характера и в худшем случае вознаграждается духами, конфетами, перчатками, шляпкой или платьем.

И надо сказать, что все ресторанные фрекен одеты нарядно и со вкусом.

Тот же офицер говорил, что в Гельсингфорсе, однако, существует тайная проституция, но довольно странного характера — дневная. Ищут встреч на улицах и в воротах домов в самый разгар городской жизни — в три-четыре часа пополудни, когда Северная эспланада представляет собою подобие прогуливающегося Невского проспекта. Оставлю это сведение на его офицерской совести, хотя должен прибавить, что то же самое подтвердил, и даже с большей убедительностью, один гельсингфорский студент, родом финн.

С сожалением должен я признать, что в большом количестве женщины в Финляндии не производят очаровательного впечатления. Еще там, где сказывается шведская кровь, попадаются красивые, тонкие фигуры, нежные и смелые черты лица, прелестные, пышные, золотистые и соломенные волосы, маленькие руки и ноги. Чистокровные финки, увы, некрасивы... Тела нескладные, с короткими ногами, с квадратной, сутулой спиной, шея ушла внутрь между плеч, лица широкоскулые, рты бесформенные, веснушки, аляповатые носы, разноцветные рыже-бурые, жидкие волосы. Но что уж греха таить: совершенно такого же характера красота и великорусских женщин, за исключением разве Поволжья.

Мужчины в Финляндии белобрысы и суровы. Но у мужчин и у женщин одинаково прекрасны глаза — спокойные, смелые, светло-ясно-голубые. Мужские лица прежде времени старятся. И, когда я гляжу на их корявые, некрасивые черты, среди которых сияют из резких, глубоких морщин чистые, синие глаза, я невольно думаю об общей картине этой страны, где между гранитных, диких громад, на высотах, тихо дремлют, отражая небо, прозрачные озера. Кстати, национальные цвета молодой Финляндии — белый с голубым. Символы снега и горных озер, покрывающих родную землю.

Финны — это настоящий, крепкий, медлительный, серьезный мужицкий народ. Вглядитесь внимательно

в лицо любого финского франта, идущего по эспланаде в блестящем цилиндре, в модном пальто с хризантемой в петличке. Тот же крестьянский облик, те же выдавшиеся скулы, те же сжатые молчаливые губы подковой, те же глубоко сидящие, маленькие, голубые, холодные глаза, резкие полосы морщин вокруг рта и носа, упрямые, сильные, бритые подбородки. Так сразу и читаешь в лице этого щеголеватого джентльмена ту длинную, многовековую историю завоевания суровой природы, через которую прошли его предки, среди жестокого климата, на скудной земле, усеянной огромными камнями, под рев водопадов, в короткие часы лета и длинные, зимние ночи.

Финляндия поистине демократична. Демократична вовсе не тем, что в ней при выборах в сейм победили социал-демократы, а потому, что ее дети составляют один цельный, здоровый, работящий народ, а не как в России, — несколько классов, из которых высший носит на себе самый утонченный цвет европейской полировки, а низший ведет жизнь пещерного человека. И, кажется, в этой-то народности — я бы сказал: *простонародности* — и коренится залог прочного, крепкого хозяйственного будущего Финляндии.

Трогательно, иногда чуть-чуть смешно лежит на этой мужицкой внешности след старинной феодальной шведской культуры. В глубине страны незнакомые дети, встречаясь с вами, приветствуют вас: мальчики кланяются, девочки делают на ходу наивный книксен. Приседает женская прислуга, приседает с каким-то странным, коротеньким писком пожилая хозяйка. Но когда, уезжая, вы дадите горничной несколько мелких серебряных монет, она непременно протянет вам дружески жесткую сильную руку для пожатия.

Здесь любят цветы и при каждом семейном случае, в каждый праздник дарят их друг другу. Во всяком доме, во всяком, даже самом плохоньком, третьеразрядном ресторане вы увидите на столах и на окнах цветы в горшках, корзинах и вазах. В маленьком Гельсингфорсе больше цветочных магази-

нов, чем в Петербурге. А по воскресеньям утром на большой площади у взморья происходит большой торг цветами, привозимыми из окрестностей. Дешевизна их поразительна: три марки стоит большущий куст цветущей азалии. За полторы марки (пятьдесят копеек с небольшим) вы можете приобрести небольшую корзину с ландышами, гиацинтами, нарциссами. И это в исходе зимы.

На рождестве, на елку, дарят друг другу подарки. Здесь опять-таки сказывается практический дух мужиковатого народа: дарят исключительно домашние, необходимые вещи, большею частью своего изделия. Особенно принято дарить мужчинам теплый нижний вязаный костюм. Этот костюм обтягивает вплотную все тело, он вяжется целым от шеи до подошв и застегивается на спине. Большинство мужчин носят под одеждой такое теплое трико, и понятно, почему финны так легко одеваются даже в сильные морозы.

О поголовной грамотности финнов все, конечно, слышали, но, может быть, не все видели их начальные народные школы. Мне привелось осмотреть довольно подробно новое городское училище, находящееся на окраине города, в Tölö.

Это дворец, выстроенный года три-четыре тому назад, в три этажа, с саженными квадратными окнами, с лестницами, как во дворце, по всем правилам современной широкой гигиены.

Я обходил классные помещения сейчас же после того, как окончились в них занятия. Всякий из нас, конечно, помнит тот ужасный, нестерпимый зловонный воздух, который застаивается в классах наших гимназий, корпусов и реальных училищ после трех-четырех уроков. О городских школах и говорить нечего! И потому я буквально был поражен той чистотой воздуха, которая была в учебных комнатах финского низшего училища. Достигается это, конечно, применением самой усовершенствованной вентиляции, но главным образом тем, что финны вообще не боятся свежего воздуха и при всяком удобном случае оставляют окна открытыми настежь. Всякая мелочь, служащая для удобства и пользы школьников,

обдумана здесь с замечательной любовью и заботливостью. Форма скамеек и чернильниц, ландкарты, коллекции, физический и естественный кабинеты, окраска стен, громадная высота комнат, пропасть света и воздуха, и, наконец, даже такая мелочь, как цветы на окнах, — цветы, которые с большим удовольствием приносят в школу сами ученики, — все это трогательно свидетельствует о внимательном и разумном, серьезном и любовном отношении к делу.

Подобной гимнастической залы, как в этой четырехклассной низшей школе, я не видал нигде в России, по богатству и остроумию приборов и по той щеголеватой чистоте, в которой она содержится. Около гимнастической залы есть маленький коридорчик, и в нем вдоль обеих стен длинные шкафы со множеством маленьких ячеек. Над каждой ячейкой написана фамилия ученика или ученицы, и там лежат гимнастические туфли, все одинакового образца, легкие, полотняные с веревочными подошвами.

Спорт здесь в большом почете, но опять-таки спорт разумный и даже, если хотите, патриотический.

Почти ни одного мальчишку вы не увидите здесь на улице без коньков в руках. По праздникам девушки, студенты, приказчики, конторщики, очень часто пожилые и даже толстые и седые люди отправляются с лыжами куда-нибудь на край города. Повсюду в витринах фотографов вы увидите моментальные снимки с знаменитых прыжков в тридцать два метра длиной и более. С изумлением видишь на фотографии, как человек на лыжах, в теплом трико и в вязаной шапочке колпаком, окончив разбег по горе до края обрыва, летит в силу инерции по воздуху высоко над головами стоящих внизу людей.

Летом финская молодежь собирается в гимнастические общества, занимается бегом взапуски, метанием дисков и копий, прыжками в ширину и в длину и в особенности плаваньем, в котором финны не имеют соперников в Европе. Я скажу не преувеличивая, что через такую здоровую, вольную школу, воспитывающую дух и тело, проходит каждый финн.

Их женщины и дочери не меньше мужчин любят конькобежный и лыжный спорт и также не боятся ни мороза, ни сквозного ветра. Я никогда не могу забыть той девочки лет двенадцати—тринадцати, которая однажды, при морозе в шестнадцать градусов, проходила мимо памятника поэту Рунебергу с открытой по ключицы шеей, с небольшим суконным беретом на голове и коньками под мышкой. Не могу сказать, чтобы она была красива, но столько свежести, бодрости, ловкой уверенности в движении было в ней, что я невольно залюбовался. Крепкая, здоровая, славная северная кровь!

Тут же кряду мне хочется сказать несколько слов и о финском искусстве. Я несколько дней провел в гельсингфорском Atheneum'е, в этом великолепном национальном музее искусства. Я был тогда влюблен — я не могу подобрать другого слова — в триптих Галена на мотив из Калевалы. Я знаю, если бы судьба занесла меня опять в Гельсингфорс, я первым долгом прямо с вокзала побежал бы на свидание с этим изумительным произведением. Какая громадная грядущая сила, еще не развернувшаяся, но уже поднимающаяся мощной волной, таится, однако, в этих неуклюжих, корявых пасынках природы. Искусство их, по-видимому, только еще пробует голос, точно молодой соловей-первогодок, но Гален, Эдельфельд, Иеренфельд — это уже художники, у которых не грех поучиться европейским мастерам.

И публика, посещающая Atheneum, поражает наш русский глаз, привыкший видеть в наших музеях, картинных галереях, на выставках исключительно нарядную салонную публику. В гельсингфорском Atheneum'е вы увидите в праздник самых серых тружеников — рабочих, разносчиков, прислугу, — но одетых в самое лучшее, праздничное платье.

Конечно, трудно многое сказать о стране, в которой был только мимоходом, но все, что я видел, укрепляет во мне мысль, что финны — мирный, большой, серьезный, стойкий народ, к тому же народ, отличающийся крепким здоровьем, любовью к свободе и нежной привязанностью к своей суровой родине.

Я совершенно чужд политике и никогда не хотел бы быть в роли предсказателя или устроителя судеб народов. Но когда я читаю или слышу о той газетной травле против финнов, которая совершается якобы во имя достоинства русского имени и безграничности русских владений во все страны магнитного поля, мне каждый раз хочется сказать относительно Финляндии: ежа голой спиной не убьешь.

Слава богу, теперь мало-помалу улучшаются отношения между финнами и теми из русских, которые посещают их родину. Я и мои друзья, без всяких рекомендаций, встречали повсюду: в Гельсингфорсе, в Выборге, на Иматре и других местностях, самый радушный, любезный и предупредительный прием. Случалось, что мы попадали в магазин, где хозяева не понимали ни по-русски, ни по-немецки, ни по-французски. Мы же, с своей стороны, не владели ни финским, ни шведским языками. И каждый раз нам любезно приглашали из какого-нибудь соседнего магазина бескорыстного и любезного переводчика. Однако недалеко то время, когда финны притворялись глухими, и немыми, и слепыми, едва заслышав русскую речь. Это было в эпоху крутых мер генерал-губернатора Бобрикова.

И то сказать, хорошо было наше обрусительное культуртрегерство. Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом.

Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин

ровно одну марку тридцать семь копеек. Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре.

Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда, Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему не русскому — словом, хорошо знакомое истинно русское лицо.

Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.

— Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово — чухонцы.

А другой подхватил, давясь от смеха:

— А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.

— Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!

И тем более приятно подтвердить, что в этой милой, широкой, полусвободной стране уже начинают понимать, что не вся Россия состоит из подрядчиков Мещовского уезда, Калужской губернии.

МОЙ ПОЛЕТ

Очень жаль, что меня о моем полете расспрашивало несколько сот человек, и мне скучно повторять это снова. Конечно, в крушении аэроплана г.г. Пташниковых и в том, что мой бедный друг Заикин должен был опять возвратиться к борьбе, — виноват только я.

Год тому назад, во время полетов Катанео, Уточкина и других, Заикин зажегся мыслью, чтобы летать. В это время мы вместе с ним были на аэродроме. Со свойственной этим упрямым волжанам внезапной решительностью он сказал:

— Я тоже буду летать!

Дернул меня черт сказать:

— Иван Михайлов, беру с вас слово, что первый, кого вы поднимете из пассажиров, — буду я!

И вот почти ровно через год, в очень ненастную, переменчивую одесскую погоду, Заикин делает два великолепных круга, потом еще три с половиною, достигая высоты около пятисот метров. Затем он берет с собой пассажиром молодого Навроцкого, сына издателя «Одесского листка», и делает с ним законченный круг, опускаясь в том же месте, где он начал полет. Несмотря на то, что на аэродроме почти что не было публики платной, однако из-за заборов все-таки глазело несколько десятков тысяч народа. Заикину

устроили необыкновенно бурную и несомненно дружественную овацию.

Как раз он проходил мимо трибуны и раскланивался с публикой, улыбаясь и благодаря ее приветственными, несколько цирковыми жестами. В это время, бог знает почему, я поднял руку кверху и помахал кистью руки. Заметив это, Заикин наивно и добродушно размял толпу, подошел ко мне и сказал:

— Ну что ж, Лексантра Иваныч, полетим?

Было очень холодно, и дул норд-вест. Для облегчения веса мне пришлось снять пальто и заменить его газетной бумагой, вроде манишки. Молодой Навроцкий, только что отлетавший, любезно предложил мне свою меховую шапку с наушниками. Кто-то пришпилил мне английскими булавками газетную манишку к жилету, кто-то завязал мне под подбородком наушники шапки, и мы пошли к аэроплану.

Садиться было довольно трудно. Нужно было не зацепить ногами за проволоки и не наступить на какие-то деревяшки. Механик указал мне маленький железный упор, в который я должен был упираться левой ногой. Правая нога моя должна была быть свободной. Таким образом, Заикин, сидевший впереди и немного ниже меня на таком же детском креслице, как и я, был обнят мною ногами.

Правую ногу мою свела вдруг судорога от неудобного положения. Я пробовал об этом сказать, но это уже было невозможным, потому что пустили в ход пропеллер. Тогда я изо всей силы прижал икру ноги к какой-то вертикальной стойке и болью заставил судорогу прекратиться. Всякие разговоры и протесты были бы бесполезны, потому что ни крик, ни выстрел из пистолета не были бы слышны моим авиатором, которому я так легкомысленно вверил мою жизнь.

Затем ощущение быстрого движения по земле — и страх!

Я чувствую, как аппарат, точно живой, поднимается на несколько метров над землей и опять падает на землю и катится по ней и опять подымается. Эти секунды были самые неприятные в моем случайном

путешествии по воздуху. Наконец Заикин, точно насилуя свою машину, заставляет ее подняться сразу вверх.

Встречный воздух подымает нас, точно систему игрушечного змея. Мне кажется, что мы не двигаемся, а под нами бегут назад трибуны, каменные стены, зеленеющие поля, деревья, фабричные трубы.

Гляжу вниз — все кажется таким смешным и маленьким, точно в сказке. Страх уже пропал. Сознательно говорю, что помню, как мы повернули налево и еще и еще налево. Но тут-то вот и случилась наша трагическая катастрофа. Встречный ветер был раньше нам другом и помощником, но когда мы повернулись к нему спиной, то сказались наши, то есть мои и пилота, тринадцать пудов веса плюс пропеллер, плюс мотор «гном» в пятьдесят сил, плюс ветер, гнавший нас в спину.

Сначала я видел Заикина немножко ниже своей головы. Вдруг я увидел его голову почти у своих колен. Ни у меня, ни у него (как я потом узнал) не было ни на одну секунду ощущения страха — страх был раньше. С каким-то странным равнодушным любопытством я видел, что нас несет на еврейское кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трех народа.

Только впоследствии я узнал, что Заикин в эту критическую секунду сохранил полное хладнокровие. Он успел рассчитать, что лучше пожертвовать аэропланом и двумя людьми, чем произвести панику и, может быть, стать виновником нескольких человеческих жизней. Он очень круто повернул налево... И затем я услышал только треск и увидел, как мой пилот упал на землю.

Я очень крепко держался за вертикальные деревянные столбы, но и меня быстро вышибло с сиденья, и я лег рядом с Заикиным.

Я скорее его поднялся на ноги и спросил:

— Что ты, старик? жив?!.

Вероятно, он был без сознания секунды три-четыре, потому что не сразу ответил на мой вопрос, но первые его слова были:

— Мотор цел?..

Как это ни странно, но я утверждаю, что во время падения не было ни у него, ни у меня ни одного момента страха. Все это происходило будто в сказке, было какое-то забвение времени, опасности, ценности собственной жизни, было какое-то странное равнодушие.

Повторяю, что страх был только тогда, когда мы с трудом отдирались от земли.

Сидя потом в буфете за чаем, Заикин плакал. Я старался его утешить, как мог, потому что все-таки я был виноват в этом несчастии. В тот же вечер решилась его судьба. Братья Пташниковы — миллионеры, хотевшие эксплуатировать удивительную дерзость этого безграмотного, но отважного, умного и горячего человека, перевели исковерканный Фарман в гараж и запечатали его казенными печатями, и Заикин не мог войти в этот сарай хотя бы для того, чтобы поглядеть хоть издали на свое детище.

Все это дело прошлое. Заикин опять борется в Симферополе и часто пишет мне совершенно безграмотные, но необыкновенно нежные письма и подписывается: «Твой серенький Иван».

Несмотря на то, что я своим нечаянным первым жестом перевернул его карьеру, он совсем не питает ко мне злобы, но зато и я твердо уверен в том, что через год, через два он непременно полетит на собственном аппарате. И не в угоду зевающей публике, а на серьезных авиационных конкурсах; и я уверен, что он сделает себе, несмотря на его отчаянность, бессмертное имя.

Что касается меня — я больше на аэроплане не полечу!..

ЗАМЕТКА О ДЖЕКЕ ЛОНДОНЕ

Как это ни странно, но в Америке, в стране штампа, деловых людей и бездарностей, появился новый писатель — Джек Лондон. Судя по его биографии, довольно несвязно переданной переводчицей, он сам был рабочим в приполярном Клондайке, стало быть рыл землю, добывал золото и дружил или ссорился с вымирающими индейскими племенами.

И этим биографическим чертам невольно веришь, когда читаешь рассказы талантливого писателя. В них чувствуется живая, настоящая кровь, громадный личный опыт, следы перенесенных в действительности страданий, трудов и наблюдений. Потому-то экзотические повести Лондона, облеченные веянием искренности и естественного правдоподобия, производят такое чарующее, неотразимое впечатление. Этот американец гораздо выше Брет-Гарта; он стоит на одном уровне с Киплингом — этим удивительным бытописателем знойной Индии. Есть между ними, не касаясь тона, стиля и манеры изложения, и еще разница: Д. Лондон гораздо проще, и эта разница в его пользу.

Покамест у нас есть только два тома его рассказов: «Белое безмолвие» и «Закон жизни».

«Белое безмолвие» — это трудно сказать что: повесть или поэма из жизни золотоискателей в Клондайке, где совершаются переезды в тысячу верст на собаках и на оленях, при морозе в шестьдесят

градусов, где человеческая жизнь почти ни во что не считается, где даже случайно сказанное слово держится крепко, как закон.

Один из самых очаровательных его рассказов заключается в простой, несложной и очень изящной фабуле: два золотоискателя — англичанин и ирландец — поссорились из-за пустяков. Решили стреляться. Но старый, опытный человек, на руках которого, вероятно, запеклось много человеческой крови, не позволяет товарищам делать этого. И он прибегает к очень простому и остроумному решению. Он говорит:

— Стреляйтесь, но кто из вас останется живым, того я застрелю.

А слово этого человека было известно во всей области на протяжении десятков тысяч верст и даже среди индейских племен. К счастью, импровизированная дуэль разошлась.

Но когда товарищ этого арбитра спросил его на ухо: «А в самом деле, застрелил бы ты его?» — тот ответил: «Право, я сам не знаю».

Я выбрал наудачу первый попавшийся рассказ Джека Лондона. Но все они в том же тоне и в веселом, беззастенчивом содержании.

Приведу вкратце содержание и другого рассказа из первого тома — «Белое безмолвие», по заглавию которого назван и весь том. Два золотоискателя и жена одного из них, метиска-полуиндианка, совершают героически тяжелый путь на собаках через весь материк. До ближайшего жилья им осталось несколько сотен верст. Припасы на исходе, да и те расхищают собаки, до такой степени озлобленные голодом и непосильным трудом, что их приходится подчинять себе, как диких зверей. Вокруг путников снег и тишина — «белое безмолвие». И вот одного из товарищей — женатого — постигает роковое несчастие. На него падает столетняя сосна и придавливает к земле, раздробив ему позвоночник. Напрасно он упрашивает своих спутников оставить его на произвол судьбы, потому что припасы идут к концу. Они остаются при нем целые сутки, до его последнего вздоха. Самая смерть его проста, трогательна и,

несмотря на страшные мучения, героически спокойна. Для того чтобы волки не сожрали трупа, его товарищ прибегает к старому, но необычному для нас способу похорон. Он связывает две верхушки деревьев и прикрепляет к ним труп своего друга. Затем он и женщина продолжают путь.

«Закон жизни» — это история вымирания индейских племен под натиском американской, или, все равно, как ее там назвать, европейской культуры.

Вся душа и все сердце Лондона на стороне этих вымирающих дикарей — гостеприимных, кротких, воинственных, терпеливо переносящих всякую боль, верных в дружбе, но не стесняющихся съесть труп своего отца.

Но спокойный ум европейца невольно заставляет его симпатизировать завоевателям этой удивительной и совсем своеобразной страны.

Тут-то Лондон начинает двоиться: в нем чувствуется фальшь, исходящая не из сердца, а от европейского услужливого ума.

И тем не менее в этом томе есть прекрасные, мужественно-жестокие, удивительные рассказы.

«Закон жизни» несомненно лучшая вещь. И как она проста по содержанию. Индейское племя уходит на новые места. Остается один лишь дряхлый старик. Его не берут с собою, он будет помехой для охотников и лишним ртом в племени. И вот он остается один среди снежной пустыни. У него немного пищи и костер, который вот-вот погаснет, а кругом уже собираются волки. Но у старика нет ни страха, ни злобы, ни сожаления. Это закон жизни, — говорит он. Так же и он сам, будучи когда-то вождем, поступал с больными и стариками. Закон жизни! Медленно, шаг за шагом, перебирает он всю свою жизнь... Наконец костер тухнет...

Таков в большинстве рассказов этот оригинальный и чрезвычайно талантливый писатель, завоевывающий себе мировую известность. В России он мало знаком, потому, что его мало или лениво переводят. Главные его достоинства: простота, ясность, дикая, своеобразная поэзия, мужественная красота изложения и какая-то особенная, собственная увлекательность сюжета.

ЛАЗУРНЫЕ БЕРЕГА

Глава I

НЕОБХОДИМОЕ НАСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Параграф первый того путеводителя для русских за границей, который мы надеемся в скором времени выпустить в свет, будет гласить: «Не верьте ни одному книжному путеводителю»; параграф второй советует также не верить ни гидам, ни местным жителям, ни смотрителям тюрем, дворцов и музеев и сторожам при них; параграф третий: не возить с собою много багажа. Это дорого, хлопотливо и неудобно. Три четверти вещей вам никогда не понадобится, а про пассажиров, увешанных баулами, чемоданами, сумками, картонками и сетками, летящих стремглав по перрону, со шляпой на затылке, с мокрыми волосами, упавшими на лоб, с растерянными глазами, да еще с зонтиком под мышкой и в теплых резиновых калошах — про этих пассажиров туземец так и говорит, показывая пальцем: поглядите, вот мчится русский вьючный верблюд; параграф четвертый советует следующее: не ездите никогда с круговым билетом Куковской компании, чтобы не уподобиться овечьему стаду, гонимому свирепыми пастухами, или толпе, мелькающей, точно ураган, на экране кинематографа; параграф пятый: но не

сидите также и в экспрессе, готовом вытрясти из человека все внутренности, довести его до морской болезни или до буйного расстройства нервов.

Представьте себе, что вы сидите в этом сумасшедшем поезде, предположим, что вы захотели бы через окно полюбоваться на очаровательные окрестности, но... видите пред собой какую-то мутную, то зеленую, то синюю, то совсем пеструю полосу, которая мчится и мчится назад, слепит глаза и кружит голову. Вы захотели налить себе в стакан чаю, но вас внезапно отбрасывает куда-то в сторону, и горячая жидкость попадает на тонзуру ни в чем не повинного почтенного патера. Даже привычного лакея из вагон-ресторана, почти жонглера по ловкости, иногда на ходу так качнет, что он летит вместе с подносом, тарелками, стаканами, вилками, ножами, ложками и соусниками на первого попавшегося человека или разбивает головою оконное стекло; параграф шестой: берегитесь австрийской поездной прислуги, особенно берегитесь тогда, когда она знает, что вы русский или русская; параграф седьмой: остерегайтесь брать сдачу итальянскими деньгами — их потом у вас нигде не примут: ни в ресторанах, ни в трамваях, ни в булочных, ни в табачных лавках, ни в кассах купален. Даже в самой Италии эти чентессимы, кажется, не в особом почете.

Все вышесказанное уже потому должно иметь в глазах русских путешественников веское значение, что ни один бедекер об этом не упоминает, а скромный автор, пишущий эти строки, испытал удовольствия заграничной поездки на собственной шкуре.

Примечание. При незнании языка очень рекомендуется притвориться глухонемым. К такому способу прибег один мой приятель. Правда, я должен оговориться, эта уловка сошла для него благополучно только до Генуи, а потом его вместо Рима завезли в Марсель.

Глава II

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Европа, если ехать туда, начинается задолго до Варшавы, а если ехать обратно, то она кончается в Границе. Этот географический абсурд немного напоминает старый рассказ о том, как один хозяин зверинца объяснял посетителям своего крокодила: «От головы до хвоста имеет ровно две сажени, а от хвоста до головы ровно две сажени и пять вершков». Однако надо мириться с правдой. За много станций до Варшавы вы уже видите из окна вагона прекрасно обработанные поля; их ровные квадраты ограничены белоснежными грушевыми и яблонными деревьями. Видите, что фруктовые сады выхолены и сбережены любящими неустанными руками, каждое деревцо подстрижено и подрезано, всегда его ствол выкрашен известью. Видите повсюду серебристые, бегущие по скатам ручейки, орошающие сады.

Вспаханные поля лежат черные и лоснящиеся, как бархат. Шоссейные дороги сияют своей ровной белизной. Фермы окружены садами и цветниками. Все красиво и опрятно.

В Варшаве вы пересаживаетесь с поезда ширококолейной дороги на поезд узкоколейной дороги, но разницы вы не замечаете. От Варшавы поезд сопровождает австрийская вагонная прислуга, народ, — как я уже выше сказал, — не первой честности, но вежливый, предупредительный и в то же время полный сознания собственного достоинства. Таможенные австрийские чиновники в Границе корректны, сухи, но не придирчивы, досмотр делают, проходя через вагоны, охотно верят пассажирам на слово и не копаются в чужом белье.

На обратном пути, именно в русской таможне, в той же Границе, которая отстоит от Варшавы на целую ночь пути, вам сразу дают понять, что началось любезное нашему сердцу отечество. Мало есть на свете более печальных зрелищ, чем это огромное, грязное, полутемное, заплеванное зало таможни, похожее одновременно и на сарай и на каземат. Эта

усталая, замученная, ночная, невыспавшаяся публика, загнанная сторожами, точно стадо, за перегородку, эти ворохи подушек, одеял, грязного белья, домашнего скарба, лежащие на деревянных засаленных прилавках, эти разверстые пасти чемоданов, из которых вывалилось наружу разное тряпье, эти грубые, грязные, запущенного вида солдаты, насквозь пропитанные запахом водки и махорки, эти откормленные, равнодушные чиновники, которые прогуливаются тут же, ничего не делая, заложив ручки в брючки, и попыхивают папиросками, люди, не говорящие, когда вы их о чем-нибудь спрашиваете, а лающие.

Но, однако, мне довелось быть свидетелем того, как эти надворные советники приняли большое участие в одной барышне. Вероятно, это было развлечением от их повседневной скуки, от местных сплетен и жалкого провинциального чиновничьего флирта, а может быть, надеялись найти в саквояже этой милой, очень красивой девушки, с тонким породистым лицом, прокламации? Я видел, как она заплакала от стыда. Конечно, они ничего не нашли, кроме нестиранного белья. Но ржали над этим зрелищем точно стоялые жеребцы.

И так же я видел, как в четыре часа утра, во время проливного дождя, вытаскивали из вагонов детей, несмотря на протесты их матерей. Право, это было похоже на какое-то иродово избиение младенцев.

Удивляли меня также станционные жандармы: и у офицеров и у солдат были голубые глаза и голубые околыши. Я долго ломал голову над тем, что к чему подбирается: околыши к глазам или глаза к околышам. Но это мне оказалось не по силам, и я бросил об этом думать. Кончилась заграница, начинается Россия. И первое, что я увидал в Варшаве по возвращении из-за границы, был городовой, который бил ножнами шашки по спине извозчика и вслух говорил такие слова, от которых его старая, притерпевшаяся ко всему кляча из белой сделалась рыжей.

Глава III

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Поезд по узкоколейной дороге мчится с какой-то особой железной бодростью, мелькая мимо деревень, ферм, островерхих церковок, великолепно возделанных полей. Мчится он почти без остановок, изредка станет на минуту, передохнет. И ты не успеешь выпить кружку пива, которую тебе услужливо протянул в окно шустрый мальчуган весь в золотых пуговицах в два ряда, как раздается чей-то возглас: «Аб!» — и поезд летит дальше.

Вот и подите, говорите о культуре! У нас по крайней мере на станции с пятиминутной остановкой поезд стоит двадцать пять минут и никто на это не обращает внимания. Обер-кондуктор с машинистом пошли пить чай к помощнику кассира, а утомленные, не спавшие двое суток кондукторы лежат на лавках и на полу в помещении третьего класса, пользуясь случайной минуткой отдыха. Но ни одному из пассажиров даже и в голову не придет на это обидеться или рассердиться. Конечно, вечное, милое русское, христианское терпение — прекрасное достоинство. Однако события последних дней показывают с непоколебимой ясностью, что это терпение иногда разгорается в пожар.

Первый звонок. Звонит этот звонок длинно-предлинно, пока не разрешится ударом, а сам станционный сторож, точно соловей в любовном экстазе, никак не надивится собственному искусству. Долго свистит кондуктор, но с паровоза ему никто не отвечает. Теперь долго свистит паровоз. Но обер-кондуктор куда-то отлучился по собственной надобности. Рассерженный машинист слезает с паровоза, ругает мимоходом ни в чем не повинного кочегара и начинает разыскивать по всему вокзалу обер-кондуктора, точно это иголка в стоге сена. Но в это время откуда-то выползает обер и начинает свистать с остервенением. Так они и ищут друг друга, пока, наконец, не встретятся. И только вмешатель-

ство помощника начальника станции прекращает их громкую ссору. Наконец, слава богу, тронулись.

Нет, должен я признаться, что люблю русский быт.

От многих людей, бывающих за границей, мне приходилось слышать об их первых впечатлениях на чужой земле. Почти все они утверждают, что и воздух, и небо — все равно за Волочиском, Вержболовым или Границей — и солнце, и земля как-то сразу необыкновенно меняются, что в душу врывается какое-то странное ощущение легкости, свободы, бодрости и так далее и так далее. Я этим людям не могу верить. Может быть, такими были их собственные впечатления. Мое же личное впечатление такое: кроме милых, гостеприимных, ласковых, щедрых, веселых, певучих итальянцев, все европейские люди рабы привычных жестов, скупы, жестоки, вралишки, презирают чужую культуру, набожны, когда это понадобится, патриоты, когда это выгодно, а на своих детей смотрят как на безумную роскошь, непозволительную бедному человеку, еще не достукавшемуся до сладкого звания рантье.

Глава IV

ВЕНА

Мы были в Вене рано утром, что-то около шести-семи часов. Поезд наш очень долго двигали вперед верст на пять и обратно, между улицами, по обеим сторонам которых возвышаются огромные, казарменного типа, четырех- и пятиэтажные дома. Тут я заметил одну рассмешившую меня подробность: все окна домов были раскрыты настежь, и в каждом доме, почти на каждом окне, были навалены грудами матрасы, одеяла, простыни и подушки. И почти из каждого окна выглядывала миловидная девушка в кокетливом переднике и с таким маленьким чепчиком на голове, который не был бы впору даже среднего размера кукле. Несомненно, проветривать по утрам

белье — вещь разумная и гигиеничная, но мне стало смешно от мысли, что я вдруг попал на какую-то международную распродажу постельного белья и разных интимных принадлежностей мужского и дамского туалета.

Вена очень красивый город, в котором есть три достоинства и один крупный недостаток. Хорош в ней кружевной собор святого Стефана, прекрасны пильзенное пиво и заботливо оборудованные оранжереи в ботаническом саду. Но плохо то, что венцы беспощадно разрушают свою тысячелетнюю историческую Вену: скупают целыми участками старые улицы, милые, узенькие, с высокими старинными домами, в самый жаркий день прохладные, и вместо них строят дома в очень фальшивом стиле венского ренессанса.

Венцы все на одно лицо. Худощавые, стройные, на мускулистых ногах, и все они не ходят, а маршируют. И кажется, что любой из них готов с радостью надеть чиновничью одежду для того, чтобы хоть немножко походить на офицера. Хотя, между нами говоря, храбрость австрийского войска нам давно уже известна.

Бедекеры говорят, что венки красивы. Я этого не заметил. Большие ноги и тяжелые юбки. А впрочем, может быть, я попал в Вену не в сезон.

Глава V

ПЕРЕВАЛ

Вечером показались горы. Поезд с трудом карабкается вверх. Мы приближаемся к перевалу через Альпы. Налево, в глубине тысячи или полуторы сажен, чуть видны крыши деревень, крытых красной марсельской черепицей. Фруктовые сады не больше, чем капустная рассада, а лошади и коровы точно тараканы. А направо, на огромной крутой скале, торчит замок какого-то барона, с башнями, бойницами, сложенный из тяжелого местного камня. Для меня

очевидно, что лошади не могли втащить такую громадную тяжесть наверх. Могли бы это сделать выносливые железноногие мулы или кроткие, терпеливые, умные ослы. Но ни тех, ни других в этих местах не водится. Стало быть, это сделали люди.

Эти помещения совсем неудобны для жилья, в них полы из камня, точно булыжная мостовая, нет окон, и даже днем никогда не бывает свету. И мне кажется, что до сих пор сохранился в этих замках, похожих одновременно и на церковь, и на тюрьму, и на разбойничье жилище, запах крови и человеческих экскрементов. За одну крону вы можете обозреть этот замок, увидать старого преданного Иоганна (кажется, есть фабрика, где их делают на заказ), услышать от него историю с привидениями, а также сплетню о том, что титулованный владелец замка теперь женится на дочери американского свиного короля.

В два часа ночи мы на вершине Земмеринга, в полосе вечных снегов. Дамы кашляют и чихают. Очень утомительны туннели. Поезд врывается в него, и ты сразу глохнешь от перемены воздушного давления, задыхаешься от запаха каменного угля; потом поезд выскакивает из туннеля, и ты опять глохнешь от притока свежего воздуха.

Ночь. Сон. А утром вдруг совершается чудо. Поезд бежит стремглав вниз, а навстречу ему бежит веселое южное небо, бегут апельсинные и лимонные деревья, отягощенные плодами, цветущие олеандры, рододендроны и камелии, и, что всего слаще, — ты не перестаешь обонять аромат каких-то диких прелестных трав или цветов. Да и дорожные спутники стали такими, точно их кто-то подменил за ночь. Смуглый, грязный, веселый итальянец, с античным профилем, обтирает рукавом горлышко пузатой бутылки с красным вином и добродушно протягивает мне. И как радостное приветствие на незнакомом мне языке звучит его вопросительное: «Э?»

Французская граница, итальянская граница. Черномазые мальчишки каким-то верхним чутьем угадывают в вас русского и насильно суют вам в руки под-

дельного Герцена, апокрифического Пушкина и толстейший том собрания сплетен об императорских дворах. Но на это нельзя сердиться. Это — след нашей многострадальной русской эмиграции.

Отвратительная скала Монте-Карло. Прелестное цветущее побережье. И вот мы в Ницце.

Глава VI

НИЦЦА

Ницца — это сплошное человеческое недоразумение. И Юлий Цезарь, и Август, и, кажется, Петроний избегали этого болотистого, зараженного малярией места. В Ницце они держали только рабов, гладиаторов и вольноотпущенников. Сами же они жили в Cimiez или Frejus, где, как памятники своего величия, они создали прекрасные цирки, такие прочные, что до сих пор время не может их изглодать. Потом произошла довольно глупая история. Покойной английской королеве Виктории почему-то приглянулось это болото, и тотчас же английский снобизм, русское обезьянство, шальные деньги американцев и вечная лакейская услужливость французов сделали из Ниццы модный курорт. Насколько нов этот город, свидетельствуют названия его улиц. Улица Гамбетты, улица Гюго, улица Флобера, улица Золя, улица Массенэ, улица Мира, улица Верди, улица Гуно, улица Паганини. И только одному бедному Вольтеру лицемерные французы отвели какой-то грязный тупик. Мопассана же совсем забыли. И вот извольте: москиты, болотная лихорадка, не город, а сплошная гостиница-обираловка, вонь автомобилей и прекрасные позы молодых французов пятидесяти лет в стиле П. Бурже на пляже в розовом с белым полосатом трико.

Это еще куда ни шло бы, что однажды при мне выкинуло море огромную рыжую дохлую крысу на берег. Ни дети, ни взрослые этого не заметили. Но когда я обратил внимание главного купальщика на покойницу, он ответил мне с милым простосердечием:

— Pardonnez, monsieur, ce n'est pas une ville, c'est un marécage et cloaque. Mais je vous pris n'en parler à personne... [1]

И это еще ничего, что благодаря моей привычке вставать рано я застал моих ниццких друзей за наивным занятием: они трудолюбиво спускали в море все городские нечистоты. Но когда пришло время пробуждения города, они тщательно забросали свое преступление гравием, и замечательно то, что они это проделывали каждый день в продолжение трех месяцев.

Но что меня оскорбило до глубины души, это то, что одна девочка двух лет вздумала искупаться голой, без костюма. И тотчас же наши пылкие друзья, пятидесятилетние французы, коллективно заявили о том, что их целомудрие не допускает такого гнусного зрелища, как вид *голой женщины.*

К счастью, мне в Ницце повезло. Я обедал в простом кабачке, на вывеске которого было написано: «Rendez-vous des cochers et des choffeurs» [2]. Этим милым, простым, как все труженики, людям я обязан моим знакомством с Ниццей. А надо сказать, что попал я туда в разгар выборов мэра. Трудно было предвидеть, кого выберет Ницца: генерала ли Гуарана, нового кандидата, или старого мэра Суванна.

По этому ничтожному поводу волнение в городе было необычайное. Процессии, флаги, экипажи, и повсюду венки из разноцветных роз с инициалами обоих кандидатов, и оглушительный шум на улицах: «Vive général Goiran! A bas Souvan! Vive notre papa Souvan! A bas Goiran!» [3]

Я вмешался в политику, совсем для меня чужую и так же для меня безразличную, как выборы городского головы в петербургскую думу. Со страстью держал я пари на двадцать пять сантимов со всеми моими друзьями-извозчиками за то, что пройдет Су-

---

[1] Простите, сударь, это не город, а болото и клоака. Но я вас прошу, не говорите об этом никому... *(франц.)*

[2] «Свидание кучеров и шоферов» *(франц.)*.

[3] Да здравствует генерал Гуаран! Долой Суванна! Да здравствует наш отец Суванн! Долой Гуарана! *(франц.)*

ванн. Должен признаться, что у меня при этом был расчет: в Ницце нет ни одного дома, ни одного кабачка, ни одного кафе, где бы не играли в рулетку, в карты или кости. Но, однако, я ошибся. Выбран был генерал Гуаран. Причину моего проигрыша мне объяснили позднее: «Alors, monsieur, нам гораздо выгоднее генерал. Он, наверное, сумеет принять принцев крови и других знатных путешественников, и вы понимаете, что у Ниццы останется больше чужих денег».

С этим я не мог не согласиться, но на всякий случай я сохранил три документа, отпечатанных в одной из двух местных газет, именно в той, которая стояла за генерала.

На одном из них, вышучивавшем бывшего мэра Суванна, в траурной рамке значилось:

ЕГО АГОНИЯ

«Граждане, коммерсанты, ремесленники, бродяги, богачи или бедняки, — это не человек уходит, а ненавистный режим!

Нас заверяют, что «Прекрасная Астер» (его ж...), которая разорила сына «Шоколада Мёнье», будет следовать за похоронной процессией верхом на своем «туалетном бидэ».

Его агония: луна была лиловая; парк Шамбрэн — красным Маркэ; полночь пробила на часах у Папской решетки и в Думе».

НИСТУ — НАПОЛЕОН

«Бывший купец Сокка и Писсальдьера, стригший деревья на Приморских Альпах, глухонемой сенатор в сенате, изобретатель «на водку» такого качества, делимость которого достигала 370 000 простых вероятий, пивший воду Вегэ, надсмотрщик за водосточными трубами, франк-масон и т. д.

В присутствии Артно Грэндаль сделал множество обезьяньих прыжков и сальтомортале на бедренной кости (tibia), получил растяжение жил, упавши на локти (cubitus), блуждающий взор, характерный при

бешенстве, от слушания результатов баллотировки, сообщенных по беспроволочному телеграфу в газете «Petit Niçois»...

Он, наконец, испустил последний вздох, раскрыв широко глаза по направлению к сенату; к счастью, смелый гражданин из числа странствующих граверов, невзирая на опасность, подобрал мозг, завернул его в тряпку и отправил в институт Пастера, чтобы определить его бешенство; после исследования мозг будет помещен в банке со спиртом, классифицирован как редкостная рыба, нечто среднее между штокфишем и лягушкой, и поставлен в музей поистине естественной истории Ниццы.

Свидетель агонии: Всеобщее Избирательное Право.

Crovibus de profundis.

...никаких сожалений!»

О Пуришкевич, никогда тебе в ругательствах не перепрыгнуть западную культуру!

А на местном наречии прибавлен призыв к гражданам Ниццы подавать голос за «доброго республиканца Гуарана», проливавшего где-то в Африке свою кровь за отечество.

Но, к сожалению, и в моих друзьях-извозчиках я должен был разочароваться. Однажды, в двенадцать часов дня, на бульваре Гамбетты я и monsieur Alfred, мой любимый извозчик, сидели на скамейке в тени платана и завтракали. Ему жена принесла жареную кошку с салатом, а я его угощал красным вином. Через полчаса он расчувствовался и признался мне в том, что все организации в Ницце построены на синдикатных началах: синдикат извозчиков, синдикат шоферов, синдикат рыбаков, синдикат купальщиков, уличных певцов, макро и так далее.

Я спросил его:

— А сколько человек стоит во главе предприятия?

— Alors... два, три.

— А другие?

— Monsieur, надо что-нибудь есть.

Я не застал в Ницце сезона. Но застал его обглодки. Вдовы интендантов, незаконные супруги отставных гвардейских офицеров, полицмейстерши, вице-губернаторши, графини и баронессы, о которых даже и готский календарь не упоминает, — все они, и на улицах, и на прогулке, и в спальнях, и на пляже, однообразно, точно дятлы, твердят:

— Можете себе представить? Меня точно какое-то предчувствие толкало. Сама себе говорю мысленно: ставь, ставь на двадцать шестой номер, а я, дура, поставила на черное большой золотой. И вообразите: двадцать шесть вышло четыре раза подряд. Сколько я могла бы взять?

Другого разговора у них нет. По утрам они посылают телеграммы своим старым, добрым, верным растратчикам, в двенадцать часов бегут на почту справиться, не пришел ли телеграфный перевод, вечером едут в Монте-Карло, а к одиннадцати часам, к запретному времени, продают, для того чтобы успеть отыграться, свои браслеты и кольца официанту из местного ресторана. Впрочем, о Монте-Карло придется написать отдельную главу.

Глава VII

МОНТЕ-КАРЛО

Опять повторяю вам, любезные читательницы и почтенные читатели: не верьте ни бедекерам и даже ни писателям. Они вам расскажут, что Монте-Карло — земной рай, что там в роскошных садах тихо шелестят пальмы своими перистыми ветвями, цветут лимоны и апельсины и в роскошных бассейнах плещутся «экзотические рыбы». Расскажут вам о великолепном дворце, построенном с царственной роскошью лучшими зодчими мира, украшенном самыми талантливыми ваятелями и расписанном первыми мастерами живописи.

На самом же деле ничего этого нет. Маленькое, приземистое здание. Цвета не то фисташкового, не то

жидкого кофе с молоком, не то «couleur caca Dauphin»; пухлые амуры и жирнозадые с маслеными улыбками в глазах Венеры, разбросанные малярами по потолку и на стенах, поддельная бронза, бюсты великих писателей, которые никогда в жизни не видали Монте-Карло и, кажется, не имели к нему никакого отношения...

А Монте-Карло — просто-напросто вертеп, воздвигнутый предприимчивым, талантливым Бланом на голой и бесплодной скале.

Этот несомненно умный человек, воля которого, к сожалению, была направлена в дурную сторону, — человек, который мог бы быть с никогда не изменявшим ему счастьем и поездным вором, и шантажистом, и министром, и ресторатором, и страховым агентом, и редактором громадной газеты, и содержателем публичного дома, и так далее и так далее, однажды решил использовать человеческую жадность и глупость. И он *не ошибся. Этот нищий,* голяк, человек с мрачным прошлым, рыцарь из-под темной звезды, умер оплаканный всеми жителями княжества Монако и успел не только выдать своих дочерей замуж за принцев крови, но и обеспечить на веки вечные своего покровителя Гримальди, завести ему артиллерию из двух пушек, пехоту численностью в пять солдат и двадцать офицеров и кавалерию в виде одного конного истукана, который сидит на лошади, весь расшитый золотом, и зевает от скуки, не зная, как убить бесполезное время.

Однако Блан предусмотрительно воспретил всем монегаскам (жителям Монако), а в том числе и Гримальди, вход в свой игорный зал.

Насколько велика была воля и выдержка этого человека, свидетельствует следующий анекдот (извиняюсь, если это было раньше напечатано): в Монте-Карло приехал какой-то испанский дворянин, которому везло сумасшедшее счастье. В два-три дня он выиграл у Блана около трех миллионов франков и уехал с ними домой, к себе в Севилью, к своим бычкам и апельсинам. Но через два года его опять потянуло на игру, и он вернулся к Блану в Монте-Карло.

Блан встретил его очень ласково и внимательно и даже как будто ему обрадовался.

— Как я счастлив вас видеть, граф. Но только предупреждаю вас: не играйте! Два раза к человеку счастье не возвращается. И — поверьте моей искренности — я вам советовал бы даже не входить в игорное зало.

— Почему? Неужели вы думаете, что у меня не хватит самообладания? Что я увлекусь игрой?

— О, конечно, граф, нет. В этом я не сомневаюсь. Все мои кассы открыты для вас. Но очень прошу — не играйте. Еще и еще раз повторяю вам, что счастье изменчиво. По крайней мере обещайте мне, что больше двадцати франков вы не проиграете?

— Оставьте. Не мешайте же мне. Я вам сейчас докажу, что азарт ничуть не владеет мною!!

Неизбежно кончилось тем, что испанский граф проиграл свои прежние выигранные три миллиона, заложил в банк по телеграфу свои земли и апельсиновые рощи, но уже из Монте-Карло уехать не мог. Он кидался на колени перед Бланом и со слезами целовал его руку, умоляя о нескольких сотнях франков, чтобы ему вернуться домой, к своей семье, прекрасному испанскому климату, к своим черным бычкам со звездочками на лбу, к своим апельсиновым рощам, к своим торреадорам. Но Блан ответил ему спокойно, сухо и холодно:

— Нет, граф. Два года тому назад вы меня разорили. Мне пришлось ехать в Париж и обивать все лестницы и пороги в редакциях газет и в министерствах, чтобы замуровать брешь, которую вы сделали в моем предприятии. Око за око. Теперь вы от меня не дождетесь сожаления, но милостыню я вам могу подать.

И с тех пор испанский граф, подобный петуху, у которого из хвоста вытащили перья, все думает отыграться. Администрация вертепа, по великодушному повелению Блана, выдает ему каждые сутки двадцать франков (приблизительно на наш счет около семи рублей). Он пользуется правом входа в казино, и даже ему позволяют играть. Но в тех случаях, когда

он свои жалкие двадцать франков проигрывает, то их у него не берут, а когда выигрывает, ему не платят. Более гнусной и жадной развалины, гласит легенда, никто никогда не видел на лазурных берегах. И таких людей болтается в Монте-Карло, считая скромно, тысячи четыре.

Так понял Блан человеческую психологию. Каждый выигравший вернется к нему, чтобы еще раз выиграть, а каждый проигравший — чтобы отыграться. И он совсем не промахнулся в циничном расчете на одну из самых низменных людских страстей. Спи с миром, добрый труженик. Потому что люди достойны такого обхождения с ними, какого они заслуживают.

Подробности организации этого дела смешны до простого. Каждый крупье проходит двухгодичную школу учения; два года в подвалах казино он сидит и учится пускать шарик по вертящемуся кругу; учится запоминать лица и костюмы, говорить на всех языках и носить чистое белье. Жены и дочери их обеспечены администрацией. Им открывают табачные и винные лавочки. И таким образом эти люди прикованы к вертящейся тарелке и бегающему по ней шарику неразрывными узами. И взаправду — куда ты пойдешь, если был раньше крупье или околоточным надзирателем?

Сплетня о том, что крупье может положить шарик в одну из тридцати семи черных и красных ячеек, по-моему, неосновательна, но что он может загнать шарик в определенный сектор, — это возможно. Во-первых, потому, что человеческая ловкость не имеет границ (акробаты, авиаторы, шулеры), а во-вторых, что я сам видел, как инспектор игры сменил в продолжение часа трех крупье, которые подряд проигрывали.

Жалкое и брезгливое впечатление производят эти сотни людей, — нет, даже не людей, а *только* игроков, — сгрудившихся над столами, покрытыми зеленым сукном! Сорок, пятьдесят мужчин и женщин сидят, толкая друг друга локтями и бедрами; сзади на них навалился второй ряд, а еще сзади стиснулась

толпа, сующая жадные, потные, мокрые руки через головы передних. Мимоходом локоть растакуэра попадает в щеку или в грудь прекрасной даме или девушке. Пустяки! На это никто не обращает внимания...

Зато как интересна была какая-то русская княгиня! У нее был нервный тик в глазах, и руки дрожали от старости и от азарта. Из белого замшевого мешочка, вроде кисета, она вынимала горстями золото и швыряла его на сукно куда попало. Старший крупье, тот, который вертит машинку, жирный, красноражий француз, нарочно задерживал игру и смеялся даме прямо в лицо.

Надо сказать, что она на это не обращала внимания, а когда проигралась, приказала кому-то подать ей автомобиль, другому заплатить за два стакана крепкого чаю и ушла. Это все-таки было красиво.

Как жаль, что русские женщины, так нежно и поэтично нарисованные Тургеневым, Толстым и Некрасовым, неизбежно попадают в эту проклятую дыру!

Вся французская печать проституируется начальством Монте-Карло с необыкновенной ловкостью и спокойствием. Этим честным журналистам, из которых честен и неподкупен по-настоящему только один граф Анри де Рошефор, умышленно платят за то, чтобы они не писали о самоубийствах, случающихся на этой голой скале. Честные журналисты, понятно, начинают шантажировать игорный дом и пишут именно о самоубийствах, пока не получат тридцати или сорока тысяч франков отступного. Администрации это и нужно. Она совсем не дорожит пятифранковыми игроками, а ждет миллионеров. А ведь ясно, что пресыщенного болвана, видевшего в своей оранжерейной, двадцатипятилетней жизни почти все, что может выдумать человеческое — вернее, лакейское — воображение: от охоты на тигров до содомского греха, — этого милого юношу непременно потянет испытать сильные ощущения. И потому-то дирекция вертепа с большим

великодушием время от времени дает возможность выиграть какому-нибудь путешествующему инкогнито набобу несколько тысяч франков. Даже для слепого ясно, что эти деньги выбрасываются администрацией для рекламы, а проще сказать, на чай или на перчатки...

Мое свидетельство потому беспристрастно, что из моих многочисленных пороков нет одного — влечения к карточной игре. Я был только холодным и внимательным наблюдателем. Нечаянно я выиграл несколько франков, но это было противно и скучно.

Развращающее влияние Монте-Карло сказывается повсюду на лазурных берегах. И если присмотришься к этому повнимательнее, то кажется, что ты попал в какое-то зачумленное, охваченное эпидемией место, которое было бы очень полезно полить керосином и сжечь. В каждом баре, в каждой табачной лавочке, в каждой гостинице стоят машины для игры — похожие на кассы-самосчетчики в больших магазинах. Наверху три цвета: желтый, зеленый, красный, или иначе — три игрушечных лошадки: вороная, гнедая и серая. Иногда, впрочем, это бывают и кошечки, а над ними, как в копилке, три отверстия для опускания монет. Если вы угадаете цвет, выигрываете. И милые, простосердечные маляры и каменщики, кондукторы трамваев, носильщики, официанты, проститутки с утра до вечера кладут и кладут свои су, заработанные тяжелым трудом, в эту ненасытную прорву. Конечно, они не понимают, что у машины против них шестьдесят шесть с дробью шансов на выигрыш. А эти шестьдесят шесть процентов делятся таким образом: сорок четыре получает владелец машины, а двадцать два хозяин кабачка. Надо сказать, что хозяин предпочитает расплачиваться в случае выигрыша не деньгами, а напитками, сладким вермутом или жгучим абсентом.

А для любителей более пряного азарта есть повсюду на лазурных берегах таинственные темные при-

тоны. Один из них — самый замечательный — обосновался в деревушке под названием Trinité[1], в верстах двадцати от Ниццы, между горами, по которым бежит белая шоссейная дорога, построенная римскими владыками, а возобновленная Наполеоном (Corniche). В этом заведении очень весело. Столы поставлены на открытом воздухе. Вино и закуска бесплатно от хозяина. Минимальная ставка — франк (в Монте-Карло пять франков). Пускают туда кого угодно. Никто не рассердится, если вы в разгаре игры снимете с себя верхнюю половину костюма.

Но зато и удивительная же коллекция человеческих отбросов собирается там: выгнанные из Монте-Карло за жульничество крупье, с лицами не то палачей, не то сыщиков, не то маркеров, старушки с благородными профилями, которые, слезая с трамвая, торопливо крестятся под мантильей, а если увидят горбатого, то стремятся на счастье прикоснуться к его горбу, русские шулеры, которые привезли на лазурные берега свои скромные петербургские сбережения и неизбежно проигрываются (это их общая судьба), международные лица, которым вход в Монте-Карло воспрещен либо за кражу чужой ставки, либо за неудачно вынутый из кармана чужой бумажник, переодетые полицейские... Словом, веселая, теплая, интимная компания.

Но, однако, никого из них не оставляет одна безумная мысль: «У рулетки есть свои законы!» Надо только открыть их ключ. И сидят эти сумасшедшие люди целыми днями и складывают числа, умножают их одно на другое, вычитают квадратные корни. Администрация смотрит на них как на тихих помешанных и мер утеснения к ним никаких не применяет.

Правда, часто игра оканчивается в Trinité дракой или ударом ножом в живот, но на эти пустяки в Trinité никто не обращает внимания.

---

[1] Троица *(франц.)*.

Но все-таки как интересны французские нравы! Даже и в этих вертепах наши щедрые западные друзья не могут обойтись без жеста.

Генерал Гуаран, только что выбранный ниццким мэром, естественно захотел показать свою гражданскую строгость и административную распорядительность. Поэтому он приказал закрыть все игорные дома в Trinité (а их там около десяти или пятнадцати). Была устроена облава. Игроки в ужасе разбежались, кто куда попало. Monsieur Поль, организатор самого главного заведения, тоже бежал, преследуемый полицейским комиссаром. И вот на бегу комиссар вывихивает себе ногу или, может быть, только делает вид, что вывихнул. Тогда monsieur Поль останавливается и с великодушием честного противника помогает своему преследователю подняться, усаживает его в экипаж, ухаживает за ним, точно заботливая нянька, и торжественно привозит в город. На другой день в обеих ниццких газетах, которые обычно поливают друг дружку грязью, воцаряется трогательное согласие. В одной — передовая статья на тему о том, что еще не умерла французская доблесть, а в другой — фельетон: «Великодушные враги».

А на третий день в обеих газетах две заметки, почти слово в слово: «К сожалению, борьба с денежным азартом не под силу нашей ниццкой полиции. Monsieur Поль опять открыл свой игорный дом в Trinité от десяти до двух дня и от четырех до восьми вечера, здесь же роскошный буфет, который maitre[1] Поль, с присущим всякому французу гостеприимством, предлагает к услугам посетителей совершенно бесплатно: курить позволено, чистый воздух и прекрасный пейзаж, лучший на всем лазурном побережье».

Нет! Русские репортеры, которых кто-то назвал бутербродниками, никогда не достигнут высокой культуры своих западных конфреров!![2]

---

[1] Хозяин *(франц.)*.
[2] Собратьев *(франц.)*.

Глава VIII

СИМЬЕ

(Cimiez)

Как-то вечером мой друг, извозчик господин Альфред, после того как мы с ним съели целое блюдо вареных в томате улиток и запили их белым вином, сказал мне:

— А отчего бы вам, господин, не посмотреть на развалины древнего римского цирка в Симье. Не могу утверждать достоверно, кто строил этот цирк: Юлий Цезарь или Август, но путешественники от него в восторге, особенно американцы. В сезонах мы их возим туда наверх тысячами.

Пришлось поехать.

Очень длинный, утомительный для лошадей, спиральный и извилистый путь по шоссе...

Темнота. Наконец видишь звезды, которых никогда не видел в Ницце из-за пыли и туманов, обоняешь свежий сладкий запах ночных трав. Кони благодарно отфыркиваются. И вот через час мы в Симье.

Все лжет на лазурном побережье. Одни римские развалины не лгут. Только надо приехать ночью, как я, одному, забыть, что сзади тебя торчит огромный каменный чемодан — английская или, может быть, американская гостиница, забыть об ацетиленовом фонаре, освещающем цирк. Только постоять и послушать.

Огромный овал цирка. Вокруг него арки в пять человеческих ростов вышиною. Над ними второй этаж таких же чудовищных пастей, из которых некогда вливался нетерпеливый народ. Но уже своды кое-где разрушены временем. И арки торчат трогательно вверх, точно протягивая друг другу старые беспомощные руки. А еще выше подымается гигантской воронкой древняя, сожженная солнцем земля, на которой когда-то сидели, лежали, пили скверное вино, волновались и ссорились беспощадные зрители и решали судьбы любимых гладиаторов одним мановением пальца... Бог весть, знали они или не знали, что

накануне вечером в Ницце их жены, дочери и сестры дарили ласками сегодняшних «morituros»? [1]

Тишина... Я один. Слава богу, никто не видит слез, которые бегут по моим щекам. Горько пахнут повилика и полынь... Вот круглый низкий выход из подземелья. Оттуда выпускали зверей. Стены еще сохранили следы железной решетки... Вот теневая сторона... Там несомненно была ложа владыки цирка, но от нее не осталось ни признака. Цирк в длину около двухсот шагов, шириною около полутораста. Обхожу его кругом по барьеру. Кирпич звенит под ногами, как железный, кладка цементная, вековая, а в трещинах выросла тонкая трава, иглистая, жесткая, прочная, терпкая. Вот и теперь она лежит передо мною на письменном столе. Я без волнения не могу глядеть на нее.

Слава богу — ночь. И я не вижу тех обычных надписей, которыми изрезаны, исцарапаны, раскрашены все прекрасные развалины и памятники золотой старины. Но, уходя, невольно чувствую смутную тоску по тому времени, когда жили люди огромных размахов, воли, решений, спокойствия и презрения к смерти.

На обратной дороге меня уже ничто не утешает. Светят электрические фонари. Сияют огнями гостиницы для американцев. Слева и справа гостеприимные открытые бары. У извозчиков автоматические тормозы. Трамваи. Автомобили. Но ничто не умеряет моего глубокого трогательного чувства, которое я пережил в развалинах древнего римского цирка.

Да и по правде сказать, кто возьмет на свою совесть решить, что лучше: Америка, социализм, вегетарианство, суффражизм, фальшь всех церквей, взятых вместе, политика, дипломатия, условная слюнявая культура или *Рим?*

Мы едем вниз, и все холоднее и холоднее пахнут кустарники. Темно. А по обеим сторонам дороги, журча, бегут ручейки.

Когда-то римские владыки подняли воду наверх, на горы Симье, и две тысячи лет подряд она бежит и бежит живым источником...

---

[1] «Смертников» (*лат.*).

Глава IX
КАРМЕН

Однажды я и мэтр Малика́рне, хозяин ресторана «Свидание шоферов и кучеров», выпив в ожидании обеда, для возбуждения аппетита, по стакану содовой воды с абсентом, играли на карамбольном биллиарде. В этой большой прохладной комнате с каменным полом жена хозяина, милая, толстая Катарина, накрывала длинный стол для своих клиентов, ставила перед каждым прибором по полбутылке красного вина, а рядом укладывала салфетки, которые каждый владелец обычно завязывал для отличия своим собственным оригинальным узлом. Их ребятишки, Альфонс и Шарлотта, — очаровательные смуглые дети, он — шести, а она — девяти лет, — тут же старались нарядить в кофточку и чепчик своего сердитого фокстерьера Пти.

Конечно, я проигрывал партию за партией. Господин Малика́рне — один из лучших игроков на всем лазурном побережье, я же — профан и невежда. И вот, в антракте между двумя играми, намеливая конец кия, хозяин вдруг обернул ко мне веселое, краснощекое, черноусое лицо и воскликнул оживленно:

— Ах, monsieur, как я рад, что, наконец, вспомнил! У меня есть для вас приятная новость. Я давно вижу, что вы всем интересуетесь. Извозчик, который отвозил вас в Симье — monsieur Альфред, вы с ним знакомы, — рассказывал мне, что вы были очарованы старинными развалинами. Поэтому позвольте вам посоветовать поехать в воскресенье в Фрежюс (Fréjus). Это тоже римский цирк, только раза в два больше, чем в Симье. Правда, это немного далеко, километров шестьдесят по железной дороге, но то, что вы там увидите, вы не забудете никогда в вашей жизни. В воскресенье там дают оперу «Кармен» под открытым небом. Это — замечательный спектакль, и повторяется он раз в три или четыре года. Чтобы поглядеть на него, зрители собираются не только с лазурного побережья, но из Тулона, Марселя, даже из

Лиона и даже — клянусь вам — из самого Парижа. Кармен будет петь Сесиль Кеттен, самая знаменитая артистка во всей Франции. Да вот, подождите, я вам сейчас покажу сегодняшний номер «Le Petit Niçois». Катарина! Дай, прошу тебя, «Petit Niçois»!

Мы разглядываем с ним вместе объявления о театральных зрелищах: воскресенье, четыре часа дня, заглавная роль — Сесиль Кеттен. Заглядываем тут же в расписание поездов. Оказывается, удобно. Особого доверия восторги мэтра Маликáрне во мне не возбуждают. Я уже хорошо знаю цену французскому пафосу и не особенно верю художественному вкусу моего друга. Но где бы и в каком исполнении ни обещали мне «Кармен», я всегда иду слушать эту оперу с неизменной верностью. И, кроме того, опера на открытом воздухе. В крайнем случае — курьез. «Кажется, нужно поехать», — думаю я.

А monsieur Маликáрне в это время восторженно описывает мне прелести Фрежюса.

— Подумайте только, monsieur, что этот цирк был основан много тысяч лет тому назад. Город когда-то насчитывал больше тридцати тысяч жителей. В его прекрасной глубокой бухте всегда толпились корабли. Именно в Фрежюсе высадился великий Наполеон, после того как он покинул остров Эльбу. Меня не отпускают дела по ресторану, но если бы вы знали, как я вам завидую, monsieur, что вы свободны и можете все это увидеть!

«Нет, я ошибся, у него все-таки есть вкус», — думаю я, и меня начинает разбирать любопытство.

Но в это время в ресторан уже сошлись все его обычные посетители. Мы с хозяином отправляемся умыть руки и садимся за стол.

Два раза мы проехались из Ниццы в Фрежюс без всякого успеха. В первый раз нам сказали, что газета напутала, ошиблась на целую неделю. И в доказательство приводили то, что на столбах не было афиш. В среду на всех киосках и на стенах ниццких домов действительно появились громадные плакаты,

где имя Сесиль Кеттен было напечатано полуаршинными красными буквами. Мы опять поехали в Фрежюс. На этот раз нам с милой, беспечной, южной бесцеремонностью заявили:

— Вы видите, — на небе облака и во всем Фрежюсе кричат петухи. Это значит, что барометр падает и несомненно будет дождь. Согласитесь, — что же это будет за спектакль на открытом воздухе под проливным дождем? Не правда ли, monsieur? Во всяком случае, позвольте вам дать совет: запаситесь заранее билетами, их берут нарасхват. Осталось очень мало, и то только в первых трех рядах.

— Но ведь это значит, что нам придется третий раз ехать из Ниццы в Фрежюс и, может быть, опять понапрасну? — возразил я недоверчиво.

— Что же делать, monsieur, — вздохнул лукавый черномазый южанин кассир, разводя руками. — Многие приезжают по два раза из Вентимилье и даже из Тулона. Попросите доброго бога о том, чтобы в следующее воскресенье была хорошая погода, и я ручаюсь, что всем хорошим знакомым в вашей далекой Германии вы будете с гордостью рассказывать о том, что вы увидите. Это счастье выпадает не многим на долю. А теперь, monsieur, — переменил он свой хвастливый тон на заискивающий, — позвольте узнать, какие билеты вы желаете иметь для вас и для вашей дамы?

Упорство взяло во мне верх над голосом рассудка, и я приобрел два билета третьего ряда.

Добрый бог в самом деле послал в следующее воскресенье чудесную погоду: ясную, солнечную и не особенно жаркую. В три с половиною часа мы приехали в Фрежюс. Из переполненного длинного поезда лились и лились потоки человеческой толпы. Один за другим подходили поезда с севера и с юга, и необыкновенное, нарядное, шумное, пестрое шествие беспрерывной рекой тесно заполнило широкую улицу, ведущую от вокзала к цирку. Приходилось подвигаться еле-еле, шаг за шагом, в страхе кося глазами

на острые булавки, торчавшие из огромных дамских шляп. Говор, смех, восклицания, шутки, мимолетные приветствия и улыбки издали, через головы толпы, непринужденное, радостно возбужденное настроение...

Право, если бы не мужские панамы и смокинги, и не модно обтянутые дамские платья, и не запах сигар и современных терпких духов, я легко вообразил бы себе, что две тысячи лет тому назад так же вливалась в цирк сквозь гигантскую прекрасную арку многотысячная римская толпа, заранее взволнованная страстным ожиданием кровавых зрелищ.

Цирк поражает своей громадностью, и, несмотря на разрушения, нанесенные временем, в его изящном овале, в двух этажах его сквозных арок чувствуется бессмертная красота и неуловимое изящество. Вся левая сторона цирка заставлена в длину рядами стульев — их, как я потом узнал, более трех тысяч, — и места почти все уже заполнены. Выше полукругом громоздятся скамейки, сплошь занятые оживленной пестрой толпою. Еще выше, в пролете каждой арки, на парапетах, на каких-то невидимых обломках, громоздятся бесчисленными гирляндами, какими-то фантастическими человеческими роями нетерпеливые зрители, жадные до зрелищ так же, как их отдаленные предки, современники рождества Христа. И, наконец, еще выше, гораздо выше древних стен цирка, расселась и улеглась просто на земле, опоясав широким кольцом амфитеатр, сплошная, бесчисленная масса. Глядишь туда и видишь только живую, колеблющуюся, черную полосу и на ней белые пятна лиц и изредка светлое платье.

Туда собралось все окрестное население из деревень, ферм и маленьких соседних полузабытых, полуразрушенных городишек, бывших когда-то летними резиденциями римской аристократии. Одни пришли пешком, другие приехали целыми семьями в двухколесных таратайках, запряженных крохотными, ростом с датского дога, милыми, терпеливыми, умными осликами, и все захватили с собой вино и провизию. Сюда, на эти спектакли, собираются десятки тысяч зрителей и с таким же нетерпением ожидают и с таким же

наивным восторгом смотрят и слушают, как в Обер-Аммергау представление страстей господних.

Не приехали только коренные ниццары. Но они равнодушны ко всему на свете, кроме своего пищеварения и состояния своих карманов.

Я пробую хоть приблизительно подсчитать, сколько может быть людей в этом чудовищном амфитеатре, в этой гигантской воронке, возвышающейся чуть ли не до неба. Тысяч двадцать, тридцать, думаю я. Но на другой день мне удается узнать, что одних только платных мест было двадцать тысяч, и ни одно из них не осталось свободным.

Напротив зрителей, у самой стены, прилепились жалкие подмостки и на них наивная, одновременно и смешная и трогательная сцена. Три стены, без потолка и без занавеси, а в глубине дверь. Вот и все. И таковой сцена остается в продолжение всех четырех актов.

А человеческая река все льется и льется сплошным течением сквозь широкую старинную арку. Воздух дрожит от слитного, густого и могучего человеческого говора. Если закроешь глаза, то кажется, что ты находишься в самой середине улья, переполненного десятками тысяч исполинских пчел. Изредка на этом общем гуле резко всплывает то звонкий женский смех, то выкрики продавцов холодной воды с лимоном, конфет и программ.

Оркестр из пятнадцати человек, поместившийся на земле, ниже подмостков, потихоньку настраивает инструменты. С неудовольствием я уже заранее решаю, что мне не придется услышать ни одного звука из любимой оперы: музыка на открытом воздухе, отсутствие резонанса, жалкий оркестр и, наконец, десятки тысяч зрителей, нетерпеливых, оживленно настроенных, болтливых, которых, конечно, не в состоянии унять ни один самый отважный капельдинер в мире! И невольно стало жалко напрасно затраченной энергии, хлопот и ожиданий.

Но вот раздается резкий звук гонга, и все, что бродили по свободному, не занятому местами

пространству цирка, и те, что толпились у наскоро сколоченного буфета, и те, что флиртовали и зубоскалили с своими соседями и знакомыми, торопливо бегут к своим стульям. И странным кажется на мой русский взгляд, что никто никого не толкает локтем в грудь, никто никому не наступает на ногу, ни одного грубого восклицания. И я чутко слышу, как умолкает шум несметной толпы, уходя куда-то вдаль, подобно тому, как замирает лесной шум, убегая в темные чащи, когда вдруг останавливается ветер. Второй удар гонга, и... тишина. Тихо, как в церкви, как в большом храме ночью.

На сцену выходит маленький человек в сером костюме со стулом в руке. Он ставит этот стул слева от воображаемой суфлерской будки и уходит за кулисы. Тишина становится еще хрустальнее. Третий удар гонга, и вот раздаются прекрасные звуки прелюдии, в которой говорится о страсти, нависающей над людьми, как грозовая туча, о любовной тоске, ревности, измене и смерти, о вечном беспощадном обаянии женского тела. И каждый звук так ясен и отчетлив и так сладок здесь под открытым голубым небом, что знакомая томная печаль и нежное умиление перед красотой вновь властно сжимают мое сердце...

В то же время я испытываю чувство удивления: бряд ли какой-нибудь оперный театр может звучать с такой отчетливостью, как эти развалины. «Неужели, — думаю я, — римские архитекторы знали тайны акустики так же хорошо, как и их юристы с необыкновенной тонкостью устанавливали нормы права?»

Выходят горожане, маршируют детишки, является на смену караул, и я слышу с необыкновенной точностью каждое слово, узнаю темп любого голоса. Солнце светит прямо в лицо хористам, так что они порою невольно заслоняются от него, и глаза их щурятся, а белые зубы блестят от гримасы, сжимающей лицо.

И вот, наконец, Кармен — Сесиль Кеттен. Она высока ростом, одета очень бедно и небрежно, ее лицо бледно и, может быть, некрасиво, большой широкий рот, настоящий рот певицы, ласковые, бархатные

движения тигрицы, никогда не теряющей чувства того, что из-за нее каждую минуту готовы загрызть друг друга насмерть влюбленные самцы, первобытное кокетство женщины из народа, бессознательное, врожденное изящество гордой испанки, неизменной посетительницы боя быков, и в каждом движении чуть-чуть манерная, плавная, страстная извилистость.

Сзади меня сидят русские: мужчина и дама. Я слышу, как дама шепчет:

— Ах, почему же она так бледна и некрасива?

— И правда, — соглашается ее кавалер.

Кармен поет свои куплеты о любви, свободной, как птица, и уходит с подругами на фабрику. Появляется в традиционном белом платье Микаэла. Как всегда, на ней золотой парик с длинными косами, как всегда, она поет чистым высоким сопрано, как всегда, публика слушает ее с удовольствием и облегченно вздыхает после ее ухода. Скандал на фабрике. Бедная Кармен арестована, руки у нее связаны назади. И вот, изгибаясь своим уклончивым и податливым телом, медленно приближаясь к дон Хозе шагами прекрасного хищного зверя все ближе и ближе, она поет свою песенку о своем друге Лилас Пастиа.

Près des remparts de Sevillia...

Беспечное, но грозное кокетство, чувственный и кровавый вызов слышится в ее словах. Вот он, первый отдаленный гром той грозы, которая вырывает с корнем деревья и разрушает дома, вот первый неясный намек на трагедию, ибо любовь всегда трагедия, всегда борьба и достижение, всегда радость и страх, воскресение и смерть, иначе — она мирное и скучное долголетнее сожительство под благословенным покровом церкви и закона.

Ее лицо на мгновение оборачивается к нам. Я вижу ее раздутые ноздри, ее пылающие страстью и угрозой глаза, ее вдохновенное царственное лицо. Да, царст-

---

[1] В предместье Севильи... *(франц.)*

венное лицо у этой оборвашки в растерзанной белой блузке и короткой коричневой юбке!

— Как она прекрасна! — слышу я женский шепот сзади.

— О да, да, но молчи, молчи.

Я ощущаю, как волосы у меня на голове становятся холодными и жесткими, и я чувствую, я знаю, я уверен, что то же самое испытывают со мной вместе, все до одного, бесчисленные зрители. На секунду я оглядываюсь назад. Снизу от партера и до самого верха отлогой горы темно от народа, но никто не пошевельнется, не двинет рукой, точно камни, внимающие пению Орфея. Но вот она окончила песенку, обманула, убежала. Конец акта. И никто не двигается несколько секунд, ни на древнем ристалище, ни в оркестре, ни наверху... И это мне кажется более убедительным, чем если бы все зрители сразу сняли шляпы с головы и коснулись ими земли. Такова волшебная власть гения!

Антракт. Дон Хозе, Цунига и солдаты прямо со сцены соскакивают вниз и идут в буфет пить пиво и лимонад. Боже, как они одеты! Кумачовые штаны, желтые тряпочки вместо позументов. Настоящие французские солдаты, с которыми артисты тут же у буфета дружелюбно болтают, куда лучше их одеты. Но погодите: сейчас они опять взойдут на сцену, и южное солнце сделает чудеса: их рейтузы окрасятся ярким цветом крови, а тряпки заблестят, как чистое золото.

Гонг. Серый человек опять выходит на сцену, ставит стол, а на него два оловянных стакана. Это харчевня.

Нет, это не харчевня. Это то, о чем мы, северяне, так долго мечтали под именем соборного действа. Разве все мы, присутствующие, не видели за эти блаженные три-четыре часа все настоящим: и харчевню, и фабрику, и горы, и солдат, и контрабандистов, и севильскую толпу перед боем быков, и разве мы не жили в странном живописном испанском городе одной красивой жизнью с великолепными, гордыми, бес-

страшными людьми? Московский Художественный театр, слышишь ли ты меня?

В постановке оперы, конечно, много недочетов. Так, например, комический хор мальчишек из первого акта был испорчен тем, что режиссер выпустил на сцену человек пятьдесят фрежюсских мальчуганов. Эта живая затея, конечно, была бы очень мила, но он заставил детей маршировать вокруг сцены попарно и в ногу. Получилось что-то вроде парада наших потешных, не хватало только инспектора народных училищ, который командует. Ну, скажите на милость, в каком городе, в какой стране было видано, чтобы уличные гамены[1] сопровождали караул, да еще с музыкой впереди, хоть в каком бы то ни было порядке? Ведь самое главное удовольствие — влезть чуть не с головой в разверстую пасть огромной медной трубы, приставить ухо к бухающему турецкому барабану, поглазеть, разинув рот, на кларнетиста, как он на ходу насасывает свой мундштук, потолкаться и подраться из-за мест поближе к оркестру. Не правда ли?

Хор держал себя так, как держат все хоры на свете. Известно, что хорист не знает иного жеста, кроме жеста удивления. Этот жест у него единственный. Какие бы чувства ему ни приходилось выражать, он неизбежно откачивается туловищем назад, делает вопрошающее лицо, широкие глаза и вытягивает прямо перед собою правую руку.

И Микаэла, несмотря на приятный, чистый голосок, была несуразна. Каждый раз, окончив свою печальную арию, она — женщина пудов пяти весу — убегала за кулисы вприпрыжку, этаким резвым котеночком. Конечно, в ее воображении этот трюк означал приблизительно вот что: посмотрите, какое я маленькое, невинное, резвое дитя, а со мной так плохо обращаются!

Надо сказать, что дон Хозе был плох и сладок, а Эскамильо посредственен. Впрочем, давно замечено, что, если хорош торреадор, плоха Кармен, и наоборот.

Таким образом, одна Сесиль Кеттен одухотворила

---

[1] Мальчишки (от *франц.* gamins).

оперу, украсив ее волшебными цветами своего творчества. Она появлялась на сцену, и вот — точно солнце удесятеряло свой ослепительный блеск! При ней и оркестр и хор так чудно сливались вместе, что казалось, звучит какой-то один многоголосый инструмент, в котором одновременно поют и люди, и скрипки, и голубое южное небо, и золотое солнце.

И какая тонкая артистическая умеренность в игре. Во втором акте, как известно, есть очень рискованное место: цыганский танец на столе. Я видал, как русские примадонны карабкаются на этот театральный стол, подобно бегемоту, лезущему на дерево, и как бедный стол шатается всеми ножками под их тяжестью. И смешно и жалко. Я видел, как прекрасная, но грубая артистка Мария Гай, ловкая и сильная женщина, одним прыжком вскакивает на стол и танцует с увлечением, со страстью, но, увы, некрасиво обнаруживая слишком большие ноги.

Сесиль Кеттен не танцует. На столе две балерины-гитаны. Все их движения заключаются в сладострастных извивах бедер и торса, в томных, ленивых позах. А Сесиль Кеттен только ходит по сцене своей гибкой, тигриной походкой, перещелкивая кастаньетами, грациозно раскачивая свое тело и короткие пышные юбки. Из ее большого прекрасного рта льется знойная цыганская песня, в которой огонь, кровь и вино.

И еще тонкая подробность: бледности первого акта нет и в помине. Ведь Кармен явилась на праздник, на корриду. На ней лучшее шелковое платье, голова кокетливо украшена старинным черным кружевом, щеки нарумянены, брови — две черные полукруглые дуги, сходящиеся вместе. И ее кокетливые, манящие улыбки все время блестят, как золото на солнце.

В последнем акте Кеттен прекрасна до ужасного. Она поднимает до своей вышины Эскамильо, певца средней величины; я вижу, как она своими прекрасными глазами ведет за собой очарованный хор, и я

чувствую, как истинным и чистым восторгом горят сердца зрителей...

Ah, je t'aime, Escamiglio...

Необычайный по красоте, полный страсти, нежности и предчувствия близкой смерти, льется этот простой, медлительный мотив. Он кончается, и я ухожу. Я настолько близко, не по-театральному, а по-настоящему, по правде, жил радостями, очарованиями и падениями моей прекрасной, гордой, изменчивой Кармен, что я не хочу, не могу, не в силах видеть ее смерти.

Идя к поезду, я все думал: «Ах, отчего ни Проспер Мериме, автор пьесы, ни Жорж Бизе, которого так беспощадно освистали после первого представления «Кармен» и который через два дня после этого умер в Париже, ни Фридрих Ницше, отвернувшийся от Вагнера для того, чтобы влюбиться в «Кармен», не видели этой оперы в исполнении Сесиль Кеттен. Да и не могли бы, если бы они и были живы. Через полтора месяца эта прелестная артистка умерла от апендицита в одной из французских клиник. Операция была произведена варварски. Говорят, была хирургическая ошибка. А гений погиб.

Глава X

НИЦЦА ПЛЯШЕТ

Раньше я уже говорил о том, что Ницца — город, порожденный шальными деньгами, карточным азартом, глупой модой и безумными прихотями приезжих богатых людей, пресыщенных до одурения всеми грубыми радостями мира. Поэтому ничего нет удивительного в том, что в Ницце никто ничего не создает и ничем не занимается, кроме сводничества, стрижки и бритья, отдавания квартир и комнат внаймы, альфонсизма, комиссионерства, лакейства и других не менее полупочтенных профессий. Ницца еще ни разу не

[1] Ах, я люблю тебя, Эскамильо... *(франц.)*

родила на свет божий: ни одного скульптора, художника, актера, поэта, романиста, музыканта, композитора, даже ни одного мастера тонкой ручной работы.

Однажды, по просьбе пятилетней девочки, я принес в игрушечный магазин ее куклу, которой она неосторожно проломила голову. У меня очень вежливо приняли заказ и обещали завтра же произвести пустячную операцию с починкой черепа, которую я мог бы и сам довольно ловко сделать в десять минут, если бы у меня под руками был клей синдетикон, кусочек картона и клок каких-нибудь волос.

Две недели подряд, каждый день, ходил я в этот магазин, и толстая, туго перетянутая корсетом хозяйка неизменно отвечала мне с обворожительной улыбкой из-за своей конторки:

— Monsieur, завтра непременно.

К концу второй недели она откровенно призналась мне:

— Я должна вам сказать, что мы отправили вашу куклу в Париж. Видите ли, в Ницце никто ничего не производит. У нас нет ни сапожников, ни портных, ни шляпочниц, ни ювелиров, ни велосипедных мастеров, ни игрушечных... Словом, ничего нет. В сезон они все приезжают к нам из Парижа, Лиона и Марселя и загребают бешеные деньги. Кончился сезон — и они исчезают, как дым, как стая перелетных птиц. Понимаете, monsieur, ведь Ницца не город, а сплошной огромный отель. Что поделаешь, таковы наши ниццкие нравы... Потерпите немного, и через день, через два ваша кукла вернется целой, невредимой и прекрасно излеченной.

Для меня было ясно, что хозяйка магазина что-то путает, но во мне уже заговорило упрямство. Я пришел опять через четыре дня и настойчиво потребовал, чтобы мне возвратили мою куклу, в каком бы она ни была виде. Хозяйка медленно подняла на меня из-за конторки свои черные выпуклые глаза, неприятно молодые на старом, обрюзгшем желтом лице, и сказала с божественным спокойствием:

— Простите, monsieur, я ни разу не видала ни вас,

ни вашей куклы. Вероятно, вы ошиблись адресом магазина?

Другой случай. Я сижу в парикмахерской. Меня стригут. Мой приятель дожидается меня здесь же, в зале, просматривая французские юмористические журналы. Рядом со мною хозяин заведения бреет солидного толстого старого буржуа. Понемногу между нами четырьмя заходит разговор об автомобильных набегах Бонно и об его шайке анархистов-экспроприаторов. Все мы лениво согласны между собою в том, что современная молодежь отбилась от семьи и преждевременно портится. Но толстый буржуа принимает разговор чересчур близко к сердцу и багровеет так, что даже лысина становится у него пурпуровой. Он быстро поворачивается на винтящемся стуле лицом к моему товарищу. Одна щека у него гладко выбритая, а другая покрыта густой белой мыльной пеной.

— Вы правы, monsieur! — кричит он взволнованно. — Вы сто раз правы!

— Monsieur, — нежно протестует парикмахер, — ваши щеки!..

— Подождите... Когда я начинаю говорить, я не люблю, чтобы мне мешали... Вы тысячу раз правы, мой дорогой иностранец. У меня есть сын. Он не хочет работать, он целые дни проводит за бильярдом или за стаканом абсента в каких-нибудь кафе. И я догадаться не могу, откуда он достает на это деньги. Я понимал бы еще, если бы у него были какие-нибудь связи с пожилыми богатыми дамами. Это ведь так просто и ясно. Мальчик очень красив, отчего же ему и не принимать маленьких подарков? Но, вообразите, он путается с самыми потерянными женщинами, и в этом трагедия моей жизни. Иногда я просыпаюсь среди ночи и с ужасом думаю: «А что, если и он анархист, как Бонно и его друзья?»

Случай третий. Густая уличная толпа окружила лежащую на земле молодую, довольно красивую, но сильно избитую и, кажется, израненную женщину. Двое городовых держат за руки взлохмаченного пожилого француза, худого и гибкого, как виноградная

лоза. Он без шляпы, и из растерзанной манишки видна его волосатая грудь.

— Что здесь случилось? — спрашиваю я случайного соседа.

— Э, monsieur, обыкновенная любовная история. Так ей и надо, этой потаскушке (он выразился сильнее).

— Значит — ревность? Измена?

— Конечно, monsieur. Эта... Генриетта была до сих пор прекрасной женой и хозяйкой. Все, что она зарабатывала от своих ухаживателей и постоянных клиентов, она честно приносила в дом, как подобает порядочной жене и любящей матери. Но в последнее время она увлеклась молодым коммивояжером и завязала с ним бескорыстный роман. Понимаете ли, monsieur, как это грустно и безнравственно!

Я понял. «Таковы наши ниццкие нравы», — вспомнились мне слова владелицы игрушечного магазина.

Таких анекдотов я мог бы привести несколько сотен. Но я нарочно выбрал потому самые мелочные, что убежден, что в забавных и противных мелочах больше всего сказывается душа человека, страна и история.

Сезон продолжается с половины октября до половины марта. За это время все гостиницы битком набиты, и цены за помещения возрастают до безумных размеров. Каждый ваш шаг, каждый глоток, чуть ли не каждый вздох оплачивается неслыханными расходами. Английское, американское и русское золото неудержимым водопадом льется в беспредельные карманы предприимчивых французов и жадных ниццаров. Тамошняя пословица говорит: «В Ниццу ездят веселиться, в Канн отдыхать, а в Ментону умирать». И правда, в течение всего сезона жизнь в Ницце представляет из себя сплошное праздничное кружилище: балы, пикники, скачки, велосипедные гонки, карнавалы, множество кафешантанов, музыка и игра, игра, игра.

Если вы не хотите ехать в Монте-Карло, для вас гостеприимно открыты двери двух роскошных верте-

пов — Casino Municipal и Casino de la Gai promenade[1]. Там, правда, нет рулетки, которую ревнивая администрация Монте-Карло сумела запретить на всем лазурном побережье, зато есть младшая сестра этой игры, носящая скромное название «лошадки» (les petits chevaux). Разница между этими играми заключается только в том, что в первой вы проигрываете на тридцать шесть нумеров, а во второй — на девять. Но и там и там беспрерывно течет с мягким звоном и мелодичным шелестом иностранное золото...

Но вот наступает конец сезона, и праздная, знатная, нарядная толпа иностранных гостей редеет с каждым днем: одни уехали в свои родовые имения, другие — в прохладную Швейцарию, третьи — в Трувилль или на один из модных английских купальных курортов. Милые беззаботные птички божии!

Один за другим закрываются шикарные отели, и чем отель аристократичнее и дороже, тем он раньше опускает на свои окна плотные зеленые филенки, обволакивает полотном золотые вывески и запирает все свои входные двери на ключ. Последним из знатных путешественников уезжает наш талантливый соотечественник Вас. Ив. Немирович-Данченко. После его отъезда излюбленный отель нашего писателя «Westminster» погружается в безмолвие и мрак, и сезон можно считать оконченным.

Ницца облегченно вздыхает после тяжких и сладких зимних трудов, считает награбленное золото и теперь решает сама повеселиться. Да и в самом деле, она так долго глядела на чужое веселье и так подобострастно обслуживала чужие прихоти, капризы, нужды и фантазии, что ей, право, не грех позабавиться. Господа уехали, лакеи танцуют. Да и все равно они теперь, в продолжение пяти-шести месяцев, осуждены на полное бездействие.

И Ницца пляшет.

Нет дня, чтобы не увидали протянутую через улицу от дома к дому широкую коленкоровую полосу, на которой красными буквами напечатано:

---

[1] Городское казино и казино Веселой прогулки *(франц.)*.

«20, 21 и 22 июня (примерно) большой бал комиссионеров (извозчиков, маляров, рыбаков, прислуги и т. д.) на площади Массенэ (Гарибальди, Нотр-Дам и проч.). Вход 50 сантимов». Каждый такой бал, не считая небольших перерывов для сна и еды, длится двое-трое суток. И все они на один образец. Выбирается среди площади обширное круглое место и огораживается столбами, которые снаружи плотно обтягиваются полотном. Сверху на столбы натягивается конусообразная полотняная крыша — словом, получается то, что на языке бродячих цирков называется «шапито», — и бальная зала готова.

Остается только навесить крест-накрест на столбах французские флаги, протянуть гирлянды из листьев, поставить эстраду для музыкантов, отделить закоулочек под пивной буфет, и больше ничего не требуется.

С утра до вечера беспрерывной вереницей идут и идут под душный полотняный навес мужчины и женщины, старики и дети. Бал длится почти беспрерывно. И чем позднее, тем гуще и непринужденнее веселящаяся толпа. Танцуют всегда один и тот же танец — ниццкую польку. Пусть музыка играет все, что хочет: вальс, мазурку, падеспань, — ниццары под всякий размер и под всякий мотив пляшут только свой единственный, излюбленный и, я думаю, очень древний танец.

Танцуют обыкновенно пар пятьсот — шестьсот, заполняя весь огромный круг от центра до окружности. Тесным, плотным, живым диском медленно движутся эти пары в одну сторону — противоположную часовой стрелке. Душно, жарко, и нечем дышать. Полотняное шапито не пропускает воздуха; единственный вход, он же и выход, не дает никакой тяги. Мелкая песчаная пыль клубами летит из-под ног и, смешиваясь с испарениями потных человеческих тел, образует над танцорами удушливый мутный покров, сквозь который едва мерцают прикрепленные к столбам лампы и от которого першит в горле и слезятся глаза.

Но самый танец, надо сказать, очень красив. Теперь он входит в моду в большом свете Парижа под именем «танго». Он прост и несложен, как все экзоти-

ческие древние танцы, но требует особой, своеобразной, инстинктивной грации, без которой танцующий будет позорно смешон. Состоит он вот в чем. Кавалер и дама прижимаются друг к другу вплотную, лицо к лицу, грудь к груди, ноги к ногам; правая рука кавалера обхватывает даму немного ниже талии; правая рука дамы обвивает шею партнера и лежит у него на спине. И в таком положении, тесно слившись, они оба медленными, плавными, эластичными шагами, раскачивая бедрами, подвигаются вперед. Иногда наступает кавалер, отступает дама, потом наоборот. Движения их ног ловко и ритмично согласуются. В этой примитивной пляске очень много грубого, первобытного сладострастия. Сколько раз мне приходилось видеть, как лицо женщины вдруг бледнеет от чувственного волнения, голова совсем склоняется на грудь мужчины, и открытые сухие губы в тесноте и давке внезапно с жадностью прижимаются к цветку, продетому в петличку его пиджака. Но в то же время этот танец может быть очаровательным по изяществу. Мои друзья показывали мне двух-трех танцоров и нескольких танцорок, которые считаются лучшими в Ницце. И в самом деле, какая стройность поз, какая хищная и страстная сила в движениях, какое выражение мужской гордости в повороте головы! Нет, этому искусству не выучишься. Надо, чтобы оно жило в крови с незапамятных времен.

Кроме того, надо сказать, что насколько некрасивы коренные жительницы Ниццы, настолько красивы ниццары. В их смуглых лицах с правильными чертами живописно отразилась кровь всех завоевателей и покорителей Ниццы: генуэзцев, римлян, мавров и в древности, вероятно, греков. Все они высоки, очень стройны и сильны. Особенно бросаются в глаза их рост и сложение в те минуты, когда по улице, с фанфарами и музыкой, проходит рота солдат. Жадные до зрелищ и патриотичные, как все южане, бегут ниццары вслед за солдатами по обоим тротуарам, машут шляпами и орут во весь голос: «Vive l'armée! Vive l'armée!»[1] И в

[1] Да здравствует армия! Да здравствует армия! *(франц.)*

сравнении с рослыми, плечистыми, нарядными ниццарами какими жалкими кажутся маленькие пехотные солдаты-северяне, в своих красных кепи, красных широких штанах, завязанных у щиколоток, и несуразных синих шинелях, полы которых подоткнуты назад, образуя подобие какого-то клоунского фрака.

Был я также на рыбачьих балах, которые отличались от вышеописанных только тем, что у музыкантов все инструменты были обернуты серебряным и золотым картоном в форме разных рыб и раковин, а на столбах укреплены весла, рули и спасательные круги.

Но всегда наибольшее оживление царит не в самом шапито, а у входа в него и вокруг его огорожи. Тут располагаются торговцы конфетами, пирожками, лимонадом. Несколько тиров для стрельбы из монтекристо. Будочки, в которых на большом столе расставлены ножики, стаканы, вазочки, флаконы с дешевыми духами и бутылки с отвратительным шампанским. Вы покупаете на несколько су пять или десять деревянных колец, вроде тех, которыми играют в серсо, и бросаете их на стол. Если вам удается правильно окружить какой-нибудь предмет, он становится вашей собственностью, и публика, к великому вашему смущению, провожает вас аплодисментами. Здесь же помещается: беспроигрышная лотерея со всякой дрянью на выставке, а также и мошеннические лотерей, в которых вы можете выиграть живого петуха или курицу и потом с идиотским видом нести под мышкой неистово кричащую птицу, сами не зная, как с ней разделаться. Здесь, под открытым небом, на этом своеобразном игорном базаре, живая толпа всегда весела, жива и добродушна.

Самым интересным все-таки был бал моих друзей-извозчиков. Не помню уже, кто из них, monsieur Филипп или monsieur Альфред, вручил мне однажды почетный билет.

— Для вас и для вашего почтенного семейства, — сказал он с любезной улыбкой. — Все русские — наши друзья, а вы у нас свой человек. Бал будет завтра в «Калифорнии», и самое лучшее, если вы приедете к четырем часам дня; мы будем ожидать вас.

«Калифорния» — это подгороднее местечко, замечательное тремя вещами: маяком, прекрасной страусовой фермой и большим рестораном, к которому пристроена обширная сквозная терраса с деревянным полом для танцев.

И так как на другой день выдалась приятная, нежаркая погода, то мы большой компанией отправились в «Калифорнию», побыли около маяка, куда нас не пустили, осмотрели ферму, где, между прочим, страусовые перья продаются вдвое дороже, чем их можно купить в Петербурге, и, наконец, достаточно усталые, расположились на танцевальной террасе ресторана.

Я не успел еще выпить стакана белого вина со льдом, как увидел, что мне издали делает какие-то таинственные знаки мой друг monsieur Филипп. Я встал из-за стола и пошел к нему.

— Monsieur, — сказал он со своей обычной вкрадчивой ласковостью, — председатель, или, вернее, шеф нашей извозчичьей корпорации слышал о вас и хочет познакомиться. Позвольте мне представить вас ему?

Я согласился. Председатель оказался пожилым, но еще красивым мужчиной — крепким, стройным, как сорокалетний платан.

Он давнул мне так сильно руку, что у меня склеились пальцы, выразил удовольствие видеть меня и предложил мне стакан холодного шампанского. После этого он сказал:

— Теперь, по нашему обычаю, я вас должен представить нашему королю, королю извозчиков. Жан! Тащи сюда короля!

Вскоре у стола появился нескладный, длинный белобрысый парень с бритым лицом опереточного простака. Он был одет в длинный, фантастического покроя зеленый балахон, испещренный наклеенными золотыми звездами. Сзади волочился огромный шлейф, который с преувеличенной почтительностью несли двое его товарищей извозчиков, а на голове красовалась напяленная набекрень золотая корона из папье-маше.

Король важно кивнул головой на мой глубокий поклон.

— Речь, monsieur, речь! — зашептали вокруг мои друзья, — скажите несколько приветственных слов.

— Ваше величество, — начал я проникновенным голосом, с трудом подбирая французские фразы, — я прибыл сюда с крайнего севера, из пределов далекой России, из царства вечных снегов, белых медведей, самоваров и казаков. По дороге я посетил много народов, но нигде я не встречал подданных более счастливых, чем те, которые находятся под вашим мудрым, отеческим покровительством. Alors! Пусть государь милостиво разрешит мне наполнить вином эти бокалы и выпить за здоровье доброго короля и за счастье его храброго, веселого народа — славных извозчиков Ниццы!

Король левой рукой благосклонно принял предложенный мною бокал, а другую величественно протянул мне для пожатия.

В самом деле, в этом шуте гороховом была пропасть королевского достоинства.

Вскоре мы уже пили за всех французских извозчиков и за русских, и даже за извозчиков всего мира, пили за Францию и за Россию, за французских и русских женщин и за женщин всего земного шара, пили за лошадей всех национальностей, пород и мастей. Я не знаю, чем бы закончили наше красноречие, да и тем более, я чувствовал, что мой кошелек очень быстро пустеет, но, к счастию, ко мне подошел официант и сказал, что приехавшие со мной компаньоны скучают без меня.

Король с обворожительной любезностью отпустил меня, протянул мне на прощанье руку; и вдруг, неожиданно потеряв равновесие, покачнулся, взмахнул нелепо руками и очутился на полу в сидячем положении.

— Король и в падении остается королем, — сказал серьезным тоном извозчичий шеф.

Вскоре начались танцы. Оркестра не было. Играло механическое пианино. Кто хотел — заводил его и бросал в щелочку двадцать сантимов. Так как дам

оказалось очень мало, то мужчины танцевали с мужчинами, что совсем не режет глаз, потому что очень принято на ниццких балах. Но становилось уже поздно и сыро. Надо было уезжать.

Глава XI

БОКС

Я жил в то время в ниццкой гостинице, которую содержала добродушная полька. У нее был сын, семнадцатилетний, милый и ласковый, как веселый щенок, Петя, который мог свободно перепрыгивать через сервированный стол или из окна залы на террасу, чем приводил в восхищение сезонных дам, которые ему неоднократно дарили кольца с бриллиантами, весом приблизительно около трех каратов. Надо сказать, что это был целомудренный мальчик, веселый товарищ, баловень всего дома и очень ловкий и сильный человек.

А над гостиницей была плоская крыша, обнесенная невысоким цементным барьером, где мы с Петей стреляли в цель, упражнялись в фехтовании, в борьбе и боксе. Вот именно бокс и погубил Петю, меня и еще одного человека, о котором речь будет впереди. Он никогда не встречал отказа в своих желаниях. Рапиры, маски, нагрудники, купальные костюмы, фотографические аппараты, футбольные мячи, ракеты и мячи для тенниса, переметы для ловли рыбы... Словом, все, чего бы ни попросил у матери вкрадчивый Петя, — исполнялось как по волшебству.

Бокс в Дьеппе — «Кляус — Карпантье» — увлек его капризную душу, и он решил заняться боксерским искусством.

А как раз случай занес меня в Дьепп. И там в это время было состязание между восемнадцатилетним Карпантье и Кляусом. Карпантье — бывший булочный подмастерье; его нашел учитель, некто Декурье,

Дювернуа? — фамилии не помню — старый, неудачливый, но хитрый боксер.

Мальчишка, правда, вышел боксером наславу. Он совершил много побед в прекрасном стиле, заработал около тридцати тысяч франков и купил своей матери масличную рощу. Конечно, его тренер и учитель заработал вчетверо больше. Он явно и беспощадно торговал своим цыпленочком (petit poussin). Наконец, желая возвысить его славу и свои денежные сборы, он решился поставить мальчишку под жестокие удары сорокалетнего американца, весом около того же, который весил и Карпантье.

Он, Дювернуа, не рассчитал только того, что у каждого мальчика растут кости до двадцати пяти лет, и того, что равновесный с ним Кляус, старше его на двадцать три года, имел более крепкий костяк, а может быть, и лучшую тренировку.

А надо сказать, что треннинг боксеров чрезвычайно мучителен и сложен. Если боксер превосходит тяжестью предполагаемого противника, то он должен похудеть, и наоборот, если он меньше его весом, то должен дойти до его веса. Тут пускается в ход тренерами искусственное голодание и искусственное питание. Одного кормят бифштексами и поят пивом, а другого держат на молочной диете. Но еще тяжелее приготовление к матчу. Вставать нужно ровно в пять часов утра, брать очень холодный душ, после которого два или три помощника растирают тебя шершавой простыней. Затем маленький отдых и массаж всего тела от ног до головы. Два яйца всмятку и прогулка в десять приблизительно верст (иногда бегом). Тренер и его помощники (будущие боксеры) ни на секунду не выпускают своего чемпиона. Возвратившись домой, он непременно должен опять идти под холодный душ, после которого ему дается фунт бифштекса без хлеба и полпинты крепкого пива. Только тогда ему позволяют вздремнуть на час или два. Около шести или семи часов вечера его начинают тренировать на бесчувственность лица. Чемпион стоит и подставляет то левую, то правую щеку своим старательным тренерам. Еще один массаж, и уже боксеру не позволяют ни

двигаться, ни волноваться. Его везут в автомобиле на место состязания. Что он думает и чувствует в то время, я, черт возьми, не могу себе представить. Сотни раз боксерские схватки кончались смертью.

В Дьеппе с первой схватки я в бинокль видел позы и выражения лиц противников. Ш. Карпантье извивался то на одну сторону, то на другую сторону, откидывал назад спину и слишком много танцевал понапрасну. Но уже с первой схватки видно было, что Карпантье волнуется и сдает. Американец же был спокоен и беспощаден.

На девятнадцатой схватке Карпантье получил такой жестокий удар обеими руками одновременно в сердце и в печень, что кровь хлынула у него из носа и рта. Он упал. Учитель, видя, что его дойная корова пропадает, вскочил на арену и потребовал прекращения бокса. Он кричал в публику о том, что были нарушены какие-то — не то норфолькские или кембриджские — правила. Но разве можно было его расслышать при общих воплях публики! Эти страстные южане сопровождают каждый даже не особенно жестокий удар вздохами, стонами, радостными истерическими выкриками, аплодисментами.

К чести Ш. Карпантье надо сказать, что он ни за что не хотел оставить арены. Он шатался, как пьяный, смертельно бледный, почти бессознательный, рвался к своему противнику. Его пришлось не увести даже, а унести за кулисы...

Но говорят, что он теперь поправился и опять кормит своего Леганье.

Мой друг, очень честный человек и прекрасный спортсмен С. И. Уточкин, однажды признался мне под веселую руку в том, что он перепробовал все роды спорта, вплоть до бокса (в Париже), но что он искусства бокса не мог одолеть.

— Первые три минуты ты дерешься со злобой... Минута отдыха... Вторая схватка... Это уже нелепая

драка, от которой нас очень часто разбороняют, а затем чувствуешь себя как в обмороке... Боли совсем не ощущаешь; остается только лишь инстинктивное желание: упавши на пол, встать раньше истечения трех минут или одиннадцати секунд. Вы сами знаете, друг мой, что я средней руки велосипедист, мотоциклист и автомобилист. Я недурно гребу, плаваю и владею парусом. Я летал на воздушных шарах и аэропланах. Но пе-пе-редставьте с-с-с-ебе, этого с-спорта я никогда не мог о-д-д-олеть!

Но раз если Петя чего-нибудь захотел, все должно быть исполнено. Ни ужас его матери, ни мои предостережения (со слов С. И. Уточкина), ни пример страшного и жестокого поражения Карпантье не остановили капризника.

Были куплены костюмы, перчатки и мяч для боксовой тренировки, был сейчас же подыскан тренер — Мариус Галл (чемпион юга Франции).

Этот восемнадцатилетний мальчик первым делом велел убрать тренировочный мяч (с потолка четыре резиновые струны и с полу четыре; сходятся они, как к центру, к большому очень твердому мячу, который служит боксеру вроде воображаемого противника) и сказал с великолепным презрением:

— Bagatelle... C'est pour votre Djefferis... imbecile!.. En garde!..[1]

Галл был веса «plume» (перо), стало быть, приблизительно пудов около трех с половиной. Хитрый и бедный француз перед состязанием нашел себе прекрасного противника. Он все время кричал: «Tapez moi, monsieur, mais tapez donc, mais je vous prie, tapez!»[2] У Мариуса был простой расчет — приучить свое лицо к ударам. И он щадил бедного Петю, предоставляя ему бить себя.

---

[1] Пустяки!.. Это для вашего Джефри... дурака... Защищайтесь! *(франц.)*

[2] Бейте меня, сударь, бейте же, я вас прошу, бейте! *(франц. Перев. автора.)*

Конечно, вечное любопытство — увы! — увлекло меня попробовать этот спорт. Мы с Галлом протянули друг другу руки, но, как всегда у профессионалов спорта, рука его была вяла, холодна и мокра. Затем мы надели перчатки, чтоб друг друга не оцарапать. И я не успел еще опомниться, как уже лежал на полу. Спокойно улыбаясь, Галл говорил мне:

— Теперь ваша очередь, monsieur.

Я был в то время тяжелее его на два пуда двадцать фунтов, и несомненно, что, если бы мне удалось попасть ему в грудь или в лицо, я его опрокинул бы. Но, к сожалению, мне это не удалось. Мои удары падали в воздух. Через три минуты он загнал меня в угол, и только Петя, следивший по часам за схваткой, остановил боксера вовремя.

Вторая схватка окончилась также неблагополучно для меня. Я не успел защититься, а Галл ударил меня в нижнюю челюсть, отчего у меня позеленело в глазах. Я признал себя побежденным и, в знак благодарности за науку, массировал его. Прекрасное, крепко сбитое тело, все в синяках, кровоподтеках, почти без тех выпуклых мускулов, какие мы видим в цирке у клоунов, жонглеров и прыгунов, но ровные и твердые, как у всех борцов и боксеров. Через несколько дней после этого моего несчастного приключения Мариус Галл прислал мне билет в кафешантан, где должен был произойти матч между ним и легковесным чемпионом Парижа, фамилию которого я забыл.

Я ни на секунду не сомневался, что победителем должен быть Галл. И, конечно, ошибся. На одиннадцатом кругу (round) Галл получил два удара: один в переносицу, а другой в сердце. Он брякнулся на пол и встать уже более не мог. Он царапал ногтями пол, подобно раненой кошке или червяку, раздавленному телегой.

Парижанин ждал момента, когда Галл поднимется на ноги (ибо лежачего не бьют). Прошло не одиннадцать, а десять секунд, которые отмечали на секундомерах арбитры. И вот Мариус Галл очнулся точно от обморока (я думаю, что он отдыхал лежа), вскочил

на ноги и ударил своего противника в рот. А тот спокойно выплюнул кровь и рассмеялся широкой беззубой улыбкой. Какая великолепная тренировка и какое презрение к боли и опасности!

В следующей и последней схватке Галл понял, что его дело проиграно. Он просто отказался от состязания и ушел в свою уборную. Конечно, я побежал за ним следом (я думал, что он струсил) и, вытирая ему грудь и спину мохнатым полотенцем, спросил его как будто мимоходом:

— Почему вы позволили ему победить себя?

— А черт! Во всем всегда виновата женщина.

— Женщина? Я ее не видел...

— Напрасно. Она очень эффектна... Она сидела, считая от публики, в первом ряду налево, у барьера. C'est une garse...[1] В черном шелковом платье... Ей, мерзавке, сорок четыре года... Ах, да! вы, впрочем, ее знаете... Можете себе представить, я провел у нее целую ночь. Я ее умолял, чтобы она не тащилась за мною на матч, но она все-таки приехала, кричала, махала руками и все время волновала меня. Подумайте, monsieur, разве можно состязаться с серьезным противником, проведя всю ночь без сна и в любви. Вы слыхали запах валерьяновых капель?

— Да, и эфира.

— Вы очень верно угадали, monsieur. Она эфироманка. Меня все время накачивали эфиром. Она, старая дура, хотела видеть меня победителем, меня, своего случайного любовника, черт бы ее побрал! Представьте себе, я не сумел защититься правой рукой от удара в сердце, что позорно даже для каждого новичка!

Конечно, драка — отвратительное зрелище. Но зато я видел, как парижанин зашел к Мариусу в уборную. У парижанина был огромный синячище под левым глазом, а у Мариуса вывихнута левая рука.

Оба врага расцеловались и, мне кажется, простились без всякой злобы друг на друга.

...А разве лучше дуэль?..

---

[1] Вот это девка... *(франц.)*

Через несколько дней мой друг, Мариус Галл, скромно разносил мясо, зелень и рыбу клиентам лавочки, в которой он и до сих пор служит (rue Philippe)[1]. Петя навсегда отказался, к громадному удовольствию обожающей его матери, от тяжелого ремесла боксера и скромно щелкает кодаком купающихся дам. Я же с той поры чувствую омерзение к боксерскому спорту...

Ужаснее всего, однако, то, что *именно я* и Петя представили Галла этой роковой даме. Она русская, с громким и некогда славным именем... Но разве мы знали!..

Глава XII

СРЕДИЗЕМНАЯ ЗАБАСТОВКА

Всем памятна прошлогодняя забастовка моряков Средиземного моря — «Великая средиземная забастовка», как ее называли тогда. По правде сказать, она была совершенно достойна такого почетного названия, потому что была проведена и выдержана с необыкновенной настойчивостью и самоотверженностью. Люди упорно не останавливались ни перед голодом, ни даже перед смертью ради общих интересов.

Совершенно случайно, благодаря забастовке, я совершил невольное путешествие по таким городам, в котсрые никогда не рассчитывал попасть.

Как раз в ту пору один знаменитый русский писатель, которому я навсегда останусь признателен за все, что он для меня сделал, и — главное — светлую и чистую душу которого я глубоко чту, написал мне любезное письмо в Ниццу, приглашая погостить у него несколько дней на самом юге Италии, на островке, где он проживает вот уже несколько лет. Это приглашение радостно взволновало меня. Я тотчас же собрался в дорогу. Со мной поехал мой приятель, русский — парень хотя и немного вздорный, вспыльчивый и шумливый, но прекрасный дорожный товарищ — «килькардаш», как говорят татары. На другой

---

[1] Улица Филиппа *(франц.)*.

же день мы были в маленьком южном порту, неподалеку от Ниццы, и сейчас же отправились на пристань. Но тут нам, к нашему огорчению и замешательству, сказали, что забастовка охватила уже все порты и гавани Средиземного моря. Громадное общественное волнение вовлекло в себя команды всех грузовых и пассажирских пароходов, и на скорое прекращение его нет никакой надежды.

Возвращаться назад не хотелось, а еще меньше хотелось ехать по железной дороге, да еще по итальянской. Передвижение по узкоколейным дорогам, да еще в страшную жару, сквозь бесчисленные туннели — истинное мучение для меня. В любую погоду меня не укачивает ни в лодке, ни на пароходе, но проезд в поезде в продолжение даже получаса, от Ниццы до Монте-Карло, совершенно разбивает меня и превращает в труп.

— А вы вот что попробуйте, — посоветовал нам очень милый и предупредительный конторщик пакгауза, — сегодня отправляется последний пароход в Геную. Вся команда его — исключительно генуэзцы. Они тоже примкнули к забастовке, но так как в чужом городе им было бы гораздо труднее и неудобнее проводить в героическом бездействии эти тяжелые недели, а может быть, даже месяцы, то забастовочный комитет охотно разрешил им вернуться на родину. Попробуйте дойти с ними до Генуи, а там, быть может, вы найдете какое-нибудь парусное судно, которое захватит вас с собою и дотащит до Неаполя. Правда, это составит два, три дня лишних...

Два, три дня лишних — это вовсе не много, а плавание на большом парусном судне — наиболее живая, прекрасная и здоровая вещь, какую я только знаю. Итак, мы взяли билеты на пароход, набитый пассажирами, как нераскупоренная коробка с сардинами, и, с чувством неизвестности будущего в душе, тронулись в путь.

Путь этот вдоль южных берегов, над которыми мягко синеют горы, пестреют то зеленые платановые рощи, то шелковисто-серебристые оливковые сады, то деревушки, спрятавшиеся в темной курчавой зелени,

то развалины древних замков... этот путь очаровательен.

Вверху ласковое южное небо, внизу желтый и красный оскол берега, омываемого белыми пенными грядами, густо-синее море вдали, а под пароходом вода иногда светло-бирюзовая, иногда нежно-аквамариновая и такая прозрачная, что, кажется, различаешь дно и каждую рыбку. Лазурных берегов никогда не забудешь, как прелестную сказку.

Но зато и грязны же генуэзские пароходы! В этом смысле, кажется, нет им равных во всем мире. Вдобавок кушанье отвратительно готовят на неизбежном деревянном масле, запах которого распространяется по всему пароходу от кухни до машинного отделения и пассажирских кают, достигает до палубы и даже до капитанского мостика.

В Генуе нам ничего не сказали утешительного. «На Неаполь нет и долго не будет ни одного парохода или парусного судна». И вот мы решили предать себя воле божией и отправились в гостиницу, сняв по дороге почтительно шляпы перед величественной и, правда, чудесной статуей молодого Колумба. Гостиница нам попалась старинная, о пяти этажах, с узкими, мрачными, темными лестницами и с поразительно грязными комнатами. Из нашего окна был очень живописный вид на большую базарную площадь.

Так как мы приехали очень рано, то застали базар в полном разгаре. Надо сказать, что эти бесчисленные кучи зелени, плодов и фруктов, лангуст, рыбы, мяса и цветов, этот оживленный, подчас неистовый, торг между мужчинами и женщинами, это врожденное, даже во время ссоры, изящество движений, эта стройность фигуры и яркая красота лиц — очень живописны. Я долго любовался на эту картину. Но настало двенадцать часов, и на базаре появились два полицейских, в черных сюртуках, доходящих до пят, почти без талий, с черными цилиндрами на головах, в белых перчатках и с тростями в руках. Не то альгвазилы из какой-то старой оперетки, не то наемные члены похоронной процессии. Они медленно прошли вдоль базара, и тотчас же торг был окончен. Припасы были

уложены в корзины, прилавки были убраны, обрезки зелени, рыбная чешуя, увядшие цветы исчезли точно по волшебству. На площадь была пущена вода, смывшая последний сор, и базар сейчас же опустел. Долго еще оставался на месте один разносчик со своим ослом, впряженным в маленькую тележку. Между животным и его хозяином произошла какая-то ожесточенная ссора, и никто из них не хотел уступить друг другу. Осел кричал на всю Геную самым раздирающим душу голосом, а хозяин старался перекричать его и при этом сыпал, должно быть, самыми отборными ругательствами и богохульными словами. Хозяин бил мула по голове, по шее и по бокам, а осел старался то ударить его передней ногой, то лягнуть задней. Наконец зеленщик уступил первый. Он сразу перешел к нежному тону и стал говорить ослу какие-то убедительно-разумные, ласковые слова. Наконец и они покинули площадь.

Глава XIII

ВИАРЕДЖИО

Как известно, в Генуе существуют только две достопримечательности: статуя Колумба и знаменитое кладбище Campo-Sante. Но великого путешественника мы уже имели честь созерцать, а посещать места вечного упокоения мирских человеков — слуга покорный — я никогда не был большим охотником. К счастью, я вспомнил, что совсем неподалеку от Генуи есть небольшое местечко, не то деревня, не то крошечный городишко, Виареджио. Оттуда родом один мой близкий приятель, цирковый артист, и там живут в своем небольшом домике его престарелые родители, которым он посылает большую часть денег, заработанных своим каторжным трудом. Каждый раз, при наших встречах, этот милый, сильный, ловкий человек звал меня к себе в Виареджио.

— Этим летом я нигде не буду работать, — говорил он мне убедительно, — я хотел отдохнуть.

Prego, signore Alessandro![1] Пойдем вместе на Виареджио. Там прекрасный пляж, на самом пляже один очень хороший ресторан, кругом очень деревья — всё пинии, trés beaucoup[2] пиний... о! какой аромат!.. и там самый лучший кианти во всей Италии. Мой мама и мой папа будут вам очень рады. Мы отдохнем, покупаемся и попьем вместе кианти.

Это была счастливая мысль! Я знал, что мой друг теперь дома, что он с удовольствием примет меня и что мы проведем пять-шесть приятных часов. Ведь известно, как тяжело и скучно затеряться двум иностранцам в совершенно незнакомом городе, не владея языком, не зная обычаев... И вот поезд через четыре часа доставил нас в Виареджио.

Маленький, очень скромный городишко, широкие улицы, белые дома, скудная, чахлая зелень из-за каменных оград, жарища, ослепительный свет, белизна и невозмутимо-сонное спокойствие. Нет! Положительно я видал подобные заборы, дома и улицы где-то, не то в Рязани, не то в Ярославле, не то в Мелитополе, в жаркие, июльские, безлюдные дни.

Точного адреса моего приятеля я не знал. Маяком нам должен был служить «Ресторан под пиниями», и мы нашли его, хотя долго нам пришлось для этого расспрашивать прохожих, безбожно коверкая все европейские языки и прибегая к самым невероятным жестам.

Уголок этот красив. По своему расположению и по качествам он представляет из себя едва ли не лучшее купанье на всех лазурных берегах: дно — мягкий гравий, который нежно и упруго подается под ногой; вода чиста, прозрачна и спокойна, и почва опускается вниз с плавной постепенностью. С севера море защищено густой растительностью, с востока — горами.

Мы с наслаждением искупались и, освеженные, повеселевшие, пошли в ресторан. Нам незачем было больше расспрашивать: он был, не считая купальных

---

[1] Прошу вас, синьор Александр! *(итал.)*
[2] Очень много *(франц.)*.

кабинок, единственным зданием среди тенистой, благовонной, прекрасной хвойной рощи.

Нам дали прекрасную вареную рыбу, креветки, равиоли и красное вино. Прислуживал нам молодой официант, красивый, как Ганимед, довольно неряшливо одетый, фамильярный и болтливый, как все итальянцы. Но он не мог нам дать никаких удовлетворительных сведений, да вдобавок и я сам хорошо знал только цирковый псевдоним моего друга, а фамилию забыл.

— Беррини, Феррини, Меррини... — наводил я итальянца, но он только недоумевающе раскрывал глаза, разводил руками и хлопал себя по бедрам:

— No, signore, non capisco... [1]

Тогда, я, наконец вспомнил, что отец моего артиста был раньше жокеем, но очень давно, а с тех пор, как сломал себе ногу, служил младшим тренером на каком-то конском заводе. Но откуда мне набраться таких тяжелых и редко встречающихся слов, чтобы выразить эти понятия по-итальянски: завод, скачки, сломанная нога и так далее? Я садился на стул верхом, пробовал принять жокейскую посадку, левой рукой держал воображаемые поводья, а правой стегал воображаемым хлыстом лошадь... Итальянец склонил голову набок, разжимал пальцы опущенных рук и отрицательно качал головой:

— Non capisco.

Наконец он убежал от нас и через три минуты вернулся с другим официантом. Дело от этого только испортилось: мы совсем перестали понимать друг друга. Второй камерере побежал за самым старшим официантом, большим, толстым, румяным усачом, который с неменьшей готовностью вызвался помочь нам и, правда, кое-что изобрел. Он понял из моих объяснений несколько слов (он немного понимал по-французски, правда, не больше моего) и сразу развеселился: хлопнул себя ладонью по лбу, потом потрепал меня по плечу и сказал: «Пойдем, signore, пойдемте.

---

[1] Нет, сударь, не понимаю... (*итал.*)

Цирк от нас недалеко, и я ничем не занят. Я вас провожу».

Оказалось, что и двое других лакеев тоже ничем не были заняты, и вот мы впятером идем вверх по горячей, ослепительно белой улице, находим обычную кафешантанную арку с какой-то надписью (что-то вроде Apollo, Olimpio или Château des Roses[1]), входим в маленький сад с обычными рядами столиков и видим небольшую сцену с опущенным дырявым, полинялым занавесом. Мы свободно, с той милой бесцеремонностью, которую так часто можно наблюдать в Италии, проходим за кулисы, на сцену. Там занимается упражнениями группа акробатов: толстый пожилой мужчина, женщина лет тридцати — тридцати пяти и две девушки-подростки. Упражнения их заключаются в том, что они жонглируют деревянными предметами в форме бутылки, величиною с обыкновенную кеглю, но немного толще к основанию. Работают они одновременно вчетвером, с необыкновенной ловкостью перебрасывая друг другу параллельно и накрест эти довольно тяжелые предметы. Потом — момент, и все эти деревянные бутылки, одна за другой, выстраиваются в прямую вертикальную линию на затылке старшего акробата. Наше вторжение прерывает их работу. Хозяин труппы, в своей обычной серой цирковой фуфайке, подходит к нам и спрашивает, чем он может нам служить. Сначала мне кажется, что он немец. Я пробую заговаривать с ним по-немецки, как умею. Он отвечает очень свободно, но я ничего не понимаю. Тогда я вспоминаю, что все цирковые люди говорят на всех языках, и так как мне легче всего говорить по-французски, то мы все-таки начинаем понимать друг друга.

Но как только мы в достаточной мере объяснились, то я сразу вижу, что мой новый знакомый уже плетет сеть интриги. «Кто знает, — думает он, — может быть, со мной говорит директор цирка или его уполномоченный, который разыскивает артистов для нового предприятия?» И он начинает уверять меня,

---

[1] Аполлон, Олимп *(итал.)* или Замок роз *(франц.)*.

что о таком артисте, который мне нужен, он никогда не слыхал и никогда его не видал. Это уже звучит неправдой, потому что международная семья клоунов, жонглеров, эквилибров, каучуков, жокеев знает друг друга прекрасно по псевдонимам и по биографиям. Когда я выразил сожаление, что помешал репетиции, он искательно предложил мне досмотреть их номер, подобный которому я вряд ли увижу где-нибудь в мире. Этот номер — его специальность, лично им изобретенный. В Берлине и Париже он производил громадное впечатление и собирал тысячную публику. Не угодно ли синьору поглядеть газетные рецензии? Словом, мы прощаемся с артистами и уходим в сад. Но тут один из официантов «Ресторана под пиниями» вдруг вспоминает:

— Синьор, знаете ли вы, что здесь самое превосходное пиво, а теперь так жарко? Не освежиться ли нам?

Мы садимся за столик и освежаемся в продолжение получаса. За это время два лакея из этой самой Альгамбры уже посвящены в наше недоразумение и принимают в нас горячее участие со свойственной пылким итальянцам горячностью. Они строят разные предположения, дают советы, и, наконец, мы отправляемся из Альгамбры уже не впятером, а целым небольшим отрядом отыскивать моего друга.

— Porke misere![1] — говорит один из Альгамбры, бритый и затасканный, с бачками на щеках, как у испанского торреадора, и вообще похожий на испанца. — Пусть меня разразят все громы небесные, если я не знаю, где найти верный адрес вашего друга! Вторая улица налево и потом направо не более пятидесяти метров: там есть кафе, где всегда собираются артисты, певцы и клоуны, — нечто вроде маленькой биржи. Хозяин очень обязательный и предупредительный человек. Он, наверное, укажет вам не только адрес вашего приятеля, но также страну и город, где он может быть в настоящую минуту. Это прекрасная

---

[1] Проклятая свинья! *(итал.)*

траттория. В ней прохладно в самый жаркий день, и, кроме того, там божественное кианти.

Мы идем, обливаясь потом, куда-то на самый край города и попадаем в низкий, правда очень прохладный, погребок, с древних каменных стен которого каплет на нас сырость. Хозяин, толстый, лысый, добродушный человек, без пиджака, но в белом переднике, присаживается за стол, предупредительно вытирает рукой горлышко бутылки, и все мои неожиданные друзья-итальянцы начинают одновременно болтать, как стая сорок в весенний день. К нам присоединяются три-четыре добровольца, бог знает откуда взявшиеся. Они принимают в нас такое горячее участие, как будто дело идет об их утонувшем или убившем кого-нибудь родственнике. Такая оживленная жестикуляция, такой блеск глаз и такая страстность в общем крике, что я начинаю опасаться, не дойдет ли дело до ножей. Наконец властное слово хозяина решает нашу судьбу:

— Остается только одно. Пускай господа идут в полицию и справятся там. Иного я не могу ничего посоветовать.

И вот мы опять тащимся бог знает куда, на прежний край города, почти к тем же пиниям. К нам присоединяются любопытные. На нас указывают пальцами. О нас спрашивают, не стесняясь: «Где вы их поймали?» Мы уже начинаем чувствовать себя если не анархистами, то по крайней мере известными убийцами или международными ворами. Огромной толпой вламываемся мы в полицейский комиссариат по заплеванной, вонючей лестнице и вторгаемся в канцелярию начальника.

Этот человек оказывается родом из Венеции, рыжеватый, на редкость спокойный человек. Он терпеливо расспрашивает нас о нашем друге, помогая нам внимательными, наводящими вопросами. Стараясь как возможно яснее описать биографию, происхождение и деятельность моего друга, я чувствую, что путь проясняется. Начинаем перебирать все итальянские фамилии, кончающиеся на «ини», но найти настоящую не можем. Тогда любезный полицейский достает из

ящика письменного стола толстую связку бумаг, начинает перелистывать их одну за другою, наконец останавливается на одной, к которой проволокой пришпилена толстая пачка итальянских бумажных денежек.

— Может быть, Чирени? — спрашивает он.

Я радостно подтверждаю:

— Конечно, конечно, Чирени, господин начальник! Это он самый, но я никак не мог вспомнить такую простую фамилию.

— Зачем вам нужны его деньги? — вдруг строго спрашивает меня полицейский.

— Конечно, ни за чем!

И я начинаю ему рассказывать всю историю нашего знакомства с тем человеком, которого я разыскиваю, знакомство, начавшееся в Одессе, продолжавшееся в Киеве и в Петербурге, затем о его приглашении быть у него, о средиземной забастовке, которая нас застигла так неожиданно, и т. д.

Должно быть, я говорю убедительно, а толпа, стоящая вокруг, с уверенностью подтверждает каждое мое слово. У них у всех такой вид и тон, будто они коротко знают меня с детства.

— Для вашего друга, — говорит начальник, — на днях пришли деньги откуда-то из России. Варварское название города, — я никак не могу выговорить при всем моем желании: Теракенти, Текшенти, Porke Madonna! В настоящее время нет здесь ни его самого, ни его отца, ни матери. Старики уехали куда-то на юг... Чуть ли не в Гаргано. Вот все, к сожалению, что я вам могу сообщить. А что касается вашего затруднения из-за забастовки, то могу вам дать один совет: мой двоюродный брат на днях мне телеграфировал, что завтра из Ливорно отходит пароход на Корсику, в Бастиа, в восемнадцать часов (итальянский счет ведется от полуночи до следующей полуночи — в двадцать четыре часа). В Корсике вы, наверное, найдете пароход на Марсель, а от Марселя до Ниццы — это пустяки. Конечно, если вы не предпочтете железную дорогу...

Мы бы теперь, конечно, предпочли железную дорогу, но уже одно слово Корсика вдруг волшебно расшевелило наше воображение своим необыкновенным именем.

— Корсика? — спросил я приятеля.

— Корсика! — ответил он.

Мы поблагодарили полицейского, расстались с ним друзьями на всю жизнь и вышли на улицу, сопровождаемые громадной свитой. Здесь, на тротуаре, старший официант «Ресторана под пиниями» дружелюбно обнял меня и сказал:

— Господа! Вы нам очень понравились, и к тому же вы — русские, которых мы так любим. Итальянцы любят свободу, и русские любят свободу (надо сказать, что все мы были уже достаточно красные от жары и от вина), — поэтому, знаете, пойдемте напротив: здесь есть маленький кабачок, где подают прекрасную салями и делают ризотто с куриными печенками, как нигде в Италии и, значит, во всем мире. Andiamo! [1]

Что делать? Нужно было закончить круг впечатлений, и мы всей гурьбой внедрились в мрачный, темный кабачок, с длинными, липкими от вина и еды столами, с двумя замызганными бильярдами посреди комнаты. Пили какое-то кислое вино, ели ослиную колбасу и ризотто, клялись друг другу в вечной дружбе, звали итальянцев в Россию, а они нас просили навсегда остаться в Виареджио. Когда мы хотели платить, эти экспансивные, страстные люди сначала гордо отказались, сказав, что мы их гости, но очень легко позволили нам сделать это. Наконец мы вручили нашу судьбу извозчику, который тут же сидел и бражничал с нами и который нас довез до станции. Друзья-итальянцы долго посылали нам вслед прощальные жесты и воздушные поцелуи. И в самом деле, какую ложь наплели бедекеры об итальянцах, будто бы они корыстны, попрошайки и обманщики! Что за милые, простые, услужливые и гостеприимные люди!

Мы переночевали в Ливорно, а на другой день вечером уже плыли в Корсику.

---

[1] Пойдем! *(итал.)*

Глава XIV

БАСТИА

Этот небольшой, полусуточный переход был очень тяжел. На закате поднялся ветер, а к ночи перешел в настоящую бурю. Всех пассажиров, — впрочем, их было немного, — очень скоро укачало. В курительной комнате остались только двое: я и какой-то светловолосый, светлоглазый, белоресницый англичанин. Я посасывал лимон, а он с невозмутимым спокойствием пил стакан за стаканом шотландскую виски, едва разбавленную для приличия содовой водой. Так как время было очень тоскливое, а ночь темная, грозная и душная, то мы были оба в приподнятом настроении и старались развлекать друг друга. Какая-то животная тревога, ощущаемая в жаркие бури всеми людьми, даже людьми с очень крепкими нервами, даже животными, сблизила нас. Я рассказывал ему анекдоты из русской жизни, а он вспоминал что-то о доброй старой Англии; впрочем, может быть, он говорил о лошадином спорте или о покойном Дизраэли, — словом, мы не поняли из того, что говорили друг другу, ни одного слова и расстались на рассвете, когда море уже утихало, совершенными друзьями. В каюту я добрался неисповедимыми путями: скатился по трапу, как на салазках, стукался головой о какие-то медные поручни и все время попадал в чужие помещения. Найдя, наконец, свою каюту, я сначала, потеряв равновесие, боднул своего товарища головой, с трудом взобрался на койку и заснул как мертвый. Нет слаще сна, чем на море в какую бы то ни было погоду. Волны тяжело плескались о борт, и часто из открытого круглого иллюминатора мелкие соленые брызги обдавали мне лицо. Это прикосновение равномерно бушующей влаги приятно, как поглаживание материнской руки в детстве перед сном.

Утром товарищ насилу-насилу стащил меня за ногу с моей верхней койки.

— Вставайте: видна Корсика. Довольно валяться. Идемте на палубу пить кофе.

Я наскоро умылся, и мы пошли наверх. Море было спокойно, ласково и вкрадчиво, точно ребенок, который вчера нашалил, а сегодня нежностью и послушанием старается загладить свою вину. По его светло-голубому шелку лишь кое-где впереди парохода свертывались ленивые коричневые морщинки. Воздух был свеж, ароматен, прян и радостен. Дельфины кувыркались около бортов, а вдали, как чудесное видение, возвышались горы, одни — темные, почти черные, другие — густо-синие и фиолетовые, а дальше голубые и, наконец, светлые, точно облака, точно воздушные, легкие привидения. Внизу, под нами, на пароходном носу, возились над судовыми канатами, перебирая их, коренастый широкоплечий боцман и четверо мальчиков. Они подготовляли все необходимое для причала к пристани. Боцман покрикивал довольно резко и внушительно на своих помощников. Да, может быть, так и нужно было. Все они несут очень тяжелую работу и, конечно, не выспались, потому что на таких судах, ходящих на маленьких расстояниях, команда полагается самая ограниченная. Необходимо было подбодрять людей словом, жестом, движением. Я видел, как боцман, рассердившись, вдруг ударил концом каната по спине старшего юнгу, мальчика-корсиканца лет семнадцати. Юноша вдруг повернул к нему свое бронзовое от загара лицо и бросил на него пламенный взгляд, и, ах, как прекрасно было в этот момент лицо: сдвинутые темные энергичные брови, расширенные, мгновенно покрасневшие от гнева глаза, раздутые ноздри, сжатые челюсти и какой гордый поворот головы! Да, хорошо было старинным мастерам создавать свои художественные произведения, когда у них на каждом шагу, по сотне раз в день, попадались такие модели. Это не то, что идет по грязи священник в траурной ризе, а сзади мужик тащит под мышкой гробик, и следом за ним плетется старуха, а дальше дьячок с кадилом и с подвязанной красным платком щекой, — и все они утопают по колено в грязи.

Однако чем ближе мы подходили к Корсике и чем яснее нам становились видны очертания города и

отдельные домишки наверху, в горах, тем боцман делался уступчивее и мягче. Когда мы входили в гавань, то он как будто даже начал ухаживать за своей «мошкарой». Мальчишки довольно долго дулись и не сдавались на ласку, но когда он освободил их от работы, послал вниз в каюты переодеться во все чистое и сам лично внимательно произвел им смотр, то мальчишеские сердца не выдержали, и улыбки заиграли на примиренных лицах. И я подумал: «А ведь, черт возьми! Может быть, в море не то что необходимы, а, пожалуй, возможны такие отношения». И в самом деле, не говорить же ему: «Господин юнга, не возьмете ли вы на себя труд влезть вот на эту толстую палку вот по этой веревочной лесенке, а там вы мне сделаете большое одолжение и честь — упереться ногами вон в ту поперечную тонкую палочку и потянуть правой рукой за эту, вон видите, тонкую веревочку».

На берегу они все простились очень дружелюбно, и большие и маленькие, крепким рукопожатием. Впрочем, боцман пробурчал несколько очень многозначительных слов, вероятно, нечто вроде отеческого наставления. Я не знаю корсиканского языка, да и не уверен, знает ли его кто-нибудь на свете, но, по-моему, напутственные слова боцмана были таковы: «Вот что, дети: не смейте играть в карты, не заводите драк — вы знаете: капитан этого не любит. Не шляйтесь по улицам ночью: родители и так беспокоятся о вас, когда вы в плавании. Не забудьте зайти в церковь поблагодарить пресвятую деву за счастливое возвращение».

Бастиа — пресмешной город. Вот его план: посредине широкая длинная улица, которая одним концом упирается в море, а другим — в пустынную песчаную гору; направо — набережная, эспланада для гулянья и гавань; налево — ряд темных, узеньких, слепых и глухих улиц, над которыми громоздятся мохнатые, курчавые, дикие горы. Жизнь здесь тихая, сонная и как-то томно-однообразная. В платьях у мужчин преобладают темные тона; большинство женщин в черном. И те и другие невысоки ростом и очень красивы; жен-

щины прямо прелестны: маленькие, с крошечными руками и ногами, со строгим выражением смугло-янтарных лиц, с длинными ресницами. В походке корсиканца наблюдается какая-то уверенная, строгая медлительность. И на улице и в церкви мужчины занимают одну половину, женщины — другую. Странно, может быть, это мое воображение, а может быть, и на самом деле так: в большинстве молодых мужских лиц есть какие-то неуловимые черты, дающие сходство с Наполеоном, и даже любимая поза — это руки, скрещенные на груди, и немного опущенная вниз голова, словом, классическая, традиционная наполеоновская поза, хотя, впрочем, почем знать, может быть, в Корсике давным-давно наивно сложился бессознательный культ этого бессмертного гениального пирата, который является, кажется, единственной достопримечательностью этой своеобразной и дикой страны. Впрочем, надо сказать, что мраморный памятник Наполеону I, воздвигнутый на эспланаде, совсем плох, если даже не смешон: император сделан приблизительно в два человеческих роста, голова его, в лавровом венке с профилем Аполлона, обращена глазами к морю, задом к городу; тело его облечено длинной, развевающейся римской тогой; голые ноги — в сандалиях; простертая правая голая рука указывает вперед; левая сжимает какой-то цилиндрический свиток.

Странный город, — когда-то бывший столицею Корсики, гнездом средиземных пиратов, грабивших и торговавших по всему Лигурийскому и Тирренскому морю, — он теперь впал в какую-то светлую, тихую дрему, точно дворец спящей царевны из русской сказки. Так и хочется невольно подумать о том, что Наполеон — это удивительнейшее явление во всей мировой истории — взял и впитал в свою ненасытную душу все соки, всю энергию страны.

Гостиница, в которой мы живем, перестроена из старого-престарого дома. Верхние шесть этажей — узкие переходы, винтовые каменные лестницы, окна в виде крепостных бойниц, а нижний этаж — шикарный обеденный зал и великолепная европейская передняя. Мы пробовали там завтракать и обедать,

Прекрасное столовое белье, умелая и дорогая сервировка, цветы на столах, в хрустальных вазочках, а за столами какие-то мрачные, суровые загорелые брюнеты, все сплошь могучего, квадратного сложения, с черными прямыми густыми бородами, сидят сосредоточенно-молча и жуют. Все это окрестные помещики, которые торгуют овцами, оливками и лесом и спускаются вниз из своих горных поместий, вероятно, не более чем раза два в год. Все очень дорого одеты, на руках много колец с драгоценными камнями, массивные золотые цепочки через всю грудь, пылающие красные галстуки, необычайно тугие воротнички... но чувствуется, что все это великолепие стесняет, подавляет их и делает в то же время торжественными. Обед тянется мучительно долго, и хоть бы обрывок смеха, хоть бы улыбка или восклицание!

Через два дня это общество показалось нам скучным, и мы стали подыскивать себе другое помещение для обедов, и, к счастью, очень скоро нашли его. Где-то на задворках Бастии, между кузницами, лавочками для продажи овса и отрубей и въезжими дворами, где можно, как сказано на вывеске, ставить, а также продавать и покупать лошадей и мулов, приютилось милое и простое заведение, которое никак невозможно определить одним словом: это одновременно табачная и галантерейная лавочка, и дешевая столовая, и винный погреб. Двери широко раскрыты настежь. Низкое, обширное, темное помещение с широкими арочными сводами и колоннами, которым, вероятно, не менее тысячи лет; вдоль стен длинные, несокрушимые временем дубовые столы и скамейки; в темной глубине помещения сотни наставленных одна на другую бочек; крепкий, старинный, кислый и приятный запах вина; несколько десятков оловянных кружек на прилавке, — вот и все. Хозяин — глухой, добродушный и крепкий старик, когда-то служивший во французских зуавах. Жена старше его лет на десять, кроткая, ласковая со всеми, молчаливая старуха. Заходишь к ним в жаркий день, когда некуда деваться от солнца, и сразу попадаешь в сырую, насыщенную винным запахом прохладу.

Так мы и сделали. Зашли, попросили дать нам вина и договорились в двух словах. Кричали мы при этом втроем, как на пожаре, но договорились очень быстро: с каждого из нас по два франка за завтрак и по два франка за обед, — итого восемь франков, на наши деньги три рубля, — дешевле, чем в студенческой столовой. Мы заикнулись было насчет обеденной карточки, но хозяин пренебрежительно махнул рукой.

— Какие пустяки! — сказал он. — Вы вечером заказываете, что вам приготовить к завтраку; а за завтраком вы закажете себе обед.

— Что, например, хозяин?

— А все, что хотите, — отвечал он с гордостью, — мясо, рыбу, зелень, фрукты; это ваше дело. Вино и баранину мне привозят из гор с моей фермы. Рыбу каждое утро жена может брать на базаре. Как десерт я могу предложить миндальные орехи, апельсины и виноград. Я думаю, что мы останемся друг другом довольны.

И правда, надо сказать, что более внимательного, предупредительного и нестеснительного хозяина я никогда не видал в моей жизни. Но было плохо только одно. Когда в первый же завтрак мы спросили себе бутылку белого вина и потом, расплачиваясь, хотели уплатить и за нее, то хозяин возразил очень настойчиво и гордо:

— О нет, господа, у нас не принято, чтобы платили за вино; это для нас обида. Это вино из моего виноградника! С гор!

Каждый раз к нашему столу подавалась бутылка этого белого вина, немного мутного, чуть-чуть сладковатого, но необыкновенно ароматного и приятного на вкус. Пить оно давалось страшно легко, а так как в это время стояла очень жаркая погода, то мы на него набрасывались с большой охотой. Но едва только бутылка подходила к концу, как к нам откуда-то из-за угла таинственно подкрадывались хозяин, или хозяйка, или одна из двух его дочерей, чья-то рука убирала пустую бутылку и ставила новую. Это же повторялось и за обедом. Но так как это, прелестное по своим качествам и сначала как будто бы скромное вино обладало коварным свойством очень быстро, но в то же

время очень легко и весело пьянить, то мы целые дни бродили по Корсике в каком-то розовом тумане, веселые, ленивые, чуть-чуть сонные.

День начинался с того, что мы приходили на пристань и справлялись, нет ли парохода в Неаполь, или в Ниццу, или по крайней мере в Марсель. Нам неизбежно отвечали: «Нет, и никто не знает, когда будет».

Тогда мы часами сидели на набережной и глядели на мальчишек, которые забрасывали с берега в море рыбные самоловы. И мальчишки и мы замирали на солнце, подобно каменным изваяниям, на час или на два. Хоть бы раз кто-нибудь из них поймал при нас на смех маленькую рыбешку!

Потом шли завтракать, после чего спускались к морю, в старый город. У нас там завелся приятель, торговавший лимонадом и папиросами, старик восьмидесяти четырех лет, с трясущейся головой, седыми бакенбардами и пробритым подбородком посредине. Он был когда-то под Севастополем в армии союзников и потому к нам, русским, чувствовал настоящую живую симпатию. Однако выдавить что-нибудь интересное из его памяти нам никогда не удавалось. Торговал он и жил в очень интересном доме, над воротами которого была надпись: 1432, и самый дом был о семи этажах.

Такие дома о семи, восьми и даже девяти этажах лепятся вдоль набережной, непрерывно связываясь друг с другом, и лезут вверх, в горы, оставляя лишь узкие промежутки, не то улицы, не то щели, по которым едва-едва можно пройти четырем человекам, взявшись рука об руку. Кое-где между домами переброшены воздушные мостики, но чаще протянуты веревки, на которых болтается с непринужденной откровенностью всякое мужское и женское белье. Наш старик очень ясно растолковал нам и эту высоту домов и эту тесноту построек.

Сначала, поближе к берегу, к своим сетям и лодкам, селилась одна семья и устраивала себе дом из камня, которого здесь сколько угодно. Но расширялась фамилия, дети женились или выходили замуж, — приходилось делать пристройку: общие интересы и пресловутая кровная месть заставляли жить кучно. Рождались

внуки и правнуки, и дома все шли вширь, пока не соприкасались и не сливались с соседними владениями вплотную. Дальше становилось жить еще теснее. Тогда надстраивали второй этаж, потом третий, четвертый, пятый и так далее. Камень добывается здесь же, на месте. Фундаментом служит гора. Здесь не редкость видеть дом, который смотрит на море восемью этажами, а к горе кончается одним. И правда, после слов старика я невольно обратил внимание на то, что этажи — разных эпох, может быть, разных столетий, и имеют совершенно разный характер и по цвету стен и по архитектуре: внизу окна малы и оконные ниши глубоки, как крепостные бойницы, но чем выше, тем постройки становятся свободнее и новее, окна шире, помещения обширнее, и, наконец, самые верхние этажи с висячими балконами, с некоторой претензией на моду, являются данью современности.

Странно и трогательно глядеть на эту живую каменную летопись. А еще выше, над этими многовековыми домами, подымается стена древней крепости, такая массивная и грандиозная, точно она выстроена руками циклопов.

Так, в лени и в безделье, проходило время до обеда. За обедом та же лангуста и тот же барашек и к ним вкусное предательское вино, а в виде десерта только что сорванные, еще в зеленой наружной скорлупе, свежие вкусные миндальные орехи. Часто после обеда мы сидели оба в нашем гостиничном номере. Он помещался на самом верху, под крышей. Глубоко под нами чернел двор, и когда я глядел вниз с висячего балкончика, то кружилась голова, холодело сердце и как-то приторно ныли пальцы ног. А вокруг, на всех соседних балкончиках, сидели миловидные девушки с какой-нибудь домашней работой в руках, и во всех открытых окнах висели клетки с канарейками. Далеко, далеко сбегали к морю красные черепичные кровли домов, а за ними спокойно синело море. С нежностью вспоминаю я эти тихие вечерние часы, когда солнце село уже за горы и в воздухе еще разлит кроткий золотистый свет. Дневные шумы затихли. Где-то на

улице, внизу, пищали и выкрикивали детские голоса, а высоко в небе с радостным визгом носились стремительные ласточки. Как-то особенно мило сливались эти детские и птичьи голоса, и трудно было их различить.

Так проводили мы время до наступления ночи и тогда шли сначала на эспланаду слушать оркестр и есть мороженое, затем в кинематограф, — увы, в нашей меланхолической скуке мы дошли и до этого падения, — а потом забирались в местный кафешантан, посещаемый исключительно французскими солдатами. Я не скажу, чтобы представления, которые мы там видели, были хуже тех, которыми нас угощали в «Аквариуме» или в «Буффе», но во всяком случае гораздо приличнее. Правда, обстановка балаганная, костюмы грязные, потрепанные, актеры и актрисы без всякой церемонии, непринужденно переговариваются со сцены со своими знакомыми, сидящими в партере, — но зато просто, весело и любезно для солдатского сердца.

Наконец, в одно утро, придя на пристань, мы увидали небольшой пароход, который вечером должен был отойти в Марсель. Прощай, Корсика! Осталось только купить на память корсиканский разрезательный ножик в виде кинжала с роковой надписью: «Vendetta» [1].

А надо сказать, что этот кровавый обряд родовой мести давно уже отошел в область воспоминаний, и самое название его сохранилось только на этих милых игрушечных кинжалах. В окнах галантерейных и ружейных магазинов вы часто можете увидеть деревянные ножи, величиною во всю витрину, и на них выжжена громадными буквами эта страшная надпись. Также исчезли знаменитые корсиканские бандиты. Их бывший король, старый разбойник, занимается тем, что продает приезжим иностранцам свои собственные фотографические карточки. На них он изображен благообразным стариком, с седой длинной бородою, с лицом, очень напоминающим лицо Толстого, в черном сюртучке, в прозаических черных панталонах поверх неуклюжих ботинок, но в руках у него первобытное

---

[1] «Кровная месть» *(исп.)*.

ружье, дуло которого расширяется к концу, подобно трубе.

Что поделаешь! Нравы падают, люди мельчают, и герои переводятся. Лет через сто ни одного из них не останется на белом свете.

Глава XV
МАРСЕЛЬ

Ранним утром мы миновали Тулон с его серо-голубыми громадами броненосцев и крейсеров, сизый цвет которых издали почти сливается с цветом моря, свернули за высокий мыс, и перед нами высоко в небе засияла золотом статуя Notre Dame de la Garde, Мадонны Спасительницы, Пресвятой Девы, покровительницы всех мореходов. Эта золоченая статуя громадных размеров, воздвигнутая на средства рыбаков и моряков, венчает собою купол собора, построенного на высокой крутой горе. Она господствует над городом и над окружающими возвышенностями и служит маяком, который заметен с моря за несколько десятков верст, как живое золотое пламя, горит она под лучами южного солнца.

Я уже во второй раз приезжаю в Марсель, и в душе у меня радостное нетерпение, как перед встречей с любимым другом. Марсель — прекрасный и чрезвычайно оригинальный город, и меня всегда удивляло, почему его так мало знают. Я встречал русских, которые бывали во всех городах, деревушках и закоулках Европы от Нордкапа до Сицилии и от Ирландии до Урала. Многие из них побывали в Африке, в Азии, в Америке, но почему-то мне никогда не приходилось поговорить с человеком, посетившим Марсель. Может быть, это происходит оттого, что бедекеры не нашли в этом городе ничего, шевелящего пресыщенное внимание путешественников? Я же должен сказать, что более своеобразного, оживленного и пестрого города, одновременно великолепного и грязного, безумно суетливого и тихого, страшно дорогого и дешевого, — я никогда не видал в своей жизни.

Если вы спросите у коренного марсельца: «Что самое замечательное в вашем городе?», то будьте уверены, что он, не задумываясь ни на секунду, ответит с гордой уверенностью: «Улица Каннобьер». Недаром же какой-то французский писатель сострил, что будто бы у марсельцев существует поговорка: «Если бы в Париже было что-нибудь похожее на улицу Каннобьер, то это был бы маленький Марсель».

Давно известно, что южные французы экспансивны, пылки, склонны к преувеличению, пожалуй даже хвастуны, но улица Каннобьер в самом деле чудо красоты. Это длиннейший проспект, с широкими тротуарами, с прекрасными новыми зданиями, с роскошными магазинами; два ряда старинных мощных платанов отделяют тротуары от мостовых и уходят вдаль бесконечной зеленой аллеей; прибавьте сюда еще оживленную, нарядную, живописную южную толпу — и вот приблизительно улица Каннобьер.

Наибольшее оживление на этой главной артерии города бывает утром, когда деловые люди отправляются на службу, и около шести часов вечера, когда они возвращаются домой. Все эти чиновники, конторщики, купцы и биржевики так и вызывают невольно воспоминания о героях из романов Додэ об этих Тартаренах, Нума-Руместанах и Жосселенах — приземистые, кряжистые, с пылающими темными глазами, с крепким кирпичным румянцем на щеках, с густыми иссиня-черными бородами, с живыми, резкими жестами. Перед обедом их встречают жены, сестры или дочери — все кокетливые, прекрасно одетые, сияющие яркой южной красотой. В этот час все бесчисленные кафе на улице Каннобьер переполняются веселой, точно праздничной публикой. Мужчины пьют свой вермут или абсент для возбуждения аппетита, дамы едят мороженое. Под тиковыми навесами, занимающими всю ширину тротуара, нет ни одного свободного места, и столы так близко сдвинуты один около другого, что нужна только исключительная, изумительная гибкость и змеиная скользкость гарсонов, чтобы пробираться между ними. Здесь же на мостовой, против кафе, расположились миловидные улыбающиеся цве-

точницы с своими корзинами, переполненными розами, фиалками, гвоздикой и туберозами. Шум, оживленный смех, восклицания... Но вот наступает половина седьмого — священный час обеда! — и точно по волшебству улица Каннобьер пустеет. Она еще оживает на время между девятью и одиннадцатью часами, когда время кинематографов, а в одиннадцать новый город уже совершенно пуст. Деятельные марсельцы ложатся и встают чуть ли не с петухами.

Зато начинают жить своеобразной ночной жизнью улицы старого города, и в особенности те из них, что прилегают к порту.

Глава XVI

ПОРТ

Мы остановились в самом центре марсельского порта, и даже сама наша гостиница носила название «Hôtel du port»[1] Это мрачное, узкое, страшно высокое здание, с каменными узкими винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посредине, стоптанные миллионами ног. На этих лестницах, даже среди дня, так темно, что приходится подниматься наверх со свечкой. Посетителями гостиницы бывают по большей части матросы, штурманы и боцманы, кажется, всех флагов и всех наций мира. По крайней мере при мне за табльдотом собирались два китайца, японец, сингалез, несколько греков и еще какие-то диковинные цветные люди, имевшие совсем несуразный вид в европейских одеждах. Прислуживал нам некто Андри, мрачный человек с типичным лицом наемного убийцы.

Хозяин был добродушный, неповоротливый человек с лысиной на голове и с ласковой улыбкой на губах, марселец родом. Мы часто подзывали его к нашему столу и потчевали вином или кофе. Он оказался тоже бывшим моряком и охотно рассказывал нам о своих прежних плаваниях:

---

[1] «Портовая гостиница» *(франц.)*.

— Это не так легко, господа, как думаете вы, береговые люди. Сначала я служу четыре года, от двенадцати до шестнадцати, в качестве mousse (мошка). Это значит, что всякий может мне дать колотушку и за дело и так себе, для собственного удовлетворения. После этого я уже становлюсь «novice» (новичок), и это опять на четыре года, и вот, только после восьмилетнего испытания, я уже могу считать себя «un matelot» (матрос) и в свою очередь могу, когда мне понравится, стукнуть по затылку любого mousse или novice.

И он с необыкновенной простотой, немного лениво и небрежно, как будто речь шла о самых незначительных предметах, рассказывал нам живописно о всех портах земного шара, о страшных драках на берегах между матросами разных наций, о бурях и крушениях, о всех необыкновенных случаях, когда жизнь его висела на волоске. Словом, это был простодушный, кроткий и уравновешенный человек с той ясностью взгляда и спокойствием души, какие так часто приходится наблюдать у бывших морских людей.

— Я всегда пил очень мало, — рассказывал он, — я не любил понапрасну тратить деньги, а потому, когда мои ревматизмы заставили меня оставить службу, то я вышел из флота с небольшими сбережениями. А потом я встретился с Долорес. У нее тоже было небольшое приданое. Мы поженились и открыли сначала маленькую табачную и колониальную лавочку, а потом арендовали вот эту гостиницу.

Долорес, в противоположность своему флегматичному мужу, была живая, подвижная испанка, сильно располневшая, но еще не утратившая тяжелой, горячей южной красоты. Она всегда была в движении, появлялась как-то одновременно и в комнатах, и на кухне, и на веранде, приветливо-задорно улыбаясь посетителям, подходила к столикам, на минуту присаживалась и сейчас же неслась дальше.

Я был однажды свидетелем такой сцены. Какие-то цветные люди, не то шоколадного, не то бронзового цвета, все как на подбор маленькие, худые, но точно сделанные из стали, выпили лишнее, начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в дело ножи.

Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем на клекот птиц, страшно выкатывали желтые белки и скалили друг на друга белые сверкающие зубы. И вот Долорес быстро накидывает на себя черную мантилью, вытаскивает из волос розу и берет ее в зубы, подбоченивается и вызывающей походкой, раскачивая толстыми бедрами, с головой, гордо поднятой вверх, подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она точно преобразилась, помолодела и внезапно похорошела, стала почти красавицей: гневные черные глаза, ноздри, раздутые, как у арабской лошади, и эта пунцовая роза в красных чувственных губах, — прямо загляденье! Коротким повелительным движением, картинно вытянутой рукой она указала на дверь и с непередаваемым выражением презрения, сквозь стиснутые зубы произнесла:

— Sortez! [1]

И буйные матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты.

Об этих двух людях я нарочно упоминаю с такими подробностями, что впоследствии, через несколько дней, мне пришлось воспользоваться их услугой при таких обстоятельствах, когда с необыкновенной прелестью проявились их простые, милые души.

В путешествии, при остановках в разных городах, меня не влекут к себе ни музеи, ни картинные галереи, ни выставки, ни общественные праздники, ни театры, но три места всегда неотразимо притягивают меня: кабачок среднего разбора, большой порт и, — грешный человек, — среди жаркого дня — полутемная, прохладная старинная церковь, когда там нет ни одного человека, кроме древнего, заплесневелого сторожа, и когда там можно спокойно посидеть и погрезить в глубокой тишине, среди установившихся запахов свечей, ладана, чуть-чуть мертвечины и каменной сырости.

---

[1] Уходите! *(франц.)*

От нас до порта было рукой подать, и неизменно каждый день мы бродили по его гаваням, эллингам, пристаням и молам. И все-таки мы не успели обойти даже половины этого гигантского сооружения. Самый главный мол, непосредственно ограждающий порт от моря, тянется на пространстве более трех с половиной верст, а высотою он около пяти сажен. Он так широк, что на нем совершенно свободно могут разъехаться две тройки, и снаружи, для большей устойчивости против волн, завален массивными камнями и саженными цементными кубами, внутри же, между берегом и молом, бесчисленное множество других молов, больших, маленьких и средних раздвижных мостов, всевозможных зданий, пакгаузов, таможен и маленьких кабачков. Тысячи судов паровых и парусных одновременно разгружаются и нагружаются. Как густой лес, торчат кверху трубы, мачты и мощные, подобные исполинским железным удочкам паровые краны; по железным эстакадам и по рельсовым путям на молах то бегут, то медленно тянутся пустые и нагруженные поезда, свистят паровозы, гремят цепи лебедок, звенят сигнальные колокола, шипит выпускаемый пар, дробным звенящим стуком звенят молотки клепальщиков. Идешь, точно в каком-то сумбурном сне, через сотни самых разнообразных запахов. Пахнет смолой, дегтем, сандальным деревом, масляной краской, какими-то диковинными восточными пряностями, гнилью застоявшейся воды, кухней, перегорелым смазочным маслом, керосином, вином, мокрым деревом, розовым маслом, тухлой и свежей рыбой, чесноком, человеческим потом и многим другим. Эта быстрая смена обонятельных ощущений совсем не противна, но как-то ослабляет, кружит голову и точно пьянит. Сотни судов грузятся углем перед тем, как пуститься в далекое плавание — куда-нибудь в Нью-Йорк, в Мельбурн или Владивосток. Часами я наблюдал за этой ловкой работой. На вертикальном высоком стержне вращается горизонтальное коромысло, к концам которого прикреплены железные бадьи, каждая около тонны вместимостью. Все сооружение похоже на весы исполинских размеров. В то время когда одна чаша этих весов

высыпает свое содержимое в трюм парохода, другая уже черпает уголь из высокого, в два этажа вышиною, штабеля. Все это занимает не более пяти-шести секунд. Звонок — и коромысло весов начинает вращаться. Наполненная бадья останавливается над трюмом, где ее быстро переворачивают, а пустая дожидается своего наполнения около штабеля, — и так беспрерывно работает этот угольный кран с утра до вечера.

Вдоль берега тянутся непрерывно, в несколько рядов, пакгаузы и таможни, а между ними движутся поезда. Огромный амбар, в котором свободно уместилась бы пара аэропланов, весь почти доверху набит земляными орехами (такие орехи-двойняшки, с желтой чешуйчатой хрупкой скорлупой), другой наполнен драгоценной, терпкой на запах кошенилью, третий — винными бочками, четвертый — тюками тканей и так далее. На мостовой, под открытым небом, громоздятся целые горы серы, привезенной из Сицилии, дубовых клепок, доставляемых сюда с юга России; под толстым грубым брезентом сложены миллионы мешков пшеницы, овса, ячменя и кукурузы; правильные красные валы — целый городок, сложенный из марсельской черепицы. Беспрерывно везут на телегах живность, предназначенную для пароходов: свиней, быков, телят и солонину.

Подолгу также простаивали мы у наружных ворот таможни. В этих темных, больших, мрачных зданиях, где всегда разгуливает жестокий сквозной ветер, задерживают совсем ненадолго измученных пассажиров. Быстро, в несколько секунд, оглядели ручной багаж, поставили на нем крестик, и путник, изморенный несколькими неделями плавания, измученный морской болезнью, стосковавшийся по суше, с чувством живой радости выходит на улицу, навстречу зною, шуму и толпе.

На каких только людей не насмотришься в эти минуты прибытия парохода! Вот, например, идет кучка арабов. На них висят длиннейшие бурнусы, с подолом, перекинутым через плечо бессознательным, привычным движением, но поглядите, какими художественными складками ложится это платье... Белые одежды на арабах грязны и разорваны, и часто сквозь них

увидишь темное мускулистое тело; но сами они высоки, стройны, прекрасно сложены, и в их серьезных лицах, в медленной гордой походке чувствуется настоящая царственная важность. Фески, зеленые и белые чалмы, какие-то странные чалмы, сплетенные из соломы, маленькие, полуголые, похожие на обезьян люди, черные, как вакса, с курчавыми волосами, сбитыми, как войлок... Огромные красные губы, сверкающие зубы и белки... Пунцовые береты, неаполитанские колпаки, зеленые восточные халаты — все это густо и тесно выливается из ворот таможни и расплывается, рассеивается веером во все стороны.

Но даже и не посещая порта, мы тесно связаны с ним. Как бы мы поздно ни легли накануне, все равно нам приходится неизбежно встать в пять часов утра, потому что в это время из порта везут нагруженные телеги. Эти телеги стоят того, чтобы о них сказать несколько слов. Они двухколесные, причем каждое колесо величиною в хороший человеческий рост; оно составлено из массивных кусков мореного дуба и обтянуто железным обручем в три пальца толщиною. Между колесами покоится массивная платформа, на которой свободно умещается сто или даже полтораста обыкновенных мешков с мукою, весом, как и всюду, около шести пудов каждый. В эту повозку, весом в несколько сотен пудов, впрягаются от трех до шести лошадей, но это не лошади, а что-то скорее более похожее на слонов. Огромные, вершков восьми ростом, с задами, на которых можно разбить палатку, с копытами величиною с суповую тарелку, с мохнатыми щетками над бабками, с гривами и хвостами до земли, в большинстве серой масти, с добродушным взглядом влажных темных глаз — они всегда производили на меня необыкновенное впечатление страшной силы, большого терпения и кротости. Хомуты и чересседельники, надетые на них, прямо поражают своими размерами, особенно на кореннике, которому приходится уравновешивать своей спиною всю тяжесть повозки. У каждой лошади на хомуте — и я уж не знаю для какой надоб-

ности — торчит кверху высокий кожаный рог. Впереди всей упряжки обыкновенно идет мул — это наиболее умное, наименее нервное и самое выносливое из всех вьючных животных.

Теперь представьте себе, что шесть таких серых мамонтов, в сто пудов весом каждый, идут вместе, согнув свои массивные шеи, напряженно вваливаясь всей своей тяжестью в хомуты и ступая одновременно своими чудовищными копытами по мостовой, а вслед за ними грохает по камням исполинская повозка! Стены нашей гостиницы дрожат от основания до крыши. В окнах дребезжат все стекла, шатается, скрипит и, наконец, распахивается настежь древний шкаф, а на столиках подпрыгивают и звенят графины и стаканы. И целый день, с шести часов утра до шести вечера, тянутся нескончаемой вереницей по всем улицам Марселя из порта и в порт эти огромные лошади и чудовищные грузы, на которые с непривычки страшно глядеть. Часто случается, что длинный обоз займет всю ширину трамвайных рельсов, и тогда вагон должен черепашьим шагом еле-еле тащиться у него в хвосте, а ежели грузовикам нужно почему-либо свернуть, то трамвай совсем останавливается, и никому из пылких марсельцев даже в голову не придет протестовать против этого. Интересы порта — самые священные во всем городе.

Глава XVII

СТАРЫЙ ГОРОД

В то время когда новый город вместе со своей прекрасной улицей Каннобьер погружается около одиннадцати часов ночи в глубокий, буржуазный сон, — в это время оживает старый город.

Старый город — это какое-то капризное диковинное сплетение кривых, узеньких улиц, по которым невозможно проехать даже одноконному извозчику. Что за невообразимая вонь, грязь и темень царят в этой запутанной клоаке! Всякие хозяйственные отбросы, помои, зелень, скорлупа от устриц — все сваливается

на улицу или попросту выбрасывается из окна. И совсем не редкость увидать на улице черномазого мальчишку или девочку лет шести, семи, которые отдают долг природе в одной из тех поз, которые с таким наивным искусством изображали в своих картинах Теньер, Ван-Бровер и Теньер-младший (Тенирс). Есть в старом городе такие узкие, темные даже в полдень, переулки, через которые пробегаешь, зажав нос руками и затаив дыхание.

И вот, когда наступает ночь, старый город оживляется. Ближе к центральным улицам он еще немножко приличен, но чем ближе к порту, чем ниже спускаются улицы, тем старый город становится все веселее и разнузданнее. Налево и направо только одни кабачки, весело освещенные изнутри. Повсюду слышна музыка. Ходят по шестеро и по пятеро вдоль улиц, обнявшись друг с другом за талии и за шеи, матросы и юнги, французские, итальянские, греческие, английские, русские... Бары переполнены народом. Табачный дым, абсент и ругательства на всех языках земного шара.

Конечно: и бедекеры и сведущие люди нас предупреждали о том, что в порт опасно ходить даже днем. Поэтому вполне понятно, что мы отправились туда ночью, и опять я в сотый раз повторяю, что все бедекеры лгут и что самый милый, кроткий и простой народ — это подвыпившие матросы. Мы входим в
ленький, низкий, душный кабачок и скромно спрашиваем амер-пикон с лимонадом и со льдом (ночи стоят душные, и томит жажда, а лучшего средства для утоления ее не существует). Сейчас же около меня и около моего товарища садятся две грубо намазанные девицы, и каждая из них кладет под столом свою ногу на колено соседу. Это — специальное морское кокетство. Они требуют от нас разных напитков. Мы охотно повинуемся: надо же выдержать тон и вкус места. Проходит четверть часа. Наши дамы видят, что мы вовсе не принадлежим к породе тех людей, которые в продолжение трех или четырех месяцев бултыхались среди бушующего моря и за это время не видали ни одной женщины. Они просят на булавки.

Пять франков не только успокаивают их, но даже приводят в восхищение, и они нам доверчиво рассказывают некоторые тайные стороны своей жизни. С боцманов или капитанов, в особенности если они постарше, они берут два-три франка, с матросов — франк, а иногда даже пятьдесят сантимов. Здесь же, наверху, над баром, есть несколько запутанных коридоров, с номерами-стойлами налево и направо. Мгновенная любовь или ее подобие — и люди разбежались в разные стороны. Много ли нужно матросу?

— Но плохо одно, monsieur, — сказала серьезно долговязая Генриетта, — что иногда они выпьют слишком много сода-виски и тогда начинают драться. Это очень неприятно, опасно и хлопотливо для нас. И именно их всегда валит с ног или делает бешеными не что иное, как сода-виски. Впрочем, абсент тоже.

В этот день мы никак не могли найти дорогу к себе домой в гостиницу «Порт». Мы путались, как слепые щенята, около грандиозных молчаливых Вобановских укреплений и раз десять, сделав круг, возвращались на прежнее место. Наконец нам попалась навстречу пьяная гурьба матросов. Мы вежливо спросили их о дороге, и вот они все вместе, человек десять — пятнадцать, заботливо и предупредительно проводили нас до самого нашего жилища.

Помню я еще другую ночь. Мы сидели в испанском баре на одной из этих бесчисленных улиц, в которых, кстати сказать, я не умел никогда ориентироваться. Рядом с нами прочно засела компания англичан, вероятно из судовой аристократии, что-то вроде шкиперов, машинистов или боцманов, все рослые, суровые, крепкие люди, с загорелыми, обветренными, облупленными лицами. Один из них, бритый человек, с головой, голой, точно биллиардный шар, закурил трубку. Я узнал по запаху мой любимый мерилендский табак и, слегка приподняв шляпу и повернувшись в сторону биллиардного шара, спросил:

— Old Judge, sir? [1]

---

[1] Олд джадж (сорт табака), сэр? *(англ.)*

— O, yes, sir,[1], — и, добродушно вытерев мундштук между своим боком и крепко прижатым локтем, он протянул мне трубку: — Please, sir[2].

К счастью, у меня еще оставались русские папиросы (и их по-настоящему оценишь только во Франции, где все курят прескверный монопольный табак), и я предложил ему портсигар. Через пять минут мы уже жали друг другу руки так, что у меня кости трещали, и мы орали на весь старый город: «Правь, Британия, царствуй над волнами!»

Еще один случай, о котором я до сих пор вспоминаю с глубокой, радостной нежностью.

Это случилось на исходе ночи, так часу в третьем, четвертом. В маленьком кабачке был, что называется, самый развал. Прислуга едва успевала ставить на столики самые разнообразные «ударные» напитки всевозможных цветов: зеленого, золотого, коричневого, светло-голубого и других. В густом табачном дыму, щипавшем глаза, едва виднелись темные контуры людей, которые, точно в кошмарном сне, шли точно утопленники под водою, двигались, качались и обнимались друг с другом.

И вот в открытую настежь дверь входит чрезвычайно странный человек. Он уже стар, лет пятидесяти — шестидесяти, мал ростом и тщедушен. Седые густые волосы падают ему на плечи и на спину пышной прекрасной гривой. Высокий широкий лоб мощного, прекрасного строения, тяжелые, нависшие веки, прищуренные глаза и под глазами черные мешки. Цвет лица темный, землистый, нездоровый. Множество морщин, серо-пепельные усы и борода. В руках у него диковинный музыкальный инструмент. Это обыкновенный сигарный ящик, на котором еще сохранились черные, овальные фабричные клейма «Colorado», в верхней крышке выпилено круглое отверстие. Узкая длинная дощечка, грубо приклеенная к ящику, служит вместо грифа. Самодельные колки и шесть тонких струн.

Человек этот ни с кем не здоровается и как будто даже никого не видит. Он спокойно опускается на кор-

---

[1] О да, сэр *(англ.)*.
[2] Пожалуйста, сэр *(англ.)*.

точки наземь, около стойки, затем ложится вдоль ее, прямо на полу, лицом кверху. В продолжение нескольких секунд он настраивает свой удивительный инструмент, потом громко выкрикивает на южном жаргоне название какой-то народной песенки и начинает лежа играть.

Я очень люблю гитару, этот нежный, певучий, выразительный инструмент, и мне часто приходится слышать артистов, виртуозно владеющих этим инструментом, вплоть до знаменитостей, известных всей России. Но все-таки я никогда до этого случая не мог себе даже представить, что деревяшка со струнами и десять человеческих пальцев могут создать такую полную и гармоничную, певучую музыку. Сигарный ящик этого диковинного старика пел серебряными звуками, точно отдаленный прекрасный хор, составленный из детей, женщин или ангелов.

Шумный базар сразу стих. Попрятались куда-то трубки и сигары. Матросы забыли о своих пивных кружках, и мне показалось, что сразу как-то светлее и чище стало в мрачном питейном заведении. Первыми женщины, а вслед за ними и все посетители встали со своих мест и обступили лежавшего старика. Из соседнего вертепа слышались звуки гармонии-концертино. Кто-то на цыпочках подошел к двери и беззвучно затворил ее.

Старик окончил одну песню и сейчас же выкрикнул название другой, и опять заиграл, ни на кого не глядя, устремив свои прищуренные глаза в потолок. Так, при общем, — да, теперь уместно будет сказать, — благоговейном молчании, он проиграл несколько песенок, то медлительных и страстных, то игриво и лукаво задорных песенок, в которых чудилась невольно старинная арабская вязь, сладострастная, лениво-истомная. Проиграв основной мотив, он начинал его варьировать, и вряд ли я ошибусь, сказав, что эти вариации ему приходили в голову только сейчас, когда он лежал на заплеванном полу и импровизировал.

Наконец он сказал на чистом французском языке:

— Теперь я вам сыграю вальс Шопена Valse brillante, — пояснил он.

Кто не знает этого вальса в фортепианном исполнении, весьма трудного по технике? И я с радостью и изумлением не только услышал, но, мне кажется, почти увидел, как со струн, натянутых на сигарный ящик, вдруг посыпались блестящие, редкой драгоценности камни, переливаясь, сверкая, зажигаясь глубокими разноцветными огнями. Бог жонглирует брильянтами.

Окончив, старик взял в правую руку инструмент, а левую протянул вверх. Сначала его не поняли, и он с некоторой настойчивостью повторил свой жест. К., мой спутник, первый догадался, в чем дело, и взял старика за руку, помогая ему встать. Тотчас же десятки рук почтительно и осторожно подхватили старика и поставили его на ноги. На несколько мгновений толпа совершенно скрыла его из моих глаз, и тут-то я сделал оплошность, вспоминая о которой, краснею даже сию минуту, когда диктую эти строки. Я не заметил того, что многие из слушателей потянулись к старику с деньгами и что он вежливо и настойчиво отказывался от подачек. С разнеженным сердцем, с обычной в этих случаях для всех людей неуклюжестью, я протискался поближе к старику и протянул ему горсть серебра. Но, должно быть, мой скромный дар, сделанный от чистой души, был именно той каплей, которая заставляет кубок пролиться. Старик поглядел на меня, презрительно щурясь, — у него были прекрасные, темные, глубокие глаза, — и сказал сухо, отчеканивая каждое слово:

— Я играл не для вас и не для них, — и он свободным жестом обвел всех зрителей. — Но, если вы действительно слушали меня со вниманием и если вы что-нибудь понимаете в музыке, то это такая редкость, за которую не вы должны благодарить, а я, — и, засунув руку в карман широчайших брюк, он вытащил оттуда целую кучу медной монеты и величественно подал мне.

Совершенно растерявшийся, смущенный, я начал лепетать бессвязные извинения:

— Мне ужасно стыдно, maître, за мой поступок... Я в отчаянии... Вы мне сделаете большую честь и успокоите мою совесть, если согласитесь присесть за наш стол и выпить глоток какого-нибудь вина.

Старик смягчился немного и почти улыбнулся, но от приглашения все-таки отказался.

— Я не пью и не курю. Да и вам не советую. Хозяин! Дайте мне, пожалуйста, стакан холодной воды.

Никогда, должно быть, за всю свою пеструю жизнь этот хозяин, кряжистый, заросший волосами великан с обнаженной воловьей шеей, не наливал никому вина с таким глубоким и внимательным почтением, как он наполнил для музыканта водою стакан. Старик выпил воду, небрежно поблагодарил хозяина, сделал нам рукою приветственный знак, исполненный величественной грации, и вышел в темноту ночи. Впоследствии я обегал все трактиры, бары и пивные лавки старого города в надежде поймать след моего таинственного музыканта, но он скрылся куда-то, исчез, точно уплывшая вода, точно пробежавшее и растаявшее облако, точно волшебный сон. Но одно утешает меня, когда я возвращаюсь воспоминаниями к этому удивительному человеку: ни один американский миллиардер, ни один англичанин, в специальном костюме туриста, с пробковым шлемом на голове, с бедекером под мышкой, с кодаком в одной руке, с альпенштоком в другой и с биноклем через плечо, ни путешествующий инкогнито принц крови, — никогда не увидят и не услышат ничего подобного. И эта мысль невольно радует меня.

Глава XVIII

ОСТРОВ ИФ

Середина июля. Город Марсель празднует годовщину разрушения Бастилии. Почти сто лет тому назад пришли в Париж оборванные загорелые южане и заразили весь Париж, а вместе с ним и всю Францию революционными идеями. По дороге сочинили прекрасную песню, которая начинается так: «Allons, enfants de la patrie...»[1], а кончается: «A bas la tyrannie»[2], —

---

[1] Вперед, сыны отчизны... *(франц.)*

[2] Долой тиранию *(франц.)*.

словом, ту известную песню, которая исполняется на французских военных судах во время встречи дружественных эскадр.

Надо сказать, что этот праздник — настоящий праздник. С раннего утра вся Марсель на улицах. Со всех сторон четырехугольного старого порта толпится по-праздничному вымытый, принарядившийся народ. В десять часов утра уже пускают фейерверк. Мальчишки и женщины визжат от радости, старые матросы ревут от восторга, когда взвивается вверх ракета, разрывается в воздухе и вдруг из нее выскакивает, точно пузырь, фигура свиньи, верблюда или слона и медленно опускается вниз.

Около улицы Каннобьер, пройдя через мост, есть маленький закоулочек, где кутят рыбаки. Белое вино и целые груды, целые горы скорлупы от раков, устриц, муль, violettes и clovisses[1]. Все это поглощается в огромном количестве и стоит на наши деньги три-четыре копейки. С чувством отвращения наблюдаю я, как после долгой, ожесточенной торговли раскутившийся матрос покупает своей любовнице кусок спрута, или каракатицы, или какую-то странную черную раковину, из которой течет желтый сок, подобный яичному желтку, и как она большим пальцем правой руки выковыривает содержимое и как она его втягивает в рот.

Но мне тяжело и скучно. Чужой праздник! И я чувствую себя неприглашенным гостем на чужом пиру. Увы! Судьба моей прекрасной родины находится в руках рыцарей из-под темной звезды, и у нас нет ни одного случая вспомнить наше прошлое. Ни числа, ни месяца, ни года...

Лодки сгрудились около набережной так тесно, что движение одной передается другой. Какой-то хитрый старик подмигивает мне глазом и спрашивает:

— Может быть, господам угодно проехаться на остров Иф?

Отчего же не проехаться: это все-таки развлечение.

Очень быстро мы узнаем, что лодочника зовут папà Доминик. Покамест мы в порту, он все время гребет.

---

[1] Разные съедобные ракушки *(франц.)*.

Но мы выходим в свободное море, и он начинает налаживать парус. Время от времени он вынимает из кармана плитку прессованного жевательного табаку, похожую на шоколадные плитки, жует ее и выплевывает через борт коричневую слюну. И вдруг обращается к нам с очень деловым вопросом.

— Из какой страны вы, добрые господа?

Со вздохом мы признаемся, что мы русские. На лице нашего друга, папы Доминика, разочарование. Он еще раз плюет через борт лодки и говорит:

— В таком случае, без глупостей (pas des bétises).

Ого! Хорошая у нас репутация!

Но уже парус готов. Лодка бежит, накренившись набок, и время от времени на нас брызжет морская пена. Стали вырисовываться скучные стены тюрьмы, горбатый островок и на нем две башни, торчащие, точно два клыка, изъеденные временем. Между ними каземат и огромные ворота. Цвет здания — желтый, казарменный.

Но подойти нам к берегу не удается. Артель рыбаков только что завезла невод, длиною приблизительно около версты. Две лодки тянут левое крыло, а правое крыло на своих плечах тащат вверх по горе двенадцать человек. Самая трудная работа достается переднему, и поэтому, пройдя шагов пятьдесят, он бросает тяжь и перебегает в хвост. Таким образом они постоянно сменяют друг друга. Наконец работа окончена. Две небольших корзинки маленькой серебряной рыбешки. Но зато сколько шума, пререканий, угрожающих жестов! Можно было бы подумать, что дело идет о пяти, шести взрослых китах.

Мы подымаемся наверх, на гору. Оказывается, что смотрителя тюрьмы нельзя сейчас видеть — и по очень важной причине: рыбаки наловили много рыбы, а смотритель купил несколько фунтов, велел своей жене сделать бульябес и поэтому просит извинения.

А бульябес — это самое зверское кушанье, которое только существует на свете. Оно состоит из рыбы, лангуст, красного перца, уксуса, помидоров, прованского масла и всякой дряни, от которой себя чувствуешь, точно тебе вставили в рот динамитный патрон и подожгли его.

Ничего не поделаешь, — надо мириться со вкусами каждого начальника тюрьмы, музея или эрмитажа. Но тут же, рядом с тюрьмой, есть маленький кабачок с надписью: «Граф Монте-Кристо». Мы внедряемся туда, заказываем яичницу и пьем красное вино. Через час появляется смотритель, на ходу утирая рот салфеткой. Он чересчур вежлив, как, впрочем, и всякий француз. Он с нас берет по франку за вход в историческую тюрьму (удивительно, не для того ли Марсель сделал французскую революцию, чтобы республиканское правительство получало деньги за право обозрения тюрем?); потом, закрыв глаза, точно соловей во время любовной песни, он начинает нам отчитывать наизусть:

— Вот место, где сидел двоюродный брат польского короля Владислава или, может быть, Станислава. В этой камере сидел известный адвокат Мирабо, потомок которого, Октав Мирбо, до сих пор существует в Доме инвалидов... Вот здесь заседал революционный марсельский трибунал. Здесь же по распоряжению суда гильотинировали виновных. Двести восемнадцать смертных казней. Обратите внимание, господа, что камни иззубрены стойками гильотины.

И правда, он нам показывает нечто вроде каменных полатей, на которых заседал трибунал, приговаривал к смерти в одну секунду, и только одну секунду длилось мучение жертвы. Я не знаю, здоровое ли это впечатление, или галлюцинация, но мне казалось, что во всей этой тюрьме, в этом правительственном музее, пахнет кровью и человеческими извержениями, как будто бы стены пропитались их запахом.

Наша доверчивость развращает смотрителя. С необыкновенно наглым видом он нам показывает еще один закоулок, с полом вроде московской мостовой, без света, и говорит:

— А вот здесь сидел граф Монте-Кристо.

Это нас поражает. Мой друг К. первый не выдерживает серьезности. Он спрашивает:

— Если я не ошибаюсь, граф Монте-Кристо — это не живой человек, а выдумка Александра Дмит-

риевича Дюма? Дюма père? Это лицо никогда в действительности не существовало.

Смотритель сконфужен, но все-таки милый француз находчив: он открывает окно и показывает нам на вывеску ресторана. Правда. Написано «Граф Монте-Кристо». Мы соглашаемся. Что поделаешь против очевидности! И папа́ Доминик благополучно отвозит нас в Марсель.

Глава XIX

РУССКИЙ КОНСУЛ

Но не всегда в Марсели пути наши были устланы розами — попадались и жестокие шипы. Одна дама перевела нам на банк Лионского кредита несколько сот рублей. Но по свойственной всем дамам забывчивости и небрежности она не послала нам заказным письмом расписки, которую она получила из банка и которая была самым главным документом, удостоверяющим, что мы не жулики, посягающие на капиталы этого самого богатого в Европе банка. Раз по двадцати в день мы являлись в великолепное прохладное здание Лионского кредита и, должно быть, порядком надоели там всем служащим. Эти люди, с каменными лицами, в каменных воротничках, хладнокровно отвечали нам:

— Покажите ваш мандат.

Я совал им мой заграничный паспорт, где совершенно ясно были обозначены мое имя и фамилия. Я безошибочно указывал им то место и то лицо, откуда я жду деньги, но они были неумолимы. Конечно, их можно было бы только похвалить за такую пунктуальность и за слепое исполнение своих обязанностей, но нам от этого было ничуть не легче. В продолжение трех суток мы ничего не ели и не пили.

Но внезапно блестящая мысль озаряет наши головы: «А что, если за нас заступится русский консул?»

Итак, с самого раннего утра до поздней ночи мы, как сумасшедшие, мыкаемся по всей Марсели, в сладкой надежде разыскать русского консула.

Увы! Это оказывается невозможным. Нас посылают с одного конца города на другой. В табачных и колониальных лавочках мы перелистываем городские указатели за целых три года, но таинственный консул исчез, точно провалился сквозь землю. Наконец, с большим трудом, уже на третий день мы узнаем, что этот сказочный человек ютится где-то в окрестностях улицы Pière de Pugé. Надо сказать, что эта улица на редкость прекрасна. Громадный платановый бульвар, в вековой тишине которого всегда разлит прохладный зеленый полусумрак. Нет ни трамваев, ни экипажей — самый аристократический уголок Марсели. Налево и направо нарядные спокойные дома, украшенные флагами всех консульств мира: японского, китайского, английского, голландского, персидского, корейского, аргентинского, североамериканского... и под каждым флагом овальная вывеска с гербом страны и с точным указанием часов, когда консул принимает.

Раз двадцать мы обегали улицу Pugé и все к ней прилежащие. Швейцары и секретари консульств глядели на нас, точно на сумасшедших, и пожимали плечами:

— Русский консул? Он где-то существует, но уже лет пять-шесть никто его не видал и не слыхал о нем.

Бог его знает! Скрывался ли он от долгов, или у него в натуре лежит стремление к перемене мест... этакое изящное бродяжничество?

В голландском консульстве с нами обошлись совсем неприлично. Консул, сухой и чопорный человек в золотых очках, внимательно поглядел наши документы, удостоверившие нашу личность и право на получение денег, и сказал нам сурово:

— Во всем, что вы говорите, я не сомневаюсь. Предупреждаю вас, что русского консула вы не найдете. Но ходатайствовать за вас перед Лионским кредитом я не берусь. Это поведет только к неприят-

ностям и служебным осложнениям и для меня и для вашего консула. Лучше сделаем так. Я вам дам взаймы несколько сот франков, а вы, когда получите ваш перевод или когда вернетесь в Ниццу, возвратите мне эти деньги.

Но мы одновременно поспешили отказаться. Да и в самом деле: зачем нам было прибавлять к нашему голоду, жажде, беспомощности — еще и унижение нашей страны?

Сердечно поблагодарив консула, мы ушли от него и опять очутились на улице. В нашем распоряжении оставалось только пять сантимов, — приблизительно полторы копейки, — и мы в продолжение этих роковых трех дней долго колебались, на что употребить мелочь: купить ли пару папирос, или выпить по стакану воды с лимоном? Жажда пересилила. Около старого порта какой-то древний старикашка изготовлял и продавал искусственный домашний лимонад. На ручной тележке помещалась у него большая глыба льда с продавленным, в виде чашки, углублением, наполненным водой, куда он своими грязными руками выжимал лимоны. Почти трясясь от жадности, я выпил стакан. А старик поглядел на моего товарища, улыбнулся немножко застенчиво, немного насмешливо и зачерпнул для него второй стакан. Сначала я думал, что это был единственный в Марсели человек, который понял наши страдания. Но оказалось, что нашелся и другой человек — это милый, толстый хозяин нашей гостиницы. Когда мы пришли домой, измученные, разбитые, едва волоча ноги, он отозвал моего товарища в сторону и сказал:

— Господа! Я вижу, у вас какая-то заминка? Я прошу вас помнить, что весь мой буфет и моя кухня всегда к вашим услугам. Очень прошу вас не стесняться. Долорес! Дай сюда меню и холодного белого вина.

В этот день мы были сыты и растроганы милым, гостеприимным отношением простого человека, бывшего матроса. И надо сказать, что, подавая нам эту милостыню, он и его жена были так деликатны, так предупредительны, как вряд ли бывают люди во дворцах.

Утром все уладилось. Мы были богаты, как пять Пирпонтов Морганов и один Ротшильд. Громадный букет карминных, почти черных роз был поднесен хозяйке. Были куплены билеты до Ниццы, и наш скромный багаж отвез на ручной тележке какой-то долговязый проходимец на вокзал.

Однако в нас заговорило чувство оскорбленной патриотической гордости. Мы во что бы то ни стало решились разыскать консула, и в конце концов мы все-таки нашли его!!

Нам указал его адрес какой-то цветной швейцар из какого-то экзотического посольства, пестро и ярко одетый, как попугай Ара.

Понятное дело, на сытый желудок человек гораздо энергичнее, чем в дни, когда он изнемогает от голода, жажды и усталости. Мы поднялись на пятый этаж по узкой темной лестнице и при помощи длительных восковых спичек прочитали плакат:

«Русский консул N. N.[1] принимает от часу до $1^1/_2$ по четвергам». А внизу надпись красным карандашом: «В настоящее время выехал на дачу».

Но мы в это время уже были так благодушны, что не рассердились, а только рассмеялись. Это объявление необыкновенно живо напомнило нам нашу милую страну, по которой мы уже успели смертельно соскучиться. И только добрым словом помянули нелепых английских консулов, двери которых открыты для подданных Великобритании во всякое время дня и ночи.

Глава XX

ВЕНЕЦИЯ

А все-таки как жалко было прощаться с Марселью! В последний раз посидели в кафе, на улице Каннобьер, увидели в последний раз, как к тебе подбегает

---

[1] К сожалению, его фамилия выпала из моей памяти, а то я привел бы ее полностью. Знаю только, что кончается на —ский. *(Прим. автора.)*

оборванец с корзинкой в руках и шепчет с таинственным и испуганным взглядом: «Боста» («Beaux fistaches»), — прекрасные, жаренные в соли фисташки, по сантиму за штуку, и черномазый бродяга отсчитывает своими грязными пальцами штуку за штукой фисташки, как какую-то редкую драгоценность. Нужно было еще подняться по громадному лифту на верх горы и зайти в собор Notre Dame de la Garde. Там два придела: один внизу, другой наверху. Нижний заперт железной решеткой, верхний открыт для обозрения публики. Одно зрелище вдруг нежно и глубоко волнует меня. Стены огромной церкви сплошь увешаны маленькими мраморными дощечками, на которых выгравированы и позолочены имена и фамилии, а иногда просто инициалы жертвователей. Все это дары моряков, рыбаков, которые благополучно избегли гибели, обратившись в предсмертную минуту к покровительству Пресвятой Девы, заступницы на водах... Тридцать или сорок моделей парусных судов и несколько картин, написанных акварелью и маслом неумелыми, наивными, но старательными руками. Таких даров тысячи. Я гляжу на них и с волнением думаю:

«Вот этот человек сорвался с грот-мачты во время бури, но успел счастливо зацепиться, подобно обезьяне, за какую-нибудь перекладину. Этого смыло волною с борта в море, но удачно брошенный спасательный круг помог ему продержаться на воде, пока корабль не был остановлен и его товарищи не успели спустить лодку. Третий, может быть, израненный ножами в каком-нибудь темном и грязном порте Средиземного моря, долго боролся со смертью, но железная натура выдержала, и вот он живой, как окунь в воде, приносит свою скромную благодарность царице небесной, приписывая свое выздоровление ее ходатайству перед богом. А во всех надписях удивительная скромность.

Но, конечно, как и всюду, я наталкиваюсь на громадную доску из белого мрамора, которую, на общий позор и посмешище, привинтил здесь, к древней стене, безвестный русский чиновник Челгоков из города С. Надпись занимает приблизительно около тридцати

строк, каждая вместимостью в сорок букв. Вот ее содержание (пишу по памяти).

«Благодарю Notre Dame de la Garde за то:

1) что однажды, заболев опасной, сложной формой геморроя, который не могли излечить наши местные невежественные врачи, я обратился к покровительству заступницы и получил внезапное чудесное исцеление;

2) что, задумав одно выгодное для меня денежное предприятие, я благополучно довел его до конца и теперь обеспечен на всю жизнь;

3) что при помощи той же самой божией матери мне удалось выдать мою старшую дочь за порядочного, солидного человека, с правильными убеждениями и получающего хорошее жалованье;

4) что мне посчастливилось получить наследство, которое я не мог ожидать».

Ах, Челгоков, Челгоков! Не так ли ты писал аттестат своей кухарке или горничной, которую твоя жена прогнала за амуры с барином?

Но уже пора. Наступает вечер. Мы в поезде. Мелькают мимо нас Фрежюс, Сен-Рафаэль, Канн. И вот уже светят два ниццких маяка. Один в Калифорнии, а другой в Mon-Boron. Один вращается, пересекая своим серебряным мечом черное небо, с промежутками в пять секунд, другой выпускает белую электрическую стрелу через каждые три секунды.

А на другой день вечером мы в Венеции. Сначала кажется немного диким и нелепым, когда выходишь из вокзала и носильщик укладывает твои вещи в черную лодку. К этому впечатлению нужно привыкнуть. На корме стоит, выставив вперед левую ногу, длинный малый и, не вынимая весла из воды, бурлит им воду и гонит лодку. Сворачивая в какой-нибудь узкий водяной переулок, он издает странный гортанный крик, похожий на стон, и две гондолы, почти касаясь одна о другую бортами, беззвучно проплывают мимо, точно два черных встретившихся гроба. И в самом деле: прекрасная Венеция напоминает гро-

мадное кладбище с мертвыми, необитаемыми домами, с удивительными развалинами, скрепленными железом, со старыми церквами, которых никто не посещает, кроме праздных путешественников.

На другой день опять гондола и обозрение Венеции при дневном свете. Тут я замечаю, что борта лодки украшены медными изображениями морских коньков. Лошадиная голова и хвост рыбы — это красиво! Впоследствии несколько таких морских лошадей, некогда живших, а теперь засушенных, я купил на площади св. Марка у надоедливого торгаша. Курьезная, смешная штука, величиной не более вершка. Несомненно, что она послужила прообразом для украшения гондолы.

Хозяин лодки показывает нам вытянутым пальцем на дом с великолепной мраморной облицовкой и говорит:

— Это палаццо принадлежало родителям Дездемоны, которая, как вам известно, вышла так неудачно замуж за Отелло, мавра, который служил Венецианской республике. А вот, не угодно ли вам, фабрика венецианского стекла и хрусталя.

Но фабрика оказывается набором аляповатых, безвкусных безделушек, стаканчиков, бокалов, графинов, грубо украшенных позолотой.

Наконец вот и знаменитый Дворец дожей. Он мне казался раньше красивым, покамест в Петербурге, на Морской, банкир Вавельберг не устроил себе торгового дома — неудачную копию венецианского дворца.

Но внутри этот дворец просто удивителен: он совмещает в себе одновременно простоту, изящество и ту скромную роскошь, которая переживает века. Эти кресла двенадцати дожей, из свиной кожи, тисненной золотом, эти мраморные наличники, эта бронза на потолках, эта удивительная мозаика, составляющая пол, эти тяжелые дубовые двери благородного, стройного рисунка — прямо восхищение! Каждая, даже самая мелочная, деталь носит на себе отпечаток вкуса и длительно терпеливой, художественной работы. Простой стальной ключ, всунутый в замок

двери, отчеканен рукой великолепного мастера, который, может быть, даже не оставил своего имени истории, и я должен, к моему стыду, признаться, что только большое усилие воли помешало мне украсть этот ключ на память о Венеции.

В этом дворце совершалось правосудие. В нем помещался и суд, и судебная палата, и сенат. Приговор совершался со скоростью ружейного выстрела. Проходило пять-шесть часов, и преступника вели в один из темных, мрачных казематов, расположенных под дворцом. Человека низкого происхождения удавливали без всякого почтения. Дворяне пользовались исключительной привилегией. Их вели по узкому темному коридору, который оканчивался маленькой дверкой, выходящей на канал. Там ему мгновенно отрезывали голову, а ударом ноги сбрасывали его тело в воду.

Все было бы хорошо, если бы ко мне не привязался сторож при дворце. Я сам не знаю, почему этот человек избрал меня своей жертвой. Он не отставал от меня ни на шаг. Он объяснял мне каждую картину, каждую фреску. Наконец я вышел из терпения! Чем я мог ему отомстить? Тогда я начал ему в свою очередь объяснять историю итальянской школы, наврал ему с три короба о Микеланджело, о Рафаэле, о Леонардо да Винчи, о Бенвенуто Челлини, о Рибейре... Мой проводник заметно угас. Тоскливое выражение появилось в его глазах. Мне даже показалось, что он похудел за эти несколько минут. Но вдруг опять его глаза блеснули радостью. Он распахнул окно и с торжеством показал мне пальцем на Лидо, где стояло несколько броненосцев:

— Посмотрите, синьор, это иностранная эскадра.

Каково же было его удивление, когда я ему спокойно возразил:

— Синьор! Для меня это вовсе не иностранная эскадра. Это часть русского флота, флота моей родины. Видали ли вы на корме белый флаг с косым синим крестом? Это, если вам угодно знать, Андреевский крест.

В эту минуту я думал, что победа осталась за мной, но не тут-то было.

— Так вы русский? — спросил сторож. — В таком случае я вам покажу одну вещь, над которой подолгу останавливаются все знаменитые русские путешественники, графы, принцы, бароны и князья.

Он ткнул пальцем в какую-то щель, проделанную насквозь в стене, и торжественно произнес:

— Le donosse!!! Сюда приносили жалобы на граждан великой Венецианской республики другие граждане.

Тут я ничего не мог поделать. Потрясенный и взволнованный, я сунул ему в руку франк и со слезами на глазах вышел на площадь св. Марка.

Длинная, нелепая каланча — Kampanilla (колокольня), — мимо! Жирные, зобастые, разнеженные, извращенные голуби, которые фамильярно садятся вам на плечи, и какие-то старые ведьмы, которые тут же продают для этих голубей моченые кукурузные зерна, — мимо! На приземистом соборе св. Марка четверка бронзовых позолоченных коней, некогда украшавших триумфальную арку Нерона, — прекрасно!

И вот, наконец, мы входим в прохладную сень собора св. Марка. Но еще на паперти мое внимание останавливает небольшое окошечко с правой стороны, ведущее в нечто вроде часовни. Я требую, чтобы меня проводили туда. Но очередной сторож подобострастно изгибается и говорит, что туда можно войти только за отдельную плату, и притом прибавляет он: «Может быть, дамам, которых вы сопровождаете, будет не совсем удобно глядеть на то, что там находится? И, кроме того, это обойдется по двадцати чентессимов с каждого лица».

В конце концов около него появляется его помощник и, вероятно, такой же мошенник. Оба они с преувеличенным усердием открывают тяжелую дверь.

Совсем небольшая комната. Посредине ее возвышается бронзовое ложе и на нем лежит бронзовый

кардинал. Его звали Зено. Его тело прикрыла до пояса кардинальская мантия. На голове двурогая митра. Маленькие изящные руки сложены на груди — маленькие руки, к которым прикасались уста сотен прекраснейших в мире женщин, руки, которые были украшены некогда аметистовым кардинальским перстнем и сотнями драгоценных камней. Его лицо приводит меня в восторг. Орлиный нос, тесно сжатые властные губы, выражение надменности и презрения ко всему человечеству...

«Да, — думаю я, — этого человека безумно любили и страшно ненавидели. Его тонкие пальцы умели нежно ласкать, но умели сжимать чеканную рукоятку кинжала, или бестрепетно вливать в кубок своего врага и гостя смертельный яд, или вкладывать ему в рот во время причастия отравленную облатку».

Лицом к нему прикованы на цепях скалящие на него зубы два прекрасных льва, выточенные из рыжего гранита. Я узнал, что монумент был сделан современником кардинала, скульптором Alessandro Leopardi, а львы принадлежат работе неизвестного художника. Но тотчас же другое поразительное зрелище останавливает меня. Под потолком, в небольших размерах, рассказана художником в виде мозаик вся история Ирода, Иродиады, Саломеи и Иоанна. Художник этот — Ботичелли.

Конечно, на любой из русских выставок цензор по части художественных картин велел бы убрать эти фрески или по крайней мере завесить их простынями. Здесь с грубой, но прелестной наивностью изображены нетленными красками: и роскошный пир Ирода, и пляска Саломеи, и палач, отсекающий голову, и отдельно самая голова, изображенная с ужасными реальными подробностями, с текущей кровью и со слипшимися волосами. А знаменитый танец Саломеи заставил бы покраснеть и отвернуться Иду Рубинштейн.

На Саломее... на ней, то есть я хотел сказать, на этой длинноногой прекрасной женщине, с невинно наклоненной набок головой и с удивленно

поднятыми кверху тонкими бровями... вы понимаете, что я хочу сказать?.. на ней нет совсем ничего.

Мне кажется, моя догадка не ошибочна. Ботичелли писал эту роскошную картину для кардинала. Неизвестный художник почтительно поднес ему высеченных из гранита львов. А кардинал повелел окружить свою гробницу любимыми произведениями искусства и не пускать к нему в его вечное жилище назойливую публику.

Три дня подряд я посещал этот удивительный склеп, потом... длинный, скучный путь до Вены, мещанская Вена, возмутительная русская таможня в Границе, и — господи, благослови! — Россия.

P. S. Неизбежный совет всем русским туристам. Оставляйте Венецию и кардинала Зено в виде десерта: после них все кажется пресным.

ЮГ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

I. ЮЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ

В маленьком, как курятник, купе помещалась милая французская семья: молодой лейтенант инженерных войск, его худенькая болезненная жена с кроткими усталыми глазами, его теща, еще красивая, начинающая седеть, молчаливая, но энергичная дама, и их общее божество, гражданин свободной Франции Пьеро, двух месяцев от роду, большой шалун, по мнению родителей, и хитрец. Я же отметил у него хорошо поставленный голос.

Устраиваясь на ночь, мои соседи из преувеличенной боязни сквозного ветра закрыли плотно все двери и окна не только в нашем помещении, но и в коридоре... Ночь была знойная, от толстой суконной обивки и от множества мягкой домашней рухляди шла жаркая, прелая, кислая духота. Я уже знал, что не заснуть. Поворочался час-два у себя на верхней полке, ловя воздух ртом, как рыба, а потом осторожно сполз вниз и вышел на площадку.

Там оконная рама была приспущена вниз. Я жадно высунул голову в свежую темноту ночи, в упругую встречную струю ветра. И вот с неописуемым изумлением, с нежностью, восторгом и благодарностью я увидел звезды.

Я их не видел целых пять лет (последний раз в Финляндии); вернее сказать, равнодушно глядел на

них сквозь густую кисею городской пыли и копоти, и казались они мне такими далекими, маленькими и вялыми, такими забытыми и запущенными, что даже не думалось о них хорошо. И вдруг передо мною мгновенно предстали миллионы сияющих глаз, золотые и серебряные россыпи на черном небе, живой, шевелящийся, блестящий, переливающийся рой.

Так много было звезд в моем оконном квадрате, точно они сбежались сюда со всего неба. Ни одного знакомого созвездия я не находил. Плыли какие-то совсем новые, невиданные группы. Я заметил корму корабля с тремя ярусами парусов, сделанных из серебряной вуали, летящее копье с раздвоенным наконечником, туманное озеро в оправе из брильянтов, развязанный пояс с застежкой из чудесного сапфира и чей-то ярко-зеленый прищуренный глаз, пристально глядевший из-за решетки...

Я нарочно заглянул в противуположное окно. Там было пустовато: всего только три десятка серьезных положительных звезд, чуждых всякой небесной фантазии, исполняющих свои прямые обязанности с неукоснительной аккуратностью. У меня же, наоборот, были какие-то звездные каникулы, какой-то веселый пикник звездных мальчуганов и девушек, собравшихся на запасных путях!

Никогда еще в жизни я не видел таких огромных, прекрасных и вместе с тем таких простодушных, домашних, доверчивых звезд. Я даже не смел думать, что я их такими когда-нибудь увижу. Они спокойно, без боязни и без гордости, спускались с неба до самой земли. Я их видел на высоте своего роста и гораздо ниже. Они путались в ветвях яблонь и непринужденно сидели на земле.

Если бы у меня было время и если бы поезд согласился немножко подождать меня, я пробрался бы через бегучий кустарник, ограждавший путь, вышел бы на круглую росистую лужайку, за которой всего в версте идет круглая черта горизонта, и, наверное, успел бы увидеть шагах в двадцати от себя хоть одну пушистую кроткую звезду. Нет, нет, я не попытался бы по земной дурной привычке дотронуться до нее

рукою. Я бы только поглядел с минуточку, потом снял бы шляпу, поклонился низко и ушел бы на цыпочках.

Вот какие странные вещи видишь и о каких странных вещах думаешь, когда высунешься бессонной ночью из окна летящего поезда! Помню, меня поразил необычный красноватый блеск слева. Я всмотрелся: там простиралось большое, открытое со всех сторон поле, а на нем, посредине, валялся брошенный кем-то кривой, узкий, источенный ятаган. Его ясная сталь блестела, как зеркальная, но тонкое лезвие было багряно от крови. Я не сразу догадался, что это собирается подняться над землею в последний раз старый, ущербленный месяц: завтра он уже не будет лежать среди поля, его сдадут в небесный музей.

Я долго следил за его воздушным восходящим путем. Ставши над деревьями, он сразу увеличился и засиял, по-прежнему, как победитель, но всего лишь на несколько минут. Тонкой розовой пылью кто-то посыпал сверху на поля, холмы и дали, и месяц сразу потускнел; потом, уже высоко в небе, он стал похож на отдаленный косой парусок рыбачьей лодки и вдруг исчез, растаял, пока я закуривал папиросу.

А тут я и сам не заметил, как ушли мои милые звезды, давно уже побледневшие от усталости. Должно быть, те, старшие, серьезные, — которые в другом окне, — угомонили их, наконец, и повели спать далеко за горизонт, на обратную сторону земли, туда, где люди ходят вниз головой, вверх ногами и почему-то, однако, не падают.

II. ГОРОД ОШ

Первое впечатление — Могилев на Днепре. Та же длинная, широченная, пыльная улица, обсаженная по бокам старыми, густолиственными, темными вязами. Так же жители идут не по сомнительным тротуарам, а посредине мостовой. Те же маленькие серо-желтые дома и ничтожные лавчонки.

В центре площадь. На дощечках она значится Верденской, но это — непривившаяся новость. Коренные обитатели до сих пор называют ее «Гусиной лапой» (Patte d'oie), потому что от нее пятью радиусами расходятся дороги на Тулузу, Ажен, Миранду, Тарб и в Старый город.

Много автомобилей, принадлежащих окрестным фермерам. Тяжелые грузы возят на быках. Страшно смотреть, какие огромные тяжести влечет, медлительно и в ногу, пара этих прекрасных, могучих животных, белой или светло-палевой масти, похожих на священных Аписов в своих белых попонах с голубыми каемками, в густых разноцветных сетках на массивных рогатых мордах!

Лошади здесь — большей частью серые, выводные из Тарба, как говорят, — с примесью арабской крови. Они малы ростом, но очень стройны, нарядны, горячи и неутомимы в беге. Запряженные в двухколесные лакированные желтые ящики, они мчатся по главной улице (Эльзас Лоррен, местный Итальянский бульвар) с таким пылким усердием, так часто-часто цокая копытцами тоненьких прелестных ножек, что вблизи кажется, будто за ними не угнаться призовому американскому рысаку.

Тут любят лошадей и лошадиный спорт. В крошечном Оше, где всего тринадцать тысяч триста жителей, есть свой ипподром, и только вчера я видел стенные афиши, объявляющие о скором открытии скаковых и беговых состязаний.

Все, что в Оше есть замечательного, можно, не торопясь, осмотреть в один день. Прежде всего Собор св. Марии с чудесным витражем Арно де Моля и резными из дуба хорами — изумительная работа монахов XVI столетия. Рядом торчит вверх своими семью этажами серо-желтая четырехгранная башня с островерхой коричневой крышей — темница, куда сажали своих врагов и провинившихся вассалов графы д'Арманьяки, наследовавшие князьям Гасконским в начале XI столетия. Есть еще крытый рынок, где по понедельникам торгуют птицей, скотом и овощами, но это также и биржа по закупке и продаже оптом,

Есть музей с портретами де Лавальер, де Монтеспан и де Ментенон кисти Миньяра. Есть в разных местах пять статуй. Все эти достопримечательности находятся в старом нагорном городе.

Между старым и новым городами, разделяя их, не протекает, а стоит речка Жер с зеленой густой и грязной водой. Вот, кажется, и все.

Я приглядываюсь к жителям Оша (les Auchescains, как они себя называют) вот уже почти месяц, но чувствую, что одно из двух: или мне не удается найти ключа к душе заглохшего древнего города, или ключ этот давно уже потерян.

Я нахожусь в столице Генриха IV, в центре Гаскони; в самом сердце поэтической, воинственной, остроумной, пылкой, славной страны; на родине Монтлюка, Рокелора, Бирона, д'Артаньяна, Сирано де Бержерака и других храбрых, но бедных гасконских кадет, воспетых Саллюстием де Барта, Александром Дюма и Эдмондом Ростаном. Где же хоть отзвук, хоть легкая тень прежней жизни — такой богатой и блестящей? Не съели ли ее, как многое другое, столь прекрасное издали — порох, книгопечатание, революция, железная дорога и готовая пиджачная пара со штанами навыпуск?

Жители Оша степенны, терпеливо-любезны, когда к ним обращаешься с вопросом или за указанием. Никогда не торопятся, скупы на жесты. Есть на всем городе тонкий налет меланхолической, задумчивой усталости. Изредка, когда я желаю доброго дня почтенному, пожилому буржуа, я слышу в ответ старомодное и четкое:

— Je vous salue, mon sieur...

Это звучит очень веско: «Я вас приветствую, мой господин»; не хватает только для круглости фразы: «...в моем добром городе Оше».

Днем очень мало людей на улицах и почти совсем нет их в лавках. Только старые женщины — все в черном, в черных шляпах или косынках — сидят на порогах домов и быстро мелькают вязальными спицами, озирая вскользь каждого прохожего. Но по вечерам, когда спадет жара, посвежеет и потемнеет

воздух и зажжется электричество, — на главной улице начинается то же гулянье взад и вперед молодежи, как это бывает и в Коломне, и в Устюжне, и в Петрозаводске. Девушки одеты по-парижски, черноглазы, с прекрасным цветом лица и очень милы. А на освещенных верандах кафе, под платанами, мужчины солидно тянут свои аперитивы, большей частью — когда-то знаменитый арманьяк, подлинный секрет которого давно утерян.

На верандах редко увидишь канотье или фетровую шляпу. Преобладает баскский берет, туго и крепко облепляющий всю голову, с пипочкой наверху — для снимания перед сном. Этот берет очень низко надвинут на лоб, почти закрывая его, что еще больше подчеркивает внушительность знаменитых гасконских носов. Когда, сидя на веранде, я вижу вокруг себя эти загорелые лица, жесткие черные усы, выразительные глаза, большие серьезные носы и слышу непонятный мне местный говор, — я воображаю себя в садике тифлисского духана.

В маленьких кабачках иногда поют хором и — представьте, — к моему удивлению, — не только на три голоса, но и стройно. До сих пор я привык к тому, что во Франции поют все в унисон и каждый фальшиво. Но уже давно известно, что у южан два пристрастия: музыка и чеснок. Могу свидетельствовать о том, что ошский чеснок обладает особенно острым и сильным ароматом, и когда им благоухают нежные женские уста, слегка затененные прелестным пушком, — это выходит совсем трогательно.

Конечно, я могу ошибиться, но мне кажется, что в этом плоском, скучном, невыразительном, сонном городе нет ни местной кухни, ни национального костюма, ни легенд, старых обычаев и танцев.

Память о славном прошлом вся ушла на ту сторону Жера, в Старый город, куда надо подняться или на сто семьдесят пять ступеней так называемой «монументальной» лестницы, или в обход, кривыми горными улицами.

Там, как на блюдечке, стояла когда-то грозная крепость со стенами саженной ширины, с башнями,

амбразурами и бойницами, господствуя над всей доступной взору окрестностью. Теперь от этой былой мощи остались лишь молчаливые полуразвалины, кое-где реставрированные, кое-где заслоненные новейшими однообразными домами, желтыми, плоскими, без карнизов и балконов, казарменного типа.

Сверху вниз, путаясь между собою, бегут узкие крутые улочки, носящие странное название «les Pousterles», а по-итальянски «pusterla» [1].

Это слово, видоизменившись, перешло в современную фортификацию под названием «la poterne», потерна, что означает подземный ход. Когда-то эти улицы, иные в ширину не больше человеческого размаха, а крутизною круче сорока пяти градусов, крытые и замаскированные, служили ходами сообщений, хранилищами припасов и путями для вылазок. И несомненно по этим потернам на головы атакующего врага скатывались огромные камни, лились потоки горячей смолы и расплавленного свинца.

Я заворачиваю вдоль каменного невысокого парапета и еще издали вижу синюю дощечку с надписью: «Старая потерна». Спуск этой узкой улочки так стремителен и резок, что у меня мутится в голове и слабеют ноги. В то же время я с несомненной ясностью вспоминаю, что когда-то, давным-давно, в позабытом ли сне, или в отдаленной прошлой жизни, я так же стоял на гребне этой кручи, прежде чем спуститься в нее, и что тогда душа моя была вся скомкана и раздавлена тягчайшей болью и злым унынием. Я знаю, что тогда я все-таки сошел вниз, преодолев свои колебания, а теперь... смогу ли?

Но я и теперь пересиливаю минутную робость. Упираясь рукою в стены крошечных серых домиков, цепляясь за подоконники, я медленно сползаю вниз. Мне кажется, оставь я эти каменные опоры — я сейчас же покачусь безудержно, стремглав, вниз через голову и боком. А двое детей лет четырех-пяти беззаботно играют посредине улицы!

---

[1] Итальянцы были лучшими военными инженерами XI—XV веков. *(Прим. автора.)*

Так доползаю я донизу. Стоя уже на ровной почве, оглядываюсь назад. Отвесные стены улицы сходятся наверху в одну точку. А выше — зубцы шпиля и жуткая башня крепости. Страшновато.

Да, здесь когда-то жили люди железной воли, великой храбрости, жестокого веселья. Не они ли, украсив французскую историю военными страницами, исчерпали силу народного духа и пламень народной крови. Пусть гасконский крестьянин ест себе на здоровье свою воскресную курицу, но из гасконских городов выветрилась поэзия!

III. «ФАВОРИТКА»

В одном, лишь в одном отношении я считал себя счастливцем и баловнем судьбы. В какой бы город или городишко меня ни забрасывал случай — везде меня ждали: либо новое зрелище, либо занимательная встреча, которые связывали накрепко мою память с местом. Поэтому с некоторой обидой я уже думал о том, что город Ош останется навсегда в моих воспоминаниях пустым, плоским и скучным промежутком.

Но все-таки и на этот раз привычная удача не обманула меня. Правда, — под самый конец, под занавес.

Однажды утром на площади «Гусиной лапки» появились большие красные афиши. В них извещалось, что такого-то числа (дней через десять) будет поставлена на улице Оша, под открытым небом, комическая опера «Фаворитка», сочинения Доницетти. Участвуют такие-то артисты и артистки: из «Гэтэ Лирик» в Париже, из Тулузского Капитолия и благородный бас (basse noble) из Марселя, господин Казабон. Хормейстер и дирижер такой-то. Билеты по пятнадцати, десяти и пяти франков, променуар[1] три франка. Начало в восемь часов тридцать минут вечера.

Я всегда любил представления на свежем воздухе. Одно из них — «Кармен», — виденное и слышанное

[1] Места для стояния в зрительном зале вокруг партера *(франц.)*.

мною тринадцать лет назад в городе Фрежюсе, в развалинах древней римской арены, с участием великой Сесиль Кеттен, — до сих пор еще живет в моей душе во всей его незабвенной прелести, торжественной простоте и необычайной силе.

Ждать спектакля пришлось много дней. Я несколько раз заходил на улицу Гоша. Она коротенькая, но широкая. Тротуары отделены от мостовой двумя рядами старых, мощных, развесистых платанов. В конце этой аллеи — высокий квадратный помост. Он прочен, выкрашен голубоватой масляной краской и, очевидно, выстроен для постоянного пользования. Даже утром, в день спектакля, я не заметил около него никаких приготовлений, кроме наружной будочки-кассы с надписью «pelouse 2 fr.» [1] (очевидно, ее взяли напрокат со скачек) да двух принесенных бревен, на которых сидели два блузника и флегматично курили. Такое равнодушие к близкому представлению меня чуть-чуть смутило, тем более что старожилы, — а они всегда скептики, — уверяли меня:

— Не беспокойтесь. Если даже не будет дождя, то все равно спектакль может не состояться по сотне внутренних причин. Такие примеры бывали. И даже за пять минут до начала.

Тем не менее к определенному сроку (уже смеркалось) я купил в деревянной будочке билет и проскользнул в щелочку забора, только что поставленного поперек улицы. Другой забор огораживал зрительный зал с другого конца.

Было пустовато. Во всем мире провинциальная публика неаккуратна: появляться первыми в театр, концерт или на бал — неприлично: «Еще подумают — что для нас это в диковинку!»

Занавеса не было вовсе. Вдоль трех сторон сцены стояли пальмы в кадках и какие-то большие разлатые цветущие растения. Позади их — полускрытые электрические лампионы; еще сзади, как фон, повисли разноцветные флаги: английские, американские, испанские, итальянские и, на первом месте, фран-

[1] «Лужайка 2 фр.» — наиболее дешевые места на скачках *(франц.)*.

цузские, вокруг букв R. F. Над зрительным залом на высоком столбе матово сиял электрический фонарь.

Публика собиралась вяло. Вышел на сцену какой-то серенький человек и утвердил в правом углу среди кустов деревянный голубой крест. Я сразу догадался: первый акт происходит на кладбище или около церкви... Потом оказалось — в монастырском саду.

Застучали за кулисами палкой. Пришел оркестр: пять человек, не считая пианистки и дирижера. Еще раз застучали. Дирижер, лысый, с длинной седой бородой, ветхозаветный старик, взмахнул палочкой — и началась увертюра, а затем гуськом прошел хор монахов.

Ну, что сказать о содержании пьесы? Монах Фердинанд влюбился в фаворитку короля Альфонса. Она — в него. Монах покинул монастырь. Королю подали перехваченное письмо. Вот и все. Трагической развязки я так и не узнал из-за множества купюр.

Конечно, я видал спектакли и похуже. Как и всюду, хористы (четыре человека) знали только один классический жест — жест остолбенелого изумления: тело откинуто назад, правая рука вытянута вперед и вбок, к соседу с растопыренными пальцами, глаза вытаращены. Хористки (три) стояли безучастно, с руками, сплетенными ниже живота. У благородного баса в голосе остались всего две дребезжащие ноты. У короля, баритона, часто выскакивали петухи. Тенор козлил и становился на цыпочки, атакуя конечное фермато. Примадонна на высоких нотах делала рот вроде удлиненного О, внизу немного свороченного набок. Но все это так уже положено с первоначальных дней оперы...

И все-таки... все-таки музыка Доницетти, — старая, условная, наивная музыка, — мила, проста и чиста, как свежая родниковая вода, вкус которой мы уже позабыли, объевшись и опившись пряными кушаньями и напитками. Все-таки оркестр и хор делали свое дело старательно и очень музыкально. Все-таки артисты увлекались и увлекали публику. И дай бог всякому артисту, особенно начинающему, такую простосердечную, горячую и снисходительную публику. Каждую арию она встречала чудесными, искренними

аплодисментами, на ошибки только смеялась добродушно, по-семейному, а в особенно музыкальных местах простодушно и не без вкуса подпевала хору.

А в самом конце четвертого акта меня ожидала минута редкой красоты и радости.

Фаворитка на сцене одна, в белом платье.

Жалуется она на свою печальную судьбу. Страшен гнев короля, страшно за любимого, и еще страшнее и горше расстаться с любовью. Нежным пианиссимо, тихими вздохами ей аккомпанирует оркестрик, и бережно, сочувственно вторит ей в терциях задумчивая, покорная волторна... Я поднял голову кверху. Рядом с электрическим сияющим шаром стоит такой же величины, как и он, полная луна. Цикады во всем Оше и окрестностях заливаются своим неумолкаемым, сухим, серебряным звоном; ароматом свежего сена наполнен воздух.

Две большие ночные бабочки налетели на фонарь и бьются об него, бросая огромные, порхающие тени на головы зрителей. И вдруг начали свой сиплый, густой, музыкальный бой трехсотлетние кафедральные часы. И вот оркестр, и цикады, и бегающие трепетные тени, и древний звук часов, и запах сена, и две луны в небе — все это слилось в такую нежную, прелестную гармонию, что сердце сжалось в сладком, сладком, невыразимом восторге.

Ах, стоит жить из-за таких вот двух-трех секундочек, изредка и случайно выпадающих на нашу долю!

IV. ЖИВАЯ ВОДА

Целый день от Оша до Тарба, потом до Лурда и Пьерфита карабкался поезд в гору. В Пьерфите пересели в электрический вагон и доползли к сумеркам наверх в горный курорт Сен-Совер-Лебен. И во всю дорогу, то следуя рядом с ней, то ее пересекая, извивались и мелькали под мостами мелководные, быстрые, каменистые горные реки, стремительные речки, торопливые шумные ручейки, а вдали пенистые, узкие каскады повисли в горах белыми нитями. И чем

выше, тем больше было этих «gaves» (потоков), как их называют в Верхних Пиренеях.

Сен-Совер лежит по обеим сторонам крутобокой лощины, на дне которой бежит, то расширяясь, то суживаясь, весь в водоворотах, пене и блеске, гремучий Gave de Peau.

С чем сравнить этот горный пейзаж? Там, где он красив, — ему далеко до великолепной роскоши Койшаурской долины и до миловидного нарядного Крыма. Там, где он жуток, — его и сравнивать нельзя с мрачной красотою Дарьяльского ущелья. Есть местами что-то похожее и на Яйлу и на Кавказский хребет, но... давно известно, что у нас было все лучше!

Несмотря на позднее время, я успел пробежаться по главной горной дороге от Люза до легкого железнодорожного моста через речку, построенного по желанию Наполеона III.

Этот император, бывший адвокат из города Гама, очень любил свой юг и в особенности Пиренеи. Это он открыл Сен-Совер, вдохнул в него жизнь и дал первый толчок его сердцу. Не его вина, что этот благословенный уголок облюбовали американцы и англичане. Ведь давно известно, что там, где повелись жить мистер Доллар и сэр Фунт, — нам, простым смертным, не житье. Первейшие удобства комфорта здесь еще помещаются во дворе, под открытым небом, а суточная плата за номер и табльдот — как в ниццских отелях в сезонные месяцы. Впрочем — ничего. Мир еще очень обширен.

Меня поразило обилие воды. Она струится, плескается, журчит и скрежещет камнями повсюду: впереди вас и сзади, над вашей головой и под вашими ногами, бежит опрометью вдоль узких тротуаров, льется светлыми дугами из труб, белыми, клокочущими, ярыми клубами бьет прямо из скал, падает с уступа в горах многоярусными водопадами.

Ночью я проснулся в своем гостиничном номере. Спросонья мне показалось, что на улице идет проливной дождь. Именно тот ливень, про который говорят: «Разверзлись хляби небесные» и «льет как из

ведра». Я босиком пошел затворить окно. На небе было тихо и звездно. Облака спокойно окутывали вершины гор. Ветер заснул. Но неумолчным шумом, ропотом, плеском, звонким говором полны были земля и воздух. Это — бежали горные воды.

Весь горный массив Пиренеев становится мало-помалу исполинским источником электрической энергии. Все эти быстрые реки, сотни говорливых речек, тысячи быстрых, звонких ручейков — все они представляют собой неистощимый запас белого угля.

Их падение регулируется, их дикий разбег обуздывается системой каналов и шлюзов, их тяжесть и скорость, претворенные в электрические токи, уже дают свет городам и движение машинам. На каждом горном извороте вы увидите легкое здание с надписью «Электрическая станция». Из Пиренеев до Орлеана тянутся на шестьсот верст толстые металлические кабели, подвешенные десятками параллельных линий на массивных железных столбах. Скоро-скоро они дотянутся и до Парижа.

Здесь всего лишь начало того грандиознейшего предприятия, думая о котором, невольно проникаешься почтением к человеческому гению. Скопидомы, жилистые люди, идолослужители сберегательной книжки, а как развернут какое-нибудь сооружение, — то только диву даешься: как это они с планетарной грандиозностью всегда умеют соединить изящество и остроумие!

Ах уж эти французы! Впрочем, не они ли — эти эгоистичные и бережливые люди — отдали все, что могли, для великой победы, отдали и трудовыми сбережениями и драгоценной гальской кровью? Какая широта народной души!

Хорошо тому, кто рано просыпается и с рассветом выходит на воздух. В путешествии это верный подход к городу, стране и народу.

Первое, что я увидел, — был городской базар,

Вообразите себе два старых, раскидистых платана; между ними крошечный фонтанчик, игриво бьющий дугою из каменной чашки, а слева и справа две деревянных скамьи без спинок. На скамейках сидят шесть старушек, все в черных одеждах и в черных широких шляпах, все, сгорбившись, единообразно и быстро мелькают вязальными спицами и что-то беззвучно лепечут под плеск фонтана, склоняя друг к дружке мышиные головы. На коленях у них малюсенькие корзиночки, и в них овощи; не связками, не пучками, а штучками — у одной шесть луковиц, у другой — четыре морковки, у третьей — два толстых развесистых порея, у следующей — один капустный кочан, дальше — чуть-чуть свеклы, а еще дальше — чуть-чуть стручков. И это — весь рынок.

«А может быть, это вовсе не рынок, — думаю я на секунду, — а первая репетиция какой-нибудь мистической пьесы Ибсена, Метерлинка или Андреева на огромной сцене, с отрогом Пиренейского хребта на заднем плане». Так странно и неправдоподобно это зрелище. И первая покупательница вовсе не рассеивает моей фантазии. Она очень стара, высока и костлява и также вся в черном. Она подходит к самой левой из старух, вытаскивает своей длинной, узкой, жилистой рукой со скрюченными пальцами один стручок из корзины, отламывает половину, остальное бросает обратно. Торопливо, по-беличьи грызя кожуру, она подходит к соседней старухе, потом к следующей и так до конца. И все пробует. Делается это молчаливо и поспешно. И так же молча, не купив ничего, быстрыми шагами она уходит за кулисы. В самом деле, кто мне поручится, что это была капризная покупательница, а не театральная фея Фисрис, обладающая, по пьесе, дурным, неуживчивым и вздорным характером, зная который, мышиные старушки не подымали глаз от вязанья, а только тихо наклонялись одна к другой и беззвучно перешептывались?

В это утро, пока черно-лиловые горы медленно делали навстречу солнцу свой туалет, снимая с себя

сначала тяжелые сизые одежды из густых облаков, а потом легкие, белые и розовые покровы туманов, я успел осмотреть все достопримечательности Сен-Совера. Их очень мало, и из них самые главные и самые сладостные — это бегущая, журчащая повсюду живая вода и зелень лугов, кустов и деревьев, — такая нежная, свежая и благоуханная в августе, какой она внизу, на равнине, бывает только ранней весной. И от сена здесь разливается несравненный, неописуемый аромат. На каждой улице, вдоль тротуаров, бегут прыткие струистые ручейки, а в них на каждом шагу опущены двухлопастные деревянные вертушки, которые крутятся с усердной быстротою. В жаркие дни это приспособление освежает воздух, но его можно приспособить и к прядильной мастерской и к домашнему электрическому освещению.

Вот я вижу, как такой беспокойный ручьишко круто свернул вправо и нырнул в трубу под мостовую. Но в заключении он побыл всего две секунды, выскочил на ту сторону улицы из-под земли и по крутому откосу стремглав мчится в ущелье, в бурный, клокочущий, кипящий Gave de Peau. Прыгает он с бугра на бугор по круче, змеится, обегая деревья, падает белыми отвесными каскадами, прыгает через камни, разбрасывая брызги и пенясь... Весь он — движение и упругая энергия. Он совсем похож на расшалившегося годовалого жеребенка, и мне хочется ласково сказать ему:

— Кось-кось-косенька (так в Зарайском уезде кличут молоденьких жеребят)! Погоди, резвый кося, поймают тебя опытные люди на бегу, обротают, взнуздают и запрягут. Правда, побьешься ты и пофордыбачишь достаточно, но кто же устоит против человека? А там, глядь, — присмиренный, ручной, добежишь ты до Парижа и меня, французского гостя, будешь послушно возить каждый день по рельсам от площади Мюетт до Порт-Майо и обратно.

ПАРИЖ ДОМАШНИЙ

I. ПЕР-ЛЯ-СЕРИЗ

Если переводить это прозвище на русский язык, то всегда складнее было бы сказать: дядя Слива. «Отцом» — и то с приставкою имени или сана — у нас называют лишь лиц духовного звания; родного отца зовем: батюшка, тятя, тятенька, родитель, папенька, папаша. «Дядя» — семейное, соседское, дружеское обращение, не лишенное порою небрежной сердечности или легкой насмешки. «Ус да борода — молодцу краса: выйдешь на улицу, дяденькой зовут». А если к тому же кличка «пер-ля-Сериз» обессмертила чей-то нос, то уж никогда вишне, даже владимирской, не устоять цветом и величиною против крупной красной сливы-венгерки... Впрочем, так и быть: оставим из вежливости французский Sobriquet[1].

Нос у пер-ля-Сериз'а и правда замечательный: большущий, круглый, сизо-красный, сияющий. У Шекспира Бардольф, кабацкий приятель беспутного принца Гарри, вероятно, обладал таким же носом: «...Когда спускаешься с Бардольфом в винный погреб, не надо брать с собою фонаря...»

Настоящее имя пер-ля-Сериз'а давным-давно вылиняло, стерлось под прозвищем: должно быть, этот

[1] Прозвище *(франц.)*.

старый огненноносый, веселый толстяк и сам его с трудом вспоминает. Нет у него никакого общественного положения: ни службы, ни места, ни профессии, ни работы. Никто не скажет, где он живет и есть ли у него семья. Но весь коренной, настоящий Париж, уже во многих поколениях, знает и помнит пер-ля-Сериз'а гораздо больше, чем бесчисленное множество знаменитостей, которые всегда наполняют атмосферу великого города двухминутным блеском своих имен. Лишь старому «тигру»[1] уступает ныне пер-ля-Сериз в популярности, как уступал прежде Сарре Бернар.

Кто же он, наконец, этот прославленный пер-ля-Сериз? — Да никто. Или почти никто. Игрок на скачках.

В Париже и его окрестностях чуть ли не десять прекрасных ипподромов, и нет дня, круглый год, без перерыва, чтобы хоть на одном из них не было скачек, которые так страстно любимы и посещаемы парижанами. Правда, бывают изредка хмурые, дождливые дни, совпадающие с неинтересными скачками на малые призы, когда аристократические трибуны (Pesage) слегка пустуют. Но демократическая дешевая лужайка (Pelouse) всегда людна, невзирая на дождь, снег, мороз, град, молнию, ураган и чертовский зной. В большие дни она — сплошь черная и кипящая народом — вмещает сто тысяч зрителей. И всегда вы на ней можете без труда разыскать пер-ля-Сериз'а по его большому росту, толщине, громкому голосу, домашнему, небрежному костюму и великолепному носу. Вокруг него, в ожидании первого звонка, особенно густеет толпа.

Он знаменит, а слава обладает магнитным притяжением. Он удачливый игрок, а вся масса, толпящаяся на лужайке, состоит из горячих игроков. Он великий знаток конюшен, тренеров, жокеев и лошадей с их родословными, вплоть до прадедов и прабабок, но кто же из бесчисленных зрителей не слагал

[1] Почетное прозвище Клемансо. *(Прим. автора.)*

и не учитывал сегодня с утра всех этих данных, включая сюда еще возраст, пол, вес, характер и погоду.

Но главное — пер-ля-Сериз говорит остро, быстро и забавно. В Париже безмерно чтут хорошо сказанное слово: все равно, будь это красноречие клоуна, уличного продавца галстуков и подтяжек, митингового крикуна, смелого адвоката или любимого депутата. Каждый француз — прирожденный оратор, исключая немых, а также заик, которых в Париже вовсе нет. Во Франции, впрочем, говорят и мертвые; и всегда — блестяще.

Конечно, у многих слушателей пер-ля-Сериз'а есть тайная, корыстная надежда на то, что этот продавец скачечных судеб возьмет да и расщедрится на счастливое tuyau [1]. Оттого то пер-ля-Сериз'а и осыпают со всех сторон торопливыми, игриво-жадными вопросами. Он отвечает охотно, легко и забавно, но в духе дельфийского оракула, которому вздумалось побалагурить. Обращаются к нему на «ты», но тут нет ничего обидного. Скорее это заслуженный почет. Парижская толпа всегда тыкает своим прочным любимцам, и это ценно для них, подобно тому как в старое время «ты» в устах короля было для придворных высшим знаком отличия, одобрения и близости.

— Вы хотите непременно выиграть на первом месте в призе «Лютеция», — говорит пер-ля-Сериз, щуря свои тяжеловекие, лукавые глаза, — нет ничего легче. Поставьте сразу на всех восемь лошадей. Выигрыш несомненен.

Спрашивавший возражает кисло:

— Да. А если придет Фаворит и за него дадут десять су?

— Ах, мой друг. Тогда не ставьте вовсе. Знаете закон: кто уходит со своими деньгами — тот всегда в выигрыше.

— Пер-ля-Сериз! Что ты думаешь о Ньодо? Есть ли у него сегодня шансы?

---

[1] Труба; иносказательно: подсказка, слух. (*Прим. автора.*)

— Как я тебе отвечу на это, старина? Ньодо — прекрасный жокей, — вот и все. Но чтобы сказать о шансах жокея, надо знать, что он вчера делал, что ел и как он провел ночь; в каком состоянии его желудок и как обстоят его любовные дела. А я знаю только его вес... Шестьдесят два кило.

— Аркебуз? — это лошадь! Ставь на нее, малютка, ставь все, что у тебя есть в кошельке, в портфеле и в заднем кармане. Выигрыш верный. Но одно маленькое-маленькое условие. С Аркебузом, видишь ли, поскачут еще пять лошадей. И надо непременно, чтобы одна из них сбросила своего всадника, другая упала на препятствии, третья занеслась в сторону, по ложному пути, четвертая внезапно захромала, а пятая вдруг остановилась бы перед барьером и ни за что не захотела его брать. Тогда Аркебуз притащит тебе, мой крошка, целый вагон денег. Не забудь только пригласить меня на обед с устрицами и анжуйским вином. Я тебе дал отличный подсказ.

— Нет, я не пророк, господа, и не ясновидящий. Только я, как и вы, учился в школе арифметике. Хороший жокей на плохой лошади, плохой жокей на хорошей лошади и средний жокей на средней лошади имеют равные шансы на успех. Вам остается только выбирать. А! Вы хотите знать судьбу наверняка? Но тогда пропадает вся прелесть игры, состоящая в риске и волнении. Тогда, старина, лучше открой мелочную лавку или сделайся собачьим парикмахером — выигрыш медленный, но верный...

Звенит первый звонок. Выставляются на досках номера лошадей и фамилии жокеев первой скачки. Глухо стучат компостеры в сотнях игорных касс. Толпа вокруг пер-ля-Сериз'а редеет, разбредается...

Только совсем желторотому новичку придет в голову идти следом за пер-ля-Сериз'ом и ставить на те номера, на которые он ставит. Проигрыш ему заранее обеспечен: пер-ля-Сериз ставит только на тех лошадей, которые никогда не могут прийти. Правда, на тысячном разе, при нелепейшем капризе судьбы, он берет баснословные куши, но они не покрывают мелких проигрышей, и не в них искусство пер-ля-Сериза.

Мелкие ставки он ставит лишь для того, чтобы сплавить, отводить от себя жадную публику, с которой поневоле пришлось бы делиться с выигрышем. Нет: все опытные посетители лужайки отлично знают, что пер-ля-Сериз'ова игра лишь стратегическая демонстрация. За него, по его таинственным приказам, играют в разных кассах послушные ему проворные помощники или крупные игроки, отделяющие ему высокий процент. Но эти люди до сих пор остались неуловимы для глаз любопытных.

У пер-ля-Сериз'а есть деньги, и порядочные.

Однажды весною, разнеженный красотою, благоуханием и свежестью майской ночи (об этом писали в газетах), пер-ля-Сериз вздремнул на скамейке в парке Монсо. Летучий велосипедист-городовой спросил у него вид на жительство, но такового у пер-ля-Сериз'а не оказалось с собою. Он мог только предъявить банковское свидетельство о вкладе на его имя нескольких десятков тысяч франков. Городовой был из новых, корсиканец, недоверчивый и весьма усердный к службе. Он отвел пер-ля-Сериз'а в комиссариат. Там все это недоразумение разрешилось в одну секунду. «Чудак! Да ведь это пер-ля-Сериз. Сам пер-ля-Сериз. Вы свободны, дорогой папа!»

Совсем на днях он опять попал в газеты, заставив весь Париж говорить о себе с добродушной улыбкой.

Он пришел на скачки ровно с пятью франками, составляющими минимальную ставку на демократической лужайке. Он показал эти пять франков своим неизменным слушателям и сказал:

— Покойный жокей Парфреман, прозванный «крокодилом», — великий жокей, — выиграл однажды пять первых призов. Но вы, мои старички, были еще бланбеками[1], когда легендарный жокей Мак-Канед взял все шесть. Так сегодня и я выиграю, на всех шести скачках, шесть первых мест.

Публика посмеялась. Все приняли похвальбу пер-ля-Сериз'а за обычное шутовство. Никто не следил

[1] Молокососами *(франц.)*.

за его игрою, кроме двух-трех человек, когда на лужайке разнесся слух, что у пер-ля-Сериз'а бешеный успех! Он играл уже в стофранковой кассе, где мелкие игрочишки не могли влиять на судьбу его ставок.

Он унес с собою шестьдесят четыре тысячи.

Я думаю, что здесь важны были не деньги. Мне хочется думать, что старинный любимец парижской толпы пер-ля-Сериз, — как-никак, а все-таки в своем роде один и единственный в Париже, — хотел широко заплатить своей публике за долголетнее внимание блестящим представлением в духе лужайки.

II. ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЫ

В третьем году, увязавшись за французскими друзьями, попал я в маленький, уютный, подземный кабачок, носивший заманчивое и великолепное название «Fleur latine». Впрочем, я теперь не знаю твердо, было ли здесь единственное или множественное число. Цветок или цветы латыни?

Там, вдоль стен узкого и тесного помещения, стояли деревянные столы, без скатертей, и деревянные скамьи, на которых сидела публика очень молчаливая и внимательная; среди нее много пожилых людей. Пились скромные напитки: пиво, вино с водою, лимонад.

Посредине маленькая эстрада и на ней крошечное, игрушечное пианино, основательно расстроенное...

Взошла на эстраду небольшая худенькая дама. Села на табурет, положила на пюпитр ноты, расправила юбку, поерзав на сиденье. Вслед за ней вышел высокий молодой человек лет тридцати пяти, с буйными волосами, гривой заброшенными назад, с короткой, козелком, бородкой, с красивым открытым лбом — похожий на портреты поэтов времен Мюссе и де Виньи. На нем была просторная куртка из рыжего рубчатого манчестера и такие же штаны, широченные на бедрах и ляжках, — совсем узкие у щиколоток.

С ясной улыбкой небрежно и любезно поклонился он захлопавшей публике и сказал круглым голосом:

— La Crotte[1].

Читатели без сомнения, знают, как это слово перевести по-русски. Две приятные, розовые, полные, благообразные старушки, сидевшие напротив меня за сосисками с картофельным пюре, подняли разом брови, подтолкнули друг дружку локтями и переглянулись с опасливым недоумением.

Человек в рыжем бархате, ничуть не смущаясь, выждал жиденькую интродукцию и запел свою песенку. Вот приблизительно ее смысл:

«Я проходил сегодня утром по старой улице Арбалет, где в давние годы наши предки занимались благородным искусством стрельбы из лука... Улица была тиха, прохладна и пуста, а вокруг нее со всех сторон ревел, грохотал, гудел, свистел огромный, жаркий, как раскаленная печь, Париж...

Вдруг неожиданно один предмет на мостовой привлек мое внимание. Это было нечто, казалось бы, совсем недостойное вдохновения, но в моей певучей душе оно, по старинной прихоти фантазии, родило нежную и грустную элегию. Я не скрою от вас, что взор мой остановился на том прозаическом следе, который оставляет после себя на мостовой хорошо кормленная лошадь... Но нет ни одной грязной вещи, из которой творческий гений не мог бы извлечь сверкающих алмазов поэзии, и разве не нашел волшебный Бодлэр в придорожной падали мотив для своих прелестнейших стихов?

Прислонившись к фонарю, я стоял и грезил:

Вот я вижу то, что все реже и реже видит парижанин на улицах своего вечного, своего великого города. Автомобиль, велосипед, автобус, камион, трамвай, метро, железная дорога, аэроплан, телеграф, телефон сделали совсем ненужной лошадь — это самое благородное завоевание человечества... «Когда бог окончил сотворение мира и собирался уже отдохнуть, он вдруг почувствовал, что чего-то не хватает в его

---

[1] Лошадиный навоз (*франц*.).

создании. Тогда он взял в свою всемогущую длань воздух, повелел ему сжаться и вдунул в него свое дыхание». Так, говорят арабы, произошла лошадь. Но, — увы! — скоро, через каких-нибудь жалких пятьсот лет, когда лошадь, как экземпляр редкого четвероногого, будет показываться в зоологическом саду, то, глядя на нее через железную огорожку, спросит мальчик: «Правда ли, мадемуазель Жюли, что на этом странном животном ездили наши далекие предки?» И бонна ответит уверенно: «О да, малютка. Это было в те времена, когда люди жили в пещерах, одевались в звериные шкуры и, еще не зная употребления огня, ели мясо сырым».

Какая сладкая грусть сжимает мое сердце, когда я думаю о нашем милом, еще столь недалеком прошлом, которое так тесно было связано с лошадью и кучером. Вспомните почтовые кареты, запряженные четверкою, рожок почтальона, щелканье бича и чудесные, забавные дорожные приключения. Тогда наши веселые прабабушки носили прелестные шляпки кибиточкой, с широкими лентами, завязанными бантом на длинных тонких шейках, а талии их платьев были так высоки, черные мушки на румяных личиках были так красноречивы, а маленькие ножки так изящны...

И ты, о незабвенный парижский фиакр! Наши старые дедушки и наши пожилые отцы лукаво улыбаются при твоем имени. Прошло больше ста лет, а твой кучер до сих пор неизменен. Тот же клеенчатый низкий цилиндр у него на голове, тот же красный жилет, тот же длинный бич в руке, тот же красный нос и то же непоколебимое кучерское достоинство. И лошадь твоя — Кокотт или Титин — по-прежнему тоща, длинна и ребриста и разбита на ноги и по-прежнему имеет склонность заворачивать к знакомым кабачкам. Но уже нет у дверец твоей кареты внутренних темных занавесок, которые когда-то, спеша, задергивала нетерпеливая, дрожащая рука...

Патриархальный добрый фиакр! Ты занимал много славных страниц в прекрасных книгах Бальзака, Додэ, Мопассана, Золя. Тебя хорошо знали

проказники Поль де Кока и влюбленные веселые студенты Мюрже. Ни один уголовный роман не обходился без тебя. И сколько раз твой старый кучер давал свидетельские показания в бракоразводных процессах...

Все течет, все проходит в этом мире, все обращается в тень. Но почему же так сильны для нас власть и обаяние прошлого? Юноша, с первым пушком на губе, с глубокой поэтической грустью посещает те места, где он играл, будучи нежным отроком. Так и нам жизнь наших предков кажется проще, красивее и гораздо полнее, чем наша. Или правда, что машины, отравившие воздух, убившие прелесть путешествия, заторопившие жизнь, нанесли непоправимый ущерб наивным радостям человечества.

Вот о чем я думал летним вечером на улице Арбалет...»

Так, или приблизительно так, пел гривастый человек в рыжем бархате. На глазах у моих соседок старушек я видел искренние теплые слезы, которых они и не трудились вытирать. Певцу много, но чинно аплодировали. Я — больше всех.

Сколько теперь осталось в Париже наемных фиакров? Говорят, только тридцать семь. С сожалением приходится признать, что убывает, вырождается, исчезает славный цех парижских извозчиков. Надо сказать, что и в Лондоне отходит в область преданий это почтенное сословие, о котором Диккенс изрек устами мистера Пикквика: «Души кучеров мало исследованы». Парижские извозчики — последние могиканы, остатние представители великого гордого племени...

Чуткий и памятливый Париж по-своему чтит эти живые обломки старины. В случае недоразумений между фиакром и такси уличная толпа всегда на стороне фиакра. Но эти случаи редки. Там, где бывает затор движения и экипажи продвигаются с великим трудом, там кучер, возвышаясь на своих козлах высоко над приземистыми моторами, являет

вид полнейшего спокойствия и твердой самоуверенности. Пусть такси — его злостные конкуренты и виновники потускнения его славы. Широким душам, облагороженным долголетним общением с лошадью, чужды зависть, месть и мелкие уколы. Глядя на своего врага сверху вниз, фиакр с презрительной улыбкой щурит глаза: «Движущиеся коробочки, зловонный экипаж, хрипучий комод — и это в Париже, в городе тончайшего вкуса!»

И никогда на людных скрещениях кучер не даст первого места шоферу: обожди, невоспитанный молокосос, пока проедет почтенный старик. И молодой человек слушается.

Бывают и у старых кучеров свои дни реванша. Это тогда, когда начинающие шофера держат экзамен на знание парижских улиц в комиссии, состоящей из седых, красноносых кучеров наемных фиакров.

— А ну-ка, mon vieux[1], скажи мне без помощи карты, каким путем проедешь ты от улицы Ранелаг до улицы Ройе Коллар?

Случается порою, что экзаменатор, вследствие ли разыгравшейся подагры, или по случаю вчерашнего лишнего литра божолэ, начинает так гонять ученика по всем закоулкам Парижа, что у того волосы на голове взмокнут. Но это бывает редко. Добрым душам не свойственна придирка. «Юноше ведь тоже нужен кусок хлеба. И, наверно, сейчас с дрожью в сердце ждет результата этого экзамена какая-нибудь крошечная белая козочка, такая ласковая маленькая кошечка».

Будет время, когда по улицам Парижа проедет в последний раз последний фиакр. И этот последний выезд, конечно, приведет его в один из исторических музеев. А может быть, будущие парижане увидят и будущий памятник кучеру таким, каким мы его застали. В низком цилиндре, с длинным бичом, в допотопном жилете, с пледом, окутывающим ноги?

---

[1] Старина *(франц.)*.

III. НЕВИННЫЕ РАДОСТИ

Нет на свете той красоты и той добродетели, которая, в чрезвычайно сгущенном виде, не превратилась бы в уродство. Чудесно пахнут духи Rose Jacqueminot, но концентрированная розовая эссенция непереносна для обоняния. Так и бережливость — навык весьма похвальный, но родственная ей скупость, доведенная до крайности, отвратительна.

Мы, русские, в мятежной широте души своей, считали даже самую скромную запасливость за презренный порок. В начале нашего парижского сидения мы почти единодушно окрестили французов «сантимниками», но разве, — черт побери! — мы за семь лет не прозрели и не убедились, с поздним раскаянием, в том, что бесконечно счастливы те страны, где всеобщая строгая экономия вошла более чем в закон, в привычку? Наше глупое «денек, да мой» оказалось хвастливым, жалким и фальшивым выкриком перед французским разумным: «Для себя, для детей, для родины».

Да: и для родины. Вспомните войну семидесятого года и пятимиллиардную контрибуцию, покрытую столь же легко, как и быстро. Посмотрите на колоссальные общественные сооружения во Франции.

Французский буржуа дорожит своим трудом и высоко его ценит. Он отлично знает, что су сделаны круглыми вовсе не для того, чтобы их легче катать ребром, а для того, чтобы они не протирали кошелька; наоборот, они сделаны плоскими для того, чтобы их удобнее было складывать в стопочки и относить в банк. С деньгами не шутят.

На работу французский буржуа лют и умеет требовать работу от подчиненных. Но без конца он трудиться не хочет... Подходит его возраст к пятидесяти пяти годам. В банке, в надежных бумагах, давно хранятся солидные деньги. Три четверти жизни в работе и накоплении. Одна четверть для полного почетного заслуженного отдыха (конечно, я говорю о мелких буржуа и о крупных рабочих). Вовремя продается предприятие, место и машина... Гордо и сладко жить

на ренту в провинциальном, родном, тихом городке... Вкусны: дневной аперитив и вечерний кофе в излюбленном кафе. Привычны: своя газета, свои собеседники, долгий спор на политические темы, ежедневная партия в манилью, или в белотт, на стаканчик «пикколо».

Мечта отдыхающего француза, особенно парижанина — это ловля рыбы на удочку. Но далеко надо ездить на рыбные места. Приходится ловить в Сене. Какие чудесные у французов рыболовные принадлежности, какая славная и разнообразная приманка, как красиво закидывает он леску и как они терпеливы!

Но, говорят, Сена на всем ее парижском течении — река совсем не рыбная, ибо вода ее испорчена отбросами города. Плодовита рыбой она становится только ниже Конфлана, там, где в нее вливается Уаза, и еще дальше. Впрочем, обо всем этом, чуждом мне удочном искусстве когда-нибудь гораздо авторитетнее, лучше и занятнее расскажет мой уважаемый друг А. А. Яблоновский (один из величайших современных рыболовов).

Отдыхающие буржуа, которые победнее и попроще, неизменно и неутомимо торчат круглый год над Сеной, на мостах и на прибрежных камнях. Часами торчат сзади них их досужие наблюдатели; не дождавшись, уходят; на их место становятся другие и также смотрят безрезультатно на рыболовов. Но, заметьте, — что значит культура! — ни один из зрителей не позволил себе пустить насмешливое или задирающее словцо; каждый из них с наслаждением подержал бы в руке, минут хоть десять, тяжелое удилище!.. А вдруг?

Впрочем, однажды я в 1923 году был свидетелем счастливой ловли. В ту зиму Сена так высоко поднялась в своих берегах, что не только погрузила в воду обоих зуавов под мостом Альма чуть ли не до подбородка, но слегка затопила метро Альма Марсо. Тогда Сена, стиснутая каменными набережными, яростно и круто стремилась вниз, грязно-зеленая, вся в кипящей пене и в клокочущих буграх, а над ней

низко и косо носились с резким писком бог знает откуда прилетевшие острокрылые белые чайки. Тогда рыба действительно брала! Я видел, как к вечеру, с трудом оторвавшись от сладкого азарта, один рыболов, пожилой, короткий и толстый буржуа, тщательно развинтил и сложил свою коленчатую удочку, смотал, кряхтя, леску и с триумфом пошел домой. В его патентованном эмалированном ведерце плескалась дюжина рыбок: две крошечные плотвички, пара пескариков, несколько уклеек...

О! надо было видеть его походку — походку старого, просоленного бретонского рыбака: широко расставляемые ноги, выпяченные локти, тяжелая перевалка с боку на бок. Для каждого из любопытных он останавливался и охотно приподымал истыканную дырками-продушинками крышку, чтобы показать ему свой богатый улов. Воображаю, как, придя домой, он священнодействовал у плиты, обваляв своих рыбок в муке и поджаривая их на фритюре. И с каким благоговением взирало на него потрясенное и счастливое семейство! Ну, не мило ли это? Во всяком случае, гораздо милее, чем приехать на автомобиле в Вилль д'Авре в шикарный ресторан, расположенный над озером Коро и после долгого завтрака заказать хозяину рыбную ловлю. Вам дадут все: удочки, приманку, табуретку, клевое место, и, если вы даже при всех этих услугах умудрились ничего не поймать, вас заботливо обеспечат свежей, только что выловленной рыбой; конечно — не даром.

Второе увлечение французов — птицы. Я не знаю других городов, где бы так любили птиц, как в Париже и Москве. Здесь во всех мансардах и ре-де-шоссе, там во всех чердаках и полуподвалах всегда в погожие дни выставляют в распахнутые окна, между горшками с геранью и фуксией, клетки с неизбежными канарейками. У нас держали еще в клетках соловьев, чижей, перепелов, скворцов; здесь часто держат рисовки, неразлучки и еще какие-то

маленькие, прелестные, ярко оперенные птички; названий их я не знаю; они продаются на набережной, где Самаритэн. Старые парижане еще помнят, как мелодично пели по утрам продавцы птичьего корма: «Mouron pour les petits oiseaux — aux...» [1]

Теперь эти утренние певцы исчезли, вывелись. А «mouron» — эта такая маленькая, нежная, бледная травка, которая у нас называлась мокрицей. Домашние птицы охотно ее клюют.

Но есть люди, которым одинаково неприятно глядеть как на рыбу, у которой извлекают изо рта окровавленный крючок, так и на птицу, заключенную в тесные пределы клетки. Эти любители животного мира предпочитают видеть рыб и птиц на свободе.

Парижские скверы и сады охотно посещаются вольной птицей. По их лужайкам доверчиво разгуливают даже такие сторожкие птицы, как черные, желтоклювые певчие дрозды. Здесь дрозд отлично знает, что французскому мальчугану никогда не придет в голову соблазн лукануть в него камнем. У русского дрозда такой уверенности, пожалуй, не найдется. Я не говорю о воробьях и голубях; эти подбирают хлебные крошки у самых ног человека и почти из рук, что можно увидеть ежедневно в Париже, повсюду, где есть только скамьи для прохожих и древесная листва над ней, хотя бы даже на Елисейских полях.

Парижские голуби очень красивы. Они стройны, тонки и грациозны. Оперение у них палевое. На стриженых парковых газонах, на их чистой, свежей, прелестной зелени они кажутся почти розовыми, и это соединение цветов необыкновенно радует глаз. Здесь я не видел голубей в таких огромных массах, в каких слетаются чугунно-сизые голуби на Красную площадь в Москве и серебряно-белые на площадь св. Марка в Венеции. Но однажды, вместе с покойным В. А. Рышковым, из его чердачной вышки на улице Турнефор, мы с умилением и с беззлобной завистью наблюдали, как напротив нас, через улицу,

---

[1] Зернышки для птичек с... *(франц.)*

высунувшись из какой-то клетушки над седьмым этажом, гонял неведомый нам охотник отличную стаю любительских голубей. И совсем как в Москве, посвистывал он тонко и резко на особый лад и так же размахивал в воздухе длинным шестом с привязанной на конце его тряпкой.

Вот у меня постоянно Париж и Москва...

Когда-нибудь, если найду время, я приведу десятки характерных бытовых черт, чудесно общих для двух этих старых городов, но совсем неподходящих к другим большим городам. А ведь сколько наблюдательных и вдумчивых людей говорило: «Сам не могу понять, чем мне Париж так напоминает Москву?» Или это болезненные призраки ностальгии?

Но разница в том, что Париж во все стороны жизни — и в науку, и в забаву, и в искусство — вносит две стойкие черты: изящество и законченность.

Весь средний Париж, ежедневно, во всех садах, скверах, аллеях и тенистых зеленых закоулочках с удовольствием кормит хлебными крошками воробьев. Но из тысячи человек один доводит это скромное буколическое занятие до профессионального совершенства, до главного смысла и цели своей жизни, перевалившей к спуску в долину Иосафатову. Зоркий Париж давно отметил тип такого давнего любителя и дал ему подходящее наименование. По-старому его называли «Oiseleur» — эпитет, который был приложен к имени короля Henri I, Генриха Птицелова. Но «Oiseleur» означает не только птицелова, а еще любителя, пожалуй, покровителя птицы. Как сказать по-русски — не знаю. Птицевод? Птичник? Птицелюб? Ужели птицефил? Это старое французское словечко как-то стерлось. Теперь такого птицефила именуют с некоторой литературной претенциозностью «enchanteur des moineaux». Очарователь воробьев? заклинатель? Воробьиный волшебник? Надо, однако, сказать, что сношения этих оригинальных людей с легкомысленными воробьями кажутся на первый взгляд и впрямь не лишенными колдовства.

Одним таким «уазлером» я любовался несколько дней подряд, приходя нарочно к двум часам дня на сквер Инвалидов, и теперь с удовольствием возобновляю в памяти его волшебные сеансы.

Вот он приходит медленными, грузными шагами. Ему лет пятьдесят пять. Он плотной комплекции и кажется книзу еще шире, потому что карманы его пальто, набитые хлебом, оттопырились. На нем старая широкополая фетровая шляпа. Не торопясь, он садится на зеленую скамеечку.

Воробьи уже давно его дожидались на газоне, против заветной скамейки. Теперь они слетаются со всех сторон и застилают зелень буро-бело-желтыми живыми комочками. Иногда мне кажется, что в этом мнимом беспорядке есть какой-то свой особый воробьиный строй и что-то вроде чиноначалия.

Очарователь отщипывает кусочек хлеба и, держа его двумя пальцами, подымает руку вверх.

— Алло! Феликс Фор! — восклицает он и ловко бросает хлеб.

Несколько воробьев срываются с мест, но один из них перегоняет всех и ловит кусочек на лету.

— Дюма-пер! Гамбетта! Фрейсине! Буланже! Лессепс!

Так выкрикивает Очарователь одно за другим громкие, старые французские имена, и с необыкновенным проворством, с замечательной точностью ловят воробьи в воздухе хлебные шарики.

Знают ли они свои имена? Мне хочется верить, что знают. Впрочем, за Гамбетта я почти готов поручиться. Он приметен своей броской белобокостью, и, кроме того, у него одно перо на хвосте, справа, должно быть, сломанное или погнутое, торчит в сторону. Мне кажется, что он всегда подлетает на имя Гамбетта.

Эта перекличка — первое действие. Окончив ее, Очарователь встает, подходит к самому обрезу газона. Левой рукой у груди он держит большую булку, а правой отрывает от нее крошечные кусочки и чрезвычайно быстро (но спокойно) подбрасывает их не высоко над своей головой, плечами и лицом. И в миг

он весь окружен, ореян, осиян трепещущей воробьиной стаей. Великолепное зрелище! Волшебник стоит спиною ко мне, лицом против солнца. Оттого крепкая фигура его мне кажется темной и не явственной. Но тесный подвижный воробьиный ореол вокруг него весь пронизан насквозь щедрым, горячим, золотым солнечным светом. Воробьиные тела стали невесомыми, а их бьющиеся крылья пыльно-прозрачными.

Очень похоже на то, что стоит в добрый июльский день около улья русский пасечник, а вокруг него вьются и кружатся добродушные и доверчивые пчелы.

Прилетает откуда-то, такой тяжелый в этой порхающей семье, такой неуклюжий в этой воздушной легкости, палево-розовый голубь. Волшебник хочет и ему побросать немного хлебных кусочков, но как справиться с воробьями? Их — сила. Они рвут хлеб прямо из руки. Они перехватывают его в воздухе. Они оттесняют своей массой голубя, не упуская, кстати, подходящего момента, чтобы долбануть его клювом. Они кричат на него: «Зачем влез не в свою компанию?»

Правой рукой уверенным кругообразным движением Волшебник отгоняет воробьев за свое левое плечо, осаживает, точно добрый полицейский, эту живую вертящуюся уличную толпу, чтобы выгадать свободный доступ голубю.

Воробью хорошо. Он может, часто трепеща крылышком, держаться на одном месте, может в момент взвиться вверх и юркнуть вниз. Голубю потребно широкое пространство для медленного маневрирования. Фрегат и миноноски... Для голубя теперь вопрос уже не в закуске, а в самолюбии. И когда, наконец, с трудом ему удается вырвать подачку, он с наружным равнодушием отлетает прочь. «А все-таки я настоял на своем!»

Во время этой свалки хитрее всех и практичнее ведет себя белобокий Гамбетта. Он ловко пристраивается то на плече, то на воротнике Очарователя и, чуждый общего смятения, спокойно выклевывает у

него из бороды запутавшиеся в ней обильные хлебные крошки. Есть в нем что-то от мародера.

Все движения Волшебника точны и размеренны, даже тогда, когда он идет, даже (я видел) когда он завтракает. Это профессиональная, инстинктивно въевшаяся привычка. Такое же уверенное и вселяющее доверие спокойствие я наблюдал в жестах, движениях, даже в речи знаменитых укротителей хищных животных, не только в клетках, во время представления, но, в привычку, и в домашнем обиходе.

IV. КАБАЧКИ

О душе большого города музеи и дворцы говорят гораздо меньше, чем старые улицы, чем рынок, порт, набережная, церковь, лавка антиквара и, конечно, больше всего — дешевый трактир попроще.

Дорогие рестораны ничего не дают для наблюдения. Во всем мире они одинаково обезличены: те же лакеи, метрдотели и гости, те же самые танцоры и музыканты, и повсюду общие слова. Здесь мода, литература, спорт, кухня и демократизм оболванили людей на один образец. (Я не хочу этим глаголом сказать что-нибудь обидное; болван, болванка — значит, деревянная или чугунная готовая форма.)

Исчезают понемногу ресторанчики, славившиеся некогда каждый каким-нибудь специальным блюдом. Для американских гастрономов, правда, еще держатся таверны, где за дорогую цену вам дадут кушанье — гордость и славу дома: пронзительный буйабесс, или руанскую утку, не зарезанную, а непременно удавленную, или рубец по-лионски, или — поблизости бойни — замечательный бифштекс с кровью, или у какой-то тетки Дюпон изумительные телячьи котлеты.

Но все это для снобов. Для них же и знаменитый луковый суп в одном из кабачков Центрального рынка, в два часа утра, в жутком обществе апашей, ночных бродяг и преступников. И все это такая же подделка под старинные, исторические кабачки, как

подделка — апаши, которые — не что иное, как мелкие профессиональные актеры, успевшие уже за ночь отыграть раз тридцать свои гнусные роли в пресловутых монмартрских «Небе», «Аде» и «Небытии» и притащившиеся в Halles[1] на утреннюю халтуру: чтобы представлять перед ротозеями пьянство, игру, дележку награбленного, ревность, ссору, драку и поспешное общее бегство по свистку мнимого сторожа.

Исчезают, даже почти совсем исчезли, прежние забавные и прелестные названия кабачков. Где эти «Белые павлины», «Золотые олени», «Лев и Магдалина», «Голубая подвязка», «Таверна лучников», «Золотая шпора»? Название монмартрских кафешантанов претенциозны, надуманны, противны для уха и вкуса.

Простонародный кабачок окончательно сошел на нет. О нем можно вспомнить, только читая старые французские романы. Яркие, звонкие вывески позабыты, позабыта и старая кухня. Впрочем, Париж так быстро и часто перестраивается, что погибли без возврата даже названия старых шестисотлетних улиц. Однако, в виде наставления новичкам, я должен сказать, что еще совсем недавно обладателю тощего кошелька рекомендовалось дешево и вкусно позавтракать в одном из ресторанчиков под вывеской «Свидание кучеров и шоферов». Но это рекомендация давнего прошлого. Кучера на наших глазах вырождаются, шоферы бедствуют. Зато смело идите в тот кабачок, в котором издали увидите по белым блузам, по измазанным следами извести лицам каменщиков. Теперь Париж бешено строится. Каменщичья работа в большом спросе и в высокой цене. Парижские каменщики совсем похожи на русских (Мишевского уезда, Калужской губернии). Так же беззаботно ходят они по узким балкам на седьмом этаже, так же громко, весело поют во время работы, так же кротки нравом, так же крепки в артельном быте, так же емки, когда едят, и так же всей большой

---

[1] Рынок *(франц.)*.

сотруднической ватагой валят в ближайший простенький ресторанчик.

И курчавый, серьезный хозяин кабачка, умный, скупой овернькят, этот французский ярославец, внимательно следит за свежестью мяса и рыбы, за доброкачественностью масла, за добрым качеством вина. А не то две, три жалобы, один скандал — и опустел его кабак, а потом как создать ему вновь популярность? Тут надо еще сказать, что парижский каменщик, стоящий у отвеса, машины и циркуля, получает до десяти и больше франков в час, а также и то, что французский рабочий (дай ему бог здоровья, а нашему такой же жизни) в еде и питье для себя не скупится: аперитив, рыбное, мясное, салат, овощи, сыр, сладкое и кофе, умело орошенное старым ромом; а в промежутках — литр обыкновенного вина. Не ужасайтесь его расточительности: каждую субботу он увеличивает счет по сберегательной книжке (чего нашему рабочему я от души желаю). Идут они опять на работу вперевалку, румяные, черноусые, с блестящими глазами, с лицами, кое-где вымазанными известкой... Ничего. В работе алкоголь выйдет через пот.

Эти маленькие кабачки именно тем иногда и милы, что в них часто собираются люди одной и той же профессии.

Есть большая парижская Биржа, на ступеньках которой, по-видимому, без всяких причин мечутся и орут каждый день сотни сумасшедших, взъерепененных людей; орут в чистом тоне верхнего тенорового си. И около этой биржи многое множество кофеен, ресторанов, пивнушек и кабачков, где наскоро пьют, закусывают, читают бюллетени, газеты и продолжают кричать биржевые зайцы. Есть уличная брильянтовая биржа и рестораны при ней (правда, под вечной угрозой внезапного полицейского контроля). Есть биржа почтовых марок, конечно, со специальным рестораном сбоку. Я знаю уютные полуподвальные кабачки, где собираются итальянцы и савойяры-угольщики; маленькие ресторанчики, излюбленные граверами, переплетчиками, рисователями обоев;

кабаки-норы, посещаемые тряпичницами, бистро около конечных станций метрополитена, приюты кондукторов и вагоновожатых... Я открыл в Пятом округу кабачок на улице Мальбранш, где собираются глухонемые: странно и жалко в тишине видеть повсюду за столиками их напряженный разговор, состоящий из быстрых движений пальцев и страстной мимики. Так и кажется, что они торопятся и никак не могут наговориться досыта. И часто меня в этих кабачках грызет назойливая мысль: ах, если бы я умел все понимать на языке лангедок, на гасконском, на овернском, на бретонском, на нормандском, не считая самого трудного языка — языка парижских окраин. Какой богатый материал! И все-таки кое-что понятно.

V. ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО

Пасси — очень интересный округ. Нынешние эмигранты ославили его русским. По этому поводу ходили тяжеловатые остроты. Называли Пасси «Арбатом» и «Пассями». Уверяли, что где-то, на улице Лафонтен, повесился чистокровный француз, оставив записку: «Умираю от тоски по родине». Немножко тоньше была такая шутка:

Встречаются на авеню Моцарт два парижанина; один спрашивает, как пройти на улицу Жорж Занд; другой отвечает: «Простите, я не русский».

Но шутки эти были кратковременны. Цены на квартиры в Пасси растут в такой дьявольской прогрессии, что ныне в нем русские стали так же редки, как зубры или мамонты. Остался один русский. Ага, да и тот караим.

Пасси занимателен тем, что в его домах, в улицах и их названиях причудливо переплетается новизна вчерашнего дня с почтенной старостью, восходящей к Франсуа I и дальше.

Дедушки и бабушки нынешнего среднего русского поколения, приезжая в Париж, не видали ни здания

Трокадеро, ни многоэтажных домов Пасси. Он был тогда большой деревней, куда ездили парижане на воскресные дальние пикники или посещали его мимоездом, отправляясь в Булонский лес (тогда и вправду лес!) для дуэли.

Деревня Пасси славилась прекрасным и отличным маслом. Знаменита она еще была целебными железными источниками; их открыл в начале XVIII века аббат Рагуа. Во многих романах первой половины прошлого столетия упоминается об экскурсиях к лечебным водам в Пасси. В них тогда очень верили.

Семьдесят пять лет — это не старость, даже не средний возраст для города, тем более что Пасси на наших глазах бешено застраивается, обновляется, подчиняясь строительной горячке.

Быстро бежит время, еще быстрее — человеческая предприимчивость. Скупаются наперебой далеко еще не старые сорока- пятидесятилетние дома, причем о их стоимости никто и не говорит: ценится лишь количество метров в земельном участке. Разрушаются до фундамента милые, уютные, кокетливые особняки о двух-трех этажах, выстроенные как дачи для веселых дам Третьей империи, и на место их вытягиваются с волшебной скоростью к небу железобетонные великаны. Покрываются стройкой большущие запущенные сады и прелестные парки.

Совсем недавно, лишь прошлым летом, архитектор Маллэ-Стивенс построил на улице Доктер Бланш в модном вкусе архитектурное недоразумение, на которое и до сих пор, еще в декабре, приезжают поудивляться дальние парижане. О нем много говорили в газетах. По-моему, такое здание охотно одобрил бы для торговых бань в «каирском стиле» московский купец с модернистским уклоном. Кроме того, оно сбоку похоже своими узкими, длинными, забранными решеткой окнами на тамбовскую тюрьму, с фасада же напоминает: отчасти небрежно начертанную крестословицу, а отчасти табачную фабрику с гаражами внизу. Единственная радость для взгляда — его белизна на фоне неба, когда оно бывает густо- и

ясно-голубым. Но мы посмотрим на эту белизну через год!

Стивенс еще не успел построить свой бестолковый дом, как все обитатели Пасси живо заинтересовались строительной затеей, характера необычайно грандиозного. Скуплен большой квадрат садов, домов и пустырей, лежащий между параллельными улицами — Ассомпсион — Рибейра и двумя пересекающими — Моцарт — Лафонтен: кусок, пространством в сорок — пятьдесят наших десятин. Все жилые помещения идут на ломку и снос. Вместо них построится сотня семиэтажных современных громадин; в каждой по сто входных лестниц и по двести квартир. Через пять лет вырастет целый город с населением — что там уездных Медыни или Крыжополя! — целой губернской Костромы... Какой размах!

Я думаю совсем о другом. Преобладающая доля этого большого участка принадлежала некогда женскому монастырю. Его церковь и общежитие были построены в XVIII веке. В пятидесятых годах прошлого столетия монастырь принимал на строгое, закрытое воспитание девиц из знатных фамилий. Теперь этот обычай остался далеко позади. О нем сохранилась последняя память только кое-где в романах Мопассана. При мне здесь помещался дорогой пансион для девиц из богатой буржуазии, — довольно чинный, но уже со многими, против прежнего, послаблениями, вроде тенниса, обучения новым танцам, отпусками по четвергам и субботам.

Вся площадь пансиона была обнесена высокой, в две сажени, оградой из крупного, серого, грубого булыжника и казалась непроницаемой для посторонних. Но иногда малая калитка в тяжелых железных воротах оставалась по случайности открытой, и я на несколько минут мог видеть великолепный запущенный парк, густые аллеи сплошных могучих каштанов и легкие цветники; все это, как рама для старого большого дома благородной архитектуры позапрошлого века и для прелестной маленькой белой церковки. Какое томительное очарование пробуждают в нашей душе эти кусочки, живые обрывки

прошедшего, подсмотренные издали, сквозь щелочку. Теперь и церковь, и монастырский двор, и старый парк исчезли. Вместо них беспорядочными кучами громоздятся на земле камни и обрубки деревьев. Гм... Дорогу молодому поколению!!

А не так давно покончили с чудесным замком Мюетт [1].

При Карле IX это был скромный охотничий домик, сборный пункт. Немая особа вовсе не была замешана в том, как называли эту лесную сторожку. Здесь держались ловчие соколы в период линяния.

Muer, если перевести по-русски, значит линять, сбрасывать рога (у оленей).

Домик, переходя из рук в руки, расширялся, украшался, подвергался перестройкам в духе эпох, пока не сделался прекрасным дворцом. Там гостили: и Мария Медичи, и маркиза Помпадур, и королева Мария-Антуанетта. Туда привозила герцогиня Беррийская своего гостя Петра Великого... В последнее время им владели банкиры.

Этот замок на моих глазах разрушили в течение двух лет. Постепенно спадали в мусор исторические пристройки, одни за другими, от младших до пожилых, старых и древних.

Долго оставался лишь древнейший, первоначальный фасад, обнаженный, изуродованный, облупленный с боков, одиноко и печально высившийся над грудами камня и щебня. Но все-таки он казался неотразимо величественным. Всего — два этажа с чердаком и — как красиво! Красота осталась только в пропорциях. Так строили в старину, строго подчиняясь разделению линии, по закону златого сечения, то есть по требованию абсолютного изящества.

В Пасси снесено с лица земли много чудесных замков, — памятников старины (см. историю XVI округа Библ. Мэрии Огей). Но это относится не только к Пасси, а и к Парижу и ко всей Франции.

Среди американцев-миллионеров давно уже вошло в спортивное обыкновение покупать картины,

---

[1] Немой *(франц.)*.

статуи, библиотеки, мебель, посуду Старого Света. Теперь они стали покупать целиком старинные замки, церкви, чуть ли не целые древние города, с пейзажами, горами и озерами для того, чтобы восстановить это у себя, в Чикаго или в Детройте. Конечно, честь им за уважение и внимание к чужой истории, но...

Но невольно, а может быть, и некстати, вспомнилось мне, как приехал я по делу молодым, безусым офицером в имение Соколовку, Рязанского уезда. Имение это раньше, со времен Екатерины, носило по своим настоящим хозяевам славное историческое имя. Потом перешло оно в другие руки, в третьи, пока не попало последовательно к купцу Соколову, припечатавшему его своей фамилией, а от него, наконец, к купцу Воронину. В имении была торжественная въездная арка, был пруд, на пруде островок с колонной-беседкой. Там когда-то плавали лебеди. Была в доме восхитительная гостиная с паркетами из палисандра-эбена и красного дерева; со штофными толстыми струистыми стенными панно, теперь значительно ободравшимися. Там я сидел против купчихи Ворониной. Она, жирная, с заплывшими глазами, кумачово-красная от питья, грызла орехи и плевала скорлупой на пол.

Она была в ударе; она с трудом переложила обеими руками одну слоновую ногу на другую, лихо подмигнула мне глазком, дернула за сонетку, вышитую давным-давно милым бисерным рисунком, и крикнула:

— Лакей! Лакуза-а!

Вошел малый, босиком, в холщовых штанах, в жилете, из-под которого торчала грубая ситцевая сорочка.

— Чимпанскава барыне, — гаркнула купчиха. — Вот как мы дворяне, нынче гуляем.

Лакей принес графин водки и соленых груздей в желтом бумажном картузе.

ОТРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Кажется, это было в 1900 году. В Крыму, в Ялте, тогда уже обосновался Антон Павлович Чехов, и к нему, точно к магниту, тянуло других, более молодых писателей. Чаще других здесь бывали: Горький, Бунин, Федоров, доктор-писатель Елпатьевский и я.

Иногда мы ездили верхом в лес, в ущелье Уч-Кош.

Горький никогда не принимал участия в этих прогулках. Он если не всегда, то очень часто чувствовал себя нездоровым, да, вероятно, и стеснялся, не считая себя хорошим наездником.

Все начинающие писатели, в том числе и я, были тогда особенно заняты фигурой и произведениями А. П. Чехова, и мололой Горький мало кого интересовал. Лично я задумался над талантом Горького, когда прочел его рассказ «Челкаш» — о контрабандистах в Одесском порту. Меня поразили яркость красок писателя и точность переживаний самого Челкаша и гребца в шлюпке — труса Гаврилы. С удивительной наблюдательностью были нарисованы грузчики, контрабандисты, воры и босяки. Я два раза перечитал этот рассказ и подумал: «Из Максима Горького выйдет толк, а может быть, и что-нибудь очень большое».

Много позже, в Петербурге, когда Максим Горький уже пользовался большой известностью, ко мне

пришел писатель Бунин и сказал, что со мной хочет поближе познакомиться Алексей Максимович, который в то время основывал большое книгоиздательство «Знание».

Я отправился к Горькому на Знаменскую улицу. На этот раз он показался мне и физически и духовно неожиданно выросшим и крепким.

Скоро в издательстве «Знание» вышла моя первая большая повесть, скорее роман — «Поединок».

Я принес первые главы рукописи, и Горький попросил меня прочитать вслух несколько страниц. Когда я читал разговор подпоручика Ромашова с жалким солдатом Хлебниковым, Алексей Максимович растрогался, и было странно видеть этого большого взрослого человека с влажными глазами.

Последний раз я видел А. М. Горького в Петрограде, в самый разгар революции. Он был главным редактором издательства «Всемирная литература», созданного по его инициативе. Я часто ездил из Гатчины к нему и писал для него статьи. В то время Горький готовил для издания на русском языке полное собрание сочинений А. Дюма (отца). Зная, как я люблю этого писателя, Алексей Максимович поручил мне написать предисловие к этому изданию. Когда он прочел мою рукопись, то ласково поглядел на меня и сказал:

— Ну, конечно... Я знал, кому нужно поручить эту работу.

Не могу забыть еще одного, как будто мелкого, но характерного эпизода. Ко мне из цирка Чинизелли пришли артисты и просили похлопотать за голодающих лошадей и других животных. С помощью А. М. Горького мне удалось очень быстро достать все необходимое для цирка.

Вся жизнь А. М. Горького, его творчество, память о нем заставляют меня еще и еще раз с болью вспоминать о пребывании моем в эмиграции, когда я сам себя лишил возможности деятельно участвовать в работе по возрождению моей родины. Должен только сказать, что я давно уже рвался в Советскую Россию,

так как, находясь среди эмигрантов, не испытывал других чувств, кроме тоски и тягостной оторванности.

Советское правительство дало мне возможность снова очутиться на родной земле, в новой для меня Москве, наполненной прекрасным жаром строительства.

Обо всем этом мне захотелось сказать, когда я стал вспоминать о моих встречах с А. М. Горьким, человеком, безгранично любившим Россию.

Теперь, в день годовщины смерти Алексея Максимовича Горького, я низко склоняю голову перед всем, что он сделал для своей советской страны и для своего народа.

МОСКВА РОДНАЯ

Что больше всего понравилось мне в СССР? За годы, что я пробыл вдали от родины, здесь возникло много дворцов, заводов и городов. Всего этого не было, когда я уезжал из России. Но самое удивительное из того, что возникло за это время, и самое лучшее, что я увидел на родине, — это люди, теперешняя молодежь и дети.

Москва очень похорошела. К ней не применим печальный жизненный закон, — она делается старше по возрасту, но моложе и красивее по внешнему виду. Мне это особенно приятно: я провел в Москве свое детство и юные годы.

Необыкновенно комфортабельно метро, которое, конечно, не идет даже в сравнение с каким-либо другим метро в Европе. Впечатление такое, что находишься в хрустальном дворце, озаренном солнцем, а не глубоко под землей. Таких широких проспектов, как в Москве, нет и за границей. В общем, родная Москва встретила меня на редкость приветливо и тепло.

Но, конечно, главной «достопримечательностью» Москвы является сам москвич.

Насколько я успел заметить, большинству советских людей присуще уважение к старости. Я плохо вижу, и поэтому часто, когда мне надо было

переходить шумную улицу, я останавливался в нерешительности на тротуаре. Это замечали прохожие. Юноша или девушка предлагали свою помощь и, поддерживая под руку, помогали мне с женой перейти «опасное место».

Во время прогулок по Москве меня очень трогали также приветствия. Идет навстречу незнакомый человек, коротко бросает: «Привет Куприну!» — и спешит дальше. Кто он? Откуда меня знает? По-видимому, видел фотографию, помещенную в газетах в день моего приезда, и считает долгом поздороваться со старым писателем, вернувшимся с чужбины. Это брошенное на ходу «Привет Куприну» звучало замечательно просто и искренне.

Со мной иногда заговаривали на улице. Однажды к нам подошла просто одетая женщина и сказала, подав руку: «Я — домработница такая-то. Вы — писатель Куприн? Будем знакомы».

В Александровском сквере, где мы с женой присели отдохнуть на лавочке, нас окружили юноши и девушки. Отрекомендовавшись моими читателями, они завязали разговор. А я-то думал, что молодежь СССР меня совсем не знает. Я взволновался тогда почти до слез. Потом ко мне как-то подошла группа красноармейцев. Старший вежливо приложил руку к козырьку и осторожно осведомился: не ошибается он, — точно ли я Куприн? Когда я ответил утвердительно, красноармейцы забросали меня вопросами: хорошо ли я устроен, доволен ли я приемом в Москве? Я рассказал им, как нас хорошо устроили, и красноармейцы тогда удовлетворенно и с гордостью заключили: «Ну, вот видите, какая у нас страна!»

Я побывал в кино в «Метрополе». Шла цветная картина «Груня Корнакова». Каюсь, я следил за экраном только краем глаза. Мое внимание было занято публикой. Можно сказать, что в картине «Груня Корнакова» мне больше всего понравилось, как ее воспринимает зритель. Сколько простого, непосредственного веселья, сколько темперамента! Как бурно и ярко отзывались зрители — в большинстве молодежь — на те события, которые проходили перед

ними! Какими рукоплесканиями награждались режиссер и актеры! Сидя в кинотеатре, я думал о том, как было бы хорошо, если бы советской молодежи понравился мой «Штабс-капитан Рыбников». Тема этого рассказа — разоблачение японского шпиона, собиравшего во время русско-японской войны в Петербурге тайную информацию, — перекликается с современностью, и я дал поэтому согласие «Мосфильму» на переделку этого рассказа для кино.

Этим летом на даче в Голицыно у меня перебывало в гостях много советских юношей и девушек. Это — дети моих родственников и знакомых, выросшие, возмужавшие за те годы, что меня здесь не было. Меня поразили в них бодрость и безоблачность духа. Это — прирожденные оптимисты. Мне кажется даже, что у них по сравнению с юношами дореволюционной эпохи стала совсем иная, более свободная и уверенная, походка. Видимо, это — результат регулярных занятий спортом.

Меня поразил также высокий уровень образованности всей советской молодежи. Кого ни спроси — все учатся, конспектируют, делают выписки, получают отметки.

А как любят в СССР Пушкина! Его читают и перечитывают. Он стал подлинно народным поэтом. Вот забавная и вместе с тем трогательная деталь. В Голицыно у одной знакомой нам колхозницы родился сын. Она назвала его Александром. Мы спросили ее, почему она выбрала это имя. Она ответила, что назвала его так в честь Пушкина. Имя ее мужа — Сергей, и сын таким образом, как и Пушкин, будет называться Александром Сергеевичем.

Сами по себе интересны обстоятельства, при которых Александр Сергеевич появился на свет. В Голицыно строился родильный дом, который должен был быть закончен к пятнадцатому августа. Александр Сергеевич, однако, пожелал родиться четырнадцатого августа. Родственники повезли будущую мать на станцию, чтобы отправить в ближайшую больницу, но попали к поезду, который не останавливается в Голицыно. Тогда начальник станции, зная, что женщине

необходима срочная врачебная помощь, специально ради нее остановил поезд, и ее вовремя доставили в больницу. Разве могла крестьянка дореволюционной России мечтать о том, чтобы для нее и для ее будущего ребенка останавливали поезда?

Меня бесконечно радуют советские дети. Я восхищен тем, что страна уделяет им столько внимания и что советское правительство так оберегает беременность. Это очень мудро. О детях важно заботиться, потому что в них — будущее страны. Внимание к женщине и к ее ребенку дает ей моральную силу воспитывать достойных граждан СССР.

Голицыно, где мы проводили лето, встретило нас разноголосым ребячьим хором. В этом живописнейшем подмосковном поселке расположилось несколько десятков детских садов. Я очень люблю детей и был чрезвычайно рад такому приятному соседству. По утрам, выходя на террасу, я сообщал жене, что «галчата» уже проснулись. Потом из нашего садика я видел, как они чинно, парами проходят мимо, все пузатенькие, краснощекие, улыбающиеся.

Бывало, что привезенная из Парижа кошка Ю-ю (названная так в честь кота — героя одного из моих рассказов) с разбега вспрыгивала ко мне на плечо, и это всегда вызывало бурный восторг детишек. Они подбегали к изгороди, и мы с Ю-ю таким образом служили невольной причиной нарушения дисциплины. Вечером, в восемь часов, в Голицыно наступала тишина: детей укладывали спать, и сразу становилось скучно.

Кстати, какое прекрасное сочетание понятий — детский сад. Именно сад! Сад, где расцветают юные души. За границей дети совсем не такие, как здесь. Они слишком рано делаются взрослыми.

В прошлое вместе с городовым и исправником ушли и классные наставники, которые были чем-то вроде школьного жандарма. Сейчас странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного достоинства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою повесть «Кадеты», помнят, наверное, героя этой повести — Буланина и то, как мучи-

тельно тяжело переживал он это незаслуженное, варварски дикое наказание, назначенное ему за пустячную шалость. Буланин — это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь...

Мне очень хочется писать для чудесной советской молодежи и пленительной советской детворы. Не знаю только, позволит ли мне здоровье в скором времени взяться за перо. Пока думаю о переиздании старых вещей и об издании произведений, написанных на чужбине. Мечтаю выпустить сборник своих рассказов для детей.

Многое хочется увидеть, о многом хочется поговорить. После переезда в Москву я предполагаю побывать в музеях, посмотреть в театрах и кино «Господа офицеры» (пьесу, переделанную из моего «Поединка»), «Тихий Дон», «Любовь Яровую», «Анну Каренину», «Петра I». Обязательно съезжу в цирк, любителем которого остаюсь по-прежнему.

В заключение пользуюсь возможностью передать через вашу газету мою глубочайшую благодарность всем моим юным корреспондентам, поздравившим меня с возвращением на родину.

Мне пишут сейчас люди, которых я совершенно не знал раньше; пишут они с такой сердечностью и теплотой, точно мы давнишние друзья, дружба которых была прервана, но сейчас возобновилась. Некоторые из них — мои старые читатели. Другие — читатели молодые, о существовании которых я и не подозревал. Всех их радует то, что я, наконец, вернулся в СССР Душа отогревается от ласки этих незнакомых друзей.

Даже цветы на родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей. Говорят, что у нас почва жирнее и плодороднее. Может быть. Во всяком случае, на родине все лучше!

ПРИМЕЧАНИЯ

Художественные произведения А. И. Куприна, включенные в шестой том, созданы на чужбине в 1928—1934 годах. В эти годы выходят его книги: «Купол св. Исаакия Далматского» (изд-во «Литература», Рига, 1928), «Елань» (Белград, 1929), «Колесо времени» (Париж, 1930), «Юнкера» (Париж, 1933), «Жанета» (Париж, 1934).

Живя в Париже, писатель болезненно ощущал свой разрыв с родиной. «Боль и тоска по родине не проходят, не притерпливаются, а все чаще и глубже, — пишет он в 1923 году М. К. Куприной-Иорданской. — Работать для России можно только там. Долг каждого искреннего патриота — вернуться туда... («Русские новости», Париж, 1946, № 37, 26 января). Но эмигрантские предрассудки Куприна, его парижское окружение из людей, ослепленных ненавистью к революции, — все это отодвинуло возвращение писателя на пятнадцать долгих лет.

Куприн не раз признавался, что пребывание вдали от родины пагубно отражается на его писательской работе. «Есть, конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение — они и там будут писать роман за романом, — говорил он. — А мне все надо родное, всякое, — хорошее, плохое, — только родное» («Возрождение», Париж, 1938). В этом,

---

Подготовка текста художественных произведений *П. Вячеславова,* публицистических — *И. Мыльцыной.* Примечания к рассказам «Ольга Сур», «Домик», «Дурной каламбур», «Соловей», «Фердинанд», «Ночь в лесу», «Царев гость из Наровчата» и к очерку «Юг благословенный» — *Э. Ротштейна.* Вступительная заметка и примечания к остальным художественным произведениям — *О. Михайлова* при участии *П. Вячеславова.* Реальный комментарий к статье «Памяти Чехова» — *Н. Гитович.* Примечания к остальным публицистическим произведениям — *И. Мыльцыной.*

быть может, проявилась особенность художественного склада Куприна. Художник-реалист, он накрепко, больше даже, нежели И. А. Бунин, привязан к малым и большим сторонам русской жизни. На чужбине писатель оказался оторванным от всего родного. Здесь не было ни крымских рыбаков, ни рефлексирующих армейских поручиков и замордованных рядовых; исчез пейзаж оснеженной Москвы, панорама дикого Полесья. Писатель очутился среди незнакомых и малопонятных ему людей, которые с неприветливым любопытством присматривались к «ам сляв» — славянской душе.

Вдали от России Куприн помнит множество драгоценных мелочей, связанных с родиной; помнит, что «еланью» зовется «загиб в густом сосновом лесу, где свежо, зелено и весело, где ландыши, грибы, певчие птицы и белки» (сб. «Елань»), что «вереей» куртинские мужики называют холм, торчащий над болотом; он помнит, как с коротким звуком «пак!» (словно «дитя в задумчивости разомкнуло уста») лопается весенней ночью набрякшая соками почка («Ночь в лесу») и как вкусен кусок черного хлеба, посыпанный крупной солью («У Троице-Сергия»).

Куприн в это время охотно обращается к историческим анекдотам и преданиям, берет готовую канву, расцвечивая ее россыпями своего богатого, «меткого и без излишества щедрого», как охарактеризовал Бунин, языка. Так рождаются новеллы «Четверо нищих», «Геро, Леандр и пастух». Писатель перебирает в памяти далекие эпизоды собственной жизни и встречи с интересными людьми, своими давними знакомыми — клоуном Жакомино, летчиком Феденькой Юрковым, обаятельным бонвиваном Яшей Бронштейном. Так появляются рассказы «Ольга Сур», «Домик», «Дурной каламбур», «Соловей», «Фердинанд», «Потерянное сердце», «Ночь в лесу», «Светлана».

Однако Куприн постоянно чувствует себя заключенным в некий магический круг. Свои темы и образы он черпает только в воспоминаниях о родине. Не потому ли более всего удается ему теперь литературное претворение автобиографического материала? Есть бесспорная закономерность в том, что писатели, оказавшись на чужбине, обращаются — с большей или меньшей широтой типизации — к художественным мемуарам. И. А. Бунин создает «Жизнь Арсеньева», А. Н. Толстой пишет в 1920 году в Париже «Детство Никиты». Куприн посвящает своей юности самую крупную вещь послереволюционной поры — роман «Юнкера».

«Юнкерам» писатель отдал пять лет работы в эмиграции. Военная тема, столь широко представленная в творчестве дореволюционного Куприна («Дознание», «Поход», «Поединок», «Ночная смена» и др.), завершается автобиографическим романом об Александровском военном училище, где в бытность свою юнкером он находился в 1888—1890 годах.

«Юнкера» — это лирическая исповедь позднего Куприна, который передоверяет свои настроения, тронутые эмигрантской тоской, наивному юноше. Вот почему, переходя от его ранней повести «На переломе (Кадеты)», написанной в 1900 году, к «Юнкерам» (1933), попадаешь совершенно в другой мир, полный света и поэзии. Быт юнкера Александрова романтизирован и подкрашен, а вместе с ним розовые блики ложатся на всю армейскую службу сверху донизу.

Как далеко это от Куприна, заклеймившего бессмысленные издевательства над оторванными от семей кормильцами в серых шинелях, от Куприна, который вместе с Ромашовым из «Поединка» наблюдал, как какой-нибудь «рассвирепевший ротный принимался хлестать по лицам своих солдат поочередно, от левого до правого фланга». Нужно было пройти в четырнадцатом году через бумажный пафос «войны до победного конца», а затем осесть в эмигрантском стане, чтобы столь радикально отойти от своих прежних взглядов на царскую армию. Изменение позиций писателя сказалось и в известной тематической обедненности романа. Действительно, сколь тесен мирок Александрова, ограниченный общением с однокашниками, воспитателями, редкими визитами к матери и встречами с Зиной Белышевой. От остальной жизни его отгородил белоколонный фасад Александровского училища. Народ допущен сюда только в лице музыкантов, портных, ямщиков, дворников, швейцаров. «Да и то, — замечает автор, — неизвестно было юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь».

Однако «Юнкера» — не просто домашняя история Александровского военного училища, но и повесть о старой, «удельной» Москве, Москве «сорока сороков», Иверской и Екатерининского института благородных девиц, вся сотканная из летучих воспоминаний. Сквозь дымку этих воспоминаний проступают знакомые силуэты Арбата, Патриарших прудов, Земляного вала. Автор воскрешает множество эпизодических фигур, характерных для облика «первопрестольной». На склоне лет Куприну дорог каждый осколочек, каждая пылинка молодости.

Картины московской жизни в «Юнкерах» — «яростная тризна по уходящей зиме», великолепие бала в Екатерининском институте, быт александровцев — не искажают действительности, но как бы снимают с нее одно клише, передающее только радужные тона. К лучшим страницам романа относятся как раз те, где лирика обретает свою внутреннюю оправданность, — таковы эпизоды поэтичного увлечения Александрова Зиной Белышевой.

И, несмотря на обилие света и празднеств, это грустная книга. Она согрета старческим теплом воспоминаний. В ней вновь и вновь с «неописуемой, сладкой, горьковатой и нежной грустью» Куприн мысленно возвращается к родине.

«Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры... — писал он в очерке «Родина», — но все точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России» («Москва», 1958, № 3). Этим чувством безудержной, хронической ностальгии пронизано и последнее крупное произведение Куприна «Жанета» — повесть о старом профессоре Симонове, большом ученом, когда-то знаменитом в России, а ныне ютящемся в парижской мансарде. Не задевая, проходит мимо Симонова жизнь яркого и шумного Парижа. Одиноко и бесцельно влача в чужом городе, в чужой стране остаток дней, старый профессор привязывается к маленькой девочке Жанете. Быть может, трагедия русского эмигранта нигде еще не была запечатлена с такой силой. В образе Симонова есть что-то от самого Куприна. И. А. Бунин вспоминал о своей последней встрече с писателем в Париже. «Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся, такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза» («Последние новости», 1937, № 5915, 5 июня).

Литературное наследие позднего Куприна гораздо слабее, чем его творчество 900-х годов. Это признают даже враждебные голоса из лагеря эмиграции. «Как бы ни оценило потомство Куприна, — замечает Г. Струве, — его будут судить главным об-

разом по его дореволюционным произведениям» («Русская литература в изгнании», изд-во имени Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 257). Однако лучшие его вещи, созданные на чужбине, бесспорно сохраняют свою немалую эстетическую и познавательную ценность для советского читателя.

До конца дней своих остался Куприн русским патриотом, которому любовь к родине помогла побороть все колебания и сомнения. Писатель твердо решает вернуться в Россию. «Жилось ему за границей не сладко, хуже, чем большинству из нас, — вспоминал писатель М. А. Алданов. — Но не это, думаю, было главной причиной его решения; может быть, что и вообще никакой роли в деле не сыграло. Знаю, что он очень тосковал по России: меньше, чем кто бы то ни было из нас, он был приспособлен для жизни и работы за границей» («Последние новости», 1937, № 5912, 2 июня). О подробностях отъезда Куприна на родину писал парижский корреспондент нью-йоркской газеты «Новое русское слово» Андрей Седых: «Переговоры о возвращении Куприна велись уже давно, — труд этот принял на себя академик И. Я. Билибин, сам в прошлом году вернувшийся в Москву. Старания его, наконец, увенчались успехом. Александр Иванович мог ехать — автору «Поединка» и «Ямы» в России была обеспечена достойная встреча». Дочь писателя, К. А. Куприна, рассказывала А. Седых: «Отец очень нервничал в последние дни и волновался... Отъезд мы держали в строгом секрете, и никто из писателей об этом не знал... В самую последнюю минуту, перед отъездом, отец сказал мне: «Осуществляется мечта моя... Я готов был пойти в Москву пешком, лишь бы туда вернуться» («Новое русское слово», 1937).

31 мая 1937 года давние друзья Куприна, писатели, представители московской общественности встречали его в Москве на Белорусском вокзале.

5 июня в «Литературной газете» была помещена беседа с писателем. «Я совершенно счастлив, — заявил Куприн, — что советское правительство дало мне возможность вновь очутиться на родной земле, в новой для меня советской Москве... Я в Москве! Не могу прийти в себя от радости. Последние годы я настолько остро ощущал и сознавал свою тяжелую вину перед русским народом, чудесно строящим свою новую счастливую жизнь, что самая мысль о возможности возвращения в Советскую Россию казалась мне несбыточной мечтой». Уже будучи серьезно больным, Куприн мечтал писать о новой ему Стране Советов. «Когда

я вернусь из санатория или дома отдыха, — сказал он корреспонденту «Литературной газеты», — ничто и никто не сможет оторвать меня от письменного стола» («Литературная газета», 5 июня 1937 г.). Он поселился в голицынском доме отдыха писателей, где его навещали старые друзья, журналисты и просто почитатели его таланта.

«Здесь, в Голицыне, сильна память о Куприне, — сообщал из Москвы Н. Рощин в парижскую газету «Русские новости» (1947, № 102, 16 мая). Именно сюда приехал он из Парижа и жил на большой, хорошо обставленной даче... окруженный вниманием и любовью. Заведующая домом рассказывала мне, как часто он плакал в разговорах с людьми, как ходил один по здешним местам, трогал стволы берез, опускался на траву и опять не мог удержаться от слез, как очарованно слушал русскую речь, как по-детски радовался всему. В нашем доме произошла его встреча с воинской частью. Старенький, взволнованный, сидел он в плетеном кресле, слушал полковых песенников, расспрашивая бойцов и офицеров, смотревших с восторженным вниманием на автора «Поединка», о теперешней военной жизни, которую так хорошо он знал, и когда, прощаясь, проходили строем мимо него солдаты и в такт шагу кричали: «Привет Куприну», — он заплакал навзрыд, безудержно, не стесняясь, и пролежал два дня в кровати, а лежа говорил близким: «Мне хорошо. Вот так чувствует себя верующий после исповеди и причастия. Какое счастье принадлежать к такому народу, любить его!»

Тяжелая болезнь помешала писателю возобновить творческую работу. 28 августа 1938 года Куприн скончался.

ГЕРО, ЛЕАНДР И ПАСТУХ

Впервые — в газете «Возрождение», 1929, № 1309, 1 января. С небольшими исправлениями рассказ вошел в сборник «Елань», Белград, 1929. Печатается по тексту сборника.

Стр. 5. *Геллеспонт* — древнегреческое название Дарданельского пролива.

Артемида — древнегреческая богиня-охотница.

ОЛЬГА СУР

Впервые — в газете «Возрождение», 1929, № 1398, 31 марта и № 1405, 7 апреля, в виде двух самостоятельных рассказов, озаглавленных «Ольга Сур» и «Легче воздуха».

Печатается по тексту сборника «Колесо времени», Париж, 1930, в котором оба рассказа объединены под общим названием «Ольга Сур».

С семьей цирковых артистов Сур Куприн был лично знаком. В 90-е годы писатель жил в Киеве, увлекался цирком и печатал о нем статьи в местных газетах.

С клоуном Танти Джеретти писатель познакомился позднее (в начале 900-х годов) в Петербурге, где Танти служил в цирке Чинизелли. Большой интерес и любовь к цирку Куприн сохранил до конца жизни. Об этом свидетельствует целая серия написанных им на чужбине рассказов о цирке (см. прим. к рассказу «Дурной каламбур») и его письма из Парижа к жившему в Румынии борцу И. М. Заикину (ГЛМ).

Стр. 11. *Сур* — см. т. 5, стр. 789.

Тогда еще Крутиков не строил большого каменного цирка, а имел собственный частный манеж... — *Крутиков* (род. 1861) — известный дрессировщик лошадей, владелец конного манежа, а позднее (с 1903 г.) двухэтажного каменного цирка «Гиппо-палас» («Конный дворец») в Киеве.

В манеже Крутикова проводились занятия местного кружка спортсменов, в котором участвовал и Куприн, считавшийся одним из лучших в Киеве тяжелоатлетов и борцов (А с к о л ь д, Атлетика в Киеве, «Геркулес», 1913, № 9). Кружок описан Куприным в очерке «Собрание атлетов-любителей» («Жизнь и искусство», Киев, 1897, № 81, 22 марта) и в рассказе «Мясо» (см. т. 1).

Годфруа Мария — см. т. 5, стр. 789.

Стр. 11—12. *Кук* Джемс — английский цирковой наездник и прыгун; муж Марии Годфруа.

Стр. 12. *Дуровы* — см. т. 5, стр. 788. В альбоме клоуна-сатирика Анатолия Леонидовича Дурова есть недатированная запись Куприна: «Милый Анатолий, за смех и за страдание. А. Куприн» (сб. «А. Л. Дуров в жизни и на арене», Воронеж, 1914). С известным дрессировщиком Владимиром Леонидовичем Дуровым

Куприн был в большой дружбе и переписывался; он посоветовал ему заняться дрессировкой морских львов (Кабэ, Куприн и Дуров, «Раннее утро», 1910, № 30, 7 февраля). В «Уголке Дурова» в Москве хранится исполненный В. Дуровым скульптурный портрет А. И. Куприна.

Стр. 16. *Граден* — верхние ряды амфитеатра, галерея.

Стр. 18. *Гагенбек* — см. т. 4, стр. 786.

Стр. 21. *Лапиади* (Лапиадо) — цирковой тяжелоатлет; впоследствии владелец передвижного цирка. О цирке Лапиадо современник пишет: «Труппа была прекрасная. Женою Лапиадо была превосходная наездница Ольга Сур. Сам он был выдающийся геркулес-атлет... (Д. Алперов, На арене старого цирка, ГИХЛ, М. 1936, стр. 216).

ЧЕТВЕРО НИЩИХ

Впервые — в газете «Возрождение», 1929, № 1419, 21 апреля, под заглавием «Четыре нищих». Включено в сборник рассказов «Колесо времени», по тексту которого печатается.

Стр. 22. *Генрих IV* Бурбон (1553—1610) — с 1569 г. вождь французских протестантов, гугенотов, с 1572 г. — король Наваррский. С 1594 г. — король Франции.

Стр. 23. *Нострадамус* — см. т. 5, стр. 791.

...легендарного короля Дагобера. — Имеется в виду Дагобер I (ум. в 638 г.) — глава Франкской монархии; о нем говорится во многих народных сказаниях.

ДОМИК

Впервые — в газете Возрождение», 1929, № 1433, 5 мая. Вошло в сборник Куприна «Колесо времени», по тексту которого печатается.

Рассказ входит в цикл автобиографических произведений. Действие его относится к 1904 году.

Стр. 28. *Уралов* (сценическое имя Конькова Ильи Матвеевича (1872—1920). — Работал в театре В. Комиссаржевской, Московском художественном театре и с 1908 г. в Александринском

театре в Петербурге. По свидетельству народного артиста РСФСР Вивьена, Уралов «сразу после Октябрьской революции... сознательно пошел за большевиками, заняв в новом руководстве театра одно из ведущих положений. ...Это была несомненно незаурядная натура — великолепный актер и притом крупный общественный деятель новой формации» (Л. Вивьен, В Александринском театре накануне революции, «Звезда», 1957, № 1). Куприн поддерживал с Ураловым многолетнюю дружбу. Уралов снимался в 1914 г. в кинокартине «Трус», поставленной по одноименному рассказу Куприна.

...милейший, добродушнейший Яшенька Эпштейн. — Имеется в виду *Бронштейн* Яков Адольфович (1869—1930) — инженер-химик, пользовавшийся широкой известностью в столичных художественных кругах как страстный любитель литературы и театра и талантливый импровизатор-рассказчик. Артист Александринского театра Н. Ходотов вспоминает, что на вечерах, происходивших у него на квартире, Я. Бронштейн «покрывал всех своими высокохудожественными, содержательными еврейскими рассказами... Об его исполнении Давыдов и Шаляпин отзывались, как о редкой передаче без шаржа, выделявшей его среди обычных еврейских рассказчиков». Н. Ходотов называет его «Беранже литературно-артистической богемы» (Н. Ходотов, Близкое — далекое, М. — Л., «Academia», 1932, стр. 243).

Стр. 29. *Шолом-Алейхем* — литературный псевдоним Рабиновича Шолома Нохумовича (1859—1916) — еврейского новеллиста, романиста и драматурга. А. Куприн познакомился с ним в 1904 г. (см. А. Гурштейн, Шолом-Алейхем. Критико-биографический очерк, М. 1946, стр. 16).

Самойлов Павел Васильевич (1866—1931) — драматический актер, внук знаменитого актера Александринского театра В. В. Самойлова (1812—1887). Работал преимущественно в провинции, с 1900 по 1904 г. и с 1920 г. в Александринском театре в Петербурге.

Стр. 30. *...Пушкин называл Летний сад своим огородом.* — 11 июня 1834 г. А. С. Пушкин писал жене: «Да ведь Летний сад мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. ...Я в нем дома» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 10, М. — Л., АН СССР, 1949, стр. 490).

...были ли вы когда-нибудь в доме Петра Великого? — Речь

идет о каменном Летнем дворце Петра I, построенном в 1710—1714 гг. по проекту архитектора Д. Трезини и других на территории Летнего сада в Петербурге.

Стр. 31. *...разделяя с ним военные тяготы под Нарвой, Полтавой и Азовом...* — Места исторических сражений, происходивших в царствование Петра I: сражение под Нарвой (1704) закончилось занятием города русскими войсками. Полтавское сражение — 27 июня 1709 г. — увенчалось разгромом шведской армии Карла XII. Взятие турецкой крепости Азов произошло в 1696 г.

...во время посещения Парижа государем Петром Алексеевичем... — Петр I посетил Францию в марте 1717 г.

Рембрандт ван Рейн (1606—1669) — великий голландский живописец и график.

Тинторетто Якопо Робусти (1518—1594) — известный венецианский художник, ученик Тициана.

ДУРНОЙ КАЛАМБУР

Впервые — в газете «Возрождение», 1929, № 1457, 29 мая, под названием «Суррогат». Со стилистическими исправлениями под названием «Дурной каламбур» рассказ вошел в сборник Куприна «Колесо времени», по тексту которого печатается.

Стр. 33. *Я написал в журналах несколько рассказов из цирковой жизни.* — Речь идет о рассказах «Пунцовая кровь», «Дочь великого Барнума» (см. т. 5), «Ольга Сур» (см. наст. том), «Свободный цирк» (сб. «Елань»).

Стр. 34. *...сын киевского генерал-губернатора графа П. Игнатьева, в будущем полковник генерального штаба...* — Имеется в виду Игнатьев Алексей Алексеевич (1877—1954), генерал, русский военный атташе во Франции; впоследствии генерал Советской Армии, автор мемуарной книги «Пятьдесят лет в строю». Его отец — Игнатьев Алексей Павлович (1842—1906), ошибочно названный Куприным П. Игнатьевым, был киевским и волынским генерал-губернатором в 1888—1896 гг.

СОЛОВЕЙ

Впервые — в журнале «Иллюстрированная Россия», Париж, 1929, № 43 (232), 19 октября. Печатается по первой публикации.

На итальянском курорте Сальцо-Маджиоре, изображенном в рассказе, Куприн жил с конца мая до начала июля 1914 года. «Сальцо-Маджиоре — курорт для певцов, — сказал Куприн по возвращении в Россию в беседе с журналистом. — Целые дни там слышатся рулады: больные певцы голос пробуют. Познакомился я там со многими итальянскими знаменитостями: с Карузо, Тито Руффо, особенно с последним. Тито Руффо — удивительно интересный, симпатичный человек. Если бы не он, я положительно мог умереть там от тоски». С восхищением рассказывал Куприн о музыкальной одаренности итальянского народа и его любви к музыке и пению: «Слышал я бродячих итальянских певцов. В большинстве случаев очень хорошие голоса. Вокруг певца собирается народ. Слушают. Отзываются на каждый звук, на каждую интонацию... Обыкновенно на блюдо странствующего певца сыплются довольно обильно денежные знаки. Кроме того, певцы эти поют с одинаковым хладнокровием как перед простым народом, так и перед знатными, известными певцами. Им все равно, слушает ли их простой рабочий, или сам «божественный» Карузо». «А в общем, — добавил в заключение Куприн, — я недоволен своим путешествием. По России скучал очень» («Биржевые ведомости», веч. вып., 1914, № 14241, 8 июля).

Стр. 36. *...нашел эту фотографическую группу...* — Речь идет о групповом снимке, сделанном на курорте Сальцо-Маджиоре в 1914 г. На фотографии запечатлены почти все фигурирующие в рассказе лица: А. И. Куприн, клоун Жакомино (Джакомо Чирени), певцы — Ада Сари, Пинтуччио, Тито Руффо, Нанни, а также сосед по пансиону «Папа Вермут» и др. Фотография была напечатана в 1914 г. в журналах «Жемчужина» (№ 3) и «Огонек» (№ 31) и вторично — вместе с рассказом — в парижской «Иллюстрированной России».

Стр. 37. *Джакомо Чирени* (Жакомино) — см. т. 5, стр. 788.

Страцула Джиованни — итальянский эстрадный певец.

Стр. 38. *...переводя Стеккети и Кардуччи...* — *Стеккетти* Лоренцо — см. т. 4, стр. 776. Переводы Куприна из Стеккетти

(«Три друга», «Мой закат», «Смерть осла», «Папская энциклика») публиковались в 1914—1916 гг. в журналах «Северная звезда», «Пробуждение» и др. В 1917 г. Куприн включил их в девятый том собрания сочинений «Московского книгоиздательства». *Кардуччи* Джозуэ (1835—1907) — итальянский поэт, автор стихов, проникнутых протестом против общественного неравенства, теократии и религиозного догматизма. Перевод из Кардуччи «Вечно» был опубликован Куприным в гельсингфорской газете «Новая русская жизнь» (1920, № 62, 16 марта).

Карузо Энрико (1873—1921) — знаменитый итальянский певец.

Джиральдони — см. т. 4, стр. 750.

...пушкинское словечко: «из русских распрорусский». — Неточная передача слов Пушкина: «...он русский, из перерусских русский», — сказанных о Фонвизине (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 10, М. — Л., АН СССР, стр. 108).

Стр. 39. *Сари* Ада (р. 1888 г.) — польская певица, гастролировала в Италии, Испании, Франции и других европейских странах.

Пинтуччио Анджело — итальянский певец. Дебютировал в Римской опере около 1903 г.

Руффо Тито (1877—1953) — прославленный итальянский оперный певец. Выступал на всех крупнейших оперных сценах мира. Гастролировал в России в 1906 г. 20 января 1906 г. в газете «Биржевые ведомости», веч. вып. (№ 91170), было напечатано сообщение об участии Тито Руффо в концерте в пользу пострадавших от неурожая, назначенном на 21 января в зале Тенишевского училища в Петербурге. Среди выступающих на концерте был назван и А. И. Куприн.

Нанни Энрико (р. 1873 г.) — итальянский певец.

Стр. 40. *Инструмент не темперирован* — то есть не настроен.

Тартаков Иоаким Викторович (1860—1923) — выдающийся русский певец и режиссер, Заслуженный артист республики. В 1909—1923 гг. — артист и главный режиссер Мариинского театра в Петербурге. В 1920—1923 гг. — профессор Петроградской консерватории.

Яковлев Леонид Георгиевич (1858—1919) — оперный певец, с 1887 по 1906 г. — солист Мариинского театра в Петербурге.

Стр. 41. *Карабинеры* — жандармы в Италии.

МЫС ГУРОН

Впервые — в газете «Возрождение», 1929, № 1615, 3 ноября — «Сплюшка», № 1622, 10 ноября — «Южная ночь», № 1636, 24 ноября — «Торнадо», № 1657, 15 декабря — «Сильные люди». С небольшими исправлениями вошло в сборник «Колесо времени», по тексту которого печатается.

В Париже Куприн мечтал о путешествиях. Летом 1925 года он совершил небольшую поездку по югу Франции. В последующие годы он выезжал на Средиземноморское побережье страны, близ Марселя. В 1930 году в беседе с корреспондентом «Возрождения» (№ 2023, 16 декабря) писатель сказал: «А еще я мечтал купить лошадь и поехать по Франции, через всю страну... И чтобы доехать так до Марселя и продать лошадь — так ее привести, чтобы свежая была. Или рыбаком... Тут они в Бретани настоящие, а все-таки Балаклаву не заменят».

Стр. 42. *Робинзон и Пятница* — см. т. 5, стр. 793.

Стр. 44. *Рославлев* Александр Степанович (1879—1920) — поэт, эпигон символизма.

Стр. 47. *...Так Святослав, в ожидании смертельной битвы, посылал сказать врагам: «Иду на вы!»* — *Святослав Игоревич* (942—971) — киевский князь, герой летописных рассказов о борьбе русских с греками и болгарами. Как передает летопись, не желая пользоваться выгодами неожиданного нападения, он посылал весть неприятелю: «Иду на вы», то есть на вас.

Стр. 56. *...живописал его старик Диккенс. Помните, как Давид Копперфильд едет поспешно в Ярмут...* — *Диккенс* Чарльз (1812—1870) — английский писатель-реалист. Давид Копперфильд, герой одноименного диккенсовского романа (1850), едет ночью в бурю вдоль моря в портовый город Ярмут, узнав о гибели своего бывшего приятеля Стретфорда.

Стр. 62. *...в морской битве при Трафальгаре Нельсон...* — *Нельсон* Горацио (1758—1805) — английский адмирал, разгромивший 21 октября 1805 г. в водах Гибралтарского пролива близ мыса Трафальгар соединенный франко-испанский флот. В этой битве был смертельно ранен.

ФЕРДИНАНД

Впервые — в газете «Возрождение», 1930, № 1687, 14 января, под заглавием «Новый год». Включен под названием «Фердинанд» в сборник «Жанета», Париж, 1934, по тексту которого печатается. Рассказ входит в цикл автобиографических произведений.

Основной эпизод «Фердинанда» — встреча Нового года в киевском кабачке Нагурного и посещение паноптикума — изображен в рассказе «Удав» (Собр. соч., т. XI, «Московское книгоиздательство», 1914 и 1916). В рассказе «Удав» было дано натуралистическое описание кормления змеи живыми кроликами; именно эта сцена исключена автором «Фердинанда»: Куприн отказывается присутствовать при этом страшном зрелище и уходит из паноптикума.

О некоторых событиях, упоминаемых в «Фердинанде», говорится и в других рассказах Куприна. Так, например, описание градобития и черной молнии в селе Казимирка на Волыни вошло в опубликованный еще в 1913 году рассказ «Черная молния» (см. т. 4, стр. 646, 653—655), в котором об этих необычайных явлениях повествует герой рассказа, лесничий Турченко, как о происшедших в Тверской губернии. Воспоминания Куприна о своей работе по обмеру крестьянских лесов в Зарайском уезде Рязанской губернии (1901) частично послужили ему материалом для рассказа «Болото», напечатанного в 1902 году (см. т. 3).

Стр. 68. *...в день мессинского землетрясения...* — Землетрясение в Мессине, на северо-востоке острова Сицилия, произошло в декабре 1908 г.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920) — профессор, специалист по средневековой французской литературе и литературный критик. А. И. Куприн сблизился с ним в 1902 г. в период совместной работы в редакции «Мира божьего». Ф. Д. Батюшков принимал близкое участие в издательских делах Куприна, оказывая ему помощь в работе. Он предоставил в его распоряжение свою усадьбу Даниловское, Новгородской губернии. В старинном помещичьем доме, в котором была большая библиотека, Куприн в течение 1906—1911 гг. подолгу жил и работал. Там написаны рассказы «Обида», «Река жизни», «Изумруд» и др.

Узнав о смерти Ф. Д. Батюшкова, Куприн, находившийся в эмиграции, писал: «Достоинство... этого воистину человека заключалось в его полной неспособности лгать... Его очень любили простые люди. Соседние с его бездоходным имением в Устюженском уезде мужики поделили между собою его землю... но все, как один, решили: «Усадьбу Федору Дмитриевичу оставить, старых лип не рубить, яблок не красть и, спаси господи, не трогать книг». Так они и сдержали свое слово» («Общее дело», Париж, 1921, № 200, 31 января).

Сообщение Куприна подтверждается письмом Ф. Д. Батюшкова к В. Г. Короленко от 7 августа 1918 г., в котором он рассказывает о своей поездке в Даниловское после Октябрьской революции. «Мы вас наравне с коммунистами считаем, — сказали мне члены комитета, — писал Ф. Батюшков, — и если бы вы приехали раньше, то наделили бы поровну» (ГБЛ. Архив В. Г. Короленко). В последние годы жизни Ф. Д. Батюшков вел большую работу по комментированию западноевропейских классиков в горьковском издательстве «Всемирная литература».

В ИРЛИ хранится большой свод писем Куприна к Ф. Д. Батюшкову, представляющий ценность для изучения биографии и творчества писателя, а также воспоминания Ф. Д. Батюшкова о его встречах с Куприным.

Стр. 70. *Я тогда обмерял для нескольких волостей Зарайского уезда площади крестьянских лесов.* — На землемерных работах в Рязанской губернии Куприн был в октябре 1901 г. 18 октября он писал оттуда Л. И. Елпатьевской, жене известного писателя и общественного деятеля: ...я взял нечто вроде подряда обмерить около 600 десятин крестьянского леса... и составил планы лесного хозяйства в деревнях Григорьевском, Тюнине, Лучконцах, Козловке... Время теперь позднее (сегодня 18 октября и в первый раз выпал снег) и меня с работой прямо гонят в шею... И так я с утра, когда еще темно, бегу с рабочими в лес и, не присаживаясь ни на минуту, хожу до тех пор, пока волоски в визирной трубе моего теодолита еще можно различить глазом. А весь вечер я сижу, не разгибаясь, и заношу все снятое днем на план — отложить этой работы никак нельзя, потому что многое, что я хорошо помню и представляю себе из пройденных нынче урочищ, назавтра забудется и затеряется. Случается, что к ночи я, сидя, засыпаю над планами или испытываю странное раздвоение ума, когда одной его половиной я слежу за кропотливой работой, а другой вижу сны...» (ИРЛИ).

В Зарайском и Коломенском лесничествах, которыми заведовал в 1900—1908 гг. его зять С. Г. Нат, Куприн бывал неоднократно. Писатель подолгу жил на Троицком кордоне у лесника Егора, жена которого Марья была, по его выражению, «удивительный знаток русского языка». В письмах к сестре, посланных из Парижа, Куприн часто вспоминает ее меткие слова и выражения, слышанные им много лет назад. «Я помню, — говорится в одном из его писем, — однажды она закричала на неповоротливого Егора: «Ах ты, трутень безмедовый!» Вы вдумайтесь в это словечко, мгновенно придуманное и мгновенно притороченное. Ведь это сжатый до предела Метерлинк со своею «Жизнью пчел». В том же письме читаем: «Я бы отдал сейчас все остающиеся мне жить часы, дни, годы и всю мою посмертную память, черт бы ее побрал, за наслаждение хоть несколько минут послушать прежний непринужденный разговор великой язычницы Марьи... на Троицком кордоне» (письмо к З. И. Нат, ок. 1929 г., ГБЛ).

Теодолит — угломерный инструмент, применяемый при геодезических, маркшейдерских, астрономических и других работах.

Цейс Карл (1816—1888) — основатель немецкой фирмы, с 1846 г. выпускавшей оптические приборы.

Стр 71. *...винтик визира... — Визир* — щель или прорез в геодезическом инструменте для наведения его на объекты работы.

Я мог бы без конца говорить о моих... наблюдениях: о доменных печах и о шахтах... — Куприн имеет в виду свои поездки в 1895—1896 гг. в Донбасс, где он осматривал сталеплавильные заводы и угольные шахты, а также вспоминает свою работу в качестве заведующего учетом столярной мастерской и кузницы на одном из заводов «Русско-бельгийского общества» в Юзовке. Эти наблюдения отразились в его очерках «Рельсопрокатный завод» («Киевлянин», 1896, № 147, 30 мая), «Юзовский завод» («Киевлянин», 1896, №№ 265, 266, 25 и 26 сентября), «В главной шахте» (см. наст. том), «В огне» («Донская речь», 1899, №№ 244, 245, 13 и 14 декабря), в повести «Молох» (см. т. 2) и рассказе «В недрах земли» (см. т. 2).

...об аэропланах... — Свои впечатления о полетах Куприн описал в очерках «Мой полет», рассказе «Потерянное сердце» (см. наст. том), «Люди и птицы» (1917) и др.

...водолазных скафандрах... — Осенью 1909 г., живя в Одессе, Куприн изучал водолазное дело под руководством старого водо-

лаза Дюжаева. В октябре 1909 г. он четыре раза опускался на морское дно в скафандре около Андросовского мола в Одессе (см. «А. И. Куприн под водой», «Петербургская газета», 1909, № 301). По поводу этого в «Одесских новостях», 1909, № 7961, 8 ноября, А. Амфитеатровым было напечатано следующее шутливое стихотворение:

Спустился ты на дно морское,
Поднялся ты за облака —
Из четырех стихий в покое
Лишь огнь оставил ты пока.

Я ...работал в газете «Жизнь и искусство». — В киевской газете «Жизнь и искусство» Куприн печатался с сентября 1894 до мая 1895 г. Он помещал в ней рассказы, очерки, думский и судебный репортаж. В мае 1895 г. вместе с группой ведущих сотрудников Куприн прекратил участие в газете. Причиной разрыва послужило помещение в «Жизни и искусстве» статей, оправдывающих проводимое киевским синдикатом сахарозаводчиков взвинчивание цен на сахар на внутреннем рынке для сбыта его за границу по бросовым ценам.

В 1897 г. Куприн возобновил работу в «Жизни и искусстве». В 1898 г. он печатал в этой газете фельетоны на местные темы и театральные рецензии, а в мае — июне 1899 г. вел воскресный фельетон «Калейдоскоп», подписывая его псевдонимом Заратустра. Незадолго до закрытия газеты (1900) в ней была напечатана большая автобиографическая повесть Куприна «На первых порах», позднее расширенная и переизданная под названием «На переломе (Кадеты)» (см. т. 2). Осенью 1900 г. Куприн сообщал И. Бунину: «С этой газетой я расплевался» (ЦГАЛИ). Вскоре он перешел в «Одесские новости».

Стр. 72. *На встречу Нового года я был заранее приглашен знакомым нотариусом с Подола. Я часто бывал у него... Учил его детей Юру, Илюшу и Сашу...* — Речь идет о киевском нотариусе С. А. Карышеве, с семьей которого Куприн был в дружеских отношениях. Жене С. А. Карышева был в первой публикации посвящен «Молох» («Посв. В. Д. К-вой»). С их сыном Юрием Куприн позднее (в начале 900-х годов) встречался в Петербурге.

Стр. 73. *Лукулл* — см. т. 5, стр. 771.

Стр. 74. *Лежала мертвая, невздыхающая Клеопатра, и тон-*

кая змейка... уткнула тонкую голову в ее красный сосок. — *Клеопатра* (69—30 гг. до н. э.) — последняя царица Египта из династии Птоломеев. Согласно распространенному мифу, после вступления в Александрию армии Цезаря Октавиана умертвила себя, приложив к груди ядовитую змею.

Стр. 75. *...в музее знаменитого Барнум.* — См. т. 5, стр. 789.

Боа констриктор — змея, обитающая в тропической Америке и на Мадагаскаре. Ее шкура высоко ценится за красивый узор. В рабочем кабинете Куприна в Гатчине лежала на полу шкура боа-констриктора, подаренная ему знакомым укротителем (Вас. Регинин, Отклики на литературные злобы дня, «Биржевые ведомости», веч. вып., 1908, № 10551, 13 июня).

ПОТЕРЯННОЕ СЕРДЦЕ

Впервые — в газете «Возрождение», 1931, №№ 2091, 2092, 22 и 23 февраля. Вошло в сборник «Жанета», по тексту которого печатается.

В интервью с Куприным, напечатанном 16 декабря 1930 года в газете «Возрождение», № 2023, есть упоминание, которое можно отнести к «Потерянному сердцу». В беседе с корреспондентом газеты писатель сказал: «А вот еще никто у нас ничего не писал о летчиках, и самый полет как следует не описал».

Стр. 80. *«Все, все, что гибелью грозит»* — цитируется отрывок из «Пира во время чумы» А. С. Пушкина (монолог Председателя).

Нестеров Петр Николаевич (1887—1914) — выдающийся русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа.

Стр. 82. *Милорадович* Михаил Андреевич (1771—1825) — генерал от инфантерии, ученик Суворова, участник перехода через Альпы, герой войны 1812 г.

...от Бурцева, ёры забияки. — Имеется в виду *Бурцев* Иван Григорьевич (1794—1829); боевой генерал, участник войны 1812 г. Д. Давыдов (см. о нем т. 5, стр. 756) посвятил ему стихотворное послание: «Бурцов, ёра, забияка — собутыльник дорогой».

Сеславин Александр Никитич (1780—1858) — русский офицер, прославившийся партизанскими действиями в Отечественной войне 1812 г.

Стр. 86. *Макс Линдер* (Линдер Габриэль — 1883—1925) — французский артист кино.

НОЧЬ В ЛЕСУ

Впервые — в газете «Возрождение», 1931, № 2357, 15 ноября. Вошло в сборник «Жанета», по тексту которого печатается.

В Куршинское лесничество Касимовского уезда Рязанской губернии, изображенное в рассказе, писатель в 1897—1899 годах приезжал отдыхать и охотиться.

«Все бродяжничаю, — писал он летом 1899 года И. А. Бунину. — Жил в Полесье, охотился на глухарей в Касимовском уезде» (ЦГАЛИ). «Для охотников, — вспоминает племянник писателя Г. С. Мажаров, — здесь было особенное раздолье: леса были богаты всякой дичью и зверьем. И Куприн — страстный охотник — во время своих наездов в Куршу охотился в этих лесах... Обычными спутниками Куприна в его охотничьих прогулках были старые лесники, кто-нибудь из местной сельской интеллигенции и сам лесничий» (Г. Мажаров, Молодой Куприн, ГБЛ). Куршинским лесничеством заведовал упоминаемый в рассказе зять Куприна, Станислав Генрихович Нат (1856—1929), талантливый лесовод. В одном из писем к сестре из Парижа Куприн писал об С. Г. Нате: «Как много прекрасных воспоминаний связано в моей памяти с ним! Начиная с его первого курса в Петровской академии, а потом лесничества: Звенигородское, Куршинское, Зарайское... Там я впитал в себя самые мощные, самые благородные, самые широкие, самые плодотворные впечатления. Да там же я учился и русскому пейзажу» (ГБЛ). Нат послужил прототипом героя рассказа «Черная молния» лесничего Турченко; упоминания о нем есть также в рассказе «Святая ложь» (см. т. 4). Куршинские впечатления использованы Куприным во многих рассказах. Наиболее подробно природа и быт этих мест изображены в рассказе «Мелюзга» (см. т. 4).

Примечательно, что в 1925 году Куприн, мечтая о возвращении из эмиграции на родину и размышляя о том, чем он мог бы быть полезен в Советской России, писал: ...если бы мне

дали пост заведующего лесами Советской республики, — я мог бы оказаться на месте» (письмо к М. К. Куприной-Иорданской, «Огонек», 1945, № 36).

Стр. 94. *Я вспомнил прелестную поэму... Кнута Гамсуна, под заглавием «Пан».* — См. в наст. томе статью «О Кнуте Гамсуне» и прим. к ней.

Стр. 95. *...точно зажгли там рыжие брандеры. — Брандеры* — старинные суда, предназначавшиеся для сожжения вражеских кораблей. Их корпуса наполнялись легко воспламеняющимся веществом, которое поджигалось с таким расчетом, чтобы пламя перебросилось на неприятельские суда.

СИСТЕМА

Впервые — в газете «Возрождение», 1932, №№ 2404—2406, 1—3 января. Вошло с некоторыми исправлениями в сборник «Жанета», по тексту которого печатается.

В рассказе отразились впечатления Куприна, посетившего Ниццу в апреле — мае 1912 года.

Стр. 99. *Шмелев* Иван Сергеевич (1875—1950) — русский писатель, автор «Гражданина Уклейкина» и «Человека из ресторана», близкий в 1905—1907 гг. к горьковской группе «знаниевцев». В 1922 г. эмигрировал во Францию.

Стр. 102. *...в уютный Тараскон, недавно стыдившийся своего земляка Тартарена... — Тараскон* — город на юге Франции, в Провансе, родина Тартарена, героя романа французского писателя Альфонса Додэ (1840—1897), «Тартарен из Тараскона» (1872). Тартарен, воплощение фанфаронства и хвастливости, стал нарицательным образом.

Стр. 103. *...высокого рода Гримальди. — Гримальди* — древняя и знатная фамилия в Генуе, получившая в X в. во владение княжество Монако.

Стр. 105. *Кони* Анатолий Федорович (1844—1927) — известный русский судебный деятель и писатель-мемуарист.

Стр. 108. *«Все, все, что гибелью грозит...»* — см. прим. к стр. 80.

Стр. 113. *Родоначальник рулетки Блан...* — Имеется в виду один из братьев Блан, которые в конце XIX в. основали «Акционерное общество морских купаний», получившее от правителя государства Монако Карла III концессию на игорный дом (рулетку) в городе Монте-Карло.

ГЕММА

Впервые — в газете «Возрождение», 1932, №№ 2525, 2526, 1, 2 мая. С некоторыми исправлениями рассказ вошел в сборник «Жанета», по тексту которого печатается.

Стр. 124. *Бенвенуто Челлини* (1500—1571 или 1574) — знаменитый итальянский скульптор, ювелир и писатель.

УДОД

Впервые — в газете «Возрождение», 1932, № 2546, 22 мая. Вошло в сборник «Жанета», по тексту которого печатается.

ЮНКЕРА

Впервые опубликовано в газете «Возрождение» за 1928—1932 годы. Печатается по тексту отдельного издания — «Возрождение», Париж, 1933.

Роман был задуман писателем в 1911 году как продолжение повести «На переломе (Кадеты)» и тогда же анонсирован журналом «Родина». Обдумывание и работа над «Юнкерами» продолжались в течение всех предреволюционных лет. В мае 1916 года в газете «Вечерние известия» было помещено интервью Куприна, рассказывавшего о своих творческих планах: ...с охотой я принялся за окончание «Юнкеров», — сообщал писатель, — повесть эта представляет собой отчасти продолжение моей же повести «На переломе (Кадеты)». Здесь я весь во власти образов и воспоминаний юнкерской жизни с ее парадною

и внутреннею жизнью, с тихой радостью первой любви и встреч на танцевальных вечерах со своими «симпатиями». Вспоминаю юнкерские годы, традиции нашей военной школы, типы воспитателей и учителей. И помнится много хорошего... Надеюсь, что осенью текущего года выпущу эту повесть в свет» (М. Петров, У А. И. Куприна, «Вечерние известия», 1916, № 973, 3 мая).

Революционные события в России и последовавшая затем эмиграция прервали работу писателя над романом. Покидая Россию, Куприн не захватил с собой никаких рукописей. Роман пришлось начинать сызнова. В 1928 году, за пять лет до издания романа отдельной книгой, в газете «Возрождение» появляются отдельные его главы: 4 января — «Дрозд», 19 февраля — «Фотоген Павлович», 8 апреля — «Полонез», 6 мая — «Вальс», 12 августа — «Ссора», 19 августа — «Письмо любовное», 26 августа — «Торжество». Как видно, писатель начал с середины романа, постепенно возвращаясь от описания училища и любви Александрова к Зине Белышевой к исходной точке: окончанию кадетского корпуса, увлечению Юлей Синельниковой и т. д. Эти главы были напечатаны в «Возрождении» двумя годами позже: 23 февраля 1930 года — «Отец Михаил», 23 марта — «Прощание», 27 и 28 апреля — «Юлия», 25 мая — «Беспокойный день», 22 июня — «Фараон», 13 и 14 июля — «Танталовы муки», 27 июля — «Под знамя!», 28 сентября, 12 и 13 октября — «Господин писатель». Последняя глава романа «Производство» была напечатана 9 октября 1932 года.

В романе «Юнкера» с документальной точностью воспроизводятся реальные лица и действительные факты.

Так, в романе упоминаются «времена генерала Шванебаха, когда училище переживало свой золотой век» (см. наст. том, стр. 354). Шванебах Борис Антонович был первым начальником Александровского училища с 1863 по 1874 год.

Генерал Самохвалов, начальник училища, или, по-юнкерски, «Епишка» (стр. 185), в самом деле командовал александровцами с 1874 по 1886 год. Начальник, которого застал Куприн, генерал-лейтенант Анчутин, прозванный «статуей командора»; батальонный командир «Берди-Паша» — полковник Артабалевский: командир роты «жеребцов его величества» «Хухрик», капитан Алкалаев — Калагеоргий; командир роты «зверей» — капитан

Клоченко; командир роты «мазочек» — капитан Ходнев, — все они выведены в романе под своими именами.

В книге «Александровское военное училище за 35 лет» упоминается и доктор богословия, протоиерей Александр Михайлович Иванцов-Платонов, и действительный статский советник Владимир Петрович Шереметьевский, преподававший юнкерам русский язык с 1880 по 1895 год, и капельмейстер Федор Федорович Крейнбринг, бессменно руководивший оркестром с 1863 года, и учитель фехтования Тарас Петрович Тарасов, и Александр Иванович Постников.

В списке юнкеров, окончивших училище 10 января 1890 года, рядом с А. И. Куприным мы найдем его приятеля Владимира Венсана, Прибыля и Жданова (с которыми Александров сидел в карцерном бараке накануне производства), Рихтера, Корганова, Бутынского (с ними он ездил на ечкинской тройке Фотогена Павловича на бал в Екатерининский институт) и других.

В «Юнкерах» рассказано о первых литературных опытах Александрова. Почти без изменений дан в романе эпизод «сочинительства» юнкером Александровым рассказа «Последний дебют» (см. т. 2). В 1897 году писатель коснулся этой темы в новелле «Первенец» (см. т. 2), изменив заглавие своего юношеского произведения и имена действующих лиц. В 1929 году Куприн снова, более подробно, воспроизвел этот эпизод в автобиографической заметке «Типографская краска», помещенной в № 270 рижской газеты «Сегодня» под рубрикой «Мои первые литературные шаги» (сообщено А. Храбровицким). «Типографская краска» мало чем отличается от соответствующих глав «Юнкеров» («Слава» и «Позор»). Та же Юленька Синельникова, в которую «безумно» влюблен юнкер, ее младшие сестры Оленька и Любочка. Раскрыт и без того прозрачный псевдоним поэта Диодора Ивановича Миртова. Это Лиодор Иванович Пальмин (1841—1891), в прошлом сотрудник курочкинской «Искры», автор знаменитого Requiem'а («Не плачьте над трупами павших борцов»).

Стр. 150. *...первую неделю Андреева стояния.* — Церковная служба, отправляемая на первой неделе великого поста, когда читается канон Андрея Критского.

Стр. 179. *Авранек* Ульрих Иосифович (1853—1937) — дири-

жер и хормейстер Государственного академического Большого театра (1882—1937), народный артист РСФСР.

...увертюра к... опере Литольфа «Робеспьер». — Литольф Анри (1818—1891) — французский пианист, композитор и капельмейстер. Наиболее популярное его произведение — увертюра «Робеспьер» (конец 40-х гг.).

Стр. 184. *Вобан* Себастиан (1633—1707) — французский военный инженер, маршал.

Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884) — русский инженер-генерал, участник Севастопольской обороны и организатор блокады Плевны.

Стр. 185. *...герой турецкой кампании 1877—1878 годов, тяжело раненный при взятии Плевны...* — В русско-турецкой войне 1877—1878 гг. крупную роль сыграло взятие русскими вооруженными силами крепости Плевна. После продолжительной осады 28 ноября 1877 г. сорокатысячное турецкое войско сдалось.

Стр. 187. *Под Рущуком... — Рущук* — болгарский город на Дунае, превращенный в XIX в. турками в военную крепость. В русско-турецкой войне подвергся бомбардировке русских батарей и был взят русскими войсками 19 января 1878 г.

Стр. 204. *...пан Володыевский* — герой исторической трилогии, включающей романы «Огнем и мечом» (1884), «Потоп» (1886) и «Пан Володыевский» (1888) известного польского писателя Генриха Сенкевича (1846—1916).

Стр. 224. *«Францыль Венециан»* — популярный лубочный роман XVIII в., выпущенный впервые в 1789 г. под заглавием «История о храбром рыцаре Францыле Венециане и о прекрасной королеве Ренцимис».

«Гуак, или Непреоборимая ревность» — рыцарская повесть в двух частях; вышла в 1789 г. и много раз перепечатывалась.

«Турецкий генерал Марцимирис». — Имеется в виду «Повесть о приключении английского милорда Георга и Бранденбургской маркграфини Фридерики Луизы с присовокуплением к оной истории бывшего Турецкого Визиря Марцимириса и Сардинской королевы Терезии», в трех частях, издал М. Комаров, СПб. 1782.

Повесть в двух частях Андрея Победоносцева *«Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка на гробе сво-*

его мужа» в списках и перепечатках была распространена в России вплоть до начала XX в.

Стр. 228. *...перевод Михайлова. — Михайлов* Михаил Ларионович (1829—1865) — русский писатель, публицист, видный революционный деятель, переводчик Г. Гейне и П. Беранже.

Стр. 229. *Бичер Стоу* Гарриет Елизавета (1811—1896) — американская писательница, поборница освобождения негров, автор романа «Хижина дяди Тома» (1851).

Дюма Александр (отец) (1803—1870) — французский романист и драматург, автор «Трех мушкетеров» (1844).

Жюль Верн (1828—1905) — французский писатель, автор научно-фантастических романов «Двадцать тысяч лье под водой» (1868), герой которого капитан Немо, «Дети капитана Гранта» (1866) и многих других.

Базаров — герой романа И. С. Тургенева (1818—1883) «Отцы и дети» (1861).

Рудин и *Пигасов* — персонажи романа И. С. Тургенева «Рудин» (1855).

Стр. 230. *Лист* Франц (Ференц) (1811—1886) — великий венгерский композитор, пианист, дирижер.

Стр. 234. *...смертный Иаков осмелился бороться с богом...* — См. библию, первая книга Моисеева, гл. 32.

Стр. 235. *...«чудовищем с зелеными глазами»...* — так в драме В. Шекспира «Отелло, венецианский мавр» Яго определяет ревность (действ. 3, явл. III).

Стр. 238. *«Я, раненный насмерть, играл, гладиатора бой представляя»* — цитата из 44-го стихотворения цикла «Опять на родине» Г. Гейне (1797—1856), входящего в его «Книгу песен». Перевод М. Л. Михайлова.

Стр. 248. *...как строитель солидного памятника русским воинам, живот свой положившим в русско-турецкую войну 1877—1878 годов.* — Речь идет о памятнике-часовне у Ильинских ворот в Москве, построенном в 1887 г. в память победы русского гренадерского корпуса над сорокатысячной турецкой армией под Плевной.

Стр. 250. *Кюи* Цезарь Антонович (1835—1918) — русский композитор и музыкальный критик, специалист в области военно-инженерного дела.

Стр. 251. *...амбразуры времен д'Артаньяна и вобановских укреплений* — то есть времен XVII в. *Д'Артаньян* — герой трилогии А. Дюма-отца («Три мушкетера», «Двадцать лет спустя»,

«Десять лет спустя»), в которой, в частности, показана война с гугенотами и осада крепости Ларошель.

Вобан Себастиан — см. прим. к стр 184.

Стр. 261. *...репетиция водевиля «Не спросясь броду, не суйся в воду»...* — «Не зная броду, не суйся в воду» — написанный в конце XIX в. водевиль в одном действии Д. А. Мансфильда.

Стр. 275. *Растрелли* Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771) — знаменитый русский архитектор.

Стр. 285. *«Королева Марго»* (1846) — историко-приключенческий роман А. Дюма-отца.

Стр. 287. *«Жизнь за царя»* — см. т. 3, стр. 579.

...приятель Бурцева или Дениса Давыдова — см. прим. к стр. 82.

Стр. 310. *Габорио Эмиль* (1835—1873) — французский писатель, автор приключенческих романов о сыщике Лекоке. *Понсон дю Террайль* — см. т. 5, стр. 767.

Стр. 316. *Маковский* — см. т. 5, стр. 753.

Стр. 317. *«Смиряй ее молитвой и постом»* — неточная цитата из «Бориса Годунова» А. С. Пушкина (1825).

Стр. 322. *Саванарола* Джироламо (1452—1498) — итальянский проповедник, религиозный и политический реформатор во Флоренции.

Стр. 395. *Тотлебен* — см. прим. к стр. 184.

Корнилов Владимир Алексеевич (1806—1854) — выдающийся русский военно-морской деятель, один из организаторов Севастопольской обороны.

Скобелев — см. т. 2, стр. 586.

Радецкий — см. т. 4, стр. 774.

Тер-Гукасов Арзас Артемьевич (1819—1881) — русский боевой генерал, участник войны 1877—1878 гг.

Кауфман Константин Петрович (1818—1882) — русский военный деятель, инженер-генерал, участник походов в Среднюю Азию.

Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898) — русский генерал, покоритель Туркестанского края, в 1876 г. — главнокомандующий сербской армией.

Рощин-Инсаров Николай Петрович (псевдоним Пашенного) (1861—1899) — русский актер.

БРЕДЕНЬ

Впервые — в газете «Возрождение», 1933, №№ 2776 и 2778, 7 и 9 января. Вошло в сборник «Жанета», по тексту которого печатается.

Стр. 398. *...с которыми в «Плодах просвещения» светский балбес Вово обращается к деловым, серьезным крестьянам.* — *«Вово»,* Василий Леонидович Звездинцев, — сатирический персонаж из комедии Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» (1890).

ВАЛЬДШНЕПЫ

Впервые — в газете «Возрождение», 1933, № 2959, 9 июля, по тексту которой печатается.

БЛОНДЕЛЬ

Впервые — в газете «Возрождение», 1933, № 3015, 3 сентября. С незначительными стилистическими исправлениями включено в сборник «Жанета», по тексту которого печатается.

ЖАНЕТА

Впервые — в журнале «Современные записки», Париж, 1932, № 50 и 1933, № 53. Роман включен в одноименный сборник, по тексту которого печатается.

Стр. 427. *Дендрология* — часть ботаники, изучающая древесные виды растений (деревья и кустарники).

Стр. 428. *Скиния* — скиния завета — часть древнеиудейского храма, куда входить можно было только первосвященнику.

Стр. 452. *Оскар Уайльд* — см. т. 4, стр. 779.

Ницше Фридрих — см. т. 4, стр. 758.

Вейнингер Отто (1880—1903) — немецкий философ, автор книги «Пол и характер».

Стр. 454. *Заратустра (Заратуштра)* — мифический пророк, которому приписывается основание религии зороастризма.

Корейша Иван Яковлевич (1780—1861) — московский юродивый и прорицатель.

Огарев Михаил Васильевич (1810—1877) — московский полицмейстер, генерал-майор, «старый кавалерист, ...балетоман, страстный любитель пожарного дела и лошадник» (Гиляровский, Москва и москвичи, М. 1957, стр. 154).

Стр. 456. *Ирмос* — см. т. 3, стр. 564.

Амфитрион — герой греческой мифологии, имя которого стало нарицательным: Амфитрион — то есть гостеприимный человек.

Ослица Валаамова — из библейской притчи об ослице, заговорившей человеческим языком; синонимический образ молчальника, внезапно «отверзающего уста».

Стр. 457. *Андерсен* Ганс Христиан (1805—1870) — датский писатель-сказочник и поэт.

Марк Твен (Самоэль Клеменс) (1835—1910) — американский писатель-реалист.

Киплинг — см. статью «Рериард Киплинг» в наст. томе и прим. к ней.

Додэ — см. прим. к стр. 102.

«Хижина дяди Тома» — см. прим. к стр. 229.

Жюль Верн — см. прим. к стр. 229.

«Серебряные коньки» — детская книга американской писательницы Додж Мери Мейнс (1831—1905).

Стр. 458. ...*изречение из притчей Соломоновых: «Горе жена блудливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ея»* — см. т. 5, стр. 784.

Стр. 461. *Драгомиров* Михаил Иванович (1830—1905) — генерал русской армии, автор трудов по тактике, обучению и воспитанию войск.

Стр. 477. *Паскаль* Блез (1623—1662) — французский писатель, мыслитель и ученый.

Оффенбах Жак (1819—1880) — французский композитор, один из основоположников классической оперетты.

Рабле Франсуа (1483 или 1494—1553) — великий французский писатель, ученый-гуманист.

Вольтер Мари-Франсуа (1694—1778) — один из крупнейших французских просветителей, поэт, философ, историк.

Камбронн Пьер-Жак (1770—1842) — французский генерал, участник революции и наполеоновских войн. В сражении при Ватерлоо командовал гвардейской бригадой. Ему приписываются известные слова: «Гвардия умирает, но не сдается».

Суварен — Брийат-Саварен Ансельм (1755—1825) — французский литератор и административный деятель, эпикуреец, автор сочинения «Физиология вкуса» (1824).

Стр. 478. *Лепин* Луи Жак Батист (1846—1912) — с 1899 до 1912 г. префект полиции.

Обер-полицмейстер Огарев — см. прим. к стр. 454.

Стр. 483. *Жорж-Занд* (Дюдеван Аврора) (1804—1876) — французская писательница.

Складовская-Кюри Мария (1867—1934) — выдающийся физик и химик.

Стр. 487. *...это не Теньер... а Тенирс... — Тенирс* (неправильно Теньер), Давид-младший (1610—1690) — фламандский живописец. Учился у отца — Давида Тенирса старшего (1582—1649).

НОЧНАЯ ФИАЛКА

Впервые — в газете «Возрождение», 1933, № 3092, 3093, 19 и 20 ноября. Вошло в сборник «Жанета», Париж, 1934, по тексту которого печатается.

ЦАРЕВ ГОСТЬ ИЗ НАРОВЧАТА

Впервые — в газете «Возрождение», 1933, №№ 3113, 3114, 10, 11 декабря.

В этом рассказе Куприн впервые подробно описал свою родину — город Наровчат Пензенской губернии. В ранее написанных им произведениях о Наровчате имелись лишь краткие упоминания (см. «На покое», «Поединок», «Храбрые беглецы»). Все, что сказано о внешнем виде города, частых пожарах, плодородных землях уезда, быте и нравах помещиков, имеет реальную основу. Эти сведения Куприн почерпнул из воспоминаний своей матери, Любови Алексеевны, урожденной Кулунчаковой (ок. 1840—1910). Названные в рассказе наровчатский предводитель дворянства Иннокентий Владимирович Веденяпин и ми-

ровой посредник Фалин — невымышленные лица. У Ивана Егоровича Фалина служил письмоводителем отец писателя Иван Иванович Куприн (1839—1871). Под фамилией Дурасов выведен владелец села Дурасовка Наровчатского уезда, крупнейший помещик Пензенской губернии Арапов. Принадлежавший ему двухэтажный каменный дом поныне стоит на центральной площади Наровчата. Образ дворянина Хохрякова также имеет реального прототипа. О злоключениях этого бесшабашного помещика в Наровчате бытовало много преданий (см. т. 5, «Дочь великого Барнума»). Эпизод посещения Наровчата Александром I носит легендарный характер. Александр I Пензенскую губернию проезжал, но в Наровчате не был. Как отмечает исследователь литературного прошлого Пензенского края А. Храбровицкий, сходный случай произошел в 1836 году под Чембаром с Николаем I, две недели жившим в этом уездном городе (А. Храбровицкий, Наровчат, «Сталинское знамя», Пенза, 1943, № 170(8003); его же, «Замечательные места Пензенской области», Пенза, 1943, стр. 13).

Стр. 490. *Река Безымянка протекает от города за версту...* — Имеется в виду река Мокша, протекающая в трех километрах от Наровчата.

Стр. 491. *Роды свои они вели от Тамерлана (хромого Таймура), Чингис-хана, Тахтомыша...* — *Тамерлан* — прозвище среднеазиатского полководца и завоевателя Тимура (1336—1405). *Чингис-хан* (собст. имя Темучин, ок. 1155—1227) — монгольский хан и полководец. *Тахтомыш* (ум. ок. 1407 г.) — хан Золотой Орды, совершивший в 1382 г. нападение на Москву. Крупными землевладельцами Наровчатского уезда, происходившими из татарских князей, были Кугушевы, Кошаевы, Кильдишевы, Максютовы и др. Через несколько десятилетий после разгрома войсками Ивана IV Наровчатской орды нескольким татарским князьям были дарованы русскими царями «порозжие» земли в Наровчатском уезде (М. Афиногенова, Краткий историко-экономический очерк Наровчатского уезда Пензенской губернии. Рукопись. Наровчатский музей).

Стр. 493. *...смелый вития сказал краткую эпитафию...* — Приводимое в рассказе двустишие неизвестного автора ошибочно приписывалось А. С. Пушкину.

Стр. 494. *Угощение подобрали самое лукулловское...* — см. т. 5, стр. 771.

Стр. 496. *Суспиция* — подозрение.

Стр. 498. *Доминник* — см. т. 5, стр. 762.

РАЛЬФ

Впервые — в журнале «Иллюстрированная жизнь», Париж, 1934, № 4, 5 июня, по тексту которого печатается.

СВЕТЛАНА

Впервые — в газете «Возрождение», 1934, № 3259, 6 мая, по тексту которого печатается.

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ

В настоящий том входят очерки, статьи, воспоминания Куприна 1899—1937 годов, которые включались писателем в собрания сочинений и в сборники его произведений, изданные за границей.

В ГЛАВНОЙ ШАХТЕ

Впервые — в газете «Киевское слово», 1899, № 3991, 18 февраля, и № 3995, 22 февраля.

На основе этого очерка Куприным написан рассказ «В недрах земли» (см. т. 2).

Стр. 536. *В голове у меня вертятся смутные воспоминания о «Мартыне-рудокопе».* — *«Мартин-рудокоп»* — оперетта австрийского композитора Целлера (1842—1898).

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Впервые — в сборнике издательства «Знание», 1904, кн. 3. Третья книга сборника «Знание» была посвящена памяти А. П. Чехова.

Куприн познакомился с Чеховым в Одессе в 1901 году. Молодой писатель высоко ценил произведения Чехова: ...я основа-

тельно смотрел и слушал три Ваши пьесы. Я их так люблю и так в них вчитался, что на сцене Художественного театра они меня совсем не удовлетворили», — пишет он в декабре 1901 года (ИРЛИ). Книгами Чехова автор «Поединка» дорожит, «как настоящими сокровищами» (письмо от 29 декабря 1901 г.). Куприн читал его рассказы на концертах (письмо от 10 февраля 1903 г., ИРЛИ), играл в чеховских водевилях на любительской сцене (письмо — май 1901 г., ИРЛИ). Куприн видит в Чехове старшего товарища и наставника: «Не поленитесь, Антон Павлович, написать мне, с убеждением ли советовали Вы мне поступить в Художественный театр? Заранее говорю (может быть, это Вам немного и не понравится), что как Вы положите, так я и сделаю», — пишет он в мае 1901 года. Куприн очень дорожил литературными советами Чехова и почти все свои произведения 1901—1903 годов посылал ему на просмотр. Статья «Памяти Чехова» была закончена в начале октября 1904 года. «Куприн очень мило написал о Чехове — кажется сборник будет весьма интересным», — писал Горький Е. П. Пешковой в октябре 1904 года. (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 28, стр. 326).

Пресса положительно оценила статью Куприна. «Трогательно и сердечно изображает он в своих воспоминаниях Чехова», — пишет рецензент газеты «Вечер» (Рецензия без подписи, «Вечер», 1909, № 330, 10 мая). В журнале «Вестник Европы» мы читаем: «Воспоминания Куприна об А. П. Чехове, в свое время напечатанные в одном из сборников «Знания», едва ли не самое удачное из всего, посвященного русскими писателями памяти погибшего художника. С редким мастерством, любовью и проникновением вычерчивает Куприн мягкий, хрупкий, деликатный облик этой изящной души, застигнутой суровым безвременьем и знавшей так мало радости в своей недолгой, подвижнической жизни» (С. Адрианов, Критические наброски, «Вестник Европы», 1909, № 11).

В статье «Памяти Чехова» Куприн одним из первых в русской критике сказал о жизнеутверждающем, оптимистическом начале в творчестве Чехова.

Стр. 546. *Он с твердым убеждением говорил о том...* — Более подробная запись Куприна об этих высказываниях Чехова опубликована в газете «Последние известия», Ревель, 1922, № 3, 4 января: ...В начале 900-х годов мне как-то приходилось раз-

говаривать с Чеховым. Он, между прочим, высказал мысль, что многие ошибаются, приписывая человечеству нравственное падение. Обратите внимание, говорил он, что все более и более редкими становятся преступления вроде убийства, насилия и воровства между людьми интеллигентных профессий: докторами, инженерами, адвокатами, учителями... Следовательно, человеческое образование содействует прогрессу в нравственном смысле».

...Художественный театр приезжал в Ялту... — Художественный театр приезжал в Крым (Севастополь и Ялту) в апреле 1900 г. Поставлены были пьесы: «Чайка» и «Дядя Ваня» Чехова, «Одинокие» Гауптмана и «Эдда Габлер» Ибсена.

Стр. 547. *...больная барышня...* — О. Р. Васильева, знакомая Чехова, переводчица.

Стр. 553. *...не все знают его письмо...* — Письмо Чехова с отказом от звания почетного академика на имя председателя отделения русского языка и словесности Академии наук А. Н. Веселовского, от 25 августа 1902 г., в связи с аннулированием выборов М. Горького в почетные академики, было напечатано в нелегальном журнале «Освобождение», выходившем в Штутгарте, 1902, № 10.

Куприн писал Чехову 6 декабря 1902 года: «Большое впечатление произвело в Петербурге Ваше письмо в Академию. О нем нет разногласия: все единодушно находят его чрезвычайно сдержанным и очень сильным. На днях в одном обществе, где был и Боборыкин, это письмо читали вслух. Маститый романист, говорят, чувствовал себя при этом не совсем ловко» (ГБЛ).

В России это письмо было опубликовано впервые в сборнике «Знание» на 1905 г., кн. III.

В декабре прошлого года... — Избрание М. Горького в почетные академики состоялось не в декабре 1901 г. (как указано в письме Чехова), а 21 февраля 1902 г. Об этом известил Чехова В. С. Миролюбов телеграммой 27 февраля 1902 г., а уже 10 марта в «Правительственном вестнике» было напечатано следующее сообщение: «Ввиду обстоятельств, которые не были известны соединенному собранию Отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности императорской Академии наук, — выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним: Максим Горький), привлеченного к дознанию в порядке ст. 1035 устава уголовного судопроизводства, объявляются недействительными».

Стр. 555. *Архитектор.* — Как видно из письма Куприна Чехову от мая 1901 г. (ГБЛ), это был архитектор Секавин.

...господин П. — Писатель И. Н. Потапенко (1856—1929).

Стр. 559. *У меня такая масса посетителей... Трудно писать.* — Имеется ввиду письмо Чехова Куприну от 1 ноября 1902 г. (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 19, М. 1950, стр. 369).

Стр. 560. *...Когда это было!* — Чехов познакомился с писателем Н. Д. Телешовым (1867—1957) на свадьбе у поэта И. А. Белоусова (1863—1929) 10 февраля 1888 г.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — реакционный поэт и драматург.

Стр. 562. *...известном ученом...* — Речь идет о Н. П. Кондакове (1844—1925) — историке искусств, академике.

Стр. 563. *...публицистом С—ным...* — *М. А. Саблин* (1842—1898) — статистик и публицист, сотрудник и член редакции «Русских ведомостей».

Большого Московского — то есть из ресторана при Большой Московской гостинице.

...московском поэте. — О поэте Лиодоре Ивановиче Пальмине — см. стр. 801. Сотрудничал вместе с Чеховым в журнале «Осколки» в 80-х годах.

Стр. 565. *Один начинающий писатель...* — Этим начинающим писателем был сам Куприн. М. К. Куприна-Иорданская написала в своих воспоминаниях, что Куприн рассказывал ей: ...каждое утро к 9 часам я приходил на дачу Чехова работать над своим рассказом «В цирке». Мои денежные дела были в самом плачевном состоянии. Перед отъездом в Ялту я сдал несколько мелких рассказов в «Одесские новости». Присылка гонорара запаздывала, я сидел без гроша и поэтому особенно стеснялся оставаться обедать у Чеховых. Но Антон Павлович видел меня насквозь, и когда я начинал уверять, что хозяйка ждет меня с обедом, он решительно прерывал меня: «Ничего, подождет, а пока садитесь за стол без разговоров. Когда я был молодой и здоровый, я легко съедал по два обеда, а вы, я уверен, отлично справитесь и с тремя».

Рассказ «В цирке» очень нравился Чехову, и он, как врач, давал Куприну указания, на какие симптомы болезни атлета (гипертрофия сердца) автор должен обратить особенное внимание и описать их так, чтобы характер болезни не оставлял сомне-

ний. Он с увлечением прочел Александру Ивановичу целую лекцию о различных сердечных болезнях.

— Я понял, — говорил Куприн, — что, если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом» («Огонек», 1948, № 38).

Стр. 566. *...одному и тому же беллетристу...* — Куприн имеет в виду письма Чехова к нему. Приведенные два отрывка — неточные цитаты из письма Куприну от 1 ноября 1902 г. (А. П. Чехов, Полн. собр. соч., М. 1950, т. 19, стр. 368—369). В них идет речь о рассказе Куприна «На покое» (см. т. 3).

Стр. 567. *...писал он одному знакомому...* — Приведенный отрывок из письма Чехова Куприну от 22 января 1902 г. (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 19, М. 1950, стр. 229). В ней идет речь о повести Куприна «В цирке» и о его книжке: «Миниатюры. Очерки и рассказы», Киев, 1897.

...сообщив письмом... — письмо от 7 февраля 1903 г. (там же, т. 20, стр. 39—40).

Стр. 568. *...когда ездил на Сахалин.* — Чехов был на Сахалине в 1890 г.

Стр. 569. *...весь анекдот.* — В записной книжке Чехова имеется запись: «Репетиция. Жена: — Как это в «Паяцах»? Посвисти, Миша. — На сцене свистать нельзя. Сцена — это храм». Позже Куприн использовал этот анекдот в рассказе «Как я был актером» (см. т. 4).

Стр. 571. *...как часто приходилось ему... помогать словом и делом...* — В письме Чехову (октябрь 1902 г.) Куприн писал: «Я до сих пор помню, никогда, вероятно, в моей жизни не забуду того вечера, когда я заходил прощаться с Вами и когда Вы говорили со мной о родах и о прочих сюда относящихся вещах. Я читал где-то, что Додэ называл себя «продавцом счастья» в том смысле, что он умел глубоко проникать в человеческое горе и утешать. К Вам, конечно, не идет это определение, потому что оно, по-французски, манерно и приподнято. Но от Вас я ушел тогда успокоенный и ободренный, почти умиленный» (ГБЛ).

...однажды написал ему... — письмо Куприну от 1 ноября 1902 г. (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, М. 1950, т. 19, стр. 369).

Стр. 573. *...небрежно упоминает он в письмах...* — См. письма Чехова от мая 1904 г. (там же, т. 20).

СОБЫТИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ

Впервые — в петербургской газете «Наша жизнь», 1905, № 348, 1(14) декабря, в отделе корреспонденций из провинции, под названием «События в Севастополе», с подзаголовком «Ночь 15 ноября». В ноябре 1907 года статья перепечатана в сокращенном виде в «Историко-революционном альманахе издательства «Шиповник». На эту книгу цензурой был наложен арест.

11(24) ноября 1905 года в Севастополе вспыхнуло восстание, которое длилось пять дней и было зверски подавлено царским правительством.

А. И. Куприн осенью 1905 года жил в Балаклаве. В ночь разгрома восстания он находился в Севастополе. Писатель был не только очевидцем событий, но он помогал группе матросов, спасшихся с «Очакова», укрыться от полиции (см. т. 5, рассказ «Гусеница»).

Куприн, опровергая в своей статье лживое официальное сообщение, опубликованное в газете «Крымский вестник» (1905, № 269), точно и правдиво осветил события ночи на 15 ноября.

После появления статьи Куприна вице-адмирал Г. П. Чухнин отдал 7 декабря 1905 года приказ о высылке в 24 часа писателя из Севастопольского градоначальства и подал на него жалобу прокурору. 8 декабря Куприну была вручена повестка о привлечении к уголовной ответственности за корреспонденцию, которая «от начала до конца направлена к несправедливому опорочению должностного лица».

В апреле 1906 года Чухнин перенес дело в Петербургский окружной суд. 28 июня 1906 года Чухнин был убит матросом Я. С. Акимовым, но затеянное адмиралом судебное преследование приостановлено не было.

22 апреля 1908 года в Петербургском окружном суде слушалось дело Куприна, профессора Ходского, бывшего издателя газеты «Наша жизнь», и редактора этой газеты Котельникова по обвинению в опубликовании корреспонденции о событиях в Севастополе. На Куприна был наложен штраф в 50 рублей с заменой, по выбору, десятидневным домашним арестом. В августе 1909 года Куприн, живя в Житомире, отбыл домашний арест. Об этом он 13 августа 1909 года писал Ф. Д. Батюшкову: «В настоящее время я сижу под домашним арестом (с приставлением городового). Это за Чухнинское дело» («А. И. Куприн о своем аресте», «Волынь», 1909, № 246, 8 сентября).

Стр. 575. *Чухнин* Григорий Павлович — см. т. 5, стр. 778.

Писаревский Сергей Петрович — контр-адмирал, начальник штаба Черноморской флотской дивизии, был ранен 11 ноября 1905 г. выстрелом Петрова, матроса 28-го флотского экипажа.

Шмидт Петр Петрович — см. т. 5, стр. 776.

ИСКУССТВО

Впервые — в петербургской газете «Свобода и жизнь», 1906, № 12, 13 ноября.

22 октября 1906 года (№ 9) газета «Свобода и жизнь» начала публиковать цикл статей на тему «Революция и литература» и предложила современным русским деятелям искусства высказаться по этому вопросу. Авторы большинства статей и ответов, присланных в газету, защищали позиции «искусства для искусства». Исключение составили статья А. В. Луначарского «Искусство и революция» (№ 11), требовавшая революционного содержания искусства, ответ И. Е. Репина (№ 12), осуждавший холодное теоретизирование об искусстве в дни, когда «с пера летят строки, совсем не удобные для печати», и ответ А. И. Куприна.

ПАМЯТИ А. И. БОГДАНОВИЧА

Впервые — в журнале «Современный мир», 1907, № 4, апрель. Статья была впоследствии предпослана в качестве вступительной к сборнику работ Богдановича «Годы перелома», СПб. 1908.

Богданович Ангел Иванович (1860—1907) — известный либеральный литературный критик и публицист. Был редактором журнала «Мир божий» («Современный мир») с 1895 по 1906 г. Куприн хорошо знал Богдановича по совместной работе в этом журнале. Оценка Куприным Богдановича совпадает с отзывами передовых писателей того времени. В. Г. Короленко отмечал у Богдановича «огромную работоспособность, знание литературных направлений, умение разобраться в них и свою несколько суровую, но честную прямолинейность...» (В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 155). А. М. Горький относил Богда-

новича к числу хороших редакторов, умевших воспитывать писательскую молодежь (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 24, М. 1953, стр. 326).

Стр. 586. *Острогорский* Виктор Петрович (1840—1902) — известный педагог, методист, писатель.

О КНУТЕ ГАМСУНЕ

Впервые — в «Северных сборниках», кн. II и III, изд. «Шиповник», СПб. 1908. Статья предпослана к этому изданию в качестве предисловия.

Кнут Гамсун (Кнут Педерсен — 1859—1952) — известный норвежский писатель. Его произведения пользовались в России большой популярностью в девятисотые годы. Ряд произведений Гамсуна был в 1908—1911 годах опубликован в горьковских сборниках «Знание». Горький ценил Гамсуна-художника и рекомендовал начинающим писателям учиться у него мастерству (М. Горький, Собр. соч., в тридцати томах, т. 29, стр. 114, 169 и др.). Увлечение Гамсуном в эти годы переживал и Куприн. «Я по несколько раз перечитываю его произведения, — говорил он. — В Гамсуне меня всегда привлекал его необыкновенный дар изображать природу» («Петербургская газета», 1908, № 232, 24 августа; «Киевские вести», 1909, № 156, 14 июня). Куприн, по свидетельству современника, «любил читать гамсуновскую «Ледяную ночь» и читал ее в высшей степени оригинально и иногда даже импровизировал ее под музыку Вальбушевича» (Н. Ходотов, Близкое — далекое, М. — Л. 1932, стр. 240).

Куприн видел в произведениях Гамсуна то, что близко ему самому, — тему облагораживающего влияния природы на человека, веру в сильную, всепобеждающую любовь. О близости этих мотивов в творчестве Куприна и Гамсуна говорила и тогдашняя критика. Однако оценку Куприным творчества Гамсуна нельзя не признать односторонней. Своеобразие художественной манеры заслонило от читателей тех лет недостатки Гамсуна, — не понял их и Куприн. Он не смог увидеть в творчестве норвежского писателя тех особенностей, которые в 1910 году были отмечены Г. В. Плехановым: индивидуализм гамсуновских героев, оторванность их от народа, — всех тех реакционных элементов, которые впоследствии привели его к фашизму.

Стр. 588. *Первый перевод этого романа... Полякова.* — Роман Гамсуна «Пан» впервые вышел на русском языке в 1901 году в издательстве «Скорпион» в переводе С. А. Полякова (р. 1874 г.), который был организатором этого издательства.

Стр. 596. *«Песня песней»* — поэтическое произведение о любви Соломона, царя Израиля и Иудеи (ок. 960—935 гг. до н. э.), к дочери крестьянина-виноградаря Суламифи; авторство приписывается самому Соломону. По мотивам «Песня песней» А. И. Куприным написан рассказ «Суламифь» (см. т. 4).

ПАМЯТИ Н. Г. МИХАЙЛОВСКОГО (ГАРИНА)

Впервые — в журнале «Современный мир», 1908, № 3.

А. И. Куприн близко знал Н. Г. Гарина-Михайловского (1852—1906), известного, демократически настроенного писателя-знаньевца, автора многочисленных реалистических произведений, среди которых центральное место занимает автобиографическая тетралогия: «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры».

Гарин-Михайловский в 1896—1897 годы входил в состав редакции «Самарского вестника», газеты марксистского направления, помогая ей материально. В период первой русской революции он давал деньги на нужды большевистской партии. Это обстоятельство и имеет в виду в своей статье Куприн, говоря, что незадолго до смерти он сам (Гарин. — *Ред.*), по личному почину, «предложил и отдал около десяти тысяч на одно идейное дело» (стр. 601). Речь идет о факте, описанном А. М. Горьким в его воспоминаниях о Гарине-Михайловском. ...было это в Куоккале, летом 1905 года. Н. Г. Гарин привез мне для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 или 25 тысяч рублей...» (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. стр. 80).

О ТОМ, КАК Я ВИДЕЛ ТОЛСТОГО НА ПАРОХОДЕ «СВ. НИКОЛАЙ»

Впервые — в журнале «Современный мир», 1908, № 11.

А. И. Куприн встретил Л. Н. Толстого на пароходе «Св. Николай» не в 1905 году, а 25 июня 1902 года, когда тот уезжал из

Крыма после пребывания в Гаспре (см. С. Л. Т о л с т о й, Очерки былого, М. 1956, стр. 215—216).

Куприн был неудовлетворен своей статьей. 20 октября 1908 года он писал Ф. Д. Батюшкову: «Теперь, издали, я вижу, что статья о Толстом из рук вон плоха. Ах, если бы было время еще переделать» (ИРЛИ).

Стр. 603. *Елпатьевский* Сергей Яковлевич (1854—1933) — писатель-народник.

Стр. 604. *Волков* Константин Васильевич (р. 1871) — земский врач в Мисхоре, Ялтинского уезда, лечил Л. Н. Толстого; с 1930 года член КПСС, был членом ЦИК СССР.

РЕДИАРД КИПЛИНГ

Впервые — в журнале «Современный мир», 1908, № 12.

Заметка представляет собой рецензию на книгу известного английского писателя Киплинга (1865—1936) «Избранные рассказы», в двух томах, выпущенную «Московским книгоиздательством» в 1908 году.

Куприн работал над рецензией в октябре 1908 года и собирался переделать ее в статью. 20 октября он писал Ф. Д. Батюшкову: «...Если мне пришлют скоро корректуру вторую и с большими полями, то я, пожалуй, обращу... заметку в небольшую статейку отдельную» (ИРЛИ). Журнальный текст в последующих изданиях изменен не был.

Критика Куприным колонизаторских настроений у Киплинга близка к оценке этого писателя, данной впоследствии Горьким: «Киплинг очень талантлив, но индусы не могут не признать вредной его проповедь империализма... (М. Г о р ь к и й, Собр. соч. в тридцати томах, т. 24, М. 1953, стр. 155).

Стр. 608. *Уэллс* Герберт Джордж (1866—1946) — английский писатель, автор научно-фантастических романов.

Конан-Дойль — см. т. 5, стр. 782.

По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский писатель-романтик.

Стр. 610. *Томми-Аткинс* — прозвище английских солдат.

Стр. 611. *Афридии* — афганское племя, живущее в восточной части Афганистана.

Байрам — мусульманский праздник, который отмечается два раза в год.

НЕМНОЖКО ФИНЛЯНДИИ

Впервые — А. Куприн, Сочинения, т. 6, «Прогресс», СПб. 1909.

Очерк «Немножко Финляндии» написан Куприным после поездки в Финляндию, где он лечился и провел первую половину 1907 года. В. В. Брусянин в своей статье «Дети в произведениях А. И. Куприна» (Ежемесячные приложения к «Ниве», 1914, № 5 и № 6, май — июнь) пишет: «Все восхищает Куприна в Гельсингфорсе — и чистота улиц, и уличная толпа, которая знает правую сторону и не толкается, и асфальтовые широкие панели, и строго щеголеватые городовые, и извозчики, и то, что на улицах нет разносчиков и нищих».

Стр. 621. *Рунеберг* Иоганн Людвиг (1804—1877) — финский поэт, писавший на шведском языке.

Галлен Каллела Аксели (1865—1931) — финский живописец и график.

Эдельфельт Альберт Густав Аристид (1854—1905) — финский художник-реалист.

Ярнефельд (Иеренфельд) (1863—1937) — известный финский художник.

Стр. 622. *...в эпоху крутых мер генерал-губернатора Бобрикова. — Бобриков* Николай Иванович (1839—1904) — генерал-адъютант. С 1898 по 1904 г. был генерал-губернатором Финляндии; проводил крайне реакционную русификаторскую политику. В 1903 г. получил чрезвычайные полномочия для борьбы с революционным и национально-освободительным движением в Финляндии.

Федоров Александр Митрофанович (1868—1949) — писатель. После Октябрьской революции — эмигрант. Был знаком с Куприным с 1898 г.

МОЙ ПОЛЕТ

Впервые — в «Синем журнале», 1911, № 3, 8 января.

Очерк был написан А. И. Куприным под впечатлением полета в Одессе 12 ноября 1910 года на аэроплане «Фарман» с

пилотом-спортсменом Иваном Заикиным. Машина потерпела аварию. Владельцы аэроплана подали на Заикина в суд, требуя возмещения стоимости разбитого «Фармана». Куприн написал этот очерк, не только желая сообщить о своих впечатлениях от полета, но и стремясь защитить летчика перед общественным мнением, доказать, что тот не был виновником аварии. Борец Заикин, ставший в 1910 году авиатором, после аварии самолета «Фарман» возвратился к работе в цирке.

Стр. 624. *Пташниковы* — братья, одесские капиталисты, купившие во Франции аэроплан «Фарман» для демонстрации полетов в различных городах России.

ЗАМЕТКА О ДЖЕКЕ ЛОНДОНЕ

Впервые — в «Синем журнале», 1911, № 22.

ЛАЗУРНЫЕ БЕРЕГА

Впервые — в газете «Речь», 1913, № 148, 2 июня; № 154, 9 июня; № 161, 16 июня; № 175, 30 июня; № 182, 7 июля; № 196, 21 июля; № 203, 28 июля; № 210, 4 августа; № 221, 15 августа; № 224, 18 августа; № 231, 25 августа.

Печатается по тексту А. Куприн, Собр. соч., т. XI, изд. 2-е, «Московское книгоиздательство», 1916.

В начале апреля 1912 года Куприн с семьей уехал в Ниццу, где пробыл до конца июля. Из Ниццы он совершил поездку в Геную, Ливорно, на Корсику, в Марсель, где присутствовал на празднике взятия Бастилии, 14 июля, а также в Венецию. Предполагал по приглашению А. М. Горького приехать на Капри, но из-за забастовки моряков в Италии не смог этого сделать (письма Е. М. Куприной к Ф. Д. Батюшкову от 8 мая, 11 и 22 августа 1912 г. ИРЛИ).

Куприн начал «Лазурные берега» в мае 1912 года вскоре по приезде в Ниццу: ...сейчас пишу статью-очерк (беллетристично) под заглавием «Лазурные берега». Хочу для «Речи». Вопрос, захотят ли они? Сюда у меня входят развалины цирков, Кармен на открытом воздухе, народные праздники, истории о том, как я выбирал ниццкого мэра, о рулетке, о боксе, о местных нравах,

о рыбаках и т. д. Тут же будет мой милый очаровательный Марсель», — писал Куприн Ф. Д. Батюшкову в мае 1912 года (ИРЛИ). Куприн закончил «Лазурные берега» в середине ноября 1912 года в Гельсингфорсе, куда ненадолго приезжал из Гатчины. «Завтра переписываю «Лазурные берега» (письмо А. И. Куприна Ф. Д. Батюшкову от 16 ноября 1912 г. ИРЛИ).

Ницца с ее развлекающейся буржуазией произвела на Куприна отрицательное впечатление. Он пишет Ф. Д. Батюшкову 29 апреля 1912 года: «Нет, Федор Дмитриевич, заграница не для меня! Я до сих пор, а это уже 3 недели, живу в Ницце и никак не могу отделаться от впечатления, что все это нарочно, или точно во сне, или в опере. И главное, ничто меня не удивляет и не заставляет верить в прелести европейской культуры. ...я вижу многое, чего не видят другие...»

Куприну очень понравился Марсель. «Марсель — удивительный город. В сто раз спокойнее Ниццы», — пишет он Ф. Д. Батюшкову 8 июня 1912 года (ИРЛИ).

Живя на юге Франции, Куприн знакомился с бытом трудового люда. Корреспондент газеты «Биржевые ведомости» сообщал из Ниццы, что Куприн «быстро сошелся на дружескую ногу со здешними рыбаками, синдикатами кучеров, шоферов и разного рода рабочих, завел знакомство во французском обществе врачей, педагогов, посетил несколько предвыборных собраний...» (.......о в, Куприн в Ницце, «Биржевые ведомости», 1912, № 12922, 5 мая). В интервью Куприн сообщил о том, что он целые дни «проводил в порту Марселя, на полях, среди всех этих носильщиков, продавцов, матросов, пролетариев всякого рода и их подруг» (Аякс, У А. И. Куприна, «Биржевые ведомости», 1912, № 13131, 7 сентября).

Мнения критики относительно «Лазурных берегов» разошлись. Журнал «Златоцвет» хвалит их за изображение народной жизни. «В своих путевых очерках А. И. с присущим ему талантом, добродушным юмором описывает свои скитания по лазурным берегам Средиземного моря и яркими штрихами набрасывает целый ряд типов южно-французского и итальянского простонародья, которые обычно мало интересуют русских туристов. Извозчики, боксеры, трактирщики, рыбаки и их подруги проходят перед читателем как живые. Несмотря на мимолетность встреч с ними, автор рисует их сочными и выразительными «мазками» (Рецензия без подписи в отделе «О книгах», «Златоцвет», 1914, № 6, стр. 18).

Иную оценку получили «Лазурные берега» в «Русских ведомостях», где поэт Владислав Ходасевич обвинял Куприна в том, что он не заметил в Европе великих произведений искусства. В его «путешествиях, — писал Ходасевич, — все какие-то кабаки, боксеры, сутенеры, лавочники, извозчики, крупье» (Владислав Ходасевич, А. Куприн и Европа, «Русские ведомости», 1913, № 146).

Стр. 639. *Юлий Цезарь* (100—44 гг. до н. э.) — знаменитый римский полководец и государственный деятель.

Октавиан Август (66 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — римский император.

Петроний (ум. 66 г.) — римский аристократ, писатель.

Бурже — см. т. 5, стр. 756.

Стр. 652. *Суфражизм* — буржуазное женское движение в Англии в начале XX в. за предоставление женщинам равных с мужчинами избирательных прав.

Стр. 654. *Кеттен* Сесиль — см. т. 5, стр. 755.

Стр. 662. *Гай* Мария — испанская оперная певица. Прославилась исполнением роли Кармен. Гастролировала в России в 1908, 1910, 1913 и 1925 гг.

Стр. 667. *Немирович-Данченко* Василий Иванович (1844—1936) — писатель и драматург.

Стр. 673. *Карпантье* Жорж (р. 1894 г.) — французский боксер. *Клаус* Фрэнк (р. 1897 г.) — американский боксер. Встреча Карпантье с Клаусом произошла в июне 1912 г.

Стр. 675. *Уточкин* Сергей Исаевич (1874—1916) — выдающийся спортсмен и один из первых русских летчиков.

Стр. 679. *«Великая средиземная забастовка»* произошла в апреле — июне 1912 г., в связи с отказом пароходных компаний удовлетворить требования моряков.

...один знаменитый русский писатель... — М. Горький. «Дорогой Александр Иванович, — писал он Куприну в 1912 году, — а не заглянете ли Вы на тихий остров Капри повидаться, побеседовать, рыбы половить со здешними рыбаками. Я и многие русские встретили бы Вас с великой радостью...» (газ. «Коммунист», 1947, № 119, 18 июня).

Стр. 682. *...мой близкий приятель, цирковый артист...* — Джакомо Чирени (Жакомино) — см. о нем т. 5, стр. 788.

Стр. 690. *Дизраэли* Бенджамин (1804—1881) — английский

реакционный государственный деятель, лидер партии консерваторов; был премьер-министром в 1868 и 1874 гг.

Стр. 713. *...прекрасную песню...* — Речь идет о «Марсельезе», слова и музыка Руже де Лиля (1760—1836).

Стр. 716. *В этой камере сидел известный адвокат Мирабо, потомок которого, Октав Мирбо...* — *Мирабо* Онорэ-Габриэль (1749—1791) — деятель французской буржуазной революции 1789 г.; *Октав Мирбо* (1850—1917) — известный французский романист и драматург; потомком Мирабо не был.

Стр. 724. *Бенвенуто Челлини* — см. прим. к стр. 124.

Рибера Хосе (Спаньолетто) (ок. 1591—1652) — выдающийся испанский живописец и гравер.

Стр. 726. *Леопарди* Алессандро (ум. в 1522 или 1523 г.) — венецианский скульптор и архитектор.

Боттичелли Сандро Филиппепи (1444—1510) — великий итальянский художник. В соборе св. Марка фресок Боттичелли нет; Куприна ввел в заблуждение гид, что было отмечено Л. Потурнаком в газете «Утро России», 1914, № 153, 4 июля.

Рубинштейн Ида — популярная эстрадная танцовщица.

ЮГ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

Напечатано в сборнике «Новые повести и рассказы», Париж, 1927.

Стр. 732. *Де Лавальер* — см. т. 4, стр. 781.

Монтеспан — см. т. 4, стр. 781.

Ментенон Франсуаза д'Обинье (1635—1719) — вторая жена Людовика XIV.

Миньяр Петер (1612—1695) — французский художник, автор парадных придворных портретов.

Генрих IV — см. прим. к стр. 22.

Сирано де Бержерак — см. т. 5, стр. 762.

Бирта Саллюстий де (1544—1590) — французский поэт.

Дюма — см. прим. к стр. 229.

Ростан — см. т. 5, стр. 762.

Стр. 735. *Доницетти* Гаэтано (1797—1848) — итальянский композитор.

Стр. 736. *Кеттен* Сесиль — см. т. 5, стр. 755.

Стр. 737. *Фермато* — знак над нотой, указывающий на необходимость продления, затяжки звука (*итал.*).

Стр. 741. *Ибсен* Генрик (1828—1906) — выдающийся норвежский драматург.

Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский писатель-символист.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель. А. Куприн относился к его творчеству двойственно. Признавая крупный художественный талант Л. Андреева, он указывал, что этот писатель «потрясает и ужасает своей... роковой мрачностью» (Вас. Регинин, Отклики писателя на литературные злобы дня, «Биржевые ведомости», 1908, № 10551, 13 июня).

ПАРИЖ ДОМАШНИЙ

Впервые — в газете «Возрождение», октябрь — декабрь 1927 года. Вошло в книгу «Купол святого Исаакия Далматского», Рига, 1928.

Стр. 743. *У Шекспира Бардольф, кабацкий приятель беспутного принца Гарри... «Когда спускаешься с Бардольфом в винный погреб, не надо брать с собою фонаря...» — Бардольф* — персонаж исторической драмы Шекспира «Король Генрих Четвертый». Цитируемые строки взяты из первой части драмы (действ. 3, явл. III).

Стр. 744. *Бернар* Сарра (1844—1923) — знаменитая французская актриса.

Стр. 748. *Мюссе* Альфред де (1810—1857) — французский поэт-романтик.

Виньи Альфред де (1797—1863) — французский поэт-романтик.

Стр. 749. *Бодлэр* Шарль (1822—1867) — французский поэт, предшественник декадентов.

Стр. 751. *...проказники Поль де Кока и... веселые студенты Мюрже. — Кок* Поль де — см. т. 3, стр. 578. *Мюрже* Анри (1822—1861) — французский писатель, автор «Сцен из жизни богемы» (1851).

Стр. 754. *Яблоновский* Александр Александрович (1870—1934) — журналист и беллетрист. После Октябрьской революции эмигрировал.

Стр. 756. *Рышков* В. А. (ум. 1924 г.) — драматург, автор многочисленных пьес, имевших успех у буржуазно-мещанской публики.

Стр. 757. ...*к спуску в долину Иосафатову* — библейский образ, означающий приближение к концу жизни.

ОТРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Впервые — в газете «Известия», 1937, № 142, 18 июня.

Стр. 768. *Федоров* — см. прим. к стр. 622.

Елпатьевский — см. прим. к стр. 603.

МОСКВА РОДНАЯ

Впервые — в газете «Комсомольская правда», 1937, № 235, 11 октября.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ОПЕЧАТКИ, ЗАМЕЧЕННЫЕ В 1—5 ТОМАХ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А. И. КУПРИНА

Том	Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
1	578	6 сн.	Стр. 322 ... грамматику	... грамматику
„	„	2 сн.	... множество	Стр. 322. ... множество
2	388	1 сн.	умел	умер
„	568	12 св.	стр. 83	стр. 82
4	562	8 сн.	и, наоборот,	и наоборот,
„	766	14 сн.	Л. Е. Розинеру	А. Е. Розинеру
5	591	7 св.	namio	патио

В 5 томе в примечаниях к рассказу «Гад» (стр. 760) допущена ошибка. Рассказ «Гад» был впервые напечатан в журнале «Пробуждение», 1915, № 22.

Александр Иванович Куприн
Собр. соч., т. 6

Редактор *М. Сергиевская*

Художественный редактор *И. Жихарев*

Технический редактор *М. Позднякова*

Корректоры *В. Брагина* и *Л. Коншина*

Сдано в набор 7/II 1958 г. Подписано
к печати 16/IV 1958 г. Бумага 84 × 108[1]/32
26 печ. л. = 42,64 усл. печ. л. 39,2 уч.-изд. л.
Тираж 550 000. Заказ № 1373. Цена 12 р.

Гослитиздат.
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление полиграфической промышленности.
Типография № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

